



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



PS - 230.4 (1873)

ПОБЕДНО
1940 г.

1107 134

ПОБЕДНО
1955 г.



HARVARD
COLLEGE
LIBRARY

АВГУСТЪ.

1875.

ДѢЛО

ГОДЪ ДЕВЯТЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ.

- I. РАЗВИТОЕ СЕРДЦЕ. Сцены. М. П.
- II. ИСПОВѢДЬ СТАРИКА. Романъ. (Гл. X — XI.) ИПОЛИТА ПЬЕВО.
- III. НА ПРИМОРСКОМЪ БЕРЕГУ. Стихотвореніе. М. П.
- IV. НИЩЕ. Очерки изъ жизни „отщепенцевъ“ общества. М.
- V. ПОСЛѢДНЕЕ ЖЕЛАНІЕ. Стихотвореніе. . . . П. БЫКОВА.
- VI. ЖИЗНЬ И ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕ.-ЖЕ. РУССО.
(Статья первая.) С. СТАВРИНА.
- VII. ПОКОЙ И ТРУДЪ. Стихотвореніе. Н. СУРКОВА.
- VIII. ПРИВОЛЬЕ. Лѣто въ становищѣ. (Гл. I—V.) . . В. П. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕ ИКО.
- IX. ПѢСНЯ. Стихотвореніе. (Изъ Барри Корнузля.) М. П.
- X. БРАСАВЕЦЪ. Романъ. (Гл. IX — XI.) . . . ЖВЛЯ КЛАРЕТИ.
- XI. ЗИМНЯЯ НОЧЬ. Стихотвореніе. (Съ венгерскаго.) М. П.
- XII. СЪ СВѢРА НА ЮГЪ. Романъ. (Книга III,
гл. I — XII.) Н. П. БРАЗНА.

См. на оборотѣ.

СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

XIII. ИЛЮЗИИ КРИТИЧЕСКАГО ОПТИМИЗМА. . . . П. ЯЗЫКОВА.

(„Литературныя замѣтки“, Л—ій. „Недѣля“, № 26.)

XIV. НОВЫЯ КНИГИ.

Стихотворенія И. З. Сурикова, изд. Н. А. Соловьева - Несмѣлова. М. 1875 г. — Вопросъ о незаконнорожденныхъ. Соч. А. П. Спб. 1875 г. — По краю пропасти. Романъ въ 4-хъ частяхъ, Ближнева. Спб. 1875 г. — Въя общественныхъ интересовъ. Романъ П. Лѣтнева. Спб. 1874 г. — Чужое преступленіе. Романъ въ 3-хъ частяхъ, П. Лѣтнева. Спб. 1875 г.

XV. ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА. С. СТАВРИНА.

(Histoire de la litterature contemporaine en Italie sous le regime unitaire, 1859—1874, par Amedée Roux, 1874.)

XVI. ПАРИЖСКІЯ ПИСЬМА. АНОНИМА.

XVII. ВНУТРЕННЕЕ ОВОЗРѢНІЕ.

Проектъ земствъ объ обязательности обученія. — Мнѣнія губернаторовъ. — Мнѣнія „за“ и „противъ“ обязательности. — Нужна-ли такъ школа деревнѣ? — Образованіе фабричныхъ дѣтей. — Съ чего начать? — Проектъ объ обязательныхъ школахъ для Петербурга.

XVIII. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ХРО-

НИКА. Луи-Жозефъ Бюффе. М. ТРИГО.

Истинный представитель либеральной буржуазіи. — Воспитаніе Бюффе. — Характеръ Бюффе. — Его политическая програма. — Бюффе депутатъ. — Осторожность, выказанная имъ на первомъ шагу парламентской дѣятельности. — Клубъ улицы Пуатье. — Бюффе переходитъ на сторону реакціонеровъ. — Назначеніе Бюффе министромъ земледѣлія и торговли. — Его отставка. — Законъ 30 мая. — Бюффе снова министръ. — Государственный переворотъ. — Бюффе снова дѣлается либераломъ. — Коалиція оппозиціонныхъ бонапартизму партій. — Либеральный союзъ. — Нансійская програма. — Правительство второй имперіи вынуждено дѣлать уступки. — Народныя сходы. — Изобрѣтенное возмущеніе. — Либеральное министерство Оливье. — Предусмотрительность Бюффе. — Реакціонная дѣятельность Бюффе въ версальскомъ національномъ собраніи. — Правительство борьбы. — Бюффе президентъ національнаго собранія. — Утвержденіе республиканской формы правленія во Франціи. — Бюффе глава республиканскаго министерства. — „Невѣроятные рассказы“. — Наружность Бюффе. — Подчиненіе его герцогу Бродли.

XIX. Казанское общество земледѣльческихъ колоній и ремесленныхъ пріютовъ и его дѣятельность.



ДѢЛО

ЖУРНАЛЪ

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКІЙ.

ГОДЪ ДЕВЯТЫЙ.

Книг. № 24490

№ 8.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

ТИПОГРАФІЯ В. ТУШНОВА, ПО НАДЕЖДИНСКОЙ УЛИЦѢ, ДОМЪ № 39.

1875.

7
△
Р. Х. С. 26. 4. (1875)

Дозволено цензуром. С.-Петербургъ, 14 августа 1875 г.



ВО ВСѢХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ ПРОДАЮТСЯ:

ПРАВИЛА И ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНІЯ

ВЪ МУЖСКІЯ И ЖЕНСКІЯ УЧЕБНЫЯ ЗАВЕДЕНІЯ
ГРАЖДАНСКАГО, ВОЕННАГО, МОРСКАГО И ДУХОВНАГО ВѢДОМСТВЪ
на 1875—76 учебный г.

ИЗДАНИЕ ВОСЬМОЕ.

Исправленное и дополненное на основаніи данныхъ, сообщенныхъ и
опубликованныхъ начальствами учебныхъ заведеній.

Цѣна 1 р. 25 к. безъ перес.; съ перес. 1 р. 50 к.

*Книгопродавцамъ и выписывающимъ не менее 10 экземпляровъ да-
ется уступка 20%.*

ОТЪ РЕДАКЦІИ.

Редакція проситъ гг. подписчиковъ, живущихъ въ тѣхъ мѣст-
ностяхъ, гдѣ нѣтъ почтовыхъ конторъ, означать въ своихъ адре-
сахъ *ближайшее почтовое мѣсто*, въ которое можно было-бы
адресовать прямо книжки журнала. Въ противномъ случаѣ, ре-
дакція не можетъ отвѣчать за исправную доставку журнала и
за немедленное удовлетвореніе жалобъ на неполученіе книжекъ
журнала, на томъ основаніи, что газетная экспедиція петербург-
скаго почтамта не принимаетъ отъ редакціи подобныхъ жалобъ
и не входитъ въ ихъ разсмотрѣніе, отзываясь, что не имѣетъ
возможности собирать справки и требовать объясненія изъ тѣхъ
мѣстностей, гдѣ нѣтъ правильного почтоваго приѣма и отвѣт-
ственного почтоваго учрежденія.

ВО ВСѢХЪ ИЗВѢСТНЫХЪ КНИЖНЫХЪ МАГА- ЗИНАХЪ

ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ ИЗДАНІЯ РЕДАКЦІИ ЖУРНАЛА „ДѢЛО“.

ДЕВЯНОСТО ТРЕТІЙ ГОДЪ. Ром. В. Гюго. Въ двухъ томахъ. Перев. съ франц. Цѣна 2 р. безъ перес.; съ перес. 2 р. 80 к.

Подписывать на журналъ „Дѣло“ уступается за годовыишу цѣну, т. е. 4 р. безъ перес.; съ перес. 4 р. 80 к.

УРОКИ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ФИЗИОЛОГІИ, Томаса Геккел. Изданіе второе. Перев. съ англ., съ предисловіемъ Д. И. Писарева. Около 100 рисунковъ. Ц. безъ перес. 1 р.; съ пересылкой 1 р. 20 к.

ПРОИСХОЖДЕНІЕ ЧЕЛОВѢКА, Ч. Дарвина. Три выпуска, около 80-ти печатн. листовъ, съ рисунками. Цѣна всѣмъ тремъ выпускамъ 5 р., съ перес. 5 р. 50 к. Каждый выпускъ отдѣльно 2 р.

ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ГИГИЕНЫ, В. О. Португалова. Около 40 печатныхъ листовъ. Цѣна 3 р.; съ пересылкой 3 р. 50 к.

ОДИНЪ ВЪ ПОЛѢ — НЕ ВОИНЪ. Романъ Фр. Шинкелгана. Съ портретомъ автора и съ предисловіемъ Г. Е. Благосвѣтлова. Изданіе четвертое. Въ двухъ томахъ. Болѣе 60-ти печ. лст. Цѣна 3 р.; съ перес. 3 р. 80 к.

ИЗВРАТННЫЯ РѢЧИ, Дж. Брайта. Съ біографическимъ очеркомъ и портретомъ автора. Перев. съ англійскаго, подъ редакціей Г. Е. Благосвѣтлова. Ц. 2 р.; съ перес. 2 р. 80 к.

ПРАВИЛА И ПРОГРАММЫ для поступленія въ высшія и среднія учебныя заведенія граждан., воен., морского и духовнаго вѣдомствъ на 1875—76 учебный годъ. Изданіе восьмое. Цѣна 1 р. 25 к. безъ перес.; съ перес. 1 р. 50 к.

АВТОБИОГРАФІЯ ДЖОНА ОТЮАРТА МИЛЛЯ. Переводъ съ англійскаго. Подъ редакціей Г. Е. Благосвѣтлова. Цѣна 1 р. 20 к.; съ перес. 1 р. 50 к.

ЗАПИСКИ ВОЕННАГО. Белетристическіе очерки. Разсказы и картины изъ военнаго бита, Дж. Гирса. Ц. 1 р. 60 к.; съ перес. 1 р. 80 к.

О ПОДЧИНЕНІИ ЖЕНЩИНЫ, Дж. Ст. Милл. Переводъ съ англійскаго подъ редакціей и съ предисловіемъ Г. Е. Благосвѣтлова. Въ концѣ книги приложена ст. Іог. Шерра: Историческіе женскіе типы. Изданіе второе. Цѣна 1 р.; съ перес. 1 р. 20 к.

ИСТОРИЯ КРЕСТЬЯНОКОЙ ВОЙНЫ ВЪ ГЕРМАНИИ, Д-ра В. Циммермана. Составл. по лѣтописямъ и разсказамъ очевидцевъ. Переводъ съ нѣмецкаго. Три тома, составл. болѣе 70-ти печатн. листовъ. Цѣна тремъ томамъ 2 р.; съ перес. 2 р. 50 к.

СОЧИНЕНІЯ Ѳ. М. ТОЛОТОВОГО. Съ предисловіемъ Д. И. Писарева. Ц. двумъ томамъ 1 р. 50 к.; съ пересылкой 1 р. 70 к.

БРИЛЛАНТОВОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ. Романъ Антони Троллопа. Перев. съ англ. Цѣна 1 р. 20 к.; съ перес. 1 р. 50 к.

ОТЪ ЗЕМЛИ ДО ЛУНЫ 97 ЧАСОВЪ ПРЯМОГО ПУТИ, Ж. Верна. Переводъ съ франц. Цѣна 50 к.; съ пересылкой 70 к.

Подписываемъ на журналъ „Дѣло“ уступается 20% съ вышеозначенныхъ цѣнъ.

РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ.

СЦЕНА ПЕРВАЯ.

Иеронимо и его мать.

Мать.

Чѣмъ вызванъ мной подобный тонъ? Ну, полно!
Повеселѣй взгляни. Иль гнѣвъ твой нѣмъ?
Излей его.

Иеронимо.

Ты совершила это?

Мать.

Уладила я все тебѣ на пользу.

Иеронимо.

О, матушка! сама разбила ты
Нѣжнѣйшее изъ любящихъ сердець.
На пользу мнѣ? Да въ чемъ она? Не въ томъ-ли,
Что я умру, что медленно я стану
И увядать, и чахнуть, не встрѣчая
Ни въ чемъ, ни въ чемъ отрады для себя?
Втеченьи всей печальной жизни буду
Бродить я тамъ, гдѣ бѣлая голубка
Завлечена подъ стражею.

Мать.

Терпѣнье,

Мое дитя.

Иеронимо.

Безжалостная мать,
Я потеряю до смерти. Смерть внезапно
Сразить меня, какъ молнія сражаетъ.

„Дѣло“, № 8.

Мать.

Живи! Цвѣты любовь тебѣ готовить...

Иеронимо.

Да, да, она вѣнкомъ изъ бѣлыхъ розъ
Застывшее чело мое украситъ
И осмѣю судьбу я, какъ невѣста,
Которая неволей шла къ вѣнцу
И мертвою упала въ часъ вѣнчанья...
Я пережить не въ силахъ, если точно
Измѣна есть. Иди со мною къ ней,
Къ измѣнницѣ!.. Измѣнница? Сильвестра?

Мать.

Не называй ее. Она источникъ
Всѣхъ нашихъ золъ. Не вспоминай о ней.

Иеронимо.

Не вспоминать?

Мать.

Обвѣнчана она.

Иеронимо.

Ха, ха! Стыдись своей жестокой шутки
И говори серьезнѣе и мягче.

Мать.

Сказала я: обвѣнчана она,
И думаю, тебѣ должны быть ясны
Мои слова.

Иеронимо.

О, ясны, если только
Въ нихъ правда есть! Взгляни, какъ твой разговоръ
Подѣйствовалъ на сына. Сердце, сердце
Разбилъ онъ мнѣ!

Мать.

О, милосердный Богъ!

(Въ сторону.)

Старалась я чрезъ мѣру. Какъ измученъ,
Какъ блѣденъ онъ!.. Мой сынъ, Иеронимо...

Иеронимо.

Единственный...

Мать.

Зачѣмъ сказалъ ты это?

Прошу тебя, подумай обо мнѣ,
О матери.

Иеронимо.

Не потому-ль подумать
Мнѣ о тебѣ, что обо мнѣ въ разлугѣ
Ты думала?.. Я благодарный сынъ:
Я передамъ отцовскія имѣнья,
И золото, и камни дорогіе,
И корабли въ наслѣдіе тебѣ.
Все, все твое! Я не оставлю въ мирѣ
Вдовы съ дѣтьми, чтобъ только не ограбить
Подобную заботливую мать.

Мать.

Молчи, молчи, ты сердце мнѣ терзаешь.

Иеронимо.

Клянусь тебѣ исполнить все. Богами,
Порвавшими сурово жизни нить,
Безжалостнымъ Плутономъ, богомъ злата,
Судьей людей Миносомъ, Купидономъ
Клянусь тебѣ, — своей погибшей жизнью,
Убитыми надеждами клянусь!

Мать.

Не говори такъ мрачно. Если чуждъ ты
Любви ко мнѣ, то для отца, быть можетъ,
Ты пощадишь, мой сынъ, родную мать.

Иеронимо.

Для моего отца?.. Отецъ мой умеръ!

Мать.

Но въ жизни онъ всегда былъ милосерднымъ,
Горячій гнѣвъ, волнующій умы
И къ гибели ведущій очень многихъ,
Онъ мудростью небесной охлаждалъ,
Какъ нектаромъ...

Иеронимо.

Напитокъ превосходный!
Въ чужихъ краяхъ огромные запасы
Подобнаго питья имѣли мы
И имъ свой мозгъ воспламенить старались.

Я пилъ, я пилъ его и дни, и ночи,
И пищей мнѣ былъ горькій лавръ, облитый,
Какъ говорятъ безумные поэты,
Безсмертными кастальскими водами.

Мать (плачетъ).

Увы, увы!

Иеронимо.

Вотъ это хорошо.

Мнѣ нравится...

Мать.

Что нравится тебѣ?

Иеронимо.

Смотрѣть, какъ ты рыдаешь безутѣшно,
Хотя твой мужъ давно сошелъ въ могилу.

Мать.

Я не о немъ...

Иеронимо.

Ты плачешь не о немъ?

Такъ пусть позоръ уста твои закроетъ.
Иль не былъ онъ и добръ, и ласковъ? Былъ онъ
Всегда такимъ,—но не о немъ ты плачешь,
А о пустой и скучной вдовьей жизни.
Молчи! Бунить себѣ второго мужа
Успѣешь ты.

Мать.

Я не стремлюсь за этимъ.

Я не могу найдти, кто былъ-бы равенъ
Съ твоимъ отцомъ.

Иеронимо.

Не можете, вы правы!

Сказали вы хотя однажды правду.
Хотя-бы вы отъ сумерекъ вечернихъ
До той поры, когда съ востока утро
Поднимется по свѣтлымъ ступенямъ,
На поиски пускались или зорко
Отъ утренней сверкающей зари
До полночи слѣдили за сердцами,—
Вамъ не найдти, кто былъ-бы равенъ съ нимъ
Среди людей, кто былъ-бы такъ-же добръ

И справедливъ. Питалъ онъ по природѣ
 И ненависть глубокую ко лжи,
 И къ ближнему участъе.—Но онъ умеръ!
 Какъ онъ любилъ болѣзненнаго сына,
 Какъ трепеталъ—ты, вѣрно, помнишь это?—
 Что родъ его окончится со мной.
 Напрасно онъ желалъ обнять дитя,
 Которое получить наше имя
 И старый родъ покроетъ новой славой.
 Послѣдній я, послѣдній отпрыскъ въ мірѣ
 Отъ дерева стариннаго. Тобою
 Сраженъ я, мать; тобою эти вѣтви
 Исушены. Теперь прощай на вѣкъ.

Мать.

Прощай!.. Но нѣтъ, останься здѣсь со мною.
 Оставь свое прощенье мнѣ.

Иеронимо.

Прощай!

Прощаю я и—если мать могу я
 Благословить—свое благословенье
 Я шлю тебѣ. Живи вполне спокойно,
 Будь счастлива и обо мнѣ забудь.

(Уходитъ.)

СЦЕНА ВТОРАЯ.

Комната Сильвестры.

Иеронимо и Сильвестра.

Иеронимо.

Утихло все. Тсъ! Вотъ лежитъ она,
 Которая должна-бы быть моею.
 Сильвестра!.. Спать! Полуоткрытыхъ устъ
 Дыханіе свѣжѣй благоуханья,
 Которое апрѣль тихонько крадетъ
 Въ часъ утренній у дремлющихъ цвѣтовъ.
 Вотъ и рука, какъ мраморъ бѣлоснѣжный,
 Прекрасная, на теплоѣ покрывалѣ

Повеется. Жива-ль она? Прекрасно
 Ея лицо. Она гораздо выше
 Тѣхъ образовъ, которыми когда-то
 Украсили Олимпъ холодный свой
 Богатые фантазією греки.
 Въ сравненіи съ ней ничтожна та царица,
 Чей взоръ затмилъ собою звѣзды Зевса
 И укротилъ бушующее море.
 Смотрите всѣ: такая красота,
 Какъ божество, повелѣвать способна
 Біеніемъ сердець; въ очарованіи
 Стоишь предъ ней и молишься... Чу, шопотъ
 Послышался. Какъ нѣженъ онъ! Сильвестра!

Сильвестра.

А, кто тутъ?

Серонимо.

Я.

Сильвестра.

Но кто ты?

Иеронимо.

Неужели

Заговорить, назвать себя я долженъ?
 Неузнаю я Сильвестрой? Нѣтъ? О, горе!
 Иль голосъ мой такъ измѣненъ страданіемъ,
 Что даже ты узнать его не можешь.
 Увы!

Сильвестра.

Ступай! Ко мнѣ ни шагу—мужа
 Я разбужу.

Иеронимо.

Но я—Иеронимо!

Сильвестра.

Что? Повтори! Но нѣтъ, не можетъ быть!

Иеронимо.

Закрой глаза... Да, ты жена другого!..
 Закрой-же ихъ, чтобъ не видать развалинъ
 Того, кто такъ любилъ тебя.

Сильвестра.

Любилъ?

Нѣтъ, нѣтъ!

Иеронимо.

Любилъ, какъ небо, жизнь и счастье.

И образъ твой, зловѣщій амулетъ,

Носилъ въ груди до самой смерти.

Сильвестра.

Боже!

Иеронимо.

Теперь твои блуждающія мысли

Къ безгрѣшному прошедшему верну я...

Ты знаешь-ли, измученныя тѣни

Являются изъ тьмы гробовъ свинцовыхъ,

Чтобъ удержать несчастныхъ отъ грѣха?..

Да, и туда доносится порою

Зловѣщій смѣхъ разврата,—смѣхъ въ томъ мигъ,

Когда ужъ смерть оледенить готова

Развратниковъ своимъ прикосновеньемъ.

Сильвестра.

Не сдѣлаешь ты зла мнѣ?

Иеронимо.

Почему-же?

А, впрочемъ, нѣтъ, несчастное созданье.

Не мнѣ пятнать насильемъ образъ нѣжный:

Его любилъ я слишкомъ честно; долго —

Втеченьи всей короткой нашей жизни —

Любилъ его...

Сильвестра.

Короткой, грустной жизни!

Иеронимо.

Сильвестра, ты и я здѣсь вмѣстѣ жили

Еще дѣтскими и дѣтская любовь

Связала насъ; я старше былъ, а ты

Цвѣла въ тѣ дни дѣвичьей красотой

И косами едва-ли обвивалось

Еще одно подобное чело

Въ Итали. Я помню, ты въ то время

Всѣмъ женихамъ меня предпочитала.

Сильвестра.

Да, да!

Геронимо.

И мнѣ казалось, что любимъ я.
А какъ тебя любилъ я! Трепетъ сердца
И до сихъ поръ я слышу. Говори-же.
Мой часъ насталъ: меня коснулась смерть.

Сильвестра.

Ты шутишь?

Геронимо.

Нѣтъ. Мой другъ, я умираю.
И стынетъ кровь во мнѣ при каждомъ словѣ,
И бьется пульсъ все медленнѣй во мнѣ.
Когда заря сквозь вьющіяся лозы
Въ твое окно заглянетъ, — буду мертвымъ
Лежать я здѣсь, — здѣсь, въ комнатѣ.

Сильвестра.

Мнѣ страшно!

Геронимо.

Я не пугать хочу тебя, Сильвестра,
Но высказать, что обошла жестоко
Со мною ты, — излить все поскорѣе
И умереть. О, не страшись меня:
Я не хочу привосновеньемъ смерти
Оледенить такую грудь, — пусть льется
Въ ней мирно кровь по жилкамъ голубымъ;
Пусть на щекахъ, цвѣтущихъ красотою,
Не разольетъ мучительную блѣдность
Страхъ передъ тѣмъ, чье сердце ты разбила.
Смотри, проникъ мнѣ въ восты холодъ; дѣти
Надъ слабостью моею глумятся; вѣтви
Колелеются зеленою листвою
И шепчутся, кивая на меня,
Въ весенній день съ насмѣшкою, какъ-будто
Хотятъ связать: „тебя мы долговѣчнѣй!“

Сильвестра.

О, пощади!

Иеронимо.

Я восемнадцать зимъ

Успѣлъ прожить и въ этотъ краткій срокъ
 Могъ пережить не мало, но не счастье
 Дала мнѣ жизнь. Смерть посѣтила рано
 Нашъ домъ и я лишень былъ утѣшеній
 Родной семьи. Болѣзнъ свела румянецъ
 Со щекъ моихъ и мозгъ мой посѣщали
 Фантази — блестящія, живныя,
 Безумныя, блуждающія звѣзды;
 Одну изъ нихъ ты знаешь — и она-то,
 Она меня — опасный свѣточъ мой! —
 Заставила съ пути свернуть и послѣ
 Я ею былъ оставленъ угасать.
 Былъ у меня и рой надеждъ отрадныхъ,
 Но что тебѣ до нихъ, — онѣ исчезли!

Сильвестра.

О, сердце!.. Я... я думала... Но тише!
 Здѣсь спитъ мой мужъ... Я думала, что ты —
 Когда ты былъ такъ долго за границей
 И не писалъ, не спрашивалъ о насъ, —
 Забылъ совсѣмъ Италию.

Иеронимо.

Что слышу!

О, повтори! Такъ вотъ какъ...

Сильвестра.

Право, право...

Иеронимо.

Мнѣ ясно все: и матери тщеславье,
 И женщины предательство. И что-же
 Своей судьбѣ я сдѣлалъ, что забыла
 Она меня?.. Но ничего, Сильвестра,
 Учись прощать: гонители насъ могутъ
 Убить — убить и только. Въ этой мысли,
 Любимая, отраду мы найдемъ.
 Мы убѣжимъ отъ полчищъ ихъ на отдыхъ,
 Короткій путь съ надеждой совершивъ,
 Что сладостно подъ свѣжею землею

Уснемъ и мы. Въ жилищѣ безопасномъ
 Не стануть насъ тревожить снова бури,
 Насъ не спугнетъ, что ненависть испортить
 Всю нашу жизнь, что наши имена
 Покроются позоромъ.

Сильвестра.

Боже, Боже!

Иеронимо.

Мой милый другъ, въ загробной жизни будутъ
 Насъ улаждать цвѣты. Не падай духомъ:
 Ты знаешь, тамъ нѣтъ горя, нѣтъ неправды;
 Тамъ ангелы дружатся съ человѣкомъ;
 Тамъ изъ цвѣтовъ гирлянды намъ сплетутъ;
 Тамъ каждый звукъ—гармонія, и слезы —
 Знаетъ радости и каждый вздохъ — любовь.
 Взгляни наверхъ и ободрись: тамъ можно
 Безтрепетно любить. Ни матерей,
 Ни золота, ни злобы, ни измѣны
 Тамъ нѣтъ. Дитя, обиженъ мы были:
 И преданность твою узналъ я поздно,
 И поздно я узналъ твою любовь.
 Ты думала, что другъ твой измѣнился?
 Но я писалъ, писалъ къ тебѣ посланья,
 Горячія, облитыя слезами, —
 Писалъ, а ты молчала, и невольно
 Сомнѣнье въ грудь закралось. Я вернулся —
 Ты замужемъ была.

Сильвестра.

Увы!

Иеронимо.

Тогда я —

Тогда я сталъ угрюмъ и мозгъ порою
 Пылалъ во мнѣ горячечнымъ огнемъ.
 Но, не простясь съ тобой, моя Сильвестра,
 Я умереть не могъ.

Сильвестра.

Иеронимо!

Не разбивай мнѣ сердца. Я была

Обманута. Они мнѣ говорили,
 Что лучшую ты женщину нашелъ,
 Чѣмъ бѣдная Сильвестра, что съ презрѣньемъ
 Ты сталъ смотрѣть на дѣтскую любовь.
 О, горе мнѣ! Они мнѣ угрожали,
 Они клялись, что грудь твоя разбита,
 Разбита мной, что просишь ты свободы...
 Тогда... тогда... О, не смотри въ глаза мнѣ!..
 Тогда была я замужъ отдана.

Иеронимо (вскрикиваетъ).

О!

Сильвестра.

Что за шумъ? Скажи.

Иеронимо.

То воеетъ вѣтеръ,
 Бѣгущій дня, блуждающій во мракѣ, —
 Онъ пѣсню мнѣ надгробную поетъ.
 Дитя, позволь прильнуть къ твоей груди.
 Ея лицо холодное не можетъ
 Оледенить, ея не запатнаетъ
 Слеза. Она — алтарь любви безгрѣшной
 И здѣсь замретъ убитая любовь.
 Въ послѣдній разъ, Сильвестра!

Сильвестра.

Пожалѣй

Меня, мой другъ!

Иеронимо.

Мнѣ жаль тебя!

Сильвестра.

Такъ мрачно
 Не говори. Ты шутишь, но невольно
 Бросаетъ въ дрожь меня отъ горькой шутки.

Иеронимо.

Отъ шутки? Нѣтъ! Взгляни въ мои глаза
 И ты поймешь, что это правда, правда!
 Начертана въ нихъ смерть, моя Сильвестра.
 Въ послѣдній разъ старается природа
 Зажечь огонь въ глазахъ, въ которыхъ прежде

Видѣлся умъ въ минуты думъ и счастья
И обличалъ, какъ лучший выразитель,
И жизнь души, и внутреннюю силу.

Сильвестра.

Но ты такъ бодръ.

Иеронимо.

Да, бодримъ и хотѣлось

Мнѣ умереть.

Сильвестра.

Невольную улыбку

Ты вызвалъ.

Иеронимо.

Что-жь! Такою-же улыбкой
Отвѣчу я, — хотя слова прощанья
Произносить мнѣ трудно: не владѣють
Мои уста... Воспѣть рѣчь... Покуда
Я говорю, — прости!.. Дай руку... Я не вижу
Ея теперь.

Сильвестра.

Рука похолодѣла!

Иеронимо.

Да, это такъ... Но ты сожми ее,
Мое дитя... Жестоки были люди,
Жестоки къ намъ... Но ты прости имъ всѣмъ...
Одна изъ нихъ мнѣ мать... Узнавъ о смерти,
Раскается... Дай воздуху побольше!
Гдѣ ты?.. Я слѣпъ... Нѣмѣють руки — это
Ночь зимняя... Такъ, такъ... прикрой меня...

(Умираеть.) •

М. Н.

ИСПОВѢДЬ СТАРИКА.

РОМАНЪ

ИПОЛИТА НЬЕВО.

(Переводъ съ итальянскаго.)

ГЛАВА X.

БАРЛИНО КАНЧЕЛИЕРЕ. — ФРАНЦУЗЫ ВЪ ПОРТОГРУАРО И ФРАТЬ. — БАРЛИНО АВОГАДОРЪ И БОНАПАРТЬ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩІЙ. — НЕОЖИДАННЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Молодой графъ Ринальдо былъ человѣкъ ученый, непомышлявшій ни о своихъ денежныхъ дѣлахъ, ни объ увеселеніяхъ; цѣлые дни онъ проводилъ за своими учеными занятіями. Онъ постоянно сидѣлъ въ своей комнатѣ и со мной почти никогда не говорилъ. Правда, я, Вероника и капитанъ обѣдали вмѣстѣ съ нимъ, но онъ мало ѣлъ и еще меньше разговаривалъ. При этомъ онъ былъ крайне вѣжливъ и добродушенъ на видъ, такъ что его дикость я приписывалъ застѣнчивости или болѣзненному состоянію; онъ имѣлъ видъ человѣка, страдающаго болѣзнью печени. Дни мои проходили чрезвычайно однообразно. Я очень рѣдко бывалъ у Фруміеровъ, потому что чувствовалъ нѣкоторый страхъ къ падре Пендола, противъ котораго возставало даже само духовенство съ епископомъ во главѣ, порицая его непоумѣрное властолюбіе. За то я часто бывалъ въ Бардовадо у Проведони, съ сыновьями котораго былъ очень друженъ. Общество Брадаманты и Аввилины также доставляло мнѣ удовольствіе, потому что, сознаюсь, я всегда любилъ женское общество и нахожу, что итальянскія женщины выше мужчинъ. Да, друзья,

повѣрите этому убѣжденію старика, богатаго жизненнымъ опытомъ. Женщины выше насъ по способности самопожертвованія, по преданности, по твердости въ перенесеніи несчастій; онѣ лучше нашего умѣютъ умирать; вообще онѣ выше насъ въ важныхъ обстоятельствахъ жизни. Въ Италіи онѣ выше еще потому, что наши мужчины ничего не дѣлаютъ иначе, какъ по вдохновенію женщинъ; возьмите нашу исторію, нашу литературу—и вы увидите, что я правъ. Это служить къ чести и похвалѣ женщинъ, но также и къ позору ихъ: въ тѣ вѣка, когда ничего путнаго не совершалось, онѣ предавались апатіи и мужчины спали. Но какъ скоро онѣ воодушевлялись энергіей, на Аппенинскомъ полуостровѣ являлись герои и жизнь кипѣла ключомъ.

Впрочемъ, въ семействѣ Проведони былъ экземпляръ женскаго пола, неспособный внушать къ себѣ уваженіе. Бѣдный Леопардо былъ вполне типомъ обманутаго мужа, такъ что при появленіи его всѣ посторонніе перемигивались и улыбались. Онъ-же ничего не подозревалъ, хотя наглость его жены и Венквередо доходили до того, что на нихъ было противно смотрѣть.

Отъ Пизаны я получилъ во все время одно письмо, странное, нелѣпое и нескладное, наполненное преувеличенными выраженіями привязанности и униженными словами покаянія. Въ то-же время я получилъ нѣсколько писемъ отъ Джуліо; то были типичныя письма влюбленнаго къ другу. Я видѣлъ, что Джуліо остается въ прежнихъ отношеніяхъ къ Пизанѣ, и его любовное несчастіе, которое мнѣ было такъ тяжело видѣть вблизи, издали радовало меня. Да, я сожалѣю въ этомъ; я не желаю хвастаться и выдавать себя за святого. Вообще, читая письма его и Пизаны, я утѣшался въ своемъ одиночествѣ и думалъ, что для меня было-бы навѣрное хуже жить теперь въ Венеціи и подвергаться всѣмъ тревоженіямъ ежедневныхъ свиданій съ Пизаной.

Французская война между тѣмъ стлужилась почти до размѣровъ обыкновенной политической войны. Ее еще поддерживали только Австрія и Пьемонтъ, а затѣмъ наступила зима и снѣга поневолѣ наложили на воюющихъ перемиріе. Эта зима на 1796 годъ была самая спокойная въ моей жизни. Графъ сидѣлъ безвыходно въ своей комнатѣ; графиня-мать постоянно требовала денегъ; старая бабушка лежала въ постели, не вставая, на попеченіи Вероники и Фаустины. У камина въ кухнѣ засѣдали только монсиньерь Орlando съ

капитаномъ и вѣчно ссорились изъ-за огня. Каждый изъ нихъ имѣлъ свою систему топки камина, каждый хотѣлъ держать въ своихъ рукахъ щипцы и самъ раскладывать полѣнья и уголья, и изъ-за этого ежедневно возникалъ диспутъ, который кончался тѣмъ, что головешки выпадали изъ камина и обжигали хвостъ Марокко, уходявшему съ досадою подъ скамейку. Капитанъ постоянно рассуждалъ о политикѣ; онъ утверждалъ, что успѣхамъ французовъ пришелъ конецъ, что пройдетъ, по крайней мѣрѣ, восемь лѣтъ прежде, чѣмъ они перейдутъ Минчіо, а къ тому времени можно перевести туда противъ нихъ всю Славонію, вооруженную отъ мала до велика.

Однажды газета принесла извѣстіе, что новый генералъ, молодой и почти неизвѣстный, нѣкто Наполеонъ Бонапарте, назначенъ главнокомандующимъ французской альпійской арміи.

— Наполеонъ! Что это за имя? сказалъ капеланъ. — Навѣрное, какой-нибудь схизматикъ.

— Теперь, отвѣчалъ капитанъ, — въ Парижѣ мода на имена, въ родѣ тѣхъ, что даетъ своимъ дѣтямъ синьеръ Антонио Проведони: Бруты, Алкивіады, Мильтіады, Кимоны, — все клички разныхъ проклятыхъ нехристей; надѣюсь, онъ не доведутъ до добра тѣхъ, кто ихъ носитъ.

— Бонапарте, Бонапарте! пробормоталъ минсиньеръ Орландо; — фамилія какъ-будто наша.

— Ахъ, помиуйте! Все это маскарадъ! воскликнулъ капитанъ. — Они выдумали эту фамилію, чтобы насъ одурочить, или, можетъ быть, эти великіе полководцы устыдились играть такую жалкую роль и взяли псевдонимъ. Разумѣется, это такъ! Это хитрость стыда! Наполеонъ Бонапарте! Развѣ можетъ быть такое настоящее имя? Возьмемъ, наприимѣръ: Джорджіо Сандрава или Джавоно Андронни, или Карло Альмовити — вотъ естественныя имена! А то Наполеонъ Бонапарте! На что это похоже?

Такимъ образомъ во Фратѣ было рѣшено, что генералъ Бонапарте — или вымышленное лицо, или псевдонимъ какого-нибудь стараго генерала, который не хочетъ позорить своего имени въ безнадежной войнѣ, или, наконецъ, вымыселъ Директоріи для соблазна итальянцевъ. Но черезъ два мѣсяца вымышленное лицо одержало четыре побѣды, принудило сардинскаго короля просить мира и вступило въ Миланъ при рукоплесканіяхъ народа. Въ іюнь Мантуя

была осаждена и почти вся Италия находилась въ рукахъ французовъ. Венеціанская республика была по-прежнему обезоружена и въ послѣдній разъ пыталась прикрыться нейтралитетомъ. Французскій генералъ пользовался этимъ нейтралитетомъ, какъ ему было угодно. Провинціи, города и замки были заняты французскими войсками и платили контрибуціи. На Гардѣ, на Брентѣ, на Адигѣ были разбиты арміи Вурмзера и Альвинци; Провера сдался подъ Мантуей, а въ фѣвралѣ 1797 года сдалась и самая крѣпость. Во Фратѣ еще сомнѣвались, но въ Венеціи уже трепетали. Подъ впечатлѣніемъ общаго страха трусила и наша графиня, но оставить Венецію не рѣшалась, потому что на материкѣ было еще опаснѣе. Фруиеры возвратились въ Венецію, къ большому огорченію портогруарскаго общества. Тогда и графиня написала сыну, чтобы онъ пріѣхалъ къ ней, потому что въ семьѣ нуженъ мужчина, и привезъ какъ можно больше денегъ. Едва графъ уѣхалъ, какъ война подошла къ самому Фриулю, убѣждая капитана, что молодой французскій генералъ не вымышленное лицо. Вдругъ разнеслась вѣсть, что эрцгерцогъ Карлъ идетъ на Тальяменто съ новой арміей, что французы спѣшать ему на встрѣчу и что, слѣдовательно, нашей стражѣ предстоитъ испытать рѣзню, грабежъ и общее разрушеніе. Все, что могло бѣжать, бѣжало. Дома стояли пустыне, церковныя сокровища зарывались въ землю, патеры переодѣвались въ гражданское платье или бѣжали. Изъ Брешии, Вероны, Бергамо приходили ужасающіе, преувеличенные слухи о жестокостяхъ и насиліяхъ. Бѣжали безъ стыда, не заботясь ни о себѣ, ни о семьяхъ. Капитанъ съ женой удрали, кажется, въ Лугуньяну, гдѣ спрятались у одного рыбака на островѣ лагуны. Монсиньеръ не побѣжалъ дальше Портогруаро, потому что боялся голода больше, чѣмъ Бонапарта. Фульдженціо съ дѣтьми исчезъ. Маркетто заболѣлъ и былъ отправленъ въ больницу. Я едва могъ удержать Фаустину, садовника и дворецкаго; но и на нихъ надежда была плоха. Всѣ окрестныя забуддыги, ободренные общимъ смятеніемъ, буянили и грабили дома, покинутые жителями или плохо защищенные. Я рѣшился, наконецъ, отправиться въ Портогруаро, попросить у вице-капитана дюжину славонскихъ солдатъ для защиты замка и настоять, чтобы монсиньеръ Орландо прислалъ матери какую-нибудь вѣрную сидѣлку. Осѣдлавъ застоявшуюся лошадь Маркетто, я помчался въ городъ.

Въ то время не было ни пара, ни телеграфа, и нельзя было

передавать новости съ быстротой молніи. Во Фрату новости прибывали на спинѣ осла или въ сумкѣ почталіона. Поэтому неудивительно, что на разстояніи трехъ миль отъ замка, въ Портогруаро, я нашель много новаго. Смятеніе тутъ было неслыханное. На площади собралась огромная толпа народа и слышались крики: „Франція“, „свобода“. Я былъ молодъ, былъ врагомъ инквизиціи въ ея представителяхъ, падре Пендола и адвокатъ Ормента, и при видѣ этой толпы, услыхавъ ея восклицанія, я, конечно, остановился. Я искалъ въ толпѣ людей, которые ораторствовали о Спартѣ и Афинахъ въ сенаторскомъ кружкѣ. Но ихъ ни одного не было. Всѣ крикуны были люди мнѣ неизвѣстные, богъ-вѣсть откуда взяшіеся, люди, которыхъ еще вчера можно было считать почти рабами, но сегодня они показывали видъ, что чувствуютъ себя людьми. Не знаю, были-ли они способны быть ими, но сознаніе возможности и обязанности сдѣлаться людьми значило уже не мало. Въ одну минуту я былъ окруженъ толпой. Въ ней было много фратскихъ вассаловъ, знавшихъ мое безпристрастіе и справедливость въ управленіи правосудіемъ округа. Они первые привѣтствовали меня, а остальные, я думаю, были увлечены какъ ихъ криками, такъ и моимъ конемъ и наряднымъ синимъ кафтаномъ.

— Вотъ нашъ канцеліере! закричали первые.— Вотъ синьеръ Карлино... Да здравствуетъ нашъ канцеліере! Да здравствуетъ синьеръ Карлино!

И вся толпа подхватила за ними:

— Да здравствуетъ синьеръ Карлино! Дорогу синьеру Карлино! Говорите, синьеръ Карлино!

Послѣднее предложеніе озадачило меня; я рѣшительно не зналъ, о чемъ говорить; по счастью страшный шумъ дѣлалъ разговоръ невозможнымъ. Но вотъ послышались призывы къ молчанію, требованія слушать меня. Ближайшіе окружили меня стѣной; слѣдующіе остановились поневолю; задніе стали спрашивать, въ чемъ дѣло. „Синьеръ Карлино хочетъ говорить! Молчать! Стойте! Вниманіе! Говорите, синьеръ Карлино!“ Молчаливая, трепещущая, жаждущая моихъ словъ толпа осаждала мою лошадь. Духъ Демосфена дергалъ мой языкъ. Я открылъ ротъ... „Тсъ! Тсъ! Молчаніе! Говорить!“ Первый блинъ вышелъ комомъ; я закрылъ ротъ, ничего не сказавъ.

— Слышали? Что онъ сказалъ? Сказалъ—молчать! Молчите-же! Да здравствуетъ синьеръ Карлино!

Ободренный этимъ, я опять открылъ ротъ и на этотъ разъ произнесъ:

— Граждане (это было любимое слово Амильяра),—граждане, чего вы желаете?

Вопросъ былъ рѣшительнъ. Однимъ этимъ вопросомъ я поставилъ себя на цѣлую ступень выше всякой человѣческой власти. Замокъ Фрата и канцелярія исчезали въ этомъ величіи; я становился диктаторомъ, Вашингтономъ верхомъ на конѣ среди пѣшей, бессмысленной толпы.

— Чего хотимъ? Что онъ сказалъ?

— Спрашиваетъ, чего мы хотимъ. Хотимъ свободы! Да здравствуетъ свобода! Хлѣба! Хлѣба! Поленты! Поленты! кричали крестьяне. Эти крики о хлѣбѣ примирили сельскихъ крестьянъ съ городскими ремесленниками. — Хлѣба! Хлѣба! Свободы! Поленты! Отворить хлѣбные магазины! Тише! Молчать! Синьеръ Карлино говорить! Молчать!

Дѣйствительно, на меня напалъ припадокъ краснорѣчія.

— Граждане, сказалъ я громкимъ голосомъ, — хлѣбъ свободы самый здоровый хлѣбъ! Каждый имѣетъ на него право, ибо чѣмъ былъ-бы человѣкъ безъ хлѣба и безъ свободы? Я говорю, безъ хлѣба и безъ свободы чѣмъ былъ-бы человѣкъ?

Въ толпѣ стали шопотомъ повторять этотъ мудреный вопросъ, но молчаніе не было нарушено и вниманіе удвоилось; впопыхахъ я сталъ ломать голову, чтобы придумать себѣ отвѣтъ, и прибѣгъ къ энергической метафорѣ:

— Человѣкъ, сказалъ я,—былъ-бы бѣшеной собакой, собакой, потерявшей хозяина!

— Вивать! Вивать! Чудесно! Полента! Полента! Мы точно бѣшенныя собаки! Вивать синьеръ Карлино! Отлично говорить синьеръ Карлино! Синьеръ Карлино все знаетъ, все видитъ!

Синьеръ Карлино былъ-бы очень затрудненъ объяснить, какимъ образомъ человѣкъ безъ свободы можетъ быть похожъ на собаку безъ хозяина, т.-е. имѣющую полную свободу; но не время было пускаться въ такія тонкости.

— Граждане, продолжалъ я,—вы хотите свободы и поэтому самому уже имѣете ее. Что касается хлѣба и поленты, я не могу

дать вамъ ихъ; имѣй я ихъ, я охотно пригласилъ-бы васъ обѣдать. Но Провидѣніе заботится обо всемъ; положимся на него!

Это предложеніе было встрѣчено длиннымъ и разнообразнымъ ропотомъ, обнаружившимъ, что въ толпѣ оно принято различно. Затѣмъ раздались крики, угрозы и предложенія, не вполне согласныя съ моимъ.

— Къ магазинамъ! Къ магазинамъ! Выберемъ подесту! Бѣжать къ колокольнѣ! Вызвать монсиньера епископа! Нѣтъ, нѣтъ! Къ вице-капитану!

Верхъ одержало мнѣніе идти къ епископу и я съ лошадыо былъ увлеченъ къ его дому.

— Говорите, сибьеръ Карлино! Монсиньера! Хотимъ видѣть монсиньера епископа!

Такимъ образомъ, мое предложеніе предаться Провидѣнію было принято съ тѣмъ измѣненіемъ, что рѣшено было обратиться къ его законному представителю. Въ домѣ епископа происходило столпотвореніе. Патеры, каноники и монахи спорили между собой и ни къ какому рѣшенію не приходили. Падре Пендола, котораго власть колебалась, рѣшился воспользоваться случаемъ, чтобы утвердить ее геройскимъ подвигомъ. Онъ отворилъ балконную дверь и смѣло вышелъ на балконъ, но былъ встрѣченъ залпомъ свистковъ и криковъ; нѣкоторые наклонились, чтобы набрать камней. Увидя это, онъ поблѣднѣлъ и послѣдно отступилъ. Монсиньеръ ди-Сант-Андреа душевно порадовался этой неудачѣ своего врага. Епископъ обратился къ нему, прося его спросить народъ, чего онъ отъ него желаетъ. Вслѣдъ затѣмъ на балконѣ показалась сановитая фигура каноника; въ толпѣ послышались призывы къ молчанію и одобрительный ропотъ.

— Братъ, сказалъ каноникъ, — монсиньеръ епископъ поручилъ мнѣ спросить васъ, для чего вы пришли шумѣть подъ его окнами?

Послѣдовава минута молчанія, потому что никто дѣйствительно не зналъ, зачѣмъ пришелъ. Наконецъ одинъ голосъ крикнулъ: — Хотимъ видѣть монсиньера епископа! — И тутъ тысяча голосовъ завопила: — Монсиньера епископа! хотимъ видѣть монсиньера епископа!

Каноникъ ушелъ. Окружающіе епископа раздѣлились на два противоположныя мнѣнія: одни находили, что ему слѣдуетъ показаться народу, другіе считали это опаснымъ. Епископъ послѣдовалъ

первому мнѣнію и вышелъ на балконъ. Когда утихли крики, поднявшіеся при его появленіи, онъ возвысилъ голосъ и сказалъ:

— Дѣти мои, чего вы хотите отъ вашего духовнаго отца?

Опять, какъ послѣ вопроса каноника, настала минута молчанія; нѣкоторые стали даже складывать руки на молитву, и вдругъ раздался единогласный крикъ:

— Благословенія, благословенія!

Всѣ стали на колѣни и епископъ благословилъ толпу. Онъ открылъ ротъ, чтобы произнести нѣсколько успокоительныхъ словъ, но толпа уже поднималась, крича, что надо идти къ вице-капитану, и мы двинулись къ зданію подестеріи. Четыре славонскихъ солдата, сидѣвшіе у воротъ, бросились въ сѣни и стали запираеть двери. Послѣ долгихъ криковъ и долгаго раздумья синьеръ вице-капитанъ рѣшился показаться народу; толпа была невооружена, такъ что у него хватило духу предстать предъ нею.

— Что это за новости, дѣти мои? спросилъ онъ нетвердымъ голосомъ;— сегодня будни, у каждаго изъ васъ семья, какъ и у меня; каждый долженъ-бы работать, а вмѣсто того...

Тутъ виваты въ честь свободы заглушили его голосъ.

— Свободу вы, кажется, взяли себѣ, продолжалъ онъ, выждавъ молчанія;— пользуйтесь ею, дѣти мои; въ это дѣло я не могу входить.

— Прочь славонцы! заорали нѣкоторые.

— Французы! Да здравствуютъ французы! Хотимъ свободы! подхватили другіе.

Только теперь вспомнилъ я о Фратѣ и о томъ, зачѣмъ пріѣхалъ въ Портогруаро; но синьеру вице-капитану приходилось самому плохо и онъ, конечно, не могъ думать объ оказаніи помощи другимъ. Онъ пытался уйти съ балкона, но крики толпы останавливали его.

— Но, господа, бормоталъ онъ,—я не понимаю, какая польза мнѣ и вамъ изъ того, что я торчу здѣсь на выставкѣ? Я просто подчиненный, слѣбое орудіе его превосходительства г. намѣстника и совершенно завишу отъ него...

— Нѣтъ, нѣтъ! орала толпа.— Не хотимъ знать намѣстника! Назначимъ авогадора! Выбирать, выбирать авогадора! Вы будете повиноваться нашему авогадору!

— Но послушайте, отчаянно взывалъ вице-капитанъ, — вѣдь

это настоящій бунтъ! Хорошо выбирать авогадора, но дайте мнѣ время написать объ этомъ его превосходительству намѣстнику, дабы онъ извѣстилъ свѣтлѣйшую колегію.

— Хотимъ авогадора! Выбирать, выбирать авогадора!

Поднялся отчаянный шумъ. Выкрикивали разные имена, но они терялись въ шумѣ. Вдругъ одинъ крестьянинъ закричалъ изо всѣхъ силъ: „Назначимъ синьера Карлино!“ Въ ту-же минуту всѣ подхватили:

— Вотъ нашъ авогадоръ! Да здравствуетъ синьеръ Карлино!

Меня окружили, чуть не подняли на руки мою лошадь, махали мнѣ платками и шляпами и рукоплескали, какъ актеру, хорошо исполнившему свою роль. Вице-капитанъ смотрѣлъ на меня съ балкона, какъ большая цѣпная собака смотритъ на маленькую задорную дворняшку; но всякій разъ, какъ онъ пытался удалиться, толпа поднимала крикъ, грозя зажечь домъ, если вице-капитанъ не будетъ повиноваться новому авогадору.

— Да, господа, только разойдитесь; пришлите ко мнѣ синьера авогадора, и мы сговоримся.

Толпа шумѣла, сама не зная, изъ-за чего; нѣкоторымъ потѣха эта надѣла и они начинали расходиться по домамъ. Я не зналъ, зачѣмъ меня выбрали въ авогадоры и о чемъ мнѣ предстоитъ совѣщаться съ вице-капитаномъ; тѣмъ не менѣе я былъ очень доволенъ своимъ возвышеніемъ и готовъ былъ всегъ пожертвовать ради такой славы.

— Отворите двери! Впустите авогадора! закричала толпа.

— Господа, отвѣчалъ вице-капитанъ, — у меня жена и дѣти, и я не хочу уморить ихъ со страха. Я отворю двери, когда вы разойдетесь. Вы увидите, что я желаю вамъ добра. Заключимъ ясный договоръ и прочную дружбу.

Народъ не хотѣлъ расходиться, и я рѣшился пригласить его къ этому, отчасти потому, что усталъ сидѣть верхомъ, а отчасти потому, что мнѣ нетерпѣливо хотѣлось поскорѣе трактовать съ вице-капитаномъ на равной ногѣ.

— Граждане, сказалъ я, — благодарю васъ и буду вамъ вѣчно благодаренъ. Я тронутъ и польщенъ такими доказательствами привязанности и уваженія. Но синьеръ вице-капитанъ правъ. Онъ вѣрить намъ, и мы должны выказать довѣріе къ нему. Разойдитесь,

будьте покойны, подождите меня на площади. А я пойду отстаивать ваши права!

— Вивать авогадоръ! Прекрасно! Отлично! На площадь, на площадь! Отворите хлѣбные магазины!

— Да, будьте покойны, положитесь на меня, справедливость будетъ воздана вамъ, а пока идите ждать меня на площади.

— На площадь, на площадь! Вивать синьеръ Карлино! Вивать авогадоръ!

Толпа шумно ринулась на площадь, гдѣ ограбала нѣсколько булочныхъ и овощныхъ лавокъ; но дѣло кончилось пустяками и было больше шума, чѣмъ разрушенія. Немногіе остались передъ домою вице-капитана. Я съ удовольствіемъ слѣзъ съ лошади и, поручивъ ее одному изъ нихъ, сталъ дожидаться у двери, чтобы мнѣ отворили. Дѣйствительно, славонскій капраль пріотворилъ вскорѣ дверь съ крайней осторожностью и я вошелъ; тогда онъ тотчасъ защелкнулъ замки и задвинулъ засовы. Услышавъ эти звуки, я возмѣлъ на минуту подозрѣніе, но успокоился мыслью, что я важная особа, и вошелъ, держа голову высоко и уперевъ руку въ бокъ, какъ-будто имѣлъ въ своемъ карманѣ весь народъ, готовый защищать меня. Вице-капитанъ ожидалъ меня въ залѣ, окруженный толпой чиновниковъ и сбировъ. вмѣсто недавней униженной фізіономіи онъ имѣлъ видъ строгій и грозный и, сдѣлавъ шагъ мнѣ на встрѣчу, спросилъ меня сурово:

— Позвольте узнать, какъ ваше имя?

Я былъ очень радъ, что онъ заговорилъ первый, потому что рѣшительно не зналъ, съ чего начать и о чемъ повести рѣчь. Вопросъ его подстрекнулъ меня и я отвѣчалъ высокогѣрно:

— Я Карло Альтовити, дворянинъ изъ Тарчелато, фратскій канцеліере, а нынѣ авогадоръ портогруарскаго народа.

— Авогадоръ, авогадоръ... пробормоталъ вице-капитанъ. — Надѣюсь, вы не приняли серьезно шутку пьяной толпы; это было-бы слишкомъ рискованно для васъ.

Въ первую минуту я такъ взбѣсился, что чуть было не надѣлалъ какой-нибудь глупости; по чувство собственнаго достоинства удержало меня и я отвѣчалъ очень сдержанно, что, конечно, я недостоинъ чести, оказанной мнѣ народомъ, но разъ получивъ его довѣріе, постараюсь оправдать его, и пришелъ къ нему спросить его, какія уступки онъ расположенъ сдѣлать.

— Какія уступки? Я ничего не знаю, отвѣчалъ онъ. — Изъ Венеціи никакихъ распоряженій не приходило, а свобода въ свѣтлѣйшей республикѣ такая древняя вещь, что портограуарскому народу не приходится ее выдумывать сегодня.

— Позвольте; оставимъ эту свободу свѣтлѣйшей, возразилъ я, изощренный въ подобныя диспутахъ еще въ Падуѣ. — Свободой у насъ пользуются только развѣ инквизиторы. Что-же касается насъ, фриульцевъ, подданныхъ свѣтлѣйшей, то ни въ какомъ календарѣ не показано, что мы свободны.

— Превосходство нашей инквизиціи доказано вѣями, сказалъ капитанъ, впрочемъ, довольно нерѣшительнымъ тономъ.

— Въ прежніе вѣва она, можетъ быть, приносила пользу странѣ, но теперь мы думаемъ иначе и освобождаемъ ее навсегда отъ труда служить намъ.

— Синьеръ... синьеръ Карлино, кажется, сказалъ вице-капитанъ, — замѣчу вамъ, что я еще чиновникъ свѣтлѣйшей республики и не могу позволить...

— Ахъ, что объ этомъ говорить! прервалъ я; — развѣ въ Веронѣ, Брешии, Падуѣ и вездѣ, куда вступили французы, спрашивали позволенія у чиновниковъ свѣтлѣйшей?

— Все это пустяки! воскликнулъ вице-капитанъ. — Уступаютъ притворно, чтобы вѣрнѣе послѣ все отобрать. Мнѣ извѣстно изъ вѣрныхъ источниковъ, что нобиль Оттолинъ стоитъ съ тридцатитысячнымъ войскомъ въ бергамскихъ долинахъ, и увидимъ, вернутся-ли господа французы, какъ пришли.

— Позвольте, возразилъ я, — дѣло не въ томъ, что завтра будетъ. Надо сегодня-же дать отвѣтъ на требованія моихъ довѣрителей. Надо отворить казенные магазины, которые теперь не нужны, потому что славонцы могутъ идти во-свояси, когда имъ угодно.

Между чиновниками и сбирами послышался ропоть; но вице-капитанъ былъ сдержаннѣе всѣхъ.

— Я вице-капитанъ милиціи и тюремъ, отвѣчалъ онъ; — этотъ господинъ — (онъ указалъ на толстяка съ физиономіей, усыпанной бородавками) — кассиръ пошлинъ; этотъ (субъектъ длинный и тощій, какъ образъ голода) — смотритель казенныхъ магазиновъ. Наши должности вѣрены намъ Синьеріей, и мы не можемъ признать васъ законной властью, не можемъ повиноваться вамъ безъ предписанія Синьеріи.

— *Cogro e sangue!* закричалъ я. — Что-же я, авогадоръ или нѣтъ?

Всѣ переглянулись, пораженные моей смѣлостью; увидѣвъ произведенный эффектъ, я окончательно вышелъ изъ себя.

— Господа, я обѣщаль охранять интересы моихъ довѣрителей и отстою ихъ. Мнѣ къ вечеру надо вернуться во Фрату и я хочу до вечера покончить всѣ эти дѣла. Понимаете, господа? Иначе могутъ произойти печальныя послѣдствія.

— Понимаю, сказалъ вице-капитанъ, тверже, чѣмъ я ожидалъ отъ него. — Но безъ приказанія Синьеріа я не признаю другой власти, кромѣ намѣстника. Народъ-же воздержится отъ безчинствъ, пока вы будете оставаться съ нами въ качествѣ заложника.

— Какъ, меня взять въ заложники? Авогадора?

— Вы вовсе не авогадоръ. Я вице-капитанъ.

— Увидимъ!

— Конечно, увидимъ. Мы уже знаемъ кое-что о васъ и какъ вы уважаете довѣренныхъ лицъ инквизиціи; я объявляю васъ арестованнымъ.

Вице-капитанъ произнесъ эти слова трагическимъ тономъ и съ величественнымъ жестомъ. Его сборы окружили меня, какъ-будто желая воспрепятствовать мнѣ убѣжать, хотя всѣ двери были заперты. Я скрестилъ руки на груди и обвелъ ихъ презрительнымъ взглядомъ, являя великолѣпное зрѣлище авогадора безъ народа и безъ страха. Но это классическое зрѣлище представлялось только одну минуту.

Неистовые крики, галопъ лошадей и шумъ бѣгущей толпы на улицѣ привлекли вниманіе моихъ непріятелей. Всѣ бросились къ окнамъ и услышали крики:

— Французы! французы! Да здравствуетъ свобода! Да здравствуютъ французы!

Всѣ мои враги окаменѣли. Я бросился къ окошку и увидѣлъ въводъ французской легкой кавалеріи, окруженный бѣснущейся толпой народа. Солдаты принялись стучать копытами въ двери, сливая свои: *peste!* и *sacrebleu!* съ привѣтственными возгласами народа. Я закричалъ, что двери сейчасъ отпрутъ, и слова мои были приняты новымъ взрывомъ восторженныхъ криковъ толпы.

— Браво, синьеръ авогадоръ! Выходите, синьеръ авогадоръ!

Я поклонился и побѣждалъ приказать отворить дверь. Но никто не слушалъ меня; всѣ бѣгали, какъ безумные, по комнатамъ, прятались въ пустые шкафы архива; другіе искали ключей отъ тюрьмы, чтобы сѣсться съ арестантами; славонцы убѣжали боковой дверью, выходившей въ переулокъ. Мнѣ пришлось самому отворить двери. Едва онѣ отворились, одинъ проклятый сержантъ бросился въ сѣни верхомъ, выставивъ впередъ копье, такъ что чуть не прокололъ меня насквозь. За нимъ хлынули остальные на лошадяхъ, хотя отъ сѣней начиналась лѣстница. Они столпились въ узкомъ пространствѣ передъ лѣстницей, ругаясь и крича. Наверху вице-капитанъ и чиновники, слушая этотъ адскій шумъ, дрожали отъ страха. Я сказалъ сержанту, что ему надо слѣзть съ лошади, если онъ хочетъ войти въ домъ. Къ моему удивленію, онъ отвѣчалъ мнѣ хорошо по-итальянски, что ему надо видѣть вице-капитана и смотрителя магазиновъ и что если они сейчасъ не явятся, онъ велитъ повѣсить ихъ. Народъ привѣтствовалъ это рѣшеніе восторженнымъ крикомъ. Наконецъ сержантъ слѣзъ съ лошади и пошелъ со мной наверхъ. По этому случаю народъ снова прокричалъ мнѣ вивать. Послѣ долгихъ поисковъ мы нашли вице-капитана, кассира и смотрителя магазиновъ лежавшими вучей въ углу чердака. Когда мы вывели ихъ оттуда, намъ пришлось спасать ихъ отъ ярости народа, нахлынувшего въ подестерію. Мои увѣщанія и ругательства сержанта укротили его. Тогда сержантъ потребовалъ отъ властей 5,000 дуватовъ и велѣлъ отккрыть магазины для блага свободы и пользы французскаго войска. Народъ и это распоряженіе встрѣтилъ виватами. Трое представителей власти дрожали какъ листья; однако кассиръ занкнулся, что не имѣетъ распоряженія, что если-бы была употреблена сила...

— Сила или не сила, что тутъ разсуждать, воскликнулъ грозно сержантъ. — Вчера утромъ генераль Бонапартъ одержалъ побѣду на Тальяменто; мы проливали кровь за свободу, а свободный народъ станетъ отказывать намъ въ бездѣлицѣ! Пять тысячъ дуватовъ должны быть уплачены черезъ часъ, а остальное, что есть въ кассѣ, приказано предоставить въ распоряженіе народу. Что касается магазиновъ, то по снабженіи лагеря въ Диньяно, они останутся отккрыты для бѣднѣйшихъ семействъ. Вотъ распоряженіе нашего генерала!

— Да здравствуютъ французы! Долой сан-маркистовъ! крича-

на толпа, ломая мебель и выбрасывая въ окна бумаги. Но замѣчательно, что, несмотря на страшную опасность, имъ грозившую, португальскія власти все-таки не освободились отъ страха передъ ужаснымъ призракомъ инквизиціи. Вице-капитанъ, еле живой отъ ужаса, вдругъ забормоталъ:

— Господа, почтенный г. офицеръ, народъ, какъ вы говорите, свободенъ, мы... мы тутъ не при чемъ... Вы знаете, гдѣ магазины и касса. Вотъ—(онъ указалъ на меня)—превосходительный г. авогадоръ, нынче назначенный; сдѣлайте одолженіе, обратитесь къ нему. А мы... отрезаемся... слагаемъ наши обязанности въ руки... въ руки...

Онъ рѣшительно недоумѣвалъ, въ чьи руки можно законно сложить обязанности. Но тутъ раздались новые крики:

— Да здравствуютъ французы! Да здравствуетъ синьеръ авогадоръ!

Сержантъ повернулся спиной къ вице-капитану и вышелъ со мной изъ подестеріи. По дорогѣ я замѣтилъ сержанту, что у меня нѣтъ ключей отъ кассы и магазиновъ, но онъ только улыбнулся презрительно и прищипорилъ лошадь. Двери были выломаны двумя солдатами. Сержантъ взялъ всѣ деньги изъ кассы, сказавъ, что ихъ только четыре тысячи. Потомъ пошли къ магазинамъ, у которыхъ уже стояли взятые у обывателей запряженные возы подъ прикрытіемъ отряда стрѣлковъ. Зерно и мука были быстро нагружены на нихъ, а народу досталась мучная пыль, облакомъ вылетавшая изъ оконъ магазиновъ. Это не мѣшало ему, впрочемъ, кричать:

— Да здравствуютъ французы!

Сержантъ обратился ко мнѣ, величая меня черезъ каждыя два слова гражданиномъ авогадоромъ; онъ объявилъ мнѣ, что я спаситель отечества и пріемный сынъ французскаго народа, послѣ чего ускакалъ съ своимъ отрядомъ вслѣдъ за обозомъ и вскорѣ исчезъ въ столбѣ пыли. Народъ, въ томъ числѣ и я, остался озадаченнымъ и недоумѣвающимъ. Еще нѣкоторое время раздавались крики въ честь французовъ и свободы, но объ авогадорѣ не было уже помину. Это образумило меня и я началъ думать о покинутомъ мною замкѣ и не на шутку тревожиться о томъ, чтѣ тамъ могло случиться въ этотъ тревожный день. Лошади я уже не хотѣлъ отыскивать и отправился во Фрату пѣшекомъ, въ невеселомъ раздумьи о непрочности мірскаго величія, объ измѣчивости тол-

пы и о странномъ образѣ дѣйствій рыцарей свободы. По дорогѣ я вездѣ видѣлъ слѣды буйства и разрушенія, что еще болѣе усиливало мою тревогу. Безпокойство мое оказалось не напраснымъ. Фрата была поставлена вверхъ дномъ. Дома опустѣли; по улицамъ валялись обломки телѣгъ, мебели и прочей хозяйственной утвари; кое-гдѣ дымились остатки костровъ. На площади остались слѣды происходившей здѣсь оргіи: куски мяса, сырого и полусырого, разлитое море вина, разорванные мѣшки муки, обломки посуды. Выпущенный изъ хлѣвовъ скотъ бродилъ вездѣ. Все это при лунномъ свѣтѣ имѣло фантастическій видъ. Я бросился въ замокъ, крича изо всѣхъ силъ: „Джакомо! Лоренцо! Фаустина!“ — но голосъ мой терялся въ пустыхъ коридорахъ и только ржаніе лошади отвѣчало мнѣ. То была лошадь Маркетто, вернувшаяся сама домой изъ Портогуаро, выказавъ больше вѣрности, чѣмъ всѣ жившія въ замкѣ двуногія животныя, имѣвшія претензію на разумъ. Меня охватилъ ужасъ при мысли о томъ, что стало съ старой графиней, и я ринулся къ ея комнатѣ. Въ домѣ было совершенно темно, такъ что я не могъ видѣть безпорядка, царствовавшего въ комнатахъ. Но подвертывавшаяся мнѣ подъ ноги разломанная и опрокинутая мебель, среди которой я рисковалъ разбить себѣ носъ, доказывала, что въ домѣ не все благополучно. Въ страшномъ ужасѣ вбѣжалъ я въ темную комнату старухи, громкимъ голосомъ зовя ее. Въ отвѣтъ мнѣ послышался въ темнотѣ странный, ужасающій звукъ, въ которомъ хрипъ агоніи сливался съ жалобнымъ плачемъ ребенка.

— Синьера! Синьера! завопилъ я, чувствуя, что волосы встаютъ на мнѣ дыбомъ;—это я, Карлино! Отвѣчайте!

Я услышалъ шорохъ ворочающагося тѣла, и голосъ, въ которомъ я едва узналъ голосъ старой графини, произнесъ:

— Послушай, Карлино, за неизмѣнимъ священника я исповѣдаюсь тебѣ. Знай-же... знай, я никогда не желала ничего дурного... я дѣлала все добро, какое могла... любила моихъ дѣтей, внучатъ, родителей... любила людей... надѣялась на Бога... Теперь мнѣ сто лѣтъ. Сто лѣтъ, Карлино! И до чего дожила я? Мнѣ сто лѣтъ, Карлино, и я умираю въ одиночествѣ, въ скорби, въ отчаяніи!...

Я дрожалъ, слушая этотъ лепетъ страдальцы, пробудившейся только для того, чтобы почувствовать ужасъ смерти.

— Синьера, воскликнулъ я, — синьера! Развѣ вы не вѣрите въ Бога?

— До сихъ поръ вѣрила я, отвѣчала она слабѣющимъ голосомъ, въ которомъ слышалась усмѣшка полного отчаянія. Я бросился къ ней и схватилъ руку, уже похолодѣвшую. Несмотря на мракъ, мнѣ казалось, что я вижу ее, вижу выраженіе предсмертнаго проклятiя на ея всегда кроткомъ лицѣ: проклятiе жизни, обманчивой и коварной, ведущей насъ мимо очаровательныхъ береговъ къ ужасному кораблекрушенію; проклятiе воздуху, ласкающему насъ въ дѣтствѣ и старости и душащему насъ при смерти; проклятiе семьѣ, любящей и тѣшащей насъ среди радостей жизни и побивающей насъ въ послѣднюю минуту въ жертву отчаянію одиночества; проклятiе миру души, который кончается мукой тоски; проклятiе любви, пожинаящей неблагоприятность!

Я стоялъ передъ нею, держа ея холодную руку, безмолвный и холодный какъ она. Вдругъ комната озарилась свѣтомъ. Вошли со свѣчей капеланъ и Спаквафумо. Во всякое другое время меня поразили-бы ихъ блѣдность, беспорядокъ въ одеждѣ и разстроенный видъ; но теперь я ничего не видѣлъ. Священникъ подошелъ къ кровати и, посмотрѣвъ на покойницу, сказалъ:

— Собаки эти французы! Вотъ она умерла безъ напутствiя! Богъ видитъ, это не моя вина!

Дѣйствительно, онъ потерпѣлъ оскорбленiя отъ французовъ и былъ силой выгнанъ ими изъ замка. Избитый, окровавленный, въ растерзанной одеждѣ, онъ все-таки нѣсколько разъ пытался вернуться, но пока французы занимали замокъ, онъ не могъ проникнуть туда. Спаквафумо явился къ нему на помощь, но было уже поздно. Я не хотѣлъ усиливать горе добраго священника рассказомъ о послѣднихъ минутахъ графини. Мы уложили тѣло, благоговѣнно сложивъ ему руки на груди, что ужаснымъ образомъ противорѣчило тѣмъ чувствамъ, въ которыхъ она умерла. Я не могъ дольше выдержать и вышелъ. На другой день я узналъ подробности нашествiя и разоренiя. Я не хотѣлъ останавливаться мыслями на оскорбленiяхъ, которымъ, какъ все доказывало, подверглась несчастная старуха. Мой энтузіазмъ къ французамъ значительно охладѣлъ, хотя я рассуждалъ самъ съ собой, что французская нація не виновата въ буйствѣ баталiона солдатъ, и утѣшалъ себя мыслью, что генераль Бонапарте, который, по слухамъ, былъ

человѣкъ справедливый, накажетъ виновныхъ. Я разузналъ, что они были изъ того-же баталіона стрѣлковъ, который конвоировалъ добычу, взятую въ Портогруаро. Поэтому черезъ два дня, похоронивъ графиню съ подобающими почестями въ фамильномъ склепѣ, я отправился въ Удине, гдѣ была главная квартира французской арміи.

Въ Удине царствовалъ хаосъ. Гости приказывали, хозяева повиновались. Венеціанскія власти превратились въ нули; народомъ заправляли крикуны, все больше ничтожныя натурішки, которыя наканунѣ привѣтствовали венгерскихъ гусаръ и богемскихъ драгунъ, а теперь славословили парижскихъ санкюотовъ. Главномандующій французомъ, Наполеонъ Буонапарте, жилъ въ домѣ Флоріо. Я сказалъ, что имѣю сообщить ему важныя извѣстія изъ провинціи, и легко получилъ аудіенцію. Онъ принялъ меня за просто, въ своей комнатѣ, въ то время, какъ камердинеръ брилъ его. Онъ поваялся мнѣ симпатичнымъ человѣкомъ.

— Что вамъ угодно, гражданинъ? спросилъ онъ меня, вытирая ротъ угломъ салфетки.

— Гражданинъ генералъ, отвѣчалъ я съ легкимъ поклономъ, чтобы не оскорбить его республиканской скромности, — я долженъ сообщить вамъ очень важныя и крайне щекотливыя извѣстія.

— Говорите, сказалъ онъ и прибавилъ, кивнувъ на своего слугу, продолжавшаго свое дѣло:—онъ понимаетъ по-итальянски не больше моей лошади.

— Въ такомъ случаѣ я буду говорить со всей откровенностью человѣка, довѣряющагося справедливости борца за право и свободу. Ужасное преступленіе было совершено три дня тому назадъ во Фратъ нѣсколькими французскими стрѣлками. Въ то время, какъ главный отрядъ ихъ грабилъ магазины и кассы въ Портогруаро, другіе ворвались въ замокъ, принадлежащій почтенной дворянской фамиліи, и нанесли ужасныя оскорбленія больной хозяйкѣ, которая умерла съ отчаянія.

— Вотъ что дѣлаетъ свѣтлѣйшая съ моими солдатами! вскричалъ генералъ, вскакивая со стула, такъ-какъ камердинеръ кончилъ бритье. — Народу говорятъ, что это убійцы, еретики; при появленіи ихъ всѣ бѣгутъ, покидая дома. Какъ вы хотите, чтобы подобный пріемъ располагалъ къ человѣколюбію и умѣренно-

сти? Я вамъ скажу, мнѣ надо вернуться назадъ, очистить свой путь отъ этихъ докучныхъ насѣкомыхъ.

— Гражданинъ генералъ, я понимаю, что предубѣжденія могли погѣшать радушію перваго пріема; но мнѣ кажется, что именно въ видахъ искорененія этихъ предубѣжденій торжественный примѣръ правосудія...

— Ахъ, что вы мнѣ толкуете о правосудіи, когда мы наканули генеральнаго сраженія на Изонцо! Намъ слѣдовало оказать правосудіе два или три года тому назадъ, а теперь приходится пожинать, что было посеяно. Но мнѣ утѣшительно, по крайней мѣрѣ, видѣть, что худшее зло происходитъ не отъ моихъ солдатъ. Бергама, Брешиа и Крема уже отдѣлились отъ венеціанской республики и ваша олигархія убѣдится, наконецъ, что худшіе ея враги не французы. Часъ свободы пробилъ; надо возстать и сражаться за нее или отдаться въ рабство. Французская республика протягиваетъ руку всѣмъ народамъ, желающимъ освободиться и вступить въ полное обладаніе своими прирожденными и неотъемлемыми правами. Свобода стоитъ жертвъ; надо умѣть переносить нѣкоторыя частныя невзгоды.

— Но, гражданинъ генералъ, я не говорю противъ пожертвованій ради свободы. Но мнѣ кажется, что убійство старой графини...

— Повторяю, гражданинъ: кто возмутилъ духъ моихъ солдатъ? кто возстановилъ противъ нихъ сельскихъ патеровъ и крестьянъ? Венеціанскій сенатъ и инквизиція. Не сомнѣвайтесь, правосудіе не замедлитъ постигнуть истинныхъ виновниковъ.

— Все-таки мнѣ кажется, что примѣръ могъ-бы предупредить повтореніе подобныхъ безпорядковъ.

— Примѣръ, гражданинъ, будетъ поданъ моими стрѣлками на полѣ битвы. Не сомнѣвайтесь, и они получаютъ возмездіе; но вѣдь не требуете-же вы, чтобы я ихъ всѣхъ казнилъ? Хорошо; они будутъ поставлены въ первый рядъ и своею кровью, пролитой на благо свободы, омоютъ свою вину. Такимъ образомъ, зло обратится на добро и народному дѣлу послужитъ тотъ самый проступокъ, который запятналъ его.

— Гражданинъ генералъ, позвольте мнѣ замѣтить...

— Довольно, гражданинъ, я уже все замѣтилъ. Прежде всего благо республики. Хотите быть герцемъ? Забудьте частныя непри-

ятности и присоединитесь къ намъ заодно со всѣми тѣми, кто и у васъ давно ведутъ упорную, подземную борьбу противъ вашей инквизиціи. Черезъ двѣ недѣли увидимся. Тогда миръ, слава, свобода заставятъ васъ забыть эти временныя излишества.

Генераль кончилъ одѣваться и пошелъ въ залу, гдѣ его ожидали офицеры. Я вышелъ побѣжденный имъ. Пышныя слова его о народномъ благѣ и свободѣ вскружили мнѣ голову. Правда, онъ показался мнѣ сухъ и безсердеченъ; но я объяснялъ себѣ эти свойства его какъ необходимыя качества его ремесла, и ужасная смерть графини казалась мнѣ каплей въ сравненіи съ моремъ блаженствъ, которое откроетъ намъ французская армія. Капеланъ былъ очень удивленъ, когда я возвратился во Фрату съ пустыми руками, но успокоенный и почти довольный. Монсеньеръ Орландо и капитанъ, вернушіеся въ замокъ, съ ужасомъ выслушали мой рассказъ о свиданіи съ Бонапарте.

— И вы его видѣли? спросилъ капитанъ.

— Видѣлъ; онъ даже при мнѣ брился.

— А, онъ брѣется. Я думалъ, онъ съ бородой.

— Кстати, сказалъ монсеньеръ:— со смерти маменьки (вздохъ) я не брилъ ни бороды, ни головы. Фаустина (она тоже вернулась), согрѣй воды.

Положительно животныя выказывали у насъ болѣе человѣческія чувства, чѣмъ люди; изъ людей я не исключаяю и себя, такъ быстро утратившаго впечатлѣніе страшной смерти графини. Изъ животныхъ-же, кромѣ лошади, вернувшейся, какъ сказано выше, въ свою конюшню, трогательный примѣръ показали Марокко и его пріятель, котъ. Марокко палъ жертвой геройскаго мужества, выказаннаго имъ при нашествіи французовъ на замокъ; одинъ солдатъ, атакованный имъ, проткнулъ его штыкомъ. Когда я вернулся изъ Удине, трупъ его еще валялся на дворѣ, хотя уже сильно разложившійся. На трупъ его неотступно сидѣлъ его вѣрный другъ, жалобно мурлыча и отгоняя воронъ. Когда я велѣлъ закопать собаку, котъ едва можно было снять съ тѣла, а потомъ онъ каждую ночь разрывалъ могилу. Наконецъ, я велѣлъ навалить на нее камень. Котъ почти не сходилъ съ этого камня втеченіи нѣсколькихъ недѣль и, наконецъ, умеръ, несмотря на мои попеченія.

Между тѣмъ я жилъ во Фратѣ уже далеко не такъ покойно, какъ прежде. Идеи борьбы, дѣятельнаго участія въ политикѣ не

давали мнѣ покое. Я надѣялся играть роль въ дѣлахъ, особенно въ виду предстоящаго паденія венеціанской республики, и къ этой надеждѣ примѣшивалась мысль, что только этотъ путь можетъ приблизить меня къ Пизанѣ. Я занимался еще въ канцеляріи, но большую часть времени проводилъ въ разсужденіяхъ о политикѣ съ Донато и съ Бруто Проведони. Послѣдній былъ самымъ горячимъ поклонникомъ французовъ, а съ сестрами его мы, напротивъ, постоянно спорили и даже ссорились, когда онѣ напоминали намъ безчинства французскихъ солдатъ.

Вдругъ однажды, въ концѣ марта, я получилъ письмо отъ графини. Нѣсколько разъ перечиталъ я подпись: да, такъ, дѣйствительно отъ нея. Дѣло въ томъ, что письмо начиналось словами: *Дорогой племянникъ*. Что-бы это значило? Содержаніе письма было еще удивительнѣе. Какъ-бы вы думали, кто пріѣхалъ въ Венецію? Мой отецъ! Графиня писала, чтобы я готовился занять въ обществѣ роль, достойную патриція изъ благороднаго дома Альтовити; что отецъ мой самъ не пишетъ мнѣ, потому что забылъ писать по-итальянски, что она живетъ уже не во дворцѣ Фруміеровъ, а на квартирѣ, и цѣлуетъ милого племянника за себя и за кузину Пизану.

Я обезумѣлъ и отъ удивленія, и отъ радости. Сердце мое жаждало любви, и я сгоралъ нетерпѣніемъ обнять отца. Въ тотъ-же день сдалъ я дѣла Фульженціо и отправился въ Венецію.

ГЛАВА XI.

Мой отецъ. — Мое поступленіе въ Большой Совѣтъ въ качествѣ венеціанскаго патриція. — Други и недруги отечества злоумышляютъ противъ правительства. — Паденіе венеціанской республики.

Первая особа, которую я увидѣлъ и разцѣловалъ въ Венеціи, была Пизана, но заговорила со мной первая графиня. Она бросилась ко мнѣ на встрѣчу изъ глубины комнаты, крича: „Браво, мой Карлино, браво! Какъ я рада видѣть тебя! Сюда, сюда, поцѣлуй меня, какъ слѣдуетъ доброму племяннику!“ Я съ неохотой перешелъ отъ поцѣлуевъ Пизаны къ ея поцѣлуямъ. Она была

еще жалтѣе и худѣе, чѣмъ прежде. Приѣмъ ея удивилъ меня такъ-же, какъ и письмо, но я скрылъ свое удивленіе и рѣшился ждать объясненій. Графиня между тѣмъ послала Розу отыскивать моего отца. Это меня тоже удивило, потому что это было дѣло лакея, а не горничной, которая притомъ повиновалась съ ворчаніемъ. Я подумалъ, что, вѣроятно, у графини прислуга немногочисленна. И комнаты представляли видъ заустѣвнїя. Мебели было очень мало и вездѣ лежала густая пыль, какъ въ необитаемомъ домѣ; словомъ, это было зрѣлище нищеты, обитающей во дворцѣ. Но видъ Пизаны украсилъ это плачевное зрѣлище. Она была по-прежнему хороша, свѣжа, цвѣтуща, и ее нисколько не измѣняли изысканныя уборы, недавно прибрѣтенныя въ Венеціи. Но при этомъ она была еще молчаливѣе и сдержаннѣе, чѣмъ въ послѣднее время во Фратѣ. Она взглядывала на меня по временамъ глубокимъ взглядомъ, потомъ, краснѣя, потупляла глаза и, повидимому, съ удовольствіемъ слушала меня. Все это я наблюдалъ, пока графиня болтала безъ умолку; болтовню ея я почти не слушалъ, пока она не произнесла имени моего отца.

— Ахъ, эта Роза долго не возвращается! пробормотала графиня.—Я не хотѣла, чтобы ты шелъ самъ, потому-что мнѣ хочется самой возвратить тебѣ твоего папашу, быть свидѣтельницей радости вашего свиданія. Ахъ, какой славный у тебя папаша, мой Карлино!

Мнѣ показалось, что при этихъ словахъ Пизана покраснѣла сильнѣе прежняго, быть можетъ, смущенная взглядомъ, котораго я не спускалъ съ нея. Наконецъ, Роза вернулась съ извѣстіемъ, что мой отецъ придетъ, какъ только кончитъ одно дѣло на площади. Я хотѣлъ сейчасъ идти къ нему, но графиня принудила меня остаться. Черезъ часъ зазвенѣлъ колокольчикъ, и вскорѣ маленькій, живой, смуглый человекъ, одѣтый на половину по-турецки, на половину по-европейски, вбѣжалъ, хромя и припрыгивая, въ комнату. Я побѣжалъ ему на встрѣчу; графиня послѣдовала за мной, крича: „Карлино, это твой отецъ! Поцѣлуй своего отца!“ Я бросился въ объятія его и пролилъ на его аринскій аркалуекъ первыя въ моей жизни слезы радости. Онъ не выказалъ мнѣ ни особенной нѣжности, ни особенной сухости, выразилъ удивленіе, что я съ своимъ именемъ забрался въ какую-то глушь, въ должность правителя канцеляріи, и объявилъ, что я могу играть видную роль

въ Большомъ Совѣтѣ, какъ скоро буду записанъ въ золотую книгу, какъ его законный сынъ. Все это онъ говорилъ съ такимъ страннымъ видомъ, что мудрено было угадать, шутить онъ или говорить серьезно, и на всякой запятой похлопывалъ рукой по карману, который издавалъ веселый звукъ цехиновъ и дублоновъ. При каждомъ такомъ побрякиваніи желтая улыбка графини озарялась розовымъ отблескомъ. Я слушалъ, недоумѣвая, во снѣ-ли я все это вижу или на яву. Этотъ отецъ, вдругъ явившійся изъ Турціи съ богатствами въ одной рукѣ и высокими положеніемъ въ другой, казался мнѣ съ своими причудливыми манерами какимъ-то фантастическимъ волшебникомъ. Я не могъ насмотрѣться на его красноватые, немного косые глазки, столько лѣтъ смотрѣвшіе на небо Востока, на эти глубокія, неправильныя морщины, образовавшіяся на его лбу подъ чалмой, подъ вліяніемъ богъ-вѣсть какихъ мыслей, на эти жесты, то повелительныя, какъ у султана, то тривиальныя, какъ у матроса, неутомимо сопровождавшіе его рѣчь, болѣе арабскую, чѣмъ венеціанскую.

Съ перваго взгляда въ немъ былъ виднѣнъ человекъ, прошедшій огонь и воду, ничему не придающій большой важности, мало чему вѣрующій, ни на что не надѣющійся, кромѣ какъ на себя, долго жертвовавшій всѣмъ въ надеждѣ будущаго комфорта и дошедшій, наконецъ, до того, что ему во всякомъ положеніи одинаково хорошо, одинаково удобно. Такимъ образомъ средства часто приводятъ къ презрѣнію цѣли. Такимъ показался мнѣ отецъ, на котораго я смотрѣлъ больше съ любопытствомъ, чѣмъ съ любовью. Онъ казался мнѣ типомъ тѣхъ древнихъ венеціанскихъ купцовъ, которые хитростью, дѣятельностью и ловкостью заставляли татаръ забывать различіе вѣры. Турки въ Константинополѣ, христіане у св. Марка, но вездѣ торгоши, они сдѣлали Венецію посредницей между двумя мірами. Рѣдкая, всклокоченная, сѣденькая борода моего отца напоминала обликъ Панталона. Но онъ опоздалъ родиться и казался актеромъ, наряженнымъ персіянкомъ или мамлюкомъ, вышедшимъ послѣ представленія возвѣстать публикѣ о завтрашнемъ спектаклѣ.

Послѣ краткаго разговора, прерываемаго восклицаніями графини и сдержанными вздохами Пизаны, отецъ пригласилъ меня идти съ нимъ. Мы отправились на Сан-Закарія, гдѣ онъ нанялъ квартиру въ отличномъ домѣ и убралъ ее по-турецки—коврами,

диванами и кальянами. Столовъ было мало, но за то было обиліе огромныхъ шкафовъ, битомъ набитыхъ всякой всячиной. Сорочка-лѣтняя мулатка, почти совсѣмъ черная, съ утра до ночи возилась съ кофе, и отецъ велъ съ ней разговоръ знаками, что было презабавно видѣть. Онъ снялъ треугольную шляпу, натянулъ на голову феску, закурилъ трубку, велѣлъ подать себѣ кофе и пригласилъ меня сѣсть рядомъ съ нимъ на коверъ, поджавъ по-турецки ноги. Онъ сказалъ мнѣ, что очень благодаренъ покойной женѣ за то, что она оставила ему такое милое наследство, какъ я, въ вознагражденіе за немногія радости, испытанныя ею въ бракѣ; онъ намекнулъ, что давно забылъ всѣ неприятности, разстроившія согласіе между ними и побудившія мою мать къ возвращенію въ Венецію, и сознался, что я очень похожъ на него. Я поблагодарилъ его за расположеніе ко мнѣ, просилъ извинить недостатки въ моемъ образованіи, такъ-какъ я воспитывался какъ бѣдный сирота и мало видѣлъ родственнаго участія со стороны тетки и дяди. Онъ наблюдалъ за мной изподтишка и хотя, казалось, слушалъ меня разсѣянно, но я увѣренъ, что сразу узналъ меня насквозь и остался мной доволенъ.

Затѣмъ онъ попросилъ меня рассказать ему, какимъ образомъ контессина Клара попала въ монахини, и въ разговорѣ неоднократно отзывался о докторѣ Лючилио съ великимъ уваженіемъ, удивляясь, что семья Фрата не сочла за честь породниться съ нимъ. Мусульманское равенство уиѣряло въ немъ природный аристократизмъ, въ чемъ меня еще болѣе убѣдили его насмѣшки надъ сіятельнымъ Партистаньо, который, по его словамъ, хотѣлъ остановить миръ шпагой своего дѣдушки. Потомъ онъ упомянулъ о Пизанѣ, о ея многочисленныхъ поклонникахъ, и порицалъ ее за то, что она не выйдетъ замужъ за самаго богатаго изъ нихъ, чтобы поддержать достоинство дома и поправить дѣла матери.

„Ага, подумалъ я,—вотъ онъ, аристократизмъ-то, зашевелился!“

Особенно презрительно отзывался онъ о Джуліо дель-Понте, осуждая Пизану за то, что она не прогонитъ такого скучнаго и чухлаго воздыхателя. Хорошенькія дѣвушки должны обращать вниманіе только на красивыхъ юношей, а такихъ уродовъ на Востокъ посылаютъ продавать сласти на улицахъ. Я готовъ былъ во время этого разговора исповѣдаться отцу въ своихъ чувствахъ, но меня удержалъ стыдъ выказаться маль-

чиномъ передъ такимъ опытнымъ человѣкомъ. Онъ продолжалъ говорить о мотовствѣ графини и о разорительной безпечности графа Ринальдо, который роется въ книгахъ, пока мать его проигрываетъ послѣдніе остатки состоянія. Онъ прибавилъ съ усмѣшкой, что графинѣ очень хотѣлось поинухать его дублоны, но онъ не показалъ ей даже, какого они цвѣта; говоря это, онъ снова хлопалъ себя по карману. Видно было, что онъ непоколебимо убѣжденъ въ неотразимой силѣ денегъ, въ чемъ я ему не могъ сочувствовать, потому что бѣдность научила меня щедрости и я всегда готовъ былъ раздѣлить съ первыми встрѣчными то немногое, что до сихъ поръ водилось у меня въ карманѣ. Я убѣдился, однако, что мой отецъ далеко не скряга. Онъ водилъ меня въ этотъ день по лучшимъ магазинамъ, желая, чтобы я нарядился, какъ первый франтъ Венеціи. Затѣмъ онъ свелъ меня въ комнату, имѣвшую отдѣльный выходъ на лѣстницу, и простился со мной, обѣщая сдѣлать меня вторымъ родоначальникомъ фамиліи Альтовити.

— Предки наши были въ числѣ основателей Венеціи, сказалъ онъ;—они были изъ Аввилон, римляне изъ рода Метелловъ. Теперь, когда Венеціи предстоитъ пересоздаваться, надо, чтобы одинъ изъ Альтовити приложилъ руку къ этому дѣлу. Положись на меня, это будетъ!

Отецъ произнесъ эти слова со всѣмъ непоимѣрнымъ и вошедшимъ въ поговорку чванствомъ бѣднаго дворянства Торчелло; но такова была сила дублоновъ, что мое право быть записаннымъ въ золотую книгу было признано несомнѣннымъ, и въ засѣданіи 2 апрѣля 1797 г. я вступилъ въ Большой Совѣтъ въ качествѣ матриціи съ правомъ голоса. Отецъ не хотѣлъ виѣшиваться самъ, какъ-будто не считая себя достойнымъ быть обновителемъ рода, и довольствовался тѣмъ, что доставлялъ мнѣ на это средства. Я зажилъ по-барски. Черезъ посредство графини Фрата и Фруміеровъ я получилъ доступъ въ самое высшее общество и сдѣлался въ немъ львомъ и героемъ, чему, кромѣ моей красивой наружности, главнымъ образомъ способствовала моя репутація богача. Маленькія и дѣвицы наперерывъ ухаживали за мной, да и замужія дамы были ко мнѣ не строги. Я былъ до того увлеченъ новизной своего положенія, что забылъ и Пизану. Можетъ быть, ей было досадно на меня, но по гордости она и виду не

показывала и только вымещала злобу на несчастномъ Джулио дель-Понте, который былъ между жизнью и смертью и чуть не падалъ въ обморокъ отъ всякой мухи, пролетающей близко отъ Пизаны.

Между тѣмъ въ Италіи какъ мыльный пузырь импровизировалась изъ рабскаго подражанія и угодливости французамъ республика циспаданская. Карлъ-Эммануиль наследовалъ Виктору-Амедию въ королевствѣ сардинскомъ, уже обращенномъ почти во французскую провинцію. Вся Италія была на колѣняхъ передъ Бонапартомъ. Венеціанскія континентальныя владѣнія по его наущенію восставали противъ центрального правительства. Между тѣмъ Бонапартъ предписывалъ въ Леобенѣ миръ Австріи. Свѣтлѣйшая видѣла проходъ его побѣдоносныхъ легионовъ черезъ свои владѣнія, какъ умирающій въ своей отуманенной фантазіи видитъ пролетъ зловѣщихъ призраковъ. Она только унижалась, все терпѣла, просила и умоляла. Бонапартъ отвѣчалъ насмѣшливыми предложеніями союза, прощесскими соблагованіями и требованіемъ контрибуцій. •

Между тѣмъ въ Венеціи горячія головы шумѣли, а трусы вторили имъ изъ страха, и въ Большомъ Совѣтѣ люди новыхъ философскихъ идей вотировали за одно съ трусами противъ учрежденнаго порядка, защищаемаго консерваторами, у которыхъ на это хватало мужества. Истинной философін, конечно, слѣдовало-бы въ эти тяжелые дни искать спасенія въ собственномъ достоинствѣ, а не въ униженномъ колѣнопреклоненіи передъ счастливымъ кондотьеромъ. Но и я поддался общимъ иллюзіямъ; я думалъ, что, дѣйствуя такимъ образомъ, поступаю на благо людямъ, и кромѣ того видѣлъ въ французахъ спасителей Амилькара. Притомъ Лючилио, довѣренное лицо французскаго посольства, и мой отецъ, чаявшій отъ французовъ перерожденія Венеціи, поддерживали меня въ этомъ настроеніи. Мнѣ не приходило на мысль, что только завоеванныя права дѣйствительно бывають правами; что свободу надо брать, а не выпрашивать, и что выпрашивающему ея справедливо отвѣчаютъ униженіями. Такимъ образомъ, вся демократическая партія въ Венеціи была за французовъ. Она была сильна не числомъ, а мужествомъ, дѣятельностью и главное—силою своихъ друзей, французовъ. Противники ея даже не составляли партіи, лишеныя всякой орга-

низаціи, такъ-какъ венеціанское правительство существовало еще только по имени, и его арестанты, прежде выходившіе изъ Піомбъ только жертвецами, теперь возвращались на свободу по первому слову французскаго посланника.

Главой французской партіи въ Венеціи былъ Люччіо. Онъ положительно наводилъ ужасъ на венеціанскихъ консерваторовъ, и при встрѣчѣ съ нимъ патриціи тихонько крестились, какъ-бы при видѣ чорта. Тѣмъ не менѣе, когда кто-нибудь изъ нихъ заболѣвалъ, то обращался къ нему-же, такъ-какъ онъ имѣлъ репутацію лучшаго медика въ городѣ, и Люччіо влечивалъ больного съ своимъ обычнымъ спокойнымъ и презрительнымъ видомъ. За то венеціанскія дамы сходили отъ него съ ума. Его считали великимъ докой въ mesmerизмѣ и рассказывали о немъ чудеса. Но на всѣ заклинанія дамъ онъ отвѣчалъ полной холодностью, облакаясь въ независимость, цѣломудріе и таинственность, вполнѣ достойныя нага. Дамы не могли понять причины такой неприступности, не зная его исторіи съ Кларой. Между тѣмъ онъ считалъ себя уже очень близкимъ къ цѣли. Поступленіе Клары въ монастырь несколько не беспокоило его, потому что онъ предвидѣлъ готовящіяся политическія перемѣны и общественныя реформы и зналъ, что монастыри будутъ скоро уничтожены. Ему и въ голову не приходило прибѣгать къ веревочнымъ лѣстницамъ, тайнымъ свиданіямъ и похищеніямъ; онъ такъ долго ждалъ, что считалъ-бы смѣшнымъ прибѣгнуть подъ конецъ къ такимъ романтическимъ затѣямъ. Онъ довольствовался въ ожиданіи рѣдкими случаями, когда представлялась возможность извѣщать Клару о себѣ черезъ одну монастырскую прислужницу, ни на одну минуту не предполагая, что въ чувствахъ Клары къ нему можетъ произойти перемѣна.

Монастырь, гдѣ жила Клара, былъ очень аристократическій, и въ понятіяхъ монахинь христіанская религія составляла одно нераздѣльное цѣлое съ учрежденіями республики св. Марка. Одна изъ сестеръ, родственница графини Фрата, мать Редента Наваджеро, которой Клара была поручена на особенное попеченіе, была женщина хитрая и ловкая. Она была изъ числа тѣхъ пожилыхъ сестеръ, для которыхъ французы базались исчадіемъ сатаны, а Парижъ—адамъ. Эти старицы заблаговременно трепетали, помышляя объ ужасахъ, которые произойдутъ при вступленіи францу-

зовъ въ Венецію. Молодые монахи возражали имъ: „Боятся нечего, Богъ спасетъ насъ!“ И нѣкоторыя изъ нихъ, давшія обѣтъ по принужденію родителей или по легкомыслію, быть можетъ, втайнѣ желали, чтобы спасеніе это понадобилось. Но Клара раздѣляла взгляды старицъ. Мать Редента искусно довела до ея свѣденія страшную катастрофу ея бабушки, и хотя она не узнала всѣхъ ея подробностей, но была страшно поражена этимъ извѣстіемъ. Она, подобно старицамъ, считала французовъ ватагой нечестивцевъ и въ своихъ молитвахъ просила Бога не допускать занятія ими Венеціи.

Но событіе это приближалось неотразимо. Въ Венеціи въ сущности уже не существовало правительства. То, которое еще носило это названіе, служило только предметомъ сатирическихъ стиховъ демократическихъ писателей, въ числѣ которыхъ и Джуліо дель-Понте игралъ не послѣднюю роль. Хотя мы съ нимъ были одинаковыхъ мыслей въ политикѣ, но онъ очень не любилъ меня, завидуя мнѣ и замѣчая расположеніе ко мнѣ Пизаны, и между нами происходили частые споры о пустякахъ. Слушая наши разговоры, Пизана также увлекалась политикой и скоро перещеголяла насъ своимъ энтузіазмомъ. Она мечтала о французсахъ, представляя ихъ себѣ рыцарями свободы, и не могла дожидаться ихъ прихода въ Венецію.

Вдругъ разнеслась вѣсть о рѣзніѣ французовъ въ Веронѣ. Въ Венецію прибыли негодующіе протесты Бонапарта и объявленіе войны по всѣмъ правиламъ. Наши мудрые сенаторы начали понимать, что и самая древняя вещь можетъ, наконецъ, кончиться. О защитѣ нечего было и помышлять. Генераль Бараге д'Илье, стѣснивъ Венецію, отрѣзалъ ей всѣ сообщенія съ материкою. Посланые къ Бонапарту для переговоровъ Дона и Джустиніанъ вернулись, привезя въ отвѣтъ его желаніе, чтобы новая форма, болѣе широкая и свободная, была дана правленію республики, и требованіе выдачи адмирала, командующаго портомъ, и трехъ государственныхъ инвизиторовъ, виновныхъ во враждебныхъ дѣйствіяхъ противъ одного французскаго корабля, пытавшагося силой пройти въ гавань Лидо. Въ виду этихъ обстоятельствъ, мудрые правители, вмѣсто того, чтобы созвать Большой Совѣтъ, созвали собраніе изъ всѣхъ лицъ, занимавшихъ официальные мѣста въ республикѣ, членовъ Синьоріи, трехъ

предсѣдателя Десяти и трехъ авогадоровъ Общины, всего со-рокъ одно лицо, съ дожемъ во главѣ, подѣ удобнымъ названіемъ конференціи. О томъ, въ какомъ настроеніи собралась эта конференція, можно судить по тому, что всѣ въ это время говорили и вѣрили, что въ городѣ находятся шестнадцать тысячъ заговорщиковъ, намѣревающихся, по наущенію французовъ, перерѣзать всѣхъ противниковъ французской націи. Когда я спросилъ объ этомъ слухѣ Лючію, онъ пожалъ плечами и сказалъ: „Чего ихъ рѣзать? Они и безъ того жертвы!“

Вечеромъ 30 апрѣля конференція собралась въ частныхъ покояхъ дожа, который открылъ ее рѣчью. Затѣмъ послѣдовали разныя предложенія, въ родѣ того, чтобы подѣйствовать на генерала Бонапарта частнымъ образомъ, при посредствѣ его друзей. Патріоты, прокураторы—Антоніо Капелло, котораго я видалъ у Фруиеровъ, и Франческо Пезаро—напрасно представляли собранію безсиліе такихъ мѣръ и призывали къ мужественному сопротивленію. Среди превій пришло извѣстіе отъ адмирала Кондольмера, что французы пытаются перебраться черезъ лагуну на плоткахъ. Тутъ страхъ обуялъ собраніе. Дождь, расхаживая большими шагами по комнатахъ, повторялъ на венеціанскомъ діалектѣ: „Никто изъ насъ въ эту ночь не обезпеченъ даже въ своей постели“. Наконецъ, рѣшили созвать на другой день Большой Совѣтъ, два депутата котораго условились-бы съ Бонапартомъ насчетъ новой формы правленія. Пезаро вышелъ въ негодованіи, говоря, что нынче-же ночью уѣзжаетъ изъ Венеціи въ Швейцарію; онъ дѣйствительно уѣхалъ, но попалъ не въ Швейцарію, а въ Вѣну.

На другой день, перваго мая, я въ тогѣ и парикѣ вошелъ въ Большой Совѣтъ подѣ руку съ нобилемъ Агостино Фруиеромъ, вторымъ сыномъ сенатора. Старшій принадлежалъ къ партіи Пезаро и не хотѣлъ знаться съ нами. Собраніе было немногочисленно; съ трудомъ набралось законное число — 600 членовъ. Старики были блѣдны—не отъ печали, а со страха; молодые обнаруживали самодовольство и радость; у многихъ изъ нихъ это было притворство, тоже ради страха. Прочитали декретъ, уполномочивающій депутатовъ извѣстить по ихъ усмотрѣнію правительство республики и обещающій Бонапарту освобожденіе всѣхъ политическихъ арестантовъ. Декретъ прошелъ, разумѣется, единогласно, за исключеніемъ семи противныхъ голосовъ. „Едва выйдя изъ

площадь, мы устремились въ тюрьмаъ освобождать узниковъ. Со многими благородными людьми вѣшло и порядочное количество разныхъ негодяевъ, между прочимъ, заодно съ Амилькаромъ старшій Венквередо, который тотчасъ отправился въ Миланъ, гдѣ была главная квартира Бонапарта и гдѣ дипломатически рѣшалась судьба венеціанской республики.

Большой Совѣтъ воображалъ, что поступилъ геройски, не давъ никакого отвѣта на требованіе французовъ выдать четырехъ государственныхъ чиновниковъ. Но вскорѣ депутаты его вернулись съ отвѣтомъ, что Бонапартъ не хочетъ вступать ни въ какіе переговоры, пока эти лица не будутъ арестованы и наказаны. Пришлось покориться и этому униженію. Комендантъ порта и инквизиторы были въ тотъ-же день посажены въ тюрьму за странное преступленіе, что лучше другихъ исполнили законы отечества. Но и этого показалось мало. То-же собраніе постановило другимъ декретомъ предписать Кондульмеру не противиться военнымъ предпріятіямъ французовъ, а только умолять ихъ не входить въ область свѣтлѣйшей, пока не будутъ удалены славонскія войска во избѣжаніе прискорбныхъ столкновеній. Такимъ образомъ мы обрѣзывали сами себѣ ногти, чтобы, чего Боже сохрани, не опарать врага, который собирался душить насъ. На мою бѣду мой отецъ вернулся изъ Турціи какъ-разъ во-время, чтобы вовлечь меня въ участіе въ этомъ позорѣ. Но можно-ли удивляться моею слѣпотѣ, когда даже такіе люди, какъ докторъ Луччио, дѣйствовали такъ-же? Къ тому-же Амилькаръ вышелъ изъ тюрьмы и со всѣмъ пыломъ увлекался предстоящей перспективой, увлекала меня и служба мнѣ живымъ доказательствомъ благотѣльнаго вліянія французовъ на наши дѣла.

Однажды вечеромъ мой отецъ позвалъ меня въ свою комнату, сказавъ, что имѣетъ сообщить мнѣ важныя вѣсти, которыя я самъ долженъ хорошенько обдумать, потому что теперь отъ меня зависитъ вся моя судьба и блескъ нашей фамиліи.

— Завтра, сказалъ онъ, — совершится революція въ Венеціи. Я сдѣлалъ жестъ удивленія, потому что при текущихъ переговорахъ въ Миланѣ недоумѣвалъ, какая можетъ совершиться революція.

— Да, продолжалъ отецъ: — не удивляйся; сегодня вечеромъ все тебѣ объяснится. Только я хочу наставить тебя на вѣрный

путь, чтобы ты не потерялся въ рѣшительную минуту. Знаешь-ли ты, сыночекъ, что такое демократическая республика?

— О, конечно, вскричалъ я; — это согласованіе идеальной справедливости съ практической жизнью, проявленіе свободной коллективной мысли всего общества...

— Хорошо, хорошо, Карлино, отвѣчалъ отецъ, улыбаясь; — это, можетъ быть, прекрасное научное опредѣленіе, и ты его запомни, чтобы дать снѣверу Джуліо темой для какого-нибудь стихотворенія. Но чѣмъ, по-твоему, можетъ быть правленіе всѣхъ, установленное корсиканскимъ генераломъ? Что такое свободное правленіе среди людей, нежелающихъ и немогущихъ быть свободными?

Я смотрѣлъ на отца съ недоумѣніемъ.

— Послушай, продолжалъ онъ съ терпѣніемъ учителя, повторяющаго задѣ тупому ученику, — я не удивляюсь твоимъ иллюзіямъ и не хочу разрушать твои мечты, хотя вижу, что въ нихъ много дѣтства и неопытности. Если-бы тебѣ пришлось на своемъ вѣку познакомиться съ пашами и визирями, у тебя осталось-бы меньше философіи, но за то ты видѣлъ-бы лучше и дальше. Грубое мошенничество мамелюковъ научаетъ разбирать болѣе тонкое плутовство христіанъ. Повѣрь мнѣ, я все это испыталъ. И испыталъ не даромъ; я работалъ, имѣя въ виду цѣль, и остался-бы въ дуракахъ, если-бы, вернувшись въ Венецію, не нашелъ тебя. Но тутъ я подумалъ про себя: „Клянусь Аллахомъ, Провидѣніе помогаетъ тебѣ! Ты было состарѣлся и сталъ негоденъ, а вотъ оно молодитъ тебя на сорокъ лѣтъ въ лицѣ этого юноши. Не унывай, бей! Уступи мѣсто лошадей помоложе, добѣжить скорѣе!“ Словомъ, Карлино, я призналъ тебя своимъ законнымъ сыномъ и хочу заживо уступить тебѣ все наслѣдство моихъ цѣлей и надеждъ. Способенъ-ли ты принять его—мы это скоро увидимъ.

— Говорите, отецъ, сказалъ я, видя, что пауза продолжается.

— Говорить, говорить! Это не такъ-то легко, какъ ты думаешь. Эти вещи надо подхватывать на-лету. Но во уваженіе твоего невѣденія, объяснюсь яснѣе. Итакъ, знай, что эти здѣшніе французы, да и сами французы, царствующіе теперь въ Италіи, мнѣ кое-чѣмъ обязаны. Услуги секретныя и дальнія, но все-же услуги. Ну, и къ тому-же у меня нѣсколько миліончиковъ

піастровъ, которые напоминають, что моихъ у слугъ забывать не надо. Карлино, а ихъ тебѣ отдаю, дарю, а ты обязуйся только дать мнѣ диванъ, трубку и десять чашекъ кофе въ день. Отдаю тебѣ все на славу дома Альтовити. Да, сыночекъ, это мой конекъ! Хочу имѣть дожа въ фамиліи. Увѣряю тебя, что это будетъ, если ты мнѣ доврѣшься.

— Что? Какъ? Я дожъ? воскликнулъ я;—вы думаете, что я могу такъ взять да и сдѣлаться дожемъ?

— Прекрасно, Карлино; ты догадливъ, какъ я и не ожидалъ. Дожеское ремесло сдѣлается тѣмъ пріятнѣе, что будетъ безопасно и покойно. Ты будешь получать дукаты, а я—пускать ихъ въ обороты. Черезъ шесть лѣтъ скушимъ все Торчелло, и фамилія Альтовити сдѣлается династіей.

— Отецъ, отецъ, что вы говорите? сказалъ я, очень встревоженный, потому что серьезно думалъ, что онъ близокъ къ помѣшательству.

— Чему-же ты удивляешься? возразилъ онъ:—въ новомъ порядкѣ, который здѣсь учредить, всякій человѣкъ, обладающій достоинствами, сядетъ на шею тѣмъ, у кого ихъ нѣтъ. Это въ абстракціи. Въ конкретѣ-же тотъ, кто богатъ и хитеръ, окажется самымъ достойнымъ. У всякой эпохи свои счастливицы, и неужели мы будемъ дураками, упустимъ случай?

— Ахъ, отецъ, въ какомъ гадкомъ свѣтѣ вы все видите! Какую роль предлагаете мнѣ, желающему служить свободѣ и справедливости!

— Такъ что-же, Карлино? Чтобы служить имъ, нѣтъ другого пути, какъ мой; если оставаться на днѣ, то и бороться нельзя: лежачаго навѣрно побьютъ. Стало быть, чтобы доставить торжество добру и истинѣ, надо прежде выбраться наверхъ, хоть протолкаться насильно, лишь-бы выбраться въ первый рядъ. Ну, представь себѣ, какое зло будетъ, если туда попадутъ негодяи и глупцы. Итакъ, впередъ, сыночекъ, чтобы потомъ и другихъ тащить впередъ за собою; цѣль оправдываетъ средства. Я не говорю, чтобы тебѣ завтра-же сдѣлаться дожемъ; немного терпѣнія; но смоква зрѣетъ скорѣе, чѣмъ думаютъ. Я только предупредилъ тебя, чтобы ты помогъ цѣлямъ твоихъ друзей и не упирался-бы изъ ложной скромности. Увѣренъ-ли ты, что намеренія твои чисты? Вѣришь-ли ты, что полезно поставить во

главѣ общества человѣка, любящаго свое отечество и ненавистаго на судилища съ его врагами?

— О, конечно!

— Ну, такъ что-же еще? Сегодня вечеромъ синьеръ Лючилио поговорить съ тобой яснѣе. Тогда ты поймешь, увидишь, рѣшишь. Будь съ нимъ, держись его. Не останавливайся, не отступай. Человѣкъ съ мужествомъ и сознаниемъ долженъ храбро выступать впередъ не изъ гордости, а ради общей пользы.

— Не бойтесь, отецъ, я не робокъ.

— Пока довольно; мы сговорились. За тобой будутъ ухаживать нобили, а демократи и безъ того любятъ тебя; стало быть, всё условія успѣха на лицо! Пейду къ Вильтару порѣшить кое-что на-последѣяхъ. Вечеромъ увидишь.

Послѣ этого разговора я остался какъ въ столбнякѣ. Я рѣшительно ничего не понималъ. Какимъ образомъ я могу попасть въ дожи? Что означаетъ сей сонъ? Вѣроятно, мой отецъ привезъ съ собой какія-то неизданныя прибавленія къ „Тысячѣ и одной ночи“. Что это онъ толковалъ о революціи, о какихъ-то „порѣшеніяхъ на-последѣяхъ“ и богъ-вѣсть еще что? Вильтаръ былъ молодой секретарь французскаго посольства; но кто далъ моему отцу власть вмѣшиваться съ нимъ въ государственныя дѣла? Чѣмъ больше я раздумывалъ, тѣмъ больше недоумѣвалъ. Наконецъ пришелъ Лючилио и пригласилъ меня идти съ нимъ въ одно мѣсто, гдѣ будетъ совѣщаніе о важнѣйшихъ для общественнаго блага дѣлахъ. На улицѣ къ намъ присоединились другіе неизвѣстные мнѣ люди, ожидавшіе насъ, и мы отправились всё по самымъ пустыннымъ улицамъ, къ Арсенальному мосту. Послѣ долгой ходьбы въ глубокомъ молчаніи мы вошли въ грязный, уединенный домъ и поднялись по лѣстницѣ, освѣщенной лампой; никто не открывалъ намъ, никто насъ не встрѣчалъ; мы шли точно вереница призраковъ, пришедшихъ смущать сонъ злодѣя. Наконецъ въ пустой и сырой залѣ мы нашли общество, сидѣвшее за столомъ и освѣщенное четырьмя канделябрами. Тутъ было человѣкъ 30, большею частью молодежь. Я увидѣлъ между ними Амилъкара, чрезвычайно оживленнаго, и Джулио дель Понте, блѣднаго и встревоженнаго. Тутъ были также Агостино Фрумиеръ, Варцони, здоровый юноша, пылкій, влюбленный въ Плутарха и его героевъ, написавшій впоследствии пасквиль противъ французовъ подъ за-

главнѣе: „Римляне въ Греціи“; были еще авогадоръ Франческо Батайя, извѣстный рабской угодливостью французамъ, кунецъ Зорзи, старый генералъ Салимбени, Видиманъ, чествѣйшій и либеральнѣйшій изъ венеціанскихъ патриціевъ, и нѣкто Дандо, приобрѣвшій репутацію неувертливости даже среди самыхъ крайнихъ кружковъ; остальные были мнѣ незнакомы. Большинство тѣснилось вокругъ красноватаго человѣка, говорившаго вполголоса, но съ сильными жестами. Лючилио сталъ прохаживаться по задѣ, молчаливый и задумчивый. Всѣ съ уваженіемъ давали ему дорогу и какъ-будто чего-то ждали отъ него. Батайя попробовалъ было возвысить голосъ и заговорить, но никто не обратилъ на него вниманія, и онъ замолкъ. Я ничего не могъ понять ни изъ отрывистыхъ словъ Амилъкара, ни изъ вздоховъ Джуліо. Наконецъ въ комнату вошелъ желтый человѣкъ въ парикѣ, захватившійся и блѣдный отъ страха, и Лючилио быстро пошелъ ему навстрѣчу, а все общество столпилось, какъ-бы приготовляясь слушать новости.

— Это дежурный членъ совѣта Мудрыхъ, шепнулъ мнѣ на ухо Амилъкаръ.— Увидимъ, расположены-ли они уступить добромъ.

Я начиналъ понимать и съ любопытствомъ смотрѣлъ на парикъ, повидному, неохотно собиравшійся выказывать свое краснорѣчіе передъ такимъ многочисленнымъ обществомъ. Батайя выдвинулся было впередъ къ нему, но Лючилио заступилъ ему дорогу, и всѣ со вниманіемъ стали ждать, что онъ скажетъ.

— Синьеръ прокураторъ, началъ Лючилио, — вамъ извѣстно плачевное положеніе свѣтлѣйшей республики съ того времени, какъ континентальныя провинціи водрузили знамя истинной свободы. Вамъ извѣстно безсиліе правительства, особенно по отсылкѣ первыхъ славонскихъ полковъ, и какъ трудно было до сихъ поръ сдерживать негодованіе народа...

— Да, да... я все знаю, пробормоталъ дежурный Мудрецъ.

— Я счелъ своей обязанностью разъяснить превосходительному прокуратору это прискорбное положеніе республики, вмѣшался Батайя.

— Вы знаете также, синьеръ прокураторъ, продолжалъ Лючилио, не обращая вниманія на Батайю, — сущность трактата, котораго имѣетъ быть заключенъ между Вольшимъ Совѣтомъ и французской Директоріей?

При этихъ словахъ слезы выступили на глазахъ прокуратора.

— Я—простой гражданинъ, продолжалъ Лючилио, — но ищу пользы, истинной пользы всѣхъ гражданъ. Я скажу вамъ, что было-бы истиннымъ патріотизмомъ и доказательствомъ истиннаго мужества помочь добрымъ намѣреніямъ, сдѣлать шагъ на встрѣчу имъ; этимъ предупредили-бы много безпорядковъ, которые не преринуть произойти, если заключеніе трактата будетъ еще отложено. Я лично чуждъ всякаго честолюбія и докажу это. Синьеръ Вильтаръ—(онъ указалъ на красноватаго господина)—соблаговолить написать здѣсь условія, въ силу которыхъ форма правительства должна переимѣниться; французское войско вступить въ Венецію, чтобы поддержать первое устройство истинной свободы... Вотъ эти условія—(онъ взялъ со стола бумаги и сталъ быстро переворачивать страницы): — провозглашеніе демократіи съ представителями, избранными народомъ, временной муниципалитетъ изъ 24 членовъ венеціянцевъ, подъ предсѣдательствомъ экс-дожа Маннива и Джованни Спада, вступленіе 4,000 французскаго войска въ качествѣ союзниковъ, отозваніе флота, приглашеніе городовъ континента, Далмаціи и острововъ соединиться съ метрополіей, окончательное распущеніе славонцевъ, арестъ господина д'Антрага, агента Бурбоновъ, и выдача бумагъ Директоріи черезъ посредство французскаго посольства. Все это единодушно одобрено народомъ. Вчера самъ дожъ въ собраніи изъявилъ готовность сложить съ себя свое достоинство и передать бразды правленія намъ. Но мы желаемъ менѣе того, что онъ предлагаетъ. Пусть онъ остается во главѣ новаго правительства, которое дастъ прочность и независимость будущей республикѣ; не такъ-ли, синьеръ Вильтаръ?

Человѣчекъ утвердительно закивалъ головой и замахалъ руками. Лючилио опять обратился къ дежурному Мудрецу.

— Вотъ, синьеръ прокураторъ, сказалъ онъ, передавая ему бумагу,—здѣсь рѣшеніе судьбы отечества; постарайтесь склонить умы свѣтлѣйшаго дожа и другихъ вашихъ благородныхъ сочленовъ, иначе... Да спасетъ Богъ Венецію, я сдѣлалъ все возможное для ея спасенія!

Прокураторъ отвѣчалъ со слезами на глазахъ:

— Я искренно благодаренъ сіятельнымъ господамъ—(неподкупные граждане нахмурились, услыхавъ это запрещенное титулова-

ніе)—за ихъ любезность. Свѣтлѣйшій дождь и всѣ прокураторы, занима въ республикѣ пожизненныя должности, готовы пожертвовать ими для ея спасенія, тѣмъ болѣе, что вѣрность оставшихся славонцевъ начинаетъ колебаться и неудивительно было бы, если-бы они соединились съ нашими врагами...—(Тутъ прокураторъ сообразилъ, что далъ маху, и сталъ неистово кашлять, такъ что побагровѣлъ)—я хотѣлъ сказать—съ нашими друзьями, которые... которые хотятъ спасти насъ... во что-бы то ни стало... Поэтому я надѣюсь, что эти условія — (онъ показалъ бумагу, которую вертѣлъ въ рукахъ, какъ-будто она жгла ему пальцы)—будутъ приняты отъ души Синьеріей, что Большой Совѣтъ утвердитъ наши добрыя намѣренія и что вскорѣ мы составимъ одну семью гражданъ, равныхъ и счастливыхъ.

Послѣднія слова бывшего инквизитора, хотя произнесенныя сдавленнымъ голосомъ, были покрыты рукоплесканіями. Онъ покраснѣлъ и попросилъ, чтобы кто-нибудь изъ почтеннаго собранія сопровождалъ его къ его свѣтлости. Былъ единодушно выбранъ Зорзи, и такимъ образомъ москотильщикъ и инквизиторъ отправились требовать отъ дожа отреченія. Нѣкогда весь Совѣтъ Десяти явился къ Фоскари требовать у него вѣнца и перстня. Вся Венеція въ молчаніи и трепетѣ ждала у порога дворца повиновенія или отказа. Старый, доблестный дождь предпочелъ повиноваться и умеръ съ горя,—послѣдняя страшная и торжественная сцена таинственной драмы! Отреченіе-же Манниня было достойно водевиля.

По уходѣ прокуратора и Зорзи ушли и Вильгаръ съ Батайей и другими патриціями. Остались мы, цвѣтъ и краса венеціанской демократіи. Дандоло ораторствовалъ. Лючилио опять заходилъ по комнатѣ и вдругъ, остановившись, сказалъ громко:

— Боюсь, что мы надѣлали глупостей!

— Какъ? воскликнулъ Дандоло.—Глупостей, когда все теперь наше! Когда тюремщики свободы сами своими руками собираютъ для насъ жатву! Когда вооруженный міръ готовитъ намъ почетное, достойное и независимое мѣсто на великомъ праздникѣ народовъ и когда освободитель Италіи, укротитель тиранин, самъ протягиваетъ намъ руку, чтобы помочь намъ возстать изъ униженія?

— Я врачъ, спокойно сказалъ Лючилио. — Угадывать зло—

ное дѣло. Боюсь, что наши добрыя намѣренія не имѣютъ довольно корней въ народѣ.

— Гражданинъ, не отчаявайтесь въ добродѣтели, подобно Вруту! Врутъ отчаявался умирая, а мы рождаемся!

Это восклицаніе принадлежало очень юному человѣку, почти безбородому, съ безобразнымъ, но энергическимъ лицомъ. Онъ былъ родомъ изъ Занте, сынъ одного корабельнаго врача на службѣ республики, и поселился въ Венеціи по смерти своего отца. До сихъ поръ мнѣнія его не отличались стойкостью; нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ поговаривали, что онъ хочетъ поступить въ патеры; но онъ сдѣлался трагическимъ поэтомъ, и его трагедія „Тізестъ“, представленная въ прошломъ январѣ на театрѣ Санта-Анджело, произвела фуроръ. Имя этого юноши было Уго Фосколо.

При его восклицаніи Джуліо дель-Понте, весь вечеръ неоткрывавшій рта, повернулся къ нему съ презрительной усмѣшкой. Между нимъ и Фосколо была непріязнь, проистекавшая изъ его зависти къ уму и таланту Уго, и онъ любилъ отпускать на его счетъ колкости. Но львенокъ Занте не удостоивалъ вниманіемъ этого комара, жужжавшаго у его уха. Въ сущности Фосколо былъ человѣкъ въ высшей степени самолюбивый, и я не знаю, удовлетворяла-ли когда-нибудь автора „Тізеста“ вся слава пѣвца *Гробницъ*. Въ то время онъ былъ довольно комиченъ. Это былъ чудесный экземпляръ республиканскаго медвѣженка, ворчливаго и безпокойнаго; образецъ гражданской добродѣтели, охотно выставившій-бы себя на удивленіе всему міру. Онъ всему вѣрилъ и на все надѣялся; какъ я думаю, надѣялся и потомъ, не взирая на свои отчаянныя тирады.

Лючилио также улыбнулся на римское восклицаніе юноши и сказалъ:

— Кто изъ васъ, господа, наблюдалъ за Вильтаромъ, пока я объяснялъ условія прокуратору?

— Я наблюдалъ, сказалъ высокій и дородный человѣкъ, Спада, назначенный вмѣстѣ съ Маниномъ въ главы новаго правительства. — Онъ мнѣ показался подозрительнымъ.

— Совершенно вѣрно, гражданинъ Спада, отвѣчалъ Лючилио; — впрочемъ, онъ считаетъ себя хорошимъ слугою своего государства, ловкимъ и счастливымъ министромъ его. Съ нѣкотораго времени на французскихъ знаменахъ слава замѣнила свободу

— Что-же дѣлать? воскликнулъ Спада.

— Ничего, потому что дѣлать нечего, отвѣчалъ Лючилио;—я только хочу объяснить тѣмъ, кто этого еще не знаетъ, почему мы рѣшились произвести эту революцію прежде, чѣмъ изъ Милана придетъ формальное приказаніе сдѣлать ее. Недовѣрчивость, конечно, хорошая добродѣтель для слабыхъ, но здѣсь ее недостаточно. Мы желаемъ, чтобы французы были намъ помощниками, а не исполнителями. Намъ надо самимъ произвести у себя измѣненія, а не допускать чужихъ дѣлать ихъ у насъ, какъ-будто мы сами собой шевельнуться не можемъ. Французы придутъ—мы не можемъ помѣшать этому; но пусть они, по крайней мѣрѣ, застанутъ все конченнымъ, а не приходять распоряжаться у насъ какъ господа.

— Французы идутъ, чтобы предохранить насъ отъ междоусобія и отъ проскрипцій Суллы! воскликнулъ Фосколо. Барцони посмотрѣлъ на него со злобой, но Лючилио сказалъ:

— Это такъ, и мало того: ихъ приходъ избавляетъ насъ, можетъ быть, еще отъ цѣлаго вѣка такого застоя, какой у насъ былъ до сихъ поръ. Они расшевелиятъ, потрясутъ насъ, испугаютъ насъ и заставятъ насъ устыдиться; страхъ ихъ тираніи, можетъ быть, вызоветъ дѣятельное пробужденіе въ насъ чувства свободы! Вотъ что надо еще прибавить. Если мы возьмемъ ихъ себѣ не въ господа, а въ образецъ, вступимъ не подъ власть ихъ, а въ соревнованіе съ ними, тогда польза отъ нихъ будетъ несомнѣнная. Вильтаръ именно это и подозрѣваетъ, этого и боится, и вотъ почему я думаю, что онъ желалъ-бы совсѣмъ другого.

— Все это пустяки! прервалъ его Амилъкаръ;—мы уважаемъ твои слова, гражданинъ Віанелло; но рабство надоѣло намъ, и мы смѣемъ надъ Вильтаромъ и его начальниками, какъ смѣемъ надъ инквизиціей, славонцами и прокураторомъ Пезаро!

Лючилио ничего не возразилъ и, обратившись ко мнѣ, сказалъ:

— Гражданинъ Альтовити, вашъ отецъ много потрудился на пользу свободы; ему слѣдовала награда, которую онъ уступаетъ вамъ. Ваши способности и ваше поведеніе до сихъ поръ позволяютъ думать, что вы послѣдуете примѣру отца. Вы одинъ изъ самыхъ молодыхъ членовъ Большого Совѣта и принадлежите къ

числу тѣхъ очень немногихъ венеціанцевъ, которые подаютъ голосъ за свободу не изъ страха, а изъ высокаго убѣжденія. Поэтому сообщаю вамъ, что вы назначены старшимъ секретаремъ новаго правительства.

Между молодежью послышался ропотъ удивленія.

— Да, продолжалъ Лючилио, — человекъ, истратившій въ Константинополѣ нѣсколько миліоновъ своихъ денегъ, чтобы поднять Турцію противъ коалиціи; посвятившій много лѣтъ жизни на то, чтобы на дальнеѣмъ Востоке содѣйствовать дѣлу возрожденія міра, которое сдѣлаетъ насъ, можетъ быть, свободными, и во всякомъ случаѣ — людьми, — такой человекъ заслуживаетъ этой награды въ лицѣ сына! Что касается меня, то я объявляю, что на другой-же день послѣ торжества я вернусь въ госпиталь къ своимъ больнымъ.

Общія рукоплесканія покрыли эти слова и десятокъ рукъ протянулся къ рукѣ Лючилио. Разговоръ сдѣлался общимъ; говорили о флотѣ, о Далмаціи, о вѣрнѣйшемъ средствѣ получить отъ Бонапарта утвержденіе новой формы правительства. Было уже далеко за полночь, когда вернулся Зорзи съ торжествующимъ видомъ лавочника, разрушившаго правленіе тринадцати вѣковъ.

— Что? воскликнули нѣсколько голосовъ.

— То, отвѣчалъ Зорзи, — что дожъ просилъ меня сходить къ Вильтару и принести отъ него писанныя условія. Его свѣтлость не ожидалъ, что они у меня въ карманѣ. Итакъ, завтра Большому Совѣту будетъ предложено принять для венеціанской республики форму правленія, нами сочиненную.

— Вивать! крикнули мы всѣ съ восторгомъ и энтузіазмомъ. Я былъ въ такомъ увлеченіи, что даже мое будущее секретарство казалось мнѣ пустяками. Несмотря на поздній часъ, мы съ Джуліо зашли къ графинѣ. Я былъ въ упоеніи, но Джуліо довольно мраченъ, можетъ быть, недовольный невидной ролью, которую игралъ въ собраніи. Пизана встрѣтила меня какъ героя и все вниманіе ея сосредоточилось на мнѣ. Но я былъ такъ занятъ своими мыслями, что почти не замѣчалъ ея, хотя въ другое время такое выраженіе ея предпочтенія сдѣлало-бы меня счастливымъ. Джуліо бѣсился и почти не отвѣчалъ графинѣ, которая атаковала его разспросами:

— Ну, что, синьеръ Джуліо? Придутъ французы? Говорятъ,

всѣ ипотeki будутъ сняты съ феодальной ренты? А патриціиамъ обезпечены-ли пенсіи или должности? Останется-ли св. Маркъ на знаменахъ?

Надо замѣтить, что старуха, плывшая по вѣтру, въ послѣднее время превратилась чуть не въ санкилотку, хотя въ душѣ богъ-вѣсть какая злоба кипѣла у нея. Видя упорное молчаніе Джуліо, я отвѣчалъ ей, не утерпѣвъ, чтобы не намекнуть, что въ новомъ правительствѣ и мнѣ достанется видное мѣсто.

— Въ самомъ дѣлѣ, Карлино? спросила Пизана.— Да какъ же это? Вѣдь будетъ равенство?

„Вотъ подите, толкуйте съ женщинами!“ подумалъ я про себя, пожимая плечами вмѣсто всякаго отвѣта, котораго я, впрочемъ, и не могъ-бы дать удовлетворительнаго. Я вскорѣ вышелъ отъ графини и пошелъ въ нетерпѣніи и волненіи прохаживаться на Рива дельи Склавони.

Ночь была великолѣпна, тепла, ясна, казалась созданной для любовныхъ бесѣдъ, для радужныхъ мечтаній, для веселыхъ серенадъ. Но среди этой поэзии жизни и весны, въ этой лазуревой тиши неба и земли, великая республика изнемогала въ послѣдней агоніи. Никѣмъ неоплаканная, безъ достоинства, безъ обрядовъ умирала царица четырнадцати вѣковъ. Сыны ея или спали равнодушные, или трепетали испуганные. Тихо скользилъ по каналу Гранде призрачный Буцентавръ, унося призракъ минувшаго величія; волны сглаживались за нимъ и онъ удалялся въ вѣчность. Остался только изуродованный трупъ, которому еще нѣсколько мѣсяцевъ предстояло быть посмѣшищемъ міра, пока французскій капраль не развѣялъ на всѣ четыре стороны его прахъ. Проходя мимо дожескаго дворца, я невольно взглянулъ на него, и отдаленный прибой морской волны показался мнѣ плачемъ моря, древняго супруга умирающей республики. Я не любилъ нашихъ порядковъ и ожидалъ отъ паденія ихъ торжества свободы и справедливости, но зрѣлище смерти всегда потрясаетъ и наводитъ на тяжкія думы. Правда, смерть давно была уже тутъ, и теперь теченіе времянь уносило только послѣднее воспоминаніе прежней жизни. Никто не замѣтилъ паденія западной имперіи съ Августомъ,—она пала еще при отреченіи Діоклетіана, какъ никто не замѣтилъ и паденія священной имперіи въ 1806 г., потому что она уже исчезла съ отреченія Карла V. Такъ и теперь, никто

не оплакивалъ паденія великой республики, наслѣдницы римской цивилизаціи и мудрости, посредницы между всѣмъ христіанскимъ міромъ въ средніе вѣка, потому что она потеряла для міра всякое значеніе съ отреченія Фоскари. Только вѣрные славонцы, сядившіеся въ это время на суда, быть можетъ, пролили нѣсколько слезъ при разставаніи съ чужимъ для нихъ городомъ, родины дѣти котораго ускорили его гибель. Мрачныя мысли нашли на меня. „Хорошо, думалъ я, — мы предупредили французовъ, мы безъ ихъ приказанія сдѣлаемъ завтра революцію; но вѣдь все-же они придутъ и будутъ господами!“

Дома эти мысли разсѣялись въ разговорѣ съ отцомъ. Онъ былъ въ восторгѣ отъ моего назначенія, увѣщевалъ меня слѣдовать его совѣтамъ. Наконецъ, я легъ въ постель, но отъ волненія не могъ уснуть.

Наступилъ роковой день 12 мая. Въ девятомъ часу зазвонилъ колоколъ Большого Совѣта, и я направился къ лѣстницѣ Гигантовъ. Въ собраніи не было законнаго числа 600 членовъ; на лицо оказывалось только 530. Большинство дрожало отъ страха и нетерпѣнія; всѣмъ хотѣлось поскорѣе кончить, поскорѣе вернуться домой и обросить эту тогу, опасный знакъ потерянной власти. Нѣкоторые казались веселы и самоувѣренны; это были большею частью измѣнники, продавшіеся французамъ; немногіе выказывали благородную гордость и довольство, что, уничтожая золотую книгу, становятся свободными и гражданами. Въ числѣ ихъ былъ между прочимъ, Агостино Фрумиеръ. Въ одномъ углу залы не болѣе двадцати патриціевъ стояли, завернувшись въ тоги, молчаливые и суровые. Въ числѣ ихъ было нѣсколько недужныхъ стариковъ, давно уже переставшихъ посѣщать совѣтъ и пришедшихъ въ послѣдній разъ принести отечеству свои безсильные голоса. То были закоренѣлые и честные консерваторы, неподдавшіеся ни страху, ни подкупу. Между ними я съ удивленіемъ увидѣлъ стараго Фрумиера и его старшаго сына, Альфонса; я не ожидалъ отъ нихъ такого мужества.

Дождь поднялся, блѣдный и трепещущій, чтобы самому предложить свое собственное униженіе. Онъ пробормоталъ условія, предписанныя Вильтаромъ, не зная, какъ не знали тогда всѣ, что Вильтаръ по-новолѣ обманываетъ, что ни Бонапарте, ни Директорія не расположены исполнять его обѣщаній. Лодовико Манингъ закончилъ свою

рѣчь словами о необходимости подчиниться этимъ условіямъ, отбѣявъ древнюю форму правленія. Вдругъ на улицѣ раздалось нѣсколько ружейныхъ залповъ. Дождь замолкъ въ испугѣ и хотѣлъ сбѣжать съ трона. Въ толпѣ патриціевъ раздались крики ужаса: „Это славонцы взбунтовались (стрѣляли, дѣйствительно, отливавшіе славонцы, салютуя городъ холостыми зарядами). Это шестнадцать тысячъ заговорщиковъ! Это народъ хочетъ обогреться въ крови патриціевъ!“ Дождь обступилъ, крича: „На голоса! На голоса!“ И среди этой сумятицы началось голосованіе. Пятьсотъ двѣнадцать голосовъ утвердили всѣ предложенія, даже тѣ, которые еще не успѣли прочесть. Неминуемость опасности должна была послужить оправданіемъ передъ Бонапарте, что не дождался его повелѣній изъ Милана. Только двадцать голосовъ были противъ. Послѣ подачи голосовъ всѣ спѣшили разбѣжаться. Дождь первый побѣжалъ въ свои комнаты разоблачаться отъ всѣхъ знаковъ своего достоинства. Члены, прежде, чѣмъ выходить на улицу, бросали тоги и парики. Я вышелъ на площадь, гдѣ генералъ Салимбени съ нѣсколькими другими заговорщиками кричалъ среди толпы, подстрекая ее къ шуму и буйству. Но народъ обратился противъ нихъ и заставилъ ихъ кричать: „Да здравствуетъ св. Маркъ!“ Эти новые крики заглушили первые. Образъ евангелиста понесли съ торжественной процессіей, и грозныя толпы устремились къ домамъ патриціевъ, которые, по слухамъ, призывали французовъ. Растерянный, смущенный, отбитый отъ товарищей, я встрѣтилъ въ этой толпѣ отца и Лючилио, менѣе смущенныхъ, но, быть можетъ, еще болѣе озлобленныхъ, чѣмъ я. Немногіена трици, подававшіе голоса противъ переменъ правительства, проходили величественно въ своихъ длинныхъ тогахъ и парикахъ. Народъ пропускалъ ихъ съ уваженіемъ, но молча. Лючилио съ негодованіемъ сказалъ мнѣ: „Смотри, этотъ народъ кричитъ: да здравствуетъ св. Маркъ, а небойсь не имѣетъ мужества провозгласить дожемъ одного изъ этихъ людей! Рабы, вѣчные рабы!“

Мой отецъ не разсуждалъ, а спѣшилъ домой, чтобы надосугѣ обдумать положеніе дѣлъ. Но гроза такъ-же быстро прошла, какъ и пришла. Было достаточно одной прокламаціи новаго муниципалитета, въ которой трусливая уступчивость патриціевъ выставилась геройскимъ самопожертвованіемъ, чтобы успокоить непривыч-

ное волненіе смирныхъ венеціанцевъ. Черезъ четыре дня французы прѣехали на венеціанскіхъ судахъ, и городъ, устоявшій передъ Солиманомъ и канбрейскою лигой, городъ, вѣскольکو дней тому назадъ имѣвшій для своей защиты одинадцать тысячъ славонцевъ, 800 пушекъ и 200 кораблей, отдался добровольно четырешъ тысячамъ авантюристовъ подъ командой Бараге д'Илье. На меня находили минуты унынія, но энтузіазмъ Пизаны и увѣщанія отца разгоняли его. Однако вскорѣ дурныя вѣсти нахлынули изъ провинцій. Истрія и Далмація были заняты Австріей, въ силу леобенскихъ прелиминарій. Франція при помощи венеціанскаго флота овладѣла венеціанскими владѣніями въ Албаніи и Ионическомъ морѣ. Я вздыхалъ, работалъ и надѣялся на перемѣну къ лучшему. Болѣе проникательные люди поняли-бы нелѣпность этой надежды, потому что причина, по которой пала Венеція, была такова, что ей нельзя было подняться. До сихъ поръ, сколько я знаю, никто прямо не указалъ этой причины. Дѣло въ томъ, что Венеція стала лишь просто городомъ, а хотѣла по-прежнему быть народомъ. Въ новой исторіи только народы живутъ, борятся, и если падаютъ, то падаютъ сильныи и уважаемне, потому что падаютъ съ увѣренностью, что снова поднимутся.

(Продолженіе будетъ.)

НА ПРИМОРСКОМЪ БЕРЕГУ.

(Изъ Ф. Коппе.)

На бархатномъ пескѣ, на берегу морскомъ,
Какъ въ одѣ мѣрно стихъ смѣняется стихомъ,
Тяжелые валы смѣняются валами.
Сюда съ сосѣдникъ виллъ собираются толпами
Малютки богачей, отъ праздности больныхъ,
Любуясь весело прибоемъ волнъ морскихъ
И бѣгая въ водѣ ноженками босыми.
Счастливые въ душѣ, съ глазенками живыми,
Вполнѣ здоровые, со смѣхомъ на губахъ,
Въ матросскихъ курточкахъ, съ лопатками въ рукахъ,
На золотомъ пескѣ играютъ шумно эти
Избранники судьбы, балованныя дѣти,
Копая желобки для пѣнящихся волнъ.
И тотъ же океанъ, который, гнѣва полнъ,
Ломаеть иногда въ щепы корабль упорный,
Какъ добродушный дѣдъ, несетъ теперь поворно
Волну по желобкамъ по прихоти дѣтей.
Вблизи ихъ мать сидитъ за вышивкой своей,
Ласкаетъ вѣтеръ ихъ,—и, вѣрно, на просторѣ
Имъ кажется вполнѣ естественнымъ, что море
Съ такой-же кротостью, какъ люди, тѣшитъ ихъ.

Но вотъ идетъ еще толпа дѣтей другихъ;
Босыя ноги ихъ и сильны, и здоровы.
То юнги мѣстные, то дѣти-рыболовы,
То черни сыновья. Подъ гнетомъ ношъ своихъ
Идутъ они съ трудомъ и каждому изъ нихъ
Знакомы нищета, тяжелый трудъ и горе.
Но строги лица ихъ; безъ зависти во взорѣ
Среди рѣзвящихся дѣтей они бредутъ:
Отважнымъ морякамъ сталь съ дѣтства миль ихъ трудъ,
Хотя и тягостный, за то и благодатный,
И къ баловнямъ судьбы имъ зависть непонятна.
Они извѣдали, что море ихъ, какъ мать,
Здоровымъ воздухомъ умѣть освѣжать
И мощь и красоту даетъ лобзаньемъ этимъ
И рѣзвымъ шалунамъ, и труженикамъ-дѣтямъ.

М. Н.

Н И Щ І Е.

(Очерки изъ жизни „отщепенцевъ“ общества.)

I.

41

Не имѣя возможности или не умѣя работать, люди очень рано начали протягивать руку за кускомъ хлѣба, за грошомъ въ своимъ ближнимъ. Мы, по большей части, презираемъ этихъ людей, какъ туеядцевъ, но очень рѣдко задумываемся надъ вопросомъ, какимъ образомъ мѣръ дошелъ до того, что въ немъ могла явиться такая масса этихъ туеядцевъ. А между тѣмъ эта исторія очень интересна. Прежде, чѣмъ дойти до того, чтобы сдѣлать изъ нищенства ремесло, професію, — человѣчеству пришлось пережить много горя и невзгодъ. Довольно указать на такія явленія, какъ прежнія безсмѣнныя войны, какъ голодные годы и моровыя извы, какъ общественное положеніе народа въ старыя времена, чтобы понять, какъ неизбежно стало тогда нищенство для народныхъ массъ.

Послѣ вторженія Аттилы въ теперешней Франціи, на сѣверѣ отъ Луары, уцѣлѣли только два города: Труа и Парижъ. „Трава не росла тамъ, гдѣ ступала лошадь Аттилы“, говорятъ французскія лѣтописи. Въ Мэцѣ гунны передушили всѣхъ жителей, даже дѣтей, и сожгли городъ, гдѣ только собаки да хищныя птицы доѣдали гнѣющіе трупы людей. Въ Испаніи въ это время смертельно раненые, искалѣченные люди дѣлались пищею звѣрей; въ городахъ скучившееся населеніе питалось падалью; люди поѣдали другъ друга; одна мать съѣла своихъ четверыхъ дѣтей. Въ Африкѣ вандалы вырывали виноградники, оливы, плодовые деревья,

чтобы укрывшіеся въ горы жители умерли по возвращеніи на старыя пепелища отъ голоду. Нѣкоторые города сдѣлались открытыми могилами, гдѣ гнили незарытые трупы, отравляя окрестный воздухъ. Въ Азіи вторженіе готовъ произвело голодъ и моръ, отъ которыхъ погибла половина населенія, напримѣръ, въ Александріи. Одни эти чужеземныя нашествія могли превратить въ массу нищихъ самыя цвѣтушіе народы. Но этого было мало. Человѣчество страдало отъ постоянныхъ войнъ: двѣсти лѣтъ крестовыхъ походовъ; четыреста лѣтъ войнъ Франціи съ Англіей; двѣсти лѣтъ войнъ Франціи съ Австріей; шесть лѣтъ войны Франціи съ Италіей; гражданскія войны во Франціи при Іоаннѣ, Карлѣ V, Карлѣ VI, Людовикѣ XIV; религиозныя войны французовъ, продолжавшіяся болѣе ста лѣтъ, — все это доводило французскій народъ до нищеты и до нищенства.

Рядомъ съ этимъ являлся другой бичъ: голодъ, неизбѣжно сопровождавшійся моромъ. Въ 660 году голодъ во Франціи былъ такъ страшенъ, что пришлось обирать церкви и продавать священные предметы для удовлетворенія общественныхъ нуждъ. При Карлѣ Великомъ было два страшныхъ голода. Съ 820 по 843 годъ голодъ снова часто посѣщалъ Францію. Втеченіи этихъ двадцати трехъ лѣтъ французскія хроники упоминаютъ четырнадцать лѣтъ неурожаевъ. Четыре года голода были такъ страшны, что люди питались человѣческимъ мясомъ. Съ 843 по 876 годъ число голодныхъ лѣтъ превышало число лѣтъ, когда люди могли кое-какъ существовать. Нѣтъ никакой возможности перечислить всѣ бѣдствія, вызывавшіяся этими хроническими годововками, сопровождавшимися поѣданьемъ людей ихъ ближними, убійствами, бросаньемъ дѣтей на произволь судьбы, убіеніемъ стариковъ, моромъ и т. п. Немудрено, что уже при приближеніи 1000-го года люди ждали свѣтопреставленія.

При такомъ положеніи дѣлъ нищета должна была быть повсемѣстною. Отъ нея страдали не однѣ народныя массы, но и важныя сеньеры и короли. Улицы въ это время были узки и грязны до невообразимой степени; дома неудобны и въ рѣдкомъ домѣ были порядочныя печи и трубы; мебель и домашняя утварь были въ очень небольшомъ количествѣ; люди ѣли не вилками, а пальцами; губы вытирались не салфетками, а скатертями. Замки въ этомъ отношеніи не далеко ушли отъ лачугъ. Филиппъ - Августъ въ од-

номъ своемъ письмѣ говорить: „мы жертвуемъ на парижскую богадѣльню для находящихся тамъ бѣдняковъ всю солому изъ нашей спальни и нашего парижскаго дома каждый разъ, когда мы уѣзжаемъ изъ этого города въ другое мѣсто“. При Карлѣ V на столахъ еще не появлялось сколько-нибудь сносныхъ свѣчей и въ домѣ одного изъ самыхъ богатыхъ господъ того времени за ужинами прислуга держала нѣсколько салныхъ свѣчей. Когда жена Карла VI вздумала сдѣлать себѣ двѣ рубашки, ее упрекали въ расточительности. Чулки въ это время шивались изъ разныхъ лоскутьевъ. Въ четырнадцатомъ столѣтїи во Франціи башмаки еще считались величайшею роскошью. Конечно, чтобы обезпечить себя въ матеріальномъ отношенїи, сильные люди должны были брать у слабыхъ все, что можно было взять, и вотъ мы видимъ цѣлую массу поборовъ и притѣсненїй, которые какъ-то странно кажутся теперь, но отъ которыхъ страдалъ и разорился французскїй народъ не менѣе, чѣмъ отъ нашествїя варваровъ, отъ голода, отъ язвъ.

Изнуряемый постоянными войнами, голодомъ, непошѣрными поборами, народъ страдалъ еще отъ всевозможныхъ перекушничковъ. Перечень ихъ продѣлокъ безконечно длиненъ. Они пользовались каждымъ удобнымъ случаемъ, чтобы поднять цѣны на предметы первой необходимости, и тѣмъ еще болѣе увеличивали ужасы неурожайныхъ лѣтъ. Такъ въ пятнадцатомъ столѣтїи, когда цѣны на съѣстные припасы поднялись до крайности и французское правительство назначило таксу на хлѣбъ, барышники устроили стачку: купцы перестали продавать, мельники не стали молотъ, булочники отказались печь. Парижъ впалъ въ такую нищету, которую трудно описать. Жалобы, стenanія и крики слышались на каждой улицѣ, по словамъ хроникеровъ. Дѣти умирали съ голода десятками на улицахъ и никто не помогалъ имъ. Въ эти дни нищїе, ходя по городу, распѣвали длинную „жалобу бѣдныхъ гражданъ и бѣдныхъ поселянъ Франціи“ — смѣсь стоновъ и утрозъ.

Нѣтъ пользы отъ нашихъ старанїй.
 Ни въ чемъ-то спасенья нѣтъ намъ.
 Повсюду на вопли страданїй
 Намъ слышится: „Богъ подастъ вамъ!“
 Ни хлѣба! ни мяса! Даянїй
 Не бросяте намъ даже, какъ псамъ,—
 Увы! а вѣдь мы христіане!

Такъ говорилось въ этой длинной исповѣди, въ этой искренней исторіи нищенства, походившей дѣйствительно на стоишь, вырвавшійся прямо изъ груди народа. До чего доводили пошрины и скушники, это видно изъ словъ Буа-Гильберта. „Жизненные припасы, привозившіеся изъ Китая и Японіи, пишутъ онъ, — возвышались въ цѣнѣ послѣ доставки во Францію въ три раза, а вино, перевозившееся изъ одной французской провинціи въ другую, возвышалось въ девятнадцать, въ двадцать разъ и болѣе. Вина, которыя стоятъ въ Анжу и Орлеанѣ су за мѣру, въ Пикардіи и Нормандіи продавались за двадцать и двадцать четыре су“. Скушники повышали цѣны на хлѣбъ по произволу; они останавливали его на дорогахъ; они держали его у себя, выжидая голодныхъ глѣтъ; они дѣлились барышами со всѣми важными лицами. Недаромъ-же нищій народъ распѣвалъ на улицахъ въ 1709 году:

Послѣ ужасовъ суровой
И убійственной зимы
Отъ весны спасенья снова
Ждемъ тревожно мы:
Вѣтеръ, градъ и непогода
Страхъ внушаютъ намъ,—
Не попала-бъ и природа,
Въ руки скушникамъ!

Эти народныя бичи были во всѣ времена.

Что-же мудренаго, что среди такого положенія общества все болѣе и болѣе распложалось число нищихъ? Если и нужно чему-нибудь удивляться, то ужъ, конечно, не тому, что нищихъ являлось много, а тому, что еще не весь французскій народъ сдѣлался массою тунеядцевъ, видя, что все добываемое его потомъ и кровью уходило въ чужія руки.

„Вотъ, говоритъ Луазо, — причины того числа здоровыхъ нищихъ, которыми переполнена въ настоящее время Франція; вслѣдствіе чрезмѣрныхъ налоговъ рабочій народъ предпочитаетъ бросать все и предаваться бродяжничеству и нищенству, такъ — какъ ему лучше жить въ праздности и на чужой счетъ, чѣмъ постоянно работать, не получая никакихъ выгодъ и извлекая доходы только для уплаты податей. Если это положеніе дѣлъ не прекратится, то можно опасаться двухъ золъ отъ этихъ все возрастающихъ шаекъ: во-первыхъ, полевныя работы прекратятся окончательно за неимѣніемъ людей, которые взяли-бы за эти работы; во-вторыхъ,

ни путешественники на дорогахъ, ни деревенскіе жители дома, ни ихъ жилища не будутъ застрахованы отъ опасности разграбленія“.

Такии образы главныя, коренныя причины нищенства были прямыми слѣдствіемъ тогдашняго положенія общества. Мы указали на одну Францію, но и другіе народы западной Европы стояли точно въ такомъ-же положеніи и примѣры изъ ихъ жизни были бы повтореніемъ приведенныхъ нами фактовъ французской жизни. Прочитайте „Исторію цивилизаціи“ І. Шерра, „Исторію культуры“ Кольба — и вы увидите, что ужасы, пережитые французскимъ народомъ, были пережиты и германскимъ народомъ. Мѣнялись имена, мѣнялись подробности, но сущность оставалась вездѣ одна и та-же.

Но рядомъ съ этими и тому подобными причинами нищенства и бродяжничества замѣчалось еще одно новое крупное явленіе, способствовавшее развитію числа нищихъ и бродягъ. При введеніи христіанства въ западной Европѣ, когда новые проповѣдники говорили о необходимости убивать плоть для спасенія души, слышалась проповѣдь и о покаяніи, о путешествіи въ святую землю, о спасительности обѣтовъ побывать у гроба Господня. Уже въ раннія эпохи развитія христіанства на Западѣ паломничество, путешествія въ Иерусалимъ, въ Римъ, въ Туръ начали считаться святыми подвигами. Къ одиннадцатому-же вѣку эти путешествія сдѣлались даже предметомъ злоупотребленій и приняли на-столько сильный, эпидемическій характеръ, что нельзя было не опасаться ихъ послѣдствій. Въ это время епископы, принцы и короли считали уже главнымъ условіемъ спасенія души подобныя путешествія. Для богатыхъ эти путешествія стали являться, по словамъ Флерри, предлогомъ для новыхъ вымогательствъ и незаконныхъ поборовъ, а для бѣдняковъ предлогомъ побродяжничать и похристарядничать. Пилигримы бродяжничали по странѣ почти голые, въ веригахъ; нѣсколько позже они уже являлись съ бичами, снабженными желѣзными шариками на концахъ, и бичевали свое обнаженное тѣло на людныхъ площадяхъ городовъ; явились католическіе монахи, давшіе обѣтъ нищенства и, въ сущности, проводившіе время не въ молитвѣ, а въ бражничаньи и доѣданіи послѣднихъ крохъ, неотнятыхъ у народа синьерами; сами крестьяне начали соединяться въ вооруженныя шайки, носившія названіе „пастушковъ“

и кричавшія объ освобожденіи Людовика Святого, но подъ предлогомъ освобожденія святой земли онѣ только избивали евреевъ и грабили свою собственную страну. Наконецъ, дѣла дошли до того, что отъ нищихъ и бродягъ не было отбою и эти шайки представляли серьезную опасность для государства.

Въ какомъ положеніи находился тогда французскій народъ, это видно изъ словъ Луазо. „Мы, пишетъ онъ,—столько притѣсняли податныя сословія и налогами, и тиранніей жентильомовъ, что нужно удивляться, какъ онѣ можетъ еще существовать и какъ можетъ находить средства для нашего прокормленія“.

Уже при Людовикѣ XIV нищихъ и бродягъ въ одномъ Парижѣ насчитывалось до 40,000 человѣкъ, а во всей Франціи ихъ число доходило при Людовикѣ XV до 200,000 человѣкъ. Такія полчища могли внушать серьезныя опасенія.

II.

Изъ этого бѣлаго обозора нѣкоторыхъ причинъ нищенства и бродяжничества видно, какъ глубоко оно вкоренилось въ общественную жизнь. Каждое общественное бѣдствіе, каждое притѣсненіе, каждая война прибавляла все новыя и новыя батальоны къ этому полчищу отщепенцевъ общества. Изъ нищихъ и бродягъ, находившихся въ такомъ множествѣ, долженъ былъ создаться особый классъ общества, особое сословіе, съ своею исторіею, съ своими преданіями, съ своими привычками, съ своими кварталами, съ своимъ языкомъ. Это было неизбежно.

Дѣйствительно, изъ нищихъ образовалось особое общество, государство въ государствѣ, и когда на тронѣ благоустроенной Франціи сидѣли Францискъ I и Генрихъ II, на тронѣ нищенствующей Франціи возсѣдалъ Раго. Общій титулъ главныхъ начальниковъ или королей нищихъ и бродягъ во Франціи былъ Коэзръ или Хозрой—имя, вѣроятно, вынесенное изъ крестовыхъ походовъ, изъ бродяжническихъ паломничествъ, и имѣющее персидское происхожденіе. Подъ начальствомъ этого короля находились люди, носившіе названіе *каму* или архи-помощниковъ; это были профессора воровскаго языка; они наблюдали, чтобы отдѣльныя общины всей шайки вносили правильно налоги въ пользу старшины; они были хранителями

тайнъ своей профессіи; они обучали новичковъ, какъ производить искусственныя и отвратительныя раны; это былъ главный штабъ бездѣльничества; эта аристократія нищеты очень гордилась своими обязанностями и называла своихъ членовъ „людьми короткой шпаги“, потому что у каждаго изъ этихъ господъ были ножницы для обрѣзыванья кошелевковъ, которые при Людовикѣ XIV еще привязывались щеголями къ поясу; эти господа нищенствовали въ мѣстахъ, назначенныхъ главнымъ начальникомъ, и обыкновенно выдавали себя за разоренныхъ богачей или раненыхъ воиновъ. За этими главными помощниками вождя нищихъ слѣдовала цѣлая масса самыхъ разнообразныхъ членовъ этой странной компаніи.

Прежде всего нужно упомянуть о *сиротахъ*, молодыхъ мальчуганахъ, которые соединялись въ группы по три, по четыре человѣка и бѣгали по Парижу, трясясь всѣмъ тѣломъ, почти голые. Плача и причитая, они выпрашивали подаянія. За ними слѣдовали взрослые бездѣльники, носившіе названіе *маркандьеровъ*; они обыкновенно появлялись на улицахъ попарно и говорили, что они честные кушцы, разоренные войной, пожаромъ или другими тому подобными событіями; ихъ одежда состояла, по большей части, изъ порядочнаго верхняго платья и продранныхъ штановъ. Толпа, члены которой носили названіе *рифоды*, состояла изъ мужчинъ, запасавшихся удостовѣреніемъ, что ихъ имущество погибло отъ грозы, и ходившихъ въ сопровожденіи своихъ мнимыхъ женъ и дѣтей. Батальонъ *разслабленныхъ* состоялъ изъ мнимыхъ больныхъ: у однихъ являлось распуханіе и отвердѣніе живота и водянка; у другихъ руки и ноги были покрыты язвами; третьи выглядѣли зеленовато-желтыми и т. д. *Надувалы* шлялись преимущественно по кабакамъ или являлись на Понъ-Нефъ, дѣлали видъ, что потеряли деньги, заставляли прохожихъ искать эти деньги и терять свои собственные. *Убоіе* ухитрялись подвязывать ноги такъ, что казались хромыми и таскались на костыляхъ. *Поетсы* ходили за милостыней по четыре человѣка вмѣстѣ; ихъ одежда состояла изъ куртки, надѣтой на тѣло безъ рубашки, изъ шляпы безъ дна; на плечахъ у нихъ всегда имѣлась сумка, сбоку болталась бутылка. *Франкъ-миту*—это люди, ходившіе съ грязными перевязками на головахъ, отлично перевязывавшіе себѣ руки, чтобы пріостановить теченіе крови, и падавшіе среди улицъ въ обмороки, вслѣдствіе чего благотворительныя особы стекались къ

нимъ на помощь. *Калло* изображали собою мнимо излечившихся отъ коросты людей. *Сабуле* или *припадочные* падали въ конвульсіяхъ и корчахъ на землю, изображая людей, страдающихъ падучею болѣзью; предварительно они набирали въ ротъ мыла, вслѣдствіе чего у нихъ изо рта была пѣна. *Гюбэны*—это господа, носившіе съ собою свидѣтельство, что ихъ искусила бѣшеная собака и что они обращались къ св. Гюберту, который и исцѣлилъ ихъ. *Кокильярды*—паломники, украшенные раковинами, говорившіе, что они возвращаются изъ святыхъ мѣстъ, изъ Сан-Жака, изъ Сан-Мишеля, продававшіе эти святые раковины доврчивымъ глупцамъ, какъ продаютъ наши странники и странники четки и масло изъ Іерусалима, надувая простоватое купечество. Къ этимъ разрядамъ нищихъ можно еще прибавить таеъ-называемыхъ *курто-де-бутанжъ*, нищенствовавшихъ только зимою; *марканъ*, игравшихъ роль значительныхъ людей и называвшихъ своихъ женъ *маркизами*; *миліонеровъ*, ходившихъ съ большими сумками; *хитрецовъ* или *солдатъ*, просившихъ милостыню со пшайгой на боку. Таково было это полчище присяжныхъ „нищихъ“, сдѣлавшихъ изъ нищеты ремесло, професію. Изъ простого перечисленія различныхъ видовъ этихъ нищихъ уже видно, какъ близко граничили эти бѣдняки съ обыкновенными мошенниками. Иначе, впрочемъ, и не могло быть; праздность, бездомность, скитальчество, пребываніе въ общихъ вертепахъ, — все это должно было окончателно убитъ нравственность этого общества оборванныхъ бродягъ.

Но гдѣ-же помѣщалось это государство въ государствѣ?

Въ двѣнадцатомъ вѣкѣ и нѣсколько позже, по словамъ историка Вилларе, въ Парижѣ встрѣчалось множество притоновъ, наполненныхъ жалкими лачугами, гдѣ находили убѣжище отщепенцы общества, жившіе исключительно подаваніемъ втеченіи дня и воровствомъ во время ночи. Къ этимъ притонамъ было не безопасно подходить, такъ-какъ здѣсь можно было постоянно натолкнуться на оскорбленія. Когда эти тунеядцы выходили изъ своихъ логовищъ, они выглядели убогими, жалкими, искалѣченными; когда они возвращались домой, ихъ убожество быстро исчезало и они дѣлались здоровыми; вслѣдствіе этого ихъ притоны стали называться *домами чудесъ*. Подобные дома или, вѣрнѣе сказать, дворы, были многочисленны въ Парижѣ. Въ улицѣ Сен-Дени были дворъ короля

Франциска и дворъ св. Катерины; въ улицѣ Мортелери былъ дворъ Бриссе; въ улицѣ Кокиль былъ дворъ Женсьенъ; въ улицѣ де-ла-Жюссень былъ дворъ де-ла-Жюссень; между улицами Сан-Нисезъ, Сант-Оноре и де-л'Ешель былъ дворъ и пассажъ Сант-Оноре и т. д. Многіе изъ этихъ притоновъ очень долго сохранили свои характеристическія названія. Грязь здѣсь царствовала невообразимая, чего и слѣдовало ожидать. Опрятность требуетъ известной степени умственного развитія и матеріальнаго достатка и потому нельзя требовать ея отъ народа вообще и отъ нищихъ въ особенности. Кромѣ того эти нищіе были часто прямыми преемниками тѣхъ паломниковъ, которые жили въ тѣ времена, когда христіанство боролось со всѣми традиціями языческаго Рима. Римъ придавалъ большое значеніе плоти и ея потребностямъ, а значить и чистотѣ. Христіанство стало проповѣдывать, что обѣты никогда не мыться, не смѣнять бѣлья—благочестивые подвиги, и грязь, невообразимая грязь сдѣлалась заслугою въ глазахъ набожныхъ людей, такъ что христіанскіе города и дома отстали на нѣсколько вѣковъ въ отношеніи чистоты отъ языческаго Рима и языческой Греціи. Нищенскіе притоны въ этомъ отношеніи были квинтъ-эссенціей грязи. У Совалья находится описаніе одного изъ этихъ дворовъ, пользовавшагося особенной известностью. „Дворъ этотъ, говорятъ Соваль, — представляетъ довольно большую площадь и очень большой глухой переулокъ, вонючій, грязный, неправильный и немощеный. Въ былыя времена онъ принималъ къ крайнимъ улицамъ Парижа. При Людовикѣ XIV онъ вошелъ въ составъ одного изъ самыхъ отдаленныхъ, самыхъ грязныхъ и наиболѣе плохо выстроенныхъ кварталовъ Парижа, между улицею Монторгейля, женскимъ монастыремъ и улицею Нѣвъ-Сан-Совѣръ. Это совсѣмъ особый міръ. Чтобы проникнуть сюда, нужно пройти нѣсколько скверныхъ, вонючихъ, кривыхъ улицъ; чтобы войти во дворъ, нужно спуститься по довольно длинному, неровному, кочковатому скату. Я видѣлъ здѣсь одинъ домъ, выросшій въ землю, шатавшійся отъ ветхости и гнилости; онъ занималъ не болѣе четырехъ квадратныхъ сажень, а между тѣмъ здѣсь жило не менѣе пятидесяти семействъ съ безчисленнымъ множествомъ законныхъ, незаконныхъ и украденныхъ дѣтей. Меня увѣряли, что въ этомъ маленькомъ домѣ и въ сосѣднихъ съ нимъ лачугахъ жило болѣе пятисотъ большихъ семействъ, помѣщавшихся чуть не другъ на

другѣ. Какъ ни былъ великъ этотъ дворъ, но онъ былъ въ бѣдныя времена еще больше. Со всѣхъ сторонъ онъ былъ окруженъ низенькими строениями, вросшими въ землю, темными, неуклюжими, сгѣпленными изъ земли и грязи и полными отвратительныхъ нищихъ. Здѣсь люди питаются мошенничествомъ, толстѣютъ среди праздности, обжорства и всевозможныхъ пороковъ и преступленій. Здѣсь, нисколько не думая о будущемъ, каждый наслаждается по своему настоящимъ и провѣдаетъ вечеромъ все то, что онъ добылъ днемъ не безъ труда и во всякомъ случаѣ не безъ тумановъ и побоевъ; приобрести—здѣсь означаетъ стащить; основнымъ закономъ на дворѣ чудесъ считается правило ничего не откладывать на завтра. Каждый живетъ здѣсь въ крайней распущенности; ни для кого здѣсь нѣтъ ни правилъ, ни уставовъ; здѣсь не знаютъ ни крещенія, ни брака, ни покаянія. Дѣвушки и женщины менѣе уродливыя продаютъ себя всѣмъ и каждому за два лиарда; другія за два денъе (т. е. за одну шестую часть су); большая часть отдается даромъ. Нѣкоторые нищѣ платятъ деньгами тѣмъ мужчинамъ, отъ которыхъ родятся дѣти у ихъ собственныхъ подружекъ жизни, потому что, имѣя дѣтей, легче разжалобишь прохожихъ и добудешь денегъ“.

Такъ жили нищѣ въ старину, имѣя свой собственный языкъ, свои нравы, свои кварталы, свои законы, своего короля, свою исторію и даже свою поэзію въ родѣ разныхъ длинныхъ „жалобъ“.

III.

Никакое благоустроенное общество, конечно, не могло спокойно смотрѣть на существованіе подобнаго государства въ государствѣ. Вслѣдствіе этого борьба съ нищими и бродягами была неизбежна.

Уже въ 1350 году король Іоаннъ издалъ приказъ о наказаніи нищихъ и бродягъ ударами кнута и выставленіемъ ихъ къ позорному столбу. Если-же нищѣ и бродяги будутъ попадаться въ третій разъ въ руки правосудія, то ихъ приказано было наказывать наложеніемъ клейма на лобъ и ссылкою. Этотъ указъ не остался единичнымъ явленіемъ и переходилъ изъ столѣтія въ столѣтіе. Въ 1524 году снова было подтверждено, что нищихъ и

бродягъ нужно бить кнутомъ и ссылатъ, а въ слѣдующемъ году имъ приказано было оставить Парижъ, если они не желаютъ быть повѣшенными. Но, вѣроятно, страшное государство нищихъ было сильнѣе приказовъ, потому что оно не распадалось и число его членовъ не уменьшалось. Въ 1532 году парламентъ приказалъ сковывать нищихъ и бродягъ попарно и заставлять ихъ чистить сточные каналы и ямы. Въ 1534 году издано приказаніе объ удаленіи изъ города „шкельниковъ и нищихъ“ и о запрещеніи подъ страхомъ повѣшенія пѣть передъ образами на улицахъ. Въ 1561 году указъ Барла IX грозилъ вѣчными галерами бездомнымъ бродягамъ и нищимъ. При Генрихѣ III приказано было заключать въ „маленькіе дома“ тѣхъ, которые любятъ нищенствовать, а не работать. Въ 1554 и въ 1607 годахъ у заставъ Парижа была поставлена особая стража для того, чтобы не впускать въ городъ нищихъ. Въ 1602 году приказано было брить головы нищимъ, и эта мѣра, по остроумному замѣчанію Дю-Кана, имѣла ту хорошую сторону, что была гигиенична. Въ 1606 году постановленіемъ парламента рѣшено было стегать кнутомъ нищихъ черезъ палача на публичныхъ площадяхъ и налагать имъ на плечи особня клейма.

Одно такое частое повтореніе однихъ и тѣхъ-же указовъ вполне ясно показывается, какъ они плохо дѣйствовали, — конечно, не потому плохо дѣйствовали, что палачъ уставалъ стегать кнутомъ нищихъ и бродягъ или клеймить этимъ людямъ лбы, а потому, что эти люди и послѣ стеганья кнутомъ, и послѣ клеймленья оставались по-прежнему нищими и бродягами, а не дѣлались землевладѣльцами, королевскими чиновниками, военными людьми или ловкими комерсантами. Пожалуй, еще при помощи повѣшенія можно-бы было убавить число нищихъ и бродягъ, если-бы, къ сожалѣнію, въ то время, когда вѣшали одного бродягу или нищаго, въ міръ не являлось двухъ или трехъ новыхъ нищихъ и бродягъ. Такимъ образомъ, стремленія законодателей старой Франціи относительно нищихъ и бродягъ имѣли то-же значеніе, какое имѣетъ стремленіе челоуѣка, желающаго въ болотистой мѣстности перебить всѣхъ лягушекъ: онъ ихъ бьетъ, а болото порождаетъ новые легіоны его крикливыхъ враговъ. Конечно, если онъ не догадается уничтожить самое болото, то борьба съ лягушками займетъ все его существованіе и въ предсмертныя минуты онъ пря-

детъ только къ одному сознанию — къ сознанию, что лягушки по-прежнему квакають въ сосѣднемъ болотѣ.

Среди этой-то гоньбы за мухой съ обухомъ явился одинъ мудрецъ, который придумалъ способъ избавиться отъ нищихъ и бродягъ: нѣкто Бельевръ, первый президентъ парламента, задумалъ запретить нищихъ и бродягъ и въ 1656 году уже выстроилъ три дома для этой цѣли. 7 мая 1657 года во всѣхъ церквяхъ возвѣстили, что главная богадѣльня открыта; въ тотъ-же день „публичные крикуны“ объявили на площадяхъ, что запрещается просить милостыню; 13 мая того-же года отслужили торжественную обѣдню, а 14 числа издали указъ о задержаніи всѣхъ нищихъ, создавъ для этого особую стражу... А нищихъ было не мало, не много—40,000 человекъ!.. Стали ловить, стали запираеть этихъ вольныхъ птицъ, а число ихъ все увеличивалось и увеличивалось. Мудрецы того времени терали голову и сообразили наконецъ, что вся бѣда состоитъ не въ томъ, что являются просящіе, а въ томъ, что являются подающіе милостыню: отдали приказъ, который гласилъ: „запрещается каждому, какого-бы званія и состоянія онъ ни былъ, подавать лично милостыню нищимъ на улицахъ и въ другихъ публичныхъ мѣстахъ, причеъ не будетъ приниматься въ оправданіе ни чувство состраданія, ни настоятельность нужды и тому подобныя причины, и виновный будетъ подвергаться штрафу въ четыре ливра. Запрещается каждому домохозяину или нанимателю квартиры помѣщать или укрывать у себя бѣдныхъ нищихъ подѣ страхомъ штрафа въ 100 ливровъ за первый проступокъ и 300 ливровъ за повтореніе проступка. Кромеъ того постели, матрацы, перины и простыни, на которыхъ лежали эти нищіе у частныхъ лицъ, давшихъ имъ пріютъ, будутъ схвачены и конфискованы въ пользу главнаго госпиталя, безъ всякаго суда и отлагательства. Если-же бѣдные будутъ просить милостыню въ домахъ, то собственники домовъ, жильцы и прислуга обязаны задерживать и арестовывать ихъ, передавая въ руки стражи“. Въ 1662 году эти правила распространились и на провинцію и въ тотъ-же году подтвердили, что „каждый солдатъ, находящійся не на службѣ, каждый бродяга, носящій шпагу, каждый нищій, рожденный не въ Парижѣ, должны удалиться на родину подѣ страхомъ наказанія кнутомъ и клеймленія“. Въ 1700 году повелѣвается „всѣмъ лицамъ, достигнувшимъ 15 лѣтъ, поддерживать

свое существованіе трудомъ подѣ страхомъ быть наказанными въ качествѣ бродягъ; всѣмъ нищимъ и бродягамъ приказывается удалиться втеченіи двухъ недѣль на родину; кромѣ того запрещается имъ соединяться въ группы, состоящія болѣе, чѣмъ изъ четырехъ человекъ, жить на большихъ дорогахъ, заходить на фермы подѣ страхомъ наказанія внудомъ и желѣзнымъ ошейникомъ; это наказаніе постигаетъ двадцатилѣтнихъ; людей-же старше этого возраста ссылаютъ на 5 лѣтъ на галеры; относительно женщинъ постановляется наказаніе, равняющееся при первомъ проступкѣ мѣсячному заключенію въ госпиталяхъ, а въ случаѣ повторенія проступка — сѣченію плетью и желѣзному ошейнику; запрещается кому-бы то ни было подавать милостыню подѣ страхомъ штрафа въ 50 ливровъ“.

А число нищихъ и бродягъ все не убавлялось.

Явился въ это время великій магъ и волшебникъ тѣхъ дней, дѣлавшій деньги изъ ничего, и подалъ мысль объ отсылкѣ нищихъ и бродягъ „на островъ Миссиссипи“. Обрадовались этому проекту Джона Ло и сразу отправили 500 человекъ обоеихъ половъ. Это было въ 1719 г. Но въ 1750 году эта система привела къ тому, что ночью уже хватали кого попало, — служанокъ, шедшихъ изъ гостей, дѣтей мастеровыхъ, вышедшихъ погулять, трудящуюся молодежь, случайно подвернувшуюся подѣ руки исполнительной стражѣ; въ Парижѣ стали говорить, что Людовикъ XV, страдающій проказою, беретъ ванны изъ человѣческой крови, и начинались возстанія. Пришлось опять выискивать новыя мѣры, которыя оказались ничѣмъ инымъ, какъ возвращеніемъ къ старому: въ 1764 г. приказано было клеймить каленымъ желѣзомъ лѣвую руку каждаго здороваго нищаго и ссылатъ его на девять лѣтъ на галеры, а въ случаѣ повторенія преступленія ссылатъ на галеры навсегда.

Дѣла между тѣмъ шли все хуже и хуже; наконецъ, въ 1790 году, когда политическія смуты и общественная неурядица остановили ходъ промышленности и торговли, когда въ Парижѣ нахлынула масса трудящагося народа, когда въ городѣ царствовали безработица и голодъ, де-ла-Рошфуко-Ліанкуръ придумалъ открыть прядильныя мастерскія для женщинъ и дѣтей и земляныя работы для мужчинъ. Нечего сказать, во-время дѣлалось это дѣло! Для однихъ нищихъ открыли мастерскія на 12,000 человекъ. А число

нищихъ все-таки не убавлялось. И опять, два года спустя, издали постановленіе, что каждый гражданинъ, уличенный въ томъ, что онъ подалъ милостыню, долженъ заплатить штрафъ въ размѣрѣ двухъ рабочихъ дней въ первый разъ, а во второй разъ— въ размѣрѣ четырехъ рабочихъ дней. Человѣкъ-же, уличенный въ томъ, что онъ просилъ хлѣба или денегъ на улицѣ или на общественныхъ дорогахъ, будетъ признанъ нищимъ и арестованъ. Такимъ образомъ французскія правительства въ отношеніи вопроса о нищенствѣ и бродяжничествѣ вертѣлись, какъ бѣлка въ колесѣ, возвращаясь все къ одной и той-же исходной точкѣ: „не просите и не подавайте милостыни подѣ страхомъ наказанія“. Но фразами не убиваются факты.

IV.

Это была грустная и бесплодная война съ царствомъ нищеты.

Но отчего-же не шли нищѣ въ открытыя для нихъ богадѣльни? Отчего не удавались такія предпріятія, какъ стремленіе французскихъ правительствъ дать нищимъ работу?

Грязны и душны были тѣ вертепы, гдѣ жили обыкновенно нищѣ, но все-таки они жили тамъ на свободѣ, по-своему наслаждались жизнью, создавали для себя извѣстныя удобства. Когда для нихъ открыли „дома призрѣнія“, „богадѣльни“, „заключенія“,—имъ приходилось лишиться всего, что было дорого имъ на свободѣ, и не получить ничего, что вознаграждало-бы ихъ за эти потери. „Нужно власть спать нищихъ на солому и кормить ихъ хлѣбомъ и водою, чтобы они занимали меньше мѣста“, пишетъ въ своихъ инструкціяхъ интендантамъ главный контролеръ Доденъ, и это правило дѣлается общимъ правиломъ. Въ томъ-же духѣ говоритъ нѣкто Лелонгъ. „Не нужно давать даже необходимое тѣмъ, которые отказываются работать, выражался онъ.—Я охотно предложилъ-бы помѣстить ихъ въ такое мѣсто, гдѣ была-бы постоянно вода, которую они должны были-бы выкачивать, чтобы не мокнуть“. Мѣста заключенія, богадѣльни и госпитали являются еще худшими вертепами, чѣмъ „дворы чудесъ“. Въ одномъ изъ трудовъ академіи въ Шалонѣ-на-Марнѣ мы читаемъ: „Чтобы удалить изъ нашихъ городовъ и деревень массу нищихъ, не могли придумать ничего лучшаго, чѣмъ заключеніе нищихъ. Мы

посѣтили эти новыя тюрьмы, такъ-называемыя „депо нищихъ“ или „заключенія“, находящіяся на издвигеніи правительства и провинцій. Нищѣ здѣсь показались намъ мрачными и отупѣвшими среди своихъ страданій. Когда мы спросили ихъ о ихъ положеніи, они молили насъ обратить вниманіе на ихъ просьбы, на ихъ страшное положеніе. Въ самомъ дѣлѣ, бѣдняки, помѣщенные въ слишкомъ тѣсномъ пространствѣ, плохо питаемы, скверно одѣты, изнуряются работою и дурнымъ обращеніемъ, когда они не исполняютъ заданнаго имъ дѣла. Двѣ или три тысячи несчастныхъ, помѣщенныхъ почти другъ на другѣ, подавленныхъ нищетою, отравляемыхъ смертоноснымъ дыханіемъ, поѣдаемыхъ червями, стонутъ такъ-же часто, какъ дышутъ. Эти дома, чреватые болѣзнями, подавляютъ наши госпитали, посылая въ послѣдніе невообразимыя массы больныхъ. Съ другой стороны, увѣряютъ, что въ этихъ депо нищету не даютъ достаточнаго количества пищи, ввѣряя его жизнь алчности воровъ-смотрителей. И если-бы эти учрежденія пресѣкали еще праздность, такъ нѣтъ, они дѣлаютъ нищихъ только болѣе осторожными. Что касается числа несчастныхъ, то оно нисколько не уменьшилось“. Самые госпитали были не лучше. Тенонъ рассказываетъ, что больныхъ клали по четыре человѣка на одну постель; иногда на одной постели помѣщали восемь человѣкъ; мѣсто на каждаго больного было въ шесть съ половиною дюймовъ ширины; нужно было или все время лежать на боку, или ждать, покуда не выспится сосѣдь. Когда одинъ изъ больныхъ умиралъ, его трупъ оставался лежать на постели втеченіи цѣлыхъ часовъ и распространялъ заразу. Въ домахъ призрачія нищихъ было то-же: люди спали въ повалку, дѣти оставались безъ воспитанія и безъ работы, больные безъ воздуха, слабые безъ ухода, бѣдняки вообще, по официальнымъ отчетамъ, находились здѣсь „въ зараженныхъ клоакахъ“. „Каждый шагъ въ этихъ домахъ, пишетъ ла-Рошфуко, — все болѣе и болѣе убѣждаетъ, что эти дома являются притонами предрасудковъ, которые держатся здѣсь долгое время послѣ того, какъ они исчезли въ остальномъ мірѣ“. Мудрено-ли, что нищѣ предпочитали этимъ „клоакамъ въ неволѣ“, свои „вертепы на волѣ“?

Не могло идти болѣе удачно и устройство общественныхъ работъ для нищихъ. Правда, во время неурожая въ 1524 году удалось построить, при помощи голодныхъ, нѣкоторыя укрѣпленія

Парижа, но этот успѣхъ опыта былъ случайный. Когда въ 1532 году приказано было скосывать нищихъ попарно и заставлять ихъ чистить каналы и помойныя ямы, то нищихъ оказалось столько, что городъ уставалъ ихъ кормить. То-же повторилось въ 1724 году, когда былъ изданъ слѣдующій указъ: „Приглашаемъ явиться въ ближайшіе къ ихъ жилищамъ госпитали всѣхъ нищихъ-калѣкъ или тѣхъ, которые, по старости лѣтъ, не могутъ добывать кусокъ хлѣба, а также дѣтей, женщинъ беременныхъ или кормящихъ грудью дѣтей и нищенствующихъ по недостатку средствъ для пропитанія; ихъ помѣстятъ даромъ и будутъ употреблять на работы, сообразныя съ ихъ возрастомъ и силою, въ пользу госпиталя, чтобы хотя отчасти окупить ихъ содержаніе; весь излишекъ затратъ на ихъ содержаніе, если у госпиталя не хватитъ средствъ, мы дадимъ отъ себя. Для того-же, чтобы здоровые нищія не отговаривались неимѣніемъ работы, оправдывая свою лѣнь, мы позволяемъ каждому здоровому нищему наниматься въ госпитали, которые, согласно съ условіями найма, дадутъ нищимъ средства къ существованію. Эти наемные люди будутъ раздѣлены на группы въ двадцать человѣкъ подъ начальствомъ сержанта, который будетъ водить ихъ ежедневно на работу и безъ разрѣшенія котораго они не могутъ никуда отлучаться. Ихъ употреблять на постройку мостовъ и дорогъ или на другія публичныя работы, которыя будутъ признаны необходимыми. Они будутъ получать еженедѣльно вознагражденіе согласно съ числомъ рабочихъ дней. Это вознагражденіе составитъ, по крайней мѣрѣ, шестую часть стоимости производства“. На эти работы было истрачено шесть миліоновъ втеченіи трехъ лѣтъ, а пользы не вышло никакой ни для нищихъ, ни для правительства. Число желающихъ работать все прибывало, а правительство совершенно не знало, какую работу дать имъ, и заставляло ихъ рыть бесплодно и непроизводительно землю. Пришлось въ концѣ концовъ прекратить это пересыпанье песку изъ пустого въ порожнее. Такая-же участь постигла подобное предпріятіе въ 1790 году, когда опять правительство рѣшилось дать нищимъ казенную работу. Нищихъ раздѣлили на большія группы, надъ каждою группою былъ свой начальникъ и два помощника начальника; расплата производилась по субботамъ; контролеръ провѣрялъ число работавшихъ. Мужчины опять были заняты земляными работами, а женщины пряжею. Число приби-

навших на работу нищихъ росло быстро и дошло до 19,000 человекъ. Въ одинъ годъ было поглощено ими 15,000,000, а пользы не вышло никакой. Прекратили и эти работы нищихъ и придумали въ слѣдующемъ году новую организацію работъ; стали выдавать нищимъ не поденную, а задѣльную плату. Но и тутъ вышла неудача: масса нищихъ росла и росла, ассигнованные на нихъ 2,600,000 ливровъ вышли и пришлось вторично прекратить работы нищихъ. Да и могло-ли быть иначе? Число нищихъ, подъ вліяніемъ тысячи причинъ, не уменьшалось, а увеличивалось; чтобы дать всѣмъ имъ работу, нужно было изстратить множество денегъ; но государство не могло дать такой массы денегъ даромъ, безвозвратно, если оно не вздумало-бы увеличить налоги и подати, то-есть увеличить еще болѣе число бѣдняковъ; значить, оно должно-бы было придумать производительную работу, чтобы не трогать денегъ даромъ; но какую-же производительную работу могли дѣлать нищіе, ни къ чему не подготовленные, ничего не знающіе, и какая производительная работа могла принести выгоды во время промышленнаго зстоя и кризиса, когда не было никакого спроса на рынкахъ, когда не было никакого сбыта для произведеній промышленности, — однимъ словомъ, именно въ то время, когда и является наибольшее число нищихъ?

V.

Но если общество не могло ничего сдѣлать покуда для уменьшенія числа нищихъ, то время сдѣлало очень много для измѣненія характера нищихъ.

— О, мы тоже не чужды прогресса! могутъ сказать эти члены царства вразности.

Общественная жизнь съ каждымъ годомъ усложняется все болѣе и болѣе; въ области спекуляцій являются новые способы наживы, въ родѣ игры цѣнными бумагами; въ мірѣ промышленности все увеличивается число производствъ, занимая сотни рубъ выдѣлываньемъ какихъ-нибудь стеклянныхъ прессъ-папье или вѣчныхъ чернильницъ, дѣйствующихъ плохо втеченіи какого-нибудь одного мѣсяца; среди театральныхъ представленій являются новые роды пьесъ, въ родѣ феерій, оперетъ, ежегодныхъ обзорѣній; мошенничество расширяется новыми средствами обмана и вытягиванья де-

ногъ, въ родѣ шантажа или публикацій о безпрогрѣшныхъ парн на скачкахъ. Нищенство не могло въ этомъ отношеніи отстать отъ вѣка. Прежнихъ обитателей „домовъ чудесъ“ и не снилось, до какого разнообразія дойдутъ ихъ пріемники. Теперь иногда трудно сказать, гдѣ начинается нищій и гдѣ кончается мелкій торговецъ; теперь порою трудно опредѣлить, стоитъ-ли передъ вами нищій или писатель изъ богемы; теперь не всегда можно отличить нищаго отъ фигляра или простого мошенника.

Нищіе въ настоящее время продаютъ ремни, цвѣты, писчую бумагу, спички. Они подбираютъ въ европейскихъ городахъ окурки сигаръ, крошутъ ихъ и продаютъ въ обдѣныхъ кварталахъ. Они торгуютъ четками и святой водой. Повидимому, это люди, занимающіеся мелкой торговлей, а между тѣмъ это нищіе, только отводящіе глаза бдительной полиціи своею мнимой торговлею. Улучивъ свободную минуту, они просто протягиваютъ руку, уже и не думая предлагать вамъ скудныхъ запасовъ своихъ товаровъ. Въ средѣ артистовъ изъ богемы, въ средѣ молодежи, только-что поступающей въ университетъ, вертятся личности, декламирующія длинныя и совершенно бездарныя стихотворенія; эти личности плохо одѣты, не имѣютъ угла, не сѣютъ, не жнутъ, молодежь считаетъ ихъ будущими писателями, артисты изъ богемы видятъ въ нихъ свѣжъ несчастныхъ собратій, неуспѣвшихъ вслѣдствіе враждебныхъ случайностей развить свои способности, и эти мнимые поэты и писатели существуютъ, протягивая руку за чужимъ табакомъ, за чужимъ обѣдомъ, пристраиваясь на чужой квартирѣ, пируя на чужомъ пиру и умирая въ богадѣльнѣ, въ больницѣ. Нищіе пользуются званіемъ писателей, подавая прошенія о вспоможеніи: одинъ изъ нихъ подписывается просьбу чужимъ литературнымъ именемъ, другой подписывается „поэтомъ и членомъ флосалнійской академіи“. Нищіе ходятъ по улицамъ городовъ со скрипками, съ флейтами, съ гитарами, съ арфами, съ шарманками; они выставляютъ на видъ свои уродливо-созданные члены: руки безъ пальцевъ, ноги безъ ступней. Эта категорія нищихъ—переходная ступень къ фиглярамъ, такъ-что трудно сказать, куда причислить „человѣка съ булыжниками“ или женщину безъ рукъ, безъ ногъ, подсказывавшую и плясавшую на одной изъ площадей Парижа, собирая милостыню. Производя какіе-то особенные звуки при помощи сѣдалищныхъ мускуловъ, она кричала:

— Слушайте, слушайте, милостивые государи и милостивыя государины, у меня часы въ животѣ.

И толпа глазѣла на нее такъ-же, какъ она глазѣла на „человѣка съ булыжниками“, когда онъ говорилъ:

— Сейчасъ начинается!

Точно такъ-же трудно рѣшить, къ какой категоріи отнести корешенькихъ мальчиковъ и дѣвочекъ, выписываемыхъ нищими-шарманщиками для хожденія съ шарманкой, для гѣнія на улицахъ, для пляски на дворахъ: къ числу нищихъ, къ числу фигляровъ или къ числу проститутокъ?

Отучить этихъ людей отъ нищенства нѣтъ никакой возможности. Нищенство дѣлается страстью, какъ всякое другое избранное человѣкомъ занятіе. Одна женщина изъ хорошей фамиліи, имѣвшая богатыхъ родныхъ, постоянно убѣгала для того, чтобы просить Христа-ради. Одинъ слѣпецъ, ежедневно собиравшій милостыню, далъ за своей дочерью, вышедшею замужъ за нотариуса, 300,000 франковъ приданого и ежедневно появлялся въ бельэтажѣ въ оперѣ, куда онъ ѣздилъ въ собственномъ экипажѣ. Никакія богатства, никакія преслѣдованія не могутъ излечить отъ этой страсти. Такъ одинъ изъ особенно ловкихъ нищихъ ежедневно появлялся на дорогѣ къ биржѣ. Опираясь на палку, со стенами, онъ съ трудомъ передвигалъ ноги, не прося о подаяніи, но немного протянувъ руку. Послѣ своего путешествія по населенному кварталу онъ садился въ omnibusъ и отправлялся въ сен-мартенское предмѣстье. Это былъ баденскій уроженецъ, бѣжавшій отъ воинской повинности во Францію. Онъ былъ арестованъ за кражи и прошеніе милостыни въ 1838 году, въ 1839 году, въ 1840 году, въ 1841 году, въ 1847 году, въ 1849 году. Наконецъ его выслали въ 1852 году изъ Франціи, куда онъ возвратился снова въ 1855 году, былъ снова арестованъ, далъ слово не протягивать руки и сдержалъ это слово: онъ не протягиваетъ руку, но беретъ все, что ему дадутъ. А между тѣмъ онъ былъ очень искуснымъ портнымъ, сильнымъ и здоровымъ человѣкомъ, далеко не бѣдною личностью.

Да, нищенство, вслѣдствіе массы самыхъ разнообразныхъ общественныхъ отношеній, сдѣлалось страстью для цѣлой массы людей и отучить отъ этой страсти такъ-же трудно, какъ трудно отучить отъ пьянства, отъ разврата.

VI.

Какъ живутъ теперь нищіе?

На этотъ вопросъ такъ-же трудно отвѣтить въ короткихъ словахъ, какъ трудно было-бы перечислить всѣ существующія категории нищихъ.

Въ настоящее время, по словамъ Дю-Кана, нищій по большей части не бродяга: не его встрѣтите вы спящимъ въ водопроводныхъ трубахъ, лежащихъ на мостовой и еще не положенныхъ въ землю; не его встрѣтите вы лежащимъ за грудой мусора или щебня на большой дорогѣ. У самыхъ бѣдныхъ изъ нихъ есть своего рода постоянное пристанище; меблированныя комнаты, ночные пріюты, окрестныя деревни, гроты въ садахъ, бесѣдки, — вотъ ночлеги тѣхъ изъ нищихъ, которые не имѣютъ еще роскошныхъ жилищъ. Такъ, напримеръ, нищіе-шарманщики помѣщаются въ такъ-называемыхъ меблированныхъ комнатахъ. Въ улицѣ Сен-Маргеритъ, среди сентантуанскаго предместья, проживаетъ довольно значительное число этихъ господъ, но самая большая ихъ часть помѣщается близъ монторгѣйльской заставы. Здѣсь ими занимаются три или четыре дома. Нанявъ цѣлый этажъ или два, шарманщикъ помѣщаетъ здѣсь нанимаемыхъ имъ дѣтей. Узкія и жесткія кровати занимаются четверными дѣтьми: двое ложатся рядомъ, другая пара помѣщается въ ногахъ, такъ-что ноги первыхъ касаются лицъ вторыхъ. Дѣвочки и мальчики здѣсь находятся вмѣстѣ. Грязь и бѣдность здѣсь доходятъ до послѣдней степени, хотя самъ хозяинъ-шарманщикъ живетъ безбѣдно. Еще хуже этихъ жилищъ ночные пріюты, гдѣ почувтъ еще не разбогатѣвшіе нищіе. Одни названія этихъ притоновъ уже очень характерны: „Летучая вошь“, „Зимний чеснокъ“, „Обтесывальня“, „Чистилище“, „Яма“, „Большой приемникъ“, „Волчица“, „Лицей“, „Бойня“, „Блоха“, „Гвоздь“, „Большая яма или могила“, „Коробка и-съе Доманжа“, „Иисусъ“, „Плоть Медузы“, „Парижскія тайны“, „Постоянный дворъ нищихъ“, „Робинсонъ“, „Тулонская школа“, „Катафалкъ“, „Головоломка“, „Префектура“, „Дохлая собака“ и т. д. Въ нѣкоторыхъ названіяхъ этихъ притоновъ проглядываетъ иронія; такъ они называются: „Увлекающіеся“, гдѣ жили въ 1865 году люди, почти умеравшіе съ голода и походившіе на скелеты, „Оранжерея“, пораженная зараженными миазмами, „Роза вѣтровъ“, гдѣ не было

и двухъ цѣлыхъ стеколъ въ окнахъ, „Французскій банкъ“, „Перу“, „Монако“, „Сберегательная касса“, „Елисейскія поля“ и т. д. Нѣкоторыя названія притоновъ носятъ мрачный характеръ: „Холера“, „Понтоны“, „Мостъ скорби“, „Березина“, „Баторга“ и т. д. Здѣсь живутъ нищіе, преступники, проститутки. Добывъ 20 су, человѣкъ платитъ за ночлегъ 8 или 6 су. Въ нѣкоторыхъ изъ этихъ притоновъ помѣщается 10, 15, 20 кроватей въ комнатѣ; въ меньшихъ притонахъ стоятъ 4, 6, 8 кроватей. Ночлегъ въ большихъ притонахъ вдвое дешевле, чѣмъ въ маленькихъ. Деревянные кровати, грязныя перины, иногда жесткіе тюфяки, толстыя шерстяныя одѣяла, грубыя простыни, почти никогда не моющіяся, — вотъ всѣ принадлежности этихъ притоновъ. Метуть подъ кроватями только три раза въ годъ, вслѣдствіе этого грязь и насѣкомыхъ здѣсь не оберешься. За первую ночь здѣсь платятъ болѣе, чѣмъ за слѣдующія, такъ-какъ предполагается, что въ первую ночь кладется *чистое* бѣлье, хотя чистота этого бѣлья очень сомнительна. Первый ночлегъ обходится въ 12—30 су, а слѣдующіе ночлеги въ 6 — 12 су. За то въ первую ночь вы имѣете право требовать чистую простыню, которая, конечно, только немногимъ чище половой тряпки. Цѣна за ночлегъ можетъ понизиться, если ночлежникъ согласится спать вдвоемъ на одной постели, подъ одной простыней. Но, нанимая постель даже для себя, вы не застрахованы отъ того, чтобы на ней не спали другіе: днемъ вы уходите изъ ночлежнаго притона, а на ваше мѣсто являются дневные постояльцы, бодрствующіе обыкновенно ночью. Впрочемъ, сами постояльцы этихъ притоновъ очень хорошо рекомендуютъ себя: видя, что матрацы набиты хорошимъ волосомъ, они мало-по-малу вытаскиваютъ этотъ волосъ и замѣняютъ его разною дрянью. Очень часто, просыпаясь въ притонѣ, вы можете остаться безъ сапогъ или безъ панталонъ. Вслѣдствіе этого сапоги, верхняя одежда, все, что снимается на ночь, кладется постояльцами подъ матрацъ. Но эти притоны служатъ ночлегомъ для бѣднѣйшихъ изъ нищенствующей братьи и значительная часть ея помѣщается гораздо лучше и удобнѣе. Слѣпой нищій, давшій 300,000 франковъ за дочью и ѣздившій въ собственномъ экипажѣ въ оперу, жилъ, конечно, лучше. Нищій-инвалидъ, тратившій въ день 24 су на омнибусъ, жилъ тоже не въ такой тужубѣ. Женщина „съ часами въ животѣ“ жила въ повозкѣ, по-

крытой клеенкой, и разорялась на содержаніе пьяницы мужа, отъ котораго она имѣла двухъ дѣтей. Не безъ комфорта долженъ былъ жить и тотъ слѣпецъ, который разсердился однажды, когда его служанка принесла ему на обѣдъ баранину съ горошкомъ.

— Чортъ тебя возьми съ твоей бараниной, крикнулъ онъ. — Ты знаешь, что я люблю только говядину!

Если большинство этихъ людей и живетъ скверно, то только потому, что они привыкли къ грязи, и тратятъ деньги, главнымъ образомъ, на пьянство и на гульбу: рѣдкій изъ нихъ не пьяница и не развратникъ. Почти у каждаго нищаго есть любовница, почти у каждой нищей есть содержимый ею любовникъ. Въ этомъ отношеніи они не отстали отъ современнаго городского общества, отъ бульварныхъ хлыщей, отъ маменькиныхъ сынковъ, отъ *petits-servés* высшего свѣта.

VII.

Такимъ образомъ, предыдущіе вѣка создали нищихъ и передали намъ ихъ полчища съ ружь на руки, не успѣвъ изобрѣсти никакого средства для искорененія нищеты. Возрасли эти полчища до того, что стали насчитывать:

	Бѣдныхъ.	Нищихъ.
въ Англіи	1,328,800	249,000
„ Франціи	1,274,000	221,000
„ Австріи	1,010,000	252,000
„ Испаніи	645,000	190,000
„ Бельгіи	637,000	88,000

Какое количество госпиталей и тюремъ понадобилось-бы современнымъ обществамъ, чтобы заключить всѣ эти массы христорадничающаго народа; какое количество денегъ пришлось-бы истратывать правительствамъ, если-бы они вздумали заставить всю массу празднаго люда копать землю и заниматься пряденьемъ; какъ обширны должны-бы быть колоніи, какъ много нужно-бы стражи, если-бы государства вздумали ловить и ссылатъ всѣхъ этихъ людей, наводняющихъ наши города? Но общества и правительства теперь только для приличія придерживаются старыхъ системъ, т. е. ловятъ нищихъ, запираютъ ихъ въ тюрьмы, заставляють ихъ щипать пеньку или чистить дороги, ссылають ихъ на роди-

ну, засаживаютъ въ богадѣльни, — всѣмъ теперь ясно, что всѣ эти мѣры не убавляютъ числа нищихъ, что это число остается однимъ и тѣмъ-же изъ года въ годъ, если только не увеличивается. Такъ въ Пруссіи мы видимъ, что людей, пользовавшихся милостынею и потому избавленныхъ отъ разныхъ податей, было:

	Человѣкъ.	Всего населенія.
въ 1829 году	305,941	2,80/0
„ 1830 „	328,872	3,0
„ 1831 „	346,585	3,1
„ 1832 „	369,208	3,2
„ 1833 „	381,443	3,4
„ 1834 „	389,145	3,4
„ 1835 „	390,857	3,4

и такъ дажѣ число нищихъ все росло и росло, такъ-что уже въ 1851 году ихъ было 734,793 человѣка или 5,1% всего населенія. Правда, съ 1852 года ихъ число начало убавляться, но только потому, что понятіе о неспособности платить подати очень съзрѣло и такимъ образомъ добились того, что въ 1867 году нищихъ было 486,179 человѣкъ или 2,9% всего населенія. Но это нисколько еще не доказывало, что въ 1867 году меньшее число людей жило милостынею, чѣмъ въ 1851 году. Въ Шотландіи нищихъ было:

	Постоянныхъ.	Случайныхъ.
въ 1859 году	97,809	37,789
„ 1860 „	95,761	39,302
„ 1861 „	97,340	42,848
„ 1862 „	98,922	52,224
„ 1863 „	99,695	52,068
„ 1864 „	101,636	50,186
„ 1865 „	99,556	47,227
„ 1866 „	97,166	44,093
„ 1867 „	100,756	48,519

Во Франціи ежегодно помощью пользовались:

	Человѣкъ.		Человѣкъ.
въ 1833—1837 г.	751,311	въ 1855 г.	1,226,865
„ 1838—1842 „	813,210	„ 1856 „	1,221,428
„ 1843—1847 „	925,274	„ 1857 „	1,137,750

„ 1848—1852 „	982,516	„ 1858 „	1,105,826
„ 1853	1,022,996	„ 1859 „	1,074,388
„ 1854	1,161,937	„ 1860 „	1,213,684
въ 1861 г.—1,159,539 чел.			

Такимъ образомъ, несмотря на большую или меньшую строгость законовъ относительно нищихъ, несмотря на болѣе или менѣе сильную степень благотворительности, несмотря на увеличивающееся или уменьшающееся число богадѣленъ, число нищихъ или остается неизмѣннымъ, или возрастаетъ. Это обстоятельство должно было вполне уяснить всѣмъ и каждому, что нужно только заботиться объ уничтоженіи причинъ нищеты, въ родѣ необразованности народа, неподготовки здороваго человѣка къ труду, застою въ сельскомъ хозяйствѣ, неподвижности въ области промышленности, обремененія народа излишними налогами и повинностями и т. д. Всѣ начали ясно понимать, что при однихъ и тѣхъ-же законахъ, число нищихъ то прибавляется, то убавляется вслѣдствіе, напримѣръ, застою въ фабричной дѣятельности: такъ въ Великобританіи число способныхъ къ труду бѣдняковъ съ 1852 года не превышало 16%, а въ 1863 году оно сразу достигло 20%, потому-что въ этотъ годъ въ Англіи былъ промышленный кризисъ. Такимъ образомъ, общества увидѣли, что принимая разныя мѣры для истребленія нищихъ, они въ сущности только обманываютъ себя, и что нищихъ будетъ при всѣхъ нашихъ усиліяхъ нисколько не меньше, покуда не уменьшатся причины нищеты.

Ж.

ПОСЛѢДНЕЕ ЖЕЛАНЬЕ.

Я не ропщу, что молодымъ
На вѣкъ смежить я долженъ вѣжды,
Пускай разсытса какъ дымъ
Волшебной вѣности надежды...

Однимъ желаньемъ я горю:
Чтобъ могъ я видѣть, умирая,
Разсвѣта яркую зарю
По всей землѣ родного края,

Когда ужъ злу не сдобровать,—
Царить добро и правда стануть,
И люди-братья враждовать
Другъ съ другомъ вовсе перестануть...

Петръ Выковъ.

ЖИЗНЬ И ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ

Ж.-Ж. РУССО.

(СТАТЬЯ ПЕРВАЯ.)

Jean Jacques Rousseau. Sein Leben und seine Werke. Von F. Brockhoff.
3 B. Leipzig. 1863—1874.

J. J. Rousseau, by John Morley, 2 vol. London. 1874.

Однажды, во время моего студенчества, мнѣ довелось бесѣдовать о русской литературѣ съ нашимъ достопочтеннымъ инспекторомъ. Онъ смотрѣлъ на нее вполне скептически, онъ ее въ грошъ не ставилъ и съ особенною злобною нападалъ на историковъ. „Ну, что это за исторія: сегодня говорить то, завтра другое; сегодня кричать о Петрѣ— „онъ Богъ, онъ Богъ твой, о, Россія“, а завтра позорить его, какъ г. Сомевскій! Вотъ о Суворовѣ тоже: какъ вѣдь восхвалялъ его покойный Полевой, а нынѣ что пишеть о немъ генералъ Милютинъ? Историки! Нѣтъ, вы вотъ напишите такую исторію, чтобы ужъ вѣрно было, чтобы и правнучи наши могли читать ее съ такимъ-же довѣріемъ, какъ мы!“ Читатель, конечно, согласится съ нами, что достопочтенный инспекторъ напрасно нападалъ на нашихъ историковъ. Историческій отдѣлъ нашей литературы, какъ оригинальной, такъ и переводной, въ значительной степени обладаетъ тѣмъ достоинствомъ, за недостатокъ котораго инспекторъ укорялъ его. На Западѣ исторія еще не достигла вполне научнаго совершенства и основныя законы историческаго развитія еще далеко не выяснены; но попытки выясненія ихъ и разработка от-

дѣльных историческихъ вопросовъ идутъ такъ-же дѣятельно, какъ и работы въ области естествознанія. Русская-же литература не только не достигла еще въ этомъ отношеніи одинаковой высоты съ западною, но никогда даже вполнѣ не знакомила наше общество со всѣми главными явленіями европейской исторіографіи. Ни книга Гиббона, ни историческіе опыты Кондорсе и Вольтера, ни изслѣдованія Нибура, ни многія другія ершенпаченде Werke, какъ выразился-бы нѣмецъ, не переводились на русскій языкъ, и масса читающей публики оставалась внѣ ихъ вліянія, пробавляясь втеченіи нѣсколькихъ поколѣній какими-нибудь Ролленемъ и аббатомъ Милотомъ. Въ настоящее время немногимъ лучше; вѣроятно, Маколей, Гизо, Дрәперъ, Шлоссеръ и Веберъ тоже будутъ просвѣщать не одно поколѣніе. На Западѣ мысль движется быстро, и почти каждое поколѣніе пересматриваетъ снова старыя вопросы, освѣщаетъ ихъ съ новой точки зрѣнія и т. д. У насъ-же этого почти нѣтъ даже относительно русской исторіи, въ области которой полвѣка, напр., владычествовалъ алкоранъ Карамзина; о всемірной-же исторіи и говорить нечего: тутъ мало даже переводныхъ книгъ и многія изъ лучшихъ произведеній совсѣмъ не переведены. Напримѣръ, о такомъ времени, какъ эпоха крестовыхъ походовъ, у насъ есть, кажется, одна только книга Мишо, изданная лѣтъ пятьдесятъ назадъ. Біографій еще меньше; хорошія изъ нихъ можно перечестъ по пальцамъ: „Жизнь Гете“, Льюиса, „Лессингъ и его время“, „Гегель“ Гайна, да почти и только!.. Біографій Данта, Шекспира, Мильтона, Спинозы, Канта, Вольтера, Дидро, Шиллера, Байрона, Шелли и т. д., и т. д., вовсе нѣтъ, если не считать поверхностныхъ статей, разсѣянныхъ по старымъ журналамъ. Между тѣмъ, всякій, конечно, согласенъ, что біографіи людей, въ жизни и характерѣ которыхъ „отразились вѣкъ и современнѣй человѣкъ“, въ высшей степени поучительны и полезны. Я хочу предложить читателямъ „Дѣла“ нѣсколько біографическихъ характеристикъ представителей новой европейской мысли. Начну съ Жанъ-Жака Руссо, въ которомъ олицетворились и дурныя, и хорошія стороны XVIII вѣка. Руссо для насъ долженъ быть тѣмъ интереснѣе, что онъ былъ однимъ изъ мыслителей, которыми наиболѣе увлекались наши отцы и дѣды. Популярность Руссо была такъ велика, что о немъ говорили въ

церковныхъ проповѣдяхъ и даже для московской толкучки было написано какое-то „Житіе женеваго мѣщанина Ивана Яковлевича Руссо“...

I.

Второй сынъ женеваго небогатаго часовщика, Жанъ-Жакъ Руссо родился 28 іюня 1712 года въ Женевѣ. При самомъ появленіи его въ свѣтъ судьба поразила его несчастіемъ: роды стояли жизни его матери, и его колибель стояла рядомъ съ ея гробомъ. Лишенный материнскихъ попеченій, Руссо, однакожь, наследовалъ отъ матери живое воображеніе, впечатлительное сердце и страстность. Отецъ Руссо былъ человѣкъ не безъ образованія, и на его рабочемъ столѣ рядомъ съ инструментами часового ремесла лежали сочиненія Плутарха, Тацита, Гуго Грота. Какъ потомокъ изгнанныхъ изъ Франціи гугенотовъ, онъ былъ вѣренъ фамильной традиціи и обладалъ наклонностью къ свободомыслію; какъ гражданинъ женеваго республики, онъ не только интересовался общественными дѣлами, но и былъ страстнымъ патриотомъ. Еще сильнѣе патриотизма было въ немъ чувство личной независимости, которое не разъ доводило его до самыхъ непріятныхъ столкновеній. Вместе съ этими свойствами соединялось тщеславное стремленіе играть роль въ обществѣ, быть на виду и проникать въ такіе кружки и дома, которые были выше его общественнаго положенія. Страстный охотникъ и любитель удовольствій, онъ былъ не только радъ покутить въ веселой компаніи, но нерѣдко доходилъ даже до излишествъ. Всѣ эти свойства и наклонности перешли отъ отца и къ сыну, частью посредствомъ унаслѣдованія темперамента, частью съ помощью воспитанія, котораго, за неимѣніемъ матери, руководилъ отецъ съ помощью своей сестры. Къ этой теткѣ Жанъ-Жакъ былъ привязанъ какъ къ родной матери и считалъ ее спасительницею своей жизни. Дѣло въ томъ, что съ ранняго дѣтства Руссо былъ подверженъ сильнымъ страданіямъ мочевого пузыря, и только благодаря самому внимательному уходу тетки и кормилицы, болѣзнь эта не погубила мальчика, хотя и имѣла сильное вліяніе даже на образованіе его характера и служила источникомъ физическихъ мученій во всю жизнь.

Воспитаніе Руссо было совершенно домашнее; онъ не учился ни въ какой общественной школѣ, росъ среди членовъ своей семьи, не сталкивался съ чужими дѣтьми и выходилъ изъ дома не иначе, какъ въ сопровожденіи своей кормилицы. Жизнь его текла тихо и однообразно; онъ не любилъ шумныхъ игръ и шалостей, хотя его скромность была отчасти вынужденною, такъ какъ онъ боялся отца, который при всемъ пристрастіи къ своему любимцу, иногда обходился съ нимъ не только строго, но даже жестоко. Читать и писать Руссо выучился у отца и затѣмъ относительно дальнѣйшаго образованія былъ предоставленъ самому себѣ. Въ библиотекѣ, оставшейся отъ матери, было много романовъ, и на нихъ-то съ жадностью набросился мальчикъ. Чтеніе сдѣлалось главнымъ удовольствіемъ его, и когда были перечитаны книги матери, случай доставилъ ему новый запасъ для чтенія. Умершій отецъ его матери завѣщалъ своему зятю библиотеку, состоявшую изъ научныхъ, богословскихъ, историческихъ книгъ и классическихъ поэтовъ древняго и новаго времени. Чтеніе продолжалось по-прежнему, безъ плана, безъ системы, и семилѣтній мальчикъ забывалъ игры для героевъ Плутарха и для благочестивыхъ размышленій отцовъ церкви, которыми увлекался и его отецъ, читавшій вмѣстѣ съ нимъ, нерѣдко цѣлую ночь, вплоть до разсвѣта. Этотъ порядокъ жизни былъ внезапно нарушенъ въ 1720 г., когда отецъ Руссо, присужденный къ тюремному заключенію за ссору съ французскимъ офицеромъ, бѣжалъ изъ Женевы и поселился недалеко отъ нея, въ Нюнгѣ. Домашнее воспитаніе Руссо кончилось, и хотя ему было тогда всего восемь лѣтъ, но обстановка дѣтства положила неизгладимую печать на всю его жизнь. Упомянутая болѣзнь хотя имѣла мѣстный характеръ и не вредила общему состоянію здоровья, но все-таки отзывалась на нервной системѣ. Частыя боли приводили организмъ въ лихорадочно-возбужденное состояніе, въ которомъ всякое сильное вѣншее впечатлѣніе вызывало новыя страданія. Когда-же боль утихала, наставало утомленіе, чувствовалась потребность покоя и отдыха. При частомъ повтореніи такого состоянія въ ребенкѣ естественно развивалась склонность удаляться по-возможности отъ волнующихъ вѣншихъ впечатлѣній, избѣгать напряженій физическихъ силъ и погружаться въ свой внутренній міръ. Изолированная домашняя жизнь сдѣлала

его крайне застѣнчивымъ; онъ стѣснялся и терялся въ незнакомомъ обществѣ и чувствовалъ себя хорошо только въ кругу близкихъ ему людей. Общій любимецъ семьи, особенно отца, который, оставаясь равнодушнымъ къ старшему сыну, пламенно любилъ второго, Руссо съ ранняго дѣтства привыкъ, чтобы за нимъ ухаживали, лелѣяли его, помогали ему; быть любимымъ сдѣлалось для него насущною потребностью; любить — привычкою. Но его любовь, подъ вліяніемъ воспитанія, получила односторонній, исключительный характеръ. Онъ любилъ своихъ близкихъ и дичился чужихъ людей, привыкая относиться къ нимъ съ недоверіемъ; онъ любилъ другихъ за любовь ихъ къ себѣ и изъ желанія быть любимымъ. Условія домашняго воспитанія дѣлали его любовь эгоистическою и не развили въ немъ самоотверженія. Правда, его чувствительное сердце рано научилось сочувствовать чужому горю и радоваться чужому счастью, но эта способность не могла получить дѣятельнаго, практическаго направленія. Мальчикъ, одаренный живой фантазіей и воспитанный въ четырехъ стѣнахъ родительскаго дома, не могъ довольствоваться впечатлѣніями окружавшей его монотонной жизни и создавалъ себѣ свой особый міръ, вращаясь среди возникавшихъ въ его душѣ образовъ, мыслей и чувствованій. Это уклоненіе отъ дѣйствительной внѣшней жизни въ область субъективнаго поддерживалось и тогдашними романами, которые съ такою жадностью читалъ Руссо. Люди и жизнь, изображенные въ этихъ романахъ, — возвышенные характеры, герои добродѣтели, невинныя, чистыя существа, трогательная сентиментальность, столкновенія этихъ идеальныхъ натуръ съ грубою прозою жизни, — не имѣли ничего съ общаго съ дѣйствительностью и развивали въ мальчикѣ странныя, романтическія представленія о мірѣ и людяхъ. Въ то-же время они возбуждали его чувствительность. „Я, говоритъ Руссо, — не имѣлъ еще никакихъ представленій о вещахъ, но мнѣ были уже извѣстны всѣ чувства; я еще ничего не понималъ, но уже все чувствовалъ“. Чувствительность Руссо находила также обильную пищу въ простыхъ, задушевныхъ пѣсняхъ его тетки, подъ вліяніемъ которыхъ онъ страстно полюбилъ музыку. Нестѣсняемый никакою педагогическою системою, Руссо росъ на свободѣ и въ немъ естественно развилось сознаніе личной независимости, которое усиливалось еще вліяніемъ отца, сильно проникнутаго

чувствомъ собственнаго достоинства и свободы. Это сознание имѣло хорошую почву въ его эгоистической природѣ, но эгоизмъ мальчика имѣлъ значительный противовѣсъ въ его чувствительности и фантазій, возбуждаемыхъ идеальными образами исторіи, особенно Плутарха, котораго онъ просто обожалъ. Свободолюбіе и патриотизмъ отца, исторія и политическая жизнь Швейцаріи, гражданскія празднества — все, по его собственнымъ словамъ, говорило ему, что „должно исполнять свои обязанности безъ униженія, уважать власти и государей, любить людей и повиноваться законамъ; но имъ говорили также, что какъ членъ швейцарскаго народа, я долженъ обладать сердцемъ героя и добродѣтелью мудреца, что свобода при порочномъ сердцѣ ведетъ только къ погибели“. Но этими возвышенными чувствами, этими идеалами Руссо увлекался совершенно платонически; воспитаніе не сдѣлало ничего для того, чтобы ввести ихъ въ практику его жизни, и Руссо навсегда остался двойственнымъ — мелкимъ эгоистомъ въ жизни и возвышеннымъ идеалистомъ въ области мысли. Въ томъ и другомъ отношеніи онъ дѣйствовалъ страстно, но эгоистическій элементъ его характера всегда обладалъ наибольшою страстностью. Въ семействѣ все напоминало ему о нравственности, чистотѣ, воздержаніи; отецъ, желая поселить въ немъ отвращеніе къ пороку, показывалъ ему гибельные результаты разврата на примѣрахъ пьяницы, публичной женщины и т. д.; Руссо принималъ это къ сердцу, увлекался добродѣтелью, но въ то-же время чувствовалъ уже въ себѣ совершенно противоположныя влеченія. Одаренный страстнымъ, чрезвычайно чувственнымъ темпераментомъ, Руссо, подъ вліяніемъ своей болѣзни, началъ подвергаться половымъ раздраженіямъ въ самомъ раннемъ дѣтствѣ... Половая страстность впоследствии развилась въ немъ до болѣзненности и играла въ его жизни весьма важную роль.

II.

Дядя Бернаръ, у котораго отецъ оставилъ Руссо, отдалъ его вмѣстѣ съ своимъ сыномъ учиться къ пастору деревни Боссе. Добрый, умный пасторъ и его сестра, завѣдывавшая хозяйствомъ, полюбили мальчиковъ, успѣли привязать ихъ къ себѣ; два го-

да, проведенные Руссо в этой деревнѣ, онъ считалъ счастливейшими в своей жизни. „Сельская жизнь, говорилъ онъ, — была такъ нова для меня, что я не уставалъ наслаждаться ею. Скоро я полюбилъ ее такъ сильно, что моя привязанность къ ней никогда уже не могла исчезнуть“. Эта страстная любовь къ природѣ и сельской идилліи ярко отразилась впоследствии на всемъ его міросозерцаніи, а деревенская жизнь укрѣпила физическія силы мальчика. Сынъ Бернара, виѣсть съ которымъ Руссо поступилъ къ пастору, былъ одного возраста съ нимъ и очень походилъ на него складомъ своей нравственной природы. Мальчики полюбили другъ друга и были неразлучны; такимъ образомъ господствующая склонность Руссо — быть любимымъ и любить — нашла себѣ и въ Боссѣ полное удовлетвореніе; но въ то-же время склонность эта, на-сколько она соединялась съ преждевременно пробужденнымъ половымъ инстинктомъ, приняла совершенно болѣзненную форму. Сестра пастора время отъ времени считала нужнымъ поддерживать свой материнскій авторитетъ розгами; но розги виѣсто страдаія доставляли Руссо жгучее наслажденіе, что такъ часто бываетъ съ подобными дѣтьми, и тѣлесное наказаніе сдѣлалось предметомъ его страстныхъ желаній. Когда открылся этотъ неожиданный результатъ отеческой дисциплины, розги были брошены, но онъ уже сдѣлалъ свое дѣло: болѣзненная склонность начала сильно возбуждаться образами фантазіи и нашла пагубныя средства удовлетворенія... Другой случай строгости воспитателей подѣйствовалъ на Руссо иначе. У сестры пастора оказался сломанный гребень и въ этомъ былъ заподозрѣнъ совершенно невинный Руссо. Не добившись отъ него признанія, воспитательница приписала его заперательство нравственной испорченности и представила дѣло на благоусмотрѣніе его дяди, который пріѣхалъ и жестоко наказалъ и Руссо, и своего сына, сдѣлавшаго тоже какой-то незначительный проступокъ. Эта жестокость и несправедливость произвели на мальчиковъ потрясающее впечатлѣніе, тѣмъ болѣе сильное, что исходили отъ людей, на которыхъ они до тѣхъ поръ смотрѣли съ любовью и уваженіемъ. Руссо былъ доведенъ до бѣшенства, до отчаянія; прежнія сердечныя отношенія дѣтей къ ихъ воспитателямъ навсегда исчезли. „По наружности продолжались старыя отношенія, но въ сущности они совершенно измѣнились. Преж-

ней привязанности и уваженія уже не было. Преданность и до-
вѣріе уже не соединяли болѣе питомцевъ съ ихъ руководителя-
ми. Мы уже не смотрѣли на нихъ, какъ на боговъ, которые
читаютъ въ сердцахъ нашихъ, мы меньше стыдились дурныхъ
поступковъ и больше боялись быть обвиненными въ нихъ. Мы
начали дѣйствовать тайно, дѣлаться наглыми, лгать; всѣ пороки
нашего возраста начали портить нашу невинность и безобразить
наши нравы. Даже природа потеряла въ нашихъ глазахъ ту пре-
лестъ вротости и простоты, которая такъ трогаетъ сердце. Она
казалась намъ пустою и мрачною, она какъ-бы покрылась пеле-
ной, скрывавшею отъ насъ красоты ея. Прошло немного време-
ни, и эта нерадостная жизнь опостылѣла намъ“. Дядя скоро
взялъ мальчиковъ отъ пастора, и Руссо оставилъ домъ послѣд-
няго со страшною ненавистью къ произволу и несправедливости
и съ глубокимъ сочувствіемъ къ жертвамъ ихъ.

У пастора Руссо учился мало, все образованіе ограничивалось
почти одною латынью. Затѣмъ около трехъ лѣтъ онъ жилъ у
дяди, выучился у него рисовать и немного занимался математи-
кой. Часовому мастерству учить его не хотѣли, а вздумали го-
товить къ пасторской профессіи, но и этотъ проектъ былъ бро-
шенъ по неимѣнію денежныхъ средствъ у его отца. Руссо по-
прежнему пользовался у дяди свободою, по-прежнему чуждался
другихъ дѣтей и былъ неразлученъ съ своимъ двоюроднымъ бра-
томъ, дружба съ которымъ началась еще въ домѣ пастора. Но
жизнь его въ это время нѣсколько измѣнилась сравнительно съ
прежнимъ. Онъ часто ходилъ въ Ніонъ, къ своему отцу, и по-
слѣдній ввелъ его въ знакомые ему дома, въ которыхъ замѣча-
тельнаго мальчика принимали со вниманіемъ и любовью. Это
чрезвычайно льстило его самолюбію и уже въ это время въ немъ
до крайности развилось тщеславіе, ради котораго онъ готовъ
былъ унижаться; онъ получилъ наклонность втираться въ обще-
ство большихъ господъ. Но не одно это обстоятельство прико-
вывало его къ Ніону: здѣсь одиннадцатилѣтній Руссо влюбился
разомъ въ двухъ дѣвицъ, Готтонъ и Вьюльсонъ. „Я любилъ Вьюль-
сонъ, какъ братъ, говоритъ онъ,—и ревновалъ ее, какъ любов-
никъ. Я могъ провести подлѣ нея цѣлую жизнь свою и не по-
думать о разлукѣ. Но когда я приходилъ къ ней, моя радость
была спокойна и не сопровождалась никакими сильными душев-

ними движеніями. Я особенно любилъ ее въ большомъ обществѣ; ея шутки, насмѣшки, самая ревность очаровывали и интересовали меня; если она предпочитала меня другимъ, я гордился этимъ, но даже и безпокойство, которое она иногда причиняла мнѣ, было мило мнѣ. Въ обществѣ я былъ увлеченъ любовью; но наединѣ съ нею я былъ-бы холоденъ и сдержанъ, можетъ быть, даже скучалъ-бы. Однакожь, я искренно и сердечно сочувствовалъ ей. Когда она была больна, я страдалъ за нее; безъ нея я думалъ о ней“. Вюльсонъ просто забавлялась надъ маленькимъ воздухопателемъ, но Руссо дѣйствительно былъ увлеченъ сильно и доходилъ до отчаянія, когда узналъ о выходѣ ея замужъ. Любовь къ Готтонъ была совершенно противоположна платонической привязанности къ Вюльсонъ. „Если я видѣлъ Готтонъ, то уже не видѣлъ ничего болѣе; всѣ мои чувства были крайне взволнованы. Думаю, что подлѣ нея я не могъ-бы долго прожить,—сильныя сокращенія сердца убили-бы меня. Ни за что въ мірѣ я не рѣшился-бы прогнѣвить мадмуазель Вюльсонъ; но если-бы мадмуазель Готтонъ велѣла мнѣ броситься въ огонь, то, думаю, я немедленно исполнилъ-бы ея желаніе“. Готтонъ имѣла надъ нимъ безусловную власть и даже, къ удовольствію Руссо, приняла на себя роль упомянутой выше сестры пастора относительно наказаній мальчика... Въ этой любви къ двумъ дѣвицамъ вполне выразился характеръ страстной и извращенной природы Руссо. Она была въ высшей степени сладострастна и чувствительна, но одна физическая любовь не могла удовлетворять его и онъ могъ любить только такую женщину, которая обладала-бы и извѣстными нравственными свойствами. Дѣвицу Вюльсонъ, какъ внослѣдствіи многихъ другихъ, онъ любилъ платонически, но въ то-же время у него былъ и не платоническій предметъ страсти, Готтонъ. Но и тѣхъ женщинъ, къ которымъ онъ былъ привязанъ, какъ къ Вюльсонъ, Руссо любилъ все-таки не какъ людей, а какъ женщинъ, и для любви его было необходимо, чтобы такая женщина обладала извѣстными физическими совершенствами, дѣйствующими на чувства, полнотою формъ и т. д. Даже неряшество и малѣйшая нечистота въ платьѣ охлаждали его платоническія увлеченія, которыя, такимъ образомъ, являются тою-же чувственностью, только скрытою.

Мальчикъ росъ и его роднымъ надо было подумать объ его

обеспеченіи. Гордость не позволяла сдѣлать его ремесленникомъ, бѣдность — пасторомъ, и его рѣшили посвятить „благородной“ чиновничьей профессіи. Руссо былъ отданъ въ писцы, но ему было противно не только это занятіе, а и вообще всякая служба, имѣвшая единственною цѣлью матеріальное обезпеченіе; онъ готовъ былъ лучше воровать, чѣмъ унижаться до работы изъ-за куска хлѣба. Ему отказали отъ мѣста „за неспособность“, что чрезвычайно обидѣло его и до того затронуло его самолюбіе, что онъ уже не сопротивлялся, когда родные рѣшили отдать его въ ученье къ граверу Дюкоммону. Здѣсь Руссо прежде всего почувствовалъ, что онъ лишился прежней свободы. Работа сразу опротивѣла ему уже по одному тому, что онъ обязывался заниматься въ опредѣленное время и опредѣленнымъ образомъ; онъ гнѣнился, а Дюкоммонъ старался исправить его бранью и побоями. вмѣсто любви и уваженія, къ которымъ онъ привыкъ у родныхъ, Руссо встрѣтилъ здѣсь одну жестокость и оскорбленія и со стороны гравера, и со стороны его грубыхъ подмастерьевъ. Результаты скоро обнаружались: Руссо сдѣлался молчаливымъ, скучнымъ, мстительнымъ; онъ началъ обманывать своего учителя на каждомъ шагѣ, нарочно портилъ работы и инструменты, безъ зазрѣнія совѣсти воровалъ все, что попадалось подъ руку. Изъ него формировался первостепенный мазурикъ (для разбойника у него не было энергіи и храбрости), но, къ счастью, обстоятельства спасли его, хотя и не исправили окончательно. Ему представилась возможность доставать книги изъ одного склада. „Я читалъ, говорить онъ, — за рабочимъ столомъ, читалъ, когда выходилъ изъ дому, читалъ въ уборной и часто забывался въ ней по цѣлымъ часамъ. Голова кружилась у меня отъ чтенія вслухъ, и я ничего не дѣлалъ, а только читалъ“. Все, что ни дѣлалъ учитель для искорененія этой страсти, — отбирание книгъ, побои, — все было напрасно. Если на плату за чтеніе Руссо не хватало его небольшихъ карманныхъ денегъ, онъ платилъ своими рубашками, галстуками и т. д. Не прошло и года, какъ бібліотека, изъ которой онъ бралъ книги, была прочтена, и чтобы избавиться отъ страшной скуки, Руссо не оставалось другого средства, какъ искать предметовъ развлеченія и размышленія въ своей памяти и фантазіи. „Я, рассказываетъ Руссо, — углублялся въ тѣ положенія, которыя наиболѣе интересовали меня при чте-

ни. Я вызывалъ ихъ въ своей памяти, варьировалъ и комбини- ровалъ до тѣхъ поръ, пока самъ не превращался въ одно изъ тѣхъ лицъ, которыхъ я представлялъ себѣ, и всегда ставилъ себя въ такія положенія, которыя наиболѣе нравились мнѣ“. Такимъ образомъ прежнія идеалистическія наклонности получали новую силу и изъ безотрадной дѣйствительности Руссо уносился въ міръ розовыхъ мечтаній. Но дѣйствительность все-таки давала себя чувствовать и, наконецъ, довела юношу до того, что онъ рѣшился разорвать съ нею всякія связи.

III.

Весною 1728 г. пятнадцатилѣтній Руссо бѣжалъ отъ гравера и оставилъ родину, безъ денегъ, безъ всякихъ другихъ средствъ существованія, кромѣ сильныхъ мускуловъ, на производительность которыхъ онъ, впрочемъ, не рассчитывалъ. Но его одушевляли сладкое чувство свободы, охватившее его, какъ только онъ вышелъ за городъ, и неопредѣленные, но тѣмъ не менѣе твердыя надежды на какое-то счастье, свалившееся съ небесъ. „Мои требованія, говоритъ онъ,—были очень скромны; моя умеренность ограничивалась небольшимъ, но избраннымъ кружкомъ, въ которомъ я могъ-бы господствовать. Моему самолюбію достаточно было одного замка, и меня совершенно удовлетворило-бы положеніе фаворита хозяина и хозяйки дома, любимца ихъ дочери, друга ея брата и защитника сосѣда. Больше я ничего не желалъ“. Въ первые дни своего бѣгства изъ Женевы Руссо пользовался гостепрѣмствомъ знакомыхъ крестьянъ, потомъ нашелъ пріютъ у одного савойскаго священника. Добродушный, но недалекій и фанатическій патеръ воспользовался случаемъ обратить еретика и сталъ убѣждать Руссо къ переходу въ католицизмъ. Руссо, хорошо знакомый съ основами кальвинизма, счелъ, однакожь, за лучшее не спорить съ патеромъ и велъ себя такъ, что патеръ счелъ его обращеннымъ, постарался доставить ему всѣ средства для спасенія души въ лонѣ католичества и далъ ему рекомендательное письмо къ нѣкоей г-жѣ Варренсъ. Несчастливая въ замужествѣ, она вела довольно фривольную жизнь, и, наконецъ, чтобы поправить свои истощенные финансы, перешла въ

католицизмъ, за что духовенство выхлопотало ей пенсію отъ сардинскаго короля, и г-жа Варренсъ стала разыгрывать роль мисіонерки. Молодой, здоровый Руссо плѣнилъ ее съ перваго взгляда; ей было тогда уже 28 лѣтъ, но она все еще была хороша собой и до такой степени обладала нѣжной граціей, что Руссо увлекся ею со всѣмъ пыломъ своей страстной природы. „У нея, говоритъ онъ,—былъ весьма кроткій взглядъ, улыбка ангела, ротъ, подходящий къ моему, и темнорусые волосы необыкновенной красоты. При маленькомъ ростѣ, въ талии она была толстовата, однакожь не до безобразія. Но невозможно видѣть болѣе прекрасной головы, болѣе прелестной груди, болѣе красивыхъ рукъ и ногъ!.. При первомъ-же свиданіи, при первомъ словѣ, при первомъ взглядѣ она внушила мнѣ не только самую живую привязанность, но и безусловное, непоколебимое довѣріе“. Однакожь, г-жа Варренсъ на этотъ разъ нашла неудобнымъ держать при себѣ Руссо и онъ съ какимъ-то пьемонтскимъ авантюристомъ отправился въ Туринъ, въ католическій „пріютъ для новообращенныхъ“. Дорогой онъ былъ до нитки обокраденъ своими спутниками и прибылъ въ Туринъ съ однимъ только рекомендательнымъ письмомъ къ настоятелю пріюта. Комедія перехода въ католичество представлялась ему единственнымъ выходомъ для полученія хотя какихъ-нибудь средствъ къ жизни, и онъ не задумываясь постучалъ въ двери пріюта, которыя немедленно открылись передъ нимъ. Руссо очутился въ достойной компаніи пяти неофитовъ, „отвратительныхъ разбойниковъ“. Двое изъ нихъ, выдававшіе себя за евреевъ и мавровъ, впоследствии признались ему, что они проводятъ свою жизнь, странствуя по Испаніи и Италіи и крестясь за деньги въ качествѣ новообращенныхъ; въ такомъ-же родѣ были неофитки-женщины, и Руссо былъ свидѣтелемъ такихъ отвратительныхъ, грязныхъ сценъ, что описаніе ихъ помѣщено только въ немногихъ изданіяхъ его „Признаній“... Не лучше этихъ паршивыхъ овецъ были и пастыри, къ которымъ Руссо явился съ предложеніемъ продать свою вѣру. Онъ вполнѣ сознавалъ отвратительность своего поступка, но надежда получить отъ патеровъ обезпеченіе и выйти въ люди заставила его притвориться раскаявшимся еретикомъ. Въ костюмѣ новообращенныхъ его повели въ церковь въ сопровожденіи четырехъ монаховъ съ мѣдными тазами, въ которые зрители бросали въ

пользу его милостивно. Въ церкви онъ отрекся отъ кальвинизма, былъ съ разными подобающими церемоніями воспринятъ въ лоно папской церкви и получилъ отъ инквизиціи отпущеніе въ грѣхѣ еретичества. Затѣмъ Руссо вручили 20 лиръ и указали двери; всѣ розовныя надежды его разлетѣлись въ прахъ! Но очутившись снова на свободѣ, онъ мало горевалъ и беззаботно пользовался ею, пока не проѣлъ всѣхъ денегъ. Пришлось подумать о кусѣхъ хлѣба, и Руссо сталъ таскаться изъ дома въ домъ, предлагая свои услуги въ качествѣ гравера. Работы не нашлось, но одна молодая купчиха, старшій мужъ которой былъ въ отсутствіи, прельстилась Руссо и пріютила его у себя. Романъ, однакожь, продолжался недолго: старшій прикащикъ изъ ревности донесъ обо всемъ хозяйну; Руссо былъ выгнанъ и снова сталъ шататься по городу, въ ожиданіи, не навернется-ли откуда счастье, въ родѣ прекрасной принцесы, которая облагодѣтельствуетъ его своею любовью, золотомъ и т. д. Дѣйствительно, черезъ нѣсколько дней онъ узналъ отъ своей квартирной хозяйки, что его желаетъ видѣть знатная дама. Это была графиня Верцелли, но далеко не прекрасная, а пожилая, больная, и облагодѣтельствовала она Руссо только тѣмъ, что приняла его въ число своихъ лакеевъ, поручивъ, впрочемъ, ему исполненіе секретарскихъ обязанностей. Такъ-какъ сама бариня для романа уже положительно не годилась, то Руссо влюбился въ ея прекрасную кухарку, Маріонъ. Чтобы засвидѣтельствовать послѣдней силу любви своей, онъ укралъ у барини розовую ленту, но прежде, чѣмъ успѣлъ подарить ее предмету своей страсти, покража была открыта, подняли шумъ, взнесли дѣло на благоусмотрѣніе самого графа, и лента была найдена у Руссо, который имѣлъ нивость объявить, что она подарена ему кухаркой. Несчастная дѣвушка была доведена до отчаянія такимъ несправедливымъ обвиненіемъ, но ни ея мольбы, ни ея слезы не тронули чувствительнаго Руссо и онъ не сознался во лжи. Дѣло было „предано волѣ Божіей“, но Руссо не долго оставался въ графскомъ домѣ: графиня умерла и лишнюю прислугу отпустили. Руссо снова очутился безъ занятій и безъ средствъ и началъ искать какого-нибудь мѣста черезъ одного молодого аббата, съ которымъ онъ познакомился въ домѣ графини. Черезъ шесть недѣль ему удалось поступить въ число слугъ графа Гувона, который, цѣня умъ Руссо, не возлагалъ на него

никакихъ лавейскихъ обязанностей и держалъ его изъ барской милости; сынъ-же графа, молодой, образованный аббатъ, близко сошелся съ Руссо, училъ его по-итальянски, знакомилъ съ классиками и былъ очень полезенъ ему своими свѣденіями. Въ то-же время Руссо подружился съ своимъ землякомъ Баклемъ, который собирался отправиться на родину. Бакль ежедневно посѣщалъ Руссо, но эти визиты не понравились графу и онъ не велѣлъ пускать Бакля; когда-же Руссо сталъ часто посѣщать своего земляка, то графъ потребовалъ, чтобы и эти посѣщенія были превращены, иначе грозилъ отказать ему отъ мѣста. Руссо потихоньку оставилъ домъ графа и отправился сопровождать Бакля въ его путешествіи.

Но Руссо шелъ не въ Женеву, а въ Аннеси, къ своей „мамашѣ“, г-жѣ Варренсъ, которая встрѣтила его съ распростертыми объятіями. „Она, говоритъ Руссо,—не щадила для меня ни поцѣлуовъ, ни самыхъ нѣжныхъ материнскихъ ласкъ“. Г-жа Варренсъ въ это время вела другой романъ и не заходила очень далеко въ своихъ отношеніяхъ къ восемнадцатилѣтнему Руссо, но послѣдній былъ положительно влюбленъ въ нее.. „Какъ часто я цѣловалъ свою постель, воображая, что она спала на ней, занавѣски и мебель, потому - что онѣ принадлежали ей и ихъ трогала ея прекрасная рука, даже полъ, потому-что она ходила по немъ...“ Г-жа Варренсъ пріютила у себя Руссо въ надеждѣ пристроить его къ какому-нибудь мѣсту. Онъ проводилъ время въ пріятныхъ бесѣдахъ съ нею, нѣсколько помогалъ ей по хозяйству, читалъ ей и разсуждалъ съ нею о прочитанномъ. Она, между прочимъ, познакомила его съ новыми явленіями французской литературы, съ Ля-Брюйеромъ, первыми произведеніями Вольтера и т. д. Но Варренсъ заботилась не столько объ образованіи Руссо, сколько о томъ, чтобы пристроить его къ какому-нибудь доходному занятію. Съ помощью друзей она опредѣлила его въ семинарію, чтобы приготовить его въ патеры; но Руссо до того лѣнился, а свѣденія его оказались до того ограниченными, что онъ вскорѣ-же былъ исключенъ изъ семинаріи и вернулся къ своей мамашѣ. Потомъ, рассчитывая на его любовь къ музыкѣ и пѣнію, г-жа Варренсъ опредѣлила его въ соборную капеллу, регентомъ которой былъ ея другъ, Ле-Метръ. Руссо хорошо сошелся съ своимъ учителемъ, но послѣдній, любившій

выпить, черезъ полгода вошелъ въ непріятныя столкновенія съ товарищами и рѣшился оставить свое мѣсто; такъ-какъ онъ хотѣлъ непремѣнно захватить съ собой изъ капеллы музыкальные инструменты, то бѣжалъ тайно, при содѣйствіи Варренсъ и въ сопровожденіи Руссо. Они путешествовали довольно удачно, купили виѣсть, добывали своимъ искусствомъ кое-какія средства; но это продолжалось недолго. Въ Ліонѣ Ле-Метръ упалъ среди улицы въ припадкѣ эпилепсін, а Руссо, бросивъ своего друга и учителя въ такомъ положеніи, бѣжалъ отъ него и вернулся въ Аннеси. Мамаша тамъ не было, она внезапно уѣхала въ Парижъ, но Руссо все-таки поселился въ ея домѣ, завелъ знакомства съ окрестными жителями и разомъ влюбился въ двухъ дѣвицъ; съ одной изъ нихъ, м-ль Граффефридъ, онъ имѣлъ свиданія и долго велъ тайную переписку съ помощью старой и безобразной швей, которая была влюблена въ него по-уши. Въ то-же время горничная г-жи Варренсъ, брошенная ею, начала ухаживать за Руссо и нашла въ немъ ревностнаго утѣшителя. Долго, но напрасно ожидая возвращенія хозяйки и не получая отъ нея никакихъ извѣстій, Мерсере (такъ звали горничную) рѣшилась возвратиться домой, въ Швейцарію, и предложила Руссо проводить ее, принимая на свой счетъ издержки. Они отправились.

Въ Ліонѣ Руссо явился къ своему отцу, и старикъ принялъ его со слезами радости. Онъ пытался было своими увѣщаніями исправить блуднаго сына, но напрасно, и въ концѣ концовъ предложилъ ему идти куда знаетъ съ своей спутницей. Руссо и Мерсере отправились въ Фрейбургъ, родину дѣвушки, и здѣсь Руссо вздумалъ расположиться, какъ у себя дома, у ея родственниковъ; послѣдніе, однакожъ, вовсе не были рады даровому нахлѣбнику и выжили его. Очутившись снова безъ пристанища, Руссо отправился въ Лозанну, въ надеждѣ сдѣлаться тамъ учителемъ музыки, но не полагаясь на свои таланты и знанія, рѣшился прельстять лозанцевъ, принявъ имя „Воссоръ-де-Вильнева, музыкальнаго учителя изъ Парижа“. Въ качествѣ знаменитости, онъ представился одному профессору, въ домѣ котораго часто собирались любители музыки и давались концерты. Будучи не въ состояніи даже прочесть какую-нибудь арію, Руссо выдалъ себя за композитора, расхвалилъ свой талантъ и общалъ для перваго-же концертнаго вечера представить свое произведеніе. И

представилъ! Само-собою понятно, что кромѣ скандала ничего не вышло: музыканты хохотали, слушатели были изумлены такою наглостью, и Руссо ретировался съ позоромъ изъ профессорскаго салона. О музыкѣ послѣ этого нечего было и думать, и онъ отправился искать „мамашу“, на ея родину, въ Веве, но не найдя ея здѣсь, перебрался въ Нефшатель, а потомъ отправился „искать приключеній“. Неизвѣстно, въ чемъ состояли эти приключенія, но онъ вернулся въ Нефшатель безъ всякихъ средствъ и рѣшился просить помощи у отца, признавая себя въ письмѣ къ нему недостойнымъ сыномъ, „рассказывая“ въ своихъ прегрѣшеніяхъ и т. д. Отецъ не помогъ, и въ то-же время Руссо узналъ, что „мамаша“ недовольна его поведеніемъ, слѣдовательно, на ея помощь тоже нечего рассчитывать. Въ это время въ одномъ деревенскомъ трактирѣ онъ столкнулся съ іерусалимскимъ архимандритомъ, который, будучи снабженъ рекомендательными письмами русской императрицы, австрійскаго императора и другихъ государей, путешествовалъ по Европѣ для сбора пожертвованій на гробъ Господень. Архимандритъ взялъ къ себѣ Руссо за хорошее жалованье переводчикомъ и секретаремъ, и они успѣшно повели дѣла, собирая пожертвованія и изрядно покучивая. Но это продолжалось недолго. Въ Солотурнѣ французскій посланникъ, Бонакъ, уличилъ архимандрита въ самозванствѣ. Подвергнутый допросу въ качествѣ свидѣтеля, Руссо познакомился съ посланникомъ, понравился ему и поселился у него, не помышляя о будущемъ и предоставляя, по обыкновенію, заботы о немъ другимъ. О Руссо дѣйствительно позаботились и посланникъ предложилъ ему сопровождать изъ Парижа въ армію одного молодого офицера въ качествѣ гувернера. Руссо согласился и, снабженный деньгами, отправился въ Парижъ, въ которомъ онъ еще не бывалъ и имѣлъ самыя преувеличенныя понятія о его грандіозности и красотѣ. Но онъ увидѣлъ совершенный контрастъ тому, что рисовала ему фантазія. Вступая въ городъ черезъ предмѣстье С.-Марсо, онъ „увидѣлъ только узкія, грязныя, вонючія улицы, дрянные, темные дома, всюду признаки нечистоты и бѣдности, нищихъ, лоскутницъ и старыя шляпы“. Не меньшее разочарованіе постигло его и относительно цѣли его путешествія. Онъ уже мечталъ, что будучи гувернеромъ офицера, вступить въ армію, сдѣлаетъ блестящую военную карьеру и т. д.,

а между тѣмъ отецъ этого офицера принялъ Руссо далеко не дружелюбно и дѣло разстроилось. Имѣя только небольшую сумму, онъ снова отправился отыскивать мамашу, перенося большія лишения, ночуя нерѣдко подъ открытымъ небомъ, голодая и сталкиваясь со всевозможною сволочью въ различныхъ притонахъ. Въ Лионѣ онъ случайно познакомился съ однимъ монахомъ и, получивъ предложеніе заняться перепиской нотъ, поселился въ монастырѣ, „ѣлъ и переписывалъ, и никогда ѣда не доставляла столько удовольствія“ ему, какъ въ это время, послѣ голода. Когда работа была кончена, оказалось, что Руссо не годился даже въ переписчики: ноты были переписаны такъ скверно, съ такими ошибками, что никуда не годились. Руссо принужденъ былъ оставить монастырь съ его сытною кухней, но, къ счастью, въ это самое время онъ получилъ отъ мамы письмо, которымъ она приглашала его къ себѣ, въ Шамбери, извѣщая, что нашла для него мѣсто. Это было осенью 1732 г.

Мамаша снова съ радостью приняла Руссо въ свой домъ, хотя въ это время ея сердце принадлежало ея слугѣ, Клоду Ане, съ которымъ вскорѣ подружился и Руссо. Онъ поступилъ писцомъ въ комисію по кадастру Савойи, но вскорѣ ему наскучила эта должность, онъ снова выступилъ въ качествѣ учителя музыки, и благодаря своей смѣлости, получилъ нѣсколько уроковъ. Беззаботно проживая у мамы, онъ мечталъ, читалъ и ухаживалъ за нѣсколькими дамами; но г-жа Варренсъ, замѣтивъ это, „рѣшилась, по выраженію Броккергофа, предупредить паденіе (!), предложивъ Руссо то, что онъ, быть можетъ, ко вреду себѣ, искалъ въ другомъ мѣстѣ“... Связь Руссо съ Варренсъ была извѣстна Клоду Ане, но онъ смотрѣлъ на нее сквозь пальцы, и всѣ трое жили въ полномъ согласіи... Между тѣмъ разные авантюристы, увидѣвшіеся около мамы, давно уже истощили ея и безъ того неполный кошелекъ, введя ее въ неоплатные долги. И Руссо сдѣлалось, наконецъ, немного совѣстно жить на счетъ разорившейся барыни, да и сама Варренсъ постаралась снова устроить его будущность. Снабдивъ его всѣмъ, чѣмъ могла, она отправила его въ Безансонъ, чтобы тамъ, подъ руководствомъ одного композитора, онъ окончилъ свое музыкальное образованіе. Но на французской границѣ, при осмотрѣ чемодана Руссо, въ „Дѣло“, № 8.

нею было найдено ясенистское стихотвореніе, направленное противъ двора и церкви. Руссо не оставалось дѣлать ничего другого, какъ, бросивъ въ жертву тамошнѣ чемоданъ и все свое имущество, возвратиться къ мамашѣ.

Жизнь потекла по-старому, съ тѣмъ только различіемъ, что Руссо усерднѣе прежняго занялся музыкой и началъ успѣвать въ композиціи. Подъ вліяніемъ образованныхъ людей, съ которыми ему доводилось сталкиваться въ это время, онъ очень увлекся литературой и философіей, въ особенности-же сочиненіями Вольтера. Посѣщая нѣсколько разъ своихъ родственниковъ въ Женевѣ, онъ былъ очевидцемъ той ожесточенной борьбы, какую вели въ это время (1734—38 г.) женевскіе граждане съ правительствомъ, причемъ иногда даже семейства распадались на двѣ враждебныхъ партіи и сынъ вооружался противъ отца. Эти междоусобицы произвели на Руссо потрясающее впечатлѣніе, онъ поклялся никогда не участвовать въ гражданской войнѣ и ни словомъ, ни дѣломъ не поддерживать попытокъ къ утверженію внутренней свободы силою оружія. Къ этимъ мрачнымъ впечатлѣніямъ присоединились еще другія обстоятельства. Желая облегчить положеніе содержавшей его мамыши, онъ началъ требовать у отца наслѣдства своей покойной матери, но получалъ грубые отказы, очень неестные и для г-жи Варренсъ. Въ то-же время, увидѣвъ въ одномъ монастырѣ четырнадцатилѣтнюю дѣвочку, Руссо воспыпалъ къ ней сильною страстью, которая, не найдя удовлетворенія, довела его до отчаянія. „Мои страсти, писалъ онъ,—были для меня источникомъ жизни, но онѣ-же и убивали меня. Самыя ничтожныя вещи волновали меня такъ сильно, словно дѣло шло объ обладаніи Еленой или о всемірной коронѣ. Это были прежде всего женщины. Если я какую-нибудь могъ назвать своею, то мои чувства успокоивались, но мое сердце—никогда: потребность любви пожирала меня посреди самаго наслажденія. Затѣмъ меня постоянно безпокоило положеніе мамыши. Я видѣлъ въ ближайшемъ будущемъ разореніе и, какъ результатъ его, разлуку съ тою, безъ которой мнѣ не было-бы радостей въ жизни“. Страсти истощили крѣпкій организмъ Руссо. Силы его быстро упали, дыханіе становилось укороченнымъ, сердце билось сильно, появилось кровохарканье. Онъ слегъ въ

постель и сталь приготовляться къ смерти, пользуясь наставленіями мамашинаго духовника, іезуита Гамета. Но молодой организмъ, невольное воздержаніе, уходъ мамы и воздухъ деревни, въ которую они переселились въ это время, мало-по-малу возстановили его силы.

Жизнь въ деревнѣ очень благопріятно отозвалась на умственномъ развитіи Руссо. Въ это время въ немъ пробудилась съ новыми силами та жажда знанія, которая, не удовлетворяясь какимъ-нибудь однимъ предметомъ, заставляла его знакомиться со всевозможными отраслями науки. Въ это время, какъ и раньше, онъ былъ настоящимъ самоучкой. Люди и книги только возбуждали его къ ученію и мысленію, не давая ему никакихъ правилъ, никакихъ нормъ, съ которыми-бы онъ соображался. Во время болѣзни изъ бесѣдъ съ пользовавшимся его д-ромъ Салономомъ онъ познакомился съ ученіемъ Декарта и чрезвычайно заинтересовался философіей. Потомъ попались ему философскія сочиненія янсенистовъ и т. д. Но это чтеніе создало въ его головѣ настоящій хаосъ необъединенныхъ между собою представленій, и Руссо рѣшилъ, раздѣливъ одну отъ другой различныя отрасли знанія, изучать каждую изъ нихъ до того пункта, гдѣ она соединяется съ другими. Познакомившись съ Локкомъ, Декартомъ, Мальбраншемъ, Лейбницемъ, Руссо перешелъ къ математикѣ, астрономіи, географіи, исторіи, литературѣ. Научнымъ занятіямъ онъ посвящалъ большую часть своего времени. Вставая до восхода солнца, онъ гулялъ, потомъ завтракалъ съ мамашей и занимался вплоть до обѣда. Вечеромъ занятія возобновлялись. Руссо въ это время началъ уже пописывать, и въ одномъ изъ своихъ стихотвореній воспѣлъ удовольствіе своей тихой, ясной жизни въ деревнѣ. Въ этомъ стихотвореніи видѣнъ уже весь будущій авторъ „Общественнаго договора“, съ его идеалистическимъ и эгоистическимъ отвращеніемъ отъ дѣятельной общественной жизни, съ его заботами о своемъ личномъ спокойствіи и въ то-же время съ платонической любовью къ человечеству. Оправдывая себя своимъ болѣзненнымъ положеніемъ, Руссо трудился надъ выработкою нравственнаго идеала. „Легкомысленныя сочиненія, которыя служатъ только къ забавѣ, блестящія антитезы и искусныя обороты“ были противны ему; онъ любилъ только то,

„что трогаетъ сердце и возвышаетъ умъ“. Уносясь мыслию въ отвлеченныя сферы вѣстѣ съ Декартомъ и Лейбницемъ, слѣдя за устройствомъ міра съ Кеплеромъ, углубляясь въ созерцаніе нравственнаго идеала съ Сократомъ и Платономъ, онъ болѣе всего любилъ изученіе природы и человѣка. Когда на разсвѣтѣ онъ выходилъ въ поле и смотрѣлъ, какъ восходящее солнце золотило вершины горъ, то „душа въ сладостномъ благоговѣніи парила къ Творцу этихъ красотъ, а изъ сердца поднималась чистая, искренняя молитва, состоящая не изъ пустыхъ, холодныхъ словъ, но изъ теплыхъ, живыхъ чувствъ... Когда-же ночь принимала свое покрывало и взору представлялось блистательное зрѣлище звѣзднаго неба, то умъ и чувство погружались въ безконечную глубину, открывавшуюся и со вѣй, и въ то-же время въ собственной груди“. Увлекаясь Фенелономъ, Горациемъ и тому подобными моралистами, „смѣясь надъ глупостью и ничтожествомъ человѣчества“, Руссо „трогался и увлекался изображеніемъ чистыхъ, невинныхъ натуръ, возвышенныхъ, благородныхъ характеровъ“, имѣвшихъ мало общаго съ дѣйствительностью. Вообще его нравственныя понятія и общественныя идеалы формировались подъ фальшивыми вліяніями отживавшаго порядка вещей, — тутъ были и утрированныя герои Плутарха и Расина, и мораль Горация, и сантиментальная идиллія XVII вѣка, и философскіе отголоски древняго мифа о золотомъ вѣкѣ. Отрѣшенный отъ дѣйствительности умъ Руссо принималъ утопическое направленіе; его эгоистическое чувство вполнѣ выражалось въ длинномъ рядѣ недостойныхъ и низкихъ поступковъ, но въ области отвлеченія, въ идеальной сферѣ, въ которой нельзя и не зачѣмъ было унижаться и подличать, его сердце билось любовью къ человечеству и увлекалось возвышенными идеалами. Далѣе мы еще не разъ остановимся на этой двойственности его природы, здѣсь-же замѣтимъ только, что Руссо въ этомъ отношеніи былъ очень рѣзкимъ, но далеко не рѣдкимъ феноменомъ. То-же самое мы видимъ въ Сенекаѣ, Абелярѣ, Бэконѣ или въ русскихъ людяхъ сороковыхъ годовъ.

IV.

Лѣтомъ 1737 г. съ Руссо сдѣлался сильный болѣзненный припадокъ; чувствуя приближеніе смерти, онъ составилъ духовное завѣщаніе. Не имѣя рѣшительно ничего, онъ сдѣлалъ единственной своей *наследницей* (!) г-жу Варренсъ и (изъ ея-же денегъ, конечно) завѣщалъ въ разные монастыри 16 ливровъ на обѣдни „за упокой души“ его. Припадокъ скоро прошелъ, но слабость Руссо была ужасная; онъ походилъ на скелетъ, часто плакалъ безъ всякой видимой причины, малѣйшій шумъ приводилъ его въ ужасъ. Мамаша отправила его въ Монпелье, къ одному извѣстному врачу. Руссо остановился отдохнуть въ Гренобль. Снабженный рекомендательными письмами, „новообращенный сынъ св. церкви“ нашелъ здѣсь радушный пріемъ и былъ оснанъ щедрыми подаваніями. Отправясь дальше, онъ на одной станціи встрѣтился съ компаніей какихъ-то аристократовъ, ѣхавшихъ по одной съ нимъ дорогѣ, и заинтересовалъ дамъ, выдавъ себя за англичанина и якобита Дуддинга. Одна изъ дамъ, Ларнажъ, возбуждала въ немъ сильнѣйшую страсть, и полуживой Руссо началъ новый романъ, некончившійся для него смертью только потому, что г-жа Ларнажъ умѣла нѣсколько воздерживать его ненасытныя желанія. Они разстались, условившись, что изъ Монпелье Руссо вернется къ ней. Лечение въ Монпелье принесло ему мало пользы и онъ началъ уже стремиться въ объятія г-жи Ларнажъ, которая звала его своими страстными письмами. Но ему не на что было выѣхать да къ тому-же онъ и побаивался ѣхать, опасаясь, что при ближайшемъ знакомствѣ его англійское самозванство будетъ разоблачено и обнаружится его бѣдность; наконецъ, у Ларнажъ, по ея словамъ, была пятнадцатилѣтняя прекрасная дочь, въ которую Руссо не замедлилъ-бы влюбиться, и попалъ-бы въ самое ложное положеніе. Въ виду такихъ соображеній онъ рѣшилъ вернуться къ мамашѣ и просилъ у нея денегъ. Деньги г-жа Варренсъ выслала, но ясно дала понять Руссо, что онъ ей болѣе не нуженъ и сдѣлаетъ хорошо, если не прійдетъ. Руссо, однакожъ, не стѣснился отказомъ и прибылъ къ мамашѣ, но былъ встрѣченъ уже не такъ радушно, какъ прежде, и хотя старня

отношенія возобновились, но онъ скоро узналъ, что имѣетъ партнера въ лицѣ молодого и глупаго парикмахера Винценрида. Мамаша сама рассказала ему объ этой связи, убѣждая его, что она нисколько не имѣшаетъ ихъ прежнимъ отношеніямъ. Но Руссо не согласился раздѣлять съ Винценридомъ то, что онъ нѣкогда дѣлилъ съ Клодомъ Ане. Онъ по-прежнему жилъ у мамыши, на ея счетъ, но старой дружбы уже не было, они чуждались другъ друга и Руссо началъ, наконецъ, сильно тяготиться своимъ фальшивымъ положеніемъ. Чтобы выйти изъ него, нужны были деньги, а чтобы достать ихъ, Руссо подалъ въ 1739 г. савойскому губернатору прошеніе о назначеніи ему пенсіи за его обращеніе въ католицизмъ, „дабы, будучи свободнымъ отъ всѣхъ заботъ и мірскихъ хлопотъ, онъ могъ всецѣло посвятить себя спасенію души и съ миромъ перейти въ вѣчность“... Не получивъ этой пенсіи „для спасенія души“, Руссо началъ хлопотать о мѣстѣ музыквальнаго учителя или секретаря „при какомъ-нибудь знатномъ господинѣ“, и въ 1740 г. одна барыня доставила ему мѣсто воспитателя дѣтей у лійонскаго генераль-профоса, Мабли. Семействомъ этимъ Руссо былъ очень доволенъ. Умный, образованный Мабли отнесся къ нему съ уваженіемъ и довѣренностью, а въ его жену Руссо не замедлил влюбиться, но она поставила его на надлежащее разстояніе отъ себя. Воспитаніе Руссо началъ съ того, что выговорилъ себѣ верховное право наградъ и наказаній учениковъ, чтобы держать высоко въ ихъ глазахъ авторитетъ воспитателя. Страхъ онъ считалъ въ это время главнымъ орудіемъ въ рукахъ учителя, а затѣмъ—любовь и награды. Цѣль образованія онъ видѣлъ не въ приобрѣтеніи знаній, а въ нравственномъ усовершенствованіи. „Въ головѣ чловѣка съ испорченнымъ сердцемъ знанія то-же самое, что оружіе въ рукахъ сумасшедшаго“. Вообще въ его педагогическихъ взглядахъ въ это время видны уже основы позднѣйшей теоріи „Эмиля“, и потому мы не будемъ здѣсь останавливаться на нихъ. Что-же касается осуществленія этихъ взглядовъ на практикѣ, то Руссо скоро убѣдился, что онъ не способенъ быть учителемъ. Онъ не умѣлъ ни примноровляться къ понятіямъ дѣтей, ни вести себя ровно относительно ихъ. Мабли еще ранѣе Руссо увидѣлъ его неспособность, но не отказывалъ ему изъ одной деликатности.

Но если Руссо ничему не научилъ дѣтей Мабли, за то самъ многому научился въ его домѣ, при своихъ столкновѣнiяхъ съ такими людьми, какъ знаменитый Кондильякъ, академикъ Бордэ, хирургъ Паризо. Брата хозяйна, аббата Мабли, въ это время не было въ Лионѣ, но Руссо былъ хорошо знакомъ съ его сочиненiями.

Въ 1741 г. Руссо оставилъ домъ Мабли и вернулся къ мамашѣ, которую почти уже окончательно разорилъ мотыга Винценридь. Поселившись у Варренсъ, онъ занялся своими книгами, и живя въ ея домѣ, на ея счетъ, старался по-возможности избѣгать встрѣчъ съ нею, такъ-какъ былъ сердитъ на нее за ея отношенiя къ Винценриду. Въ это время онъ занимался преимущественно музыкой и развитiемъ своей теорiи о замѣнѣ нотъ цифрами. Работа скоро пришла къ концу; Руссо видѣлъ въ ней путь къ славѣ и обезпеченiю; оставивъ домъ мамыши, полный радужныхъ надеждъ, онъ осенью 1741 г. прибылъ въ столицу Францiи. Рекомендательныя письма открыли ему доступъ въ дома нѣкоторыхъ вельможъ и ученыхъ знаменитостей, онъ получилъ выгодныхъ учениковъ, а при содѣйствiи знаменитаго физика Ромюра его диссертация была представлена академiи. Это первое изъ замѣчательныхъ сочиненiй Руссо имѣетъ своею цѣлью упрощенiе музыкальнаго письма посредствомъ замѣны разнообразныхъ, сложныхъ, трудныхъ для пониманiя нотныхъ знаковъ цифрами. Но при всей специальности своего содержанiя, изобрѣтенiе Руссо имѣетъ тотъ общiй интересъ, что служить первымъ крупнымъ проявленiемъ реформаторскихъ наклонностей его ума и характеризуетъ субъективность его мышленiя. Дѣло въ томъ, что Руссо, при своемъ слабомъ зрѣнiи, плохо разбиралъ ноты, и въ этомъ-то обстоятельстве было начало реформы музыкальныхъ знаковъ. Онъ былъ вполне убѣжденъ въ успѣхѣ своего изобрѣтенiя, но потерпѣлъ жестокую неудачу: академiя не приняла его, а публика отнеслась къ нему равнодушно. Руссо обвинилъ ту и другую въ тупости.

Цѣль, съ которою Руссо прибылъ въ Парижъ, не была достигнута, но за то онъ сошелся здѣсь съ разными представителями ученаго и литературнаго мiра, что было очень полезно для его дальнѣйшаго самообразованiя. Потерпѣвъ неудачу, онъ пре-

дался „естественной лѣности“ и въ ожиданіи счастливаго случая проживалъ послѣднія деньга. Расходы его были не велики, такъ-какъ онъ всегда велъ очень простую жизнь, не допуская ни роскоши, ни излишествъ въ платьѣ, столѣ, квартирѣ. Роскошь онъ любилъ только въ одномъ, въ томъ, чтобы писать на золотообрѣзной бумагѣ, посыпать серебряннымъ пескомъ и сшивать листы голубымъ шелкомъ. Впрочемъ, нелюбовь Руссо къ роскоши была въ сущности вынуждена его бѣдностью, и если-бы онъ сдѣлался богатымъ, чего онъ всегда желалъ, то, безъ сомнѣнія, сталъ-бы роскошничать, но его роскошь не была-бы въ старомъ, нелѣпомъ вкусѣ рококо, а отличалась-бы простотой, натуральностью. Какъ ни скромно жилъ Руссо, но деньги выходили и приходилось снова подумать о кускѣ хлѣба. Аббатъ Кастель посоветовалъ Руссо держаться для устройства своей карьеры женщинъ и ввелъ его въ аристократическій салонъ г-жи Безенваль, которая на первый-же разъ пригласила Руссо обѣдать *съ прислугой!*.. Руссо оскорбился, но дочь хозяйки, г-жа Брольи, исправивъ ошибку матери, успокоила Руссо, и онъ, пообѣдавъ *съ господами*, сталъ бывать въ этомъ домѣ, читалъ свои стихи, трогавшіе до слезъ слушателей, особенно г-жу Брольи, и участвовалъ удовольствіемъ аристократическаго знакомства, хотя, по своей застѣнчивости, нѣсколько стѣснялся имъ. Въ то-же время онъ былъ введенъ въ одинъ изъ самыхъ блестящихъ домовъ столицы, въ домъ генеральнаго откупщика Дюпена. Извѣстно, что генеральные откупщики того времени, высасывавшіе послѣдніе жизненные соки изъ страны, были первыми богачами, жили въ баснословно роскошной обстановкѣ, окружали себя литераторами, учеными и художниками, были покровителями наукъ и искусствъ и поклонниками „всего истиннаго, добраго и прекраснаго“. Дюпенъ былъ однимъ изъ главныхъ меценатовъ и даже самъ сочинилъ что-то, а въ салонъ его жены постоянно толпились герцоги, посланники, принцы, Фонтенель, аббатъ Сен-Пьеръ, Бюффонъ, Вольтеръ и т. д. Г-жа Дюпенъ приняла въ первый разъ Руссо совершенно по-дружески, въ полномъ неглиже, во время туалета, что было, какъ извѣстно, въ обычаѣ того времени. Увидѣвъ въ такомъ положеніи эту женщину, „прелестную, какъ ангелъ“, Руссо сразу потерялъ голову и влюбился въ нее безъ ума. Онъ горѣлъ

желаніемъ объясниться, но боялся, тѣмъ болѣе, что г-жа Дюпенъ не подавала никакого повода къ тому. Наконецъ, онъ рѣшился написать къ ней, но она собственноручно возвратила ему письмо съ строгимъ внушеніемъ не забываться. Руссо продолжалъ вѣдывать и не прекращалъ своихъ посѣщеній, пока г-жа Дюпенъ не отказала ему отъ дома. Разставшись съ Дюпенами, Руссо, однакожь, продолжалъ знакомство съ ихъ молодымъ, богатымъ родственникомъ Франкевейлемъ. Оба они любили музыку, вѣдѣсть слушали лекціи химіи, посѣщали театры и кутили напропалую, пока Руссо не очутился снова на краю гроба, вслѣдствіе воспаленія легкихъ. Какъ въ періодѣ выздоровленія отъ первой болѣзни, такъ и теперь, Руссо, неразвлекаемый удовольствіями, принялся за работу. Онъ писалъ давно уже задуманную оперу, но, не кончивъ ея, принялся за водевиль „Военноилѣнный“. Какъ опера, такъ и водевиль не имѣютъ никакихъ особенныхъ достоинствъ и гораздо лучше ихъ написанное въ то-же время „Открытіе Новаго Свѣта“. Несмотря на эти работы, Руссо не сознавалъ еще своего литературнаго призванія, онъ мечталъ о дипломатической карьерѣ и ему удалось поступить секретаремъ къ французскому послу въ Венеціи, графу Монтэгю. Графъ былъ глупъ и невѣжественъ, и Руссо пришлось работать за него. Онъ оказался хорошимъ секретаремъ, велъ дѣла исправно, заинтересовался политикой и познакомился съ нею, и эта первая служебная удача чрезвычайно подняла его въ собственныхъ глазахъ. Руссо хотя и считался слугою графа, но пользовался большими преимуществами, имѣлъ прислугу, свою ложу въ театрѣ, свою гондолу и т. д. Онъ велъ очень веселую жизнь, былъ близокъ съ многими молодыми людьми, посѣщалъ роскошныхъ гетеръ Венеціи, хотя при своей страстности и молодости не могъ уже нравиться имъ и одна изъ нихъ посоветовала ему „оставить женщинъ въ покое, а заняться математикой“... Но Руссо не долго наслаждался въ Венеціи. Посланникъ не влюбилъ его за то, что онъ держался самостоятельно и не скрывалъ, что былъ правою рукою его сіятельства. Графъ былъ до того скупъ, что заказывалъ, напр., себѣ три сапога, считывая, что ихъ можно проносить такъ-же долго, какъ и полныя двѣ пары. Онъ началъ притѣснять Руссо, обещивать его и, наконецъ, не заплативъ ему жалованья,

заставилъ выйти изъ службъ. Руссо отправился въ Парижъ съ полной увѣренностью, что всѣ поспѣшатъ помочь ему и защитить отъ несправедливости. Но къ его претензіямъ отнеслись довольно холодно; знатные милостивцы не были расположены защищать неизвѣстнаго, бѣднаго чужестранца-слугу противъ графа Монтэгу. Такая несправедливость возмутила Руссо до глубины души, дала большую пищу уже зародившейся въ немъ ненависти къ людямъ и усилила въ немъ желаніе не зависѣть впредь отъ чужихъ милостей, а рассчитывать на однѣ свои способности.

Руссо по возвращеніи въ Парижъ обѣдалъ въ одной гостиницѣ, въ которой въ числѣ прислуги была дѣвица Тереза Вассёръ. Обѣдавшіе вмѣстѣ съ Руссо аббаты постоянно дѣлали ее предметомъ своихъ сальныхъ шутокъ, и Руссо сдѣлался ея покровителемъ, потому что влюбился въ нее и окончательно сошелся съ нею, хотя она не блистала ни красотой, ни умомъ, ни молодостью. Но ему нужна была подруга, которая могла-бы замѣнить ему „мамашу“, Тереза же была очень добра и привязана къ нему, и онъ полюбилъ ее. У него было сильное желаніе свить себѣ семейное гнѣздо, онъ далеко не прочь былъ отъ „приличной партіи“, но въ его положеніи нечего было и думать о женитьбѣ на образованной и богатой женщинѣ; подвернулась Тереза, и Руссо, не задумываясь объ ея участи, сошелся съ нею, хотя считалъ недостойнымъ себя вступить съ нею въ формальный бракъ. Онъ сначала даже скрывалъ отъ другихъ, что у него такая неблестящая любовница, и всегда стыдился знакомить ее съ своими друзьями. Содержаніе Терезы удвоило расходы Руссо, и онъ снова принялся за работу. Но написанныя имъ въ это время оперетты не имѣли успѣха и провалились точно такъ-же, какъ въ наши дни разные опыты музыки будущаго. Неудача не обезкуражила Руссо и онъ принялся за другіе опыты, отказываясь отъ всѣхъ честолюбивыхъ плановъ на карьеру въ большомъ свѣтѣ и рѣшившись посвятить всего себя заботамъ о себѣ и Терезѣ. Заботы эти вскорѣ усилились. Родственники Терезы постарались сблизиться съ Руссо и начали эксплуатировать его. Небольшое наслѣдство, полученное Руссо въ 1745 г. послѣ смерти отца, немедленно-же было прожито и бѣдность снова посѣтила его. Но въ это время ему удалось вторично сойтись съ Дюпенами, предложившими ему мѣ-

сто домашняго секретаря за 900 фр. въ годъ. Руссо, только-что отрешившійся отъ большого свѣта, снова сталъ наслаждаться его шумною, блестящею жизнью, хотя и не переставалъ чувствовать фальшивость и незавидность своего положенія. Осень 1747 г. онъ провелъ съ Дюпенами въ ихъ прекрасномъ помѣстьѣ, въ одной изъ очаровательныхъ мѣстностей Турэна, и написалъ здѣсь комедію „L'engagement téméraire“, послѣдній опытъ въ этомъ родѣ, столь несвойственномъ его таланту, и стихотвореніе „L'allée de Sylvie“, имѣющее біографическое значеніе. Руссо жалуется на судьбу, постоянно преслѣдующую его. Позади лежатъ трудные, безплодно прожитые годы, неприведшіе ни къ какой цѣли, которая была-бы достойна его. Будущее такъ-же безотраднo, какъ и прошедшее; оно не подаетъ никакихъ надеждъ на то, чтобы можно было достигнуть прочнаго и почетнаго положенія въ жизни. „Бурное внутреннее стремленіе часто приводитъ къ новымъ планамъ и проектамъ, но частый опытъ научилъ уже, что все это пустыя химеры“. Вернувшись зимой въ Парижъ, Руссо снова очутился въ самомъ незавидномъ положеніи, тѣмъ болѣе, что Тереза скоро должна была родить. Чтобы избавиться отъ новой обузы, онъ рѣшилъ отдать ребенка въ воспитательный домъ, какъ тогда обыкновенно дѣлали да и теперь дѣлаютъ „порядочные люди“ съ плодами своихъ „невинныхъ шалостей“. Руссо не задумался надъ этимъ поступкомъ и не видѣлъ ничего дурнаго въ этомъ бросаніи ребенка на произволъ судьбы. Тереза воспротивилась-было желанію своего возлюбленнаго, но была убѣждена въ справедливости его своей достойной родительницей. Ребенка сдали въ пріютъ и родительскія заботы о немъ простирались до того, что его снабдили особымъ знакомъ, по которому впоследствии его можно было-бы отличить отъ другихъ дѣтей. Впрочемъ, такая заботливость продолжалась недолго, и когда въ слѣдующемъ году Руссо представилось то-же самое неудобство, то этотъ ребенокъ былъ сданъ въ воспитательный домъ уже безъ всякаго знака.

Бросая чуть не на улицу своихъ дѣтей, наслаждался Терезой, этой женой-служанкой, Руссо не оставлялъ утонченныхъ удовольствій высшаго общества. Въ это время онъ проникъ въ салонъ прелестной г-жи д'Эпина, участвовалъ въ ея домашнихъ

концертахъ и пытался даже попробовать себя на театральномъ поприщѣ, но обнаружилъ только приниженное усердіе и полное отсутствіе сценическаго таланта. Въ домѣ д'Эпинэ онъ сошелся съ нѣкоторыми баронами и барынями, имѣвшими въ послѣдствіи на него большое вліяніе; но несравненно важнѣе для него были въ это время знакомства съ нѣкоторыми представителями тогдашней интеллигенціи. Во главѣ ихъ стоялъ Денисъ Дидро. Вскорѣ они очень подружились между собой. Оба они любили музыку, оба стремились къ литературной славѣ, оба были проникнуты чувствомъ личной независимости и реформаторскимъ духомъ, немирившимся съ окружавшею ихъ дѣйствительностью; оба они принимали живѣйшій интересъ во всѣхъ отрасляхъ знанія, въ искусствѣ и религіи, въ политикѣ и химіи, въ математикѣ и философіи. Наконецъ, даже семейное положеніе ихъ было одинаково: оба они были женаты на простыхъ, необразованныхъ женщинахъ. Дидро былъ нѣсколькими мѣсяцами моложе Руссо, но его умъ былъ развитъ систематическимъ образованіемъ и обладалъ высокимъ критическимъ тактомъ, его познанія были разнообразны и обширны. Естественно, что будучи другомъ Руссо, онъ сдѣлался его менторомъ, имѣлъ на него огромное вліяніе и окончательно направилъ его на литературное поприще. Руссо и Дидро скоро сошлись еще съ аббатомъ Кондильякомъ, который оканчивалъ въ то время свой трудъ „О происхожденіи человѣческихъ знаній“, и также подружились съ нимъ. Втроемъ они затѣяли изданіе критической газеты, программа которой была составлена Руссо. Обстоятельства помѣшали этому предпріятію, но оно сблизило Руссо съ д'Аламберомъ, предложившимъ ему сотрудничество въ энциклопедіи. Статьи Руссо, помѣщенные въ ней, не имѣли успѣха, что чрезвычайно огорчало его, такъ-какъ онъ рассчитывалъ, что онѣ принесутъ ему доходъ. Но благодаря имъ, Руссо окончательно вступилъ въ кругъ тѣхъ писателей, которые уже начали играть рѣшительную роль въ литературѣ, и освободился отъ исключительнаго вліянія свѣтскаго шалопайства. Дружба съ Дидро приняла самый нѣжный характеръ, такъ-что, когда въ 1749 г. за изданіе своихъ „Писемъ о слѣпыхъ“ Дидро былъ посаженъ въ венсенскій замокъ, то Руссо чуть было не сошелъ съ ума отъ отчаянія. Онъ дѣлалъ все, что ему приходило въ голову, писалъ

даже къ маркизѣ Помпадуръ, чтобы облегчить участь своего друга. Наконецъ, Дидро позволили гулять въ паркѣ и принимать друзей. Руссо внѣ себя отъ радости бросается въ Венсенъ; онъ вбѣгаетъ къ Дидро, не видитъ никого, кромѣ его одного, прижимаетъ его къ своей груди и едва можетъ опомниться отъ слезъ и рыданій. Это была одна изъ тѣхъ свѣтлыхъ минутъ, въ которыя доброе отъ природы сердце Руссо сбрасывало съ себя все, что портило и безобразило его, и проявляло свои самыя симпатическія стороны.

Руссо обыкновенно отправлялся въ Венсенъ часа въ два дня. „Я, рассказываетъ онъ,—ходилъ очень скоро, чтобы придти пораньше. Придорожныя деревья, по обыкновенію, сильно подстриженныя, почти вовсе не давали тѣни. Утомленный ходьбой и чрезвычайнымъ жаромъ, я иногда ложился на землю. Чтобы принудить себя ходить потише, я вздумалъ брать съ собою какую-нибудь книгу. Однажды я взялъ „Mercure de France“ и, перелистывая его на ходу, увидѣлъ, что дижонская академія предлагаетъ на слѣдующій годъ премію за рѣшеніе вопроса о томъ, содѣйствовало-ли развитіе наукъ и искусствъ очищенію или портчѣ нравовъ? Въ одно мгновеніе, какъ только пробѣжалъ я эти строки, я увидѣлъ передъ собой другой міръ и сдѣлался самъ другимъ человѣкомъ... Множество живыхъ идей представилось мнѣ съ такою силою и въ такомъ пестромъ разнообразіи, что я почувствовалъ неописанное безпокойство. Моя голова была въ такомъ оглушительномъ возбужденіи, которое походило на опьянѣлое состояніе; сердце мучительно билось, грудь поднималась; будучи не въ силахъ идти отъ одышки, я сѣлъ при дорогѣ подъ деревомъ и просидѣлъ съ полчаса въ такомъ возбужденномъ состояніи, что, поднимаясь, увидѣлъ, что весь передъ моего жила смоченъ слезами, теченія которыхъ я не чувствовалъ... Если-бы я могъ изложить письменно какую-нибудь четвертую часть того, что я видѣлъ и чувствовалъ подъ этимъ деревомъ, то съ какою ясностью я вскрылъ-бы противорѣчія общественной системы, съ какою силою указалъ-бы всѣ злоупотребленія нашихъ учреждений, съ какою простотою доказалъ-бы, что человѣкъ добрѣ отъ природы и портится только ими“. Но Руссо успѣлъ записать лишь немногое изъ того, что онъ чувствовалъ во время

этого состоянія. Когда, по приходѣ въ Венсенъ, онъ прочиталъ свою записку Дидро, тотъ настоялъ, чтобы онъ непремѣнно писалъ на заданную академіей тему, и Руссо немедленно принялся за работу. „Я, рассказываетъ онъ,—посвящалъ ей безсонные часы, которыхъ по ночамъ было не мало. Лежа въ постели, я размышлялъ съ закрытыми глазами и съ необыкновеннымъ стараніемъ вертѣлъ и переворачивалъ періоды въ своей головѣ. Когда я былъ окончательно доволенъ ими, то старался укрѣпить ихъ въ своей памяти, чтобы потомъ изложить на бумагѣ. Но утромъ, во время вставанья и одѣванья, все забывалось, и, садясь за письменный столъ, я припоминалъ уже очень немного изъ того, что обработалъ. Тогда мнѣ пришлось на умъ обратить въ своего секретаря мать Терезы. Когда она приходила утромъ, я, лежа въ постели, диктовалъ ей то, что приготовилъ ночью“. Когда разсужденіе было готово, его прочиталъ и исправилъ Дидро и оно было отослано въ дижонскую академію.

С. Ставринъ.

(Продолженіе будетъ.)

ПОКОЙ И ТРУДЪ.

Я бросилъ челую работу,
Покой и праздность возлюбилъ
И создалъ самъ себѣ субботу,
И духомъ мирно опочилъ.

Мой свѣтлый даръ покрыла плесень;
Онъ грустно вянулъ, какъ цвѣтокъ;
Не стало слышно громкихъ пѣсень;
Заснула мысль, языкъ умолкъ.

Мой острый умъ безъ дѣлъ заржавѣлъ
И сталъ бесплоденъ, недвижимъ...
И понялъ я, какъ обезславилъ
Себя бездѣйствіемъ такимъ.

Жизнь вдругъ меня трудомъ кипѣла:
Куда ни падалъ праздный взоръ,
Искали всюду люди дѣла.
Мнѣ ближній былъ — живой укоръ:

Съ терпѣньемъ, съ волею желѣзной
Тяжелый путь онъ пролагалъ;
А я, какъ камень бесполезный,
На пашнѣ жизненной лежалъ.

Глядѣлъ, какъ зритель безучастный,
Я на людской упорный трудъ.
Усердно, дружно и согласно
Спѣшили впередъ рабочій людъ.

Повсюду видѣлъ я движенье;
Тотъ, кто работалъ, не скучалъ;
А мой покой одно презрѣнье
Отъ всѣхъ трудящихся встрѣчалъ.

Болѣло сердце нестерпимо,
 Въ ужасной скукѣ ныла грудь,
 Нѣмымъ раскаяньемъ томима...
 И вышелъ я на прежній путь.

И къ мысли я воззвалъ: Воскресни!
 Возобнови остатокъ силъ!
 Напомни мнѣ былия пѣсни!
 Я все растратилъ, все забылъ.

„Пусть жизнь сулитъ одни лишения,—
 Не страшень будетъ съ ними бой.
 Хочу трудиться ночь и день я,—
 Мнѣ опротивѣлъ мой покой!

„Хочу душой ожить; но если
 Ужь поздно—жизнь во мнѣ убей!“—
 И силы прежнія воскресли
 Въ груди измученной моей.

Все то, чѣмъ въ жизни заразился,
 Я отъ себя тогда отсѣкъ,—
 И для работы вновь родился
 Убитый лѣнью человекъ.

И. Суриковъ.

П Р И В О Л Ь Е.

IV.

ЛѢТО ВЪ СТАНОВИЩѢ.

I.

НА ЯРУСАХЪ.

Давно улеглись волны. Океанъ, какъ вода въ чашкѣ, не шелхнется. Даже прибой у береговъ не слышно.

Такъ тихо, что клекоть поморника съ вышины утеса далеко разносится надъ всею этой ширью. Такъ тихо, что грохотъ водопада верстъ за десять отсюда, внутри страны, слышится на взморьѣ, точно тутъ-же, у самаго уха, падаютъ внизъ бѣлыя, пѣнистыя массы сжатой гранитными скалами рѣки. Такъ тихо, что отличишь и плескъ сайды, поднявшейся на поверхность океана и сверкающей на немъ серебряными плавниками, и глухой хряскъ акуляго хвоста, и глубокій вздохъ Кита въ бездонныхъ безднахъ неподвижнаго моря.

Такъ тихо, что уху въ этой тишинѣ чудятся какіе-то странные звуки. То прозвенитъ знакомый голосъ, то чей-то окликъ замретъ надъ берегомъ. И только улыбаешься этимъ грезамъ, этимъ воспоминаніямъ, облекшимся въ звуки...

И жарко-же стало. Даже на океанѣ парить!

На берегу и вовсе невыносимо. Поверхности діоритовыхъ скалъ накалились, до гранитныхъ валуновъ не дотронешься—ожжешься. Даже раковины, выброшенныя на берегъ послѣднею бурей, поте-

плѣли, точно въ нихъ еще бьется жизнь... По всему пустынному побережью теперь словно смерть царить. Гатки свернулись въ гнѣздахъ, въ эту жару не на промыселъ-же летѣть. Въ темныхъ щеляхъ застыли чайки и буревѣстники—крыломъ не шевельнуть. Поверхность мягкаго торфа на площадкахъ утеса костенеетъ подъ жаромъ и растрескивается. Ползучая березовая сланка словно притаилась, приникнувъ къ своему понизью. Только морошка золотится себѣ на солнцѣ и спѣетъ подъ жаромъ. Горный олень лежитъ въ тѣни высокаго камня и тяжело дышетъ. Глаза его полузакрыты, спина мокра. Вѣтвистые рога немощно клонятся на бокъ. Въ воду-бы кинулся, да какъ дойдешь до нея по жарѣ такой?..

Сохнуть тихія заводья, сохнуть неглубокія озера. Таетъ свѣтъ, лѣтъ пять лежавшій въ трещинахъ береговой скалы. Таетъ и, глухо громкая, словно опускается внизъ его отвердѣвшая поверхность. Точно камень стонетъ... Въ выбоинахъ берега море кое-гдѣ оставило слѣды своего прилива—лужицы. Билась въ нихъ мелкая рыбица, заброшенная туда волнами, копошились мелкіе рачки, ища оттуда выхода. Теперь все обсохло и рыба гнѣетъ на солнцѣ, заражая воздухъ. Морская трава, что цѣлою гирляндой выбросилъ на берегъ океанъ, обсохла. Точно пеньковый сухой канатъ лежитъ она, свернувшись, на берегу. Сквозь разомъ пожелтѣвшіе листы и нити омертвѣвшей водоросли выглядываютъ на свѣтъ угли и гребни ракушекъ, камешки. А дотроньтесь до этой еще недавно сочной гирлянды, только пыль пойдетъ вверхъ, да и вся она развалится передъ вами.

Ползла-было тучка на небѣ, да не добралась и до середины. Вытянулась бессильно и легла. И до сихъ поръ лежитъ, не двигаясь, такъ и застыла на мѣстѣ. Жжетъ ее солнце нещадно, такъ жжетъ, что края ужъ словно затѣлись. Синяя марь отъ жары стала на краю моря и стѣснила горизонтъ отовсюду. Небо голубѣетъ вверху и внизъ опрокинулось тоже лазурное. Та-же тучка и внизу, въ морской безднѣ.

Поди сколько лѣсовъ теперь загорѣлось внутри Кольскаго полуострова, сколько моховыхъ пастбищъ посохло и тлѣетъ медленно, кураясь на просторѣ. Бѣжитъ лопарь въ черную чашу, да и тамъ ему нѣтъ спасенья. Душно, парить, жжетъ на площадкахъ, томитъ въ понизьяхъ.

Да не все-же и мертво тутъ. Не все-же затаилось. Бьется чье-нибудь сердце, работаютъ чьи-нибудь руки.

Вглядитесь-ка въ океанъ, зорко взглянитесь: вонъ вереть за семь отъ берега, по всему Мурману, отъ Варангеръ-фьорда до Святого Носа, чернѣютъ какія-то точки. Недвижно чернѣютъ, не шелохнутся. Застыли онѣ на застывшемъ морѣ. Только развѣ вить плюхнется въ сторонѣ, такъ качнется точка и опять словно замретъ на остеклѣвшемъ просторѣ, а по морю долго еще отъ удара могучаго хвоста разбѣгается и ширится громадный кругъ, захватывая въ свои предѣлы все болѣе и болѣе этихъ незамѣтныхъ точекъ. И сколько ихъ тутъ! Если-бы сосчитать можно было — сотенъ за восемь перевалило-бы. Словно оцѣнили они мертвый Мурманъ, словно застрѣльщики разсыпались онѣ передъ нимъ и зорко стерегутъ врага.

И на каждой такой щепкѣ-шнякѣ бьются четыре сердца, работаютъ четыре пары неустанныхъ рукъ.

Не знаетъ человекъ устал! Олень вонъ головой не двинетъ, а тутъ трудись, обливаясь потомъ, не зная отдыха.

Только и ихъ уложила жара. Видно не вмоготу она мурманщикамъ. Всѣ они спать на шнякахъ, пережидая воду *).

Вонъ одна шняка затерялась въ морѣ; взглянитесь въ нее: грузно изъ воды поднимаются черныя, прокопченныя планки грубо отесанныхъ и сшитыхъ наскоро бортовъ. Кое-гдѣ и лица **) развилась и планка бортовая отстала, да что! Авось вынесетъ! И выносить до первой бури, до перваго шторма, когда океанъ, словно разомъ вздрогнувъ отъ своего покоя, просыпается грозный и беспощадный и крушитъ сотни такихъ щепокъ. Уляжется буря — и мертвая зыбь долго еще носить по всему необозримому простору обломки мачтъ и судовъ, боченки, и только кое-гдѣ на пустынные берега безлюдныхъ острововъ выбрасываетъ повитые водорослями и разбухшіе трупы... И долго лежать на голыхъ скалахъ эти зловѣщіе подарки океана и беспомощно, не смыкаясь, сно-

*) *Вода.* Нажививъ уди яруса (тресковой снасти), промышленники выметываютъ его въ море въ „малую воду“ — отливъ. Вынимаютъ ярусъ обратно въ слѣдующую, большую воду — въ приливъ. Промежутокъ равняется шести часамъ.

**) *Вича.* Древесныя волокна, которыми сшиваются лодки.

трать въ высъ ихъ недвижныя, суровныя очи, пока, словно играя съ ними, океанъ не захватитъ ихъ назадъ въ свои бездны приливомъ; или на-вѣки останутся они здѣсь свидѣтелями стихійнаго злодѣйства. Придетъ полярная зима и скуетъ ихъ своими волшебными цѣпами. Оттаютъ лѣтомъ и опять заостенѣютъ зимою.

Спустя десятки лѣтъ выкинеть буря китоловное судно на пустынный, одинокій островъ и только тогда „молчаливый свидѣтель“ дождется своего погребенія. Или швырнетъ сюда океанъ одинокаго матроса, спасагося отъ крушенія на начтѣ разбитаго судна. И съ ужасомъ несчастный встрѣчаетъ здѣсь такую-же жертву и бѣжить онъ по разваливающимся щебнемъ утесамъ, дальше, дальше, чтобы на противоположномъ берегу островка лечь такимъ-же безмолвнымъ сторожемъ этой суровой твердныи.

Да и въ самой шнякѣ, что попалась намъ на встрѣчу, неприглядно. Бомья какихъ-то тряпокъ, двѣ сельдянки *) съ водою для питья, большой кругъ туго свернутаго каната да свитый до поры до времени парусъ. И все это насквозь прокопчено, все обдержано до-нельзя. Въ парусѣ, что ни ладонь, то дыра, къ канату пристали и гнѣютъ себѣ на солнцѣ водоросли, весла кое-какъ брошены на дно, а самъ экипажъ — четверо поморовъ — трудно отличается и отъ каната, и отъ этихъ грязныхъ тряпокъ. Тѣ-же дохмотья на людяхъ, только сквозь нихъ видны широкія, могучія груди, густо заросшія волосами. Крѣпкія, здоровыя плечи смотрять изъ-подъ оборваннаго рукава, а мѣдно-красныя обожженныя солнцемъ и обвѣяныя всевозможными вѣтрами лица такъ и сверкаютъ въ зноѣ яреаго полудня. И какъ спокойны эти люди! Дѣлать нечего — до второй воды ждать еще долго; поневолѣ спать приходится, и спать они вдосталь! Пусть солнце жжетъ ихъ всключенныя головы — притерпѣлись. Если весной поздніе холода на морѣ не истомили этихъ тружениковъ сѣвернаго океана, такъ жара и подавно ничемъ имъ. Глаза сомнуты. Сивая борода смѣшивается цвѣтомъ съ канатомъ, къ которому прильнула голова покрученника. Руки, мозолистыя, словно топоромъ обрубленныя, раскинулись по сторонамъ. На лицѣ

*) *Сельдянка*. Боченокъ для сельди. Длинный, съ маленькимъ діаметромъ. Въ чистыхъ сельдянкахъ поморы держутъ обыкновенно воду.

одного безцеремонно покоится нога другого, третій отъ жары забился подъ парусъ и тяжело храпитъ оттуда. Четвертый свернулся у руля, какъ собака, чуть не къ ногамъ прижавъ свою голову.

Приволье!..

И какое спокойное выраженіе этихъ словно изваянныхъ изъ красноватаго гранита лицъ! Такъ-же спокойны они, когда штормъ треплетъ ихъ жалкое суденышко. Грудь съ грудью схватывалась съ бурей, они не теряются отъ ея неожиданныхъ ударовъ, а зорко выискиваютъ спасенія. Если понадобится умереть—онъ и умереть такъ-же молчаливо, встрѣчая смерть какъ нѣчто неизбѣжное и во-все ужъ не страшное. Съ этими работниками немудрено отстояться въ океанѣ, когда со всѣхъ сторонъ гремятъ надвигающіяся тучи, волны яро взбрасываютъ къ нимъ свои вспѣнные гребни и молніи бороздятъ по небу невѣдомыя письма. Не дрогнетъ поморъ передъ неминуемой бѣдой, за то спать онъ лютъ. Спитъ день, спитъ ночь, когда на морѣ штиль и работать ему не приходится. И радъ онъ приволью—хоть отойдутъ намученныя за весну руки да расправится сильная грудь, три мѣсяца сряду тяжело продышавшая надъ непосильною работою ранняго промысла. Отъѣдается за время мурманскаго приволья покрученникъ, отъѣдается до того, что къ концу іюля и не узнаешь его. Румянецъ во всю щеку, глаза блестятъ, голосъ становится громокъ и самоувѣренъ. Ъсть онъ рыбы вволю, хлѣба — сколько душа попроситъ. У тароватаго хозяина и чаемъ побалуется, и масла въ кашу валить безъ мѣры. А если хозяинъ скупъ, ему же хуже. Съ голоду да съ нуждишки міроѣдову снасть снесутъ къ норвежскому кулаку и проѣдать, рѣдко пропьютъ, ее. И плачется потомъ хозяинъ, да самъ виноватъ! Безъ жалобъ дѣло обходится.

А если и штиля нѣтъ, если послѣ бури мертвая зыбъ ходитъ по океану — все одно. Спитъ также промышленникъ въ своей лодкѣ и укачиваютъ его волны, словно мать баюкаетъ въ колыбели.

Проснется, перебросится словомъ-другимъ съ товарищемъ или пѣсню затянетъ, да тутъ-же и оборветъ ее—лѣнь! Какая пѣсня, если чайка и та молчитъ, на что ужъ голосистая да крикливая птица.

Далеко от шняги тянется длинная линия поплавокъ, недвижно чернѣющихъ надъ опущеннымъ ярусомъ-снастью. На окраинахъ снасти недвижно торчатъ изъ воды махавки *). Пройдетъ зыбь по водѣ—и махавка начнетъ кланяться да качаться; въ штиль она торчкомъ чернѣетъ. Развѣ чайка сядетъ на пукъ соломки и шевельнетъ или рыба снизу собьетъ ее съ мѣста.

— Ишь закивала, родимая! замѣтитъ встрепенувшійся промышленникъ.

— Почитаетъ насъ...

— А и сайды нонѣ Богъ даетъ! указываетъ онъ на показавшееся вдали громадное стадо этой рыбы, сверкающей на солнцѣ серебристыми спинами. Лучи радужнымъ отсвѣтомъ сияютъ на нихъ, по мѣрѣ того, какъ эта быстрая на оплывѣ рыба перебѣгаетъ громадныя пространства океана.

— Все поверхъ воды держится.

— Скоро ловить стануть.

— Колонистамъ точно-что требуется, а намъ куда! Поди опять съ полнымъ грузомъ будемъ. Трески вдосталь. Хозяину на радость.

— Намъ только не въ утѣшеніе. Много-ли, мало-ли, лучше не будетъ.

— Что говорить. Хорошъ промыселъ—рыба дешева, ромъ да мука дороги, худъ промыселъ—и на платокъ бабѣ не выручишь.

— Сказываютъ, Пальцынъ **) нонѣ рыбу съ Усовымъ ***) въ Питеръ посылать стали. Дорого берутъ за нее тамъ.

— А намъ что, нѣшто нашъ хозяинъ пошлетъ, что ему за неволя! По дешевинкѣ въ Архангельскомъ сбудеть.

— Мы за все отвѣтъ держи! А еще „ловите, говоритъ, и въ праздничекъ ловите“.

— Ему что!

*) *Махавка*. Къ ярусу привязываютъ палку съ устоемъ внизу и пучкомъ пеньки или соломки сверху. Она и называется махавкой.

) *) *Пальцынъ и Усовъ*. Промышленники перекрещиваютъ норвежскія имена на русскія: Пализенъ у нихъ—Пальцынъ, Ульсенъ—Усовъ.

— Поди-ко ты, умный, выйди въ хозяева самъ. Ну-ко, погляди мѣ на тебя, какъ ты оборудуешь это дѣло. Тутъ, братъ, и царь Соломонъ только-бы зашилъ съ горя.

— Дѣла!

— Наши, братъ, дѣла—грошъ цѣна въ базарный день.

— Мужикъ дешевъ! Животы-то съ мякены раздуло за зиму—на весну за хлѣбъ покрутишься, да еще ему, милостивцу, кланяешься. Дери-де съ меня шкуру, не откажи. Самъ подь обухъ иду!..

— Гляди, гляди!

Вдали изъ воды вдругъ поднялась точно черная пологая корга *). Съ минуту постояла надъ остывлѣвшимъ океаномъ и опять нырнула внизъ. Только глухой шумъ пошелъ кругомъ.

— Это онъ самый.

— Здорово норвежане бьютъ его.

— Рыба, рыба, а Иону проглотила.

— Иону не вить; левиафанъ-рыба его покарала. Нонѣ такихъ нѣтъ. Змѣи, сказываютъ, есть. Мнѣ одинъ фильманъ сказывалъ.

— Ну!

— Вѣрное слово. Все по грѣхамъ нашимъ, потому рази мы что чувствуемъ!

— Премудрость!

— Отъ этой премудрости—никуда. И въ воду отъ нея не уйдешь. Тоже и о душѣ надо подумать!

— А нонѣ, надо такъ полагать, ромъ въ рупь вѣдетъ.

— Вѣдетъ! А только и душа наша, ахъ грѣшна!

— Грѣховъ много! Поди бутылки по двѣ на брата достанется.

— И по три сойdetъ!.. Мнѣ одинъ попъ сказывалъ, за эфто самое, за безчувствіе наше, великій отвѣтъ держать придется.

— Тамъ за все будетъ. Разборка пойдетъ по грѣхамъ нашимъ; кому какое рѣшеніе выдетъ!.. А только и ромъ нонѣ сталъ слабѣй... Куда съ нимъ! Пьешь, пьешь—и точно ты чаемъ наливаешься. Смѣлости въ тебѣ настоящей нѣтъ.

*) Корга—подводная скала,

— Сказываютъ, нѣмецъ въ Гамбургѣ развлекаетъ водой...

И опять молчаніе, и опять долгій храпъ.

Летитъ чайка мимо, пріостановится надъ шлякою, повьется, повьется въ воздухѣ, крикнетъ во все горло, пронзительно и рѣзко,—промышленники спятъ. Сядетъ она тутъ-же на бортъ и оттуда давай промышлять себѣ рыбу, благо люди, что мертвые, ничего не видятъ. Ловитъ она изъ океана мелкую рыбу, стрѣлой падаетъ на отбившуюся отъ стаи сельдь и тутъ-же въ шлякѣ глотаетъ ее, потряхивая красивыми бѣлыми крыльями. А на берегу другія чайки уже запримѣтили ловкую промышленницу. Хотъ и спали онѣ, да вполглаза, какъ всегда спятъ чайки. Вотъ подлетѣла одна, другая, третья. Черезъ нѣсколько минутъ весь бортъ унизанъ бѣлыми птицами, точно шляка обведена бѣлою сплошною каймой. Безъ крика сидятъ себѣ онѣ, мирно свершая свою ловитву. Мелькнетъ въ водѣ гибкая и юркая спина мелкой рыбы, крайняя чайка камнемъ упадетъ на нее и спустя секунду жертва уже извивается въ когтяхъ водяного разбойника, беспомощно раскрывая хрищеватый ротъ и пошевеливая жабрами. Моментально поднявшись въ высоту, чайка дѣлаетъ большой кругъ въ воздухѣ и, проглотивъ рыбу, садится уже послѣднею въ ряду другихъ охотницъ. Такимъ образомъ и соблюдается эта строгая очередь. Попробуй чайка съѣсть первую—ее заклютъ и прогонятъ съ мѣста лова. Порядка здѣсь больше, чѣмъ у людей, хотя и безъ начальства обходятся!

Проснутся промышленники и засмотрятся на эту охоту, не трогая чаебъ.

Зуекъ развѣ потянется къ птицѣ, да его остановятъ.

— Не трожь. Видишь, тоже промышленники. Мы на крупную, а онѣ на мелкую рыбину!

— Что говорить! Покрутъ свой естъ.

Иной разъ чайка уцѣпится за крупную жертву и возится съ нею на водѣ, не осиливая да и не упуская добычи. Рыба тянется внизъ, чайка, размахивая крыльями, стремится вверхъ, и описываютъ онѣ круги по остеклѣвшей поверхности океана. Оретъ тутъ чайка благимъ матомъ, долбитъ влѣвомъ рыбью голову, пока та не окостенѣетъ. Если чайкѣ не по силамъ под-

няться съ нею—она до берега ее дотянетъ и тамъ ужъ сожретъ добычу. Случается, что чайка попадетъ такимъ образомъ на морскую щуку; ну, тутъ бѣда хищнику. Щучьи зубы остры, да и сама-то щука сильна: случается, что вцѣпится въ птицу и увлечетъ ее въ глубину океана. И что за рѣзкіе крики поднимаютъ тогда остальные промышленницы. Шуму и гаму кругомъ не оберешься. Чайки массаами летаютъ надъ мѣстомъ побоища, опускаются на воду, съ берега мчатся новыя бѣлыя облака чаекъ,—и еще недавно мертвый океанъ вдругъ закипаетъ жизнью и суетою. Бываетъ и то, что чайка слишкомъ крѣпко уцѣпится за бойкую и юркую сайду. Та какъ стрѣла помчится по поверхности океана и версты двѣ несетъ на своей спинѣ хищницу, пока догадается кануть на дно.

Норвежцы пробовали пріучать чаекъ къ ловитвѣ рыбы, какъ вретовъ къ охотѣ, да бросили. Очень ужъ прожорливая птица: что ни выловить—все себѣ. Случается, что за одну охоту чайка обыкновенныхъ размѣровъ наглотаетъ штукъ двадцать сельди и все еще продолжаетъ промыселъ, выжидая своей очереди и какъ-будто безучастно поглядывая въ воду желтыми, глупыми глазами.

Къ вечеру посвѣжѣло. Промышленники проснулись. Близилась вторая „вода“.

— Ну, кормильцы, за тятю. Ну-ко, голубчики, подзадориваль ихъ кормщикъ.

— Дай глаза-то продрать, Степанъ Митричъ, толкомъ.

— Милые, времячко-то какое, рыба-то поди ждаты не будетъ, пока Ванька Межовиковъ свѣтъ Божій увидитъ; ишь у тебя глаза-то словно тѣстомъ залѣпило.

— Тебѣ ладно смѣяться-то. Съ полгоря. Коршикъ—двѣ доли получишь, а мы изъ-за одной бейся.

— А ты-бы, другъ, самъ въ коршики пошелъ; что-жь ты не идешь? Иль не беретъ никто?

— Брось ты эту нерпу, Степанъ Митричъ.

И тягалецъ принялся вытягивать ярусъ изъ воды. Лодка дрогнула, рванулась впередъ, потомъ раза два качнулась и стала медленно подвигаться по мѣрѣ того, какъ снасть выходила изъ океана. Промышленники надсаживались надъ нею. Руки ихъ

скользили по канату, къ которому уже успѣли присосаться слизистыя животныя морской фауны и прицѣпиться влажныя, студенистыя водоросли.

— Эко дѣло неспособное. Въ эфтомъ мѣстѣ всегда мука мученская.

— Мѣсто жирное... Гади этой до пропасти! согласился корщикъ, сбрасывая въ воду нѣсколько слизняковъ.

Наконецъ, показались первыя оростати. На каждой билась крупная рыба. На другихъ, словно громадные мѣшки, грузно висѣли большіе палтусы. Три промышленника едва поднимали каждую такую рыбину изъ воды въ лодку. Треска серебристо-синимъ блескомъ отливалась подъ косыми лучами солнца, свинцовыя массы палтусовъ красиво отгѣнялись въ массѣ рыбы, сложенной на дно шняки. Кое-гдѣ уже попались пятнастыя зубатки. Нѣсколько оростатъ было разорвано—вѣрно болѣе крупная зубатка, съ кривомъ во рту, спаслась изъ-подъ рукъ промышленниковъ. Громадныя морскія щуки долго еще бились подъ кротиломъ корщика.

— А всего яруса не очистить.

— Очистимъ!

— Шняка не подыметъ.

— Никто какъ Богъ, авось донесетъ!

— То-то; смотри, Степанъ Митричъ, какъ-бы не опружило.

По мѣрѣ того, какъ съ кривомъ оростати снимали рыбу, заводчикъ снабжалъ ихъ песчанкой и кусками сельди и вновь опускалъ съ другой стороны шняка ярусъ въ море. Работа шла споро и бойко. Покрученники давно сбросили шапки, затомившійся тяглецъ даже рубашку сбросилъ, подставивъ свое сильное, бронзовое, съ ясно обрисованными перегибами мускуловъ тѣло легкому вечернему вѣтерку, подернувшему мелкой рябью недвижимое до сихъ поръ стекло океана.

— Ишь ты, гадъ проклятая!—И весельщикъ сбросилъ въ воду громаднаго омара, Господь знаетъ какъ попавшаго подъ кривъ.

— Сказываютъ, англичане пуще всякой рыбины его любятъ.

— Нѣмецъ ѣсть тоже.

— У насъ въ церкви много ихъ, раковъ этихъ, на страш-

номъ судѣ Христовомъ написано. Въ вѣщахъ ихъ и грѣшники мучаются.

— На самогъ днѣ океанъ - моря громаднѣйшее чудище-
ракъ—царь всѣмъ ракамъ—живеть. Превосходнѣе кита будетъ—
съ верету длины *).

— Ну!

— Спроси у старыхъ покрученниковъ, всякій знаетъ. Теперь
корабль на дно пойдетъ въ бурю и рачій царь разомъ его про-
глотеть.

— Сила!

— У него силы много.

— Такъ онъ и лежитъ на мѣстѣ?

— Ползаетъ. Какъ поползетъ — на голомяни буря. Биты у
него на посылакахъ, а акулы эти—войско.

— А рыба?

— Рыба? та Божья, та сама по себѣ, не слушаетъ его.

— Чудеса!

— Усы у него большіе, снизу ими можетъ онъ корабль захва-
тить и къ себѣ притянуть.

— Экое дѣло, братцы мои, опасливое.

— Надо Бога помнить, главное.

Лодка уже грузно сидѣла въ водѣ. Борты шняки не болѣе
какъ на шесть вершковъ поднимались надъ поверхностью океа-
на. А рыбы оставалось еще много. Ярусъ былъ очищенъ только
до половины.

— Ну и промыселъ Господь даетъ!

— Привольный. По всему берегу шло такъ. За весну плетъ
въ vzdаніе.

— Дядя! Что тамъ меледится на краечкѣ неба? Ишь, словно
дымокъ?

На минуту приостановили работу.

Солнце погружалось уже въ воду и на самогъ дискѣ его ме-
рещилась какая-то черная точка съ едва замѣтной черточкой

*) Рачій царь. По общему повѣрью мурманщиковъ, на днѣ моря есть громадный
рачій царь, повелѣвающій китами и акулами. Мѣстопробываніе его—между Но-
вою Землею и Шпицбергеномъ.

дымка надъ нею. Скоро она сошла съ диска, а слѣдъ отъ дымка остался.

— Пароходъ, должно. Только не нашъ. Трехмачтовикъ! рѣшилъ кормщикъ, зоркость котораго превосходила всякое въроятіе.

— Ты, дядя, поди и трубку каптина въ зубахъ видишь?

— Молодъ смѣяться-то, погоди. Подойдетъ, тогда самъ узнаешь.

Слова кормщика скоро оправдались. Вдали показался большой купеческій пароходъ.

— Должно аглецкій?

— Не, нѣмецкій.

— А ты какъ знаешь?

— Примѣта есть такая. Коли пароходъ чистый, что твоя дѣвушка выраженная,—значитъ аглецкій, либо французскій; коли онъ весь загаженъ да запакощенъ—вѣрно нѣмецкій.

Выбрасывая клубы дыма, громадный пароходъ быстро шель на шняку.

Рыболовы отгребли въ сторону и остановились тамъ. Сталь убавлять ходъ и паровикъ.

— Должно быть рыбы требуется. То-то рому напьемся!

— На хозяйское добро-то? болѣе для проформы замѣтилъ кормщикъ.

— Эхъ, Степанъ Митричъ, умная твоя голова, а хуже малаго ребенка смислить. Когда-же намъ и душу-то отвести! Развѣ мы тебя выдадимъ? Слава те Господи, не впервой дѣла дѣлать. Знаемъ другъ друга-то... Видишь, счастье въ руку идетъ. Рыбы у насъ вдосталь. Ишь и ярусъ-то еще не весь, а шняка съ полнымъ грузомъ. Ужели-жь въ море кидать? Наверстаемъ. Ужь мы для хозяина, кажется, потрудились. За весну-то помучились.

— Ну, ну, чего еще. Знамо дѣло, только чтобы сплетки не вышло. А то до хозяина дойдетъ — вычетъ сдѣлаетъ.

— Ужели-жь мы себѣ враги!

Пароходъ, уменьшая ходъ, наконецъ, остановился передъ шнякою, которая рядомъ съ этимъ великаномъ океана казалась жалкою щепкой.

— Рыба есть? крикнули по-русски съ палубы.

На рубѣ прохаживался краснорожій, бородатый каптинъ въ короткой курткѣ и всползшихъ на колѣни узкихъ штанахъ. Онъ былъ въ туфляхъ и, несмотря на жару, шея его нѣсколько разъ была обвита шарфомъ. Сѣрая борода клочьями дожила на грудь. По палубѣ суетились такіе-же коренастые и шаршавые матросы. Какаѣ-то барыня въ неизобразимо клѣтчатоѣ шарфѣ сидѣла у борта и, презрительно сжавъ губы, вглядывалась въ русскихъ „чудовищъ“, которыхъ до тѣхъ поръ, повидимому, она не видала. Весь пароходъ былъ въ сажѣ и въ грязи; повидимому, его никогда не мыли и не чистили.

— Рыба есть?

— А ромъ есть?

— О, ромъ много!

Стали сторговываться. Нѣмцы пересививались между собою. Наконецъ, столковались и съ парохода спустили корзину, которую кормщикъ до верху наполнилъ рыбой на выборъ. Штукъ десять громадныхъ, жирныхъ палтусовъ, сочные пикшуи и крупная треска умѣстились тутъ-же. Поверхъ всего бросили пятнастаго морского налима и еще вздрагивавшую и зѣвавшую щуку.

— На, владѣй.

— Русска карошъ!..

— Чувствуй, значить, да рому давай поболѣ.

Подняли вверхъ корзину. Каптинъ далъ свистокъ, пароходъ дрогнулъ, загрохотала машина и подъ ударами винта цѣлые клубы пѣны раскинуло по океану.

— А ромъ-то?

— Ха-ха-ха! заливались нѣмцы на палубѣ. Краснорожій шкиперъ въ туфляхъ соблаговолилъ даже собственноручно показать носъ ошалѣвшимъ промышленникамъ.

— Русски швинь!..

— Нѣтъ, такъ нельзя, постой, шалишь!—И кормщикъ схватился за веревку, еще висѣвшую съ борта. Пароходъ двинулся и спустя мгновеніе старикъ висѣлъ уже прямо надъ водою, въ нѣсколькихъ саженьяхъ отъ шняки, раскачиваясь на канатѣ.

— Степанъ Митричъ, куда ты? отчаянно крикнулъ тяглецъ. Лодку страшно колыхало и бросало волненіемъ, которое развелъ пароходъ по океану.

Старикъ выпустилъ веревку и грузно шлепнулся въ спѣвныя волны. Его на минуту обдало водою, самъ онъ глотнулъ было морского разсола, да, къ счастью, очнулся и ныркомъ уже попалъ къ шнякѣ. Вытащили. Молчитъ старикъ, только зубъ стиснулъ да кулаки сжалъ. Побѣлѣлъ весь. Даже слезы на глазахъ проступили.

Нѣмцамъ и этого показалось мало.

Приготовили помпы и по командѣ капитана обдали промышленниковъ сильною струею воды. Съ наживодчика даже шапку сбило, а зуйка въ воду было-снесло, да весельщикъ, спасибо, подхватилъ. Лодка черпнула воды. Нѣсколько штукъ крупной рыбы смыло внизъ.

Довольные остроумною выходкою капитана, матросы показывали кулаки покрученникамъ.

Скоро парходъ уже исчезалъ на горизонтѣ, уходя въ сгущавшуюся тамъ синеву.

Покрученники молча кончали работу, опрастывая ярусъ и наживляя освободившіяся оростяги.

Надъ шнякою вилась цѣлая туча чайкѣ и поморниковъ. Она станеть преслѣдовать ее до берега, чтобы поживиться внутренностями рыбы при ея очисткѣ. Рѣзкіе крики морскихъ птицъ замирали вдалекѣ.

Слышался слабый шумъ зачинавшагося прибоа.

Тучка, висѣвшая съ утра надъ океаномъ, раскинулась шире; за ней невѣдомо откуда появились и поползли другія. Потянуло сѣвернымъ вѣтромъ. Шняку закачало. Махавки заклаивались по океану.

Послѣдняя оростяга наживлена и ярусъ весь опущенъ въ воду.

— Ставь парусъ. Богъ даетъ попутничка.

— Вкусенъ ромъ у нѣмца!

— Народъ!.. хуже его по всему свѣту не сыскать.

— Будеть и на нашей улицѣ праздникъ. Погоди, разобьетъ второй—напляшешься! погрозилъ молодой весельщикъ кулакомъ въ ту сторону, гдѣ исчезъ парходъ.

— Эво языкъ у тебя подлый, Андрюшка! вступился кормщикъ.

— Обидно, Степанъ Митричъ.

— Такъ ты за свою обиду чужой смерти хочешь? Сколько, можетъ, кораблей теперича на голомани, а ты имъ бури про-

сишь. Сколько нашихъ поморскихъ шуупъ изъ Норвеги идетъ теперь?..

— Сболтнулся.

— А ты языкъ зубами держи. Захвати его и держи, какъ пса цѣпного, чтобы на людей не выдался. Оно лучше будетъ.

Шняка быстро плыла къ берегу.

Сѣверный вѣтеръ надувалъ парусъ, свистя въ уши промышленникамъ. Вдалекѣ уже показались сѣрые скалы и холмы урсаго берега.

II.

ПЕРВАЯ ЛАВКА ВЪ СТАНОВИЩѢ.

Безъ году недѣлю провели финны въ становищѣ, а ужъ стали на ноги и хозяйство свое завели. Сами въ землянкахъ живутъ, а для лавки балаганъ сколотили. Кое-какихъ досокъ по случаю на товаръ намѣняли, сбѣли на живую нитку гвоздями, крышу торфомъ обложили, понадѣлали внутри полокъ, — лавка хоть куда. Тутъ у нихъ и ромъ норвежскій, и пиво, и водка русская. Есть даже и хересъ, ежели на случай въ становище чиновники пожалуютъ. На полкахъ сухари вардехузскіе, бергенское сало, шведскіе оворока, колбасы гамбургскія, конфеты нѣмецкіе, орѣхи—только русскаго ничего нѣтъ. Тутъ-же и дешевыя сукна изъ сосѣдняго королевства, шапки, вареги вязаные, фуфайки, рубахи,—все, что нужно промышленнику во всѣ дни живота его. Кончить промыселъ, заведется лишній рубль въ карманѣ—здѣсь онъ купить и платокъ своей хозяйкѣ, и плюсу ей на душегрѣйку. Дешевыхъ ситцевъ гора цѣлая, и все яркіе, и все съ крупными разводами. Дивуются русскіе, откуда только финны поморскій вкусъ разгадали. Да и не одно это завелось въ лавкѣ. Желѣзо разное, стекло, посуда, масло, хлѣбъ, крупы, даже картинки есть лейпцигскаго издѣлія съ нѣмецкими стихами внизу.

— Откуда только онъ себѣ богатства навоевалъ?

— Ворожить, поди.

— Извѣстно, нехристи.

А вся и ворожба заключалась въ томъ, что финны раза два свезли въ Норвегію промышленную добычу, за муку вымѣненную у русскихъ. Добыли деньги—накупили товару. Видать вардехузскіе купцы, что народъ честный, основательный,—кредитъ открывли. Ну, и пошло у финновъ дѣло на ладъ. Поторговывають на славу. Свою еду купили. Поддоны завели, агулій снарядъ у Кнюдсена въ корабельной приобрѣли. Толкуютъ, какъ-бы ярусъ подешевле раздобыть.

Разводятъ руками промышленники и не вдомаетъ имъ, что свое-же добро у себя подъ носомъ проглядѣли. Пришелъ чужой человекъ и поднялъ. Хорошо еще, что человекъ добрый достался. Не то, что норвежскіе колонисты и квенны сосѣднихъ становищъ,—не обижать: цѣну берутъ настоящую, способную, товаръ не лежалый; въ долгъ попросить—и въ долгъ дадутъ, отказу нѣтъ; только если разъ надуть, потомъ и на деньги не продадутъ. Не любятъ нечестныя дѣла финны. И лопари сосѣдніе полюбили ихъ. Ходятъ, берутъ товаръ, оленей взаимѣнь приводятъ. У финновъ уже и стадо такимъ образомъ накопилось—пять-шесть оленей да три барана въ загородеѣ. Ладятъ корову купить, да дорого еще—не подъ силу. Хорошо, ежели казенную дадутъ *).

Да и снаружи лавки стоятъ у финновъ чаны — съ махсой. Скупили рыбу у лѣтниковъ **), махсу вонъ, въ чаны, а тепки въ соль. Въ чанахъ рыбій жиръ самотекъ *) вытапливается.

Самъ финнъ, все такой-же сѣрый да нескладный, въ короткой курточкѣ, за прилавкомъ стоитъ съ женою, а дѣти на промыслѣ, дѣла своего не бросаютъ. Ужь и по-русски старикъ понимать сталъ—сторговаться умѣетъ. Каждыйхъ двѣ недѣли въ Вардехузъ ѣздить—отвезетъ выручку въ уплату долга и на деньги-же товару прикупить.

Лавка пуста, когда народъ на промыслѣ. Какъ вернутся да

*) Правительство для поощренія скотоводства въ арханг. губ., слѣдовательно и на Мурманѣ, раздаетъ крестьянамъ и колонистамъ телятъ хорошей породы, съ тѣмъ, чтобы владѣльцы не продавали ихъ.

**) *Лѣтники*. Бѣдняки-поморы, промышленяющіе удами и приплывающіе на мѣсто промысла уже лѣтомъ, въ жалкихъ лодченкахъ.

***) *Самотекъ*. Жиръ, который даетъ изъ себя махса подъ вліяніемъ солнечнаго жара. Онъ считается лучшимъ сортомъ этого продукта и цѣнится выше.

идут промышленники, первое дѣло къ лавкѣ. А тамъ ужь, кто раньше пріѣхалъ, горланять, каковы ловы были, про старне промысла сказываютъ, на новое время пеняютъ. Особливо старики, тѣмъ кажется, что теперь и солнышко не свѣтитъ, и рыба-то куда-то ушла. А въ дверяхъ лавки стоитъ самъ финнъ-хозяинъ и трубку покуриваетъ, слушая промысловыя былинны. И въ толгъ не возьмешь по лицу его — понимаетъ онъ что или нѣтъ. Иной разъ подойдетъ къ промышленнику, похлопаетъ его по плечу, либо табаку предложить, и все молчитъ. Старуха въ углу чурки вяжетъ или сѣть чинить — и тоже ни слова. Только молчаніе это не въ тяготу было покрученникамъ, не стѣсняло ихъ.

Былъ одинъ запропащій пьяница, лѣтчикъ. Его финнъ въ работники взялъ. Сталъ кормить какъ слѣдуетъ, одѣлъ, — не узнать пропону недавняго. И пить бросилъ. Развѣ въ праздникъ рому выпьетъ, да и то, когда старикъ ему предложить. И работать началъ на славу.

— Что-жъ ты на себя не работалъ, глушій человекъ? спрашиваютъ.

— Не могу я, братцы. Нѣтъ моей волюшки. Какъ на себя работаешь, все къ пойлу поганому тянешь.

— А здѣсь?

— Здѣсь! Поди-ко попей у него. Ишь онъ какой степенный да ласковый, не больно пощещь... Такъ ужь, значитъ, мнѣ выпало хозяйской затычкой вѣкъ вѣковать!

И промышленники были довольны финномъ.

— Теперь, братцы, наше становище что твой городъ: магазинъ есть, часовня, церква, что Хипагинъ построилъ.

— Нынѣ полно хозяевамъ кланяться: привози того да другого. Все подъ руками есть, пришелъ да купилъ.

— Чаю когда испить — тоже ладно...

Суда-же, въ этотъ промысловой клубъ, привалили и наши покрученники съ кормщикомъ Степаномъ Митричемъ. А тамъ уже десятка три народу.

— Каковы ловы были?

— Ловы ничего...

— Хороши ловы, будемъ прямо говорить.

— Ну, подавай Богъ.

— И чудное это дѣло, братцы: всякій нашего брата обидѣть можетъ, а ты терпи.

— Это ты почему такому?

— А дѣло было... Сказывай ты, Степанъ Митричъ.

— Нѣмецъ обидѣлъ.

И кормицѣйъ разсказалъ, какъ вмѣсто расплаты ромомъ, его облили водою изъ помпы.

— Счастливъ еще твой Богъ!

— А что?

— Нѣтъ этого нѣмца подлѣе. Слыхалъ ты, какъ Морожениковы братья запропали?

— Это изъ Умбы?

— Не... повойскіе. Четыре братана было; на одной шнякѣ промыселъ водили. Это тоже заснули разъ посередѣ моря на шнякѣ, яро солнце жгло... Только что-же-бы вы думали, всѣхъ ихъ нѣмецкій шкипарь потопилъ.

— Это какъ-же?

— Наши сказывали, въ сосѣдствѣ тоже на ярусѣ стояли. Такъ-таки направилъ нѣмецъ на нихъ пароходъ и потопилъ. Щепки отъ лодки только и выкинуло! А и Морожениковы народъ на подборъ былъ. Робята веселые; зачнуть пѣсни играть— не наслушаешься. У старшого братана и силища была, одинъ на медвѣдя хаживалъ. Жалко парней. Гладкіе да ладные такіе. Дѣвки ихъ у насъ страсть любили. А что тебя понпой окатили—это еще ничего.

— Не знаешь, гдѣ смерть найдешь.

— Иной разъ отъ штормовъ отстоишься, выволить, а тутъ вотъ на штиль да утопило.

— Такъ подъ виль и пошли, должно разбило пароходомъ-то.

— Дѣло опасливое!

— А ихъ затронь—чиновники что коршуны налетать.

— Бывалое дѣло; такъ перешерстятъ всѣхъ, лучше не надо.

— Нѣмца эта по писанію отъ Хама пошла.

— Съ аглецкими шкипарями нѣтъ лучше. Что сказано—получишь, не обидятъ.

— Это точно... А все русскому нигдѣ почету нѣтъ.

— Годовъ десятковъ пять назадъ въ Норвегѣ русскихъ страсть какъ почитали, кланялись намъ, ублажали.

— Опасались?

— Боялись. Потому мы ихъ тогда расшибли очень. Ну и чувствовали. А новѣ русскіе у нихъ, что холопы. Только приѣдешь къ нимъ, завивай хвостъ закорючкой да про ласковаго теленка помни. А они-то сидятъ да бахвалятся, богачествомъ своимъ да силою величаются.

— А что, братцы, съ этого самаго случая, какъ, значить, Степанъ Митрича нѣмецъ обидѣлъ, да если выпить?

— Ставь!

— Рази съ меня? Степанъ Митричь этимъ случаемъ потерпѣлъ... пошли ему Господи за кротость его! Такъ со Степана Митрича литки и слѣдуетъ получать.

— Ишь ты прорва несется! Меня обидѣли, да съ меня и литки?

— Съ горя, голубчикъ, съ горя. Потому рази мы безчувственные, рази мы этого не понимаемъ, каково оно горько... Мы тебѣ-же соболѣзуемъ. Старый ты коршникъ, а хуже малаго рабенка. Пойми, другъ: ты нашему горю причина, съ тебя и литки. Вонъ Адамъ сейчасъ намъ нацѣдить.

— Пей на свои.

— Не по закону, Степанъ Митричь, будетъ.

Вдали, на свинцовомъ просторѣ бухты, показалась черная точка. Финнъ встрепнулся.

— Аль дѣтей ждешь, Адамъ, изъ Норвеги?

Старикъ кивнулъ головой и еще пристальнѣе сталъ всматриваться въ приближавшуюся лодку. Скоро на ней можно было различить двухъ гребцовъ и рулевого. Видно было, что по мѣрѣ приближенія къ становищу, они сильнѣе гребли, сбросивъ войлочные колпачки съ головы.

Когда лодка пристала къ берегу, изъ нея выгрузили нѣсколько тюковъ товара. При встрѣчѣ отца съ дѣтьми они только равнодушно пожали руки другъ другу и разошлись каждый къ своему дѣлу. Старуха тоже выползла, перекинулась нѣсколькими словами съ сыномъ и пошла готовить имъ скудную трапезу.

— Скоро къ намъ норвежскіе колописты придутъ, сообщили промышленникамъ свѣжую новость молодые финны.

— Откуда?

— Изъ Вадсескаго лендсмандства.

- Квены *), поди?
- Нѣтъ, норвежцы; есть и богатые.
- Неладное дѣло. Обижать насъ стануть, да и вашъ плохо, пригрозилъ Степанъ финнамъ.
- Наше дѣло сторона.
- Свои лавки откроютъ, у вашей доходъ отобьютъ.
- Финны пригорюнились.
- Сколько работали, все даромъ пропадетъ.
- Ладно, не тоскуй! Все у васъ станемъ брать по-прежнему; человекъ ты хорошій, не ссориться съ тобою!.. Не обижалъ насъ и мы тебя не обидимъ. А только лихая втора—это норвецкое гвѣздо. Будетъ тутъ у насъ суйма, какъ у лопарей. Не сладится мы съ ними.
- Въ Цынъ-наволокъ норвежскіе колонисты выбить русскихъ похвалялись.
- Далекое! Насъ много.
- Васъ-то много, а за нихъ начальство.
- Искови здѣсь наши поморскіе ловы были. Искови сюда изъ нашихъ святорусскихъ волостей народъ ходилъ. Кровью нашей да потомъ земля эта полита, какъ-же ее взять у насъ! Коли что—ходоковъ пошлемъ въ Архангельскій. Справимся. Неужели-жъ такъ русскихъ имъ въ пасть ихъ бездонную кинуть? Полно! Устоимъ.
- А все разоренье.
- Какъ не разоренье! Пойдетъ теперь питва такая. Поди каждый норвежанинъ начнетъ ромомъ торговать. Тутъ и ярусъ хозяйскіе пропьетъ на дешовкѣ, и промыселъ, пожалуй, уйдетъ изъ нашихъ рукъ.
- Мой отецъ, дѣдъ и прадѣдъ сюда хаживали, какъ-же намъ становище отдать!
- Плъненіе вавилонское. Истинное плъненіе!..
- А и то—не пускать ихъ, братцы.
- Какъ не пустить! Мѣста-то по начальству отводить, законное самое дѣло.
- А ежели миръ не согласимъ?

*) Квены—помѣсь норвежцевъ съ финнами.

— Да рази земля-то твоя, мірская? Земля казенная! Еще и пособіе имъ дадутъ—стройся да живи. Помирать не надо.

И долго еще толпа шумѣла, обсуждая свое кровное, каждому промышленнику близкое дѣло. А бѣлый день невозмутимо стоялъ надъ сѣрными скалами и свинцовымъ просторомъ моря, хотя солнце давно уже ушло за горизонтъ и часы старости—неуклюжая ветхозавѣтная луковица—давно показывали полночь.

III.

Погоня за сайдой.

— Куда, хрещенне, сряжаетесь?

— Да вотъ... сайда много, нехота отвѣчалъ молодой финнъ, снося въ лодку гронадный поддонъ.

— За Божьей рыбкой? ну, исполать вамъ... Промышляйте, голубчики.

— Отна человекъ нада. Два лодка пойдетъ.

— Извѣстно, на одной сайду не уловишь. А ты, милой, понавѣдайся въ Елистратовъ станъ, тамъ нонѣ, сказываютъ, четверо промышленниковъ слабодны. Извѣстно, шняку разбило—на чемъ промышлять? Робята рады будутъ наживѣ.

Финнъ послалъ работника въ станъ Елистратова, а самъ вызвалъ брата. Тотъ вынесъ весла и сталъ осматривать другую лодку. Кое-что понадобилось законопатить, залить смолою.

Работникъ скоро дошелъ до Елистратовскаго стана, расположеннаго на вершинѣ каменнаго холма.

Черная, неуклюжая изба. Сквозь щели выносить изъ нея чадъ и дымъ отъ затопленной печи. Стекла двухъ подслѣповатыхъ окошекъ покрыты сплошь копотью и сажей. Свѣжему человекъу ничего не разсмотрѣть внутри, въ смядномъ мракѣ этого непригляднаго жилья. Покажется ему только, что во тьмѣ кто-то двигается да въ углу ярко пылаетъ костеръ въ широкомъ жерлѣ кое-какъ сложенной печи, озаряя передъ собою какую-то лавку съ кучей набросанныхъ на нее лохмотьевъ.

Подъ кровлю избы (потолка не было) сушится въ копоти старая обувь, влажная одежда рыболововъ. Тутъ-же развѣшенъ ярусъ.

Пучки водорослей прилипли къ нему, на крючьяхъ еще есть старая наживка — и все это гниетъ, заражая воздухъ елистратовскаго стана, вмѣстѣ съ громадными тешками трехъ палтусовъ, подвѣшенныхъ къ балкамъ и прѣвощихъ невѣдомо зачѣмъ среди всего этого кажущагося безпорядка.

На нарахъ валялось четверо покрученниковъ; у печи возился за котломъ зукъ, подбрасывая въ зѣвъ ея дрова и растопки.

— И горе-же, братцы!

— Какъ не горе, милые. Что безъ шняки подѣлаешь? Та-перича съ семьей всю зиму проголодаешь.

— Хозяинъ не поможетъ.

— Буда помочь! Рази ояъ что приметъ—ему нѣтъ дѣла до Божьяго гнѣва. Сами, скажете, шняку нарочно разбили, а на Бога валите.

— Скажете! Ладно, что еще самихъ-то вынесло.

— Ему-то не больно ладно. Ему анъ-бы шняка цѣла была, а до промышленниковъ и дѣла нѣтъ.

— Теперь, поди, и за вешній промыселъ ничего съ него не получишь.

— За шняку учтеть, какъ есть. Да еще за нами останется. Развѣ ему быть когда-нибудь въ убыткахъ? Все на насъ свалить...

— За божій гнѣвъ рассчитывайся... Буря-ли, аглецкій-ли праходъ налетитъ на лодку—рабочій виновать.

— А что брани да крику будетъ! Совѣстно.

— Дай Богъ глазамъ здоровья—отмигаются.

— Кого Богъ даетъ? обратился одинъ изъ рабочихъ къ вошедшему.

— Што, братцы, безъ работушки?

— Да ты за дѣломъ какимъ или такъ, языкъ чесать?

— Зачѣмъ чесать, у меня голова чесана, а языкъ безъ гребешка обходится.

— То-то, много васъ тутъ жалѣльщиковъ шляется. Какъ въ бѣдѣ были, никто не помогъ, а теперь жалѣютъ, дьяволы.

— А что-жь, намъ изъ-за тебя самимъ въ петлю? Ишь ты ловкій какой. Въ экую втору помочь ему—самъ шею сломишь.

— Ладно. Дѣло-то говори, чего надо? Мы эти разговоры ваши довольно хорошо слышали.

— Я отъ хозяина. Работника на промыселъ требуютъ къ намъ. Сайду ловить собираемся—поддономъ.

— Должно, на двухъ лодкахъ сражаето?

— На двухъ.

— Кому, братцы?

— По жеребью. Такъ-то всякій пойдетъ на наживу, хозяйскіе харчи ѣсть. Поди хозяинъ и ромомъ напоить... По жеребью надо.

— Ладно.

Винули жребій — досталось весельщигу.

Неуклюжіи парень лѣниво поднялся съ нары, натянулъ на себя громадные бахилы и пошелъ вонъ изъ избы.

— Эво лысунъ несуразный! провожали его остальные, завидуя счастью товарища.

Тотъ даже и не оглянулся.

— Любовь-то себѣ перекрести, нерпа толстомяся!

Когда рабочіе дошли до бухты, лодки были уже готовы. Павы залиты смолоу, конопать убита. Финны снесли въ лодку хлѣба, рыбы и рому.

— Ну, братцы, благословясь!—И рабочіе приналегли на весла. Лодки быстро перерѣзали все пространство внутренней бухты, не отдаляясь одна отъ другой. Хозяева-финны работали за рулемъ и держали шкоть отъ паруса.

Скоро передъ ними легла узкая щель, соединявшая бухту съ просторомъ Ледовитаго океана, и спустя часъ оба тройника уже далеко оставили за собою матерой берегъ.

— Сегодня, должно быть, сайды будетъ вдоволь! потянулъ носомъ рабочій.

— А что?

— Да вишь водорослью пахнетъ—примѣта вѣрная. Только лодки малы.

— Погоди, дай на ноги стать, нехотя отвѣчалъ финнъ,—будутъ и большія.

— У тебя, Адамъ, будутъ. Ишь какъ твоего отца Богъ любить. И лавка теперъ есть, и лодки есть, и снасть своя.

Финны пристально оглядывали море.

— Теперъ первое дѣло, объяснялъ рабочій,—замѣчатъ: какъ чайки закружатся вучей надъ водой, значитъ рыба идетъ. Сай-

да—она тебѣ въ глубь не опускается. Все на водѣ, ридимая, держится. Игрунь-рыба. Какъ это двинется все вровье, смотришь любо—такъ на водѣ и блеститъ, точно серебряная; случается такая стая версты на двѣ раскинется.

— Въ Норвегѣ ее здорово ловятъ. Пудовъ пятьсотъ за разъ бываетъ.

Сайда никогда нейдетъ на снасть, на уду. Эта рыба пройдетъ мимо неподвижной приманки, хотя и голодная. Она любитъ гоняться за нею, прискакивая на водѣ, такъ-сказать, съ бѣгу и съ лету хватать добычу. Часто она играетъ вокругъ париходовъ, преслѣдуя ихъ на цѣлыя версты и словно въ насмѣшку оглябля ихъ во время полного хода...

— А что, Адамъ, коли-бы ты да для Бога ромомъ угостилъ?

Финнъ безпрекословно передалъ бутылку рабочимъ.

— Теперъ и работать куда веселѣе.

Хоть и водорослями нахло по морскому простору, хоть и время стояло такое, когда сайдяныя стаи ходятъ по океану, хоть и чайки бѣлыми облаками спускались къ самой поверхности воднаго зеркала, а долго все-же пришлось ожидать промышленникамъ. Финны безпokoйно оглядывали горизонтъ, гдѣ море сливалось съ небомъ: не заволнуется-ли, не пробѣжитъ-ли мелкая рябь. Нѣтъ, все было недвижно и покойно... Точно сайда вся ушла куда-то, точно ея здѣсь и не бывало вовсе.

На краю горизонта клубились облака, не поднимаясь выше. Всѣ они были подернуты желтоватымъ блескомъ.

— Быть бурѣ! перекинулся съ братомъ финнъ.

— Можетъ быть, и обойдется...

— Ишь желто какъ.

— Стороной пройдетъ.

— А какъ штормомъ достигнетъ?

— Успѣемъ въ берегъ уйти, да и раньше почи грозы не бывать. Ишь вѣтру и не слышно.

— Разомъ вѣдъ налетаетъ.

Рабочіе спали на свергѣхъ поддона. Имъ и горя мало было до хозяйской бѣды.

Промель еще часъ. Облака не подвигались вовсе. Финны успокоились.

— Это что тамъ? встрепенулся одинъ изъ нихъ.

— Гдѣ?

— А вонъ на сѣверъ.

Далеко-далеко на громадномъ просторѣ остеклѣвшаго океана что-то рябило. Пятно ясной зноби шло на югъ, медленно передвигаясь.

— Не можетъ быть, чтобъ сайда.

— Почему?

— Медленно идетъ.

— Медленно кажется, потому что далеко. На всякій случай нужно рабочихъ поднять. Иванъ у насъ знаетъ, какъ отличить.

Едва удалось добудиться Ивана. Все онъ почесывался да глаза протиралъ. За то только голову поднялъ да посмотрѣлъ на рябь—и встрепенулся.

— Сенька, вставай, дура! тормошилъ онъ товарища.—Вставай, жидъ пареный... Эко колода! Ну, братцы, за весла, Богъ промысль посылаетъ.

— Неужли сайда? переспросилъ Адамъ.

— И несосвѣтимо, сколько ея идетъ. Ишь ты, стѣной двигается, яро бѣжить... Грудью беретъ супротивъ моря.

— Да, можетъ, такъ, попритчилось. Вѣтеръ полосой прошелъ и зарябило.

— Миѣ-то попритчилось? обидѣлся рабочій.— Я двадцатый годъ по морю хожу да промышляю. Возьми глаза въ руки. Ишь какъ оно расходится. Нѣшто рябь это? Такую рябь гдѣ ты видѣлъ?

Пятно теперь уже быстро подвигалось впередъ. Море словно кипѣло тамъ, но пока еще отличить ничего нельзя было. Видно было только, что это не вѣтеръ идетъ полосой, потому что позади пятна оставался такъ-же спокоенъ безбрежный океанъ. Да и когда вѣтеръ ходитъ по морю, оно вовсе не кажется вскипявшимъ, а только словно пылъ бѣжить по немъ. Нѣтъ, это не вѣтеръ.

— Ну, братцы, дружиѣй за весла. Приналягте, товарищи... Много съ тебя, Адамъ, сегодня рому слѣдуетъ... А только во время промысла не давай, руки отниметь. Вернемся въ становище—тогда.

— Ладно.

Лодки быстро неслись рядомъ наперерѣвъ пятну.

И чайки почуяли рыбу. Съ берега вспорхнуло нѣсколько облаковъ и понеслось по направленію лодокъ, только птицы скоро перегнали людей, перегнали и разсыпались, должно быть много добычи почуяли. На большомъ пространствѣ шла рыба, значить и скучиваться не зачѣмъ.

Ближе и ближе. Вонъ уже по вскипающему морю вздрагиваютъ серебряныя искры. Точно солнечныя блики мерещутся на немъ...

— Ишь это она, рыбина-то, играеть по морю, телу да простору радуется.

Вотъ уже и совсѣмъ близко. Лодки остановились. Квадратный поддонъ—сѣтъ съ осадкой посрединѣ—разомъ былъ вынуть; въ каждому углу его прицѣплена веревка. Концы взяли финны и рабочіе. Теперь сѣтъ казалась похожею на громадный ящикъ безъ крышки, потому что по краямъ ея были устроены подборны, сѣтчатыя полосы въ родѣ стѣновъ.

Вода кругомъ бороздилась. Еще издали слышенъ былъ глухой шумъ. Точно подъ водой двигалась на встрѣчу какая-то стѣна. Пѣна каймами, патнами и просто обрывками змѣнилась по водѣ.

— Ну, благословясь, выметывай...

Поддонъ былъ опущенъ и разомъ, благодаря кунькамъ, погрузился въ воду. Видны были только концы веревокъ...

— А ну-ко, выкладывай гостинцы.

Заранѣе, еще на берегу, было припасено много мелкаго камня. Его забрали въ руки промышленники и такъ и застыли, не отводя глазъ отъ двигавшейся прямо на нихъ рыбы.

Сайда налетѣла съ оглушающимъ шумомъ. Тысячи плесковъ и брызгъ кругомъ, какой-то грохотъ, шуршанье гибкихъ тѣлъ по водѣ... Рыба ерзала въ глубинѣ, пересѣкала путь одна другой, поднимались на водѣ, и, словно змѣи, кувыркалась надъ океаномъ, сверкая на солнцѣ тысячами радужныхъ отблѣсковъ. Слышно было хлопанье сайды объ воду. Нѣсколько штукъ попали въ лодки и бились тамъ, извиваясь на днѣ... Рыба то кучилась комьями, то разсыпалась на поверхности океана. Одна юркая рыба, привскочивъ, шлепнула хвостомъ въ лицо Адаму, тотъ только отмахнулся. Сверху налетали чайки и ловили добычу уже въ воздухѣ. Орлы-рыболовы возились тутъ-же съ хищнымъ, доволь-

нимъ влекотомъ, унося въ когтяхъ змѣящуюся жертву. А дальше позади виднѣлось еще больше рыбы, и все такими-же массами.

— Пора?

— Постой, это только передовья, мелюзга. Сейчасъ самая настоящая пойдетъ.

Дѣйствительно, немного погодя вся поверхность океана вокругъ лодки покрылась извивающимися на всѣ стороны черточками стѣною двигавшейся рыбы. Множество ея разбивалось о стѣны и корму лодки. Тысячи взвивались вверхъ, словно играя. Сайда выскакивала изъ воды головою, какъ-то бокомъ перекувыркивалась въ воздухъ и хвостомъ уже падала въ океанъ обратно... Она, повидимому, не обращала никакого вниманія на массы хищниковъ, нападавшихъ на нее сверху. Да и тѣ не церемонились съ нею. Поморники, гавки, орлы, чайки, — всѣ они не считали нужнымъ даже сохранять обычную во время ихъ промысла тишину. Финны и ихъ рабочіе оглушены были криками птичьихъ стай, шумно праздновавшихъ свою обильную трапезу. Нахальные гавки, не боясь даже людей, хлестали крыльями у самого лица ихъ. Чайки прожорливо торопились глотать добычу, чтобы тотчасъ-же захватывать другую. Смѣшно было смотрѣть, какъ онѣ старались проглотить крупныхъ рыбъ и, не совладавъ съ ними, выпускали ихъ изо рта обратно, словно оплакивая неудачу пронзительными выкрикиваніями.

— Ну, братцы, ладно!

Моментально промышленники бросили цѣлый дождь камней у окраины поддона. Рыба опустилась внизъ и массами загроздила сътъ. Лодки стали съѣзжаться, выматывая поддонъ. Массы сайды кругомъ замедляли движеніе весла. Приходилось плыть какъ-будто въ кашѣ.

Наконецъ вымотали — рыбы несосвѣтимо. Не только на двѣ, но и на пять лодокъ хватило-бы.

А позади идутъ еще большія стада сайды, и все по одному и тому-же направленію. И кажется, что имъ нѣтъ конца на этомъ пѣнящемся и вскипающемъ просторѣ.

Не одни птицы и люди преслѣдовали сайду. Снизу, въ водѣ, шла тоже обильная и беспощадная охота. Сотни зубатокъ возлились тамъ, иногда выскакивая на поверхность за добычей. Не-

много спустя лодки стали уже чувствовать могучіе толчки акулъ, неупускавшихъ своего въ этой оргіи убійства. Нѣсколько плавниковъ ихъ уже мелькнуло въ бѣлой массѣ пѣны и разъ ударомъ акулыго хвоста подбросило вверхъ корму лодки, такъ что Иванъ едва удержался на мѣстѣ и чуть было не выпустилъ копецъ поддона.

— Ишь ты, дьяволъ! выругался рабочій.—Ладно, осень придетъ, мы и тебѣ бока пошупаемъ!—погрозили онъ кулакомъ плавнику громадной акулы, показавшемуся рядомъ съ лодкой.

Все-какъ двигались лодки, пока не вышли изъ этой толчеи сталкивавшихся и разбѣгавшихся рыбныхъ стай, но еще долго впереди слышался шумъ двигавшагося вровень сайды и невообразимый гамъ птичьихъ голосовъ.

— Въ другихъ становищахъ не такъ ловятъ.

— А какъ ее ловить-то, на ярусъ не идетъ.

— Финны да норвежане на уду берутъ: только удой-то по водѣ махаютъ, сайда и гонится за нею.

— Немного наберешь такъ-то.

— Извѣстно, въ поддонъ больше попадетъ.

Когда лодки съ обильною промысловую добычей добрались до становища, зловѣщая гряда облаковъ уже охватила полнеба. Тотъ-же желтый колоритъ лежалъ на нихъ и въ самой срединѣ, въ самой гущинѣ, изнутри словно сквозило какое-то багровое пятно.

Шняки торопились скорѣе съ промысла, а запоздавшія старались пристать куда ни попало въ бухты. Нѣсколько шкутъ, шедшихъ изъ Норвегіи въ Архангельскъ, опасливо заползли въ Урскую губу отставаться отъ ожидаемой бури. Привалили сюда и пароходъ бѣломорской компаніи.

Солнце садилось въ желтоватомъ парѣ.

Что-то рвануло. Вѣтеръ ударилъ съ востока, разомъ плеснувъ въ берега цѣлою массой бѣлой пѣны, пронесся съ глухимъ шумомъ надъ кровлями становища и засвисталъ въ окрестныхъ ущельяхъ.

Еще немного—и взводень уже ходилъ по океану и трусливо ныряла въ немъ одинокая, запоздавшая шняка.

— Все-ли дома? спрашивалъ, ходя по избамъ, староста.

— Антоновскихъ нѣтъ.

— Спаси, Господи, ихъ души!

— Со святыми упокой!

— Что рано отчитываешь?

— А ты думаешь въ экую втору отстоятся они?

— Гдѣ отстоятся!

И всѣ перекрестились. Хмуро понурились отчаянныя головы.

— Эхъ, славный коршикъ *былъ* Антоновъ.

— Да и ребята съ нимъ добрые.

— Вотъ не вѣдаешь, гдѣ смерть найдешь.

Валы океана уже громили каменистые берега Мурмана, до самыхъ вершинъ обидывая ихъ бѣлыми взлетами пѣны.

На безконечномъ просторѣ торжествовалъ вѣтеръ злую побѣду свою надъ всѣмъ живымъ; только громадные киты играли на волнахъ, то пропадая въ безднахъ между двумя грядями валовъ, то взметываясь на самые гребни ихъ. Да и ихъ игра небезопасна была. Вѣтеръ подхватилъ одинъ громадный валъ и разбилъ его о гранитныя твердыни кильдинской платформы. Разбилъ и кита, игравшаго въ этомъ валѣ, и долго еще безсилно носилось и билось у береговъ безжизненное, черное тѣло морского великана.

А одинокой, заповдавшей шняки уже не видать нигдѣ.

— Со святыми упокой!..

IV.

Норвежскіе колонисты.

Шняки било десятками, ловцовъ топило непогодой, а двѣ норвежскія елмъ спокойно несло къ берегу по тихой Кильдинской салмѣ, куда взводень достигалъ только въ видѣ незначительной ряби. Тамъ за платформами острова гремѣло море, разбиваясь объ уступы сѣрыхъ утесовъ, а сюда доносился только шумъ бури, да сѣрныя ключья тучъ словно опускались на воду, сползая по откосамъ матерого берега. Туманъ заволокъ входъ въ салму, точно его и не было.

— Гляди, Гансенъ, ванесетъ туману.

— Ничего, нашъ говедсманъ зорекъ, выручить.

— Тутъ Богъ выручить, а не я.—И молодой говедсманъ (рулевой) еще пристальнѣе сталъ всматриваться впередъ.

Очертанія берега казались въ туманѣ смутными пятнами, постоянно мѣнявшимися свои формы. Найдеть туманъ—и пятно пропадаетъ, точно и берега не бывало, порѣдѣетъ мгла—и опять выступить что-то неопредѣленное, безформенное. По этимъ пятнамъ направо и налево только и можно было направлять елн.

— А буря злится по океану. Сегодня не выйти на просторъ.

— Это квенскія вѣдьмы напустили непогоду.

— Имъ-то что?

— Чорту служить, его и тѣшать. Ты послушай-ка голосовъ бури.

Норвежцы прислушались.

Кто-то словно рыдалъ далеко, за скалами берега. Рыданія доносились ясно, и что за отчаяніе было въ нихъ слышно! Рыданія звучали и направо, точно оттуда отвѣчалъ цѣлый хоръ плакальщицъ, пронзительно, безумно.

— Жутко!..

— Кому плакать-то? робко переспросилъ молодой гребецъ.

— Коли-бы ты пожилъ на свѣтѣ столько, сколько пожилъ я, старый Дрейеръ изъ Могерое, коли-бы ты походилъ по океану тридцать лѣтъ, какъ дѣлаетъ сынъ моей матери, да коли-бы тебя разъ пятьдесятъ потрепали штормы и бури,—ты-бы не давалъ такихъ глупыхъ вопросовъ.

— У дяди Дрейера языкъ-то, поди, длиннѣе вѣтра будеть.

— Молокососы. Погоди, разыграется „чортова свадьба“ да заходятъ волны выше мачты, не то запоешь.

— А ты, не бойсь, поможешь?

— Мое дѣло сторона, на то говедсманъ есть. Его и отвѣтственность. А совѣтъ я дать могу лучше тебя. Мать-то тебя давно-ли ложкой кормила?

— А какъ у тебя послѣдній зубъ выпалъ.

— Молчать! вступился молодой говедсманъ.—Кто смѣется надъ старостью? Такъ осмѣйте отцовъ своихъ и матерей встати. Что ты, наказанія божьяго хочешь за это? Всѣхъ утопить или тебя приведется выкинуть за бортъ, какъ Іону. Каждое воскресенье

слушаете проповѣди отца Олафа, а умнѣе да добрѣе не стали. Молчать, говорю я, налегъ на весла, глубже воду забирай. Эй, ты, косая сорока, болтливыи дроздъ, не жалѣй рукъ, а то ужъ за одно одѣнь перчатки да ступай съ вадсинскими барышнями любезничать. Такъ тогда ужъ вмѣсто весла цвѣтокъ въ руки возьми. Хорошо, дядя Дрейеръ, старшій морякъ, а лучше молодыхъ да здоровыхъ. Спасибо, дядя Дрейеръ, покажи-ка имъ, какъ прежде съ бурей справлялись. А вы, выны вороны, берите-ка примѣръ съ него. Кто еще будетъ смѣяться, того къ берегу. Пусть пѣшкомъ до бухты добирается. Слово мое сказано. Языкъ мой, ваши уши!..

Экипажъ молчаливо выслушалъ говедсмана и дружно налегъ на весла. Лодка рванулась впередъ и вольной птицей врѣзалась въ еще болѣе густую массу тумана. Даже пятна береговыхъ выступовъ пропали по сторонамъ. Въ однообразномъ морѣ иглы дальѣ десяти сажень отъ борта ничего не было видно.

Говедсманъ насупился.

— Стопъ весла!

Весла разомъ поднялись вверхъ. Вода пѣнистыми струями сбѣжала по нимъ на руки гребцовъ. Что-то скрипнуло. Лодка, колыхаясь, медленнѣе и медленнѣе шла впередъ.

Говедсманъ привсталъ. Какъ онъ ни напрягалъ зрѣніе, различить ничего нельзя было. Слышалось только рыданіе бури да свистъ вѣтра въ береговыхъ ущельяхъ.

Рулевой прислушался къ этому свисту. Кажется, что и далеко берегъ, а если вѣтеръ относитъ звуки?.. Если утесы тутъ прямо подъ носомъ у елы, если, спустя нѣсколько минутъ, она разбѣжится въ нихъ да съ размаху щепками разсыпется? Выль-бы одинъ — на удачу-бы пошелъ. А тутъ четыре жизни на совѣсти. Думаль, думаль, посмотрѣлъ куда течетъ вода, — да въ салмѣ разное теченіе бываетъ. Куда еще попадешь. Это не примѣта.

— Бросьте лотъ!

— Восемь футь.

По глубинѣ не должно быть здѣсь берегу, да вѣдь Мурманъ капризное мѣсто. Разомъ съ сорока футь на пять, а то и на два идетъ — никакъ не сообразишь. Если-бы карта была, по глубинѣ-бы сообразить можно было.

— Дядя Дрейеръ, а дядя!..

— Тебѣ чего, малышъ?

— Ты, дядя, все знаешь, подбивался восьмилѣтній юнга.— Отчего буря плачетъ?

— Это не буря, глупый!—И заскорузлая, шаршавая рука моряка съ корявыми, кривыми пальцами ласково потрепала по лицу ребенка.

— Кто-же?.. Вишь вѣтеръ. Людей-то вѣдь нѣту.

— Ну тебя, еще напугаешься!

— Скажи, дядя, приставалъ тотъ, заглядывая въ глаза стариву.—Я не трусь вѣдь. Я ужъ второй разъ въ море кожу.

— Что ужъ и говорить, ты вѣдь у насъ мореходъ. На каждомъ шагу здѣшняго берега, на каждой сажени океана пропасть людей погибло, кто отъ бури, кто отъ акулъ, кто отъ голоду. И вотъ какъ только непогода встанетъ да заходятъ большія волны по оксану, изъ-подъ камней берега, со дна моря встанутъ тѣ погибшіе, у которыхъ семья осталась послѣ ихъ смерти. Встанутъ и плачутъ по своимъ дѣтямъ, что тѣ голодаютъ безъ нихъ, плачутъ по женамъ, что убиваются въ своихъ скудныхъ хвизинахъ, плачутъ о сестрахъ, оставшихся безъ опоры.

— Значить, и мой отецъ теперь плачетъ гдѣ-нибудь обо мнѣ!— И слезы сверкнули въ глазахъ мальчика.—Гдѣ-же онъ, дядя?

— А развѣ у тебя пропалъ въ морѣ отецъ?—И еще ласковѣе корявая рука легла на голову юнга.

— Три года назадъ. Ушелъ въ Индію и не возвращался. Бригъ ихъ разбило гдѣ-то... Что, если крикнуть ему, услышитъ онъ? А мама до сихъ поръ убивается; подъ Берлевогомъ въ бухтѣ у насъ изба своя.—И мальчикъ сталъ прислушиваться къ шуму бури, наивно вѣруя, что въ ней слышенъ и голосъ его отца...

— Поди любилъ тебя отецъ?

— Больше всѣхъ дѣтей! Бывало вернется ночью, весь мокрый, усталый. Едва на ногахъ держится, а меня къ себѣ зоветъ. И куда-бы ни ѣхалъ, все привезетъ гостинца. Даже если на промыселъ въ бухту уѣдетъ, смотришь—красивыхъ раковинъ натащить... Какъ послѣдній разу уѣзжалъ — обезьяну обѣщалъ привезти... Вѣрно и обезьяна съ нимъ утонула...

— Слушай команду! крикнулъ говедсманъ. различившій на-право едва замѣтный въ шумѣ бури грохотъ валовъ, разбивавшихся о береговые камни.— Гребите тише, но дружно.

И подъ рулемъ лодка свернула налѣво... Плыли недолго.

— Должно быть берегъ былъ, шопотомъ передалъ одинъ гребецъ другому.

Еще разъ прислушался говедсманъ.

— Стопъ!.. Ну, друзья, совѣтъ. — И говедсманъ снялъ руку съ руля, какъ-бы временно сложилъ съ себя власть.— Дядя Дрейеръ, веди совѣтъ: что дѣлать. Въ туманѣ ничего не видно. Глубина не равна. Какъ-бы не разбиться о скалы.

— Мѣсто опасное...

— Молчи, Гансенъ! перебилъ Дрейеръ.— Теперь я начальникъ. Говори, когда спросятъ... Гавенъ, что ты думаешь?

Кривой морякъ взглянулъ на него бокомъ и замахалъ рукой по воздуху.

— Я говорю держи... Держи, потому нужно взять курсъ. Я говорю, возьми курсъ и держи... Держись курса... Въ бурю и вѣтеръ держись курса!..—И рука еще энергичнѣе взмахнула въ воздухъ.

— Да какого курса-то, въ томъ вѣдь и дѣло?

— Я говорю, держи курсъ... Лодка должна держать курсъ.— И онъ ткнулъ пальцемъ за бортъ, въ море, точно показывая, что курсъ надо держать прямо на дно.

Дядя Дрейеръ только плюнулъ въ сторону.

— А ты, молодой дроздъ, что надъ старыми волками смѣешься?

— Не былъ я еще въ этихъ водахъ. Не знаю... Что скажутъ, то я и дѣлать стану.

— Видно—совѣтъ дать, не языкъ чесать... Ты, говедсманъ, что скажешь?

— Я думаю, на W взять... Тамъ мы мало-по-малу, почти нечувствительно, подойдемъ къ континентальному берегу.

— Ну? одобрительно взглянулъ на него Дрейеръ.

— Греблю держать малую, чтобы съ разлету не наскочить на камни...

— Хорошо, теперь слушайте старика Дрейера, что пятьдесятъ лѣтъ ходитъ по морю. Совѣтъ нашего говедсмана всѣмъ-бы хотѣло,
„Дѣло“, № 8.

рошъ, да одно въ немъ неудобно—къ матерому берегу до самой Кольской губы пристать некуда—берега отвѣсные, подводныхъ камней на сосчитать даже, вездѣ бьется бурунь. Еду нашу въ дребезги разобьетъ о каменныя стѣны. Остается одно—взять направо, къ острову Кильдину. Тутъ на мель сядемъ, да за то цѣлы останемся. Вездѣ тамъ тихія заводи. Теченье на югъ идетъ, а у Кильдина вода словно масло стоитъ—не шелохнется. На мель въѣдемъ, такъ до прилива хоть спать можемъ, никто не помѣшаетъ, а то и на берегъ вытащимъ лодку, если мѣсто удобное.

— Старикъ говоритъ правду. Нужно держать направо.

Говедсманъ быстро прошелъ къ рулю и, сѣвъ, направилъ лодку по требуемому направленію...

Теперь онъ опять вступилъ въ свои права и команда безусловно слушалась его.

Говедсманъ на норвежскомъ гребномъ суднѣ царь и властелинъ. Онъ выбирается экипажемъ и непременно изъ молодыхъ еще людей. Дѣло въ томъ, что только въ этомъ возрастѣ энергія и смѣлость присущи человѣку. Говедсманъ отвѣтственъ за все. Ему повинуются безусловно, потому что въ океанѣ часто жизнь и имущество людей зависятъ отъ точности, съ какой исполнено то или другое приказаніе. Бывали случаи, что говедсманы высаживали людей за бортъ, на берегъ, и экипажъ безпрекословно допускалъ это. Званіе говедсмана—честь и счастье цѣлаго семейства. Родные и знакомые гордятся этимъ и съ обожаніемъ смотрятъ на человѣка, занявшаго такой видный постъ. Изъ говедсмановъ часто выходятъ дѣятели стортинга. Это самые популярныя люди въ сѣверной Норвегіи. Нужно видѣть ихъ во время бури за рулемъ высоко взбрасываемой волнами елы, хладнокровныхъ, рѣшительныхъ, безтрепетно смотрящихъ впередъ,—чтобы понять, какое обаяніе имѣютъ они въ глазахъ своего экипажа. Говедсманъ служить и на берегу посредникомъ между экипажемъ своей елы и муниципалитетомъ. Отъ его имени совершаются всѣ сдѣлки, онъ входитъ во всѣ сношенія за своихъ промышленниковъ. И никогда не было примѣра, чтобы онъ обсчиталъ или обобралъ ихъ, какъ это дѣлаютъ зачастую наши кормишки. Люди высокой честности, говедсманы всегда и вездѣ остаются на высотѣ своего поста.

Туманъ сталъ гуще.

Съ руля нельзя было уже различить югу на носу елы. Старикъ Дрейеръ, ближе всѣхъ сидѣвшій къ говедсману, казался какимъ-то сѣрымъ. Когда, наваливаясь на весла, онъ приближалъ къ нему свою голову, на ней еще можно было рассмотреть и подслѣповатые, но еще зоркіе глаза, и космы волосъ, прилипшихъ ко лбу, и щетинистые усы. Но когда онъ отекдывался, выгребая весла изъ воды, передъ говедсманомъ сѣрѣлъ только туманъ съ неопредѣленнымъ, двигавшимся въ немъ, пятномъ. Борты лодки пропадали шагахъ въ двухъ отъ него. Оглядываясь на море, онъ еще видѣлъ подъ собою зеленоватую массу его съ легкими змѣйками бѣлой пѣны и рябью, разбѣгавшеюся изъ-подъ веселъ, но дальѣ на водѣ сгущалась та-же сѣрая мгла, однообразная, безбрежная.

Чувство ужаса росло на душѣ. Бурю уже только слышали, но не видѣли ея. Казалось, въ эти минуты каждая фибра, каждый нервъ жилъ своею особою жизнью. Тяжело дышали утоmlенныя груди, быстро, какъ-то судорожно; работалъ мозгъ быстро гребли руки, не ощущая боли и натуги... Всѣ молчали. Каждый чувствовалъ, что говорить тутъ не о чемъ, что нужно дѣлать и надѣяться на чудо, на случай, на удачу...

Налетѣлъ сильный порывъ вѣтра... Туманъ разорвало на-двое.

Образовался далеко узкій коридоръ, но дну котораго неслись зеленныя волны, разбрасывая по вѣтру свои бѣлыя гривы... Бѣлое крыло чайки мелькнуло въ просвѣтѣ...

Всѣ повернули туда головы—не видать-ли земли... Она и показалась, только еще тяжелѣе стало на душѣ у скитальцевъ.

Черная стѣна берега отвѣсно падала внизъ. Туманъ курлился на ея вершинѣ... У подножья лежала широкая кайма пѣны разбивавшагося тутъ буруна.

Вонъ на черной стѣнѣ мелькнула трещина еще чернѣе... И только, и больше ничего не видать.

Коридоръ суживается. Туманъ сливается. Одна стѣна его ползетъ къ другой... Отъ просвѣта осталось немного. И спустя минуту—опять сѣрая однообразная масса мглы окутывала кругомъ затерянную среди каменныхъ стѣнъ елу.

— Бергенское страховое общество не дорого-бы дало теперь за насъ! пробовать пошутить Дрейеръ.

Ему никто не отвѣтилъ. Шутка такъ и пропала.

Гуще и гуще ложится мгла... Даже сверху она одного цвѣта, что внизу. Только порою клубы ея словно свертываются, точно по сѣрому морю бѣжить какая-то сѣрая складка... Закрой глаза или открой ихъ—все равно ничего не увидишь. Говедманъ судорожно сжалъ зубы. Чего тутъ править!..

Бросили лотъ—глубина большая, берегъ еще далеко!

Вонъ въ тишинѣ слышалось какое-то шуршаніе и плюханье. Словно впереди ползла другая лодка и весла ея такъ-же мѣрно плюхали въ воду.

Точно инстинктивно норвежцы медленнѣе стали грести. И плюханье веселъ тамъ замедлилось.

— Кто, крещеный? слышалось изъ тумана... Изъ тумана, но откуда?... Какъ рѣшить?... Съ какой стороны плыветъ встрѣчная лодка?

— Русскіе, должно быть...

— Бого дьяволъ несетъ?—Второй обликъ замеръ въ туманѣ...

— О-го-ой!.. во всю пасть отвѣтилъ Дрейеръ.

— Держи правѣй!..—Уже слышны были голоса, но лодки не было видно. Вотъ уже слышны бѣглыя фразы разговора, можно отличить скрипъ плохо прилаженного къ шнякѣ кила, шарканье лодки съ каждымъ ударомъ веселъ; слышно, что и весла не разомъ, не дружно падаютъ въ воду, одно вонъ все запаздываетъ и не въ глубь беретъ, а по поверхности воды скользитъ,—а лодки не видно... Вотъ всѣ эти звуки проходятъ слѣва, словно на-двигаются...

— Тысячу чертей! выругался Дрейеръ и чуть не упустилъ весла. Весло той лодки встрѣтилось съ его весломъ.

— Гляди въ оба, дьяволы! раздался голосъ кормщика.

— Куда глядѣть-то! слышался со встрѣчной шняки отвѣтъ ему...

И хоть-бы сѣрое пятно показалось въ туманѣ! Точно шняка—призракъ, точно это фантомъ сѣвернаго океана, который въ бурю, по повѣрью старыхъ моряковъ, насылаетъ на ихъ суда такіе невидимые корабли...

Лодки разошлись, звуки, стихая вдаль, замерли—и опять кругомъ мгла и тишина...

Попробоваль-было Дрейеръ закурить сигару, толстую и коря-

вую, какъ его собственные пальцы, да табакъ и спички отсырѣли. Зашипѣть—зашипѣло, а не закурилось. Платье на нихъ было совсѣмъ сыро. Сырость осѣдала крупными каплями на лицахъ и на волосахъ.

— Скоро-ли берегъ, надоѣло...

— А ты поговори больше, скорѣй будетъ.

— У Ольсена языкъ вмѣсто весла...

— Съ дѣвками это хорошо, весело, а на лодкѣ плохо.

— А еще надъ стариками смѣется!

Сознаніе только-что миновавшей опасности отъ столкновенія съ русской шнякой разомъ вернуло самообладаніе и веселость.

— Авось доѣдемъ.

— На бурунъ если попадешь—бѣда. На мель станемъ, а бурунъ черезъ лодку всѣхъ захлещетъ.

— Эхъ ты, баба бергенская! Говорю тебѣ, что на берегу заводи.

— Неровно мѣсто.

— Тебѣ-бы юбку, а не штаны носить!—И Дрейеръ съ негодованіемъ отвернулся, что, впрочемъ, не видно было его противнику.

Вѣтеръ почти упалъ. Даже за островами, на открытомъ океанѣ, не было уже слышно воя и грохота бури. Вздвонь еще ходилъ тамъ, разумѣется, но непогода потеряла свою силу и только послѣдніе порывы вѣтра изрѣдка нарушали тишину. Такъ усталый звѣрь ворчитъ еще, лежа въ тепломъ понизьѣ, но ярость его уже растрочена и ослабѣвшія лапы бессильно царапаютъ сырую землю. Только въ ущельяхъ матерого берега слышался еще свистъ вихря и грохотъ обваливающихся обломковъ утеса.

— Скверно!

— Или ты, дядя Дрейеръ, бурѣ радъ?

— Радъ, разумѣется. Вѣтеръ-бы разогналъ туманъ. А теперь онъ нѣсколько дней простоятъ тутъ.

— А въ туманѣ нельзя выйти изъ салми?

— Можно, кому жить не зачѣмъ, у кого семьи нѣтъ. Съ акулами познакомишься разомъ.

— Ужъ какъ ни думай, а придется на Кильдинѣ нѣсколько дней высидѣть!

— Жилья нѣтъ тамъ?

— А тебѣ-бы, поди, постель теплую да еще женку на придачу!

И опять молчаніе.

Уже два раза лодка черкнула килемъ по дну салмы. Послышался сухой хряскъ, точно что-то разорвалось тамъ. Это дерево терлось о массы камня, мелкаго и круглаго, намытаго моремъ на каменистыя мели.

— Скоро и берегъ!

Бросили лоть, — глубина малая. Еще два-три размаха весель — и лодка врѣзалась носомъ въ мягкую мель. Нѣсколько разъ качнуло лодку, накренило ее немного на бокъ и „опружило“. Только легкая зыбь бьется въ лѣвый бортъ и съ тихимъ плескомъ забрасываетъ внутрь лодки брызги и пѣну.

— Слушать команду: привяжи весла и всѣ вонъ. Нужно вытянуть лодку на берегъ.

— А гдѣ берегъ, какъ его узнать?

— Берегъ тамъ, увѣренно показавъ говедманъ на что-то, словно сгустившееся въ туманѣ.

— Можно-ли еще выйти на него?

— Тамъ увидимъ.

Экипажъ елы, разувшись, вышелъ въ воду. Сильныя руки гребцовъ словно впились въ борта лодки. Говедманъ напиралъ на нее съ кормы. Только и слышалось, какъ киль царапалъ мелкій щебень, да глухо шурша въ водѣ, раздавались подъ его напоромъ мелкіе камни морского дна. Люди шли съ натугой, наклоняясь впередъ и подвигая елу. Юнга было поскользнулся, да во время сталъ на ноги, потерявъ только шапку, которую зыбь сейчасъ-же вынесла изъ пространства, доступнаго глазамъ въ этомъ туманѣ. Разъ или два борта сильно заскрипѣли, что-то даже треснуло. Сѣрое пятно въ сѣромъ туманѣ океана вилось все ближе, хоть и не опредѣлялись его контуры. Дно мельчало. Еще недавно море было по грудь старику Дрейеру, а теперь онъ идетъ по колѣно въ водѣ.

— Ну еще, сильнѣе, братцы! Не будемъ похожи на финмаркенскихъ квеновъ, что рады бросить дѣло въ самомъ началѣ!

И команда сильнѣе прежняго легла на борта елы. Повинуясь этому дружному усилю, ела почти вся вползла на отмель берегового выступа и, качнувшись, легла на одну сторону. Только корму еще лизалъ легкій прибой волнъ, но еще одно усиліе — и лодка вся „обсохла“. Говедманъ внимательно осмотрѣлъ ее. По

дну были ясно замѣтны парашины отъ щебня, одна бортовая планка носила на себѣ большую ссадину. Крупныхъ поврежденій не было. Матерой киль, вырубленный изъ здоровой дофрефиельдской сосны, хорошо выдержалъ. На немъ не было даже зазубринъ. Только окончивъ это дѣло, говедсманъ пожалъ руки экипажу и поздравилъ людей со спасеніемъ.

V.

НА БЕРЕГУ, ВЪ ТУМАНѢ.

Повыбрали все, что было внутри лодки, сложили это на каменную плѣшку выступа, а самую елу опрокинули вверхъ дномъ. Люди забрались подъ нее и, какъ были, сырые, холодные, заснули на сѣромъ гранитѣ среди непроницаемаго царства сѣверной мглы.

Тяжело лежить туманъ надъ каменной платформой Кильдина острова. Еще тяжелѣе давить онъ волны гремучаго океана. Тотъ же сѣрой массой окуталъ онъ матерой берегъ. Даже дышать тяжело здѣсь, мысль падаетъ какъ подстрѣленная, холодный ужасъ закрадывается въ душу.

На верхушкѣ утеса сидитъ въ туманѣ орель-рыболовъ, широко раскрылъ желтые, хищные глаза, а ничего не видитъ. Что-то пролетѣло мимо, какая-то птица мимо самого носа взмахнула крыльями, и кинулъ-было ее старый разбойникъ, да вмѣсто того самъ опрокинулся внизъ и едва удержался на крутомъ горбѣ утеса. Только недовольный клекотъ замеръ въ воздухѣ.

Шель двигій олень въ туманѣ—сторожко шель. Добрался до края платформы, еще прыжокъ сдѣлалъ — и ринулся въ пѣнистыя волны разбивавшагося внизу буруна. А туманъ все еще гуще окутываетъ землю, и море, и небо. Рядомъ тонуть человѣкъ будетъ, а ты и не увидишь.

Несло взводномъ шпаяку, прямо къ берегу несло. Вѣтерокъ, что еще оставался, чуть-чуть сквозь туманъ надувалъ парусъ. Зорко смотрѣлъ впередъ старый коршунъ, да ближе глазъ ничего не увидитъ. Ударило носомъ въ камень, только трескъ пошелъ да крики замерли надъ глухимъ ревомъ прибоя. Одного зуйка на камень бросило. Обрадовался мальченко, что отъ смер-

ти спасся, впередъ кинулся, да въ ту-же бездну попалъ и разбило его сѣрными волнами океана. Камень-то не берегомъ, а такъ, скалой посередь моря оказался. Что увидишь въ туманѣ?

По всему простору Ледовитаго океана, по всему Бѣлому морю тихо ползуть теперь шняки да шкуны. Особенно въ бѣломорскомъ гирлѣ—фарватеръ для всѣхъ одинъ, а суда идутъ одно другому на встрѣчу. И бьютъ на шкунахъ въ чугунныя доски, въ мѣдныя била, свистать. Изъ пушекъ палать другіе, а все, что ни шагъ, то и разбиваютъ себѣ носы поморскія суда, потому—спастись некуда, кругомъ мгла, а внизу бездна.

Спать норвежцы, спать насевозъ мокрые. Тяжело дышуть во снѣ, а усталъ свое беретъ, ни одинъ не раскроетъ глазъ, и счастливы еще. Теперь ни костра разложить, ни согрѣться нельзя. Пойти впередъ опасно—чего добраго въ воду или въ пропасть...

Грядами бѣгутъ волны подъ этою сѣрою пеленою.

Вонъ гдѣ-то на западѣ словно желтое пятно мерещится въ туманѣ. Солнце заходитъ. Ниже и ниже пятно. Туманъ въ этомъ мѣстѣ пронизало золотымъ блескомъ. Потомъ розовымъ сіяніемъ подернуло, словно во мглѣ распустили нѣсколько капель свѣжей крови. Опять алый отсвѣтъ поблекъ. И опять сѣрая масса однообразно лежитъ повсюду. Только теперь, какъ солнце зашло, туманъ сталъ гуще, еще непроницаемѣй сталъ. Точно его снѣжная марь проникла.

Громче становится грохотъ буруновъ. Близится полярная ночь. Мели заливаются водою.

Вода и подъ еду проникла. Чувствуетъ говедсманъ, что слово оно плаваетъ во снѣ... Проснулся—вода подъ нимъ, а вдали грохочетъ прибой и посылаетъ на берегъ новыя волны.

Вскочилъ, разбудилъ команду и самъ оттащилъ еду дальше. Еще хуже промокли всѣ. Именно, что до костей прохватило...

— Что-же дѣлать? Не развѣяло-ли туманъ на морѣ?

— Нужно подняться до вершины Кильдина, оттуда видно будетъ.

— А какъ вернешься въ туманѣ? Не заблудиться-бы.

— Давайте компасъ, я пойду.—И старикъ Дрейеръ, захвативъ съ собою сухую и крѣпкую какъ камень варде-хузскую бѣлую лепешку, отправился съ компасомъ.

Тяжело ему было идти въ туманѣ. Онъ подвигался впередъ точно въ тучѣ. Не видно было, что у него подъ ногами. По минутно на пути подвѣртывались камни, влажныя поверхности гранита заставляли его скользить и падать. Нѣсколько разъ онъ слеталъ внизъ, въ обрывы, какъ-то попалъ въ трещину, гдѣ зажегся старшій, прошлогодній снѣгъ. Приходилось идти, едва ступая и пробуя впереди почву. Онъ зналъ, что берега Вильди на западѣ обрываются въ море отвѣсными стѣнами. Съ нихъ немудрено было ринуться внизъ, прямо въ шумѣвшій у ихъ подножія бурунъ, съ высоты трехсотъ футовъ. Ноги у старика отекали, спина болѣла, въ головѣ бились какія-то жиры. Усталъ дошла до того, что едва онъ могъ дышать, а передъ глазами ходили огнистые круги... А до вершины Вильдина, до послѣдней платформы его терась, было еще далеко... Разъ было поднялся, казалось и близко у цѣли былъ, да вдругъ трещина. Пошелъ вдоль ея — и конца ей нѣтъ. Пришлось сойти внизъ и съ другого пункта начать восхожденіе на обрывистое откосье полярнаго острова. Старикъ пробовалъ-было подбодрить себя морской пѣсней о женихѣ Лаге и ревнивомъ Йо, что смѣло пѣвалъ когда-то, и въ штормы, и бури, да слабый голосъ едва раздавался въ непроницаемомъ царствѣ сѣвернаго тумана. Такъ и бросилъ пѣсню, только еще тяжелѣй на душѣ стало...

Долго шелъ Дрейеръ, и отдыхать садился, и опять въ путь, и такъ цѣлую ночь, цѣлую полярную бѣлую ночь провелъ онъ на ногахъ, а толку все нѣтъ. Поѣлъ онъ подъ утро бѣлой сухой лепешки, вмѣсто воды взялъ стараго, слежавшагося снѣга изъ трещины утеса. Полежалъ съ часокъ на его поверхности. Пробовалъ было закурить, да спички только шипѣли и курились въ этой сырости. Взялъ сигару, откусилъ и давай жевать — легче стало... Часа въ три утра на востокѣ просвѣтлѣло. Туманъ былъ такъ-же густъ, да насквозь пронизали его солнечныя лучи... Откуда-то послышались рѣзкіе крики чаекъ, жалобный стонъ поморника замеръ въ воздухѣ... И опять тишина мертвая, полная ужаса. Даже слышнѣй ночью бурунъ притихъ. Взглянулъ Дрейеръ наверхъ — голубѣеть. Не туманъ-ли рѣже сталъ? Нѣтъ, это солнцемъ только гуще оттѣнило небо, оттого оно и видно сѣвось однообразную, тяжелую иглу...

Скучно, жутко стало Дрейеру. Голоса ничьего не слышно.

Сталъ онъ самъ себѣ сказку сказывать объ Олафѣ и Эльвѣ. Прѣзжалъ по высокой горѣ Олафъ, чѣмъ свѣтъ, на зарѣ къ Эльвамъ прѣвхалъ, гдѣ пышетъ огонь, гдѣ вѣетъ нѣжною, ароматною весною. Тутъ подошла къ нему первая Эльва, съ серебрянымъ кубкомъ въ рукахъ. Другая, блистая красотой, стала съ нимъ рядомъ; золотой поясъ играетъ на ней всѣми цвѣтами радуги. Вышла и третья, горя любовью. „Будь счастливъ, нашъ гость Олафъ Лильеровъ! Живи съ нами, здѣсь пышетъ огонь, здѣсь вѣчною весною вѣетъ съ зеленыхъ горъ!“ — „Спасибо, съ вами нельзя христіанину жить; какъ стану я здѣсь молиться Господу-Богу?“ — „Ты съ Эльвами утромъ веселись и играй, а вечеромъ читай свои молитвы“. — „Нѣтъ, не стану я жить съ нехристями; есть у меня на родинѣ красавица Ингеръ, въ глазахъ ея блистаетъ заря утренняя, а въ волосахъ вечерняя!..“ Укравкою Эльва подходитъ къ ларю и, вынувъ оттуда длинный плащъ, опоясала себя мечомъ подъ нимъ, острымъ мечомъ, что не разъ уже пилъ христіанскую кровь. — „Ты, витязь, все-же ѣдешь? поцѣлуй меня на прощанье хоть разъ и въ путь!..“ Нехотя нагнулся съ сѣдла Олафъ Лильеровъ и только-что соединились ихъ уста, какъ мечъ Эльвы угодилъ ему въ самое сердце... Шпорить онъ коня, торопить быстро; какъ вихрь летитъ онъ съ горы на гору, какъ стрѣла пробѣгаетъ долины. — „Скорѣе, мой конь, ужь алѣетъ заря. Скорѣе!..“ Слабою рукой, едва слышно стукнулъ онъ въ двери къ матери. Та спала, но точно невѣдомая сила подняла ее съ кровати. — „Что ты такъ блѣденъ, Олафъ?“ — „Скажи красавицѣ Ингеръ, чтобъ шла за рыжекудраго Йо, да вырой поглубже могилу и похорони меня утромъ, на зарѣ, чтобъ она напоминала мнѣ очи красавицы Ингеръ“.

Старикъ Дрейеръ нараспѣвъ читалъ эту сказку. Въ отвѣтъ ему съ вершины ближайшей скалы послышался клеветъ орла; скоро и самъ онъ пролетѣлъ мимо. Только размахи крыльевъ почуялъ Дрейеръ да какое-то темное пятно пронеслось въ туманѣ.

Долго лежалъ онъ тутъ. Дремалось или такъ забытье нашло — самъ онъ не знаетъ. А когда проснулся, туманъ еще гуще лежалъ кругомъ и вдалекѣ съ океана доносились гулъ и раскаты пушечныхъ выстрѣловъ, — судно въ опасности!

— Господи! Спаси погибающихъ! снявъ шапку, громко про-

говорялъ Дрейеръ и бодро поднялся на кремнистый краешъ террасы.

Выстрѣлы повторялись еще два раза. Эхо подхватило ихъ и донесло вплоть до матерого берега.

И опять все тихо.

Должно быть, кончено...

Передъ глазами старика на одну минуту мелькнула знакомая картина. Широко пѣнится океанъ. Въ волнахъ бѣлой пѣны колышутся обломки корабля. На гротъ-мачту взобралось нѣсколько матросовъ и съ тупымъ отчаяніемъ вперяютъ взгляды въ непролицаемую мглу. Не слышно даже крика. А вонъ одинъ борется еще съ моремъ, держась за кусокъ дерева. Прямо въ лицо ему плеснулъ громадный валъ—и спустя мгновеніе только обломокъ дерева вынесъ на свой гребень. И ничего кругомъ, тотъ-же сѣрый туманъ. Точно во шракъ гибнуть несчастные...

В. И. Немировичъ-Данченко.

(Окончаніе будетъ.)

ПѢСНЯ.

(Изъ Барри Корнуэля.)

Да будетъ пѣснь полна благоуханья,
Пускай она польется, какъ ручей,
И воскреситъ въ людскомъ воспоминаньи
Рядъ милыхъ сценъ изъ пережитыхъ дней.

Да замолчатъ и низкіе расчеты,
И наша скорбь при голосѣ пѣвца,—
Пусть пѣснь его, какъ голосъ патріота,
Отвагою наполнитъ намъ сердца.

Пусть все, что кровь волнуетъ въ насъ отъ вѣка,—
Война и миръ, и плачь, и смѣхъ людей,
И радости, и горе человѣка,—
Пусть все найдетъ могучій откликъ въ ней.

Пускай она разбудитъ умъ сонливый,
Дастъ слабымъ мощь, героевъ вдохновитъ
И славою за подвигъ справедливый
Сыновъ своей отчизны наградитъ.

М. Н.

КРАСАВЕЦЪ.

РОМАНЪ

ЖЮЛЯ КЛАРЕТИ.

IX.

БРАТЬ И СЕСТРА.

Думая постоянно о Терезѣ и о похитившемъ ее Чіампи, Ривьеръ часто спрашивалъ себя: не бѣжали-ли они изъ Франціи и найдеть-ли онъ ихъ когда-нибудь, если-бъ судьбѣ и было угодно выпустить его на волю? Вѣроятно, капитану не было извѣстно, что скрываться и жить невѣдомымъ для всего свѣта лучше всего въ Парижѣ. Уже давно сравнивали эту громадную столицу съ человѣческой пустыней; но скорѣе Парижъ—муравейникъ, въ которомъ сталкивается, не зная другъ друга, миліонъ людей, лихорадочно суетящихся и бьющихъ жизнью изо всѣхъ поръ. Парижъ въ 1809 году, хотя и менѣе населенный, былъ такнй-же центромъ шумной, горячечной жизни, какъ теперь, и представлялъ тѣ-же средства укрыться отъ преслѣдованія людямъ, ищущимъ мрака и тайны; эгонизмъ толпы дозволялъ такъ-же хорошо отдѣльнымъ личностямъ пользоваться уединеніемъ.

Итакъ, Агостино Чіампи, маркизъ Олона и Тереза Ривьеръ рѣшились остаться въ Парижѣ.

Они искали убѣжища въ столь-же оживленномъ тогда, какъ теперь, предмѣстьи св. Антонія, наполненномъ мебельными мастерскими, бумагопрядильнями, обоянными фабриками и т. д. Вблизи великолѣпнаго дома, въ которомъ Ревельонъ открылъ свои ма-

газины, они жили подъ фальшивымъ именемъ, выдавая себя за только-что прибывшихъ изъ Флоренціи торговцевъ соломенными произведеніями.

Удалившись на значительное разстояніе отъ улицы Почтъ, гдѣ жилъ Шамборо, и Монмартра, гдѣ находился домъ Ривьера, они надѣялись избѣгнуть поисковъ и шпіонства. Послѣ ареста капитана Агостино боялся, чтобъ полиція не стала розыскивать Терезу. Узнавъ заранѣе о несчастіи, грозившемъ Ривьеру, Чіампи уговорилъ ее уйти изъ дома мужа и потомъ объяснилъ, что сдѣлалъ это лишь для спасенія ея отъ ареста.

— Такъ что-жь, меня посадили-бы вмѣстѣ съ нимъ въ тюрьму, сказала въ первую минуту Тереза.

— И ты не была-бы свободна со мною, глупая, отвѣчала Агостино.

Этотъ человѣкъ имѣлъ надъ Терезою то странное, чарующее вліяніе, въ силу котораго змѣя приковываетъ къ себѣ бѣдную птичку. Его блуждающій, подозрительный взглядъ наполнялъ ее ужасомъ, нелишненнымъ какой-то странной прелести. Красавецъ въ полномъ смыслѣ этого слова, съ золотистымъ цвѣтомъ лица неополитанскихъ уроженцевъ и съ роскошными волосами античнаго бюста, Агостино олицетворялъ въ глазахъ этой романтической, восторженной женщины идеалъ смѣлой красоты, и въ сравненіи съ нимъ Ривьеръ, съ его загорѣлымъ лицомъ и съ сѣдьющей головой, казался совершеннымъ старикомъ, хотя въ сущности маркизъ былъ только четырьмя годами моложе его. Онъ такъ гордо держалъ голову надъ своимъ могучимъ торсомъ, такъ самодовольно вдыхалъ воздухъ широкой грудью, такъ глубоко былъ убѣжденъ въ чарующей силѣ своего голоса и магнетическаго взгляда, что его фатовство, прикрытое мужественной отвагой, было непреодолимо.

Тереза любила его мгновенно. Она почувствовала себя побѣжденной съ того дня, какъ онъ самъ, привлеченный пластичной красотой молодой женщины, пустилъ въ ходъ для ея соблазна все свое искусство Донъ-Жуана. Тереза отдалась ему съ упоеніемъ, словно этотъ чудный сонъ не долженъ былъ имѣть пробужденія. Она любила Чіампи такъ-же пламенно, какъ разочаровалась въ Ривьерѣ. Утомленная стоицизмомъ Клода, она со страстью предалась новому для нея чувству восторженнаго поклоненія пе-

редъ идеальной красотой маркиза Олона. Несчастливая женщина, влюбленная въ фантастическій образъ, созданный ея воображеніемъ, воплотила его въ итальянскомъ офицерѣ, котораго ей представилъ мужъ, какъ своего друга.

Что касается Агостино, то онъ самъ поддался любви, которую онъ вдохнулъ въ сердце Терезы. Конечно, онъ не питалъ къ ней пламенной, безумной, все забывавшей на свѣтѣ страсти, но онъ гордился обладаніемъ этой красавицей, съ восторженной, чуткой душой и античнымъ, пластическимъ тѣломъ. Никогда онъ не былъ такъ очарованъ, такъ прельщенъ, какъ этой женщиной, которая, устремивъ на него свои глубокіе, черные, жгучіе, какъ лава, глаза, страстно лепетала:

— Это подло, но я такъ тебя люблю, что ни въ чемъ не раскаиваюсь.

Такимъ образомъ, они любили другъ друга, но ихъ любовь можно было сравнить съ чудеснымъ плодомъ, сердцевину котораго гложетъ червь. Въ глубинѣ души каждаго изъ нихъ зияла чудовищная, открытая рана. Агостино, честолюбивый и раздраженный постоянными неудачами въ жизни, принялъ участіе, какъ мы уже сказали, въ военномъ заговорѣ, въ надеждѣ, что имперія вскорѣ рухнетъ. Иногда онъ съ горечью упрекалъ себя, что дозволилъ женщинѣ, какова-бы она ни была, отвлечь его отъ честолюбивой дѣли. Къ чему могла привести его эта любовь? Однако, подобныя минуты размышленія приходили рѣдко и красота Терезы все еще плѣняла его. Маркизъ, жаждавшій удовольствій, принадлежалъ къ тѣмъ сильнымъ, могучимъ людямъ, которыхъ укрощаетъ только женскій взоръ. Онъ давалъ клятвы, что не будетъ болѣе любить, и все-же любилъ; по временамъ его страсть превращалась въ отчаянную злобу, и ему, подобно Донъ-Жуану, надобно было встрѣчать тѣ-же улыбки, хотя и на различныхъ губахъ, тѣ-же ощущенія, хотя съ различными предметами любви; тогда онъ вырывалъ изъ своего сердца, если оно у него было, любовь съ корнемъ, но черезъ мгновеніе подчинялся снова другой улыбкѣ, другому взгляду. Донъ-Жуанъ — ничто иное, какъ путникъ, стремящійся за идеаломъ въ области страсти и усѣвающій свой путь трупами погубленныхъ имъ существъ, и все въ надеждѣ найти безпредѣльную любовь, которой онъ жаждетъ безнадежно.

Любовь Агостино къ Терезѣ, повидимому, еще не приближалась къ концу. Общая опасность какъ-бы тѣснѣе связывала эти два существа. Агостино зналъ, что его письма, неблагообразно сохраненныя Терезой, должны были находиться въ рукахъ полиціи, и что жену капитана розыскивали; такъ-какъ ему нечего было скриваться, пока Тереза находилась въ безопасности, онъ свободно гулялъ по улицамъ Парижа, прислушиваясь ко всѣмъ толкамъ въ гостинныхъ и кофейныхъ. Ему было извѣстно, что Ривьера перевели изъ Консьержери въ Тампль и что, несмотря на всѣ допросы, капитанъ не выдалъ своихъ товарищей, которые могли продолжать спокойно общее дѣло. Ривьеръ могъ погибнуть, но онъ не промолвить ни слова о заговорѣ. Маркизъ узналъ на тайныхъ сборищахъ заговорщиковъ, подъ предсѣдательствомъ Бернара Тевено, какія мѣры предпринимались для освобожденія Ривьера. Послѣднія собранія, происходившія уже не въ улицѣ Моннартръ, а въ Каврской, у одного изъ заговорщиковъ, по прозвищу *Филопомень*, не имѣли другой цѣли, какъ освобожденіе Ривьера, и посѣщеніе Тампля полковникомъ Тевено было прямымъ ихъ слѣдствіемъ.

Агостино Чіампи слушалъ всѣ разсужденія товарищей по этому предмету съ тайной надеждой, что усилія ихъ не освободятъ узника. Его волновали теперь предчувствіе опасности и ревность къ капитану. Ривьеръ, очутившись на свободѣ, конечно, потребуетъ кроваваго удовлетворенія у маркиза, но этого онъ не боялся. Его пугало одно—что Ривьеръ могъ найти Терезу, отнять ее, въ свою очередь, у любовника и отомстить ей за измѣну. Онъ достаточно любилъ эту женщину, чтобъ подобная мысль была ему нестерпима. Къ тому-же, хотя онъ былъ способенъ бросить Терезу въ ту минуту, какъ перестанетъ ее любить, но не хотѣлъ уступить ее, пока она еще возбуждала въ немъ страстные желанія.

— Но къ чему тревожиться? говорилъ онъ самъ себѣ;—нѣтъ не спасти Ривьера. Намъ нечего опасаться.

Чіампи велъ въ своемъ убѣжищѣ довольно странную жизнь. Желая, повидимому, отогнать отъ себя безпокойныя мысли и найти пищу своей дѣятельности, онъ перегонялъ въ импровизированной, полутемной лабораторіи, выходившей во дворъ, какія-то неизвѣстныя вещества страннаго цвѣта и необыкновеннаго запаха. Чего онъ искалъ въ своихъ ретортахъ—Тереза не знала и даже не

интересовалась узнать. Она по-прежнему жила въ мечтательномъ мірѣ фантазій.

Вдали отъ міра, забытая всѣми, Тереза была счастлива. Она съ упоеніемъ предавалась своей уединенной жизни, подобно нѣкоторымъ существамъ, способнымъ создать себѣ вселенную изъ четырехъ стѣнъ небольшой комнаты. Вся прошедшая жизнь казалась ей сномъ. Грустные дни въ домѣ Шамборо и скучныя, серьезныя бесѣды съ Клодомъ, — все было забыто. Подъ вліяніемъ пламеннаго чувства, въ силу котораго настоящее наполняетъ всецѣло существованіе человѣка, Терезѣ казалось, что она всегда жила съ Агостино, всегда его любила и всегда будетъ любить.

Однако, въ послѣднее время маркизъ Олона казался мрачнымъ и встревоженнымъ. Онъ уже не смотрѣлъ на Терезу съ прежней, обворожительной улыбкой; его волновало что-то лихорадочное, трагическое. Очевидно, онъ страдалъ. Но отчего? Отъ лишеній, которымъ онъ себя подвергалъ, отъ грозившей ему нищеты. Тяжело было аристократу, который могъ рассчитывать на щедроты короля, достигнувъ почти сорока лѣтъ, жить въ бѣдной квартиркѣ, имѣя передъ собою въ будущемъ борьбу съ нищетой и любовью, преграждавшую ему путь къ честолюбивымъ цѣлямъ.

— Я былъ дуракъ! гнѣвно бормоталъ онъ по временамъ сквозъ зубы; — я погубилъ себя своими юношескими мечтами. Теперь единственная для меня надежда — успѣхъ заговора, который дастъ мнѣ возможность создать храмъ счастья.

Впрочемъ, онъ ненавидѣлъ и этотъ заговоръ. Двадцать разъ думалъ онъ, не выдать-ли своихъ товарищей и тѣмъ проложить себѣ дорогу къ богатствамъ и почестямъ; онъ спрашивалъ себя, нельзя-ли было казнью Ривьера, Тевено и другихъ довѣрчивыхъ жертвъ составить себѣ состояніе? Но нѣтъ; если-бъ императоръ и даровалъ ему жизнь за его измѣну, онъ не могъ ожидать пощады отъ тѣхъ заговорщиковъ, которые остались-бы въ живыхъ, а всѣхъ ихъ онъ не зналъ и потому онъ никогда не могъ-бы чувствовать себя въ безопасности. Такимъ образомъ, выгоднѣе было служить дѣлу заговорщиковъ, выжидая удобной минуты воспользоваться ихъ услугами.

Между тѣмъ надо было жить, а средства Агостино приходили къ концу. У него была довольно значительная сумма денегъ, когда онъ похитилъ жену Ривьера. Но жажда погнать Парижъ

и жить спокойно, въ роскоши, онъ однажды вечеромъ вошелъ въ знаменитый игорный домъ, подъ роковымъ № 113, и тамъ, передъ зеленымъ столомъ, заваленнымъ кучами золота, въ опяняющей средѣ азартныхъ игроковъ съ искаженными лицами и полуобнаженныхъ женщинъ, трепещущихъ отъ страсти и восплаляющихъ воображеніе, онъ, какъ безумный, сталъ бросать золото пригоршнями въ надеждѣ удвоить, учетверить свое состояніе. Эта лихорадочная алчность къ выигрышу разорила его. Никогда, быть можетъ, въ этомъ храмѣ азарта не было столь чудовищной игры. Агостино предался ей неистово, безъ оглядки, со всею страстью, которую онъ вносилъ во всякое дѣло. Цѣлую ночь онъ боролся съ судьбою и вышелъ изъ дома № 113 убитый, озлобленный, разоренный.

Теперь всѣ его заботы сосредоточились на одной мысли—добыть денегъ. Тереза, однако, ничего объ этомъ не знала. Маркизу было стыдно ей сознаться въ томъ, что его тревожило. Онъ хорошо понималъ, что эта любящая, восторженная женщина на всегда разочаровалась-бы въ немъ, узнавъ, что любовь къ ней Агостино отуманивалась опасеніемъ за свою будущность, страхомъ нищеты и заботы о завтрашнемъ днѣ.

Агостино получалъ жалованіе, какъ офицеръ французской арміи, но, взявъ отпускъ для излеченія отъ ранъ, онъ забралъ впередъ годовое содержаніе и эти деньги уже давно были всѣ израсходованы, а просить большаго въ военномъ министерствѣ онъ не могъ. Къ тому-же онъ нисколько не заботился о своей военной карьерѣ и не зналъ даже, поступить-ли вновь на службу.

— Если ужъ я долженъ рисковать своей жизнью, думалъ маркизъ,—то съ выгодой для себя, а не для другихъ.

Итакъ, онъ находился въ мрачномъ, раздраженномъ настроеніи, когда извѣстіе о побѣгѣ капитана Ривьера поразило его новымъ ударомъ.

Однажды вечеромъ онъ вошелъ въ комнату Терезы блѣдный, съ зловѣщимъ огнемъ въ глазахъ.

— Что случилось? воскликнула она.—Посмотри на меня, Агостино. Намъ грозитъ несчастье?

— Нѣтъ, но опасность.

— Какая?

— Капитанъ Ривьеръ свободенъ.

— Оправданъ?

— Нѣтъ, бѣжалъ.

— Тѣмъ лучше; по крайней мѣрѣ, его не убьютъ.

— Но если онъ тебя отыщеть, онъ способенъ...

— Меня убить? перебила Тереза. — Да, я думаю. Ну, такъ что-жь? Я тебя люблю и умру со счастьемъ за тебя.

Итальянецъ гордо вскинулъ голову. Внушить столь пламенную любовь считается нѣкоторыми людьми добродѣтелью.

— Ты рѣдкая женщина! сказалъ онъ;—но все-же тебѣ надо быть осторожнѣе и какъ можно меньше выходить изъ дома. Намъ теперь надо избѣгать двухъ опасностей—полиціи и *его*.

— Приказывай и я буду повиноваться, отвѣчала Тереза; — не надо-ли жить въ еще большемъ уединеніи? Хочешь, я скроюсь на чердакѣ, въ лохмотьяхъ нищей? Скажи, что надо сдѣлать, и я исполню безпрекословно твою волю.

— Нѣтъ, не этимъ путемъ мы избѣгнемъ опасности; напротивъ, какъ только я найду необходимыя средства, то вырву тебя отсюда и увезу въ наши вѣжныя, теплыя страны, гдѣ ты, гордая, богатая, будешь принадлежать всецѣло мнѣ. Впрочемъ, можетъ быть, я останусь и здѣсь, если найду,—право, не знаю, какъ,—то могущество, которыми я тамъ пренебрегъ.

Тереза ничего не понимала въ планахъ Агостино, но съвозъ его загадочныя слова она ясно видѣла, что онъ все еще ее любилъ, и этого для нея было достаточно. Что-же касается Агостино, то у него была только одна мысль—бѣжать съ своей возлюбленной, и лишь недостатокъ средствъ удерживалъ его во Франціи.

Между тѣмъ бѣгство капитана Ривьера произвело въ Парижѣ болѣе шума, чѣмъ его арестъ. Герцогъ Отрантскій выходилъ изъ себя отъ бѣшенства и приказалъ произвести строжайшее слѣдствіе.

— Г. Бернье, сказалъ онъ, — поручаю вамъ это дѣло. До сихъ поръ я не раздѣлялъ убѣжденія императора въ могущество тайныхъ обществъ, но теперь я долженъ сознаться, что его величество правъ. Обидно видѣть, что заговорщики имѣютъ въ своихъ рукахъ ключи государственныхъ тюремъ.

На лицѣ Бернье играла его вѣчная улыбка, но онъ въ сущности былъ такъ-же недоволенъ положеніемъ дѣлъ, какъ и самъ Фуше. Дѣйствительно, въ послѣднее время происходили факты, которые не могли не тревожить могущественнаго главу полиціи. Не

задолго передъ этимъ онъ нашелъ на своемъ письменномъ столѣ запечатанный конвертъ съ адресомъ: *Его превосходительству господину министру полиціи, въ собственныя руки*, а въ немъ письмо отъ агента Бурбоновъ, графа Доше, бывшаго капитана королевскаго флота, который открыто предлагалъ ему перейти на сторону Людовика XVIII. Теперь-же члены тайнаго общества освободили узника изъ Тампля. Такимъ образомъ, смѣлость республиканцевъ равнялась смѣлости роялистовъ.

— Если-бъ я дерзалъ давать совѣты вашему превосходительству, сказалъ Бернье, — то я-бы сказалъ, что лучше всего замѣять это дѣло. Побѣгъ узника только убавляетъ число заключенныхъ, но если тюрьма перестанетъ быть угрозой, то это будетъ большей потерей для правительства.

— Вы правы, отвѣчалъ министръ, взглянувъ проникательно на своего искуснаго помощника; — поведите дѣло очень осторожно, и если нельзя вернуть капитана, то удвоимъ надзоръ за другими узниками.

Слѣдствіе о побѣгѣ Ривьера было ведено очень искусно и энергично. Бернье напустилъ на его слѣдъ самыхъ ловкихъ полицейскихъ сыщиковъ, изъ числа тѣхъ, которыхъ образовалъ знаменитый Жанъ-Батистъ Пикуле. Эти эксперты своего дѣла, однако, вскорѣ пришли къ убѣжденію, что найти капитана было невозможно.

Маркиза Ригоди на всѣ вопросы отвѣчала, что она ничего не видала, ничего не слыхала и ничего не подозрѣвала. Фурнье, мажордомъ, доказалъ свидѣтелями, что онъ въ эту ночь рано легъ спать по причинѣ нездоровья. Другіе слуги заявили, что ихъ не было дома, а привратникъ, наученный Фурнье, показалъ, что никто чужой не входилъ въ домъ.

Въ виду всего этого надо было предполагать, что сообщники Ривьера перелѣзли черезъ заборъ сада и спасли его, воспользовавшись подземельемъ, которое причиняло столько безпокойствъ революціонному правительству во время заточенія Людовика XVIII. Однимъ словомъ, полиція въ этомъ дѣлѣ не солоно хлебала, и Бернье, какъ онъ совѣтовалъ министру, замѣялъ его, а общественное мнѣніе, тревожимое смутными слухами, стало еще болѣе придавать значенія военнымъ тайнамъ обществамъ.

Несмотря на неудачу поисковъ полиціи, Агостино не переста-

валъ безпокоиться. Его не покидала ни на минуту мысль, что капитанъ гдѣ-нибудь во мракѣ стережетъ его и при первомъ удобномъ случаѣ жестоко отомститъ за позоръ жены. Если-бъ у него въ рукахъ были тѣ деньги, которыя онъ проигралъ въ роковую ночь, то онъ прямо сказалъ-бы Терезѣ: „бѣжимъ“. Искатели приключеній и влюбленные вездѣ умѣютъ найти себѣ новое отечество. У Агостино было два повода къ бѣгству изъ Франціи, но куда бѣжать и чѣмъ жить?

Среди этихъ заботъ и безпокойствъ Агостино случайно узналъ, что въ послѣднія три недѣли одна прїѣзжая итальянка заставляла говорить о себѣ весь Парижъ, обращая на себя общее вниманіе столько-же остроуміемъ и граціозностью въ гостинныхъ, сколько красотой и роскошью на публичныхъ гуляньяхъ.

Подробности, которыя онъ узналъ объ этой женщинѣ, невольно его поразили. Съ 1799 года маркизъ Олона не носилъ своего титула и былъ извѣстенъ въ арміи подъ именемъ капитана Чампи. Итальянка, надѣлавшая столько шума въ Парижѣ, называла себя маркизой Олона и, только благодаря этому, получала доступъ въ гостинныя офиціальнаго міра.

— Одна только женщина на свѣтѣ имѣетъ право носить этотъ титулъ, сказалъ себѣ Агостино;— неужели это Андреина?

Онъ не видалъ своей сестры съ тѣхъ поръ, какъ покинулъ Неаполь, и писалъ къ ней очень рѣдко, а она ему отвѣчала еще рѣже. Ему было извѣстно, что королева Каролина простила юной представительницѣ маркизовъ Олона революціонныя мнѣнія ея брата, подъ тѣмъ условіемъ, чтобъ она поступила къ неаполитанскому двору и, такъ-сказать, публично загладила-бы его вину.

Агостино навелъ дальнѣйшія справки и убѣдился, что прїѣзжая красавица была дѣйствительно его сестра, Андреина Олона.

Она наняла въ улицѣ Шассе д'Антенъ или Мон-Вланъ, какъ называли ее съ 1793 года, въ этомъ кварталѣ крупныхъ финансистовъ, гдѣ жили банкиры Перего, Рекамье и Увраръ, великолѣпную квартиру въ домѣ № 13-й. Всѣ великосвѣтскіе щеголи искали случая быть представленными маркизѣ и ходили слухи, что она явилась въ Парижъ съ однимъ изъ тѣхъ дипломатическихкихъ порученій, для которыхъ женщины способнѣе мужчинъ, словно государственную тайну легче всего скрыть подъ вѣеромъ.

Однакожь, высшее парижское общество приняло незнакомому не

очень радушно. Странное общество первой имперіи, вновь испеченное, неустановившееся и смѣшанное, жаждущее жизни и игравшее ежедневно смертью, въ которомъ геройство шло рука объ руку съ алчнымъ честолюбіемъ и нахальство откупщика мирилось съ храбростью воина, не отличалось большой строгостью, и свободные нравы директоріи только пріняли новую, военную личину. Однако, въ это общество выскочекъ погибшія созданія не имѣли доступа; онѣ не пользовались, какъ нынѣ, опредѣленнымъ мѣстомъ въ свѣтѣ, не исполняли общественной функціи, то-есть обязанности грызуновъ. Онѣ оставались въ темнотѣ, никому невѣдомыя; ночныя красавицы въ то время не могли пользоваться своей долей солнечнаго свѣта. Такимъ образомъ, прелестная итальянка должна была-бы довольствоваться блестящимъ существованіемъ на рубежѣ большого свѣта, если-бы черезъ короткое время не было достоверно узнано, что ея аристократическое происхожденіе не подлежало никакому сомнѣнію и маркизы Олона принадлежали къ одному изъ древнѣйшихъ родовъ неаполитанскаго королевства. Тогда Андреина Олона получила возможность составить вокругъ себя блестящій кружокъ дипломатовъ, свѣтскихъ щеголей и знатныхъ иностранцевъ.

Поэтому, когда Агостино позвонилъ въ ея домъ въ улицѣ Мон-Бланъ, лакей спросилъ высокогортно:

— Какъ прикажете доложить? Я не думаю, чтобъ васъ пріняли сегодня.

— Неужели? произнесъ Агостино.— Скажите маркизѣ Олона, что пришелъ ея братъ.

— Братъ? Вы...

— Маркизъ Олона. Ступайте.

Дожидаясь возвращенія лакея, Агостино, стоя у окна пріемной, выходившаго въ великолѣпный садъ, съ горечью думалъ онъ ироніи судьбы. Онъ—бѣдный изгнанникъ, полупогибшій, послѣ загубленной даромъ жизни, а сестра его—богатая, знатная особа, роскошно живущая въ самомъ сердцѣ моднаго Парижа. При этомъ онъ безсознательно смотрѣлъ на длинную каштановую алею, которая оканчивалась пышной куртеной розъ, ослѣпительно сіявшихъ подъ лучами солнца.

Вдругъ на этомъ блестящемъ фонѣ показались двѣ фигуры, мужская и женская, медленно приближавшіяся къ окну, у котораго

стоялъ маркизъ. Жѣнщина была прелестная, молодая, изящная; мужчина—въ походной формѣ гусарскаго полка Бершени. Они шли, близко прижавшись другъ къ другу; она граціозно опиралась на его плечо и, закинувъ головку, съ страстной любовью смотрѣла на него, а онъ, нагнувшись къ ней, почти касался губами ея глазъ. Когда они вышли изъ полускрывавшей ихъ густой листвы каштановыхъ деревьевъ и солнце залило ихъ своимъ лучезарнымъ свѣтомъ, Агостино узналъ полковника Солиньяка, котораго онъ часто видалъ во главѣ его полка.

Въ глазахъ его потемнѣло и они налились кровью при видѣ, какъ Солиньякъ вдругъ остановился и пламенно впился устами въ поднятые на него глаза Андреины. Черезъ секунду онъ, однако, выпустилъ ея руку и Агостино увидалъ, какъ къ маркизѣ почтительно подошелъ лакей. Онъ не могъ слышать его словъ, но на лицѣ сестры выразилось удивленіе, смѣшанное съ неудовольствіемъ. Потомъ она обернулась къ Солиньяку и сказала ему нѣсколько словъ. Полковникъ поклонился, поцѣловалъ протянутую ему руку и исчезъ въ темной алеѣ, а маркиза направилась къ дому, обертываясь нѣсколько разъ.

Агостино слышалъ, какъ песокъ хрустѣлъ подъ легкими шагами сестры, а при входѣ ея въ комнату не могъ удержаться отъ выраженія восторга. Андреина была восхитительна, вся въ бѣломъ, съ розой въ волосахъ, одной изъ тѣхъ розъ, изъ которыхъ состоялъ букетъ, пойманный Солиньякомъ въ день парада остриемъ своей сабли.

Она пристально взглянула на брата и страннымъ, ироническимъ тономъ сказала:

— Я думала, что ты умеръ, Агостино.

— И ты носишь по мнѣ трауръ, какъ видно по твоему бѣлому платью, отвѣчалъ маркизъ.

— Что такое семейство? промолвила Андреина съ саркастической улыбкой:—тѣ, которые насъ любятъ и которыхъ мы любимъ, а другіе...

Она не докончила фразы и опустилась въ кресло. Агостино стоялъ передъ нею и, молча старался понять, какія мысли волновали ея сердце.

— Я помню день, когда ты уѣхалъ изъ Неаполя, продолжала Андреина послѣ минутнаго молчанія тѣмъ-же насмѣшливымъ то-

номъ,—хотя много времени прошло съ тѣхъ поръ. Ты едва взглянулъ на меня тогда. Ну, скажи, составилъ-ли ты себѣ счастье во Франціи?

— Мои письма сообщили тебѣ, какъ трудно жить изгнанникомъ. Я боролся съ судьбою и, какъ видишь, живъ; вотъ и все.

— И это хорошо, но недостаточно, замѣтила Андреина.

— Конечно, не довольно жить, а надо жить широко. Научи меня, что дѣлать, чтобъ возвратитъ себѣ то мѣсто въ обществѣ, которое мнѣ принадлежитъ по праву.

— Безъ сомнѣнія, ты сдѣлалъ большую глупость, Агостино. Маркизъ Олона не можетъ браться съ якобинцами, а долженъ не покидать своей касты и бороться за нее.

— Ты, говорятъ, такъ и дѣлаешь.

— Кто тебѣ говорилъ это?

— Всѣ и никто.

— Значитъ, Парижъ мной очень интересуется?

— Очень.

— Это лестно.

— И полезно.

— Что-же говорить обо мнѣ Парижъ?

— Друзья говорятъ, что ты прелестна и обворожительна.

— Да здравствуютъ друзья! А враги?

— Они увѣряютъ, что королева Каролина прислала тебя въ Парижъ, чтобъ сообщать неаполитанскому двору обо всемъ, что дѣлается во Франціи и Тильери.

— Въ такомъ случаѣ, что-же я? Шпіонъ въ юбкѣ?

— Или посланница.

— Лестный титулъ! Кто знаетъ, быть можетъ это и справедливо

— Такъ, значитъ, королева...

— Ея величеству угодно питать неограниченное довѣріе къ моей преданности и способностямъ. Я страстно желала увидать Парижъ; она мнѣ посоветовала ѣхать сюда и я по временамъ имѣю честь переписываться съ нею.

— Но тогда... началъ-было маркизъ.

Андреина пристально устремила свои сверкающіе взоры въ мрачные, блуждающіе глаза брата.

— Тогда что? спросила она рѣзко.

— Твое состояніе должно равняться твоему вліянію, произнесъ маркизъ такимъ-же тономъ.

— Мое состояніе?

— Да; ты, конечно, богата?

— Зачѣмъ ты меня объ этомъ спрашиваешь?

— Потому, что я бѣденъ.

— Въ такомъ случаѣ мы можемъ протянуть другъ другу руку, fratello mio, отвѣчала Андреина, качая головой: — вотъ уже два года, какъ я совершенно разорена и живу день за день. Я люблю удовольствія и спустила все родовое состояніе. Въ одну прекрасную ночь я иллюминировала весь паркъ Сен-Стефано, который обширнѣе многихъ столицъ, а черезъ два дня я его продала, потому что онъ мнѣ наскучилъ. За этотъ замокъ, чисто-королевское жилище, мнѣ заплатили дешево, чѣмъ за лачужку. Конечно, я легкомысленна до безумія.

— Неужели? произнесъ Агостино, сомнѣвавшійся въ истинѣ ея словъ.

— Во всякомъ случаѣ, лучше промотать отцовское наслѣдство, чѣмъ допустить его до конфискаціи, какъ ты.

— А вся эта роскошь? спросилъ Агостино, окидывая взоромъ всю комнату.

— Это послѣдній проблескъ величія, которое улетучится на вѣки, если я не сумѣю придать своей жизни еще большаго блеска. Въ случаяхъ, конечно, не будетъ недостатка. Но до того времени, маркизъ, твоя сестра, подобно тебѣ, должна бороться съ судьбою.

— Неужели? произнесъ съ иронической и недовѣрчивой улыбкой Агостино.

— Ты только-что говорилъ о королевѣ, продолжала Андреина;—ну вотъ, видишь, я живу здѣсь для того, чтобъ сообщать ей о всѣхъ интригахъ и невѣдомыхъ романахъ, происходящихъ въ грозной Франціи. Жизнь, которую я веду въ Парижѣ, оплачивается неаполитанскимъ дворомъ; но онъ не отличается щедростью. Я не знала-бы, что дѣлать, если-бъ до сихъ поръ мнѣ не помогали остатки прежняго состоянія, а теперь жду, чтобы щедрая рука короля Фердинанда уплатила долги, которые я сдѣлала въ этомъ городѣ, гдѣ, вопреки пословицъ, все то золото, что блеститъ.

— Неужели? произнесъ Агостино;—а я пришелъ...

Онъ умолялъ, пожавъ плечами, но черезъ минуту прибавилъ:

— Не можетъ быть, чтобы ты не могла мнѣ помочь вернуться изъ Парижа.

— А тебѣ грозитъ опасность?

— Быть можетъ.

— Что-же тебѣ нужно?

— Три мѣсяца обезпеченнаго состоянія. Неужели ты не можешь мнѣ этого доставить?

— Три мѣсяца обезпеченнаго состоянія? Конечно, могу, отвѣчала Андреина.

Она сняла съ руки великолѣпный браслетъ изъ массивнаго золота, съ изумрудомъ, а изъ ушей серьги съ двумя крупными бриллиантами, блестящими, какъ двѣ капли росы на лепесткахъ розы.

— Возьми, сказала она холодно, подавая эти драгоценныя вещи удивленному маркизу; — съ этимъ ты дойдешь куда угодно. Когда судьба станетъ ко мнѣ милостивѣе, то и я буду щедрѣе.

— Андреина, отвѣчала маркизъ, отталкивая руку сестры, — ты меня не поняла. Какъ я ни страшусь грозящей мнѣ крайности, но я еще не дошелъ до того, чтобы просить милостыню. Если ты не богата, то сохрани свои драгоценности. Я найду другой способъ къ спасенію.

— Какъ хочешь, отвѣчала Андреина, бросая браслетъ и серьги на столъ. — А гдѣ-же ты найдешь этотъ способъ спасенія? Въ заговорѣ? Это безумно!

— Кто тебѣ сказалъ, что я заговорщикъ?

— Право, не знаю; но это вѣрно, вотъ и все. О! Agostino mio, рожего Agostino! какой ты безумный! Если-бъ еще ты обладалъ вѣрой, которая даетъ силу пренебрегать всѣми опасностями и переносить все лишенія; но какимъ ты былъ въ дѣтствѣ, такимъ остался и теперь. Въ Неаполѣ ты изъ пустого каприза перешелъ на сторону республиканцевъ, а здѣсь, въ Парижѣ, служишь имъ по привычкѣ. Pazzo! Рожего pazzo! Знаешь, что-бы я сдѣлала на твоёмъ мѣстѣ? прибавила она, вдругъ измѣняя свой тонъ: — я по прихвѣру многихъ, поправила-бы свои дѣла богатой жевитъбой.

— Избитый способ! возразилъ Агостино.

— Конечно, но вѣрный. Ты молодъ, красивъ собою и маркизъ Олона; неужели въ этомъ обществѣ деньщиковъ, превратившихся въ маршаловъ, не найдется женщины, которая-бы влюбилась въ настоящаго аристократа? Мы съ тобою только и можемъ торговать своимъ именемъ. И, маркизъ, я дорого-бы его продала. А если-бы ты вздумалъ жениться на настоящей аристократкѣ, то кто тебѣ сказалъ, что это не удастся?

— Я не понимаю, сказалъ Агостино.

— Ты знаешь графиню Фаржъ?

— По имени и репутаціи.

— Графиня—моя сосѣдка; наши дома раздѣлены только садовой стѣной. Вонъ тѣ деревья уже въ ея саду. Она молодая, красивая, богатая вдова. За ней ухаживаютъ всѣ, но она никого еще не любила, не исключая своего стараго мужа, который догадался умереть, когда у него стала развиваться подагра. Рег Вассо, Agostino mio, если-бы кто спросилъ у меня совѣта, то я сказала-бы: влюбите въ себя бѣлокурую графиню. Это великолѣпная партія!

Маркизъ задумался и Андреина слышала, какъ онъ промолвилъ про себя:

— Быть можетъ, она права.

Но вдругъ онъ какъ-бы увидалъ передъ собою соблазнительный образъ Терезы, съ ея огненными глазами и черными волосами, и, проводя рукою по лбу, сказалъ:

— Нѣтъ, чтобъ влюбить въ себя эту графиню, необходимо самому никого не любить.

— Такъ ты тоже любишь! воскликнула Андреина, обнаруживая въ этихъ немногихъ словахъ свою собственную любовь.

Агостино между тѣмъ безсознательно смотрѣлъ въ садъ, но теперь, увидавъ Солиньяка, ходившаго взадъ и впередъ по алеѣ, указалъ на него сестрѣ.

— Что здѣсь дѣлаетъ этотъ человѣкъ? спросилъ онъ.

Глаза итальянки свергнули вызывающимъ блескомъ и гордымъ счастьемъ.

— Полковникъ Солиньякъ? сказала она съ прелестною улыбкой;—а тебѣ какое дѣло?

— Онъ, кажется, здѣсь какъ дома?

— Да, онъ у меня, отвѣчала Андреина твердо.

Съ этии словами она подошла къ двери, выходившей въ садъ, и прибавила:

— До свиданія, Агостино.

Поклонившись маркизу, она вышла изъ комнаты и медленно направилась по каштановой алеѣ къ тому мѣсту, гдѣ видѣлся Солиньякъ.

Около минуты Агостино слѣдилъ за удалявшейся сестрой. Потомъ онъ обернулся и, увидавъ браслетъ и серьги, промолвилъ съ презрѣніемъ:

— Я отказался отъ милостини, но что дѣлать съ ея совѣтомъ?

Выходя изъ дома Андреины, онъ долженъ былъ остановиться, чтобъ пропустить мимо себя ландо, вѣзжавшее въ ворота сосѣднаго дома. Въ экипажѣ полулежала молодая, бѣлокурая красавица, прелестная, изящная, показавшаяся ему какимъ-то чуднымъ видѣніемъ. Онъ долго стоялъ, пораженный этой встрѣчей, послѣ того, какъ ворота затворились за экипажемъ; на его зрачкахъ словно остались черныя пятна, какъ бываетъ, когда пристально смотришь на солнце. Но онъ не зналъ хорошенько, что его именно ослѣпило—бриллианты сестры или красота этой женщины, оставившей послѣ себя какъ-бы благоуханіе любви и блестящій слѣдъ лучезарнаго свѣта.

„Это графиня Фаржъ, подумалъ Агостино; — женскій совѣтъ—совѣтъ дьявола. Неужели Андреина права?“

ГЛАВА X.

МАЛЕНЬКАЯ ГРАФИНЯ.

Жизнь полна необыкновенныхъ совпаденій и странныхъ анти-тезъ: въ то самое время, когда маркизъ Олона страшился увидѣть между собою и Терезой грозное лицо Ривьера, капитанъ жаждалъ только одного — найти итальянца и убить его. Но для него еще болѣе, чѣмъ для Чампи, была необходима осторожность. Полиція разыскивала капитана такъ-же тщательно, какъ Терезу. Ему стоило только уйти изъ дома или сдѣлать малѣйшую неосторожность и онъ навѣрно-бы погибъ.

Выйдя изъ Тампля, Клодъ Ривьеръ далъ слово Солиньяку не подвергать себя опасности изъ безумной жажды мести. Полковникъ часто напоминалъ ему объ этомъ обѣщаніи; Солиньякъ имѣлъ надъ своимъ другомъ то вліяніе, какое всегда имѣетъ оказавшій важную услугу надъ тѣмъ, кого онъ облагодѣтельствовалъ; ему не трудно было удержать Ривьера отъ всякой попытки рисковать своей жизнью для отысканія Терезы. Ему стоило только сказать:

— Кто можетъ поручиться, что засадивъ васъ снова въ тюрьму и произведя строжайшее слѣдствіе, полиція не откроетъ моего участія въ вашемъ бѣгствѣ?

Солиньякъ зналъ, что чувство самосохраненія не удержало-бы Ривьера отъ самой смѣлой попытки, но ему также было хорошо извѣстно, что капитанъ изъ опасенія подвергнуть его отвѣтственности готовъ былъ терпѣливо переносить свои страданія. Вотъ почему Солиньякъ указывалъ на грозившую ему опасность. Чтобы отвлечь ее отъ друга, онъ, никогда ничего небоявшійся, сталъ, повидимому, заботиться о своей безопасности.

Ривьеръ жилъ, никому невѣдомый, въ маленькомъ домикѣ въ улицѣ Сен-Жанъ, какъ тогда называли ту часть улицы Шато-До, которая теперь находится между улицей Сен-Дени и предмѣстьемъ Сен-Мартена; съ одной стороны этого уединеннаго жилища находился деревяннй дворъ, а съ другой, по странной случайности, домъ палача Сансона. Солиньякъ полагалъ, что капитану легче было укрыться отъ полиціи въ многолюдномъ кварталѣ, и, дѣйствительно, ближайшіе сосѣди не подозрѣвали, что въ маленькомъ павильонѣ, скрытомъ дровами и деревьями, завелся жилецъ. Впрочемъ, самое мѣстоположеніе этого жилища не дозволяло постороннимъ людямъ слѣдить за тѣмъ, что дѣлалось въ павильонѣ. Между сосѣдними домами и деревяннымъ дворомъ находился только узенькій проходъ, по которому отъ времени до времени проникалъ къ своему сыну старикъ Ривьеръ, принимавшій при этомъ всевозможныя мѣры, чтобъ не обратить на себя вниманія.

Жизнь Клода походила во многомъ на жизнь Чіампи, то-есть была полна тревогъ и безпокойствъ. Могушая преграда отдѣляла этихъ людей другъ отъ друга, не позволяя имъ встрѣтиться и уничтожить одинъ другого; эта преграда была—общая опасность.

Агостино долженъ былъ скрывать Терезу, а Клодъ самъ обязанъ былъ подчиниться добровольному заключенію въ уѣзничѣ, которое ему приготовилъ Солиньякъ.

— По крайней мѣрѣ, утѣшалъ онъ себя, — эта пытка продлится недолго!

На кого и на что онъ надѣялся — Клодъ самъ этого не зналъ; быть можетъ, на Бернарда Тевено, на Солиньяка, на случайность, на все и на ничто. Несчастные бываютъ довѣрчивы, какъ дѣти, и суевѣрны, какъ женщины.

— Главное, говорилъ Шамборо, которому Ривьеръ рассказаль о бѣгствѣ сына, — чтобъ бѣдный юноша былъ на свободѣ. Грустно было-бы потерять такого человѣка. А Тереза, прибавляль онъ, — кто-бы могъ подумать! Ну ужъ эти женщины, когда взбѣсятся!..

Слыша постоянно подобныя восклицанія, Жюли повторяла Плянтаду:

— Вотъ видите, гражданинъ Плянтадъ, вы не выбьете изъ моей головы мысль, что сердце нашего господина ужалила какая-нибудь женщина. Несмотря на старость, его рана еще не зажила. Да, гражданинъ Плянтадъ, бываютъ раны, которыя и время не залечиваетъ.

Шамборо никогда не выходилъ изъ дома въ улицѣ Почтъ, проводя всю свою жизнь въ библіотекѣ, саду и столовой, гдѣ находилъ единственное утѣшеніе, но однажды ночью онъ отправился навѣстить Клода Ривьера въ его уединенномъ жилищѣ.

— Я васъ сожалею, сказалъ онъ, смотря прямо въ глаза молодому человѣку и крѣпко сжимая ему руку.

— Нѣтъ, отвѣчалъ Ривьеръ съ покорностью и мужествомъ, — не страданіе, а предательство достойн сожалѣнія. Лучше сожалѣйте человѣка, который, давъ слово, нарушаетъ ему и нарушаетъ свою клятву.

Возвышенный стоицизмъ капитана тронуль до глубины души члена конвента, тѣмъ болѣе, что ему была известна пламенная страсть, клокотавшая въ груди Клода.

— Вы правы, отвѣчалъ онъ; — впрочемъ, люди раздѣляются на двѣ категоріи: одни ищутъ только счастья, а другіе исполняютъ свой долгъ. Вы, любезный Клодъ, принадлежите къ послѣднимъ и я за это передъ вами преклоняюсь. Но я долгимъ опытомъ разочаровался въ людяхъ и идеяхъ, а потому позвольте мнѣ

дать вамъ совѣтъ. Свобода также женщина, не предавайтесь ей всецѣло.

— Я принадлежу дѣлу, которому служу, и останусь ему вѣрнымъ до послѣдняго дыханія.

— Вы правы, но вѣдь толпа жаждетъ господина. Оставьте ее пресмыкаться и слѣдуйте моему примѣру. Пока въ остальномъ мѣрѣ происходитъ оргія силы, вы запрячьтесь въ библіотеку и читайте *Кандида*.

— Жизнь моя принадлежитъ товарищамъ по оружію; если они скажутъ мнѣ: умремъ или освободимъ отечество, я умру.

— Безчисленная толпа взглянетъ на вашъ трупъ безъ всякаго вниманія и ваша невѣдомая могила будетъ всѣмъ забыта.

— Пускай, но я исполнилъ свой долгъ.

— Если-бъ пришлось, то я, кажется, готовъ послѣдовать за вами, покинувъ свои книги, землянику весной и грецкіе орѣхи осенью. Жертвы много значатъ. Быть можетъ, вы и правы, любезный Клодъ.

Съ этими словами членъ конвента простился съ Ривьеромъ.

Такимъ образомъ, капитанъ, несчастный, обманутый, былъ счастливымъ Агостино Чампи, который среди своего презрѣннаго торжества искалъ мрака и уединенія. Кромѣ того въ душѣ итальянца происходилъ новый переворотъ, благодаря словамъ Анджени, указавшей ему невѣдомую, соблазнительную цѣль.

Графиня Фаржъ! Дѣйствительно, она составляла прекрасную, блестящую, неожиданную партію. Богатство и счастье представлялись ему въ видѣ прелестной женщины. Человекъ, который женился-бы на ней, сдѣлался-бы богачемъ. Наведя справки о жизни, характерѣ и состояніи молодой вдовы, онъ сталъ повторять про себя любимое итальянское выраженіе: „*Chi lo sa?*“

Кто знаетъ? Мечтательные люди и народы постоянно задаютъ себѣ этотъ вопросъ. Итальянцы, вѣчно мечтающіе о невозможномъ, наконецъ превращаютъ возможное въ невозможное. Однако Агостино все еще любилъ Терезу. Такъ что-жь? Онъ могъ любить ее и быть ею любимымъ по-прежнему. Разрѣшивъ такимъ образомъ тревожный вопросъ о Терезѣ, маркизъ снова повторялъ: кто знаетъ?

Графиня Луиза Фаржъ была, быть можетъ, самая хорошенькая женщина при императорскомъ дворѣ. Ей было двадцать лѣтъ,

она была вдова, и шепотомъ увѣрили, что она имѣла полное право называть себя молодой дѣвушкой. Покойный графъ Фаржъ не могъ противъ этого протестовать. Ее сравнивали часто съ госпожей Рекамье; она, дѣйствительно, была такъ-же неуязвима и не подвергалась никакимъ нападкамъ, но, по общему признанію, графиня Луиза болѣе походила на женщину, чѣмъ на богиню; въ ея груди билось сердце, а прелестная улыбка, игравшая на ея губахъ, казалось, говорила:

— Я желаю любить, но хочу выбрать человѣка по сердцу.

Отъ всѣхъ предлагаемыхъ ей партій она отказывалась, потому что не хотѣла доставлять счастья другому, сама его не раздѣляя. Такимъ образомъ, она оставалась независимой и все ея семейство ограничивалось старымъ дѣдомъ, который какъ-бы олицетворялъ ея прошедшее. Богатая, любимая всѣми и обожаемая безчисленными поклонниками, графиня Луиза спокойно жила въ атмосферѣ роскоши, общаго уваженія и любви, зная, что каждая протянутая къ ней рука и брошенный на нее взглядъ дышали нѣжнымъ сочувствіемъ.

На послѣдней художественной выставкѣ портретъ графини Фаржъ, работы Робера Лефевра, произвелъ громадный эффектъ и долго привлекалъ весь Парижъ. Наполеонъ, слыша, что многіе находили красоту графини Фаржъ слишкомъ ребяческой, сказалъ, по свидѣтельству современныхъ мемуаровъ:

— Многія красавицы были-бы хороши только въ драгунскомъ полку, а графиня Луиза прелестна какъ драгоценная игрушка.

Графиня Фаржъ считалась баловнемъ императора, который былъ ей признателенъ за украшеніе его двора ея красотой и аристократическимъ происхожденіемъ. Графъ Фаржъ находился въ числѣ первыхъ аристократовъ, присоединившихся къ имперіи, и высочайша-цесарь не забывалъ той чести, которую оказалъ его новой имперіи этотъ потомокъ гордыхъ рыцарей. Луиза сама была дочь маркиза Новаля и старикъ Новаль черезъ нее могъ еще сдѣлаться сенаторомъ имперіи.

Къ тому-же императоръ подчинялся, подобно всѣмъ, ея непреодолимой граціи и плѣнительнымъ чарамъ. Онъ всегда выхватывалъ ея туалетъ и часто, упрекая Жозефину за ея чрезмѣрные расходы, замѣчалъ съ сердцемъ:

— Берите, моя милая, примѣръ съ графини Луизы. Она

одѣвается прекрасно и не уродуетъ себя разными побрякушками. Она не надѣваетъ турбановъ съ перьями, которые такъ любить синій чулокъ—г-жа Сталь. Маленькая графиня—образецъ прелестной женщины, это райская птичка.

Однажды вечеромъ на придворномъ балу императоръ, до того заботившійся объ экономіи, что ходилъ по лавкамъ узнавать цѣну различнымъ предметамъ, поставленнымъ ко двору, похвалилъ прелестную простоту платья графини, которое, такъ-же какъ куафюра, было украшено только скромной вѣткой папоротника.

— Посмотрите, какъ хороша сегодня маленькая графиня, сказала она Жозефинѣ такъ громко, что слышали все окружающіе;—она не разоритъ своего мужа на тряпки, если рѣшится выйти во второй разъ замужъ.

Жозефина молча улыбнулась, зная, что скромное украшеніе туалета графини было изъ серебра съ зеленой эмалью и стоило 25,000 франковъ, въ магазинѣ ювелировъ Бахмана и Бапета.

— Это только доказываетъ, сказала она на другой день своимъ придворнымъ дамамъ,—что можно одерживать побѣды, не зная никакого толку въ ювелирномъ искусствѣ.

Графиня Фаржъ была достаточно богата, чтобъ позволять себѣ подобныя прихоти. Къ тому-же она ни отъ кого не зависѣла. Старшій маркизъ Новаль, некогда капитанъ королевскаго флота при Людовикахъ XV и XVI, уже давно не выходилъ изъ своей комнаты и дозволялъ, хотя и съ неудовольствіемъ, своей внучкѣ блистать при дворѣ узурпатора, корсиканца, злодѣя и якобинскаго императора, какъ онъ называлъ Наполеона.

— Я васъ ни въ чемъ не стѣсняю, графиня, говорилъ онъ,—и если графу Фаржу, вашему мужу, угодно было прицѣпить свой гербъ къ мечу, то вы вольны оставаться въ этой трущобѣ. Но если вамъ вздумается выбрать въ мужа одного изъ императорскихъ солдатъ, то я вспомню тогда, что я маркизъ Новаль, и, несмотря на ваше вдовство, вашу независимость и новыя идеи, выскажу свою волю дочери моего сына, какъ глава семейства и послѣдній представитель старшей линіи геройскаго рода.

— Это ваше право, отвѣчала маркиза,—но не безпокойтесь, ваша внучка не дастъ вамъ случая имъ воспользоваться.

— Отчего?

„Дѣло“, № 8.

12

— Оттого, что я, по всей вѣроятности, никогда не выйду замужъ.

Дѣйствительно, графиня, какъ узналъ Агостино, цѣнила болѣе независимость, чѣмъ второй бракъ. Въ улицѣ Мон-Блана она была царицей маленькаго двора; туда стекались также поэты и артисты, какъ и знатнѣйшіе представители тильерійскаго двора. Въ этомъ только и упрекалъ Наполеонъ „свою маленькую графиню“, какъ онъ называлъ Луизу Фаржъ.

— Такъ вы, графиня, любите идеалоговъ? сказалъ онъ однажды рѣзкимъ тономъ.

— Идеалоговъ, ваше величество?

— Да, стихоплетовъ и фразеровъ.

— Я люблю все, что пѣляетъ умомъ, мужествомъ и славой.

— Вы хотите отдѣлаться комплиментомъ. Въ самой хорошенькой женщинѣ всегда скрывается тонкая хитрость. Во всякомъ случаѣ, скажите вашимъ поэтишкамъ отъ моего имени, что ихъ обязанность писать патриотическія трагедіи и воинскія пѣсни. Если поэзія не подстрекаетъ людей къ бою, она совершенно бесполезна.

— Неужели она не полезна, прославляя побѣды, одержанныя при звукахъ боевой трубы?

— За маленькой графиней всегда послѣднее слово, замѣтилъ Наполеонъ съ улыбкой.

Бракъ съ этой-то женщиной, по словамъ Андроины, долженъ былъ составить цѣль всѣхъ честолюбивыхъ стремленій Агостино. И эту-то женщину маркизъ увидалъ въ коляскѣ, сіявшую красотой, словно богиня въ воздушной колесницѣ.

Мало-по-малу, проводя дни и ночи въ постоянныхъ мечтаніяхъ, Агостино Чіампи пришелъ къ тому убѣжденію, что счастье и богатство были отъ него недалеко, за стѣною того сада, въ которомъ онъ видѣлъ Солнныка, гулявшаго съ Андрειной.

— Да, Андрейна права! Надо жениться на этой женщинѣ, повторялъ онъ про себя, подстрекая еще болѣе смѣлость, не останавливавшуюся ни передъ чѣмъ для достиженія желанной цѣли.

Всѣ миражи кажутся соблазнительными и близкими, когда не стараешься ихъ достигнуть. Но что слѣдовало предпринять Агостино для осуществленія своей честолюбивой мечты? На что нужно было рѣшиться для полученія руки графини Фаржъ?

Странно сказать, Агостино все еще любилъ Терезу, которая также составляла мечту, мечту любви, осуществленную цѣною безчестія. Онъ любилъ ее за ея чарующую, соблазнительную силу, за мраморную красоту, за огонь, который разливался на всему ея существу и пожиралъ страстнаго итальянца. Онъ зналъ, что эта любовь, хотя и вполне удовлетворяла его страсти, не могла долго продлиться. Даже въ самыя безумныя минуты опьяняющаго счастья Агостино отвѣчалъ съ улыбкою на всѣ вопросы Терезы.

— Ты всегда будешь меня любить, всегда?

— Да, всегда.

Но въ глубинѣ своего сердца онъ думалъ, долго-ли продлится это всегда.

Тереза ни о чемъ не думала. Она вѣрила. Но подобная до-вѣрчивая, преданная душа, отдаваясь всецѣло, возвращаетъ себя такъ-же быстро свою свободу, когда убѣждается, что ее обманули. Теперь еще она находила въ любви оправданіе своей винѣ. Она вѣрила, что можно съизнова начать жизнь и что, найдя осуществленіе своихъ пламенныхъ мечтаній, ей нечего было бояться. Этой романтичной, увлекающейся душѣ суждено было очнуться неожиданно, съ крикомъ ужаса, какъ просыпается спящій во время пожара.

Наконецъ, послѣ долгихъ размышленій, Чіампи рѣшился пожертвовать страстью къ Терезѣ своему честолюбію. Онъ былъ одинъ изъ тѣхъ людей, которые для спасенія всего тѣла не задумываются объ отнятій руки.

Однажды вечеромъ онъ возвратился въ свое скромное жилище въ предмѣстьѣ св. Антонія блѣднѣе и разстроеннѣе обыкновеннаго. Его густыя брови были насулены и глаза едва видѣлись.

Пораженная страннымъ выраженіемъ его лица, Тереза встревожилась. Отличаясь удивительной впечатлительностью и какимъ-то пророческимъ провидѣніемъ, она тотчасъ почувствовала, что ей грозитъ несчастье.

— Что случилось? спросила она, стараясь взглянуть въ глаза Агостино.

Но онъ избѣгалъ ея взора и не поднималъ головы. Выраженіе его красиваго, мужественнаго лица говорило скорѣе о скукѣ и нетерпѣніи, чѣмъ о гнѣвѣ или страданіи.

— Что случилось? Ты видѣлъ мужа? спросила Тереза.

— Нѣтъ.

— Что-жъ тебя беспокоитъ? Мы здѣсь въ опасности? Надо бѣжать? Я готова.

— Не все-ли равно, гдѣ находишься, когда не можешь жить по своему желанію, отвѣчалъ Агостино съ горечью.

— Ты страдаешь, Агостино! Чего-жъ тебѣ не достаетъ?

— Жизни, сказалъ маркизъ.

Тереза отскочила отъ него, какъ ужаленная.

— Да, жизни. Наше прозваніе—не жизнь!

— Если ты думаешь обо мнѣ, то, клянусь, я никогда не была такъ счастлива, какъ въ этомъ мрачномъ убѣжищѣ.

— Конечно, я думаю о тебѣ... Ты для меня всѣмъ пожертвовала... Но у насъ есть и другія заботы.

— Какія?

— Тереза, сказалъ рѣзко Агостино, —мы не имѣемъ никакихъ средствъ къ существованію.

— Никакихъ средствъ къ существованію?

— Да! Дѣйствительность обрѣзываетъ крылья всѣмъ мечтамъ. У меня нѣтъ болѣе денегъ. Я дѣлаю все, что могу, но всѣ мои усилія тщетны; насъ окружаетъ какал-то невидимая, но непроницаемая преграда, черезъ которую невозможно перешагнуть. Я до сихъ поръ тебѣ объ этомъ ничего не говорилъ, предпочитаю страдать одинъ. Ты не знаешь, Тереза, что такое нищета. Она намъ грозитъ, проглядывая, и завтра сожметъ насъ въ своихъ желѣзныхъ когтяхъ.

Тереза смотрѣла на Чіампи изумленными, безумными глазами. Онъ никогда съ нею такъ не говорилъ. Онъ вдругъ преобразился и съ такимъ остервененіемъ произнесъ слово нищета, что одно мгновеніе она подумала, не хочетъ-ли онъ подвергнуть испытанію ея любовь. Но нѣтъ, маркизъ продолжалъ съ горечью говорить о своихъ попыткахъ, желаніяхъ, надеждахъ и разочарованіяхъ.

— Я продала всѣ свои брилліанты! воскликнула Тереза, —у меня ничего нѣтъ, а то...

— Твои брилліанты! Ихъ не хватитъ на одну ставку! Я проигралъ не такія суммы! Да, для тебя, чтобъ бѣжать отсюда съ тобою и жить въ довольствѣ, я поставилъ все на карту и—потерялъ. Теперь мнѣ остается только надѣть снова солдат-

скую шинель и подставить голову шальной пулѣ. Одну минуту я вѣрилъ въ успѣхъ безумнаго военнаго заговора, но, вижу, мнѣ не выиграть и этой игры. Все пропало. Я въ отчаяніи. Что дѣлать?

— Не знаю, отвѣчала Тереза;—я понимаю только одно—что ты меня болѣе не любишь.

— Я! воскликнулъ Агостино.

Тереза произнесла послѣднія слова мрачнымъ, глухимъ голосомъ, словно въ сердцѣ ея что-то вдругъ порвалось.

— Милая Тереза, продолжалъ Агостино,—вѣдь я только-что сказалъ, что изъ любви къ тебѣ я проигралъ все свое состояніе. О, *maladetto!* Все состояніе!

— Развѣ мы не можемъ и нищѣ любить другъ друга? сказала Тереза, впиваясь въ тревожно бѣгавшіе глаза маркиза.

— Да, мы можемъ любить другъ друга, но не наслаждаться жизнью, широкой, блестящей, какъ я всегда желалъ. Быть нищимъ, не занимать мѣста на банкетѣ жизни, когда имѣешь на то право и душу томить жажда земныхъ благъ—какая пытка, какое униженіе! Ты этого не понимаешь!

— Я все понимаю, но мнѣ страшно, отвѣчала Тереза, для которой каждое слово Чіампи было острымъ кинжаломъ.

— Что-жь ты понимаешь?

— Я не задумалась-бы, если-бъ пришлось выбирать между тобою и всѣмъ міромъ, я осталась-бы съ тобою въ самой мрачной трущобѣ, а ты готовъ безжалостно пожертвовать мною какой-то безумной, честолюбивой мечтѣ. Я это вижу... Я это чувствую... Не говори: нѣтъ. Я теперь читаю въ твоемъ сердцѣ, какъ въ открытой книгѣ.

— Такъ ты должна знать, что любовь къ тебѣ наполняетъ мое сердце и жизнь съ тобою была-бы величайшимъ для меня счастьемъ, но любовь къ тебѣ разорила всѣ мои самолюбивыя мечты.

— А мнѣ развѣ эта любовь не стоила чести? воскликнула Тереза, сверкая своими черными глазами.—Для тебя ничто спокойствіе и честное имя женщины? Ты страдалъ! А ты не считалъ ночей, проведенныхъ мною безъ сна? Ты не спрашивалъ себя: не преслѣдуетъ-ли меня страшный образъ человѣка, жизнь котораго я погубила? Мужчины всѣ эгоисты! Ты счелъ все, что по-

терялъ любя меня, но ты забылъ, что я пожертвовала большимъ — своимъ прошедшимъ и честью благороднаго человѣка!

— Честь за честь идетъ! произнесъ съ дикимъ смѣхомъ маркизъ Олона. — Если ты пала ради меня, то я совершилъ преступленіе ради тебя. Мы квиты.

— Теперь я не понимаю! воскликнула Тереза, схвативъ за руки Агостино. — Что ты сдѣлалъ для меня? Развѣ я просила какой-нибудь нивости или преступленія?

— Ты не просила, но я тебя любилъ, и этого довольно. Чтобы сохранить тебя и увести изъ Парижа, гдѣ онъ на свободѣ, я...

Онъ умолялъ, словно боясь продолжать.

— Ну! воскликнула Тереза. — Что-жъ ты сдѣлалъ?

— Ничего.

— Нѣтъ, ты долженъ сказать. Зачѣмъ ты началъ? Умоляю тебя, Агостино, скажи, что ты сдѣлалъ? Конечно, ничего дурнаго, ничего преступнаго!.. Я всегда мечтала, что ты лучше и выше всѣхъ... Я полюбила тебя и полюбила. Ты не сдѣлалъ ничего безчестнаго, ты Чіампи? Маркизъ Олона неспособенъ на нивость! Нѣтъ, это невозможно!

Онъ молчалъ.

Сердце Терезы сжалось; она задрожала всѣмъ тѣломъ. Этотъ массивный, геркулесовски сложенный человѣкъ, съ гордой, курчавой головой и атлетическими руками, стоялъ безмолвный, опустивъ голову, какъ провинившійся ребенокъ.

— Ну, что-же? продолжала Тереза; — тебя преслѣдуютъ, тебя ищутъ?

— Нѣтъ, отвѣчалъ онъ съ странной иронической улыбкой, — нѣтъ. То, что я сдѣлалъ, никто не знаетъ и никому не будетъ известно, кромя тебя.

— Кромя меня?

— Конечно, эта тайна принадлежитъ тебѣ, такъ-какъ я ради тебя — слышишь, ради тебя — сдѣлался воромъ.

Онъ какъ-бы находилъ какое-то ужасное удовольствіе опозорить себя въ глазахъ Терезы. Если-бъ онъ искалъ ея презрѣнія и ненависти, то не сумѣлъ-бы сказать этихъ страшныхъ словъ болѣе рѣзкимъ и грубымъ тономъ.

Воръ! Онъ воръ! Это роковое, позорное слово поразило ее въ самое сердце. Она пронзила его взглядомъ и дико воскликнула:

— Что ты говоришь! Ты воръ? Ты убилъ-бы всякаго, кто осмѣлился-бы вѣстивъ на тебя такую клевету.

— Да, я воръ! И ради тебя, ради того, чтобъ съ тобою уѣхать на край свѣта и жить вѣчно вдвоемъ.

— Такъ это правда? Повтори еще разъ. Ты не смѣешься надо мною? Ты-ли это говоришь? Ты съ ума сошелъ, Агостино, опомнись!

— Я сказалъ правду. Деньги, которыя я проигралъ, желая ихъ удешевить, были чужія.

Тереза на этотъ разъ отскочила отъ него съ омерзѣніемъ, словно наступила на какую-нибудь гадину. Она сомнѣвалась до этой минуты. Все, что говорилъ Чіампи, казалось ей болѣзненнымъ бредомъ. Но это ясное, опредѣленное признаніе уничтожало всё иллюзіи. Итакъ, кража, позорное преступленіе, черныя убійства, наложило свою мрачную печать на Агостино!

— Зачѣмъ вы открыли мнѣ свое преступленіе, маркизъ? сказала она рѣзко, — зачѣмъ? Вы хотите, чтобъ я была вашей общинницей? Я думала, что я только погибла, но я теперь только вижу, какъ низко пала я, несчастная!

Она опустила на стулъ и, машинально сжавъ руки, поникла головой.

Маркизъ устремилъ на нее странный взглядъ; онъ какъ-бы любовался ею и слѣдилъ за каждымъ ея движеніемъ. Очевидно, онъ съ цѣлью бросилъ ей въ лицо свое страшное признаніе, но невозможно было отгадать эту цѣль по его глазамъ.

— Ты никогда мнѣ не простишь? спросилъ онъ послѣ продолжительнаго, тяжелаго молчанія.

— Я?

— Ты, произнесъ онъ, придавая своему голосу выраженіе пламенной любви.

— Такъ это была исповѣдь и вы рассчитывали, что я разрѣшу вамъ этотъ страшный грѣхъ?

— Можетъ быть. Эта тайна меня мучила. Я не могъ болѣе скрывать ее въ своемъ сердцѣ и высказалъ все. По крайней мѣрѣ, прибавилъ онъ, устремляя на нее взглядъ, молившій объ отвѣтъ, — ты, Тереза, унесешь въ могилу мою тайну.

Тереза сидѣла неподвижно и глаза ея были безсознательно устремлены въ пространство.

— Никто не узнаеть того, что я тебѣ сказалъ? повторилъ Агостино.

— Господи! воскликнула Тереза, — я никогда не выговорию такого ужаса. Мнѣ кажется, что я соучастница вашего преступленія.

Хотя Агостино успокоился насчетъ немедленной опасности, но онъ повялъ, что пламенная вѣра въ него Терезы была разрушена на-вѣки. Странная улыбка показалась на его губахъ; онъ нетерпѣливо дернулъ себя за усы и молча направился въ двери, продолжая черезъ плечо смотрѣть на Терезу.

Услыхавъ скрипъ двери, она вздрогнула и, поднявъ голову, устремила на него дикій взглядъ. Онъ, казалось, только этого и ожидалъ; онъ быстро возвратился и, схвативъ ея руки, покрылъ ихъ поцѣлуями.

— Я это сдѣлалъ для тебя, *Teresina mia*, нѣжно произнесъ онъ.

Но Тереза оставалась холодной, безчувственной; ея руки, точно мертвыя, не дрогнули подъ поцѣлуями человѣка, за котораго часъ передъ тѣмъ она съ радостью отдала-бы жизнь.

Вдругъ она встала и бросила на маркиза такой взглядъ, какъ-будто видѣла его въ первый разъ. Скульптурная красота ея никогда не казалась столь величественной и черные глаза ея не смотрѣли-бы холоднѣе на совершенно чужого ей человѣка. Съ минуту она колебалась, но потомъ, не говоря ни слова, вышла изъ комнаты, оставивъ Агостино, пораженнаго ужасомъ.

Квартира, занимаемая Терезой и маркизомъ Олона въ предмѣстьѣ св. Антонія, была небольшая. Отворивъ дверь, въ которую вышла бѣдная женщина, Агостино увидалъ ее въ спальнѣ: она стояла, облокотившись на каминъ, и плакала, закрывъ лицо платкомъ. Болѣзненная дрожь пробѣгала по ея полусогбенному тѣлу и по временамъ она судорожно схватывала зубами платокъ, какъ-бы желая его изорвать. Видя отчаяніе Терезы, Агостино хотѣлъ броситься къ ея ногамъ, вымолить у нея прощеніе и пламенными ласками утѣшить ее. Въ немъ произошла сильная внутренняя борьба, но, наконецъ, онъ сказалъ себѣ:

— Къ чему? Ударъ ужь нанесенъ. Она страдаетъ, но развѣ я не страдалъ? Рѣшиться порвать подобныя узны — все равно, что раскаленнымъ желѣзомъ прижечь себѣ тѣло. Тереза, Тереза! Я теперь увижу, любишь-ли ты меня!

Суевѣрный, какъ всѣ неаполитанцы, онъ предпочелъ предоста-
вить судьбѣ возвратитъ ему свободу, безъ которой онъ не могъ
привести въ исполненіе свой планъ о бракѣ съ графиней Фаржъ.
Бросить Терезу онъ не могъ, такъ-какъ любовь къ ней была еще
очень сильна въ его сердцѣ. Поэтому сама Тереза должна была
рѣшить ихъ общую судьбу.

„По крайней мѣрѣ, думалъ онъ, — не я уничтожу эту лю-
бовь“.

Онъ въ одно и то-же время боялся продолженія и прекраще-
нія ея любви. Освободившись отъ связывавшихъ его узъ, Аго-
стино могъ безопасно приняться за правильную осаду великолѣп-
наго приданого графини Фаржъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ его стра-
шила мысль, что онъ потеряетъ на-вѣки Терезу.

„Какое глупое, нерѣшительное животное человѣкъ, думалъ
онъ:—никогда не знаетъ положительно, чего хочетъ и чего не хо-
четъ. Но такъ или иначе, необходимо отдѣлаться отъ Терезы,
чтобъ побѣдить другую. Мнѣ будетъ тяжело, но что-же дѣлать?
Нищета, голодъ, лохмотья и дырявые сапоги—вотъ истинное не-
счастье. А несмотря на мой титулъ маркиза, меня это ожидаетъ
завтра!“

Онъ машинально удалился въ свою лабораторію и, смотря на
стеклянки съ различными ядовитыми веществами, прибавилъ про
себя:

— Въ крайнемъ случаѣ здѣсь найдется средство покончить
со всѣми несчастьями и заботами.

Выходя изъ дома, онъ неожиданно подумалъ, что Терезѣ могла
войти въ голову та-же идея объ отравѣ, и, возвратясь, заперъ ла-
бораторію.

Мрачная, убитая, Тереза провела одна вечеръ этого рокового
дня. Сидя у окошка, она безсознательно прислушивалась къ пѣ-
снямъ дѣтей, игравшихъ во дворѣ.

„Дѣти! думала Тереза; — если-бъ я была матерью, то, быть
можетъ, не была-бы здѣсь“.

И впервые большая, мрачная квартира въ улицѣ Почтъ и
угрюмый домъ въ преддѣльѣ Монмартра показались ей убѣжи-
щами, въ которыхъ могло гнѣздиться мирное счастье.

„Много дѣвушекъ,
Тра-ла-ла,

Любить мужчинъ,
Тра-ла-ла“.

гдѣ звонкіе дѣтскіе голоса во дворѣ.

„Любовь! думала Тереза;—такъ вотъ что значить любовь!“

На другое утро Агостино Чіампи вышелъ, по обыкновенію, рано изъ дома и Тереза была по-прежнему безмолвной и мрачной. Когда же онъ возвратился вечеромъ, то привратница объявила ему, что молодая женщина ушла, очень блѣдная и съ какими-то странными выраженіемъ лица.

Агостино сталъ съ нетерпѣніемъ ожидать ея возвращенія. Но она не возвратилась.

„А если она лишила себя жизни?“ думалъ маркизъ, и морозъ пробѣгалъ по всему его тѣлу.

Онъ боялся также, чтобъ полиція не арестовала Терезу, а потому не подвергла-бы и его заточенію. Напрасно онъ утѣшалъ себя мыслью, что теперь былъ свободенъ и могъ думать только о графинѣ Фаржъ, составившей для него якорь спасенія; его мучили любовь и самолюбіе.

— Значить Тереза меня не любила, говорилъ онъ самъ себѣ и въ глубинѣ его сердца съ новою силой просыпалась пламенная страсть.

— Гдѣ она, что съ нею случилось? спрашивалъ онъ не разъ.

Одного онъ не боялся—доноса со стороны Терезы. Она могла бросить его, исчезнуть, но не выдать его тайны.

ГЛАВА XI.

М у ж ъ.

Тереза въ первую минуту желала смерти.

— Человѣкъ, котораго я люблю, подлець и воръ, сказала она себѣ;—ниѣ остается только умереть.

Она жаждала наказанія себя, и если-бъ Агостино не заперъ лабораторію, то она выпила-бы первой попавшійся ядъ. Но всѣ ея усилія открыть дверь оказались тщетными. Впрочемъ, не къ чему было настаивать. Не все-ли равно, какъ умереть? Рѣка ждала ее въ свои объятія, которыя заглушали столько человѣческихъ страданій. Она съ радостью думала о вѣчномъ покоѣ въ

холодной пучинѣ, такъ-какъ немислимо было пережить этотъ позоръ. Болѣе всего ее терзала мысль, что она еще любила Агостино или, по крайней мѣрѣ, власть этого человѣка надъ нею еще не исчезла. Закрывъ глаза, она видѣла передъ собою красивое лицо Чіампи и слышала его чарующій, гармоничный голосъ. Она готова была съ отвращеніемъ вырвать свое сердце изъ груди.

Въ то-же время ея мысли невольно переносились къ гордому, благородному лицу человѣка, который, несмотря на свои страданія, блѣдность, изнуреніе и холодный, серьезный взглядъ, казалось ей теперъ въ видѣніи, смотрѣлъ на нее съ сожалѣніемъ. Съ каждой минутой въ воспламененномъ воображеніи Терезы Клодъ Ривьеръ принималъ все болѣе и болѣе образъ живой антитезы маркиза Олона и она спрашивала себя: благодаря какому ослѣпленію она предпочла Агостино Ривьеру, искателя приключеній и преступника — рыцарю благородства?

— Несчастливая! И я его любила, повторяла она, ломая себѣ руки.

Сосредоточивая, такимъ образомъ, свои мысли на Клодъ, она мало-по-малу почувствовала какую-то жажду униженія, нѣчто въ родѣ той страсти къ умерщвленію плоти, которая овладѣваетъ кающимся грѣшникомъ, вѣрующимъ въ искупленіе. Ей казалось, что она хоть нѣсколько загладитъ свою вину, бросившись на колѣни передъ оскорбленнымъ ею человѣкомъ съ воплемъ: „я заслужила вашей кары, убейте меня“.

Но какъ было взглянуть въ глаза Клоду Ривьеру? Ее не пугала эта встрѣча, но ей было стыдно. Смерть была во сто разъ лучше.

Какъ безумная, она вышла изъ дома и направилась къ Сенѣ. Она рѣшилась подождать, пока совершенно стемнѣетъ, и тогда или вдругъ броситься съ моста въ зияющую пучину, или тихо, медленно войти въ холодное лоно рѣки съ отлогого берега, шагъ за шагомъ, пока вода не покроетъ ея голову. Дожидааясь блаженной минуты покончить съ своей несчастной жизнью, она бессознательно шла по пустыннымъ кварталамъ Парижа, окружавшимъ въ то время площадь Бастилии. Вечеръ былъ жаркій, душный. Тяжелыя, густыя тучи покрывали небо, сѣроватый свѣтъ сумерокъ придавалъ берегу рѣки, покрытому жидкой грязью, какой-то странный видъ озера ртути. Тереза шла, погруженная въ свои груст-

ныя мысли и по временамъ останавливалась, чтобы утереть слезы. Прохожіе ускоряли шаги въ ожиданіи дождя и мало-по-малу въ домахъ зажигались огни, бросавшіе вокругъ красноватый отблескъ.

„Когда настанетъ ночь, думала Тереза, — и никто меня не увидитъ, никто мнѣ не поможетъ, я брошусь въ воду. О, сладость! О, упоеніе смерти!“

Она шла прямо передъ собою, какъ сумасшедшая, не замѣчая крупныхъ капель дождя, начинавшихъ капать изъ нависшихъ тучъ.

Какой-то прохожій остановился прямо передъ нею, загородивъ дорогу, и промолвилъ что-то съ улыбкой. Она ничего не поняла и молча взглянула на него, но такимъ страннымъ взоромъ, что онъ отскочилъ въ сторону и, почтительно снявъ шляпу, пробормоталъ какое-то извиненіе.

Она продолжала идти, сама не зная куда, и съ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ ожидала роковой минуты смерти.

Въ это самое время въ старомъ домѣ улицы Почтъ, изъ котораго Тереза, сіяя цѣломудренной радостью, отправилась къ вѣнцу, Шамборо садился за ужинъ. Смотри съ удовольствіемъ на роскошно накрытый столъ, членъ конвента тихо разговаривалъ съ Платадомъ, стоявшимъ за нимъ съ салфеткой въ рукахъ, и съ Жюли, которая, облокотясь одной рукой на столъ, а другою подбоченясь, напоминала настоящую мольеровскую служанку.

— Итакъ, милая Жюли, сказалъ Шамборо, — вы мнѣ не приготовили сегодня никакого сюрриза. Все одна зелень да зелень.

— Дѣлаешь, что можешь, отвѣчала Жюли; — июль — сезонъ соусовъ и зелени. Что-же касается до жаркого, то можно имѣть только понтуазскую телятину, и то слишкомъ молодую, да перепелку. Последняя лучшее теперь жаркое.

— Конечно, конечно, отвѣчалъ Шамборо; — но вотъ уже нѣсколько дней, милая Жюли, вы все подчуете перепелками. Надеже немного разнообразія.

— Хорошо, по-вашему надо передѣлать времена года, принесли кухарка и, проходя въ кухню мимо Платада, прибавила вполголоса: — Ужъ эти мнѣ революціонеры! Ничѣмъ ихъ не исправимъ.

Плантадъ взглянулъ на Жюли съ презрѣніемъ, словно говоря: женщины ничего не понимаютъ въ политикѣ.

Въ эту минуту сверкнула молнія и разразился громъ; домъ задрожалъ и кухарка набожно перекрестилась.

— Закрѣли вы ставни, Жюли? спросилъ Шамборо.

— Да, сударь.

— А вы, Плантадъ, закрѣли окна въ библіотекѣ?

— Да, гражданинъ.

— Какая погода! Хорошо въ такую грозу сидѣть дома за отличнѣмъ ужиномъ, если-бъ...

Не окончивъ фразы, Шамборо оттолкнулъ отъ себя тарелку и грустно задумался.

— Онъ думаетъ о Терезѣ, сказала Жюли шопотомъ Плантаду.

— Можетъ быть.

— Бѣдный! Онъ не жалуется, но на сердцѣ у него тяжело.

— О, женщины, женщины! промолвилъ членъ конвента, повторяя слова Фигаро, и потомъ, проведя рукою по лбу, продолжалъ съ улыбкою:— Вотъ видите, Жюли, намъ надо возобновить наши запасы. Въ подобные мертвые сезоны, когда лучшій поваръ и удивительнѣйшая кухарка не знаютъ, какъ разнообразить столъ, хорошо имѣть подъ рукою лакомства, которыя вкусны не только зимою, но и лѣтомъ. Вы знаете географію лакомствъ и какой городъ чѣмъ славится. Никогда не надо допускать пробѣловъ въ провизіи и вы, Жюли, позаботьтесь объ этомъ. Если-бъ не существовалъ хорошій столъ, то что оставалось-бы намъ въ жизни!

Онъ налилъ себѣ стаканъ подогрѣтаго краснаго вина и снова задумался. Жюли смотрѣла, качая головой, на Плантада, который не выражалъ ни малѣйшаго знакомъ своего удивленія.

— По крайней мѣрѣ, Жюли, чтобъ кофе былъ горячій и хорошій, сказалъ Шамборо послѣ продолжительнаго молчанія.

Кухарка вышла изъ комнаты съ многозначительною улыбкою и тотчасъ возвратилась съ подносомъ.

— Настоящій мокко, сказала она, указывая на кофейникъ,— нѣтъ ни одного зернышка картинки.

Шамборо съ наслажденіемъ понюхалъ паръ, валившій изъ кофейника, и положилъ въ чашку три большихъ куса сахару.

— Вы сказали-бы прямо, что любите не кофе, а кофейный сиропъ, воскликнула Жюли;—вѣдь это святотатство!

— Да, я знаю, отвѣчалъ Шамборо съ улыбкой; — въ этомъ отношеніи я варваръ, люблю кофе сладкій. Плянтадъ, дайте ликеру.

Не успѣлъ Плянтадъ подать бутылку въ соломенномъ чашлѣ, какъ въ комнату вбѣжала Жюли, только-что передъ тѣмъ вышедшая въ кухню.

— Вы не слышали, сударь! воскликнула она: — кажется, кто-то стучитъ въ дверь.

— Не можетъ быть, отвѣчалъ Шамборо: — я никого не жду. Это вѣрно вѣтеръ шумитъ. Впрочемъ, прибавилъ онъ, тотчасъ подумавъ, не случилось-ли чего съ Ривьеромъ, — Плянтадъ, посмотрите, кто тамъ.

Онъ машинально вынулъ рюмку ликера и съ нетерпѣніемъ сталъ ожидать возвращенія Плянтада. Когда-же тотъ появился черезъ минуту, блѣдный, едва сдерживавшій свое смущеніе, Шамборо понялъ, что произошло что-то необыкновенное.

— Ну что? кто тамъ?

— Кто? повторилъ Плянтадъ, пристально смотря на Шамборо: — женщина, бѣдная женщина, больная, дрожащая... вы ее хорошо знаете.

— Я?

— Да, гражданинъ, вы.

— Я ее знаю?

— И очень хорошо, произнесъ Плянтадъ.

— Клянусь, это ваша племянница! воскликнула Жюли.

— Тереза? промолвилъ Шамборо, поблѣднѣвъ.

Онъ взглянулъ вопросительно на Плянтада, который молча кивнулъ головою.

— Тереза здѣсь! повторилъ онъ, вставая, и его обыкновенно розовое лицо стало сѣрымъ, какъ зола, а въ глазахъ его выразилась непреклонная строгость.

Онъ махнулъ рукою, какъ-бы приказывая прогнать несчастную, но Жюли бросила на него безмолвный умоляющій взглядъ, а Плянтадъ просто сказалъ:

— Если-бъ вы только ее видѣли!

— Гдѣ она? спросилъ Шамборо.

Жюли въ ту-же минуту выбѣжала изъ столовой и черезъ мгновеніе появилась на порогѣ съ Терезою. Несчастливая походила на

мертвеца; она едва держалась на ногахъ, платье и волосы ея были пропитаны дождемъ и красота ея сіяла теперь чѣмъ-то страшнымъ, роковымъ. Увидавъ Шамборо, она бросилась передъ нимъ на колѣни; старикъ поспѣшно поднялъ ее, огорченный, по-видимому, ея приходомъ и униженіемъ.

— Откуда вы? спросилъ онъ, стараясь придать своему голосу какъ можно болѣе холодности.

— Я хотѣла умереть!

— Вы? Зачѣмъ?

— Чтобъ наказать себя.

— Всегда можно умереть, когда захочешь.

— Такъ говорятъ, сказала Тереза, — но это неправда. Я подошла къ рѣкѣ и не могла броситься. Но не отъ страха, нѣтъ; напротивъ, мнѣ пришла въ голову мысль, что слѣдуетъ искупить мою вину не смертью, а жизнью, полною страданій и слезъ.

— Поздненько вы одумались, отвѣчалъ Шамборо; — но, во всякомъ случаѣ, не мнѣ васъ судить или миловать. Если-бъ вы носили имя Шамборо, принадлежащее расѣ честныхъ, работающихъ людей, то я имѣлъ-бы право оцѣнить ваше раскаяніе и знаю, какой-бы произнесъ приговоръ. Но у васъ другой судья, у него надо просить пощады.

— Я не прошу пощады; если ему нужна моя смерть, пусть меня казнить.

— А пока, воскликнула Жюли: — безумно оставаться въ такомъ положеніи. Посмотрите, вы насквозь промокли. Долго-ли простудиться?

И взявъ въ руки платье Терезы, она выжала изъ него воду. Шамборо молча махнулъ рукой, что ясно означало: уведите ее. Жюли взяла ее за руку; Тереза послѣдовала за ней бессознательно.

Жюли раздѣла ее, какъ ребенка, и уложила въ постель.

— Я согрѣла вамъ простыни, какъ въ старину, сказала она, стараясь улыбнуться; — хотя ужасно жарко, но у васъ ноги какъ ледъ и вы дрожите. Засните, если можете, а завтра г. Шамборо забудетъ все прошлое.

Смотря на добрую старуху и на знакомую комнату, Тереза спрашивала себя, не очнулась-ли она отъ страшнаго сна и дѣйствительно-ли она вышла замужъ за Ривьера и потомъ сбѣжала отъ него съ маркизомъ Олона?

Мало-по-малу лихорадка взяла верхъ надъ ея нервной нату-
рой и она заснула отъ изнеможенія. Сначала сонъ ея былъ тре-
вожный, а потомъ, къ утру, спокойный, благодатный.

Жюли сидѣла у ея постели до самаго утра.

— Ну что племянница? спросилъ Шамборо у Пшантада на
слѣдующій день.

— Она еще спить. Ночь провела хорошо.

— Тѣмъ лучше. Охъ, ужъ эти безумныя дѣвушки! Стоитъ-
ли вылетать изъ голубятни, чтобъ вернуться обратно безъ крыльевъ!

Обдумавъ положеніе Терезы, Шамборо принялъ къ тому убѣ-
жденію, что Клодъ Ривьеръ по своему законному праву долженъ
былъ объявить ей свою волю, а потому имъ необходимо увидѣть-
ся. Къ тому-же Тереза не могла жить у Шамборо, такъ-какъ
агенты Фуше производили тамъ обыскъ въ надеждѣ найти Ривье-
ра или его жену. Старикъ не зналъ, гдѣ ему скрыть Терезу,
если и предположить, что она могла выйти изъ дома послѣ ли-
хорадочнаго припадка.

Сама Тереза вывела его изъ затрудненія. Она выказала уди-
вительную энергію, и какъ только встала, прямо пошла къ дядѣ.

— Что вамъ нужно? спросилъ онъ.

— Я хочу видѣть капитана.

— Неужели? А когда?

— Чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше. Я жажду его увидѣть, но не
стану молить о пощадѣ, а скажу, что если не умерла, то только
для того, чтобъ признать себя виновной передъ нимъ и иску-
пить свою вину достойной карой, которая уже разразилась надъ
моей головою.

Она одинаково увлекалась, какъ въ страсти, такъ и въ от-
чаяніи. Теперь она такъ-же пламенно желала обвинить себя въ гла-
захъ всѣхъ, какъ и всегда готова была публично провозгласить свою
любовь и паденіе. Подобныя натуры не знаютъ мѣры ни въ чемъ.

— Да, продолжала она, — если я осталась въ живыхъ, то
только потому, что смерть недостаточное для меня наказаніе. Я
желала-бы, чтобъ онъ затопталъ меня ногами и растерзалъ-бы
на куски; тогда, по крайней мѣрѣ, я нашла-бы то, чего ищу, —
достойную кару.

— Вы уничтожили счастье этого человѣка и не забывайте,
что ваша жизнь въ его рукахъ.

— Знаю, и вот почему я хочу его видѣть. Ахъ, если-бы онъ меня убилъ! Я боюсь одного—остаться въ живыхъ!

Она жаждала увидать скорѣе Ривьера, но не вполнѣ понимала волновавшія ее чувства; она болѣе всего желала изгладить изъ своей памяти образъ Чіампи. Ей казалось, что присутствіе оскорбленнаго мужа охранитъ ее, какъ святость храма, отъ этого страшнаго призрака.

Шамборо дождался вечера, чтобы проводить Терезу въ убѣжище Ривьера. Одну минуту онъ спрашивалъ себя, не лучше-ли предупредить капитана о посѣщеніи Терезы? Эта встрѣча могла слишкомъ его поразить, но, съ другой стороны, предупрежденный Ривьеръ могъ отказаться отъ свиданія съ женой.

— Но она хочетъ вымолить у него прощеніе и онъ долженъ ее видѣть, сказалъ самъ себѣ Шамборо, рѣшившись неожиданно свести супруговъ лицомъ къ лицу.

Однако, провожая Терезу по алеѣ улицы Сен-Жанъ, ведущей къ жилищу Ривьера, онъ былъ очень взволнованъ и сердце его сильно билось. Плянтадъ, слѣдовавшій на нѣкоторомъ разстояніи за Шамборо и его племянницей, наблюдалъ за прохожими и долженъ былъ остаться часовымъ во все время ихъ свиданія съ Ривьеромъ.

Впрочемъ, ни въ улицѣ Сен-Жанъ, ни у квартиры Ривьера не было ничего подозрительнаго, не видно было никакихъ признаковъ опасности, и въ то время, какъ Сильвенъ Шамборо съ племянницей шли по темной алеѣ, Плянтадъ медленно прогуливался съ трубкой въ зубахъ, наслаждаясь вечерней прохладой, какъ-будто-бы онъ былъ жильцомъ сосѣдняго дома.

Прежде, чѣмъ переступить черезъ порогъ тайнаго убѣжища Ривьера, Шамборо сказалъ Терезѣ:

— Твоя жизнь и смерть въ рукахъ этого человѣка. Хочешь-ли ты его видѣть лицомъ къ лицу?

Онъ говорилъ ей теперь ты, какъ въ старину; видя, что Тереза идетъ смѣло на явную опасность, старикъ, повидимому, хотѣлъ дать ей почувствовать, что онъ забылъ ее вину.

— Ты хочешь его видѣть? повторилъ онъ снова.

— Войдемте, отвѣчала она.

Шамборо тихонько постучалъ въ дверь маленькаго домика, какими-то особеннымъ, почти масонскимъ образомъ.

На устахъ Терезы играла странная улыбка, какъ у мучениковъ, жаждавшихъ казни.

Черезъ минуту раздался за дверью стукъ каблучковъ и ключъ заскрипѣлъ въ замкѣ.

Дверь открылась и Тереза увидала при мерцающемъ полусвѣтѣ лѣтней ночи образъ человѣка, котораго она тотчасъ признала, и пока Шамборо поднимался по двумъ ступенькамъ лѣстницы, она бросилась впередъ, и прежде, чѣмъ Клодъ Ривьеръ догадался объ ея присутствіи, упала передъ нимъ на колѣни съ безмолвной мольбой на устахъ.

Тусклое мерцанье лампы освѣщало почти пустую, обнаженную комнату, но все-же Шамборо увидалъ на столѣ близъ лампы два пистолета. По всей вѣроятности, Ривьеръ имѣлъ ихъ тутъ подъ рукою для защиты въ случаѣ открытія его убѣжища агентами Фуше.

Шамборо быстро захлопнулъ дверь и всталъ между столомъ и Клодомъ Ривьеромъ.

Его поразило лицо капитана, мгновенно измѣнившееся отъ страшнаго волненія. Увидавъ Терезу, онъ задрожалъ всѣмъ тѣломъ и прислонился къ стѣнѣ, чтобъ не упасть.

Со времени заточенія его волосы сильно посѣдѣли и на всемъ лицѣ виднѣлись слѣды жестокихъ страданій. Тереза не смѣла поднять на него глазъ и, какъ-бы чутъемъ, въ одно мгновеніе замѣтила его блѣднее, морщинистое, испитое лицо, скорѣе походившее на призракъ, чѣмъ на живого человѣка.

Шамборо едва переводилъ дыханіе, готовясь удержать руку Ривьера, протянутую, какъ онъ полагалъ, къ пистолетамъ.

Послѣ непродолжительнаго, тягостнаго молчанія, казавшагося цѣлымъ вѣкомъ, Клодъ Ривьеръ проговорилъ только одно слово едва слышнымъ, глухимъ голосомъ:

— Вы!

Терезѣ показалось, что этотъ болѣзненный голосъ капитана произнесъ еще имя—ея имя, но до нея долетѣлъ только замирающій звукъ этого слова.

Она не смѣла говорить и ждала дрожащая, уничтоженная... Наконецъ, Ривьеръ произнесъ таинъ тономъ, который поразили ея сердце болѣе всякихъ угрозъ:

— Что я вамъ сдѣлалъ, Тереза? Чѣмъ заслужилъ такіа мученія?

Часто человѣческій голосъ имѣеть удивительную силу, и тонъ, которымъ произносятся извѣстные слова, производять болѣе могущественное дѣйствіе, чѣмъ самія слова. Услыжавъ нѣжный, грустный упрекъ мужа, звучавшій мрачной, долго сдержанной печалью, Тереза почувствовала, что въ глазахъ у нея потемнѣло, крупныя слезы потекли по ея щекамъ и раздирающій вопль вырвался изъ груди.

Тутъ не было ни притворства, ни комедіи, а естественное столкновѣніе двухъ страданій, изъ которыхъ одно отличалось смущеннымъ чувствомъ стыда, а другое спокойнымъ величіемъ.

Шамборо съ удивленіемъ смотрѣлъ на Ривьера.

— Встаньте, сказалъ, наконецъ, Клодъ; — ваши слезы меня слишкомъ терзають.

Дѣйствительно, его брови насупились, какъ-бы отъ физической боли, и правой рукой онъ схватился за сердце.

— О! не говорите со мною такъ, произнесла Тереза, устремляя на него глубоко-изумленный и умоляющій взглядъ; — нѣжный тонъ вашего голоса для меня хуже всякой пытки. Источите меня подъ вашими ногами! Заклеймите меня страшными оскорбленіями, которыхъ я вполне заслужила! Но ваше состраданіе меня душитъ! Мнѣ кажется, что я еще виновнѣе и менѣе достойна помилованія!

— Я вамъ сказалъ, встаньте, произнесъ Клодъ Ривьеръ; — я васъ слишкомъ любилъ, чтобъ быть вашимъ судьбою. О! не бойтесь, я не требую отъ васъ благодарности! Я не забылъ вашей измѣны, но я помню вашу первую улыбку, наши свиданія, тѣ блаженныя минуты, которыя заставили меня повѣрить, что на землѣ возможно совершенное счастье!.. И въ память этого умершаго счастья чувство состраданія замѣнило въ моемъ сердцѣ накипѣвшую злобу!

— Состраданіе! Вы чувствуете ко мнѣ состраданіе? воскликнула Тереза въ изступленіи и, обращаясь къ Шамборо, она продолжала: — Слышите, онъ меня прощаетъ, а я, несчастная, ждала наказанія, бѣшеной вспышки, жестокаго насилія!.. Состраданіе! Прощеніе! Это ужъ слишкомъ!

— Простить—не значитъ забыть! сказалъ холодно Ривьеръ.

Тереза схватила его руки и, несмотря на его усилія ихъ освободить, она крѣпко ихъ сжала, обливаясь слезами. Она жаж-

дала покрыть ихъ лобзаніями, какъ вѣрующіе—святню, но не смѣла прильнуть къ нимъ губами. Она нервно дрожала, уничиженная, побѣжденная милосердіемъ человѣка, столь жестоко ею оскорбленнаго.

Этотъ человѣкъ, холодный, серьезный, рабъ долга, казался ей теперь, какъ въ первую минуту, когда она его увидала въ улицѣ Почты, рыцаремъ чести и добродѣтели.

Но, по какой-то роковой ироніи судьбы, имя Агостино жгло ей языкъ. Она жаждала произнести это имя, оснивая его самыми страшными оскорбленіями. Въ эту минуту она не могла бы отдать себѣ яснаго отчета, какое чувство она питала прежде и теперь къ Чіампи— любовь или ненависть.

Освободивъ свои руки, Клодъ Ривьеръ повторилъ болѣе твердымъ, повелительнымъ тономъ:

— Встаньте!

Она выпрямилась во весь ростъ, откинувъ назадъ свои роскошные волосы, ниспадавшіе по плечамъ, и взглянула на мужа, какъ-бы отъ его словъ зависѣла ея жизнь и смерть.

— Такъ вы меня не гоните отъ себя, какъ презрѣннѣйшую изъ женщинъ? проговорила она.

Ривьеръ опустилъ глаза; слова Терезы воскресили въ его сердцѣ какое-то мучительное видѣніе.

— Не говорите мнѣ о вашемъ преступленіи, сказалъ онъ; — я хочу помнить только о моей умершей любви! Нѣтъ, я васъ не прогоняю, Тереза, но знайте, что я болѣе вамъ не мужъ. Вы освободили себя отъ всякихъ узъ, взяли назадъ свое слово... Въ моемъ сердцѣ, принадлежавшемъ вамъ всецѣло, найдется нѣ-сто для преданности друга, но не для супружеской любви... Впрочемъ, какое вамъ дѣло до моей любви, когда вы меня никогда не любите!

Она стояла неподвижная, безмолвная. Она начинала понимать, что состраданіе Ривьера было однимъ изъ видовъ наказанія.

— Сожалѣю, продолжалъ капитанъ, — что имя, которое я вамъ далъ, представляетъ теперь для васъ опасность... Жѣну капитана Ривьера полиція должна разыскивать такъ-же энергично, какъ и его самого. Поэтому я предлагаю вамъ укрыться въ этомъ убѣжищѣ, гдѣ я находился въ полной безопасности. Вы здѣсь дома.

— Дона?

— Да.

Прислонясь къ стѣнѣ, Шамборо жадно прислушивался къ словамъ Ривьера.

„Вотъ человѣкъ, который умѣетъ быть выше человѣка!“ подумалъ онъ.

— А вы? спросила нерѣшительно Тереза.

— Я?

— Да, останетесь-ли вы, по крайней мѣрѣ, въ этомъ убѣжищѣ, которое для васъ спасеніе, жизнь!

— О, не беспокойтесь обо мнѣ. Я найду себѣ другое убѣжище.

— Вы уйдете отсюда?

— Неужели вы хотите, чтобъ я подвергнулъ васъ пыткамъ моего присутствія?

— О, берегитесь! ваше состраданіе становится жестокосердиѣе всякой казни! вскричала Тереза съ раздрающимъ воплемъ. — Убейте меня лучше, чѣмъ поражать въ самое сердце такими холодными словами! Какъ, потому что я здѣсь, вы удалитесь, вы бросите вѣрное убѣжище и пойдете, куда глаза глядятъ, рискуя встрѣтить на каждомъ шагу смерть? Вы отдадите себя добровольно въ руки палача только потому, что капитанъ Ривьеръ не можетъ находиться тамъ, гдѣ живетъ его преступная жена? Нѣтъ, это слишкомъ! Пойдите отсюда! прибавила она, обращаясь къ Шамборо;—я прямо отправлюсь къ префекту полиціи и выдамъ себя, но влянусь, что никто не узнаетъ, хотя-бы меня подвергли всевозможнымъ пыткамъ, гдѣ скрывается тотъ, чье имя я ношу!

— Вы этого не сдѣлаете, Тереза, сказалъ Ривьеръ.

— Отчего-же нѣтъ? Для чего мнѣ жить? Я только представляю опасность и преграду другимъ! Возвратиться мнѣ въ тотъ домъ, гдѣ я провела свою юность,—невозможно. Меня тамъ тотчасъ найдутъ императорскіе агенты. Просить пристанища у васъ, котораго я такъ страшно оскорбила? По какому праву? Я низко, глупо порвала тѣмъ узамъ, которые давали мнѣ право требовать своей доли въ угрожающихъ вамъ опасностяхъ... Да, вы можете меня простить, я и такъ страшно наказана. Мнѣ остается только наложить на себя руки.

— Я не лишилъ себя жизни, сказалъ Ривьеръ твердымъ, печальнымъ голосомъ; — зачѣмъ-же вамъ себя убивать?

Это величественное, спокойное геройство еще болѣе унизило Терезу въ ея собственныхъ глазахъ. Она инстинктивно отступила на нѣсколько шаговъ и со слезами, горячими, какъ кровь, струящаяся изъ раны, бросилась на шею Сильвену Шамборо, который, при видѣ такой скорби, не рѣшился ее оттолкнуть.

Клодъ смотрѣлъ на нихъ молча, неподвижно.

Вдругъ онъ вздрогнулъ, услыхавъ стукъ въ наружную дверь. Онъ подождалъ съ минуту, надѣясь, что послѣдуетъ другой, условный, масонскій звукъ, означавшій, что стучавшій былъ другъ.

— Нѣтъ, произнесъ онъ, наконецъ; — постучали только разъ. Намъ грозитъ опасность.

— Опасность! дико воскликнула Тереза, вырываясь изъ объятій Шамборо; — слава-богу! она насъ соединитъ!

Наступила мучительная минута ожиданія. Но вскорѣ раздались еще четыре удара въ дверь.

— Это другъ стучится, сказалъ Ривьеръ и быстро отворилъ дверь.

Это былъ Солиньякъ.

— Вы! воскликнулъ Клодъ.

— Я, отвѣчалъ весело полковникъ; — и вотъ этотъ господинъ принялъ меня за шпіона.

И онъ указалъ на Плантада, который стоялъ за нимъ, очень блѣдный.

— Повѣрите-ли, я едва не убилъ его, чтобъ проникнуть къ вамъ, продолжалъ онъ.

— Я приказалъ Плантаду караулить насъ, сказалъ Сильвенъ Шамборо.

— И я исполнялъ полученное приказаніе, отвѣчалъ Плантадъ.

Войдя въ комнату, полковникъ затворилъ за собою дверь и, замѣтивъ послѣ первыхъ привѣтствій, что въ комнатѣ была женщина, онъ учтиво поклонился и замолчалъ, ожидая, что скажетъ Ривьеръ.

Тогда наступило молчаніе, быть можетъ еще невыносимѣе того, которое предшествовало приходу полковника. Тереза стояла неподвижно, какъ статуя, а Клодъ смотрѣлъ на нее, при слабомъ мерцаніи лампы, какъ-бы спрашивая себя, что ему дѣлать?

Черезъ мгновеніе онъ сказалъ просто, серьезно, указывая на Терезу:

— Моя жена.

При этихъ словахъ глаза Терезы, потухшіе и покраснѣвшіе отъ слезъ, вдругъ засверкали. Но Шамборо схватилъ ее за руку и ей стоило немновѣрныхъ усилій, чтобъ не воскликнуть: „Благодарю!“

Онъ называлъ ее еще женою! Горькая радость наполнила ее сердце.

Солиньякъ молча и почтительно поклонился Терезѣ.

— Господинъ Сильвенъ Шамборо, продолжалъ Ривьеръ, указывая на бывшаго члена конвента.

Солиньякъ снова поклонился и, желая прервать тягостное молчаніе, сказалъ:

— Я принесъ вамъ добрую вѣсть.

— Добрую вѣсть, для меня? произнесъ Клодъ съ грустной улыбкой;— что такое?

— Императоръ возвращается. Императоръ въ Парижѣ, значить вы свободны.

— Какъ? воскликнулъ Ривьеръ, поднимая голову.

— То, чего я не могъ написать, я скажу на словахъ. Императоръ никогда ни въ чемъ мнѣ не отказывалъ и я буду...

— Просить моего помилованія, перебилъ его Ривьеръ;— пожалуйста, полковникъ, выкиньте эту мысль изъ головы.

— Дѣло вовсе не въ помилованіи политическаго преступника, а въ спасеніи отъ смерти солдата, мужественно сражавшагося за свое отечество.

— Но этотъ солдатъ—врагъ императора и старался подорвать его власть. Я не приму ничего отъ императора, кромѣ смерти, если мы будемъ побѣждены.

— Вашъ другъ, генералъ Мале, арестованный съ іюня прошлаго года и содержащійся теперь въ крѣпости Лафорсъ, вѣдь просилъ-же Фуше и императора, чтобъ его выпустили на свободу.

— Да, но Дежальо и Базенъ, арестованные вмѣстѣ съ нимъ по дѣлу комитета улицы Бургъ-Абе, не послѣдовали его примѣру. Позвольте и мнѣ не просить помилованія, тѣмъ болѣе, что, благодаря вамъ, я на свободѣ.

— Вы несправимы.

— Я по-прежнему люблю свободу, сказалъ Клодъ Ривьеръ, — и желалъ-бы даровать ее родинѣ. Эта любовь никогда не приводитъ къ разочарованію.

Онъ произнесъ эти слова горькимъ, почти жестокимъ тономъ, и не замѣтилъ, что Терезу покорило, а бывший членъ конвента проговорилъ:

— Кто знаетъ!

— Хотите оказать мнѣ новую услугу и избавить отъ большого безпокойства? сказалъ Клодъ, подходя къ Солиньяку.

— Располагайте мною; я вашъ душой и сердцемъ.

— Не заботьтесь болѣе обо мнѣ; я на свободѣ и живу надеждой на будущее, которое, быть можетъ, никогда не настанетъ. Благодаря Кастаре и отцу, я живу здѣсь въ полной безопасности, не возбуждая никакихъ подозрѣній. Привратница дровяного двора, убирающая эти несчастныя комнаты, не знаетъ, кто я, и къ тому-же ей хорошо платять, слѣдовательно у нея нѣтъ причинъ выдать меня. Ея-же сынъ, унтеръ-офицеръ одного изъ линейныхъ полковъ, принадлежитъ къ нашему обществу. Однимъ словомъ, мнѣ нечего бояться. Но я желалъ-бы, чтобы женщина, носящая мое имя, не раздѣляла этого мрачнаго убѣжища и грозящихъ мнѣ опасностей. Скрыться у своихъ родственниковъ она не можетъ, такъ-какъ ее легко найдеть тамъ полиція. Отыщите ей, полковникъ, вѣрное убѣжище; у васъ такое множество знакомыхъ въ Парижѣ. Вы этимъ довершите свое доброе дѣло.

— Я почту за счастье обезпечить безопасность г-жи Ривьеръ, хотя-бы на одинъ день, произнесъ Солиньякъ, почтительно кланаясь Терезѣ;—и та благородная женщина, которая мнѣ помогла освободить васъ, окажетъ содѣйствіе и въ этомъ дѣлѣ.

— Маркиза Ригоди? спросилъ Ривьеръ.

— Да. Бываютъ люди, которые, кажется, только для того и родились, чтобы оказывать услуги.

— Вы изъ ихъ числа.

— Н-нѣтъ, я вашъ другъ, вотъ и все. Велика-ли заслуга оказывать помощь тѣмъ, кого любишь.

Ни Солиньякъ, ни Клодъ Ривьеръ не замѣтили страннаго впечатлѣнія, произведеннаго на Шамборо именемъ маркизы Ригоди.

Онъ неожиданно отошелъ отъ Терезы, руку которой держалъ, и приблизился къ Солиньяку.

— Извините, полковникъ, сказалъ онъ, — вы, кажется, только-что назвали...

— Маркизу Ригоди. Вы ее знаете?

— По имени, отвѣчалъ холодно Шамборо; — мы, кажется, земляки. Я былъ въ конвентѣ представителемъ департамента Верхней Виенны.

— Мы, значитъ, всё свои, весело произнесъ Солиньякъ. — Я также изъ Лиувена.

— Полковникъ Ганри де-Солиньякъ, произнесъ Клодъ Ривьеръ, указывая на своего друга.

— Да, это имя... началъ-было Шамборо, но Солиньякъ, боясь, что членъ конвента сдѣлаетъ намекъ на селеніе, по которому онъ былъ названъ, быстро перебилъ его и, обращаясь къ Терезѣ, сказалъ:

— Вы можете быть увѣрены, сударыня, въ совершенной безопасности подъ покровительствомъ маркизы Ригоди. Я васъ отвезу къ ней, когда вамъ будетъ угодно.

— Какъ! произнесъ Шамборо. — Вдругъ, безъ предупрежденія?

— Развѣ мы можемъ терять время на пустяки? спросилъ Солиньякъ.

— Конечно, нѣтъ, но...

Шамборо, повидимому, колебался и смотрѣлъ на Солиньяка съ какинъ-то недовѣріемъ.

— Надѣюсь, продолжалъ полковникъ, — что мой плачъ не встрѣтитъ никакихъ возраженій?

— Конечно, нѣтъ, отвѣчалъ Шамборо; — но... можетъ быть, найдутся причины уважительныя...

— Которыя помѣшаютъ маркизѣ Ригоди пріютить въ своемъ домѣ женщину въ опасности? Такихъ причинъ не существуетъ.

— Вы забываете, полковникъ, что маркиза Ригоди принадлежитъ къ той частѣ, противъ которой я боролся. Она, вѣроятно, ненавидитъ всѣхъ актеровъ драмы, въ которой я принималъ участіе.

— Я убѣжденъ, что ей все равно, къ каковой партіи принадлежить лицо, подвергающееся опасности.

— Да... я въ этомъ не сомнѣваюсь. Но если одни отличаются великодушіемъ, то другіе имѣютъ самолюбіе... Мнѣ было бы непріятно, если-бъ узнали, что племянница члена конвента Шамборо искала убѣжища у родственницы эмигрантовъ.

Ривьеръ съ удивленіемъ слушалъ Шамборо, а Тереза, предаваясь всецѣло своимъ мыслямъ, смотрѣла на Клода съ какимъ-то смиреннымъ, восторженнымъ энтузіазмомъ, почти съ благоговѣніемъ.

— А! это дѣло самолюбія, произнесъ Солиньякъ; — но вѣдь безопасность вашей племянницы всего важнѣе. Къ тому-же никто не узнаетъ о покровительствѣ вашей племянницы аристократкой.

— Маркизъ Ригоди это будетъ извѣстно.

— Зачѣмъ? Я отвезу къ ней жену капитана Ривьера, и вы ничѣмъ ей не будете обязаны. Господи! я думалъ, что года сглаживаютъ человѣческія ненависти, но, судя по вашимъ словамъ, я, должно быть, ошибался.

— Время не можетъ изгладить нѣкоторыхъ воспоминаній, сказалъ Сильвенъ Шамборо, — и вы, полковникъ, въ свое время убѣдитесь въ этомъ.

— Теперь-же я позабочусь о безопасности г-жи Ривьеръ. Вы согласны, капитанъ?

— Да, и очень вамъ благодаренъ.

Въ эту минуту Тереза подошла къ Ривьеру и проговорила умоляющимъ, едва слышнымъ голосомъ:

— Я желала-бы сказать вамъ два слова.

Солиньякъ и Шамборо инстинктивно отошли въ сторону.

— Я хочу вамъ сказать, начала Тереза, стоя передъ Клодомъ съ преклоненной головою и сложивъ руки, какъ-бы молясь Богу, — что вѣтъ на свѣтѣ существа, которое болѣе меня жаждало-бы искупить свое безуміе искреннимъ раскаяніемъ, безграничной преданностью и слѣпымъ повиновеніемъ.

— Я вамъ вѣрю, отвѣчалъ Клодъ твердымъ, но столь-же тихимъ голосомъ.

— Такъ я могу надѣяться, промолвила Тереза съ пламенной мольбой и страхомъ, — что... быть можетъ... когда-нибудь... прощенье...

— Я простилъ.

— Простить— великодушно, но забыть...

— Забыть! произнесъ Клодъ задумчиво; — забываетъ не человекъ, а время. Къ тому-же, прибавилъ онъ, впиваясь въ глаза Терезы своими ясными, твердыми, энергичными взглядомъ,—если васъ я простилъ, то *ему* отомщу... Потому, послѣ мести, мы увидимъ.

Произнеся эти слова, онъ махнулъ рукой, какъ-бы говоря: „я съ вами кончилъ“, и Тереза, дрожа всѣмъ тѣломъ, обернулась, ища поддержки.

Солиньякъ подоспѣлъ къ ней на помощь и повелъ къ двери.

— Прощайте, промолвила Тереза умирающимъ голосомъ.

— До свиданія... можетъ быть, отвѣчалъ Ривьеръ, сердце котораго, хотя истерзанное, все еще принадлежало этой женщинѣ.

Солиньякъ простился съ нимъ и, дружески пожавъ ему руку, отворилъ дверь.

— Такъ мое имя... началъ Шамборо.

— Не будетъ упомянуто, перебилъ его Солиньякъ.

— Я могу на это рассчитывать?

— Да, гражданинъ, отвѣчалъ полковникъ съ улыбкою;—племянница члена конвента Шамборо будетъ извѣстна маркизѣ Ривьера только подъ именемъ жены капитана Ривьера.

(Продолженіе будетъ.)

ЗИМНЯЯ НОЧЬ.

(Съ венгерскаго.)

Зима и ночь. Взметаеъ вихрь съ разбѣга
Клочьями снѣгъ. Но клочья-ль это снѣга?
Быть можетъ, то клочки безумныхъ грезъ,
Клочки души онъ по полю разнесъ?

Чу, полночь бьетъ. Не могъ сомкнуть я вѣжды,
Ко мнѣ любви и вѣры и надежды
Три призрака священные пришли, —
Когда-то въ путь они меня вели.

Теперь ихъ нѣтъ, ихъ истребила злоба,
Но въ часъ ночной они встаютъ изъ гроба
И надо мной склоняются въ слезахъ
И шепчутъ мнѣ о прошлыхъ, чудныхъ дняхъ.

Вихрь разорвалъ угрюмыхъ тучъ покровы
И въ небесахъ блеснули звѣзды снова, —
Онѣ блестятъ, но въ красномъ блескѣ ихъ
Я вижу слѣдъ отъ брызговъ кровавыхъ.

Земля людей такъ часто убиваетъ
И, можетъ быть, та кровь не пропадаетъ
И въ формѣ звѣздъ упрекомъ служить намъ —
Кровь Авеля, поднявшись къ небесамъ.

А дикій вихрь на мигъ не умолкаетъ,
Онъ тучи рветъ и кудри мнѣ взметаеъ...
О, рви скорѣй, но не клочки волосъ,
А сердце рви, исполненное слезъ!

Какъ тяжело въ груди его биенье! —
Такъ падаютъ съ развалины камня;
Такъ медленно стучать о гробъ порой
Надъ мертвецомъ комки земли сырой.

Да, грудь моя, ты — темная могила,
Ты заживо въ ней сердце схоронила, —
Оно живетъ, но не единый звукъ
Не выразить его проклятыхъ мукъ.

Но вихрь утихъ, луна блеститъ надъ нами,
Покой и блескъ разлиты надъ полями, —
Пора домой, пора на отдыхъ мнѣ, —
Покой и блескъ, вамъ грудь чужда вполнѣ.

М. Н.

СЪ СЪВЕРА НА ЮГЪ.

РОМАНЪ.

КНИГА III.

« Степанъ-Малышъ ».

I.

Поръшенныя.

Какъ увидали на другой день пустую саклю съ потолкомъ продыравленнымъ, гдѣ Марина сидѣла, шибко озадачились. Пошли сейчасъ гнать по горячему слѣду, а горячаго слѣду этого только и было всего два отпечатка ногъ на крышѣ да бурьянъ на пригоркѣ смятый, стоптанный.

— Бѣжала, шустрая, говорятъ одни.

— Увезли, толкуютъ другіе.—Значить, выгнали.

Статочное-ли дѣло, чтобы силою кого изъ-подъ замковъ тюремныхъ увести можно было, безъ согласія его, безъ вѣдома... Вѣрнѣе, значить, сама убѣжала; а коли одна убѣжала, значить другіе къ тому-же готовились, да не успѣли, оплошали, полагать надо.

Правный не побѣжитъ, ему незачѣмъ; бѣгутъ виноватыя. А коли она виновата, Марина то-есть, такъ и тѣ двое пуще ея кары заслуживаютъ.

Совсѣмъ было къ концу подходило судное дѣло, а тутъ—стой! Давай все съ начала.

Опять пошли допросы да передпросы, опять справки да переписки, опять стали таскать заключенниковъ по городу со стражею почетною, „съ ундеромъ съ книжкой“.

Осень подошла.

Вотъ, думаютъ, теперь скоро; къ первопутку зимнему пошаба-шуть.

Прошла эта осень, зима наступила, мокрая, вѣтряная, мало-снѣжная.

— Раньше, какъ къ веснѣ, и кончатъ нечего, толкуютъ судьи многоумдрне, — потому какъ ежели гнать изъ придется по этапу, не погонитъ степью въ бураны снѣжные да въ гололедицу, за три тысячи верстѣ, пѣшкомъ, съ желѣзными подвѣсками.

И долга-же эта зима показалась Степану съ Никономъ; и конца ея они не чаяли.

Вторая зима это была, какъ они на мѣста эти новья, благодатныя, прибыли.

Наступила весна. Согрѣло солнышко землю озябшую, распустило льды, снѣга слежавшіеся, заглянуло, надо полагать, и въ души мундирныя, тепломъ въ нихъ повѣяло. Да и надоѣло оно тоже съ однимъ и тѣмъ-же дѣломъ столько времени возжаться. Опять-же запросы стали приходять отъ большого начальства по округу.

Прикончили съ дѣломъ „по убіенію посредствомъ топора надворнаго совѣтника Іосифа Антоііева Колоштанскаго, съ пересѣченіемъ спинного хребта и проникновеніемъ онаго (т.-е. топора) въ грудную полость, отъ сего умершаго“.

Порѣшили съ участниками этого дѣла кроваваго.

Никона Денисова приеудили: лишитъ всѣхъ правъ и всего про-чаго, заключитъ въ тюрьму на девять лѣтъ, препроводивъ его для сего въ омскій губернскойіи острогъ, а послѣ этого срока водворитъ въ той-же мѣстности на поселеніе пожизненно.

Степану-Малышу зачестъ годъ и два мѣсяца, проведенные въ тюрьмѣ, въ наказаніе за непринятіе мѣръ къ предупрежденію преступленія, и выпустить на свободу.

Дѣло объ исчезновеніи Марины Денисьевой, за неизмѣненъ никакихъ слѣдовъ и указаній, предать волѣ Божіей.

Послали это рѣшеніе на просмотръ и утвержденіе куда слѣдуетъ; тамъ смилостивились: изъ Никоновыхъ девяти лѣтъ че-

тыре года сбавили; во всемъ прочемъ согласны были и предписали: „приговоръ этотъ исполнить“.

Сѣрое утро было такое. Заволокло все небо жиденькими тучками, кругомъ обложило. Распустило еще неокрѣпшую, какъ слѣдуетъ, весеннюю дорогу, налились водою глубокія колена, черно, уныло вся степь окрестная выглядывала.

Много народу всякаго сошлось къ крѣпостнымъ воротамъ. Густая толпа уже часа два мѣсила липкую грязь на эскарпадѣ. Дождикъ сталъ моросить, косою, холодный. Мокнетъ народъ, зипуны да халаты на головы накиннули, ежатася, а все ждутъ чего-то, не расходятся.

Изъ господъ кто прѣѣхалъ, такъ въ крѣпость пропустили; ждутъ они въ теплѣ, на сухомъ мѣстѣ, а сѣрый народъ—что ему дѣлается?—коли на чужое горе пришла охота глядѣть, пусть и мокнетъ, своего любопытства ради.

— Вонъ онъ идетъ, онъ самый... эвона! кричитъ бурый халатъ, штаны солдатскіе.

— Гдѣ, кто?

Сунулась толпа, впередъ подалась; зашлепала грязь подъ ногами, брызнула.

— Идетъ! Ишь, сердечный, потупился... Ахъ ты, Господи, Боже ты мой милостивый!

— Да кто идетъ, кто? Посторонись, милый человѣкъ, аль пригнись, что-ли, вишь ты какой рослый, ровно стѣна все загораживаешь... Эй, милый человѣкъ, любезный!

— Обойди стороною, мѣста довольно; что я тебѣ, кланяться, что-ли, стану?

— Да вишь ты—лука.

— Это Степагъ!

— Ишь ты! что-же онъ одинъ-то, безъ караулу?

— Зачѣмъ его караулить? его, слышишь ты, ослобонили, со всѣмъ, значить, на волю.

— Сердешный!

— Отходи отъ воротъ! Отходи, эй! чего толчетесь? Прочь съ дороги! Да ну, просить, что-ли, станемъ вашего брата! Раздайся, черти, дьяволы!

Вышелъ тутъ ундеръ полицейскій, съ нимъ два солдатика, стали народъ осаживать.

— Скоро поведутъ, что-ли? спрашиваютъ съ разныхъ сторонъ; — сказывали — скоро.

— Какъ скоро, такъ сейчасъ.

— Иванъ Семенычъ, а Иванъ Семенычъ! Семенычъ!

— Кто кличетъ? а, кума, ты это? Проябла, чай, жданши, толстомысая?

— Скоро поведутъ-то? скажи, родимый.

— Выходи сюда! вотъ тутъ посуше. Прочитали все, таперъ скоро, смчасъ.

Пуще въ толпѣ завозились, жмутся къ воротамъ, того и гляди въ ровъ крѣпостной свалятся. Въ отворенные ворота часть площади видна: телѣга стоитъ тамъ въ одну лошадь, подвода, значить, десятокъ солдатъ съ ружьями и мѣшками заплечными, два казака верхомъ, — хмурные всѣ такіе, невеселые. Да и кому весело столько верстъ, до перваго этапу, пѣшкомъ по грязи переть, а ничего не подѣлаешь, потому — служба.

Подошелъ Степанъ-Малышъ къ воротамъ, видитъ: сотни глазъ на него уставились; вспыхнулъ весь бѣдняга, назадъ было попятился, остановился, совѣстно такъ стало. А чего?

— Какъ ты, таперича, вольный человѣкъ, подошелъ тутъ къ нему человѣкъ изъ городскихъ, незнакомый совѣмъ, — значить оправданъ и все прочее, — проздравляю, пойдемъ въ трактиръ. Иди, дуракъ, весь день на свой счетъ угощай, жертвую. Ну, иди, чего упираешься!

Не до того было Малышу; жутко ему глядѣть на солдатъ да казаковъ, что около подводы стоятъ, а на ворота, куда выходъ вольный, — еще того жутче. Провалиться-бы сквозъ землю легче ему было, да земля, даромъ-что размокшая, а крѣпка еще, устойчива, не расходится подъ ногами, на сколько слѣдуется.

Хуже теперь Степану, много хуже супротивъ даже того разу, когда его вели сюда связаннаго.

— Вольный ты человѣкъ таперъ, значить какъ есть чистъ, непороченъ, оправданъ, а посему ликуй и радуйся! лѣзетъ это ему въ оба уха. За рукавъ его теребятъ, за шею обнять норовятъ.

Словно надсмѣхъ какой, издѣвку надъ горемъ его тяжелымъ, надъ тоскою дѣлаютъ.

И одолѣваетъ-же эта тоска парня „оправданнаго“, давить грудь, подъ сердце подступила, и нѣтъ конца этой тоскѣ, нѣтъ выхода. Не съ кѣмъ Степану теперь словомъ перемолвиться, нигдѣ никакой утѣхи не предвидится.

Гудить народъ кругомъ. Много его тутъ собралось. Изъ города все новня и новня толпы прибываютъ, торопятся. Застываетъ все это, словно туманомъ сѣрымъ зволакиваетъ, заглушаетъ крики и говоръ, словно все это въ даль отъ него уходитъ, раздвигается. И одинъ одинокій онъ стоитъ здѣсь, посреди народа всего, одинокимъ и всю жизнь останется.

Врякнуло желѣзо неподалеку; духъ у Степана занялся.

— Ведуть, ведутъ! перешептываются въ народѣ. И ехидно такъ, словно шелестъ змѣиный, шипѣніе гада какого ползучаго шопотъ этотъ народный слышится...

Отросла борода у Никона, ввалились щеки поблекшія, глубоко куда-то глаза его сѣрне спрятались; тускло глядѣли они изъ своихъ ямъ на свѣтъ божій, прямо впередъ, вдаль; по сторонамъ не разбѣгались.

Согнулась его спина широкая, сторбилась; не подъ силу, знать, пришелся ей квадратъ желтый, тузъ каторжный; поддалась подъ нимъ Никонова сила медвѣжья.

Тяжело переступаютъ ноги кованныя и желѣзо за ними по грязи бороздитъ, волочится.

И не помнилъ уже Степанъ, не зналъ, какъ съ мѣста равнуса, какъ въ ноги повалился Никону, какъ подняли его, оттащили прочь солдаты съ мѣшками да ружьями.

— Съ радости-то нарѣзаться успѣлъ какъ! говорятъ, толкуютъ около...

— Хорошъ, нечего сказать!

— И никакъ невозможно, чтобы при такомъ случаѣ не выпить, никакъ этого невозможно.

— Убратъ! звонко такъ командуетъ офицерикъ, безусый еще, молоденькій.

Чуть было бабу-мѣщанку конемъ своимъ съ ногъ не спишбъ, ужъ очень отъ беспорядка такого изволилъ придти въ волненіе.

Очнулся Степанъ - Малышъ уже въ госпиталѣ казенномъ. Справа койка стоитъ, на ней халатикъ лежитъ сѣрый, колпакъ бѣлый бумажный, изъ-подъ колпака носъ заострившійся торчитъ, борода небритая видѣется. Слева тоже койка, такая-же точно, опять халатъ лежитъ, опять колпакъ бумажный, только рожа подъ тѣмъ колпакомъ красная такая, вздутая, и усы рыжіе щетиною топорщатся. За этими койками еще стоитъ много коекъ, длиннымъ рядомъ вытянувшись. Супротивъ—окошки, мухами засиженныя, со стеклами заплатанными, задрѣвшими. У одного такого окна столикъ стоитъ, чернилами забрызганный, у столика фельдшеръ сидитъ, папироску куритъ, волки на гитарѣ правитъ, „Черный цвѣтъ“ мурлыкаетъ. Съ потолка рѣшетчатого вода откуда - то дождевая просачивается и мѣрно, капля по каплѣ, звучно такъ о плитный полъ щелкается.

Глянулъ на себя Степанъ—и на немъ такой-же халатъ сѣрый; пощупалъ голову руками — бумажный колпакъ шелеститъ подъ исхудалыми пальцами.

Страхъ напалъ на бѣднягу, хотѣлъ было крикнуть, да голосу не хватаетъ; хотѣлъ вскочить—сила вся ни вѣсть куда пропала; слово приковалъ его кто къ тѣфяку соломенному, ни рукой, ни ногой не можетъ онъ двинуться.

Замычалъ, глянулъ въ его сторону фельдшеръ дежурный и положилъ на столъ свою гитару недостроенную.

II.

„Свѣтъ не везъ добрыхъ людей“—пословица, даже и по здѣшнему мѣсту пригодная.

Съ мѣсяцъ прошло времени, какъ увели Никона. Забываться стала мало-по-малу вся эта обавія.

Съ домою да съ доброю Никоновымъ приключилось тутъ тоже большое недоразумѣніе: кто говоритъ, что, безъ наслѣдниковъ законныхъ, въ казну все должно поступить. Самъ уѣздный тоже такъ думалъ и воловъ велѣлъ уже на казенный дворъ тащить. Батюшка тутъ, отецъ Иванъ, супротивничаетъ: „казна и такъ богата, говоритъ, а онъ, Никонъ, мужикъ былъ религіозный, ну

и попуталъ его лукавый, подтолкнулъ на такое дѣло, что и со всякимъ прочимъ можетъ случиться, а потому, ради души его спасенія, все на церковь должно поступить, встати оно и стройка церковная не совѣмъ покончена, деньги требуются“.

До ссоры дошло тутъ дѣло. Прочіе всѣ кто на ту сторону клонить, кто на другую.

Иванъ Александровичъ тоже отъ себя подалъ заявку: пишетъ по формѣ, какъ слѣдуетъ, такъ, молъ, и такъ: Никонъ Денисьевъ своего дѣла отъ мірскаго не отдѣлялъ, всегда говорилъ объ этомъ и на дѣлѣ по словамъ своимъ поступалъ, на что имѣются и свидѣтели законные, а посему выходитъ, что все имущество: рабочій скотъ, инструменты, орудія земледѣльческія и стройка, все должно быть возвращено ихъ сельскому обществу, а тамъ ужъ какъ захотятъ, такъ съ тѣмъ и поступать.

Написали, всякъ отъ себя, къ высшему начальству бумаги и въ бумагахъ тѣхъ изложили все въ подробности, просили должнаго разрѣшенія. Хитро тоже учинили они это дѣло: написалъ каждый порознь и послалъ другъ отъ друга тайно; въ болшемъ секретѣ держали это.

„Погоди, всякій думаетъ, — вотъ придетъ разрѣшеніе, какъ снѣгъ на голову; утретъ оно носы вамъ... погодите!..“

Много-ли, мало-ли времени прошло, вышло это разрѣшеніе. Самъ генераль въ ту пору проѣздомъ изъ Ташкента въ Питеръ пожаловалъ.

Чуть не лопнулъ съ досады уѣздный, а отецъ Иванъ такъ даже болѣе сталъ, служить не могъ, какъ узналъ, что дѣло-то вышло по-габинскому—значить: „отдать въ міръ“.

— И чего вы - то не въ свое дѣло суетесь! не вытерпѣлъ уѣздный, когда съ Иваномъ Александровичемъ у генеральскаго крыльца встрѣтились.—Вы кто такой? частный человекъ, ничего больше. Ну, чего вы лѣзете? Только мутите, только мутите. На зло мнѣ все, я вѣдь знаю.

— Поговорилъ-бы я съ вами, да некогда, говоритъ ему, усмѣхаясь, Иванъ Александровичъ:—меня вотъ его превосходительство ждетъ чай пить. Велѣлъ придти къ нему, понадобилось что-то.

— Чай пить? осовѣлъ уѣздный и глаза на него прищурилъ, перчатки свои разронялъ.

— Такъ точно.

— Гмъ... Зачѣмъ-бы это, не изволите знать, добрыйшій Иванъ Александровичъ?

— Поразспросить, можетъ, хочеть кое-о-чемъ, мнѣ вѣдь, какъ частному человеку, безпристрастному, значить, со стороны видѣнъе, а впрочемъ, не могу знать... До свиданья.

— Ба-атенька, прихватилъ тутъ его уѣздный за рукавъ,— ба-атенька, вы-то уже не очень, не того, знаете-ли, полегче...

Самъ это его оглаживаетъ да кулакомъ въ бокъ поталкиваетъ, заигрываетъ словно.

— Вы то помните, что генералъ что? въ годъ разъ наѣдетъ, а то и меньше, а мы съ вами тутъ всегда, и день, и ночь, одного города граждане, земляки въ нѣкоторомъ родѣ; ссориться намъ не слѣдуетъ, не годится! А, что? Тсъ...

Отскочилъ тутъ въ сторону уѣздный, шарфъ поправилъ, перчаточку сталъ торопливо натягивать, а рука у него потная, непривычная къ чехламъ, не лѣзеть. Встрепенулся легонько и Иванъ Александровичъ, сказать что-то хотѣлъ было, потому прокашливаться началъ...

Мелькнуло въ дверяхъ что-то синее, съ лампасомъ ярко-краснымъ, сѣрое пальто съ красными-же лацканами и золотыми пуговицами. Часовые у дверей тотчасъ артикулъ выкинули.

Генеральскій деньщикъ одежду его превосходительства вынесъ на крыльцо, встряхнулъ ее и сталъ щеткою по ней ерзать, да солидно такъ, степенно, на маленькое начальство и не глядитъ даже, зная щеткою шаркаетъ.

— Напрасно потревожились, усмѣхнулся Иванъ Александровичъ, вынулъ часы, посмотрѣлъ на нихъ, обдернулъ сюртукъ свой черный съ петличкою и спросилъ деньщика, камердинера генеральскаго:

— А что, его превосходительство встали?

— Изволеть одѣваться. Сейчасъ чай будутъ кушать. Господинъ Габина приказали просить. Пожалуйста.

Подъ вечеръ этакъ часу въ восьмомъ случилось это, а уѣздный такъ до часу ночи и не отходилъ отъ крыльца: то походить мимо обошекъ, то посидить на стульчикѣ, что приказалъ себѣ изъ горницы вынести да у воротъ поставить. Все это онъ Ивана Александровича караулилъ, когда-же тотъ, наконецъ, разговаривать съ генераломъ кончитъ, отъ него выйдетъ.

Намучился тутъ шибко стармчекъ нашъ прыткій, семь потовъ смѣнилъ, самъ послѣ рассказывалъ.

А Иванъ Александровичъ въ ту-же ночь письмо написалъ „въ городъ Омскъ, содержащемуся въ губернскомъ острогѣ крестьянину Никону Денисову. Въ случаѣ его неприбытія на мѣсто заключенія, удержать на почтѣ или-же переслать въ острожную канцелярію для доставленія по назначенію“.

А въ письмѣ этомъ сообщалъ онъ ему о рѣшеніи генеральскомъ насчетъ его имущества и о томъ, что его превосходительство, узнавши отъ него, Габина, все дѣло, какъ оно происходило, извоилъ милостиво отнестись къ пострадавшему и общалъ хлопотать едѣ слѣдуетъ о скорѣйшемъ смягченіи его участи, сокращеніи срока заключенія и о дальнѣйшемъ, что до него касается. Писалъ ему также Иванъ Александровичъ и о дѣлахъ волости ихней, только объ этомъ не приходилось писать многого особенно хорошаго, утѣшительнаго. Старостомъ на мѣсто Никона выбрали Дементія Трифонова старика. Тотъ человекъ хоть и хорошій, трезвый, да для міра слабъ, опять-же и въ лѣтахъ. Осенняя жатва удалась первымъ сортомъ и у мужиковъ теперь хлѣба много, вволю; сѣномъ, соломой тоже запаслись на зиму, проживуть безъ нужды, только не чаеть онъ, что съ будущемою весною такъ-же ходко, какъ и при Никонѣ, за дѣло примутся. Другіе ето выдѣлаться хотять, а это все одно, что общее разореніе снова. Пока ничего, впрочемъ, слава-богу, держутся, а что впредь будетъ—увидимъ. Коли нужда какая Никону въ деньгахъ будетъ, такъ чтобы написалъ въ нему, Габину, онъ вышлетъ. Тутъ еще изъ церковныхъ суммъ за работу плотничью не все Никону было выплачено, рублей сто десять еще ему причитается; отецъ Иванъ помалкиваетъ объ этомъ, да въ свое время отъ него тоже настоящій отчетъ спросится и эти деньги не пропадутъ. Объ Маринѣ писалъ, что пока нѣтъ никакихъ слуховъ ни откедова; просто какъ въ воду канула; о Степанѣ-же, что парень, прохворавши долго да провалявшись въ госпиталѣ, совсѣмъ чудной сталъ какой-то, на себя не похожъ, нигуда къ дѣлу не годится, и какъ-бы, обороны Богъ, не рехнулся съ гора, потому

примѣты есть такія: глядѣть больно чудно, отъ всѣхъ прячется, ни съ кѣмъ не говорить и не баетъ, гдѣ по цѣлымъ суткамъ пропадаетъ. Оттого больше его и въ старосты не выбрали, хотя-бы на мѣсто Никона другого кого и не найти-бы подходящѣе.

Просилъ въ письмѣ Иванъ Александровичъ, чтобы Никонъ и о себѣ когда прислалъ вѣсточку, потому хоть онъ и въ острогѣ сидитъ, а писать оттуда все-таки дозволяется.

Добрый человекъ былъ Иванъ Александровичъ, не даромъ всѣмъ въ Казалинскѣ поперекъ горла стоялъ. Ужъ какъ на него точили зубы власти мѣстныя, да вѣрно крѣпокъ, не уварился, совсѣмъ не пережевывается.

III.

Гдѣ Марина?

Верстахъ въ восьми отъ крайнихъ мельницъ казалинскихъ залегла глубокая степная балочка. Тянется она далеко въ степь отъ рѣки и въ двухъ только мѣстахъ, по всему своему протяженію, къ переѣзду удобна: одно мѣсто поближе, всего въ верстѣ отъ крайней черты, до которой весенніе и іюльскіе разливы подходятъ; здѣсь колесная дорога вытоптана; а другое мѣсто далеко; тамъ только тропы конскія проложены для верховыхъ, а съ телѣгою туда лучше и не суйся; камень на камнѣ всѣ крутые бока балки уснажили, колючій джунгиль поросъ по обрыву, а дно балки все водомоннами изрыто глубокими.

Лисицы проворныя въ томъ мѣстѣ водятся, норы себѣ порыли подъ камнями; тамъ и саямъ между ворной перепутанныхъ джунгильныхъ зягутъ эти черныя дырочки. Волки тоже гнѣздятся здѣсь степные; мѣсто ужъ очень хорошее для нихъ прятаться. Куропатки сѣрыя ныряютъ по кустамъ цѣлыми стадами; на зарѣ такое поднимаютъ влохтанье, что по вѣтру за полверсты слышится.

Дикое мѣсто совсѣмъ. Конный охотникъ съ собаками тутъ не раскочется, а пѣшій съ ружьемъ не заходитъ часто изъ города, потому далеко. Босоглазыхъ-же, что по своимъ дѣламъ ѣздятъ, по тропинкамъ узенькими пробираются, такъ звѣрье не шибко-

то ихъ боятся, особливо птица; развѣ волкъ трусливый на всякій случай хоронится и, поджавъ хвостъ-полѣно, дальше все по водомоинамъ пробирается; а то залажетъ въ уютномъ мѣстечкѣ, куда и солнце на минуту только заглядываетъ, да и лежитъ тамъ до ночи, когда придетъ его пора — ужинъ себѣ раздобывать, около атаръ бродить киргизскихъ.

Этимъ самымъ мѣстомъ, одною изъ тропинокъ, пробирались осторожно два вершника—дядя Василій съ Маметкою. Кони привычны ловко такъ съ крутизны спускались, и править ими не нужно, свободно висѣли поводья на шеяхъ конскихъ. Дядя Василій трубочку набивалъ себѣ, въ серебро оправленную, изъ корешка черешневаго, Маметка восточку обгрызала баранью, хрящи да мясо, гдѣ осталось, обчищала ножичкомъ, пережевывала, мурлыкала пѣсенку по-своему, кулекъ-кулькомъ въ покойномъ сѣдлѣ усѣлся, на затылокъ сдвинулъ шапку свою косматую.

Насторожилъ уши вороной конь дяди Василья, пріостановился на минутку, храпнулъ и снова впередъ тронулся, только осторожно, чуть ногами переступала, а все въ правую сторону жался, будто чуялось ему впереди да влѣво что-то недоброе.

А время становилось уже позднее; солнышко за гору „Раимъ“ спускалось и по дну балки темъ стала расплзаться туманная, синеватая.

— Что за дьяволъ! выпустилъ изъ рта трубочку Василій Ионичъ, отмахнулъ дымокъ рукою, сталъ прислушиваться да впередъ взглядываться.

Выпустилъ и Маметка кость изъ рукъ, швырнулъ ее въ сторону, за ружьемъ на всякій случай потянулся, что за плечами у него висѣло на веревочной привязи.

„Должно звѣрь какой забрелъ, думаетъ татаринъ; — уж не джубарсъ-ли? Отъ волка наши кони не попятятся, потому на охотѣ привыкли, изъ „загончныхъ“. Только давно что-то, вотъ уже сколько лѣтъ, про джубарсовъ въ этой сторонѣ не слыхивали; не забрелъ-ли какой изъ верховой стороны, отъ Кармакчей или Перовскаго?..“

Сърья, изрытая, вывѣтрившіяся верхушки камней торчатъ впереди; запыленные кусты чуть вѣтромъ пошатываютъ; блеститъ солонецъ на днѣ балки серебрястими змѣйками. Тихо все, ничего не видать, не слышать подозрительнаго.

— А то что? вздрогнулъ будто-бы Маметка. — Вонъ сидитъ подъ кустомъ, видишь? Гей!

Лошаденка у него сразу навадъ попятилась, круто на заднихъ ногахъ повернулась; чуть-было татаринъ съ сѣдла не кувырнулся, даромъ-что цѣпкій.

— Человѣкъ сидитъ, промолвилъ дядя Василій.—По одежѣ должно кто изъ нашихъ.

А подъ кустомъ, на самомъ днищѣ лещины, у тропинки точно сидѣлъ человѣкъ; рубаха на немъ холщевая, бѣлая, порты пестрядинные, ноги въ лаптяхъ, а голова простоволосая. Сидитъ этотъ человѣкъ, колѣни свои обѣими руками охвативши, лицо внизъ сунувши, будто дремлетъ, сидитъ онъ неподвижно, словно камень какой; только вѣтерокъ, что по дну балки межъ кустовъ пробирается, волоса его рыжеватые шевелить, путаешь, словно слухъ норовить речейники, крѣпко-на-крѣпко къ нимъ прицѣпившіеся.

Поднялъ голову человѣкъ этотъ, должно быть, топотъ конскій слышалъ, руку протянулъ къ головѣ, словно шапку снять хотѣлъ, поглядѣлъ вокругъ по землѣ, поднялъ картузь свой съ козырькомъ надорванный, стоитъ на мѣстѣ, верхниковоѣ дожидается, когда тѣ ближе подъѣдутъ.

А должны они проѣхать какъ-разъ мимо него, задѣнуть стремени, коли не поосторонится, и миновать имъ стороною этой встрѣчи никакъ невозможно, никакого объѣзда нѣту другого, ни съ правой стороны, ни съ лѣвой.

— Это Степка, словно про себя замѣтилъ Василій Ионичъ.— Что это онъ тутъ только дѣлаетъ?.. Какъ-бы чего... Кто его знаетъ, мѣсто глухое... Когда человѣкъ въ отчаянность придетъ, всякое можетъ случиться... И зайчиха подчасъ на собаку фыркаетъ.

— Степанъ, ты чиво тутъ садышь?... Зачѣмъ таковой мѣста гулаешь?.. узналъ его и татаринъ чебоксарскій.

— А я тебя ждалъ, Василій Ионичъ, вымолвилъ Степанъ и загородилъ собою дорогу.

— Что надо? говори, что случилось? Господь съ тобою, что ты, что ты?!.. Не замай!

Увидалъ тутъ Василій, какъ Степанъ руки протянулъ, словно будто за поводъ коня ухватить хотѣлъ, вотъ и струсилъ малень-

ко; только присмотрѣлся какъ поближе къ лицу Малыша, вся и робость его богъ-вѣсть куда отлетѣла.

Глядитъ на него Малышъ грустно такъ, жалостливо, губы чуть-чуть шевелятся, будто молитву шепчутъ какую, на глазахъ дрожить что-то, чуть-чуть просвѣчиваетъ, съ рѣсницъ обрывается; руки, какъ плети, внизъ висятъ и колѣни словно подгибаются, тѣла сдержатъ не могутъ.

— Я ждалъ тутъ тебя, Василій Ионычъ, опять повторилъ Степанъ.—Я со вчерашняго дня тутъ вотъ. Что-же, мѣсто... такое... не далеко... ничего...

— Да ты-бы ко мнѣ пришелъ, коли нужно что, чѣмъ тутъ въ степи, въ дичи такой, сидѣть.

— Ходы къ намъ въ кибитка, зачѣмъ сюда ходыль; на кибитка лутче.

— Тамъ народу много. Кругомъ народъ, всѣ смотрять, слушаютъ, а я къ тебѣ одному, лепеталъ Малышъ.—Тутъ хорошо вотъ—тихо. Время ночное подходитъ, звѣрье услышитъ—не выдать.

— Да что надо, блажной?

Слѣвъ тутъ съ лошади дядя Василій, бросилъ поводья, оглядываетъ Степана съ ногъ до головы пристально.

— И того не надо. Пускай тотъ ѣдетъ, Маметка; съ тобою однимъ хочу говорить, такъ надо.

— Что за диковина? пожалъ плечами Василій.—Шабашъ парень, должно быть, ты-тю... Выѣзжай, Маметъ, на тотъ берегъ балки, тамъ погоди, постой маненько, пока я подойду. На вотъ, бери и мою лошадь. Ну, рассказывай.

Отѣхалъ татаринъ, все назадъ оглядывается; киваетъ изъ-за вустовъ его черная шапка; кремешки изъ-подъ кованыхъ копытъ звонко такъ щелкають, шуршатъ по сухой травѣ, внизъ обрываются. Тихе да тихе все это слышится, потому и смолкло совсѣмъ, знать, отѣхалъ далеко аль остановился, стоитъ гдѣ, притаившись.

— Василій... слышь-ко... началъ Степанъ и потупился. — Я вѣдь не то, чтобы... не для чего такого.

— Ну? пожалъ плечами Василій, сломалъ вѣточку, сталъ отъ комаровъ отмахиваться.

Поднявъ голову Малышъ, взглянулъ прямо въ глаза Мутилы, ясно такъ взглянулъ, покойно.

Пришла тутъ очередь и Василю тоже потупиться, неловко что-то стало, опять-же у самой ноги его козявка ползла какал-то, поглядѣть ее, должно быть, занято было.

Въ первый, почитай, разъ такъ-то случилось съ дядею Васильемъ.

— Гдѣ она? промолвилъ парень, и глазъ не спускаетъ съ того, кого спрашиваетъ.

— Кто? про кого ты это?.. сталъ тутъ Василій кушакъ поправлять, по рукоятѣ ножа своего киргизскаго въ бирюзовой оправѣ провелъ ненарокомъ.

— Марина гдѣ? Я тебя про нее спрашиваю.

Осердился тутъ шибко дядя Василій, побагровѣлъ весь, зубъ сжалъ, отступилъ шага на два.

— Знаешь-ли ты, пропащая твоя голова, какія ты слова говоришь? процѣдилъ онъ.

— Какія слова мои... полно, братъ... никакихъ тутъ словъ моихъ нѣту...

— А ежели я это вотъ сейчасъ свидѣтеля крикну, все одно хошь Маметку. Можетъ, у меня еще есть окромя него кто слышитъ это...

— Не надо народу, не надо, значить. Мы съ тобою глазъ на глазъ... ты по-душѣ... зачѣмъ другихъ звать?

— Да что я, тѣфу ты, прости Господи, что я за одно, что-ли, съ ней былъ, съ бѣглою-то этой?

— А ты полегче! сверкнули глаза у Степана, кулаки его сжиматься сами собою начали.

— Чего легче? Ты еще, поди, въ людяхъ будешь разносить, что тебѣ въ голову забредеть, въ безумную. Ишь ты у кого спрашивать вздумалъ про Марину! Миѣ-то что? я сторона и вашихъ дѣловъ не знаю. Небойсь, когда васъ таскали, меня не трогали. И теперь ты меня, сдѣлай милость, въ этакія дѣла не путай.

— Василій Ионичъ, первымъ мошельщикомъ за тебя буду. Не мало у тебя грѣховъ-то, не бери хоть этого на душу.

— Отстанъ. Боли за тѣмъ надо было, нечего было ждать въ трупобѣ, почитай, сутки цѣлне. Болтать только вотъ миѣ съ тобою неколи. Эй, Маметъ, выѣхалъ, что-ли? Ого-то-го!

— Го-го! донесся издалека, съ самаго выѣзда, отвѣтный гикъ татарина.

— Постой! схватился за него Степанъ. — Постой. Гляди ты на меня: не такой я, что доносить на тебя стану; не для того и спрашиваю. Сердцемъ я чую то, до чего другіе и не догадываются. Къ тебѣ вотъ и пришелъ потому. Окромѣ тебя кому-же и знать, гдѣ Марина? Скажи ты мнѣ это. Пожалѣй ты душу мою... смилуйся... Все одно, какъ вотъ камни эти: что ни слышать, никому о томъ говорить не стануть, такъ и во мнѣ закретъ твое слово. Языкъ легче вырѣжутъ, чѣмъ отъ меня что узнать. Пусть я на мѣстѣ вотъ сдохну, пусть никогда больше ее не увижу, пускай на нее самою нападетъ хворость лихая, если донесу на тебя, стану жаловаться. Не узнать мнѣ никогда, гдѣ она, что съ нею, коли ты не скажешь. Не утаивай-же отъ меня этого, что въ томъ тебѣ користи? Тебѣ тоже это доброе дѣло Богомъ зачтется.

Зарыдалъ Степанъ, глухо такъ, прерывисто, словно въ груди у него что-то начало лопаться. Въ ноги повалился и сапоги Васильевы обнимаетъ.

Заскребѣ затылокъ Василій Іоничъ, осунулось лицо у него, перекошилось какъ-то. Одни, въ глухомъ мѣстѣ, на днѣ оврага, темень густая кругомъ надвинулась. Жутко такъ вдругъ стало ему, подъ архалукомъ ватнымъ, стеганнымъ, мурашки морозные забѣгали.

— Слушь-во, произнесъ онъ, тронувъ за плечо Степана. — Ну, брось, полно... слушай...

Задрожалъ Степанъ-Малышъ, такъ на него и воззрился.

— Ну, зачѣмъ тебѣ знать это? скажи ты мнѣ по-правдѣ, по-истинѣ, зачѣмъ?

— Я къ ней пойду... прошепталъ парень.

— Вотъ какъ! Ну, а коли больно далеко?

— Все единственно пойду... на край свѣта хотя... скажи, куда только...

Помолчалъ Василій съ минуту, поразмысливалъ что-то, и такъ, и эдакъ умомъ своимъ раскидывалъ. Сказать — все одно на себя руки наглядывать, не сказать — парень-то больно его ужъ разжалобилъ, совѣсть аль чортъ ее знаетъ что на сердцѣ у него заворочалось...

— Къ ней поѣдешь? переспросилъ онъ.— Ну, а коли видишь меня аль другому кому скажешь?

— Я-то?

Сорвалъ съ своей шеи Степанъ-Малышъ шнурокъ со складнемъ мѣдинымъ и кипариснымъ крестикомъ, положилъ на землю, перекрестился трижды и подѣловалъ образокъ, а потомъ и землю обо-ло, взялъ шнурокъ, показываетъ его Василию.

— Пушай дьяволъ на этомъ самомъ вотъ гайжанчикѣ удавиться меня попутаетъ, безъ креста, безъ покаянiя, собачьей смертjю околотъ мнѣ доведется, если что своимъ словомъ тебѣ во вредъ сдѣлаю...

— Жаль мнѣ тебя, парень... шибко жаль... а дѣлать нечего.

— Ну?..

— Да что ну? Коли-бы зналъ, отчего не сказать... а то вотъ и дѣло, что ничего мнѣ самому неизвѣстно.

— Василий Ионичъ...

— Да ужъ что дѣлать, землячекъ! Коли что по ордѣ разузнаю, скажу, а пока не прогнѣвайся...

На колѣняхъ все стоялъ Степанъ, а тутъ присѣлъ, къ землѣ все головой сталъ клониться... Ничего и не говорить больше, молчить... Что это приключилось съ нимъ? думаетъ дядя Васи-лiй.

— Ну, прощай пока, говорить, и сталъ потихоньку отходить далѣе по тропиночкѣ. Что-же тутъ съ этимъ блаженнымъ среди ночи, на пустыряхъ валандаться...

— Василь Ионичъ... А-га-га-га! обликаетъ его Маметка, дол-жно быть ждаты соскучился.

— Давай лошадей! словно изъ-подъ земли Василий Ионичъ передъ нимъ повазался.

— А Степка кайда? (гдѣ).

— Тамъ! махнулъ рукою Василий, сѣлъ на своего бѣгуна и погналъ съ мѣста шибкою рысью.

Съ полчаса гнали такъ-то; что только ни заговаривалъ тата-ринъ, ничего не отвѣчалъ ему мужикъ, да вдругъ какъ остано-вится разомъ... Лошадь Маметкина сзади бѣжала, такъ съ раз-бѣгу и ткнулась мордою въ хвостъ бѣгуна передняго.

— Трогай впередъ шагомъ, сказалъ хозяинъ, повернулъ коня и взапятъ понесся обратною дорогою, къ выѣзду изъ балки.

Не видать стало впотьмахъ всадника, только топотъ коня скачущаго все глуше да глуше слышится, нагайка ремонная раза два никакъ щелкнула... Лошадь Маметкина вслѣдъ заржала, одна идти не хочетъ, упирается...

— Какой дѣло? недоумѣваетъ татаринъ чебоксарскій... Потерялъ что, меня-бы послалъ. Что такой, право?..

Не догналъ, однако, Василій своего слугу вѣрнаго, какъ общалъ. Тихинъ самымъ шагомъ тотъ ѣхалъ, останавливался раза три дорогою, прислушивался... Вотъ, думаетъ, догонитъ, вотъ никакъ ѣдетъ, топочеть что-то сзади. Такъ одинъ и пріѣхалъ домой Маметка, лошадь успѣлъ свою разсѣдлатъ, убрать какъ слѣдуетъ. Разсвѣло совсѣмъ, солнышко выходитъ начало, только тогда и вернулся Василій; лошадь подъ нимъ взмыленная вся, загнана порядочно; хозяинъ самъ ничего, веселый такой, не ругается изъ двухъ словъ въ третье, по обыкновенію; самоваръ приказалъ ставить, за водкою послалъ...

— А я, братъ, Степку-то въ аулъ къ Викетанкѣ свезъ... Совсѣмъ ослабѣлъ парень, пѣшкомъ-бы не дойти, а въ городъ не хочетъ... Чу-у-удакъ! говорилъ Василій.—Вотъ я его и свезъ, оттого и замѣшкался. Не почевать-же ему въ балкѣ!

— Зачинъ въ балка почивать, тамъ волкъ, каскаръ зарѣжетъ. Волкъ много, Степка одна. Зачинъ спать въ балкѣ, въ кибиткѣ люте.

— Вотъ я его въ кибитку и свезъ, вымолвилъ дядя Василій и налилъ себѣ чаю изъ кунгана въ большую зеленую чашку, настоящую китайскую.

Маметкѣ тоже кивнулъ онъ головою на чай: „лакай и ты, значить, на доброе здорovie“.

IV.

Корнаухій дядко.

Въ городѣ или по округѣ гдѣ рѣдко показывался, а на Косъ-Аралѣ островѣ такъ живя-жилъ старичекъ одинъ. Сколько лѣтъ ему было, про то онъ самъ забылъ даже, а по рассказамъ его, какъ начнетъ про старину вспоминать, должно быть, что было достаточно.

Зиму и лѣто все онъ на отмели жилъ съ рыбаками... Къ заморозкамъ, когда всѣ бросаютъ островъ, въ городъ переселяются, дѣдо одинъ оставался. Пріютится въ землянкѣ рабочей съ желѣзною печкою погнутою, проржавѣлою; оставляетъ ему тутъ сухарей, рыбы соленой, онъ такъ и зимуетъ въ своей норѣ, сторожемъ себя почитаетъ всего острова, хотя въ сторожѣ-то этомъ нѣтъ никакой надобности.

— Ступай въ городъ съ нами, говорятъ ему, бывало, работники,—что здѣсь одному оставаться? Замерзнешь, старый чортъ, а то такъ подохнешь отъ старости, безъ покаянія, потому тутъ попа взять тебѣ не откуда. Нѣшто у волка какого каются будешь. Идемъ съ нами.

— Не... не пойду... что тамъ за городъ такой? не пойду... лепечеть старикъ.

Силкомъ разъ хотѣли тащить—упирается, плачетъ, словно ребенокъ. „Караулъ!“ разъ заоралъ на весь островъ, словно его въ полозѣ тащутъ, а не въ доброе мѣсто какое... Блаженный!

Работы никакой не могъ онъ дѣлать, хоша самъ себя по рыбацеству считалъ первымъ работникомъ, надъ нашими ребятами своимъ ртомъ беззубымъ подсмѣивался. Бранился тоже ниу пору. „Все, говорить, не такъ, не по-христіански вы дѣлаете“.

Какъ онъ сюда попалъ, откуда, никто не зналъ; всякъ розно толковалъ, а самъ онъ тоже запомнилъ, надо полагать, потому все у него прежде въ головѣ перепуталось. Что давно случилось, можетъ десятка три лѣтъ назадъ тому; а то и побольше, то ему казалось недавнимъ, словно году не прошло еще. Иной разъ такое начнетъ рассказывать древнее, отшатнутся даже отъ него, вкеститься стануть. „Не съ того-ли свѣта, молъ, какой выходець?“

Съ виду сторожъ былъ таковъ, что кто взглянетъ спервоначалу, незнакомый какой, всякъ назадъ попятится; наши всѣ ничего, привыкнуть успѣли въ его безобразію; онъ имъ совсѣмъ за обыкновеннаго казался, только развѣ что безъ ушей только, попорченный. За это вотъ и прозвали его „корнаукинъ дѣдкою“.

Былъ онъ, надо полагать, съ молоду росту высокаго, да согнуло его старостью... И напередъ-то согнуло, и въ бокъ шибко покривило,—коряга-корягою сталъ сучковатою, всего исковеркало. Пригнулась у него голова, въ поясъ обыкновенному че-

ловѣку приходится, а руки длинныя стали, вытянетъ—до земли хватаютъ; на одной рукѣ двухъ пальцевъ недостаетъ, а на другой только одинъ мизинецъ и остался... Голова у него была совсѣмъ лысая, желтая такая, глянцевитая, а лицомъ словно сапогъ смуглый, и влочками топорщились его брови сѣдыя, будто мохъ поросъ надъ глазами ввалившимися... Чудной тоже носъ былъ у него: конецъ крючкомъ заострился, на губу верхнюю свѣсился, а ноздри вплоть до глазныхъ угловъ тянулись, по той причинѣ, какъ самъ онъ помнилъ еще, Пугачъ, а можетъ и другой кто, только въ то время самое, ноздри ему желѣзомъ повыдергаль... Борода совсѣмъ не росла у него, которая и были щетинки рѣдкія, и тѣ повылѣзли; на верхней губѣ тоже ничего не видно было, да и губа-то самая совсѣмъ высохла, съжилась; ротъ не закрывался путемъ и видно было, какъ въ этой беззубой дырѣ кончикъ языка поблекшаго шевелится...

Уши ему въ Хивѣ обрѣзали, когда въ плѣну тамъ находился. А въ плѣнъ этотъ онъ разъ пять попадалъ. Раза два купцы его выкупали, на товаръ промѣнивали, на куначъ да на ситецъ владимірскій, а то такъ бѣгалъ три раза; и послѣдній разъ бѣжалъ уже недавно, на нашей памяти, назадъ тому лѣтъ двадцать, не болѣе. Тогда вотъ и на Косъ-Араль пришелъ.

Таковъ онъ и пришелъ съ виду, какимъ и по сіе время остался... Другимъ, помоложе, значить, его и не помнитъ никто. Знать уже вѣкъ свой положенный давно пережилъ, что его такъ заколодило; земля не принимаетъ, должно быть.

Сидѣли разъ ночью рыбаки, работники вольные, еще Николая Васильевича Захрященаго наемники, Голубевскіе, ужинать это они собирались; уху варили въ камышахъ, на матеромъ берегу на лѣвомъ, отъ взморья недалеко... Слышать: камыши потрескиваютъ по-близости. Метельки колыхнутся и все ближе да ближе шелестять, подвигаются...

„Уже не звѣрь-ли какой подкравывается, полосатый? думатьъ,—не тигра-ли?“

Въ ту пору еще водились и въ здѣшней мѣстности эти дьяволы зубастые...

Темная ночь была, не зги не видно, отъ огня кострового еще темнѣе кажется...

Насторожились это наши, багры взяли, кремни у самопаловъ

поправили, оглядѣлись, значить... Ждутъ, что дальше будетъ... Маленько оробѣли тоже.

Выползло что-то изъ гущины, на заднія ноги поднялось... Прямо на огонь валить.

— Пали! шепчуть одни.—Пали! Время теперь самое настоящее. Вишь ты: „онъ самъ!“

— Человѣкъ это, братцы, никакъ! стали другіе въ темноту вглядываться.

Во время разглядѣли, спасибо, а то такъ-бы его, дѣдушку, тутъ и пристукнули.

Стали его разспрашивать: кто такой, да отсюда, да куда идетъ-пробирается? А тотъ молчить, мнчить что-то, на уху такъ и накинудся, на недоваренную; хлѣба краюху увидалъ у одного паренька, звѣремъ набросился, вырвалъ изъ рукъ у него хлѣбъ, словно собака грызть его принялся; обѣими лапами поддерживаетъ, на всѣхъ волкомъ озирается.

Шибко проголодался знать, бѣдняга, сколько дней, можетъ, бродилъ не ѣвши, вотъ и остервенился такъ, пищу завидючи. Спать потомъ завалился, какъ поѣлъ до-сыта.

Самъ вѣры православной, зовуть его... Никакъ не зовуть, безымянка, значить, родства непомятій. Пришелъ изъ Хивы, а куда идетъ? Никуда больше идти не хочетъ... Только и узнали всего, когда на другой день опять съ разспросами приступили.

„Ну, ладно, думаетъ, живи здѣсь съ нами на островѣ. Господь съ тобою, намъ хлѣба не жалко“.

Съ той самой поры и остался тутъ корнаухіи дѣдушко, сторожъ добровольный.

Ну, и знатокъ-же онъ по рыбьему дѣлу оказался дошлый. Чего-чего не знаетъ! Про всякую рыбку: какъ живетъ она да что дѣлаетъ, да гдѣ гуляетъ, икру мечетъ въ какое время,—все знаетъ, разсказываетъ все складно, словно про земляковъ своихъ, словно самъ сродни какому-нибудь осетру аль сазону толсто-брюхому приходится.

Спасибо ему: въ той артели, что пріютила его, много супротивъ другихъ таланнѣе пошло... Мѣста ловниа сталъ онъ имъ показывать настоящія, насчетъ времени тоже.

Стали его тутъ хозяева приголубливать, чаемъ поить, одежду

давать кое-какую, обносочен, потому человекъ онъ, видятъ они, пригодившій.

Савва Вуколычъ было жалованье ему положить хотѣлъ и все какъ есть довольствіе, пенсію тоже выдавать послѣ сулился... Контрактъ думалъ написать съ нимъ, да какъ показалъ ему эту бумагу самую, такъ дѣдо даже затрясся со страху и въ ту-же ночь тягу съ острова... На третій день еле поймали его наши ребята, на-силу, на-силу огладили старика, успокоили.

И завсегда съ той поры, какъ увидитъ дѣдо Савву Вуколыча, сейчасъ по камышамъ отъ него станетъ прятаться...

V.

Ровсказни „Корнауховаго дѣда“ про стороны дальнія, про дороги въ нимъ, праниа и окольніа.

Пришелъ Степанъ-Малышъ на Косъ-Араль островъ, своихъ, должно быть, провѣдать захотѣлъ, тоску свою здѣсь у моря привольнаго размыкать... Пришелъ, дѣду сейчасъ сталъ розмыкать.

Дружилъ онъ съ „Корнаушимъ“, и прежде, когда приходитъ сюда доводилось, любилъ паренъ со старикомъ разговаривать, гостинцевъ ему носилъ изъ города... Самъ дѣдо тоже парня нашего супротивъ другихъ особенно жаловалъ.

Пусто было на островѣ, весь народъ на лодкахъ ушелъ переметы обирать, дѣду съ собою увезли. Взялъ Степанъ это удочку, у шалаша одного валялась, снарядилъ ее, какъ слѣдуетъ, живца насадилъ на крюкъ и сѣлъ на бортъ лодки, на мель выброшенной, сѣлъ да и задумался.

Повеселѣлъ немного паренъ съ той ночи, какъ съ Василиемъ Ионычемъ въ балкѣ стеной разговорился. Глядѣть сталъ бодрѣе, пѣсню даже разъ отъ него слышали... Вотъ и теперь, когда шелъ сюда, на островъ, всю дорогу пѣлъ; въ аулѣ отдыхалъ, съ ребятами-киргизатами заигрывалъ, старухѣ „Махтѣ-Дуриниѣ“ верблюда пособилъ вьючить, на синну горбатую помогъ ей взобраться,—одно слово, супротивъ прежняго ожилъ... Краска это у него въ лицѣ появилась и глаза прояснѣли, перестали разбѣгаться во всѣ стороны, какъ у полоумнаго.

Сталъ къ вечеру народъ собираться, привезли рыбу обобранную, рядами на берегу сложили. Ворочаются на пескъ осетры двухъ-аршинныя, зѣваютъ сердечныя; кровь сочится у нихъ изъ боковъ, крѣчьями распоротыхъ. Сома выволокли одного страшнаго, шестеро на берегъ выволакивали, а въ лодку и не клали его, привели такъ за собою, на буксирѣ. Пудовъ восемнадцать вѣсу была эта звѣрь-рыбина; хотѣли цѣликомъ въ городъ тащить, уѣздному показывать.

Управились со снастями, подъ котлами салотопными огонь развели, принялись за свою варку, похлебку рыбною обыкновенную; про баранину, какая она на вкусъ будетъ, ужъ и думать-то позабыли... Съ того разу самага пошабашили.

Гармонія тутъ нашлась у одного солдатика отставнаго. Парнишка, казачекъ хозайскій, дудочку изъ камыша вырѣзалъ. Музыка, веселье стоитъ на островѣ, другіе ето плясать начали.

Развели дымокура изъ сырого навозу, первое средство противъ комаровъ навязчивыхъ, сѣли въ кружокъ, болтають вслѣкъ про свое... Дѣдко корнаухіи приковылялъ, съ ложкою, отвели ему сейчасъ у огонька мѣсто почетное.

Макаръ Сысоевъ водки раздобылъ гдѣ-то, должно сволокъ у прикащика.

— Я, говорить, для своего благодѣтеля постарался... Я за него, говорить, по гробъ жизни...

Налилъ онъ стаканчикъ жестяной и перво-на-перво Степану-Малышу протягиваетъ. Выпилъ тотъ, ничего, не сталъ на этотъ разъ отпѣкиваться.

— А ты, дѣдко, будешь пить, что-ли?

— Не... замоталъ головою корнаухіи.—Я ея, энтой... ни Боже мой! Гайда джуръ... не буду...

— Что такое, право? Аль совсѣмъ въ хивинской сторонѣ обасурманился? Водки да не пить!

— А занятая сторона это, братцы... И что это за земля такая? вымолвилъ Степанъ-Малышъ и глаза у него разгораться начали.—Я-бы послушалъ, коли-бы дѣдушко рассказалъ что.

— Онъ это тебѣ сейчасъ распишетъ... Онъ гораздъ рассказываетъ. Таперича про полонъ свой...

— А какъ это тебя, дѣдко, Николай Василичъ повѣситъ хотѣлъ... ась? протиснулся впередъ фартукъ кожаный, засален-

ний.—Онъ вѣдь, братцы, помнитъ Захрященнаго...—Помнишь-ли что?..

— Миколой Василичъ?.. собака онъ, вотъ что, проворчалъ корнаухій.—Шайтанъ-вучюкъ!

— Не любишь!

— Въ прошломъ году это было... Ты, говоритъ, у меня жестянку укралъ съ деньгами...

— Тридцать годовъ это было, а ты говоришь—въ прошломъ! Своротилъ тоже... эна!..

— Не... Не тридцать. Я помню.

— А хорошъ городъ Хива, дѣдушка? Лучше Казалинска нашего аль хуже?

— Казала? Казала знаю. Русскій человекъ пришелъ сюда, въ Казала не ходилъ, на Раимѣ строился. Знаю.

— И далеко будетъ эта сторона хивинская, дѣдушка? вымолвилъ опять Степанъ, и опять раскраснѣлся, вспыхнулъ весь.

А можетъ это отъ огня кострового неровнаго другимъ такъ показалось...

Натолкнуть только надо дѣду на разговоръ про сторону хивинскую да не помѣшать чѣмъ, а тамъ онъ ужъ самъ начнетъ, не остановишь даже. Словно лошадь почтовая, на ноги разбитая—нейдетъ сначала, упирается, а разогрѣется какъ, такъ лучше другой здоровой чешетъ, бѣгъ этотъ самый ее поддерживаетъ.

Сдвинулись наши ребята поплотнѣе, топлива въ огонь подбросили, сырья разнаго, чтобы дымило больше. „Погоди, не замай, думаютъ,—онъ сейчасъ самъ раскошелится“.

Задумался, замолчалъ вдругъ дѣдушка; на огонь смотритъ пристально, пальцемъ своимъ одинокимъ чертитъ что-то передъ собою въ воздухъ. Потомъ боршотать началъ, надъ бровями всклокоченными почесалъ, припомнить что, должно быть, сидится.

— Начнетъ сейчасъ! толковулъ Степана-Малыша землячекъ одинъ, рядомъ сидящій.—Это онъ всегда пружится мыслями, значить, ветхъ сталъ и немощенъ. Тихе, братцы!

— Эй, Васька, брось ты въ... свою дудку! Уши прогудѣлъ. Бинь, чортова голова!

— Пески, вымолвилъ вдругъ, словно простоналъ, дѣдушка.— Пески, пески и все-то пески; кругомъ они, спущіе, горячіе... Отъ Каспія моря самаго, тутъ и пошли пески...

— Это не здѣшнее, другое море, значить, пояснилъ Макаръ Сысоевъ, — побольше да подальше.

— Ужъ онъ, ребята, не изъ волжскихъ-ли, изъ низовыхъ, замѣтилъ себѣ-на-умѣ казакъ изъ поселенцевъ. — Который это разъ онъ про Каспій проговаривается. Надъсь вонъ кочермною лодку назвалъ. Это тоже слово нездѣшнее.

— Жарко это было, тянулъ свое корнаухій. — Поташили насъ волокожъ, на арканахъ. Смерть пришла наша. Все нутро сожгло, изсохли мы... во!.. Воды много, а воды нѣту...

— Это, значить, ихъ вдоль морского берега волокли, и много-то ея, воды, да солона она шибко, не годится хлебать; все равно, что ея нѣту, опять съ своимъ словомъ полѣзъ Макарка.

Не дасть слушать мужикъ, словно безъ него въ разумъ не возьмутъ, экій переводчикъ выискался.

— Да ну, молчи, ладно! Самы смекаемъ. Дай дѣдѣ раско- диться, какъ слѣдуетъ.

— Пришла наша смерть тогда, стоналъ корнаухій. — Тутъ вотъ я и померъ...

Вдрагнули всѣ разомъ, такъ отъ него и шарахнулись. Мурашки подъ рубахами забѣгали. Воззрились въ старика. Сидитъ тотъ передъ огнемъ скорчившись. Совсѣмъ съ того свѣта выхо- дець. Могилою мида отъ него повѣяло, сыростью подземною.

— Померъ... боркоталъ дѣдко. — Совсѣмъ померъ...

— Страсти какія!.. тамъ и самъ шопотъ слышался. — А что, какъ и вправду?...

— Эхъ важно было, хорошо! вдругъ это оживился раска- щикъ, голову поднялъ и горбъ у него словно выпрямляться на- чалъ. — У Сеидъ-Мурада, у хана, зехено такъ, свѣжо!.. Сады райскіе, одежда — шелкъ одинъ. Сласти это пошли. Вина нѣту, тамъ буза все, хорошее пошло... Жѣну дали мнѣ, то-бишь двухъ... Во какія бабы!.. Хорошее житье было у Сеидъ-Мурада... Май-Вулга ночью пришла ко мнѣ, змѣею подползла, сюда это лѣзетъ, говоритъ: „зарѣжь Сеидъ-Мурада“. А это грѣхъ великій, кровь человѣческую проливать, солнышку ее показывать... Каждая ка- пелька этой крови во сто голосовъ завоплетъ къ Господу... На убивцу проклятіе, сирадъ и огонь дьявольскій... Май-Вулга го- воритъ: „зарѣжь“, и въ сердце-то забирается, зубами впилась, руками за шею... Ну...

Опять замолчалъ дѣдо, опять зачертилъ пальцемъ въ воздухѣ, оглянулся боязливо, закашлялся.

— Опять пошли пески, потомъ камыши, густые, высокіе, частые. Нагишомъ совсѣмъ, порѣзался, гадины искусаи. А я, братцы, одново раза джунъ-барса руками задавилъ. Во, гляди: „мона быръ, мона ике, мона учъ“ *), эге!

Выпрямился старикъ, бойко сорвалъ съ плеча свое тряпье халатное. Грудь косматая, ввалившаяся, словно мохомъ поросшая, отъ плеча лѣваго поперегъ реберъ вся бороздами изрыта глубокими, шрамами узловатыми исполосована.

— Ну, братъ, сердяга, побывалъ-же ты въ передѣлахъ! покачали головами наши ребята.

— А что мнѣ, други любезные, сдается... заговорилъ тутъ бывалый казакъ-поселенецъ.

— Что еще, ну-ко?

— А то, что онъ этого Сеидъ-Мурадку ухлопалъ, потому бѣжалъ отъ этого самаго. И бѣжалъ, надо полагать, на низы аму-дарьинскіе; объ камышахъ-то заговорилъ, да и джунъ-барса вспомнилъ... пояснилъ тутъ догадливый паренъ.

„Курекъ-ма, курекъ-ма минеке чагырымъ,

Джаманъ адамъ, кара аю шюнда джокъ“ **),

затянулъ дѣдо дряблымъ, дрожащимъ голосомъ и опять закашлялся, разомъ оборвалъ свою пѣсню-татарщину.

— А расскажи-ко ты, старикъ, какъ это вы супротивъ царя бѣлаго воевали, Перовскаго графа въ Хиву не пушали, дорогу все ему загораживали? попыталъ работникъ одинъ, когда унялся немного кашель стариковскій.

— Уйди! зло такъ поглядѣлъ на него корнаухій. — Уйди! „синъ сарбазъ джаманъ кить!“ ***).

— Этого онъ шибко не любить! разсмѣялся пытавшій. — Надъсь проврался, да спохватился во-время. Онъ вѣдь съ нашими бился. Давно это было, въ Казалу еще русскіе не приходили.

*) Смотри: вотъ разъ, вотъ два, вотъ три.

**) Не бойся меня, не бойся, свѣтликъ мой; злого челоуѣка, медвѣдя чернаго, здѣсь нѣту.

***) Ты, злой солдатъ, прочь ступай!

Какъ можемъ обрѣзать дѣдко свои разказы, замолчать и потупиться. Слова отъ него не могли добиться болѣе, какъ ни ласкали, ни задабривали, ни уговаривали.

— Ишь вѣдь, что ты языкомъ своимъ надѣлалъ! сердились ребята на „злого солдата“.—И чего ты это сунулся? Пустилъ онъ разъ въ тебя головою за такое-же слово, не унимаешься.

— Я ничего, что-жь такое?

— Молчалъ-бы ужь лучше.

Посидѣли еще немного, видать, что не добьются больше никакого толку, стали по норахъ своимъ расходиться, спать укладываться. А время-то подходило для этого самое настоящее.

Туманомъ густимъ, холоднымъ всю даль окутало, стало и островъ ихъ туманомъ этимъ, словно плененою, заволакивать. Звучно пронесся надъ рѣкою подавленный крикъ „бугай-птицы“, „вышн“, значить. Ну, совсѣмъ голосъ ея похожъ, будто вола рѣзать начали, да не дорѣзали. Прикащичій моренъ встрепенулся спросонья, забился на своей привязи. Вѣтерокъ съ моря налетать сталъ. Прибой морской ровными, мѣрными такими перекатами слышался.

Одинъ дѣдко корнаухій у костра остался, все сидитъ, не спитъ. Мало спалъ старикъ, ну пору сутокъ по трое глазъ не смыкаетъ; потребность эта прошла, звать, у него отъ древности.

Приволокъ Степанъ-Малышъ кошечку откуда-то, разостлалъ ее около дѣдушки и свернулся на ней калачикомъ.

Не спалось что-то и Степану - Малышу. Получаса не прошло, приподнялся онъ на локоть, кругомъ оглянулся, сталъ окликать дѣдку, руку протянулъ, за трепье его подергалъ.

— Дѣдко, а дѣдко!..

— Эге! словно очнулся корнаухій.—Джюхлай, джюхлай, ба-ла *). Ночь, вишь ты.

— Нѣту сна, дѣдушко, нѣту, родимый. Поспросать тебя кое-о-чемъ мнѣ надобно.

*) Спи, спи, дитя!

Покосился на него дѣдко, сталь это рукою своею безпалою его оглаживать.

— Скажи ты мнѣ, дѣдушко, какая дорога будетъ настоящая въ земли хивинскія?

— Въ земли хивинскія? отвѣчалъ дѣдко, подумавши.— Въ земли эти, бала, дорогъ много.

— Расскажи что объ нихъ, дѣдушко. Я те чаю за это принесу и сахару русскаго; расскажи.

Зналъ Степанъ, что старикъ нибко до чаю охотникъ, особливо ежали въ накладку, съ сахаромъ; авось-либо, думаетъ, пробереть его этою самою приманкою.

— Тебѣ и безъ чаю скажу, зашамкалъ корнаухій;—а ты принеси, все-таки принеси, пить буду.

— Никого теперъ нѣтъ, всѣ разошлись спать, говоритъ Степанъ тихо,—вишь ты, никто тебя не потревожитъ, никто не обидитъ ничѣмъ, спрашивать о чемъ дурномъ не станеть.

— Джаманъ сарбазъ, каракъ, у!

— Расскажи про дороги, дѣдушко.

— Расскажи да расскажи! Сухія дороги есть, степью прямо, ой, ой, тяжелыя дороги! пойдешь — погрѣшь, не вытерпишь. Пустое мѣсто, никого народу нѣту; пески пойдуть, колодцы глубокие; дня три - четыре отъ одного до другого ходу. Человѣкъ стерпнть, конь не выдержитъ, сложнеть, а верблюду можно... верблюдъ звѣрь первый, ему все можно. „Иркибай“ будетъ, могла такая, это половина дороги сухой считается, а послѣ Кара-Терень озеро. Много воды, берега не видать, хорошая вода, сладкая. На Кара-Терень пришелъ—все равно что домой, тамъ уже хорошо пойдетъ.

— Не ходи, бала, не ходи, Аллахъ тебя сохрани, „Палаванъ-ата“ будь тебѣ помощникъ; Богородица, дѣва радуйся,—не ходи! Злой человѣкъ сидитъ тамъ; бить будутъ, какъ скотину вычнть стануть, желѣзомъ руки стянуть, на шею кольцо надѣнуть, ухо рѣзать начнутъ... не ходи! Не надо воды кара-теренской, Богъ съ немъ! Въ сторону далеко кругъ есть, обходъ такой; тамъ, волею Аллаха, устоишь, солнцемъ не сожжеть тебя, пескомъ не засыпеть, живъ будешь, прямо на большую рѣку Аму придешь, тамъ хорошо. Сеидъ-Мурадъ добрая душа, жену дастъ, чаю дастъ—туда иди, тамъ хорошо...

И вдругъ это старикъ словно осунулся, затрясся весь, ближе нагнулся къ Степану, сталъ ему теперь шептать на ухо. Словно боятся чего дѣдко, — шепчетъ, а самъ все оглядывается.

— И туда не ходи теперь, тамъ живого въ землю запамять, ремни изъ спины вырѣжутъ, потому тамъ теперь Семдъ-Мурада нѣту, Май - Булга тоже нѣту: она хорошая была баба, толстая, брюхо большое, грудища во! Ее огневая болѣзнь съѣла, всю до-чиста; не померла еще она совсѣмъ, а ужъ сгнила до косточекъ... туда не ходи.

— Страсти ты какія рассказываешь, дѣдушко, промолвилъ Степанъ задумчиво.

Защемило сердце у него. Лепечеть старикъ, словно ребенокъ малый, можетъ и путаетъ что; видимое дѣло, все у него въ памяти перемѣшалось; однако-таки и правда въ его рѣчахъ, зная правда чуется. И въ такой-то сторонѣ, одна-одинешенька, у злого татарина, у хивинца окалинаго!..

Застоналъ Степанъ, тонулся носомъ въ песокъ, грудь ему стѣснило, всхлипываетъ; слезы совсѣмъ подступили, душать, а наружу не выливаются.

— Бала, а бала, сталъ его тутъ корнаухій дѣдко поталкивать, — ты что, бала?.. Мнѣ худо было, мнѣ хорошо было, всемо бываетъ. Вонъ смотри въ ту сторону.

Протянулъ тутъ старикъ на сѣверъ руку свою изуродованную. „Смотри вонъ, говоритъ, въ ту сторону“.

А что смотрѣть?.. темень глухая стоитъ, сквозь туманъ чуть звѣздочки маячуть, просвѣчиваютъ. Ничего-то больше не видно, ни въ той сторонѣ, куда дѣдко указываетъ, ни въ другихъ ка-кихъ, — все кругомъ одинаково.

— Придетъ пора, сѣно покончить, „джугару“ убирать станутъ, виноградъ-ягоду; тогда вѣтеръ оттуда дуть будетъ, и дуетъ онъ долго, во всю луну-мѣсяцъ, пока новый рожекъ не пародится, такой узенькій, бѣленькій; тогда перестанетъ дуть вѣтеръ оттудова, съ другой стороны начнетъ, куда солнце въ ночи спускается. Ну, то „джаманъ джилъ“ *). Попадешь въ него — быть худа. Такъ вотъ, бала, брось ты щепку передъ первымъ, хорошимъ вѣтромъ, брось ты ее здѣсь, на этомъ вотъ мѣстѣ самомъ,

*) Дурной вѣтеръ.

ее къ новой лунѣ въ хивинскую сторону черезъ все море прогнать. Это, значить, еще дорога будетъ.

— Кочерма ходила, кангъ ходилъ, много кангевъ ходило, и русскіе были, и наши. И есть тамъ въ морѣ земля такая, „Буянь-островъ“; тамъ такой кангъ большой лежитъ, пескомъ его занесло, а народъ особо, кто были, всякъ на своемъ мѣстѣ лежить. Пойдешь туда—кости увидишь; хивинскіе все люди были, а два рыжихъ—россійскихъ человѣка. Моихъ костей нѣту, а ихъ унесъ; онѣ—вотъ онѣ, всѣ тутъ... да, унесъ. И ты унесешь; Богу молись, Миколаю-угодику: онъ, батюшка, заступникъ первый, онъ выручить.

— Пойдетъ послѣ сладкая вода, за этою водою земля будетъ, каракалпакъ живетъ, человѣкъ смиренный, а туда дальше, куда птица на зиму летитъ, тамъ „трухмень“, разбойникъ, сидитъ. Тамъ дѣль рѣка—это ихъ вода, вотчина. У нихъ все ихнее; увидать что—все ихнее. Глаза у нихъ зоркіе, руки долгія, кони добрые, большущіе, долгоногіе, словно верблюды вотъ, прыгіе такіе; хивинскаго человѣка обижаютъ, низоваго каракалпака, байгуша обижаютъ. Я пастухомъ тамъ былъ: барановъ много, карамаль *) тоже. Аблай-ханъ пойдетъ на персидскую межу, назадъ придетъ—еще больше станеть.

— Аблай-ханъ, сказываешь ты?.. встрепенулся Степанъ-Машень.—Какъ ты сказалъ?..

— Какъ!.. Персидская земля далеко, она за трухменами будетъ; ходилъ я туда, тамъ дѣвки все долговосныя, ихъ по двадцати тѣла штуку продавали мы хивинскому хану; на базаръ тоже возили въ Ургенчъ городъ. Пошелъ туда разъ Аблай-ханъ,—не вернулся, отъ холеры померъ. Холера—немошь злая, сразу крутитъ человѣка. Аблай-хана домой мы привезли, и холеру съ нимъ привезли. Вой-вой сколько народу повалило! Пошелъ народъ тогда, кто въ пески, кто на горы, къ афганскому хану... аль не туда? постой, запомятоваль.

Сталъ тутъ опять припомянать старнѣе свое прошлое, сиклился-сиклился, инда на локоть головою склонился. Слышитъ Степанъ, а тотъ уже носомъ сопить да всхрапываетъ, заснулъ никакъ подъ свои розсказни.

*) Крупный рогатый скоть.

„Спи, Господь съ тобою“, подумалъ парень, самъ навзничъ запрокинулся, на звѣздочки далекія смотреть, думу свою обдумываетъ.

„Видишь ты, вотъ вѣтеръ съ сѣверу подуетъ, когда джугару убирать начнутъ, это къ сентябрю мѣсяцу, значить; щепку, таперича, здѣсь кинешь, отнесетъ ее водою, по вѣтру этому, къ самой землѣ хивинской. Щепка что, щепка дѣло мертвое, извѣстно—лучина. Хорошая лодка, надѣсь Митричъ сказывалъ, восемьдесятъ рублей. Поплоше можно каку, подешевле.—Василій Ионичъ, Василій Ионичъ! нѣту зла у меня на тебя, за твое за слово послѣднее отошло мое сердце. Только, братъ, на томъ свѣтѣ тоже съ тебя спросится, не похвалять за эти дѣла, нѣтъ, не похвалять.“

И заснулъ на томъ Степанъ-Малышъ, какъ, значить, съ дяди Василя на томъ свѣтѣ будетъ спрашиваться: не поглядятъ те же на его силу да на капиталъ, не поглядятъ даже и на то, что въ однихъ дрожжахъ онъ съ самимъ Головинъ по базару проѣхался.

VI.

Ра спорядки Степанови по хозяйству своему, по той причинѣ, что ужъ очень ему деньги требуются.

— И что ты это только затѣялъ, блаженный человекъ, добрая душа, какія дѣла такія? допытывалъ его Дементій Трифоновъ.—Ты подумай только, другъ любезный, да насъ хоть вразуми толкомъ, потому понять твоихъ дѣловъ совсѣмъ невозможно. Танься ты вотъ отъ добрыхъ людей, вона сколько времени ни вѣсть гдѣ пропадешь, слоняешься. А тутъ вотъ пришелъ и на-косъ каку линію загибаешь, совсѣмъ ни съ чѣмъ несообразную.

— Потому, какъ мнѣ здѣся уже не жить... мялся Степанъ, въ землю потупившись.

— Эдакую-то скотину, первыхъ воловъ по всей волости, да на базаръ волочь... Тьфу!

— Э-эхъ! вздохнулъ тутъ и Степа. Самъ чуть не плачетъ; жалко тоже стало.

— Животы по сту рублей, по таперешней порѣ, за половинную цѣну отдать хочешь.

— Мнѣ многого не требуется, потому за восемьдесятъ рублей...

Спихватился тутъ парень, не сталъ договаривать. Неловко что-то ему стало — не то совѣстно чего, не то кто его знаетъ что. Вѣдь вотъ и свое добро, своя скотина, а словно чужое что просить, міру пришелъ кланяться.

— Да зачѣмъ тебѣ эти восемьдесятъ рублей требуются? донимаетъ Дементій.

— Очинно ужъ пужно... Такъ-то вотъ нужно, что во!.. Будь отецъ родной!.. Что-же право, въ самъ-дѣлѣ... Сдѣлай такую милость божескую!

Слезы это у парня наворачиваться стали, ноги подгибаются, колѣнки дрожать, ну вотъ-вотъ сейчасъ въ землю станеть кланяться.

— Слушь-ко, что я тебѣ говорить стану, тронулъ его за воротъ Дементій Трифоновъ.

Въ сторону отъ дороги отвелъ, потому задѣнетъ кто изъ провѣжающихъ.

— Вотъ что, братецъ: коли ты на богомолье буда, къ угодничкамъ божіимъ, святымъ заступничкамъ, собираешься, на это, другъ, много денегъ не требуется, саму малость развѣ, коли, къ примѣру, десять рублей, на всякъ случай, и за глаза достаточно... Хаживали такіе, что съ цалковнымъ-рублемъ отъ Соловецкія на Афонъ праведный закатывали. Идутъ все больше трудомъ христіанскимъ, именемъ Христовымъ побираются; это, голубъ ты мой, для души много пользительнѣе, опять-же и Господу угоднѣе, потому какое ни на есть подвижничество... И вѣрь ты мнѣ, ни-и-ниги, снабдимъ тебя всѣмъ, чѣмъ слѣдуетъ, ступай, значить, съ Господомъ, по той причинѣ, какъ таперь, сами мы видимъ, ты намъ не работникъ и больше за человека божьяго считаешься. А опосля, дастъ Богъ, пережѣна будетъ какая, въ мысляхъ у тебя поворотъ какой выйдеть, назадъ это вернешься, все добро твое будетъ въ цѣлости, сохранно. На вотъ, молъ, получай все съ рукъ на руки. Слушай, Степанъ, дѣло говорю тебѣ: не рушь своего теперъ, зря, значить, повремени маленько.

— Оно ежели поплосе какую, можно и подешевле... лепечеть-знай свое Степанъ.

Видимое дѣло, что гвоздемъ у него въ головѣ засѣло что-то, ничего и не слушаетъ.

— Намъ что, говорить Дементій Трифоновъ и кнутовищемъ въ песокъ поковыриваетъ.— Намъ что, мы твоего добра задерживать не станемъ; бери, коли блажь пришла такая. Только по душѣ, значитъ, говоримъ тебѣ, совѣтуемъ; а впрочемъ, какъ знаешь. Подумай ты только, повремени хоть съ недѣльку, что те приспичило? Такъ куда-же идти хочешь: къ кievскимъ аль въ другое мѣсто какое?..

„Качекъ нѣшто киргивскій взять, простенькій?“ думалъ да про себя парень нашъ разсчитывалъ.

И не слышалъ онъ вопроса Дементія, ничего и не отвѣчалъ потому.

— Ась?..

Мотнулъ головою новый староста, руками развелъ въ стороны; вздохнулъ Степанъ тяжело-протяжко и разошлись они пока, оба въ разныя стороны.

Пропалъ опять Степанъ-Малышъ, недѣлю цѣлую не видать его было.

Разсказалъ Дементій Трифоновъ кое-кому про разговоръ свой послѣдній съ Малышомъ, тѣ другинѣ кому по-своему передали. Пошла молва и по нашему поселку, да и по городу тоже болтать начали.

Всякъ это и норовить плести, что идетъ больше ему на разумѣніе.

Порѣшили у насъ, что „на Афонъ“, потому больше некуда.

Затолековали ребята:

— Распродать все хочеть, какъ есть, добро: скотину, сбродъ ховяйственную, одежду какую лишнюю. Деньги въ ладошку зашить, на шнурокъ толстый, да на шею подѣ рубаху—чудесно! Попреть это онъ теперь налегкѣ, потому деньги—бумажки, какой въ нихъ вѣсъ, какая тягота?.. Будь хоть сто тысячъ, въ шапкѣ на край свѣта унести можно.

— Опасно оно тоже съ деньжищами-то. Ликой человекъ, тотъ, все одно собака гончал, нюхомъ чуетъ. Онъ не поглядитъ тоже, что странный человекъ, богомолецъ. Онъ это сразу ощущаетъ. Мѣста здѣсь все глухія. Ну, и шабашъ!

— Здѣшнія мѣста самыя для такихъ дѣловъ подходящія, это точно.

— Женѣ Авдотѣ, въ Ташкентѣ, весь капиталъ сполна отослать хочетъ. „Она, сказываетъ, хоша супротивъ меня великую пакость сдѣлала, а я прощаю, значить жертвую, и пускай она таперь все это какъ слѣдуетъ чувствуетъ“. Такъ-то вотъ!..

— У Дульки-то, чай, и своего добра много нажито. Ея, окромя какъ въ шелкахъ да за наливкою сладкою, и не видаль никто, кто тамъ бывалъ. Великъ-ли капиталъ Степенинъ окажется; нѣшто проберешь ее такую пустяковниною?

— И съ чего такого, подумаешь, раскиселился такъ ирарень, чудно тоже, право!..

— Ничего не раскиселился, а хочетъ особнякомъ на Косъ-Аралѣ рыбныя дѣломъ заняться, свое заведеніе устроить. Слыхали мы тоже, какъ онъ все объ цѣнѣ на снарядъ справлялся, какки вотъ приторговывалъ. Опять-же гдѣ онъ все последнее время больше возжается, гдѣ?.. На томъ-же все на Косъ-Аралѣ островѣ. Опротивѣло это ему поле, пахоть опостылѣла, совсѣмъ вонъ и глядѣть на нее не хочетъ.

— А можетъ и на Иргизъ уйти собирается. Но даромъ что-то съ казаками-старовѣрами перешептывается. У нихъ вѣдь это просто. Цѣнь-цѣнью выведено, такъ вотъ другъ за дружку и влещатся.

— И все это невѣрно. А слыжалъ я самое настоящее дѣло и отъ людей тоже вѣрныхъ: затѣялъ онъ, братцы мои, колоколь отлить для новаго храма казалинскаго, и на колоколь этотъ чтобы написано было безпримѣнно, снаружи, по ободу верхнему, подъ самими ушами: „Во здравіе и долгоденствіе раба божьяво Никона и судей онаго сердцецъ ихнихъ на смягченіе“. Да, а изнутри, какъ-разъ тамъ, гдѣ языкомъ ударяеть, самое это мѣсто: „За упокой души рабы божьей Марини“.

— Да нѣшто она померла?

— А гдѣ она, ты знаешь?.. Нѣтъ, ты мнѣ скажи теперь: знаешь ты, гдѣ она обрѣтается?..

— А почемъ мнѣ знать это? отстань, сдѣлай милость. Орешъ громко, еще услышитъ кто.

— Можешь-ли ты теперь знать: жива она или нѣтъ, коли ничего тебѣ про нее невѣдомо?.. То-то вотъ оно и есть!.. Ну, а Степану это, можетъ, лучше кого другого, доподлинно, все какъ есть извѣстно. Вотъ и заказалъ онъ ей, значить, на вѣчное поминовеніе.

Отецъ Иванъ, надо полагать, тоже слышалъ про Степана „самое настоящее дѣло“ и отъ „людей тоже вѣрныхъ“, потому какъ пришелъ домой, сейчасъ сталъ своего причетника Морковкина розыскивать; и очень ужъ сердился батюшка, что нигдѣ розыскать не могъ этого окаяннаго причетника, потому питейныхъ заведеній много въ городѣ, скоро-ли ихъ всѣ обѣгаешь!

Однако, къ вечеру отыскали и на квартиру отца Ивана въ хорошемя видѣ доставили.

Распорядился тутъ его благословеніе такимъ манеромъ, что за позднимъ временемъ отложить дѣло до завтра, а завтра чтобъ рано розыскалъ Морковкинъ Степана-Малыша, переселеннаго крестьянина, и сюда доставилъ, да не зря какъ, Боже оборони, съ тычкомъ или словомъ какинъ нехорошимъ, а чтобъ съ ласкою, пріятностію и со всѣмъ какъ есть почтеніемъ.

„Глупъ мужикъ, думалъ въ ту ночь отецъ Иванъ, — что за вздоръ такой—колоколь! велика нужда въ трезвонѣ, чтобы глушило только; наши колокола хоть и небольшіе, а ничего, голосистые, по нашему городу совершенно достаточные... И вотъ это самое вразумить ему надо... Храмъ-же нашъ въ другомъ чести, болѣе необходимомъ, нуждается: облаченій приличныхъ вотъ недостаетъ тоже, да и мало-ли чего! А самое лучшее, если ужъ пришло человѣку такое благое намѣреніе, чтобы продать все, по слову евангельскому, и капиталъ раздать нищамъ.... Тьфу! совсѣмъ не то; просто вручить оный капиталъ ему, отцу ихъ духовному, а ужъ онъ знаетъ, какъ, куда и что... Насчетъ-же поминовенія и прочаго—это и въ книгу записать можно... А хорошо-бы, право... По теперешнему безденежью совсѣмъ не лишнее было-бы. Оно, положимъ, многого Степанъ за добро свое не выручить... Ну, сто, ну, полтора, пожалуй, и до двухъ-сотъ наберется;

такъ что-же, и это деньги; брось-ка ихъ на улицу, не бойсь никто мимо не пройдетъ, чтобы нагнуться поднять полъвился-бы..»

Сталъ тутъ отецъ Иванъ прихѣрно разсчитывать, сколько можно выручить, если продать все состояніе Степаново... Вспомнилъ даже и про часть его, что въ зернѣ и въ повосахъ,—все припомнилъ... Считалъ, считалъ, да и заснулъ такъ, считавши.

Причетникъ-же Морковкинъ еще до свѣту искать Степана-Малыша отправился.

Только не вышло ничего такого, что думалось.

Вернулся Степанъ-Малышъ изъ своей отлучки опять къ Дементію Трифонову.

— Только, говорить, всего сорокъ четыре рубля и нужно,— не откажи, сдѣлай милость.

Долго опять возжались наши мужики со Степкою, ничего отъ него не добились путнаго... Сходку собрали, да и порѣшили на сходѣ на этой:

„Выдать Степану сорокъ четыре рубля денегъ и отпустить съ Богомъ; а добро его все въ міру оставить, все равно какъ замѣсто залога; въ случаѣ ежели вернется Степанъ, отдать ему все это въ полное владѣніе, хоша-бы онъ эти деньги и не сразу, а по частямъ выплачивалъ или просто работою какою отработывалъ“.

— Такъ куда-же идешь ты? стали его тутъ въ послѣдній разъ спрашивать.

— А куда Господь укажетъ, отвильнулъ Степанъ отъ отвѣта настоящаго.

Поклонился онъ въ ноги на четыре стороны, землю поцѣловалъ даже, прощаться началъ:

— Простите меня, люди добрые, коли въ чемъ виновать передъ вами.

— Богъ тебя проститъ, гудятъ мужики и въ землю потупились; жалко тоже парня стало.

— Какія вины твои, человѣкъ ты блаженный, душа твоя безгрѣшная! завыло бабѣ, такъ въ слезы и ударилось.

— Богда-же идешь-то? спрашиваютъ. — Ты скажи, ны проводить, какъ слѣдуетъ, выѣдемъ.

— Дня черезъ три, не ранѣе, говоритъ Степанъ.

Повеселѣлъ парень, глядѣть сталъ совсѣмъ козырѣть.

— Ишь ты чортъ, лѣшій, погрозила ему кулакомъ Лущка-вешноватая и рукавомъ закрываться стала, засовѣстилась чего, полагать надо.—А я было на него зубы наточила, зариться начала было. А онъ, ишь ты, тоже въ странники... Ишь, богомолецъ какой выискался!

Пошутили тутъ надъ Лущкомъ наши ребята, разошлись кто куда; думали—еще въ три-то дня со Степаномъ повидаются. Только съ этого самаго вечера никто его здѣсь, ни ни въ городѣ, ни около того, больше не видывали и не слыхивали.

И не знали потомъ никто, куда и сгинулъ Степанъ-Малышъ, добрая душа, развеселій пѣсельникъ, въ какую это сторону его вѣтромъ унесло, потому коли-бы дорогою какою шелъ, такъ все-бы видѣлъ кто встрѣчный, слухъ-бы пошелъ хоть какой-нибудь...

Вспоминали года два кто изъ нашихъ: „а гдѣ это, молъ, Степанъ нашъ передъ уродниками за насъ грѣшникъ старается?“ А потомъ и вспоминать перестали.

Взбѣжалъ бѣлый гребень на волнѣ рѣчной, сверкнулъ на солнышкѣ, прокатился навскось и о берегъ песчаный, пологій рассыпался, а за нимъ другой такой-же, тамъ третій, тамъ четвертый, волна за волною идетъ и о берегъ разбивается,—гдѣ тутъ ихъ усчитать, гдѣ тутъ упомянуть какую... Такъ и Степанъ нашъ прокатился волною серебристою, и закрыли его другія, все новыя да новыя, одна на другую набѣгающія волны, закрыли и отъ глазъ людскихъ, заслонили объ немъ даже память самую.

VII.

БЕРИ ТОВАРЪ—ПОЛУЧАЙ ДЕНЬГИ.

А Степанъ въ ту-же ночь верстъ тридцать пѣшкомъ отмахалъ. Поспѣшалъ шибко мужикъ: съ версту бѣгомъ дулъ, а полверсты шагомъ, духъ переводилъ... До разсвѣта и прибылъ, куда ему слѣдуетъ.

Не чуялъ, не догадывался парень, что сидѣлъ онъ теперь на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ, года два тому назадъ, Марину его,

по рукамъ, по ногамъ связанную, Салтыкъ съ своими джигитами въ канкъ сажалъ; дядя Василій съ Маметовою провожалъ ее горемычную въ далекую чужую сторону и такимъ словомъ утѣшалъ, напутствовалъ:

— Не вини ты меня теперь, Марина Денисьевна, говорилъ онъ тогда,—повремени маленько... Ворогомъ злымъ ты меня считаешь—знаю. А вотъ, помани мое слово, послѣ сама-же спасибо скажешь. Какая твоя жизнь пошла-бы здѣсь, при настоящемъ, значить, положеніи, мы того не вѣдаемъ, полагать только надо, что не больно сладка, ну, а какъ заживешь ты любимую женою Салтыка Аблаевича, то сама скоро увидишь... Пройдетъ это сердце твое; отъ хорошаго житья тоже человѣкъ много добрѣе, мягче становится... Дастъ Богъ заверну въ *вашу* сторону, побываю у тебя, — первымъ гостемъ ты меня почитать станешь, благодѣтелемъ назовешь... увидишь, что Василій говорить ежели, безпримѣнно все по его слову, въ самомъ разѣ вѣрнѣйшемъ входить... Ну, молодцы, стели ковры въ канкъ, клади ее... Аллашка вашъ пушай всю дорогу вамъ благополучіемъ словно изъ ушата поливаетъ! Гайда! съ Господомъ!

Вотъ на этомъ-то самомъ мѣстѣ и прилежъ теперь Степка, языкъ отъ усталости высунувши.

А мѣсто-то было чудесное, потому со всѣхъ сторонъ закрытое, и безъ нужды сюда никому, не для чего заглядывать.

Какъ и тотъ разъ, въ густыхъ камышахъ стоялъ канчекъ киргизскій, только поменьше немного; затиснуло его, не то руками человѣческими, не то волною рѣчною, между двухъ кочекъ, песку съ одного бока намыть даже успѣло... Канкъ порядочный, вѣрнкій, совсѣмъ почти новый, проконопаченъ ладно; два шеста, одинъ съ крюкомъ желѣзнымъ, другой такъ, простой, вѣстѣ связаны, на днѣ лежать, лопата деревянная тутъ-же торчитъ и ковшикъ долбленный на веревочкѣ волосяной привязанъ. Какъ есть все приспособленіе!

Какъ пробирался Степанъ вдоль берега обрывистаго, къ этому мѣсту самому, онъ еще шаговъ за двадцать край лодки завидѣлъ; видитъ онъ и шапку островерхую, киргизскую, что изъ за лодки торчала.

„Мангытъ, подумалъ тутъ мужикъ; — онъ самый. Вишь дожидается! Вѣренъ тоже въ своемъ словѣ“.

Полъзъ Степанъ въ карманъ шароварный, сталъ доньги на ходу вытаскивать, бумажки повѣрять замасленные, закатанныя, за лодку по договору рассчитаться хотѣлъ, да взглянуть еще разъ на шапку Мангытову и видитъ: взмахнула крыльями киргизская шапка, голову назадъ закинула, носъ свой долгій лопаткою къ верху подняла и полетѣла прочь, шаги человѣчки почувявши; только вслѣдъ за нею метелки камыша высокія да пушистыя всколыхнулись.

— Тьфу ти! Колпакъ-птица!.. А я было... Ну, знать, никого людей нѣту тутъ, коли птица эта робкая, дикая, отдыхать опустилась...

Ближе Степанъ подошелъ, сталъ лодку оглядывать; облюбовалъ все какъ слѣдуетъ.

Въ полномъ порядкѣ на мѣсто доставлено. Кому-же доньги отдать? Вотъ казія! Время не терпитъ, дороги много впереди: къ ночи на Косъ-Аралъ спуститься надо... А тутъ... Э-эхъ!

Приглядывался Степанъ, приглядывался, прислушивался, прислушивался... Тихо все кругомъ—никого не видно да и не слышать тоже.

Положимъ, что Мангытъ придетъ, это вѣрно... Вѣстимо, куда недалеко отлучился, можетъ въ аулъ продралъ куда, верстъ за десять, но близости, отъ скуки, значить; можетъ, вернется скоро, да ждать-то парню нашему не втерпѣжъ, совсѣмъ, то-есть, некогда...

Досталъ тутъ Степанъ портянку чистую, изъ мѣшечка своего выволокъ, провѣрилъ доньги, завернулъ ихъ въ тряпку, обвязалъ осокою травою ерѣнко-на-ерѣнко, выбралъ кустъ камышевый повиднѣе да повыше и засунулъ подъ корни свой сверточекъ. Потомъ взялъ да связалъ камышъ этотъ сверху пукомъ, надломилъ метелки пушистыя... Мѣсто замѣтилъ, значить.

„Ладно, молъ, думаетъ,—придетъ Мангытъ—сразу замѣтитъ его работу, догадается... Они вѣдь чутки на это, не впервой имъ такъ-то приходится. Оно, конечно, коли на нашего, русскаго человѣка,—ну, тогда бѣда... А у степныхъ людей, у глухихъ, оно просто: „не твое, такъ и руки протягивать нечего, пуцай, молъ, лежить, дожидается хозяина настоящаго“.

Рассчитался, значить, Степанъ такимъ манеромъ, положилъ мѣшокъ свой въ лодку, сволокъ ваикъ въ воду съ отмели и

сталъ шестомъ сквозъ густыя камыши на вольную струю, на теченіе пропихиваться...

И какъ только ходко время подвигается, какъ все на свѣтъ быстро мѣняется!

Давно-ли вотъ такимъ манеромъ Степанъ съ Мангытомъ за лодку расплачивался створенную, а попробуй теперь кто, также вотъ, на этомъ хоть-же самомъ мѣстѣ, то-то-бы надъ нимъ власть потѣшились!

Что Бога гнѣвить, много умнѣй сталъ народъ степной, дикій, много хорошаго отъ русскаго человѣка перенялъ... Простоту эту прежнюю у нихъ повытрясли наши, въ темный народъ свѣту напустили настоящаго.

VIII.

Два человека — не одинъ, все веселѣй съ товарищемъ.

Степнѣло совсѣмъ, какъ прибылъ Степанъ на Косъ-Араль островъ.

Не шелъ онъ къ восточному берегу, къ тому, гдѣ ставки рыбація стоятъ, не въ тотъ рукавъ даже взялъ, а въ нижній, и подошелъ къ острову съ глухой стороны, присталъ въ заросли. Запраталъ свой канкъ въ укромное мѣсто, привязалъ крѣпко-накрѣпко, а самъ большой кругъ вдоль берега сдѣлалъ и сталъ къ шалашамъ подходить совсѣмъ со стороны противной.

А время подходило самое такое, когда вѣтеръ съ холодныхъ сторонъ начинаетъ дуть, какъ говорилъ тогда Степану дѣдо корнаухій... Давно уже Малышъ этого времени дождался, къ нему и готовился.

Переночевалъ эту ночь Степанъ у рыбаковъ косъ-аральскихъ. Хотѣлъ было въ ту-же ночь пуститься въ дорогу свою дальнюю, давно обдуманную, да увидалъ, что мандельберговскіе переметы, миновать которыхъ невозможно было, народомъ заняты, на ночную оборку работники жидюги-кавалера выѣхали; вотъ и отложилъ до разсвѣта... Оно еще и лучше, пожалуй: видно, да и не такъ боязно... Туманомъ застелетъ передъ разсвѣтомъ—любо! въ трехъ сажняхъ отъ переметовъ пройдешь, никто не увидить.

Легъ Степанъ у шалашика, кошмоу закрылся... Не приходитъ сонъ, да и шабашъ. Брѣпко спалъ народъ передъ разсвѣтомъ; поднялся на ноги Степанъ-Малышъ, забралъ мѣшокъ съ сухарями, заранѣе заготовленный, боченокъ съ водою дарьинской, оглянулся кругомъ—никто его не видитъ...

„Съ дѣдкоу нѣшто попрощаться зайти, подумалъ мужикъ,—онъ всегда былъ до меня ласковый“.

А дѣдко спалъ всегда около лодокъ, на берегъ вывоченныхъ; это его любимое мѣсто было. Подошелъ туда Степанъ—не видать что-то... Вонъ и войлочекъ его валяется, берестяная кружка дѣдкина, а самого стараго нѣту...

— Ну, знать не пришлось, пожалѣлъ Степанъ,—некогда мнѣ тебя разыскивать, не взыщи да лихоу не поминай... Не поминайте и вы, ребята, худымъ чѣмъ Малыша-Степана... Прощайте, братцы!

Идетъ Степанъ въ заросли, мѣшокъ подъ мышкою, несетъ боченокъ за плечами; идетъ да на спящихъ оглядывается, словно воръ какой, стащилъ что да и удираеть... Добѣжалъ до кустовъ и осмотрѣлся, — ниш ты, взялъ въ сторону... Вонъ куда надоть!..

Чу-кось!... Камыши никакъ треснули... какъ - разъ тамъ, гдѣ лодка Степанова стоитъ... Человѣкъ около каяка этого копошится, улаживаетъ что-то; нагнулся, только спина его и видна.

Замерло сердце у Степана, духъ занялся, да приглядѣлся къ этой спинѣ горбатой—ну, и полегчало.

— Ты что-же тутъ дѣлаешь такое, дѣдко?.. подошелъ Малышъ къ борнаухому и тронулъ его легонько.

— А, пришелъ!.. зашамкалъ дѣдко,—что поздно? А я ждалъ, ждалъ тебя, думалъ—не придешь вовсе.

Ошалаѣлъ Степанъ просто; руки у него опустылись, глядять на стараго, въ толкъ взять не можетъ.

„Никому не сказывалъ, думаетъ,—ото всѣхъ тамъся, а онъ, вишь ты, знаетъ... Въ мысли мои забрался... Что-же теперь дѣлать-то?.. Нѣшто просить, чтобы молчалъ до поры до времени, никому не сказывалъ, пока подальше хоть отбѣду...“

— Дѣдко... родимый...

— Ась, бала, ни-керекъ *)? повернулъ голову корнаухіи.

— Что мнѣ передъ тобой таяться... Я въ хивинскую землю иду... Не говори никому изъ нашихъ про то, что видѣлъ вотъ, помолчи пока, родной, а я ужь тебѣ всею душою значить.

Прищурилъ на него дѣдко глазъ свой подслѣповатый, подсмѣивается, пальцемъ грозитъ...

— Ну-ко, давай спихивать, говорить въ отвѣтъ.—Таперъ мы пока на шестахъ поидемъ, а тамъ, какъ обогнемъ косу, джиль-данъ **) поставимъ... Садись!

Грозно такъ глянулъ вновь на Степана глазъ стариковскій. Вымолвилъ дѣдко „садись“ такъ, словно приказъ какой далъ, и Боже оборони приказа этого ослушаться.

— Грѣхъ тебѣ былъ-бы, удачи никакой въ пути не было-бы... Зачѣмъ меня, старика, забыть хотѣлъ, а, зачѣмъ?.. Я вижу, я все знаю... я въ душу къ тебѣ заглянулъ еще тогда, какъ ты меня про дороги спрашивалъ... Садись!..

Оттолкнулъ Степанъ лодку отъ берега, сѣлъ дѣдко на корму, лопату взялъ; полѣвъ и Малышъ на свое мѣсто...

— Два человѣка—не одинъ, бормоталъ дѣдко, бороздя воду лопатю.—Два человѣка—сила двойная, благодти вдвое...

— Ну, знать судьба, бормоталъ Степанъ.—Что-же, ничего, какая отъ него помѣха? Все веселѣе съ товарищемъ.

Старый бродяга-бездомникъ, словно волкъ одичалый, какъ ни кормили его, какъ ни ласкали, ни холили,—почувалъ носомъ вѣтеръ вольный, разгадалъ, что замыслилъ себѣ этотъ парень простоватый, что про пути въ земли далекия его спрашивалъ, да и самъ не выдержалъ.

Знать тошно было ему доживать свой вѣкъ въ жилищѣ мѣстѣ... Волчьей смерти волкъ пожелалъ и поволокъ въ пустыни свои кости старья, шкуру свою истерзанную...

Сплошную, неподвижную стѣною сѣдой туманъ стоялъ на морѣ.

*) Что надо?

**) Парусъ.

Тихо такъ было, ни одна струйка не плескалась въ кампашахъ, не дробилась о бока лодки... Словно замерла безконечная поверхность водная, не проснулись еще воды соленныя, крѣпко за ночь уснувшія.

Оглянулся Степанъ назадъ.

Ничего уже не видать тамъ сзади; со всѣхъ сторонъ охватило ихъ молчаливымъ туманомъ. Внизу, подъ лодкою, глубь покойная чернѣетъ; наверху, надъ самою головою, утреннее небо золотится, разгорается...

— Гребни... навались... навались!.. шепчетъ, словно ворожить что-то „старый бродяга“, и пытливо смотреть впередъ своими подслѣповатыми, много на своемъ вѣку выдавшими очами...

IX.

ВЪ МОРЬ.

Согрѣло жаркое солнце туманъ-утренникъ, отдѣлился онъ отъ воды, выше поднялся и мало-по-малу разошелся весь въ тепломъ воздухѣ, въ голубой, безконечной выси разсѣлся.

Пропалъ давно уже Косъ-Араль островъ; вмѣстѣ слились, въ одну черту зеленоватую, всѣ устья рукавовъ снръ-дарьинскихъ и не узнать теперь тамъ ничего, гдѣ мѣсто какое, только дымокъ отъ котловъ виднѣлся вдали сизыми, расплзающимися нитями... Одинъ только дымъ этотъ и указывалъ нашимъ путникамъ, гдѣ осталось за ними послѣднее жилье человѣческое.

Мысъ Кугъ-Араль, — южный обрывъ его, тотъ, что на восемьдесятъ сажень вверху прямо изъ воды поднимается, — синѣлъ на сѣверѣ треугольнымъ облакомъ... Мысъ этотъ далеко съ моря видѣнъ — два дня плывешь ему пору, все онъ не прячется, особенно въ погоду ясную... Вѣлыя змѣйки буруновъ пѣнились далеко влѣво, у окраинъ отмелей-невидимокъ... Птицы морскія кружили надъ ними... Бакланъ ширококрылый высоко-высоко темнымъ крестомъ виднѣлся на небѣ, въ перегонку съ облачкомъ бѣлымъ неся, да завидѣлъ, зная, внизу что-нибудь въ пищу пригодное, рыбу какую-нибудь, брюхомъ къ верху плывущую,

большой кругъ описалъ и къ водѣ началъ плавно спускаться; хвостомъ какъ рулемъ на поворотѣ дѣйствовалъ, а крылья парусами распустилъ, даже и не взмахиваетъ ими, двухъ-аршинными...

Ярко-зеленая, словно изумрудъ дорогой, вся сверкающая, прозрачная, чистая такая вода вокругъ какъ плещется... Вѣтерокъ разыгрался сѣверный, попутный, зыбь сталъ разводять легкую; тамъ и сямъ по верхушкамъ мелкихъ волнъ бѣло-снѣжные, пѣнистые гребешки запрыгали.

Надуло, вспузырило парусокъ клинообразный, выгнуло дугою рейку длинную, „роспаялъ“ по-здѣшнему, согнуло напередъ и самую шесть-мачту, какъ струны веревки натянуло волосяныя, гудѣть даже отъ вѣтра начало... Запрыгалъ какъ Степановъ, на бокъ чуть-чуть накренился, борозду пѣнистую за собою прокладываетъ, и ходко такъ все впередъ да впередъ подвигается.

Давно уже птица морская вольная въ этихъ мѣстахъ чело-вѣка не видала.

Съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ лѣтъ десять тому назадъ казенные люди на казенныхъ баржахъ парусныхъ острова ходили разыскивать, описывать ихъ да обмѣривать, — съ тѣхъ самыхъ поръ сюда никто не заглядывалъ. Рыбакамъ востъ-аральскимъ, нынѣшнимъ то-есть, такъ далеко заходить не приходится, а прежніе, „захращениовцы“ да „голубевскіе“, безшабашная морская вольница, — тѣ уже давно свое отгуляли, отжили, память только по себѣ смутную оставили.

Да и кого теперь безъ нужды крайней или охоты пылкой, удержу незнающей, понесетъ сюда, въ это „море-могилу“, кому охота подъ самый невѣрный закладъ отдавать свою голову, — все-таки одна она на плечахъ у чело-вѣка, запасныхъ не полагается.

Не велико это море, противъ другихъ морей просто озеромъ кажется, а страху такого нагнать успѣло на чело-вѣка, что и бывалые моряки, на большихъ судахъ, хорошихъ, выходя „за баръ“ въ открытыя воды, не на шутку задумываются.

Громадныя степи-равнины со всѣхъ сторонъ подступаютъ къ морю. Степные вѣтры, не находя себѣ нигдѣ никакой преграды, налетаютъ сразу на воду, возбуждаютъ ее гладкую до этой минуты поверхность, быстро разводять беспокойную, дробную вол-

ну... Какъ котелъ на огнѣ закипитъ и вспѣнится грозное озеро и начинается трепать доврѣвшееся ему суденышко.

Нѣтъ здѣсь покойной, длинной волны большихъ морей, не знаетъ мореходъ даже, откуда его сейчасъ ударить, откуда къ нему бѣда пожалуетъ, и не успѣетъ онъ къ этому удару приготовиться. Спереди, сзади набѣгаютъ и съ размаху бьютъ высокіе гребни, съ боковъ неистово толкаютъ и черезъ борты перекачиваются, снизу, подъ самое днище, толкутся... и трещатъ связи судовныя, щеляться начинаютъ бока разбитые, распатанные. Тамъ и сямъ всплываютъ около судна клочья вырванной конопатки, грозные признаки близкаго крушенія.

А тутъ налетаетъ новый порывъ бѣшенаго вѣтра, налетаетъ оттуда, откуда его и не ждали совсѣмъ, съ другой вовсе стороны, откуда дулъ передъ этимъ... Не улеглись еще волны, взбитыя прежними порывами, и ихъ уже дробить и ломать новая сила... Все море сплошною пѣною покрывается... Тамъ и сямъ, какъ чудища какія, водяные столбы поднимаются и кружатся съ ревомъ и воємъ, сталкиваются и разсыпаются... Словно ожили мертвыя воды и охватило ихъ неудержимое, бессмысленное, дикое бѣшенство...

„Толчея“ расходилась, говорятъ тогда испуганные, растерявшіеся моряки, „водяной дьяволъ разыгрался“, говорятъ прибрежные туземцы.

Не устоятъ жалкой лодкѣ противъ этой толчеи, не подъ силу ей игра водяного дьявола... Гибнетъ судно, все намочаленное, исковерканное, гибнутъ и пловцы, безъ всякой надежды на помощь, ни слѣда, ни вѣсти по себѣ не оставляя...

Свершится чудо иной разъ: вышвырнетъ обломки лодки на берегъ песчаный, вышвырнетъ съ ними вѣсть и людей, за доски ухватившихся. Прошли первыя минуты ошоломленія, опомнились спасшіеся, пришли въ себя, оглядываются... Не вѣрятъ глазамъ, такъ руками и ногами щупаютъ твердую землю... Радн, сердешные, Богу на радостяхъ молятся... Брѣвцами, веселыми спомъ спятъ на пескѣ измученные... Утромъ солнце на небѣ поднимется, покажетъ оно имъ, куда это ихъ счастье да судьба выкинула... Трехъ дней не пройдетъ, станутъ спасенные судьбѣ погибшихъ завидовать, проклинать ту волну, что ихъ выкинула: зачѣмъ она не залила ихъ, безжалостная, зачѣмъ не задушила,

зачѣмъ приговорила ихъ къ мукамъ нестерпимымъ, смерти отъ жажды и голода?

Тихи, безлюдны печальные берега. Мертвые пески громадятся округленными холмами, и въ безконечную даль эти холмы тянутся... Ни кустика, ни травки не видитъ глазъ; капли воды прѣсной нельзя найти, чтобы освѣжить засохшій языкъ, промочить судорожно-сжимающееся горло... Жаромъ пышетъ раскаленная почва, трескается обожженная кожа на открытыхъ мѣстахъ; какъ свинцовая таготитъ и давитъ одежда, и несчастный спѣшитъ сорвать съ себя и бросить послѣднія уцѣлѣвшія лохмотья.

Бредеть онъ впередъ да впередъ, подъ влiянiемъ чувства самосохраненiя, пока не оставятъ его послѣднiя силы; а оставить — тогда садится на землю, безсознательно глядитъ вокругъ себя потухающими глазами... Мучительныя видѣнiя встаютъ передъ нимъ, хриплый бредъ рвется изъ груди... А тутъ солнце садится. Ночь приноситъ съ собою относительную свѣжесть, пробуждаются не надолго угасающiя силы. А для чего? Для того, чтобы на слѣдующiй день еще долѣе продлить невыносимыя страданiя и окончить эти страданiя (все равно, днемъ-ли ранѣе или позже) только давно жданною, желанною, спасительною смертию...

„Тамъ, гдѣ близко соленая вода, не ищи прѣсной“, говоритъ киргизская поговорка... Эта поговорка слишкомъ вѣрна для того, чтобы всѣ караванные пути были проложены далеко отъ береговой полосы. И не дойти до этихъ путей, не попасть на ихъ спасительные колодцы ни одному изъ „милостиво выброшенныхъ моремъ на печальный берегъ“.

А острова этого моря, немытые прѣсною водою, какъ тѣ изъ нихъ, что лежатъ близко къ устьямъ рѣкъ, что они могутъ дать человѣку, на нихъ ступившему?

Тѣ-же мертвые пески, кое-гдѣ только поросшіе жидкою, колючею растительностью, голые камни-валуны, накопившіеся у размытыхъ водою трещинъ, серебрястые пласты горькой осадочной соли и также полное отсутствiе прѣсной воды.

„Вода—жизнь, вѣтъ воды—смерть“. Исполконъ вѣковъ сложилась въ степяхъ эта поговорка-истина.

На двухъ или трехъ изъ подобныхъ острововъ существуютъ, правда, кое-гдѣ крохотные родники съ водою, въ крайности еще возможною для употребленія; но эти родники переменные: сегодня здѣсь, завтра пробили себѣ выходы въ другомъ мѣстѣ, и запрятались эти родники, словно на зло человѣку забредшему, въ такія мѣста укромныя, не всегда даже доступныя, что десять разъ умереть можно прежде, чѣмъ разыщешь ихъ живительныя, еле еле просачивающіяся струйки.

Если на матеромъ берегу только особое счастье, благословеніе, что-ли, Божье какое, случайность рѣдкая можетъ помочь еще потерпѣвшему путнику, приведя его, наконецъ, къ колодцамъ караванныхъ путей, то на островѣ надежда на то-же даже немислима.

Не зачѣмъ сидѣть на берегу, у прибоя, и ждать помощи со стороны моря, не зачѣмъ себя мучить, на высокіе обрывы взбираться и оттуда оглядывать безконечный горизонтъ зеленоватой зыби... По цѣлымъ годамъ не увидишь тамъ ни одного паруса, и несчастному приходится, напередъ, завѣдомо, считать этотъ островъ своею могилою и готовиться къ неизбежной, шагъ-за-шагомъ подступающей смерти.

„Проклятое море! говорятъ здѣшніе, степные люди.—Ты легло на перепутьѣ нашихъ степей; ты пожиралъ хорошія, добрыя воды двухъ матерей-рѣкъ: „Аму“ благодатнаго и „Сира“ священнаго, но отъ нихъ твои воды не становятся слаще. Шайтанъ на днѣ твоемъ сидитъ и святое добро поганитъ... Ты такъ много берешь себѣ добра и жизни, а само не даешь ничего, кромѣ зла и гибели“ *).

X.

Легенда о вѣ островѣ „Барса-Вельмесъ“ **).

Лѣтъ пятьдесятъ тому назадъ, когда русская власть считалась въ средней Азіи чѣмъ-то неслышаннымъ и невиданнымъ, да и

*) Когда сложилась эта тирада, наивные дикари не подозрѣвали, конечно, что пройдутъ года и по водамъ ихъ негостепріимнаго моря поплывутъ русскіе пароходы, установится правильное сообщеніе между двумя бассейнами: Аму и Сира, всѣ эти первобытные ужасы значительно потеряютъ свое значеніе.

**) Я привожу здѣсь эту легенду, какъ рассказъ, ярко характеризующій здѣшнюю природу и зависимость отъ нея полудикаго человѣка.

по ближнимъ степямъ она только пустыимъ звукомъ носилась, появился между кочевниками вольный герой-батырь „Аблай-Кениссары“. Не по сердцу ему пришлось русское сосѣдство и открыто заявилъ онъ себя недругомъ своего могучаго сосѣда.

Разгорѣлась быстро война степная. Десятки отрядовъ русскихъ, пѣшихъ и конныхъ, выступили подавить это возстаніе. Стали и роды киргизскіе въ кучи сбиваться.

Началось для степи тяжелое время, о которомъ киргизы даже и вспоминать не хотять, и рассказываютъ о немъ нехотя, считая это смутное время наказаніемъ, посланнымъ на нихъ за грѣхи какіе-нибудь, гнѣвомъ Аллаха и пророковъ его, за что-нибудь на степного человѣка озлобившихся.

Рыщутъ по степи русскіе, рыщутъ киргизы, другъ за другомъ гоняются, какъ за вѣтромъ въ полѣ. Дѣла хозяйскія оставились, „джуты“ (падежи скотскіе) пошли отъ заразы трупной; изъ силъ скотина выбилась отъ перекочевовъ частыхъ да скорыхъ; уныніе на людей напало.

Хуже всего пришлось исключительно мирнымъ ауламъ, которые рады-радешеньки были-бы въ сторонѣ держаться, не принимая сами никакого участія, если-бы только положеніе подобное было возможно.

Аблай-Кениссары смотрѣлъ на такихъ косо, за сторонниковъ русскихъ ихъ почиталъ, и жестоко мстилъ имъ за отказъ въ поддержкѣ его скопищъ. Онъ грабилъ скотъ у такихъ ауловъ, жегъ ихъ добро и кибитки, вводилъ молодыхъ женщинъ и дѣвокъ, дѣтей-подростковъ, убивалъ мужчинъ, оставлялъ на пепелищахъ только дѣтей грудныхъ да старыхъ людей, потому имъ и безъ того помирать приходилось, безпомощнымъ, брошеннымъ.

Случалось, что такая грозная кара вынуждала другіе аулы оказать возставшимъ невольное, вынужденное сочувствіе; какъ снѣгъ на голову налетали на нихъ тогда русскіе отряды, появлялись уральцы, враги ихъ заклятые, и мстили за измѣну по-своему.

Жизнь въ подобныхъ аулахъ, между двухъ огней, подъ страхомъ ежеминутной возможности появленія то вольницы Аблая-Кениссары, то уральскихъ казаковъ, стала невыносима.

Нѣсколько такихъ-то вотъ злополучныхъ ауловъ, изъ тѣхъ, что сидѣли въ „Барсукахъ“, близъ моря Аральскаго, воспользо-

вались тѣмъ, что суровая зима сковала льдомъ морскія воды, забрали съ собою все свое добро уцѣлѣвшее, запаслись на годъ чѣмъ могли и перекочевали по льду на одинъ изъ среднихъ острововъ.

„Вотъ, думали несчастные, — теплою весеннимъ повѣть, вскроются воды, не переплыть къ намъ тогда ни русскому, ни аблаевцу. Пройдетъ покойное лѣто, а тѣмъ временемъ и дѣла переимѣнятся, кто-нибудь да возьметъ-же верхъ, будемъ тогда знать и мы, чьей стороны держаться. Минуетъ гнѣвъ Аллаха, а тамъ опять подойдетъ зима, перекинетъ имъ мостъ ледяной съ острова на матерую землю, и переберутся они назадъ, по льду-же, въ свои кочевья насиженныя“.

И жестоко-же пришлось бѣднякамъ ошибиться въ расчетахъ своихъ этихъ.

Точно, прошелъ годъ и въ степяхъ дѣла переимѣнились, точно, и зима наступила, только не такая холодная, какъ прошедшая. Гнилая погода все время стояла, дожди или не переставая, были и морозы, только маленькіе, и не замерзло море Аральское.

И пришлось тутъ перекочевавшимъ ауламъ второй годъ провести на островѣ.

Не прошло и половины этого второго срока, обратился островъ въ одно сплошное кладбище; только на кладбищѣ этомъ валились тѣла необрунныя — хоронить было некому. Со всѣми окончилъ голодъ мучительный, вѣтромъ кибитки разметало онустѣлыя. Островъ-кладбище имя получилъ свое собственное, а прежде безымяннымъ считался.

Назвали этотъ островъ „Барса-Кельмесъ“, а слово это значитъ: „Туда пойдешь, назадъ живой не воротишься“.

ХІ.

На каякъ.

Вотъ уже третьи сутки проходятъ, какъ Степанъ съ товарищемъ своимъ неожиданнымъ, судьбою, знать, посланнымъ, отъ Косъ-Арала отчалили.

Вѣтерокъ ровный дулъ такой, легонькій, „добрый джылъ“, какъ говорилъ корнаухій. Ину пору совсѣмъ, почитай, стихалъ, чуть-

чуть полоскалось косое полотнище пезатѣливаго паруса; а то и посильнѣй гвать принимался, особенно когда солнце вставать начинало, воздухъ морской разогрѣвался немного.

— Пѣшій человекъ въ день того не пропретъ, что мы теперь въ одно утро отиѣриваемъ. Пойдетъ все такъ, на шестой день сладкую воду увидимъ, шамкаль дѣдко-бормчій и все-то впередъ приглядывался.

— „Аму“ рѣка, значитъ, вода-то эта сладкая?.. спрашивалъ Степанъ;—земля за ней хивинская?..

— Аму далеко... Аму знаю... Нѣтъ, Аму далеко... Улькунъ пойдетъ теперь. Талднѣ-Дарья—злая вода, ее трухментъ, „человекъ-воръ“ лакаетъ. А Улькунъ каракашака поитъ, бормочеть дѣдео. Ничего только изъ его бормотанья не понимаетъ Степанъ.

Только и зватья у него, по наслышеѣ, что Аму-рѣка да земля хивинская. Только и думы у него, что про сторону эту. Засѣли у него въ головѣ слова дяди Василія и все-то время голосъ его слышится.

— Увели, братецъ ты мой, ее въ земли хивинскія, только много дѣла тутъ не было, говорилъ Мутило, а самъ на него не глядѣлъ, а эдакъ въ сторону, все въ сторону косился. — Не на худую жизнь, не въ неволю какую увезли. Хоша и силкомъ, точно, только ей-же опосля лучше будетъ, и ты въ томъ не сумлѣвайся. Къ нелюбимому мужу попривыкнетъ, можетъ, пожалуй, и слобится. Видалъ, чай, Салтыка Аблаевича: на такого парня какая дѣвка не позарится! Такъ-то, братъ. А меня ты не вини во всемъ эфтомъ, потому я хоша и знаю все, какъ было доподлинно, такъ это я все послѣ, въ степи узналъ, а не то, что бы самъ такими дѣлами орудовалъ.

И засѣли-же у Степана крѣпко слова эти, осторожныя тоже, пуще всего, какъ объ Салтыкѣ Аблаевичѣ, о мужѣ насильномъ, нелюбимомъ. Какъ померещится передъ глазами Степановыми красавецъ этотъ писанный, чумазый такой, зубы бѣлые, глаза что уголья, такъ и заскребетъ у него на сердцѣ, на части словно рвать начнетъ, во рту горечью все свяжетъ, на глаза слезы навертѣваются.

— Обланилъ это онъ ее, силкомъ цѣлуеть. Она это отбивается. Гдѣ ей супротивъ такого отбиться!

Мечется инда парень въ лодкѣ, застонеть подчасъ. Окликнеть его тутъ дѣдо съ кормы, онъ и опомнится.

Зачерпнеть ковшемъ воды сейчасъ изъ-за борта, польеть на голову, по лицу размажетъ. Свѣжо такъ вѣтеркомъ обвѣетъ его. Дышать инда легче станеть.

— Сошлѣлъ небожь, подсмѣивается корпаухій. — Это тебя солнце бьетъ. Оно злое, солнце-то, какъ ударить подчасъ, и живъ не останешься. Ъхаль разъ Курбанъ-Ходжа, старикъ дюжій, не ня пѣшкомъ гналъ да ногой въ спину толкалъ. Снялъ чалму „на, говоритъ,—держи!“ Самъ тибетейку снялъ тоже, голова, ровно колѣно, голая, онъ ее серебеть лапою, чешется. Гляжу—нѣтъ Курбанъ-Ходжа; лошадь бьетъ, одна по степи бѣжить. „Ты, говорятъ, собака русская, Ходжа убилъ? Зачѣмъ убилъ?“ А развѣ я? За меня солнышко заступилось. Ходжа чловѣка бѣднаго обидѣлъ, ногою билъ, камчю билъ, его солнышко за это до смерти зашибло. Ты, Степка, не снимай шапки, слышишь ты, бала, „солнце на небѣ—шапка на головѣ, солнце за землю—шапка подъ голову“.

А Степка и не слышитъ путей дѣдиныхъ розказней: только-только оправиться успѣлъ, духъ перевести, а ужъ ему опять ни вѣсть что мерещится.

Затуманило края неба сизою мглою, ровная зыбь вокругъ колыхнется, обгугутъ по небу облачка маленькія, какъ сѣгъ бѣлыя, и ничего больше не видно кругомъ, кромѣ мглы, да зыби, да облачковъ этихъ ключеватыхъ. Тихо такъ кругомъ, и птица-то вся ни вѣсть куда пропала, давно уже ни одного крыла серебрястаго не мельнуло въ вышинѣ, не прочертило надъ морскою поверхностью.

Не на что смотрѣть, не объ чемъ стороннемъ задуматься, а какъ засѣла въ голову дума какая, ночѣмъ ея оттуда вышибить.

Сколько разъ уже Степанъ-Малышъ воду около лодки пробовалъ: зачерпнеть горстью, прихлебнеть и выплюнеть. Горько-то какъ да солоно, проглотить просто невозможно. „На шестой день сладкую воду увидимъ“, думаетъ парень, дѣдины слова припоминаячи. А можетъ, и раньше, вишь ты, мы какъ скоро полземъ, инда подъ носомъ у насъ пѣнится. Волну какъ рѣзеть здорово!

Не вдомевъ Степану, что прѣсную воду глазомъ отличить легко. А дѣдко ругается, думаетъ, что парень ротъ промачиваетъ для свѣжести. „Кой, не замай, говорить,—отъ этой воды еще тошнѣй сдѣлается, не трогай!..“

Захватилъ съ собою Степанъ сырѣ-дарьинской водицы боченокъ, ведра полтора, не болѣе, уложилъ его на самое днище и прикрылъ отъ солнца кошмкою. А все сохнетъ шибко да нагрѣвается. Пьетъ Степанъ немного, два ковшика въ сутки, не болѣе, дѣдко—тотъ уже совсѣмъ самую малость, а трякнули разъ боченокъ, такъ забулькалъ, сердечный, что по слуху знать можно, куда больше половины израсходовали.

Сухарей тоже немного осталось, дня на два хватить, пожалуй, не болѣе.

Совсѣмъ зря Степанъ насчетъ запаса дорожнаго распорядился. Да и не думалось ему объ этомъ, какъ слѣдуетъ; если и захватилъ что, такъ такъ только, благо подъ руками находилось. Опять-же на одно брюхо рассчитывалось, а тутъ вотъ и другое выискалось.

Спохватились-было послѣ, почесали за ушами, да ничего не подѣлаешь. Много больно ушли, назадъ не ворочаться.

— Авось не пропадемъ съ голодухи. Дорогою что перехватимъ, рѣшилъ Степанъ.

— А Господь-то на что? сказалъ резонно такъ дѣдко.—Опъ вѣдь все больше за вольнымъ, путевымъ человекомъ приглядываетъ, когда нужно—пошлетъ. Звѣрь нѣшто запасаетъ что? Такъ, по пути перехватываетъ.

Вчера вонъ что-то бѣлое впереди запримѣтили. Плеснетъ гребешкомъ нѣнистымъ, вскинеть его наружу, блеснетъ на солнцѣ—пузырь не пузырь, а что-то раздутое, да и пропадетъ; а тамъ опять вскинется, опять его замѣтно съ лодки. Только что это такое? Разглядѣть никакъ невозможно. Видно только, что не живое, потому не по своей волѣ всплываетъ, а вслѣдъ за волною колыхнется.

— Помилуй Богъ, утопленникъ, можетъ, какой, подумалъ-было Степанъ, креститься началъ.

— Шипъ-рыба, пришурился дѣдко.—Шиветь къверху брюхомъ, колѣбный, значить. Вишь, „бала“, Богъ намъ на снѣдъ его подалъ, коли только не больно попортился.

Сталъ онъ тутъ лопатомъ съ корми надерживать. Чуть-чуть влѣво потрафилъ. Ближе подошли—и точно осетеръ плыветъ. Въ боку пробовна, жабры разворочены, должно быть на кривахъ побывалъ, да ловекъ, шельма, сорвался. Ушелъ-то онъ въ море живымъ, да потомъ ранъ своихъ не перенесъ, подохъ, и плаваетъ теперь къ верху брюхомъ, солнцемъ это его раздуваетъ, распариваетъ.

Подцѣпили багромъ, выволокли. Вонюща такая понесла, назадъ поскорѣе кинули.

— Похуже попадалось что, да не бросали, говорить дѣдко.— Всяко бывало. Разъ выбросило это насъ на Бузыль-камень. Четверо сутокъ не ѣвши были, трое сутокъ не пиши. Ну, такъ...

Остановился кормаухій, задумался, махнулъ рукою, да и не сталъ больше про свой Бузыль-камень рассказывать. Не время, значить, про такія дѣла вспоминать, бѣду на себя навлекать, потому и сами они теперь подъ Богомъ сидятъ. Оборони Госнодь, плохой „джиль“ разыграется, выкинетъ ихъ на такое мѣсто, что почище Бузыля-камня покажется.

Сегодня, подъ вечеръ уже, только-что солнышко спряталось, насыпалъ Степанъ сухарей изъ мѣшеа въ ковшикъ, сталъ боченокъ доставать. Что за диковина! Легокъ больно показался!

„Ужъ не ты-ли, дѣдко, вылокалъ все, пока я дремалъ въ полдень?“ подумалъ-было паренъ.

Вскинулъ онъ глаза на корщика, тотъ ничего, держитъ-знай свой руль-лопату, скорчился на кормѣ калачикомъ, молчитъ старшій.

Сталъ тутъ Степанъ лить изъ боченка. Чуть-чуть только мутная струйка сочится. Полковника набѣжало, а тутъ и полно, только грязь одна капаетъ. Всколыхнулъ—даже и не болтается.

Припахиваетъ тоже вода эта послѣдняя. Нагрѣлись сухари, затвердѣли, какъ камни, сразу воссали все, что нацѣжено было, сами чуть только разбухли.

„Воля Вожья!“ подумалъ тутъ Степанъ - Малышъ, поѣлъ малость, кормаухому передалъ.

— На, старшій, поужинай. Это вотъ, другъ ты мой, послѣдочки. Сухого-то еще хватить, а безъ воды тенерача мы вовсе остались.

— „Вода—жизнь, нѣтъ воды—смерть“, не глядя на него, про-
бормоталъ дѣдко и запустилъ пальцы въ посудину.

Въ слову больше пришлась поговорка эта. Голова не знала,
что языкъ выворотилъ. Плохую утѣху довелось Степану впер-
вой отъ дѣдки услышать.

Только не думалось Степану, что помереть ему прежде при-
дется, чѣмъ увидитъ онъ землю хивинскую... Какъ сказалъ эти
слова нехорошія дѣдко, такъ никакого страху парить не почув-
ствовалъ, словно напередъ зналъ, что придуть они сейчасъ на
такое мѣсто, что чернай за бортомъ ковшикомъ да прихлебывай
на доброе здоровье; никакого запаса больше не потре-
буется.

Да и дѣдко тоже не унывалъ; какъ дососалъ послѣдніе суха-
ри смоченные, ковшикъ ополоснулъ на-чисто и на свое мѣсто
положилъ его. Потомъ за лопату принялся.

Многаго натерпѣлся старшій на своемъ вѣку, много бѣдъ ли-
хихъ перенесъ. Всякая нужда ему не въ диковину. Да, можетъ,
и смерть его не пугала совсѣмъ, можетъ и ждалъ-то онъ ее дав-
но, какъ гостью желанную... Тошна ему эта смерть казалась на
мягкой кошмѣ да въ холѣ, межъ людей, въ жиломъ мѣстѣ...
А на волѣ, одному, безъ ухода надоѣдливаго, безъ глазу посто-
роннаго, вольная смерть вольному человѣку, что за бѣда! Все
одно, помирать надо-же когда-нибудь. Ишь вѣдь, и счетъ-то го-
дамъ своимъ онъ потерялъ. Чего-же тутъ ему послѣдними кап-
лями воды кручиниться!

.

Быстро темнѣло такъ на морѣ; почернѣли воды изумрудныя.
Стала зыбь морская оглаживаться. Затихъ совсѣмъ вѣтерокъ,
тряпьемъ рванымъ повисъ ихъ парусъ; безъ движенія, словно на
якорь мертвый, стала ихъ лодка.

Туману нѣтъ что-то, не то, что прошлую ночь; далеко видно,
а мутно съ краевъ неба, только наверху, надъ головою са-
момъ, звѣздочки искрятся. Ко сну клонить шибко начало.

XII.

„ЗЛОЕ МОРЕ ВСКОЛЫХНУЛОСЯ“.

И нѣтъ никакого сладу съ одолѣвающимъ ихъ дремотою.

Дѣдко носомъ кивнулъ, пальцы у него, зная, тоже ослабѣли, разжались, лопата выскользнула. Чуть бѣда не вышла большая, да Степанъ, спасибо, доглядѣлъ, багромъ успѣлъ ее выловить.

Только - только переползъ паренъ на свое мѣсто, такъ и валить его на дно лодки. Глаза совсѣмъ служить отказываются, отяжелѣли вѣки, словно клеешь рѣсницы вымазаны, такъ вотъ и слипаются.

Лѣнь такая во всемъ тѣлѣ, ногою-рукою пошевелить не хочется. Не спитъ еще Степанъ, держится, а въ открытыя очи уже сны лѣзутъ несвязные, и не разберешь что; такъ, какая-то путаница.

„Притомились, что-ли, очень? думаетъ паренъ;—что за диковина! никогда прежде такъ не было.

И крѣпко - крѣпко держится онъ за края лодки, обѣими руками уцѣпился. Кажется, выпусти только, такъ вотъ пластомъ и свалится на днище, благо камышомъ тамъ мягко такъ настлано.

И вода-то заснула никакъ, обступила кругомъ тихая такая, тяжелая. Просто поле гладкое, свинцовое легло вокругъ лодки; ступи ногою—не провалишься.

Захрапѣло что-то, носомъ присвистнуло. Глядитъ Степанъ, а ворнаукий готовъ ужъ. Висятъ у него руки какъ плети, ноги вытянуты, голова на грудь свисла, чуть-чуть брюхо поднимается, значить дышетъ еще, спитъ, старый, не совсѣмъ померъ.

Вонъ веревочный конецъ за бортъ свѣсился, за лодкою тянется; хотѣлъ было его убрать Степанъ, потянулъ, а силы уже нѣтъ настоящей; тяжелъ-ли арканъ волосяной, въ палецъ, не больше, а еле-еле его назадъ вытянулъ.

„Эхъ, думаетъ Малышъ, — что за бѣда; вишь ты, тишь, благодать какая; коли что случится—проснемся, чай, либо я, либо дѣдко. Ничего, что-же, сонъ первое дѣло; а ну-ко, аль потерпѣть?.. Э-эхъ!..

Зѣвнулъ онъ тутъ такъ, что чуть челюстей не вывихнулъ, думалъ прислониться спиной къ чему-нибудь, да совсѣмъ назадъ запрокинулся; а встать-то больше не хочется—силы нѣту просто.

Не видать воды изъ-за бортовъ, только небо одно передъ глазами; искрится все это небо, звѣздочки это на немъ заскакали, запрыгали, такъ вотъ и сплываютъ, перекрещиваются, падать начали, пропадать одна за другою...

„Всемогушій Боже...“ началъ-было Степанъ, по обычаю, молитву на сонъ грядущій, да и не докончилъ. Языкъ ни вѣсть что закололъ, запуталъ, да и пересталъ вовсе ворочаться...

Бредеть Степанъ-Малышъ по степи, одинъ-одинешонокъ.

Притомился совсѣмъ, бѣдняга, ноги просто подкашиваются. Во рту все пересохло, языкъ словно лубяной сталъ, жесткій таковой, въ очахъ жаръ стоитъ, кровь прилила, значить, въ голову, и все, что ни видитъ онъ, все ему красное, словно въ заревѣ пожарномъ, кажется.

И чудная-же степь эта вокругъ него: каменистая, закопченная, ну совсѣмъ подъ печной; эвона даже кирпичами выложена; зола перегорѣлая въ щеляхъ засѣла да въ трещинахъ, а вонъ и головешки виднѣются обугленные. Да и небо-то сверху да съ боковъ совсѣмъ сводомъ каменнымъ спускается. Не то дымъ, не то тучи сивыя подъ сводомъ этимъ сгустились. Впереди стѣна черная стоитъ, въ самое, то-есть, небо упирается, какъ есть — заслонка.

И близко-то ему эта стѣна-заслонка кажется, вотъ-вотъ рукою дотронуться можно будетъ; далеко только она на самомъ дѣлѣ выходитъ. Сколько уже времени Степанъ шагаетъ въ ту сторону, а все не дошагается.

„За тою стѣною самою воздухъ вольный, надо полагать, думается путнику; — коли-бы отодвинулъ кто ее маленько, нашлась-бы душа такая добрая, все-бы вольнѣе дышать было-бы; а то, вишь ты, духота какая—помереть можно... Испить-бы чего-нибудь, хоть-бы лужица какая попалась дорогой, да, чай, выжжено все... сухо!.. Эхъ, хоть-бы капелечку!.. чу-кось!..“

— Вернись, Степка! кричитъ сзади дядя Василій, самого не видать совсѣмъ впотемкахъ. — Вернись, дурачекъ! Я те бадью квасу приготовилъ, со льдомъ да съ мятой. Вернись скорѣе!.. нажо-ся ковшичекъ...

Остановился сразу Степанъ, какъ услышалъ про пошло... Пуще его жажда разбираться стала — терпѣть больше силы никакой нѣту, обезволился...

— Гляди! поспѣшай! А то все безъ тебя ребята кось-аральскіе выпьютъ... ужъ и то немного осталось! кричитъ опять Василій Ионычъ.—Опоздаешь—дно лизать будешь, какъ въ бочонкѣ своемъ запасномъ.

— Близко, знать, гдѣ-то, обрадовался Степка.—Оставятъ, чай, тоже, ишь ты жадные!

Слышно ему, какъ квасокъ этотъ ледяной въ жестяной ковшѣ наливается, слышно даже, какъ сосутъ его губы жадныя, другъ у дружки рвутъ, захлебываются...

Шарахнулся назадъ нарень, бѣгомъ пустился. Чу-кось! другой голосъ слышится, томный такой, жалостливый...

Сердце у Степана встрепенулось отъ этого голоса новаго... дрожь принимать начала...

— Степа, Степа! чуть слышно говорить не говорить, а стонетъ будто Мариня Денисьевна.—Я тутъ, Степа! Сюда иди! немного не дошелъ, чего вернулся, голубчикъ...

Несется этотъ голосъ съ той стороны самой, гдѣ стѣна черная поднимается, а стѣна эта ужъ не стѣною больше кажется — каменная гора лежитъ какая-то... Приглядѣлся — что за чортъ! на человѣка будто похожа... Ишь ты, вонъ и плечи видны широкія, голова вонъ торчитъ на-голо выбритая... а на головѣ той, дремучимъ лѣсомъ, шапка баранья нахлобучена. Протянула ноги гора-человѣкъ, такъ съ того края, гдѣ солнце садится, вплоть до того, гдѣ поднимается, доходить...

Лежить, словно дремлетъ гора эта чудная, изъ-подъ нея-то и голосъ Марининъ слышится.

— Допивають! гаркають сзади дядя Василій; — вхъ, допивають... поспѣшай, глупый!..

— Я здѣсь, Степа... здѣсь... все яснѣй да яснѣй изъ-подъ горы слышится...

Брюхо Степаново назадъ пятится, сердце впередъ тянуть поровить. Разорвался-бы парень на-двое, да одна сторона пересилила.

Поспѣшаетъ Степанъ на голосъ Марининъ, сапоги тяжело поскидалъ, кафтанишко бросилъ... Дуетъ босой, въ одной рубахѣ да въ портахъ... Откуда и сила взялась, ни вѣсть куда и жажда лютая сгинула...

А ноги его не достаютъ теперь до земли, такъ только, по воздуху перебирають, для примѣра больше.

Двѣ другія ноги бѣгутъ за него, кривыя такія, высохшія... на клюку опираются...

— Дѣдко, ты, что-ли, это?

— Сиди крѣпче—довезу! хрипѣть корнаухій.—Вишь ты, гора впереди, это самый Бузыль-камень и есть; не разшибиться-бы намъ объ него только... Повали „джиль-данъ“, багромъ отпихивайся...

„Салтыкъ, а не Бузыль, обмолвился дѣдко, думаетъ Степанъ.—Вишь ты, онъ самый, дьяволъ! глазами своими какъ ворочаетъ... онъ самый! Пусти, чортъ! проходи, сатана... отдай, брось!..“

Добѣжалъ Малышъ, крѣпко уцѣпился за своего недруга за-клятаго... зубами его рветъ, ногтями царапаетъ... эхъ, жаль, до глазъ не дотянется...

Смѣется только Салтыкъ Аблаевичъ... Долго терпѣлъ, а потомъ поднялъ руку свою лѣвую и легонько, словно нехотя, наложилъ ее на парня сердитаго...

Крѣпко подавила рука эта тяжелая, знатъ и впрямь каменная, горою на бѣднягу обрушилась... Давить она его, душить, ребра инада трещать, спинной хребетъ выгибается. Ни пошевелиться невозможно Степану, ни духъ перевести, не то что бороться съ этою окаменною силою могучею...

А тутъ все яснѣй и яснѣй голосъ Марининъ слышится... Вотъ-вотъ тутъ она, близко находится... Рванись только посильнѣй, голову хоть приподними, глазами увидишь.

И рванулся-же Степанъ-Малышъ, да такъ, что чуть-чуть какъ свой не опрокинулъ, за бортъ не вывалился, такъ-то его во снѣ метнуло.

Открылъ Степанъ глаза отяжелѣвшіе, приподнялся, за борты ухватившись, озирается...

Что за диковина? Свѣтать не свѣтаетъ, а по небу синеватый свѣтъ чудной разливается... Ни одной звѣздочки не видать, все затянуло сплошь туманомъ, а туманъ-то этотъ самый свѣтится... То потухать начнетъ, то опять разгорится, еще того ярче... пятнами все пошло... Огоньки синіе надъ водою заскакали. А духота стоитъ какая! испарина всю одежду смочила, хоть выжми, такъ въ пору.

Сволокъ съ себя рубаху Степанъ, глядитъ: а дѣдко тоже проснулся, сидитъ совсѣмъ нагишемъ да все воду черпаетъ и голову свою поливаетъ. Какъ зачерпнетъ корнаухіи воды, разойдутся круги отъ того мѣста по черной водѣ, словно обручи серебряные закружатся... брызги изъ-подъ рукъ разлетаются, словно искорки свѣтлыя съ наковальни изъ-подъ молота. Покойна вода, черна какъ сукно стала; тронешъ—какъ есть разгорается...

Сѣрю несетъ шибко, горѣлымъ чѣмъ-то... А тишина-то какая, Господи! Степанъ вполголоса слово молвилъ—ровно изъ пушки кто выпалилъ; дѣдко ковшемъ за бортъ задѣлъ—чисто въ колоколь звякнулъ.

— Что-же это такое только дѣется? оробѣлъ Степанъ.—Господи помилуй! Съ нами сила крестная!

Глухой гулъ съ запада послышался... будто много колесъ по мосту прокатились... Чаще огоньки въ туманѣ забѣгали, трескается что-то, словно лопаются, пуще того сѣрю запахло...

— Коли не померѣ эту почъ, завтра живы будемъ, бормочетъ дѣдко корнаухіи.

— Нечистая сила! встали дыбомъ волоса у Степана подъ шапкою.—Аминь, разсыпся!

Страшный такой сталъ дѣдко; рожу ему всю скривило, волосы жидкіе, щетинистые, на вискахъ засвѣтились, брови нависшія загорѣлись будто; по всему тряпью, одежѣ его, что около въ кучу сложена, синіе огни забѣгали...

И невдомекъ Степану, что и по немъ эти-же огни заскакали. Невдомекъ ему, что и дѣдко на него глядитъ, глаза выпуча...

А шумъ, грохотъ-то этотъ колесный, все ближе да ближе слы-

шится. Дрогнула вся поверхность водная, приподнялась немного и опять опустилась, опять приподнялась чуть-чуть... словно и ей, водѣ-то самой, дышать хочется, вотъ она и натуживается... Колыхнуло плавно ихъ челнокъ съ боку на бокъ... еще разъ поддало... совсѣмъ волна бить начинается, а вѣтру нѣту, тишь... Огонь зажигай, такъ не колыхнется...

Вдругъ черезъ все небо, изъ конца въ конецъ, яркая, зубчатая молнія перерѣзала... Ослѣпило совсѣмъ Степана, только глаза успѣлъ закрыть руками.—Господи, помилуй насъ грѣшныхъ!

Отроду не слыхалъ мужикъ такого громового удара... Ударило коротко, безъ перекатовъ. Не успѣла глухота пройти отъ удара этого, какъ еще разъ ударило, еще разъ по тому-же мѣсту молнія зазвѣлилась... Вѣлнй гребень воды, пѣнистый такой, высокій, словно изъ-подъ лодки самой вынырнулъ, перекатился черезъ нихъ, обдалъ ихъ и дальше забурлилъ; а на смѣну ему новый валъ набѣгаетъ, еще того выше...

Вихрь налетѣлъ неожиданно-негаданно, сорвалъ багоръ, вмѣсто мачты служившій, переломилъ его на-двое, накрылъ Степана упавшимъ парусомъ; выбраться хотѣлъ—не пускаетъ что-то, веревка какая-то ноги опутала.

А тутъ опять волна набѣжала... Захлебнулся парень соленой водою, смыло съ него парусину... ухватился онъ за что попало, обѣими руками, крѣпко держится...

— Дѣдко, живъ-ли? кричить.

Вѣтромъ крикъ у него словно у самого рта обрываетъ. Нѣтъ отвѣта на обликъ.

Несетъ какъкъ шибко куда-то, а куда? Господь его вѣдаетъ. Ни зги кругомъ не стало видно, только пѣна бѣлая впотъмахъ вскидывается... Несетъ какъкъ, вертитъ его словно щепку, изъ стороны на сторону швыряетъ... До самыхъ краевъ его водою залило, еще-бы немного—и ко дну идти неминуемо.

„Ну, думаетъ Степанъ, — коли помирать Господь приказываетъ, да будетъ воля Его, значить... Прощай, Марина, прощайте, люди добрые... Прост...“

Опять его захлестнуло водою, опять онъ захлебнулся... Руки сами собою разнялись, какъа больше подъ нимъ не чувствуется...

Подкинуло высоко Степана, на самый верхъ гребня вынесло, и съ размахомъ обо что-то мягкое ударило... Опять оторвало его, опять подкинуло, опять ударило... уцѣпился шарень руками... Песокъ влистый въ пальцахъ остался.

„Ну, думаетъ, еще разъ коли дно трону, не сорвусь. Вишь ты, тутъ молко!“

И не сорвался Степанъ, точно, потому какъ его еще разъ вскинуло, отбѣжала отъ него волна сана соборъ, на мокромъ пескѣ лужика оставила...

Реветь море сзади, словно звѣрь остервенѣлый за упущенною добычею гонится... Хотѣлъ-было бѣжать отъ него Степанъ, да силы ему измѣнили, совсѣмъ оставили... поползъ онъ на четверенькахъ; острыя ракушки въ кровь колѣно ему порѣзали... Отъ соленой воды нида грудь ломить, мутить на брюхѣ... Смерть приходитъ просто... А Степанъ знай ползеть да ползеть, дальше отъ воды да дальше, пока не подогнулись у него руки въ локтяхъ, пока не ткнулся онъ лицомъ въ землю, да и остался такъ, безъ всякаго уже движенія.

Н. Каравитъ.

(Окончаніе будетъ.)

СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ИЛЮЗИИ КРИТИЧЕСКАГО ОПТИМИЗМА.

(„Литературныя замѣтки“, I—й. „Недѣля“, № 26.)

Нѣтъ, мысль не успокоилъ даже зубными каплями Маевского, которая способна убить кирпичные нервы. Она какъ крокъ копошится и роется, выпарываетъ себѣ ходы, и какъ червякъ все ползеть и ползеть и ищетъ дороги на свѣтъ Божій. Оттого-то о человѣческой мысли и есть такъ много легендарныхъ сказаній и даже существовала цѣлая философская школа, видѣвшая во всей природѣ и въ человѣкѣ только воплощеніе известной идеи. Это очень заманчивое ученіе. И вы, и я, и всѣ наши знакомые, и родные, и даже наши дѣти—все это идеи разнаго роста, все это черви и червячки, ползающіе подъ землею и роющіе ходы. Но такъ-какъ подъ землей очень темно, то черви и червячки расползаются по всѣмъ направленіямъ, каждый идетъ своимъ ходомъ—и получается наконецъ, лабиринтъ, наполненный одной червоточиной. Когда философская школа, выдувавшая это заманчивое ученіе, увидѣла, что въ результатѣ получилась одна червоточина, она, какъ личинка, постаралась закопаться тоже въ землю, и черви и червячки остались еще въ большемъ мракѣ. А между тѣмъ „идея“—не выдумка, она есть и существовала всегда, какъ существовала Америка до Колумба. Мысль ищетъ „выхода“, и когда найдетъ его, то слѣдуютъ роды; люди ликуютъ и радуются, они обнимаются и цѣлуются, они любятъ другъ друга; всѣмъ кажется, что они родные братья и что остается

только идти обнявшись, чтобы въ природѣ вѣяла вѣчная весна и солнце не сходило никогда съ неба. Но солнцу очень скучно стоять на мѣстѣ; тогда черви и червячки опять теряются въ потемкахъ, опять расползаются по сторонамъ, каждый въ своемъ ходѣ, и опять получается червоточина. За червоточиной снова слѣдуютъ роды мысли, восходитъ солнце, опять люди ликують, цѣлуются и ходятъ обнявшись, и опять солнце, соскучившись стоять на мѣстѣ, уходитъ на западъ. И эта вѣчно новая и вѣчно старая исторія повторяется періодически съ астрономической точностію. Иногда, по словамъ Гейне, требуются для родовъ мысли очень энергическіе акушеры; тогда роды бываютъ очень трудные и нерѣдко являются на свѣтъ мертворожденныя мысли. Въ акушерской наукѣ человѣчества эти факты не особенно часты, но бываютъ. За ними является обыкновенно очень продолжительное раздумье. Казалась-бы, г. Маевскому вовсе незначитъ изобрѣтать убійственныхъ капель: нервы и сами, по естественному закону бытія, то возбуждаются, то упадаютъ, и это совершается само собою съ извѣстной правильной, исторической періодичностію, какъ перемежающаяся лихорадка. Но г. Маевскій, польщенный наградой шведскаго короля, думаетъ не то и производить только путаницу. Ему кажется, что если нервы убиты, то зубная боль прошла, но подъ убитыми нервами зубная боль живетъ двойною жизнію и когда придетъ пора, скажется еще сильнѣе. Нѣтъ, г. Маевскій, мысли нельзя убить никакими каплями... Русскій читатель, даже и нынѣшній, не любитъ аллегорій и цифръ, и автору остается только сознаться въ сдѣланной имъ ошибкѣ. Но у него была злая мысль, которую раздѣлитъ и читатель. Есть афоризмъ — „кто думаетъ ясно, тотъ и говоритъ ясно“. Очень можетъ быть, что этотъ афоризмъ вполне приимчивъ къ европейскому отечеству, въ которомъ онъ явился; но у насъ можно думать очень ясно и въ то-же время говорить очень темно, и между причинами такой странности одна заключается въ нашей слабости говорить „обобщеніями“. Обобщеніе, разумѣется, сообщаетъ мысли жизнь и силу, но если каждый фактъ возводить въ обобщеніе, то легко договориться, наконецъ, до червоточки.

Есть писатели необыкновенно искренніе, прямо и добросовѣстно добывающіеся „истины“ и такъ-же искренно и прямо выска-

зываютъ то, что они нашли. Къ этимъ писателямъ слѣдуетъ и относиться только тѣмъ-же добросовѣстнымъ, прямымъ и искреннимъ образомъ: они не та „самоувѣренная скромность“, маленькое самолюбіе которой, забравшись на очень высокіе ходули, кажется мыльнымъ пузырькомъ на тонкихъ сошкахъ. И въ числу подобныхъ добросовѣстныхъ и искреннихъ писателей принадлежить критикъ, вызвавшій настоящее возраженіе.

Да, все можно успокоить и уговорить, но нельзя уговорить мысль, если ее томятъ неразрѣшенные вопросы и непримиримыя сомнѣнія и противорѣчія. А наше время вовсе не то „наше время, когда...“, оно совсѣмъ другое время: оно время мучительнаго процесса мысли для того, кто не добрался до „истины“ и не выработалъ себѣ хотя коротенькой, хотя односторонней, а все-таки готовой программы для общественнаго поведенія, и хочетъ опредѣлить свое мѣсто въ русской природѣ. Дѣльцу, конечно, задумываться не надъ чѣмъ, какъ и любому практическому дѣятелю. Красильщику или повару совершенно достаточно умѣть красить и стряпать, и если тотъ и другой дѣлаютъ свое дѣло хорошо, у нихъ изъ рукъ будетъ выходить всегда хорошій товаръ и всегда будетъ работа. И красильщикъ, и поваръ могутъ превосходно обходиться безъ всякой „идеи“ и предлагать свои произведенія безразлично и даже въ одно и то-же время Наполеону III и Рошфору, Дону Карлосу и Альфонсу XII. Дѣлецъ и практическій дѣтель—микроскопическая песчинка, вращающаяся въ точно опредѣленномъ кружкѣ, гдѣ все очень просто, очень мелко, очень легко разрѣшимо и очень ограничено. И каждая такая песчинка вращается около себя, не желая знать, что происходитъ дальше и каково другимъ людямъ идти по дорогѣ, на которой они производятъ непроходимую пыль или еще болѣе непроходимую грязь. Но есть и другія песчинки, которыя хотя тоже вращаются около своей оси, но которыхъ потребность „идеи“ и „мысли“ заставляетъ вращаться двойнымъ движеніемъ, какъ земля вокругъ солнца. Это люди критическаго ума и критической мысли. Имъ всегда хочется подняться выше съ своего мѣста и посмотрѣть на отдѣльно вращающіяся песчинки съ высоты птичьяго полета. И вотъ они дѣлаютъ усилія и попытки, чтобы подняться, и, поднявшись, они видятъ нестройный вихрь,

увлекающій песчинки въ какомъ-то безтолковомъ, нестройномъ движеніи; все толкается, вертится, спшибается, мѣшаетъ другъ другу, точно въ пляскѣ святаго Витта. Попробуйте, однако, остановить эту пляску! И бѣдные критическіе умы безплодно усиливаются дуть во всю мочь; но что-же они могутъ сдѣлать своими маленькими человѣческими легкими, когда вертится вся Сахара и когда въ нее дуютъ всѣ четыре вѣтра, со всѣхъ четырехъ сторонъ свѣта? И вотъ критическіе умы, взобравшіеся на высоту, чувствуя, что вихрь очень силенъ и что съ нимъ ничего не подѣлаешь, пока онъ самъ не уляжется, начинаютъ заниматься метеорологическими наблюденіями и изслѣдованіями закона вращенія. Они присматриваются къ отдѣльнымъ безпорядочнымъ движеніямъ, чтобы найти въ нихъ какую-нибудь общую связь, какой-нибудь законъ, какой-нибудь порядокъ въ кажущемся безпорядкѣ, и когда имъ удастся что-нибудь подмѣтить... Что-же? Больше ничего, какъ имъ остается быть очень довольными тѣмъ, что они подмѣтили, и сообщить объ этомъ песчинкамъ, вращающимся внизу. Что-же подмѣтилъ въ своемъ воздушномъ путешествіи критически-пытливый изслѣдователь, вызвавшій настоящую статью?

Кругозоръ его очень широкъ: изслѣдователь обхватываетъ однимъ взглядомъ не только крайніе предѣлы пространства вращенія, но и времени. И сдѣлавъ общій обзоръ, онъ приходитъ къ заключенію, что въ наше время литература достигла той степени исторической зрѣлости, „съ которой начинается, такъ-сказать, ея гражданская правоспособность“. Къ этой зрѣлости литература пришла тремя постепенными фазисами развитія. „Въ первомъ фазисѣ это была, такъ-сказать, любительская литература, въ томъ смыслѣ, какъ говорится — любительскій спектакль, и писатели и читатели были любителями литературы, занимавшися исключительно для взаимнаго удовольствія, чтобы „чѣмъ-нибудь великимъ заняться“, какъ писалъ Хлестаковъ Трапиченну. Въ этомъ періодѣ своего развитія нашу литературу можно представить въ образѣ дѣвочки въ коротенькомъ платьицѣ, занимающейся преимущественно списываніемъ чужихъ стиховъ въ доморощенный миниатюрный альбомчикъ. Пушкинъ, сообщивъ литературѣ характеръ народности, положилъ начало второму фазису ея развитія, отли-

чительной чертой котораго можно признать, между прочимъ, то, что литература перестала быть любительской и успѣла сдѣлаться потребностію общественной въ эстетическомъ отношеніи. Наконецъ Гоголь „Мертвыми душами“, Тургеневъ „Записками охотника“, и Достоевскій „Вѣдными людьми“ къ характеру народности въ литературѣ присоединили еще характеръ гражданственности, въ чемъ и заключалась собственно та „новая эпоха“ литературы, которую предчувствовалъ Вѣлинскій въ періодъ предшествовавшаго ей затишья. Съ тѣхъ поръ, какъ литература приобрѣла характеръ гражданственности, т. е. начала отражать въ себѣ социальныя воззрѣнія, имѣющія мѣсто въ обществѣ даннаго времени, и, въ свою очередь, распространяя эти воззрѣнія, политически воспитывать общество и грядущія поколѣнія, — ея судьба столь тѣсно связалась съ развитіемъ общества и его политическими судьбами, что предполагать возможность какой-либо новой, чисто-литературной эпохи, безъ соотвѣтственнаго перелома въ жизни самого общества, уже немислимо. Движеніе второй половины пятидесятихъ годовъ служить этому нагляднымъ доказательствомъ. Наканунѣ преобразовательнаго движенія эта связь имѣла, очевидно, несравненно менѣе точекъ соприкосновенія, чѣмъ въ настоящее время, но, несмотря на это, несмотря на то, что въ литературѣ давно уже были готовы элементы движенія, о самомъ ихъ существованіи нельзя было догадаться благодаря лежавшей на устахъ литературы печати молчанія. Въ этомъ отношеніи наше время нѣсколько счастливѣе, чѣмъ двадцать лѣтъ назадъ: если есть какіе-нибудь элементы, предвѣщающіе рѣшительный шагъ впередъ въ развитіи общества, имѣющій отразиться въ литературѣ оживленіемъ, обратно пропорціональнымъ теперешнему затишью, то эти элементы такъ или иначе непременно должны найти себѣ выраженіе и, слѣдовательно, можно надѣяться ихъ услѣдить и сдѣлать по нимъ нѣкоторыя заключенія отъ настоящаго къ будущему“. Все это „вообще“ очень справедливыя мысли, но вѣрно-ли критикъ примѣняетъ ихъ къ тому, что онъ зоветъ „обществомъ“?

Напѣ первый вопросъ: на-сколько русскій романъ и русская повѣсть или, вѣрнѣе, белетристическая литература можетъ служить признакомъ роста и средствомъ для зрѣлости мысли? Предшеству-

ютъ они ей или слѣдуютъ за нею? Изъ словъ критика можно заключить, что они предшествуютъ, тогда какъ въ дѣйствительности они слѣдуютъ за обществомъ. Вы говорите, что въ первомъ фазисѣ своего развитія наша литература (беллетристика) была любительской; да развѣ она не оставалась такою-же вплоть до преобразовательнаго движенія, а пожалуй, остается такою-же и до сихъ поръ? Вы усматриваете въ этой литературѣ какого-то коношатагоса червячка общественной мысли, даже съ политическими крапинками. Развѣ это не оптимизмъ? Пожалуй, употребляя ваше сравненіе, мы скажемъ, что литература перваго фазиса была дѣвочкой въ коротенькомъ платьицѣ; но и теперь эта дѣвочка еще не особенно выросла и не сняла своего затрапезнаго платья. Если-бы дѣвочка росла не по годамъ, а по часамъ, какъ вы говорите, мы видѣли-бы этотъ ростъ въ тѣхъ книжкахъ, которыя она читаетъ и которыя для нея пишутъ. А какая разница между тѣмъ, что она читала прежде и что читаетъ теперь; какая разница между тѣмъ, что ей предлагалось въ первый фазисъ и въ теперешній третій? Конечно, она не станетъ теперь списывать стиховъ и заглядываться по ночамъ на луну; да полно, точно-ли она отвыкла отъ этой привычки? Не вслѣдствіе внутренняго роста она перестала играть на гитарѣ и пѣть „Подъ вечеръ осенью ненастной“, а потому, что нельзя-же цѣлое столѣтіе пѣть одинъ и тотъ-же романсъ, тѣмъ болѣе, что и фортепіано стали очень дешевы. Вы думаете, что въ Петербургѣ явилась такая масса зубныхъ врачей потому, что дѣвочка въ панталончикахъ прониклась гигиенической заботой о своихъ зубахъ какъ американка и сама пригласила европейскихъ дантистовъ? Ничуть не бывало. Дантисты просто понаѣхали въ намъ потому, что имъ приходилось въ Европѣ ѣсть другъ друга отъ голоду. Тутъ мода, выѣска, реклама, а вовсе не внутренній ростъ. Если-же и есть ростъ, то все-таки не такой, чтобы по поводу его можно было написать трактатъ о прогресѣ русской мысли и приходиться въ ликующій восторгъ. Форма времяпровожденія, дѣйствительно, измѣнилась, но содержаніе—нѣтъ; жизнь дѣвочки въ панталончикахъ стала на-столько шире и разнообразнѣе, что она ходитъ отважно обѣдать въ рестораны Алексѣева и Мильбретъ, что она посѣщаетъ Егарева и даже

слушает марсельезу у Арбана; но развѣ она не по-прежнему сидитъ съ скромной застѣнчивостью, опустивъ глаза въ землю, развѣ она не по-прежнему зажимаетъ ротъ, чтобы не сказать ни одного слова? Ей, пожалуй, и рта зажимать не зачѣмъ—ей просто нечего сказать.

Вы говорите, что Пушкинъ сообщилъ русской литературѣ характеръ „народности“. Это мы давно читаемъ во всѣхъ курсахъ русской литературы; но нужно условиться, что такое „народность“. Въ томъ-ли „народность“, что Пушкинъ заставлялъ читать деревню и село, или въ томъ народность, что Пушкинъ вдохнулъ въ литературу русскую душу и изъ переводно-иностранный сдѣлалъ ее самобытной и оригинальной? Ни деревня, ни село Пушкина не читали и не читаютъ до сихъ поръ; а если его стали читать дочери чиновниковъ и жены офицеровъ, если его стали списывать барышни, то развѣ это народъ? Пушкинъ распространилъ охоту къ чтенію, увеличилъ число людей, которые стали проводить свой досугъ за книжкой. Но вѣдь это совсемъ не то, что вы говорите. Поставьте Пушкину памятникъ выше не только Вандомской колонны, но и выше Монблана,—противъ этого возражать мы не станемъ; Пушкинъ лично можетъ быть великъ какъ всё соединенныя вмѣстѣ человѣческія величія, онъ можетъ быть гениаленъ, какъ взятыя вмѣстѣ всё гениальности, когда-либо существовавшія; не лично о Пушкинѣ рѣчь: рѣчь объ отношеніи къ нему общества. И Шекспиръ былъ великъ; но нужно было пройти тремъ столѣтіямъ прежде, чѣмъ его приняла и поняла Англія. Пушкинъ былъ понятъ въ томъ-же сортѣ молодыми женами и дочерьми чиновниковъ и офицеровъ и разными читающими барышнями. Каждый читаетъ *свое*, но дочери и барышни того времени читали по-преимуществу *свое*. Читались не „Полтава“ или „Мѣдный всадникъ“, или „Ворисъ Годуновъ“, въ исторически-драматическомъ, поучающемъ и развивающемъ содержаніи, въ ихъ обаятельно-дѣйствующемъ гармоническомъ и мѣрномъ стихѣ. Обаяніе формы дѣйствовало совсемъ въ иномъ направленіи и каждая барышня и молодая офицерская жена отыскивала повсюду „Черную шаль“ или что-нибудь подобное. Списывались не „Полтава“, не тѣ образцы высокаго искусства, которыми Пушкинъ завоевалъ себѣ мѣсто въ русской литературѣ

и за которые ему будет поставленъ Монбланъ; списывались мелкіе стихишки, шевелившіе чувство въ направленіи „луны“, „мечты“, „любви“ и „звонкихъ трелей соловья“; кадеты и молодые офицеры списывали и заучивали „Все мое, сказано злато“, „Бурцовъ хватъ и забіяка“, „Разбойниковъ“, но все это ценилось по-своему. Даже изъ болѣе близкаго намъ времени, когда уже умеръ Пушкинъ, мы можемъ указать на извѣстнаго учителя русской словесности того времени, послѣдующаго друга и поклонника Вѣлиискаго, слѣдовательно человека и развитаго, и думавшаго, который чувствовалъ себя въ великомъ затрудненіи, когда ему пришлось объяснить, что хотѣлъ сказать Пушкинъ нѣкоторыми стихотвереніями. И это было въ Петербургѣ, въ центрѣ интеллигенціи, въ точкѣ высшаго душевнаго напряженія, возбужденнаго Пушкинскимъ. Чѣмъ-же былъ Пушкинъ для барышень и молодыхъ офицеровъ Орской крѣпости, Белибея, Стерлитамака, Пензы, Казани и всѣхъ провинціальныхъ захолустій, которыя и теперь-то читають повѣсти и романы просто отъ скуки, какъ сибирскія кучихи грызутъ кедровыя орѣхи? Это сравненіе можно смягчить, но мягкость не измѣнитъ сущности мысли. Сибирская кучиха, когда грызетъ орѣхи, те перерываетъ свой собственный душевный матеріалъ и только изъ него создаетъ собственный воображеніемъ разные воздушные замки. Спросите ее, о чемъ она думаетъ, и она вамъ не отвѣтитъ, потому что она не думаетъ. И въ то-же время ея мечта уносить ее одинъ Богъ знаетъ куда и неудовлетворенная и ищущая душа ея точно грезитъ въ какомъ-то забытѣи чѣмъ-то отраднымъ и пріятнымъ. Это просто извѣстный созерцательный психологическій процессъ, всегда совершающійся въ каждой человѣческой душѣ, если силы человека не поглощены какимъ-нибудь активнымъ дѣломъ. „Черная шаль“ или сердечное содержаніе „Евгенія Онегина“ являлись матеріаломъ, сообщавшимъ новое содержаніе думамъ и мечтамъ ищущей чего-то и неудовлетворенной женской душѣ; они сообщали извѣстную отчетливость мечтамъ, обогащали воображеніе новымъ матеріаломъ, но этотъ матеріалъ давалъ мечтѣ движеніе только въ одну сторону — въ сторону сердечности, внутренняго личнаго міра, но вовсе не въ сторону какихъ-либо „идей“ или „мыслей“, или „тенденцій“, или высшихъ стремленій

и задачъ. Въ чемъ-же тутъ „народность“? Идея — это высшая точка горы, у которой очень широкое основаніе, и вы обобщаете только эту высшую точку. Но кромѣ идеальнаго, толкающаго впередъ обобщенія можно еще и констатировать факты, какъ ихъ констатируетъ статистика. Верхняя точка у горы одна — и для этой высшей точки едва-ли существовала „Черная шаль“, а основаніе горы, напротивъ, ничего не понимало, кромѣ „Черной шали“ и „Бурцова“. Если-бы существовала какая-либо возможность имѣть статистику психологическаго вліянія чтенія, если-бы можно было опредѣлить и выслѣдить въ каждой отдѣльной читающей душѣ тѣ новыя процессы, которые возбуждаетъ въ ней чтеніе, и измѣрить душевный ростъ и направленіе роста, то оцѣнка вліянія Пушкина, конечно, оказалась-бы не въ сторону того идеальнаго обобщенія одной высшей точки горы, которое приводитъ критикъ, вызвавшій настоящій отвѣтъ. Необыкновенная плодovitость Пушкина и необыкновенно многообразная впечатлительность его подвижной души сдѣлали Пушкина русскимъ Лопе-де-Вегаей, написавшимъ что-то въ родѣ 5,000 комедій и чуть-ли не 10,000,000 стиховъ. Пушкинъ хотѣлъ всего, онъ отражалъ все, и въ этомъ необыкновенномъ многообразіи каждый и каждая могли выискать, что имъ было нужно и чего они искали. Но если многообразныя отраженія пушкинской впечатлительной души изложить въ философской системѣ, въ формѣ научнаго трактата, какъ кодексъ опредѣленнаго мировоззрѣнія, развѣ вы получите что-нибудь цѣльное, законченное, руководящее именно для той высшей точки горы, которую вы обобщаете? Даже самая „народность“ Пушкина, не по формѣ, не по размѣру круга чтенія, а по содержанію, подвергается сильному сомнѣнію. Воспитательное вліяніе Пушкина дѣйствовало не на высшую точку горы, а на ея середину, и было чисто-личное, психологическое, какъ матеріалъ для неудовлетворенной, скучающей души, незнавшей, что ей нужно. Вы говорите, что Пушкинъ превратилъ литературу изъ любительской въ общественную потребность эстетическаго наслажденія. Едва-ли это похвала Пушкину. И зачѣмъ говорить тогда о его народномъ значеніи и зачѣмъ говорить, что въ первый фазисъ литература была любительской? Въ чемъ-же тогда разница между первымъ и вторымъ фазисами? Вся разница является не качественная, а количественная; какъ любительскіе спектакли и

до сихъ поръ устраиваются провинціей ради скуки, такъ и въ первомъ, и во второмъ фазисѣ люди читали ради скуки; но въ первомъ фазисѣ читателей было меньше и они являлись между сливоками общества, а во второмъ явилось читателей больше, стала читать уже и Орская крѣпость, и Белибей, и дочери бѣдныхъ чиновниковъ, и скучающія офицерскія жены. Еще менѣе ясно „эстетическое отношеніе“. Форма не есть ничто безотносительно, она всегда возбуждаетъ положительное душевное содержаніе — чувства, мечты, думы — въ какомъ-нибудь извѣстномъ направленіи. Возбужденіе, произведенное формой, можетъ быть смутно, неясно, можетъ не дойти до сознанія, но у него всегда есть опредѣленная точность и едва-ли вліяніе эстетической литературной формы можно сравнить съ вліяніемъ хорошей погоды послѣ дождя. Но даже вліяніе погоды, несмотря на то, что оно чисто-физиологическое, имѣетъ извѣстную опредѣленность въ ощущеніяхъ; создавая чувство физическаго довольства и счастья, оно даетъ всему строю души гуманный, теплый, добрый, любящій оттънокъ. Литературная форма всегда опредѣленіе погоды, и ужь, конечно, Пушкинъ зналъ, что онъ хотѣлъ говорить, и говорилъ то, что хотѣлъ сказать. Слѣдовательно, пушкинское вліяніе никакъ нельзя объяснять однимъ эстетизмомъ, а нужно оцѣнять его по вліянію на чувство и на мысль. Въ чемъ-же зрѣлость и „народность“ этого вліянія, если въ цѣлой массѣ оно дѣйствовало только лично, возбуждая личные процессы чувства, основаніемъ котораго служили „Черная шаль“ и тому подобныя произведенія, а высшей точкой „Татьяна“? Пушкинъ, конечно, будилъ и шевелилъ душу, онъ давалъ матеріалъ чувству, способствовалъ его росту, если ростъ заключается собственно въ многообразіи ощущеній, и просто, такъ-сказать, сумѣлъ возбудить интересъ къ чтенію, но „общество“, читавшее его, оставалось все тою-же дѣвочкой въ панталончикахъ и далѣе „луны“ и „трелей соловья“ не воспитало ни своихъ чувствъ, ни своихъ мыслей.

Да развѣ могло быть иначе? Общество беретъ то, что ему по плечу; что ему не по силамъ, отъ того оно отворачивается, случается, что и проклинаетъ своихъ пророковъ. Но спросите пророковъ, развѣ они проповѣдывали что-нибудь невозможное? Нѣтъ, возможное, но возможное для людей того-же роста, какъ они. Вотъ отчего и происходятъ маскарады, вотъ отчего вороны

одѣваются иногда въ павлиньи перья, и когда, наконецъ, увидать, что въ новомъ платьѣ для нихъ слишкомъ широко, онѣ снимаютъ съ себя чужія перья и остаются прежними воронами. По отношенію къ Пушкину ничего подобнаго не случилось: онъ былъ именно по плечу всѣмъ, каждый находилъ въ его мастерской платьѣ по себѣ, надѣвалъ его и оставался очень доволенъ. Въ этомъ отношеніи Пушкинъ былъ великій мастеръ и великій учитель первоначальнаго ученія; а будь онъ по силѣ, по глубинѣ и по зрѣлости мысли Шекспиромъ или Гете — онъ остался бы одиночекъ. Но вотъ вопросъ: всѣ тѣ, кто сталъ пѣть теперь „Черную шаль“ и проникся чувствами „Татьяны“ или Евгенія Онѣгина, — „общество“ или нѣтъ? Есть въ нихъ двигающая общественная сила или нѣтъ? Что это: инерція пассивности, ждущая толчка, или активная, дѣйствующая сила? Это-ли „общество“ создаетъ своихъ пѣвцовъ и пророковъ и вдохновляетъ ихъ или пророки являются только его учителями? Сказавъ „общество“ и „общественная потребность“, вы думали, что сказали все. Такъ можно было говорить о древнихъ Афинахъ да о древнемъ Римѣ въ его хорошую пору, когда въ извѣстныхъ понятіяхъ и въ извѣстномъ направленіи мысли было точное единство. То была дѣйствительная „публика“, публика, какой уже больше не бывало и нѣтъ въ настоящее время ни въ Англіи, ни въ американскомъ Союзѣ. Но когда приходится говорить объ „обществѣ“ и „общественныхъ потребностяхъ“ времени Пушкина и послѣ, нужно опредѣлять точнѣе, о чемъ хочешь говорить, иначе слишкомъ широкое обобщеніе можетъ ввести въ непростительное преувеличеніе. Нельзя орскую барышню, пѣвшую „Черную шаль“, обобщать съ Пушкинымъ, нельзя и Пушкина обобщить съ высшей точкой пирамиды. Пушкинъ для всего того, что стояло ниже его, былъ дѣйствительно воспитателемъ и прогрессивнымъ двигателемъ; но развѣ переходъ отъ кедровыхъ орѣховъ къ „Черной шали“ такой громадный шагъ, что его можно мѣрять верстовнымъ масштабомъ или о людяхъ этого слоя сказать, что они — „общество“? Будьте послѣдовательны. Если вы обобщаете всегда только высшую идею и высшую точку, то развѣ кадеты и барышни — общество? А если „общество“ — высшая точка, то какими образомъ Пушкинъ могъ явиться воспитателемъ его, когда онъ самъ заимствовалъ свое поэтическое содержаніе отъ этой точки?

Кто-же кого воспитывалъ: Пушкинъ общество или общество—Пушкина? Если общество—масса, то барышни и кадеты, конечно, общество; но если общество—высшая точка, то, во-первыхъ, вліяніе Пушкина сводится къ очень ничтожной величинѣ; а во-вторыхъ, можно-ли назвать обществомъ небольшую кучку интеллигентныхъ передовиковъ, между которыми и массой лежитъ пропасть? Масса съѣстъ ихъ, общественная жизнь сложится, конечно, не по высшей точкѣ и интеллигентная кучка окажется безсильной и невліятельной. Ясно, что она—не общество.

И относительно общественнаго вліянія Тургенева можно сказать то-же. У насъ установилось мнѣніе, что Тургеневъ сослужилъ службу „Записками охотника“ и что ими онъ заставилъ работать общественное мнѣніе въ сторону освобожденія. Мысль объ освобожденіи крестьянъ—очень старая мысль и была уже высказана при Екатеринѣ II. Съ императора Александра I начались практическія попытки къ ея осуществленію; продолжались онѣ и въ послѣдующее царствованіе; къ разрѣшенію вопроса собирався матеріалъ и, наконецъ, освобожденіе совершилось. Но можно-ли сказать, что оно совершилось оттого, что общество уже созрѣло въ этой мысли? Нѣтъ и нѣтъ. Зрѣлость мысли и работа были чисто-правительственныя, правительству принадлежить основная идея и основное начало, на которомъ должны были быть построены подробности. Во всемъ этомъ „общество“ не принимало никакого участія, оно инертно и пассивно шло по пути, какой ему отрывали, какъ шло потомъ по пути земства и судебной реформы. Если-бы въ „обществѣ“ былъ матеріалъ и зрѣлая мысль, развѣ были-бы возможны вѣчные и нескончаемые возгласы: „нѣтъ людей“? И теперь-бы, пожалуй, продолжались подобныя восклицанія, если-бы они не надоели и если-бы не было очевидно, что они не ведутъ ни къ чему и не создаютъ людей. Чтобы поставить прямо вопросъ, мы спросимъ—совершилось-ли-бы освобожденіе крестьянъ, если-бы Тургеневъ не написалъ „Записокъ охотника“? Конечно, да. А какія „записки“ помогли земскимъ учрежденіямъ, какія „записки“ помогли судебной реформѣ, общей воинской повинности, новой паспортной системѣ, реформѣ банковъ, новому таможенному тарифу? Конечно, „Записки охотника“ обрисовали положеніе крестьянина, но кому?—тѣмъ, кто въ судьбѣ его не могъ сдѣлать ничего. И сами-то „Записки“ были вызва-

ны народомъ. Его безгласный, а иногда и гласный протестъ противъ своего зависимаго положенія помогъ освобожденію, конечно, едва-ли не больше всего, а правительство, освобождая крестьянъ, конечно, меньше всего руководствовалось „Записками охотника“.

„Записки охотника“ могутъ быть художественной эпопеей, могутъ быть чѣмъ хотите; они могутъ давать полнѣйшую и самую разнообразную панораму характеровъ, нарисованныхъ социальными штрихами; но нашъ вопросъ не въ этомъ: нашъ вопросъ въ томъ, на-сколько чисто-художественная литература является руководящей идеей для передового полка? Такой силы мы не видимъ и въ этомъ именно и расходимся съ критикомъ, которому посвящаемъ настоящее возраженіе. Прежде, чѣмъ является мысль въ художественной формѣ, она уже существуетъ въ голомъ отвлеченіи; она живетъ сначала гдѣ-то подъ спудомъ, живетъ въ головахъ очень немногихъ людей, и чѣмъ такая мысль новѣе, чѣмъ больше не сходится она съ руководящимъ общественнымъ мнѣніемъ, тѣмъ она кажется страшнѣе, разрушительнѣе, радикальнѣе и опаснѣе. Отъ такой мысли обыкновенные люди сторонятся, боясь обвиненія въ „фармазонствѣ“, въ „вольнодумствѣ“ и въ „зажигательности“. Мысли нужно много прожить, нужно проточить много ходовъ, ходовъ скрытыхъ, подземныхъ, темныхъ, прежде, чѣмъ она выпарапается на свѣтъ Вождій и созрѣетъ до законченности „идеи“. Эту работу ведутъ не белетристы и романисты, а совсѣмъ другіе люди. Назовите ихъ, пожалуй, „мыслителями“, государственными людьми, политическими умами, агитаторами, чѣмъ захотите, но это не романисты и не белетристы. Белетристъ пользуется всегда „чужою“ мыслию, пользуется настолько яснымъ, сформировавшимся и готовымъ, что на это „готовое“ можно навести объективъ дагеротипной камеры и получить оттискъ. Конечно, дагеротипные оттиски, распространенные въ огромномъ числѣ экземпляровъ, способствуютъ популяризаціи идеи; но въ какомъ словѣ? Опять въ той-же сѣрой, одноцвѣтной, ровной масляной краскѣ, которая хороша, имѣетъ значеніе и силу лишь при другихъ цвѣтахъ, которая служитъ фономъ картины, ея необходимымъ дополненіемъ, служитъ дѣйствительной связью и поддержкой фигуръ перваго плана, которыя на нее опираются, но сама на первомъ планѣ быть не можетъ, потому что не изображаетъ изъ себя ни сознательнаго, ни дѣя-

тельного элемента. Конечно, и романистъ можетъ быть самой высшей, самой свѣтлой и руководящей точкой, пионеромъ идеи, идущимъ впереди всѣхъ, — „можетъ“ онъ быть и этимъ; но мы говоримъ о томъ, что есть, а не можетъ быть, и такого пионера между русскими романистами и белетристами не знаемъ. Наконецъ, нужно-ли „общественное служеніе“ романиста опредѣлять по высшей оцѣнкѣ, какую ему дѣлаютъ высшіе критическіе умы, или по той непосредственной оцѣнкѣ, которую ему дѣлаетъ сѣрая краска? Люди высшаго критическаго ума часто похожи на орловъ; они на своемъ хвостѣ уносятъ за облака такихъ мошекъ, которыя никогда и не мечтали объ облакахъ. Были и у насъ подобныя примѣры, когда критикъ выясненіемъ романиста или драматурга приписываетъ ему ширь такого отражающаго зеркала, какимъ онъ и не думалъ быть. Тогда вся сѣрая краска противъ себя изумленіемъ глаза и начинаетъ видѣть своими умственными очами то, чего она не видѣла сама да никогда-бы сама и не увидѣла. Кто-же показалъ ей свѣтъ — белетристъ, романистъ, драматургъ? Та масса, которую вы называете обществомъ, всегда пассивный читатель, отдающійся непосредственно авторской художественности. Читатель этотъ до того непосредственъ, что смѣшиваетъ въ одну безразличную кучу всѣ цвѣты, всѣ картины, всѣ типы, всѣхъ героевъ, не умѣя разсортировать ничего, пока ему этого кто-нибудь не сдѣлаетъ. Даже до сихъ поръ каждый читатель ждетъ отзыва, хотя-бы фельетоннаго критика, чтобы составить себѣ какое-нибудь законченное представленіе о новомъ белетристическомъ произведеніи. И вы называете это публикой, обществомъ! „Анна Каренина“ читается на расхватъ, накинулись на нее въ провинціи съ такимъ-же ожесточеніемъ, какъ на „Обрывъ“ г. Гончарова. Уморительно было слышать отзывы „обыкновенныхъ“ читателей; это былъ какой-то непроходимый бурьянъ мнѣній, въ которомъ собственно не было мнѣній, а какіе-то обрывки, натуга мысли, разбросанныя впечатлѣнія и ощущенія, которыхъ читатель не могъ ни связать, ни возвести въ идею и сознаніе. И какъ-же читатель обрадовался, когда ему помогла фельетонная критика! Онъ сейчасъ-же порѣшилъ, что „Анну Каренину“ читать не стоитъ, и охладѣлъ. Ну, а если-бы ее расквалили? Конечно, читатель отнесся-бы къ ней иначе. Это очень старая исторія, и Наполеонъ I, и Наполеонъ III, и Бисмаркъ, и не

они одни давно знаютъ, какъ можно посредствомъ печати управлять общественнымъ мнѣніемъ. И это въ Европѣ! Печатью, какъ школою, можно воспитывать цѣлое поколѣніе. Кто-же этого не знаетъ? А вы говорите о литературѣ, о ея признакахъ и вліяніяхъ, точно литература зависитъ отъ себя и живетъ въ собственныхъ, ея устанавливаемыхъ условіяхъ.

Съ „Записками охотника“ было то-же, что съ „Анной Карениной“, и, пожалуй, похуже. Соціальный моментъ, о которомъ вы говорите, былъ читателю совершенно не ясенъ. „Записки“ читались какъ живые очерки типовъ, какъ психологія иного міра. Міръ этотъ былъ новый, заманчивый, но что собственно хотѣлъ сказать авторъ—читателю осталось непонятнымъ. Аршиномъ теперешняго пониманія нельзя мѣрять того, что было тридцать лѣтъ назадъ. Кое-кто, конечно, шушукался, были читатели, которые понимали, думали, говорили, но все думалось и говорилось подъ такой сурдинкой, что не выходило изъ четырехъ стѣнъ комнаты, гдѣ говорилось.

Такимъ-же граждански-вліятельнымъ писателемъ явился и Гоголь съ его „Мертвыми душами“. Новые типы дѣйствительно открыли намъ Америку. Публика смѣялась; читатели трунили другъ надъ другомъ; но дальше этого общественное мнѣніе не шло и соціальныя воззрѣнія Гоголя, которыя, при всей натяжкѣ, нельзя считать воззрѣніями Тургенева или Бѣлинскаго, не внесли въ мнѣніе хохотавшей надъ Ноздревымъ и Чичиковымъ публики ничего того, что вы ей хотите приписать.

Правда, вы можете сказать, что говорите о литературномъ періодѣ. Но говоря даже и о немъ, вы тоже преувеличиваете обобщеніе. Подъ вліяніемъ оптимизма и изъ желанія ускорить умственный ростъ, вы преувеличиваете умственные средства русскаго общества, какъ преувеличиваетъ влюбленный мужчина достоинства любимою имъ женщины. Маленькія свѣтлыя точки и искорки вы принимаете за небесныя свѣтила, а микроскопическія звѣзды—за солнце и луну. Даже то, что, повидимому, меньше всего можетъ поддерживать вашу излюбленную мысль, вы приводите какъ доказательство. Но доказательство это доказываетъ совершенно противное. Вы говорите, что въ послѣднія пятнадцать лѣтъ наша журналистика сильно измѣнила свою общую фیزیономію; что въ ней прежде будто-бы ясно обозначались три части—нѣчто въ родѣ

правой, лѣвой и центра; но что въ наше время все это смѣшалось въ одну кучу и, за исключеніемъ двухъ органовъ печати, всѣ остальные отличаются прогрессивнымъ направленіемъ. Бто-же эти прогрессивные органы и какіе это „полтора органа“ противъ всѣхъ и въ чемъ замѣчательность подобнаго факта, называемаго вами знаменательнымъ? Въ статьѣ по поводу г. Венгерова мы уже говорили о либеральныхъ органахъ и что г. Венгероу усматриваетъ въ нихъ характеристичнаго и знаменательнаго. Особенность времени онъ находитъ въ томъ, что гг. Стасовъ, Вырубовъ, Кюи, Дерберти, Суворинъ, Скальковскій, Эксъ, Ларошъ, Тьеръ, Гамбета, Наке, Луи-Блан-Кине, — однимъ словомъ, люди самаго противоположнаго направленія, самыхъ противоположныхъ стремленій, познанія, лѣтъ, роста и цвѣтовъ совершенно мирно говорятъ каждый свое на страницахъ одной и той-же газеты. Г. Венгероу видитъ въ этомъ поправку ошибочнаго прежняго сужденія, а критикъ, съ которымъ мы не согласны, называетъ это „объединеніемъ на почвѣ скептицизма“. Неужели вы говорите это серьезно? Неужели скептицизмъ въ томъ, чтобы пѣть разноголоснымъ хоромъ и находить въ разноголосицѣ музыкальное согласіе? Нѣтъ, потерять ниточку и не найти своего мѣста въ природѣ и даже не знать, что говорить и пѣть, — это едва-ли можно назвать объединеніемъ. Тогда и вавилонская башня была „объединеніемъ“. Отрицательное отношеніе можетъ быть смертію и можетъ быть жизнию. Нѣтъ жизни въ томъ, что лопнуло и порвалось, что упало духомъ и соединяется не ради искупленія, а только такъ, или по привычкѣ, или ради куска насущнаго хлѣба. Скептицизмъ можетъ быть отрицающій, но можетъ быть и скептицизмъ упадка духа и безвѣрія въ собственныя силы. То, что вы называете протестомъ, вовсе не протестъ мысли, и если вы захотите составить нравственную статистику современныхъ литературныхъ дѣятелей, скажите, сколько вы найдете между ними людей, которые такъ-же искренно относились-бы къ своему дѣлу и къ явленіямъ окружающей жизни, какъ вы? Переберите писателей по фамиліямъ — и вы согласитесь, что найдется не болѣе десяти человекъ, которые-бы горячо вѣрили и стремились и слово которыхъ было-бы словомъ искреннаго чувства, а не насыщенной, истомившейся, усталой и подогрѣваемой мысли.

Вамъ кажется, что „литературный періодъ“ кончился. Нѣтъ, онъ

еще не кончился, и не кончился онъ не только для той массы, которую вы называете обществомъ, не кончился онъ даже и для самой литературы. Если-бы можно было обобщить Добролюбова въ цѣломъ русскомъ обществѣ, мы-бы согласились съ вами, что теперь намѣчаются для прогресса русской мысли признаки другой поры. Но гдѣ-же тѣ признаки, которые-бы общество соединило самодѣтельно? Этихъ признаковъ нѣтъ, и десять писателей-публицистовъ едва-ли дадутъ вамъ какое-нибудь право дѣлать отъ нихъ посылку къ общему. Со временемъ, конечно, явится и зрѣлость, явится и общественное пониманіе; но пока наше общество, какъ и прежде, переживаетъ только личный психологическій моментъ, каждый роется въ своей собственной душѣ, никто не можетъ съ нею справиться и приучить свою мысль къ чему-нибудь твердому и прочному. Каждый изъ насъ точно потерялъ свою пуповину, обезвѣрилъся и ждетъ, что какая-нибудь благодѣтельная фея приподнесетъ ему рогъ изобилія, довольство и счастье. И что это именно такъ, вы сами доказываете вашими собственными нападеваніями на недавній неудавшійся реализмъ. Почему реализмъ, какъ вы говорите, произвелъ переполохъ, отчего на него всѣ накинулись, отчего ни прежде, ни послѣ, ни Бѣлинскій, ни Добролюбовъ не производили такой горячки въ читателяхъ? Только потому, что каждый переживалъ свой личный періодъ, каждый рылся въ самомъ себѣ и каждому хотѣлось, чтобы его научили, что дѣлать. Это было легкомысліе той-же самой „барышня“ въ панталончикахъ, о которой вы говорили. Барышню уже не удовлетворяло одно чтеніе; ей захотѣлось выступить на путь самостоятельной жизни. Распаленное воображеніе и внутреннее чувство толкали ее куда-то, ей хотѣлось идти, а куда—она и сама не знала. И вотъ она устремила вдаль взоры ожиданія и навидывалась на каждаго, кто говорилъ лучше и убѣдительнѣе. Но что-же ей говорили? Прежде всего ее укорили въ невѣжествѣ и сказали: „учись“. Она согласилась съ тѣмъ, что ничего не знаетъ, и протянула руку за книжкой; но въ какихъ книжкахъ написано то, что ей было нужно? Ей сказали, что надо трудиться и не сидѣть сложа руки, и она сейчасъ-же согласилась съ этимъ. Г. Верещагинъ совѣтовалъ варить сыръ, другіе—завести швейныя машины, третьи—устроить личное счастье, выйти умно замужъ, жить душа въ душу съ своимъ мужемъ и видѣть

съ нимъ работать. То, что вы называете „обществомъ“ и въ чемъ видите какую-то силу, было до того незрѣло и юно, что искало въ литературѣ и публицистикѣ готовыхъ рецептовъ и практическихъ указаній. И когда оно ихъ не нашло, оно разсердилось на своихъ учителей, точно въ ихъ рукахъ управлять теченіемъ небесныхъ свѣтилъ и движеніемъ стихій. Но развѣ реализмъ, какъ формула мышленія, есть практическое указаніе на то, что кому дѣлать? Въ опроверженіе „реализма“, надѣлавшаго переполохъ, вы говорите, что указанія его не вели ни къ чему. Но реализмъ, какъ формула, и не могъ научить—это долженъ шить сапоги, кто купитъ швейную машину; для этого есть техническія училища. Онъ могъ обратить вниманіе только на сущность реального мышленія, а что будетъ изъ этого мышленія—ему нѣтъ дѣла; неужели Контъ отвѣтственъ за всѣ глупости, которыя дѣлаютъ его непонимающіе почитатели? Обвиняя реализмъ въ томъ, что общество доболталось до вздоровъ, вы дѣлаете отвѣтственными неповинныхъ. Вы обвиняете реализмъ въ томъ, что увлеченіе естественными науками создало узкій спеціализмъ, не создало людей. Да развѣ ихъ создаютъ естественныя науки? Вы обвиняете реализмъ въ томъ, что указаніе на швейную машину не дало занятія всѣмъ рукамъ. Господа, господа! но развѣ все то, въ чемъ вы обвиняете, могло-бы случиться, если-бы такъ-называемое „общество“, о которомъ вы говорите, было на-столько содержательно умственно и сильно, что само-бы явилось двигающею силой, а не ждало, что его станутъ толкать и пихать? Съ нашимъ „обществомъ“ повторилась старая исторія нѣмецкаго Михеля, съ котораго внезапно сдернули ночной колпакъ и толкнули въ бока. Михель вскочилъ, разинулъ ротъ отъ удивленія, качнулся съ просонья, двинулся, пошелъ куда-то, а затѣмъ снова надѣлъ ночной колпакъ и сказалъ: „спокойной ночи!“ Михелю и было всего только сказано: „проснись, читай и думай, самъ сообрази, что тебѣ нужно, и дѣлай, что тебѣ полезно“. Михель ничего не понялъ, и вмѣсто того, чтобы сердиться на себя, что онъ не умѣетъ думать, разсердился на тѣхъ кто его разбудилъ. А вы говорите, что во всемъ этомъ виновать „реализмъ“. Да развѣ реализмъ положительное знаніе, развѣ онъ рецептъ жизни, развѣ его можно купить въ готовомъ видѣ на базарѣ и развѣ можно каждого научить. что дѣлать?

Наконецъ, вовсе не реализмъ причиною того, что Михель снова одѣлъ на себя колпакъ, потому что въ сущности онъ никогда и не просыпался. Восторгаясь теперешнимъ моментомъ, когда „общество“, разочаровавшееся въ реализмъ, стало будто-бы требовать философскаго мышленія, вы въ сущности только подтверждаете мысль о томъ, что общество осталось тѣмъ-же, чѣмъ оно было, и что запасъ его мыслей нисколько не увеличился, хотя въ то-же время интересы общества сдѣлались болѣе практичны и болѣе, чѣмъ когда-либо, не идеальны.

Общество, и именно то „общество“, о которомъ мы говоримъ, больше ничего, какъ инертная масса. Освобожденіе крестьянъ сдѣлало перемѣну въ практическихъ условіяхъ жизни и масса ткнулась въ ворота, которые открылись. Отворились земскіе ворота — и масса ткнулась въ нихъ. Открылись ворота гласнаго суда — масса ткнулась въ нихъ; явилась всеобщая воинская повинность — масса пошла и въ эти ворота. Однимъ словомъ, она идетъ по всѣмъ дорогамъ, какія ей открываютъ, но сама не можетъ положить ни одного пути, не можетъ устроить ни одной новой дороги, и всегда идетъ только туда, куда ей открывается выходъ. Беллетристика во всѣхъ этихъ случаяхъ никогда ничему не служить и ничему не помогаетъ, потому что возится вѣчно только съ единоличной душой да съ психологическими процессами. Обществу, конечно, могла-бы принести пользу публицистика; но развѣ она у насъ есть, развѣ она у насъ возможна и развѣ не оттого она у насъ не существуетъ, что въ той сѣрой краскѣ, которую вы называете „обществомъ“, нѣтъ въ самой ничего зрѣлаго, опредѣленнаго, установившагося, знающаго, что нужно, и умѣющаго сдѣлать, что нужно? Сіэсъ сказалъ про Наполеона I, что онъ „все знаетъ, все можетъ и все хочетъ“. И если-бы наше общество все знало, все могло и все хотѣло, развѣ были-бы возможны тѣ земскія неурядица, на которыя мы плачемся, тѣ безобразія, которыя поражаютъ насъ повсюду въ частной и общественной жизни, и тотъ перевѣсъ отсталости, который вы называете „затишьемъ“? Но когда-же возвеличиваемое вами общество и было чѣмъ-нибудь инымъ? Оно всегда оставалось такимъ-же, какъ теперь. Глубину этого спящаго океана не шевельнуло ни освобожденіе крестьянъ, ни земство, ни даже всеобщая воинская повинность, повидному наиболѣе способная расшевелить.

И вы въ этой-то спящей массѣ усматриваете признаки политическаго роста и сознательнаго общественнаго движенія; вы по современной литературѣ хотите выслѣдить эти признаки и дѣлаете натяжки такого широкаго обобщенія, точно говорите о герояхъ, ходящихъ въ семи-мильныхъ сапогахъ!

Будьте реальнымъ мыслителемъ, хотя реализмъ вамъ и очень не нравится. Пятнадцать лѣтъ назадъ Добролюбовъ предупреждалъ отъ увлеченій, а вы повторяете все старыя ошибки. Реальное мышленіе учить насъ тому, чтобы относиться къ фактамъ какъ къ дѣйствительнымъ фактамъ, а не воображаемымъ. Разложите общество на его составныя элементы, сосчитайте его инертныя и дѣятельныя частицы—и тогда вы увидите, что дѣятельный мозгъ нужно искать только на вершинѣ горы. Затѣмъ все, что ниже,—и до сихъ поръ непроснувшаяся масса, на столько-же непревышшая къ головнымъ процессамъ, какою она была 10, 15, 20, а пожалуй и 50 лѣтъ назадъ. Въ провинціи лучше, чѣмъ гдѣ-либо, видны интересы мысли общества на томъ, что читается. И до сихъ поръ, какъ тридцать лѣтъ назадъ, разрѣзаются преимущественно повѣсти и романы, читаются безразлично и „Русскій Вѣстникъ“, и „Отечественныя Записки“, и „Вѣстникъ Европы, и „Дѣло“, а до статей такъ-называемаго серьезнаго содержанія почти никто не дотрогивается. А вы говорите о какихъ-то политическихъ признакахъ! Гдѣ-же вы ихъ нашли? Наши редакторамъ очень хорошо извѣстно, что читающая публика составляетъ точно опредѣленную величину; что если „Анна Каренина“ и привлечетъ новыхъ подписчиковъ къ „Русскому Вѣстнику“, за то она ровно на-столько отниметъ ихъ отъ „Отечественныхъ Записокъ“. Если у „Голоса“ прибавилось нѣсколько тысячъ подписчиковъ, то это только тѣ, которые отказались отъ „Петербургскихъ Вѣдомостей“. Что это за безразличное чтеніе, чтеніе ради одного процесса, отъ скуки, для провожденія времени! Вы говорите, что публика не хочетъ руководящихъ статей въ критикѣ, какихъ она искала прежде. Но отчего? Вы думаете, оттого, что она ищетъ философскихъ основаній, провѣрки себя и умственно содержательнаго чтенія? Нѣтъ; публикѣ меньше всего нужно философское содержаніе мысли; потребность интеллектуальной жизни—достояніе такихъ немногихъ единицъ, что, право, смѣшно по поводу ихъ говорить о какихъ-то философскихъ требованіяхъ общества. Философскую мысль въ ея

Философскомъ движеніи вы чувствуете въ себѣ да находите еще въ пяти человѣкахъ, на которыхъ ссылаетесь, и вы обобщаете пять человѣкъ до того, что вамъ за ними кажется все 70-миліонное русское населеніе. Современный русскій читатель такой печальный читатель, на-столько не нужна ему ни мысль, ни идея, ни философія, что самое лучшее чтеніе находитъ онъ въ смѣшномъ фельетонѣ, въ критикѣ фельетоннаго характера да въ голыхъ фактахъ газетныхъ корреспонденцій. Количественно грамотныхъ читателей у насъ прибавилось, но качественно читатель не сталъ выше, а, пожалуй, ниже. Читатель не ищетъ теперь никакихъ обобщеній, никакой идеи, никакой философіи; ему нужны факты, которые онъ могъ-бы приурочить къ своимъ обстоятельствамъ, къ своему жизненному положенію. Маленькой песчинкѣ, вращающейся вокругъ себя, нѣтъ ровно никакого дѣла до того, какъ ея вращеніе представляется съ высоты птичьяго полета философамъ и критикамъ. Но песчинка — не мыслитель, не публика; она больше ничего, какъ практическая единица, устранивающая свою жизнь какъ устанавливаетъ ее самъ фактъ жизни. И вотъ почему теперешній читатель ищетъ только указаній на подходящіе факты, ищущіе прямую съ ними связь, а никакихъ обобщеній на философской подкладкѣ ему не нужно.

Еще Пьеромъ Леру установлено различіе между поэтами и мыслителями. Поэтъ плачетъ, страдаетъ, радуется, смѣется, отражаетъ жизнь во всѣхъ ея видахъ, но выводовъ никакихъ не дѣлаетъ. Мыслитель, напротивъ, изъ фактовъ счастья и несчастья, которые даетъ ему поэтъ и романистъ, дѣлаетъ выводъ и указываетъ на средства. Такимъ-же поэтомъ является и общество. Его отдѣльныя песчинки вертятся каждая въ своемъ собственномъ вихрѣ, смѣются, плачутъ, радуются, переживаютъ счастье и несчастье; но почему все это и какъ — онѣ не знаютъ; не знаютъ, какъ несчастье превратить въ счастье. На-сколько трудно каждой отдѣльной песчинкѣ, вращающейся около себя, устроить свое положеніе и найти связь съ общими явленіемъ, вы можете уже судить изъ того, на-сколько вамъ, критическому уму, слѣдовательно не заурядному человѣку, было трудно подняться на высоту. Много дѣтъ прошло, много пришлось вамъ думать и читать, и соображать, и передѣлывать, и перемѣнять, и поправлять ошибки сужденія прежде, чѣмъ, наконецъ, вы пришли къ тому, что рѣшили,

что сначала литература была „любительской“, потомъ стала общественной, а теперь собирается быть политической, и что всему причина—общество. И что-же въ сущности вы сказали и порѣшили? Съ необыкновенными потугами мысли вы пришли къ такому выводу, который былъ простъ и ясенъ по одной аналогіи всякому, знакомому съ ростомъ европейской мысли и европейской исторіи. Но если вамъ, человѣку привычному въ сферѣ мышленія, человѣку съ философскими задатками, такой простой выводъ оказался такъ труднымъ, то какже вы хотите, чтобы подобную работу могла производить каждая отдѣльная песчинка, до того завертѣвшаяся около себя, что ей даже некогда и думать! И песчинка, дѣйствительно, не думаетъ: ей не только некогда, но даже и не зачѣмъ думать. Практика жизни, какъ морской приборъ, даетъ имъ движеніе въ ту или другую сторону и вѣтеръ несетъ всю эту пыль въ ворота, которые отворены. Балетристика и литература не въ состояніи измѣнить этого направленія и не могутъ отворить никакихъ воротъ, потому что матеріаломъ для нихъ служить не идеальная, а практическая жизнь, а героями будничные дѣятели, а не маркизы Позы. Двигающей силой, за которою отворяются ворота, является тоже не высшая точка интеллектуальной горы, а какое-то среднее свѣченіе, которое и называется руководящимъ общественнымъ мнѣніемъ и двигающей общественной силой. Не по вашему уровню строится общественная жизнь, а по серединкѣ, у которой тоже есть нѣсколько своихъ уровней. Что лежитъ выше и ниже этой дѣйствующей середины, то не имѣетъ значенія въ жизни. Высшая точка остается пассивной въ своихъ идеалахъ, а низшая въ направленіи, которое ей дается, и въ путяхъ, которые ей открываются.

Наконецъ, литература, и преимущественно балетристика, вовсе не матеріалъ для сужденія объ обществѣ. При идеальныхъ условіяхъ своего положенія, онѣ, конечно, могли бы служить матеріаломъ для сужденія, но такихъ условій не существуетъ и потому литература и публицистика являются очень небольшимъ и одностороннимъ зеркаломъ, отражающимъ лишь маленькую часть всей жизни, недающую возможности дѣлать вѣрный общій выводъ. И вотъ въ какомъ смыслѣ мы, пожалуй, съ вами согласимся, что для русской мысли наступаетъ философскій моментъ. Этотъ моментъ дѣйствительно наступаетъ, но онъ наступаетъ для не-

многихъ русскихъ Огюстовъ Контювъ, а вовсе не для белетристовъ, романистовъ и для сѣрой массы, которую не разбудишь и не растолкаешь ни „Анной Карениной“, ни „Обрывомъ“, ни „Записками охотника“, ни даже „Базаровичъ“.

Естатіи о Базаровѣ. Когда вы выслѣживали прогрессивное вліяніе Тургенева, вы остановились на „Запискахъ охотника“. И всё только въ нихъ видятъ заслугу Тургенева и никто не признаетъ его заслугъ въ его послѣдующихъ романахъ. А между тѣмъ слава Тургенева въ читающей публикѣ установилась не „Записками охотника“, а чисто-психологическими типами и описаніями личныхъ характеровъ въ его романахъ. Въ этомъ случаѣ критики-мыслители разошлись съ обществомъ, и потому ясно, что уровнемъ общественной мысли нельзя мѣрять высоты критическаго ума. Вы, мыслитель, судя о жизни по литературнымъ явленіямъ, видите заслугу писателя въ одномъ, а общество видитъ ее въ другомъ. Съ высоты птичьяго полета вы придаете значеніе лишь тому, что переменяетъ направленіе вѣтровъ, а песчинки, вращающіяся внизу, даютъ значеніе только тому, въ чемъ видятъ себя. Ваша точка зрѣнія вѣрнѣе; но чтобы ваше воззрѣніе сдѣлалось общимъ, требуется извѣстное чудо; белетристъ-же, отражающій общество, будетъ только тогда ему близокъ, если снизойдетъ къ публикѣ. Но это опасное желаніе. Статистика шкюль давно констатируетъ фактъ, что шкюльные учителя, чѣмъ дольше они учатъ, тѣмъ становятся ограниченнѣе. Мысль для роста всегда должна тянуться вверхъ; если же она должна опускаться—она становится меньше. Вы, конечно, не удивляетесь, что Европа создала у себя Канта, Гегеля, Конта, Вокля, Спенсеровъ, Льюисовъ, а Россія—только Пушкина, Тургенева, гг. Вырубова, де-Роберти, Кюи, Суворина и т. д. Та-же самая сѣрая масса или „общество“, какъ вы ее называете, оттягиваетъ внизъ и нашу литературу, а самый чуткій изъ писателей, г. Тургеневъ, отвѣчая на запросъ публики, кончилъ все-таки психологическими романами. Когда онъ думалъ подъ вліяніемъ европейской мысли и дѣйствовалъ подъ давленіемъ ея идей, онъ создалъ „Записки охотника“. Когда же ему пришлось отвѣчать на запросы того, что вы называете „обществомъ“, онъ спустился на личный уровень и далъ исторію неудовлетворенной, мечтающей, идеальной души, гонящейся за личнымъ счастіемъ и живущей исключительно личной и сердеч-

ной жизнью. И въ „Отцахъ и дѣтяхъ“ Тургеневъ не всталъ выше личнаго начала. Слишкомъ обобщивъ частное и личное, Тургеневъ, можетъ быть, больше, чѣмъ кто-либо, способствовалъ тому, что въ головахъ сѣрой публики явился сумбуръ и личное эгоистическое начало приняло усиленное одностороннее направленіе. Вы не хотите видѣть этой вины Тургенева и ищете виноватыхъ въ другомъ мѣстѣ. Русское общество никогда не было „обществомъ“, какимъ вы его выдаете,—оно было всегда дѣвочкой въ панталончикахъ и не ушло дальше личнаго начала. Кажущаяся всеобщая связь всегда была искусственной и внѣшней связью. Не путемъ сознанія, не внутренними процессомъ мысли отдѣльныя личности составляли общество, а связью внѣшней, исторической или назовите ее какъ хотите. Всякій разъ, какъ это внѣшнее единство нарушалось, происходила путаница и выскочившее лицо долго не могло найти своей публики и разъ насиженнаго и потеряннаго мѣста. То-же самое случилось и послѣ освобожденія крестьянъ. Выскочившее изъ себя лицо еще и до сихъ поръ не нашло своего мѣста, а белетристика и романъ еще болѣе увеличивали путаницу, потому что дѣйствовали исключительно на личное чувство. А вы обвиняете въ этой путаницѣ реализмъ и прежнюю критику! Они явились послѣ романистовъ и, говоря о личномъ счастьи, говорили не объ эгоизмѣ и эгоцентрованіи, не о тупости и враждѣ, не объ отниманіи куска у ближняго, а объ общемъ интересѣ и о томъ, что только общее счастье служитъ основой личнаго счастья. Докажите, что говорилось что-нибудь другое!

Сужденіе по литературѣ и по сѣрой массѣ объ обществѣ и жизни дастъ одностороннее сужденіе и вовсе не критическій выводъ. Въ этомъ случаѣ и литературу, и общество мы считаемъ ничтожными и совершенно недѣятельными силами. Есть сила другая, и сила эта—самый фактъ жизни, независящій ни отъ литературы, ни отъ „общества“, о которомъ вы говорите. Литература держится всегда болѣе низкаго уровня и, по крайней мѣрѣ въ Россіи, мы не знаемъ другой литературы. Поэтому мы и не совсѣмъ-то понимаемъ тѣхъ необыкновенныхъ усилій, которыя употребляютъ критическіе умы, чтобы придти къ какому-то обобщеніямъ и выводамъ и путемъ необыкновенныхъ усилій придти къ совершенно бесполезнымъ результатамъ. Мы еще меньше

понимаемъ, почему критическимъ умамъ полюбилась такъ „философія“ и въ „философствованіи“ они видятъ единственное спасеніе Россіи. Не знаемъ, русская-ли философія привела насъ къ освобожденію крестьянъ, къ земскимъ учрежденіямъ и къ гласному суду, или это сдѣлалось безъ всякой философіи? Мы думаемъ, что дѣло сдѣлано проще и не съ такими потугами, съ какими критики рождать свои мысли. Оставивъ въ покоѣ и литературу, и философію, и читая жизнь какъ живую книгу, мы-бы сказали, что жизнь думаетъ гораздо проще, чѣмъ это кажется отдѣльнымъ людямъ, желающимъ дойти до всего философскимъ мышленіемъ. Старая истина, что для книжныхъ философовъ жизнь не въ жизни, а въ книжкахъ; что-же удивительнаго, что изъ книжныхъ фактовъ у нихъ получаются выводы, которые хотя и называются философскими, но ни къ какому практическому дѣлу не идутъ. Забравшись совершенно постороннимъ матеріаломъ и задавшись предвзятой любимой идеей, кабинетные критики-философы приходятъ въ восторгъ, если въ цѣлой горѣ литературной золы найдутъ одну свѣтлую искорку, и затѣмъ ее обобщаютъ, точно вся гора состоитъ изъ блестящихъ искръ и алмазовъ. Мы думаемъ, что это оптимизмъ, и очень опасный, потому что если каждый нефилософскій умъ вообразить себя философомъ, то снова повторится исторія самоувѣренности, противъ которой вы вооружаетесь, указывая на ошибки реализма. Вы говорите, что въ реализмъ всѣ разочаровались и увидѣли его ошибку; а мы думаемъ, что и философія оптимизма окажется еще большею ошибкой и за нею послѣдуетъ еще большее разочарованіе. И сколько вѣковъ ждать, пока мы всѣ сдѣлаемся философами! Подумайте.

За белетристивой и романомъ мы не признаемъ особенной силы не только у насъ, но даже и въ западной Европѣ. Мы не думаемъ, что это нужно даже и особенно доказывать. Фактъ жизни и практика воспитываютъ общество, т.-е. ту сѣрую, безразличную массу, которая состоитъ изъ вращающихся единично песчинокъ. Литература-же только идетъ сзади да подбираетъ, что лежитъ на ея пути, что она видитъ и что подобрать въ состояніи. Такимъ образомъ, общество является не болѣе, какъ матеріаломъ, и каковъ матеріалъ, такова будетъ и белетристика. Теперешнія жалобы на отсутствіе въ литературѣ идеаловъ, на пустоту, безсодержательность, односторонность типовъ и ничтожность литератур-

ныхъ интересовъ происходить, конечно, не оттого, чтобы не было литературныхъ талантовъ. Небольшой матеріалъ, который прежде закончился, весь изсякъ и исчерпанъ болетристами прежняго времени; а новый матеріалъ, который начинаетъ появляться, еще не нагнѣлся и не опредѣлился, не выработался ни въ какую точную форму и вохожъ нѣсколько на тѣ поясненія тѣни, лиричныя точныя очертанія, которыя вы можете видѣть на спиритическихкихъ карточкахъ. Есть что-то, какъ-будто и вохожее на челоуѣческій образъ, а точно очерченнаго челоуѣка не выходитъ.

Что безсодержательность литературы зависить отъ безсодержательности общества, вы можете провѣрить на нашихъ народныхъ поэтахъ, какъ Кольцовъ, Никитинъ, Суриковъ. У Кольцова была и душа хорошая, и талантъ не малый, но къ чему могла привести его хорошая душа и талантъ, когда народная жизнь не давала никакого матеріала? То-же самое случилось съ Никитинимъ и Суриковимъ. Всѣ они пѣли какое-то безконечное горе да бѣдность, да нужду, вѣчно плакались на свою долю, на то, что ихъ заѣла жизнь да бѣдность и нужда, и дальше этого унылаго содержанія не шла ихъ поэзія, наполненная вздохами, да слезами, да плачемъ, надрывающимъ душу. Читая ихъ, подчасъ даже подумаешь, что они были инохондрики, напускали на себя слезы и горе и душевно болѣвнымъ процессомъ развивали въ себѣ слезливую односторонность.

Но, съ другой стороны, какой-же матеріалъ могла дать имъ народная жизнь, — жизнь безцвѣтная, односторонняя, посвященная труду, окруженная бѣдной природой и лишенная какихъ-бы то ни было болѣе широкихъ интересовъ и поглощенная вся интересами дня и сельскихъ работъ. И вотъ народные поэты даютъ намъ описанія степи и лѣса, поля, сѣнокоса, описанія утра, вечера, весны, осени, зимы, лѣта; но всегда это деревня съ ея полями и съ ея сельскими работами, всегда это жалобы на то, что жить и трудиться трудно, всегда это повтореніе деревенской повседневности, кончающееся вѣчно однимъ и тѣмъ-же припѣвомъ:

Нѣтъ, не разцвѣсть намъ, доля, нѣтъ!

И не запѣть на ладъ веселый.

Одна, знать, пѣсня намъ дана:

Чтобъ пѣть нужду да трудъ тяжелый.

Безсодержательность жизни, лишенной всякихъ другихъ интересовъ, кромя непосредственныхъ практическихъ, парализовала не только мысль, но даже и чувство. Мысль вмѣсто точнаго развитія во что-нибудь законченное и опредѣленное являлась какою-то оторванною думою, болѣвнымъ щемящимъ процесомъ, и чувство точно также расплывалось въ какую-то неясную неопредѣленность, лишенную точнаго, положительнаго содержанія. И вотъ поэтически настроенная душа разрѣшалась вѣчными слезами да стопами и какой-то расслабляющей скорбью. И въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ-же могли вдохновить народнаго поэта лѣсъ, поле, степь и просторная, пустая жизнь?

Идешь, идешь—степь да небо,
 Степь, все степь, какъ море;
 И взгрустнется поневолѣ
 На такомъ просторѣ.

Мы не скажемъ, чтобы народная поэзія Кольцова, Некитина и Сурикова была дѣланной; но она нѣсколько субъективна и служила по-преимуществу выраженіемъ личнаго бездолья и личной безвыходности поэтовъ. Здѣсь личное бессиліе столкнулось съ отсутствіемъ матеріала и въ результатѣ получилась грустная мелодія, дѣйствующая на нервы и возбуждающая исключительно одно щемящее чувство. А гдѣ-же энергія, гдѣ-же сила, гдѣ-же прямое, практическое, здоровое отношеніе къ жизни и къ ея фактамъ? Его нѣтъ и его не ищите. Нѣтъ его потому, что вся народная жизнь имѣетъ чисто-стихійный характеръ и ей неизвѣстно ничего, кромя повседневнаго факта, въ которомъ отдѣльное лицо, какъ вращающаяся песчинка, не имѣетъ ни силъ, ни возможности, ни нравственныхъ, ни умственныхъ средствъ явиться распорядителемъ своихъ личныхъ судебъ. Вотъ почему и народная поэзія въ устахъ Кольцова, Некитина, Сурикова является тоже личной и каждый изъ нихъ воспѣваетъ свое горе, свои думы, думы безъ конца, да свою бѣдность и безвыходное положеніе. Предположите, что у народной жизни есть иное содержаніе, что ея интересы шире и глубже, что кромя степи, деревни живетъ еще и жизнью города, что кромя сѣнокоса и пашни есть еще другое дѣло,—развѣ поэзія была-бы такою, какою мы ее находимъ у Кольцова, Некитина и Сурикова?

То-же самое мы скажемъ и объ „обществѣ“, которому вы

придаете такое значеніе. Какіе интересы руководятъ его мыслями и чувствами, въ чемъ заключаются его стремленія, въ чемъ его надежды, ожиданія, какіе у него идеалы? Всѣ интересы общества въ его массѣ имѣютъ исключительно экономическую тенденцію и сводятся только къ заботамъ о матеріальномъ существованіи. Время какихъ-то идеаловъ и высреннихъ стремленийъ для общества, о которомъ мы говоримъ, никогда и не существовало, и съ тѣхъ поръ, какъ ему открыли болѣе широкіе пути, только съ большею энергіей выступило то, что и всегда служило матеріаломъ для его дѣятельности. Вы можете обрушиваться на недостатки подобнаго общества, вы можете отыскать въ немъ типы кулаковъ, дѣльцовъ, и какіе-бы типы вы въ немъ ни нашли, они будутъ всегда типами мелкими, узкими, ограниченными, лишенными той душевной и умственной шири и тѣхъ широкихъ общечеловѣческихъ стремленийъ, которыя одни только и могутъ служить матеріаломъ для болѣе широкаго и грандіознаго обобщенія. Романисту нельзя выдумывать того, чего нѣтъ, и романъ всегда будетъ пустъ, если пуста жизнь, служащая ему содержаніемъ. Самый сильный положительный художественный умъ не создастъ ничего изъ подобнаго матеріала, потому что онъ напрашивается только на отрицательное къ нему отношеніе и на сатиру. Вотъ почему подобное время способствуетъ болѣе появленію сатирическихъ талантовъ и придаетъ литературѣ преимущественно жолчный характеръ.

Мы не станемъ спорить съ критикомъ, что въ литературномъ сумбурѣ, который порождается безразличностію и безцвѣтностію общества, среди болѣвыхъ потугъ мысли, можно поймать иногда и свѣтлое, болѣе живое и идеальное стремленіе, можно найти искорки болѣе свѣтлой мысли; но все это очень хорошо для того, чтобы, окинувъ разъ критическимъ окомъ извѣстный общественный моментъ, констатировать его; а что-же потомъ? Вѣчно возиться съ этой одной искоркой, толковать только о ней, носиться съ нею, какъ съ сокровищемъ, и жужжать всѣмъ въ уши одно и то-же? Охъ, какъ это скучно! И если-бы только было скучно, но, увы, и совершенно бесплодно. Въ томъ-то наша бѣда, что если фактъ жизни, открывающій путь для практической дѣятельности, уводитъ насъ иногда въ непроглядныя тущобы и если нѣкоторые философскіе умы, протестующіе противъ

подобнаго факта, хотятъ выслѣдить его душу и возвести его въ сознание, то съ своей философiей они уходятъ нерѣдко еще въ большія трущобы. Мы знаемъ, что ихъ положенiе безвыходно, что они и философами дѣлаются по нуждѣ; но въ такомъ случаѣ надо вѣрно относиться къ фактамъ жизни и вмѣсто того, чтобы плодить оптимизмъ, лучше совсѣмъ молчать, чѣмъ говорить о томъ, чего нѣтъ или что существуетъ только въ пяти головахъ.

Наше несогласiе съ критикомъ заключается только въ томъ, что онъ обобщаетъ то, чего нѣтъ, и придаетъ значенiе тому, въ чемъ не существуетъ силы. Онъ обобщаетъ извѣстныя кружки, извѣстныя стремленiя, извѣстныя мысли, т. е. нѣкоторыя отдѣльно разбросанныя искорки, и увѣряетъ, что эти искорки— „общество“ и что его будто-бы воспитываютъ белетристика и романъ. Мы-же говоримъ, что въ томъ, что критикъ называетъ „обществомъ“, заключаются лишь едва намѣчающiеся элементы будущаго общества, а общества въ европейскомъ смыслѣ никакого нѣтъ. Кроме того, критикъ доказываетъ, что будто-бы литература воспитываетъ „общество“, а мы думаемъ, что общество не только оттягиваетъ внизъ всю литературу, но оттягиваетъ внизъ и высшiя точки русской мысли. Если-бы въ этомъ „обществѣ“ была иная жизнь, иныя стремленiя, иныя чувства и иныя мысли, развѣ русской романъ и повѣсть были-бы такими безжизненными, безцвѣтными, какими они есть? И типы, и герои, и идеалы— все это микроскопично потому, что микроскопичны оригиналы, съ которыхъ они рисуются. Не зеркало и живописецъ виноваты, если скучная, однообразная степь выходитъ и въ изображенiи скучной и однообразной. Не выдумывать-же имъ цвѣты, которыхъ нѣтъ!

Изъ всѣхъ родовъ литературы самый влiятельный и полезный, конечно, публицистика. Публицистика наиболѣе по плечу такимъ практическимъ моментамъ, какъ нынѣшнiй, не только у насъ, но и во всей Европѣ. Но и публицистика требуетъ почвы, она требуетъ извѣстныхъ условiй для своего существованiя и воспитываетъ публицистическихъ дѣятелей только тогда, когда сама жизнь и общество даютъ имъ дѣло. Если-же общество поглощено мелкими практическими интересами, которые количественно и качественно совершенно ничтожны, то и публицистика оттягивается внизъ и публицистскiе умы не воспитываются, а глохнутъ. Есть

моменты въ жизни народовъ, когда демократизація взаимныхъ отношеній и просторъ для личнаго развитія дѣлають общество, правда, шире, открываютъ ему большее пространство, но за то это пространство мельче и уровень его гораздо ниже. Въ такіе моменты путаницы и неясной мысли и отсутствія всеобщаго руководящаго принципа лучшее, что остается дѣлать философскимъ умомъ,—это слѣдовать совѣту старика Шлоссера: сидѣть въ четырехъ стѣнахъ своего кабинета и выглядывать на Божій міръ изъ форточки.

Критикъ тутъ тоже мало работы. Если она захочетъ быть литературной и художественной, ей дѣло найдется; но если ей захочется быть всеобщей, то, конечно, ей это не удастся, и не по ея винѣ. Критической мысли, для вѣрныхъ выводовъ, должны быть открыты всѣ пути жизни. Ей должны быть видны всѣ наслоенія общества, всѣ элементы мысли, гласной и безгласной, и общественное мнѣніе, какъ управляющее, такъ и не управляющее. Однимъ словомъ, ей долженъ быть открытъ весь міръ. А если этого нѣтъ, критика будетъ такой-же „любительской“ литературой, какъ и правдая теоретическая философія, которая хороша, какъ пирожное, для умственныхъ богачей, а не какъ пища для нищихъ духомъ и для людей, которымъ ждать некогда. Что-же дѣлать? Живите, думайте, наблюдайте, читайте, а главное—будьте разсудительны и умны.

Теперешній моментъ русской мысли есть моментъ личный, а вовсе не общій. Это тотъ-же моментъ, въ который явился укоренный вами реализмъ. Не о томъ рѣчь, удался-ли реализмъ или нѣтъ,—рѣчь о томъ, что онъ явился представителемъ личности, ищущей устоя и счастья. Добролюбовскій моментъ, конечно, ближе. Онъ больше по плечу современной мысли, поэтому практичѣе и имѣетъ на своей сторонѣ болѣе широкое общественное мнѣніе.

Лицо, почувствовавшее себя на свободѣ, повело себя не совсемъ пристойно. Фикція общества исчезла, вмѣсто него явились кружки, и каждому кружку захотѣлось вывести себя въ непогрѣшимое мировое обобщеніе. Свести всю эту разногласицу къ единству рѣшительно нельзя. Научить ее истинѣ — невозможно, потому что ея нѣтъ ни у русскихъ философовъ, ни у русскихъ социологовъ. Потуги ихъ совершенно напрасны и самообольщеніе

руководительства больше ничего, какъ игра самолюбія. Ни теперешніе критики, ни теперешніе белетристы не достигнутъ ничего, потому что теперь время не общаго, а все еще прежняго частнаго, не „объединеніе, какъ вы выражаетесь, всѣхъ на почвѣ скептицизма“, а, напротивъ, объединеніе въ умственныхъ фракціяхъ.

Можетъ быть, вы хотите сказать, что „объединеніе“ есть хаосъ, что въ этомъ хаосѣ намѣтятся сперва свѣтлые центры, около нихъ сгруппируется свѣтлый туманъ, создастся нѣсколько малюнькихъ міровъ и, наконецъ, какая-нибудь одна свѣтлая точка выростетъ въ солнце и притянетъ всѣ отдѣльные міры къ себѣ? Съ этимъ можно согласиться. Но для этого не нужно ни преувеличивать значеніе „общества“, если оно пока масса туманныхъ пятенъ, ни обобщать высшей точки горы, ни увлекаться оптимизмомъ.

Н. Языковъ.

НОВЫЯ КНИГИ.

Стихотворенія И. З. Сурикова, изданіе Н. А. Соловьева-Нескѣлова, Москва. 1875 г.

Иванъ Захаровичъ Суриковъ родился 25 марта 1841 года, въ семьѣ крестьянина деревни Новоселово, ярославской губерніи, угличскаго уѣзда, принадлежавшей къ владѣніямъ графа Шереметева. Отецъ поэта былъ не изъ числа богатыхъ крестьянъ и для добыванія куска хлѣба и средствъ для платежа оброка долженъ былъ жить на чужой сторонѣ въ работникахъ у мелкихъ торговцевъ. Находясь почти постоянно внѣ дома, онъ не могъ вліять на ребенка. Не могла особенно сильно вліять на мальчика и его мать, занятая всѣми заботами о своемъ крестьянскомъ хозяйствѣ. «Всѣ ея попеченія о мальчикѣ, говорятъ биографъ поэта, —ограничивались тѣмъ, чтобы онъ былъ сытъ да поменьше вертѣлся на глазахъ». При такой обстановкѣ единственною его воспитательницею являлась природа. Но уже семи лѣтъ ребенокъ былъ увезенъ въ Москву, въ маленькую овощную лавку торговать. Въ этомъ маленькомъ міркѣ торгашества, надувательства и грошовыхъ расчетовъ мальчикъ не забывалъ любимую имъ природу, часто о чемъ-то задумывался, не показывая надлежащей юркости и въ глазахъ торгашей казался «неудачнымъ». Первоначальное образованіе ребенка ограничивалось тѣмъ, что онъ прозубрилъ первые листки стараго букваря подъ руководствомъ полуграмотной начетчицы. Однако, даже и этого оказалось достаточнымъ, чтобы пробудить въ ребенкѣ непреодолимую любовь къ чтенію. Эта любовь къ знанію свела мальчика съ однимъ мелкимъ чиновникомъ, посѣщавшимъ лавку, гдѣ жилъ ребенокъ. Чиновникъ принялъ участіе въ любознательномъ мальчикѣ и выучилъ его основательно читать и пи-

сать. Это дало возможность ребенку читать все, что только попадалось ему под руку; къ несчастію, при отсутствіи опытнаго руководителя и матеріальныхъ средствъ, ему приходилось всего чаще довольствоваться дешевыми изданіями лубочной литературы. Но читать можно было только тайкомъ, украдкою; его преслѣдовали, какъ «книгоѣда», осыпали бранью и побоями, сжигали въ печкѣ его книги. И то сказать, чтеніе не приносило барышей торгашамъ. Не скоро попались въ руки ребенка Пушкинъ, Лермонтовъ, Кольцовъ, но все-таки попались, и въ душѣ юноши стало пробуждаться то неодолимое стремленіе къ творчеству, котораго не могутъ убить никакія враждебныя обстоятельства. Но какихъ трудовъ стоили юношѣ первыя произведенія! Его среда не привыкла и не можетъ приучить къ простому логическому изложенію даже самыхъ простыхъ идей,—въ этомъ легко убѣдится каждый, прочитавъ письма мелкихъ торговцевъ, поговоривъ съ этими людьми. Сверхъ того, юноша былъ вовсе не знакомъ съ правилами версификаціи. Юноша долго не рѣшался показать свой первый поэтический трудъ даже своему знакомому чиновнику. Наконецъ, робость была побѣждена и добрый человекъ одобрилъ начинающаго поэта. Юноша сталъ писать больше. Но долго пришлось ему ждать встрѣчи съ кѣмъ-нибудь, кто могъ-бы безпристрастно отнестись къ его произведеніямъ и указать на ихъ слабыя стороны. Только въ 1862 году удалось ему познакомиться съ однимъ изъ нашихъ поэтовъ, который не мало способствовалъ его художественному развитію своими полезными и дѣльными совѣтами. Съ этой поры молодой поэтъ началъ помѣщать свои произведенія въ мелкихъ журналахъ и газетахъ. «Но, говорить его биографъ,—та разъѣдающая неправда въ человѣческихъ отношеніяхъ, которая дала ему содержаніе для первыхъ напечатанныхъ произведеній и съ самаго дѣтства преслѣдовала и угнетала его, какъ человека, не оставила его въ покоѣ и какъ поэта. Одно изъ его стихотвореній, напечатанное въ «Развлеченіи», надѣлало его бѣдному творцу много семейныхъ хлопотъ и горя. Въ этомъ чисто-элегическомъ стихотвореніи нѣкто узналъ, разумѣется, по указанію другихъ, себя и свои поступки—и произошла страшная семейная буря». Въ это время въ жизни поэта произошелъ переломъ: у него умерла мать, отецъ женился на другой, семейныя отношенія сложились иначе. «Жутко слушать его рассказы объ этомъ времени», говорить его биографъ. Кромѣ тяжелыхъ семейныхъ отношеній ему приходилось терпѣть матеріальные лишения и перебиваться среди нужды. Не могла побѣдить

этой нужды его поэтическія произведенія, которыя въ концѣ-концовъ могутъ доставить поэту извѣстность, но которыя въ то-же время не могутъ его спасти отъ нищеты, отъ голода, если-бы онъ даже вздумалъ протянуть руку, положимъ, къ литературному фонду: ему оттуда выдали-бы, можетъ быть, послѣ долгихъ справокъ 25 или 50 рублей—вотъ и все, такъ-какъ по 500 рублей фондомъ выдается инымъ счастливымъ, по крайней мѣрѣ, дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникамъ и генераламъ отъ литературы. Но, конечно, поэтъ и не обращался къ литературному фонду, а бился съ судьбою, насколько могъ. «Матеріальное и общественное положеніе г. Сурикова, говоритъ его біографъ,—представляетъ картину, если и не грустную, то во всякомъ случаѣ заставляющую глубоко задуматься надъ судьбою и дѣятельностью людей, выходящихъ изъ среды нашего народа на путь литературный. Въ одномъ изъ дальнихъ концовъ Москвы, въ закоулкѣхъ близъ заставы, вы увидите маленькую лавочку желѣзнаго старья. На прилавкѣ, рядомъ съ старыми гвоздями и замками, нѣредко лежитъ послѣдній номеръ журнала или только-что вышедшая книга. Изъ-за прилавка входящаго покупателя спрашиваетъ мужчина лѣтъ за тридцать, просто одѣтый по-мѣщански,—это поэтъ Суриковъ. Тутъ онъ проводитъ цѣлый день, съ ранняго утра до поздняго вечера; тутъ и его мастерская для исправленія и подновленія попорченныхъ желѣзныхъ вещей, и его рабочій кабинетъ; тутъ онъ работалъ попеременно то молоткомъ, то перомъ».

Какая скорбная, какая однообразная жизнь! Но эту жизнью жили Кольцовъ и Никитинъ. Читая біографію г. Сурикова, думаешь, что читаешь ничто иное, какъ повтореніе біографіи этихъ поэтовъ. Въ ихъ судьбѣ были та-же бѣдность, тѣ-же семейныя неурядицы, та-же душная атмосфера, гдѣ нѣтъ никакихъ другихъ интересовъ, кромѣ копеечныхъ расчетовъ, кромѣ мысли о кускѣ насущнаго хлѣба. Въ этой средѣ трудно не задохнуться, трудно не погибнуть умственно, трудно не сломиться физически. Много нужно было имѣть нравственныхъ и физическихъ силъ, чтобы выйти тѣмъ, чѣмъ вышли и Кольцовъ, и Никитинъ, и, наконецъ, г. Суриковъ. Читая произведенія этихъ поэтовъ въ хронологическомъ порядкѣ, видишь, какъ они работали надъ собою, какъ постоянно крѣпла ихъ мысль, какъ постоянно вырабатывалась форма ихъ произведеній. Въ 1825 году Кольцовъ еще пишетъ вирши въ родѣ слѣдующихъ:

Не прельщайте, не маните,
Пылкой юности мечты!

Удалитесь, улетите
Отъ бездомной сироты!

Черезъ двѣнадцать лѣтъ изъ его души вырываются такія великія произведенія, какъ пѣсни Лихача Кудрявича, «Говорилъ мнѣ другъ, прощаючись», «На зарѣ туманной юности», «Что ты спишь, мужикъ», «Въ непогоду вѣтеръ» и т. д. Никитинъ сначала подражаетъ и г. Фету, и г. Некрасову, и Пушкину, а передъ смертью уже создаетъ свое могучее стихотвореніе: «Вырыта заступомъ яма глубокая»,—стихотвореніе, похожее на одинъ мучительный вопль, въ которомъ нѣтъ ни одного лишняго слова, ни одного невѣрнаго звука. То-же мы видимъ въ г. Суриковѣ: нѣкоторыя изъ его первыхъ произведеній положительно слабы; они часто растянуты; обороты въ нихъ по большей части неловки; выраженія нерѣдко неправильны; удареніе на словахъ соблюдено не вездѣ какъ слѣдуетъ. Но чѣмъ дальше идетъ поэтъ по избранному имъ пути, тѣмъ сильнѣе и ярче дѣлается его стихъ. Такія стихотворенія, какъ «Покосъ», «Утро. Блещетъ роса и сквозозъ лѣсъ отъ зари яркій свѣтъ на поля разливается», «Въ полѣ», «Въ ночномъ», «Лѣтомъ», и тому подобныя произведенія уже не носятъ на себѣ печати дѣланности, неумѣлости, подражательности: они цѣльны, искренни и своеобразны и нерѣдко отличаются такими удачными оборотами, которые удаются только мастерамъ. Особенно удачно выходятъ у г. Сурикова картины простой сельской жизни, картины природы. Смотри на это прогрессивное движеніе впередъ и зная, какъ тяжело вырабатывать свой талантъ человѣку, добывающему кусокъ хлѣба тяжелымъ чернымъ трудомъ, невольно удивляешься этимъ выносливымъ силамъ,—силамъ, выходящимъ изъ среды народа.

Но кромѣ указанныхъ нами враждебныхъ для развитія поэтическаго дарованія условій, нужды, трудности самообразованія, враждебныхъ отношеній неразвитой среды къ «писакѣ, которому, по выраженію Кольцова, нужно крылья ошибитъ»,—есть еще одно условіе и, по нашему мнѣнію, главное условіе, мѣшающее широкому и полному проявленію поэтическаго дарованія подобныхъ поэтовъ-самоучекъ. Это условіе—однообразіе, узкость и неизмѣнность интересовъ той среды, пѣвцами которой волею или неволею должны являться они. Поэтъ-лирикъ, если онъ желаетъ быть искреннимъ, долженъ брать поэмы, черпать вдохновеніе среди тѣхъ явленій, которыя близки ему, которыя задѣваютъ его за живое, которыми онъ живетъ. Въ противномъ случаѣ онъ будетъ холоденъ, онъ впадетъ въ риторику.

Но какія-же явленія, какіе интересы, какіе мотивы могли быть близки и были действительно близки Кольцову, Никитину и г. Сурикову? Это интересы, явленія и мотивы нашей народной жизни, то-есть жизни! по-преимуществу бѣдной внутреннимъ содержаніемъ, однообразной до послѣдней степени,—жизни, изъ которой никогда не могъ создать романа высоко-талянтливый Рѣшетниковъ и на описаніи которой загубили себя однообразіемъ картинъ и мотивовъ гг. Левитовъ, Гл. Успенскій, Н. Успенскій,—загубили до того, что каждый ихъ новый разсказъ казался перекройкой старыхъ ихъ разсказовъ. Однообразіе этой жизни и является главнымъ камнемъ преткновенія для поэтовъ-самоучекъ. Бѣдность крестьянина, выдача дѣвушки замужъ за немилаго, притѣсненія матихи или мужниной родни, тоскливое недовольство своею долей, мучительные, но смутные и безплодные порывы развернуть свои силы и найти «гдѣ лучше», жалобы на подневольное житіе батрака,—вотъ почти все, что встрѣчается въ пѣсняхъ этихъ поэтовъ. Только просматривая ихъ произведенія, вы убѣдитесь вполне въ убійственной и грустной неподвижности бытовой жизни нашего народа и въ узкости его интересовъ, его кругозора, его дѣлей. Кольцовъ писалъ въ концѣ двадцатыхъ годовъ то-же, что писалъ Никитинъ въ концѣ пятидесятыхъ, что пишетъ г. Суриковъ въ началѣ семидесятыхъ годовъ, и ужь, конечно, не мы станемъ обвинять этихъ поэтовъ за однообразіе ихъ мотивовъ, за то, что они не заставляютъ въ своихъ пѣсняхъ народъ мучиться гражданской скорбью вмѣсто сожалѣнія о павшей коровенкѣ. Ложь, какія-бы соображенія ни вызвали ее, всегда останется ложью. Они дѣти своей среды и не они виноваты, что эта среда живетъ одною и тою же жизнью изъ вѣка въ вѣкъ. Мы скорѣе должны удивляться тому, что эти поэты могли находить если не новые мотивы въ своей средѣ, то новые звуки для выраженія этихъ мотивовъ. Имъ нужно было имѣть очень и очень недюжинное дарованіе, чтобы не убить свои произведенія крайнимъ однообразіемъ содержанія и заставить общество интересоваться этими произведеніями.

Когда мы просматриваемъ эти произведенія, мы яснѣе чѣмъ когда-нибудь сознаемъ, что, действительно, «Россия вся въ будущемъ»; по крайней мѣрѣ, въ отношеніи нашего народа это—непреложная истина. Да, нашъ народъ еще не жилъ, а только начинаетъ жить, освободившись отъ крѣпостной зависимости, получивъ извѣстные права вслѣдствіе различныхъ реформъ. Въ прошлые вѣка онъ стоялъ такъ далеко отъ историческихъ событій и общественныхъ движеній

и интересовъ, онъ былъ такъ замкнутъ и разсѣянъ по своимъ деревнямъ и селамъ, онъ былъ на-столько мало «русскимъ» и на-столько сильно «подлиповцемъ», что его собственные народные поэты, оставаясь жеманными и не притягивая за водосы сюжетовъ для своихъ лирическихъ произведеній, не могли воспѣвать ничего, кромѣ частной, семейной жизни. Сравните мотивы Шевченко или Петёфи, тоже поэтовъ-самоучекъ, вышедшихъ изъ народа, съ мотивами Кольцова, Никитина и г. Сурикова, и вы поймете всю разницу между прошлою жизнью малороссовъ и венгровъ съ одной стороны и нашею прошлою великорусскою жизнью. Шевченко и Петёфи были тоже дѣтми народа, они были тоже малообразованы, они тоже брали свои мотивы изъ близкой имъ среды, ихъ поэтическія произведенія тоже были чисто-народными, какъ по содержанію, такъ и по доступности для пониманія простолюдиновъ. А между тѣмъ, какое разнообразіе мотивовъ является у этихъ поэтовъ! Довольно указать на «Гайдамаковъ» Шевченко или на знаменитаго «Героя Яноша» Петёфи, чтобы понять, что эти поэты—дѣти народовъ, имѣвшихъ свою исторію. Но гдѣ-же вы найдете у Кольцова, Никитина или г. Сурикова что-нибудь выходящее изъ предѣловъ частныхъ, семейныхъ интересовъ? Нѣкоторые критики упрекали еще Кольцова за однообразіе его мотивовъ, приписывая это узкости взглядовъ самого поэта! Это была величайшая ошибка. Правда, Кольцовъ могъ-бы воспѣвать и Ивана Грознаго, и походы противъ Польши, и войну съ Турціей, и борьбу на Кавказѣ, но вѣдь эти замысленія не были-бы искренними, какъ не одѣлаются никогда ни народными, ни искренними, а останутся вульгарными или солдатскими реляціи о томъ,

Какъ Нашевичъ Ариванскій
Подъ Аршавою стоялъ.

Правда, народъ поетъ и эти реляціи, но вѣдь онъ поетъ и про то, какъ человекъ

Шелъ по Невскому припшехту
И самъ съ перчаткой разсуждать.

Или:

Не слышно шуму городского,
На невскихъ башняхъ тишина
И на штыкѣ у часового
Горить полночная луна.

Но какъ-бы ни была бѣдна мотивами для лирическихъ произведеній жизнь нашего народа, она все-таки могла-бы дать болѣе разно-

образное содержаніе для лирическихъ произведеній, чѣмъ содержаніе стихотвореній нашихъ народныхъ поэтовъ. И здѣсь нужно указать на тѣ условія, при которыхъ жили и развивались эти поэты. И Кольцовъ, и Никитинъ, и г. Суриковъ и жили, и развивались при крайне однообразныхъ условіяхъ, при крайне однообразной обстановкѣ. Область ихъ наблюденій была очень ограничена, нужда и опредѣленный трудъ приковывали ихъ къ одной и той-же мѣстности и не давали имъ возможности набраться новыхъ впечатлѣній. Шевченко и Петефи обязаны разнообразіемъ содержанія своихъ произведеній не одной сложности жизни ихъ народовъ, но и тому, что имъ самимъ приходилось жить при крайне разнообразныхъ условіяхъ. Петефи, напримѣръ, былъ и бродягой, и страствующимъ актеромъ, и литературнымъ поденщикомъ, и военнымъ. Онъ зналъ не одну какую-нибудь часть Венгріи, но всю Венгрію, исходявъ ее изъ конца въ конецъ, сталкиваясь и съ солдатами, и съ бѣтьярами, и съ высшимъ обществомъ, и съ первостепенными писателями. Судьба Шевченко, какъ извѣстно, была не менѣе разнообразна: крѣпостной казачокъ, художникъ, ссыльный, онъ видѣлъ и пережилъ многое. Наши-же народные поэты поневолѣ должны были вращаться почти въ одномъ и томъ-же кругу, въ одной и той-же мѣстности, что должно было еще болѣе снзуть содержаніе ихъ произведеній, которыя только тогда и могли-бы быть хотя сколько-нибудь разнообразны, когда нашихъ народныхъ поэтамъ удалось-бы побывать и на крайнемъ сѣверѣ, и на крайнемъ югѣ, познакомиться съ бродячею жизнью цыганъ, съ скитаніями бѣглыхъ, съ идущими по этапу каторжниками, съ странствующими по ярмаркамъ торговцами, фиглярами, съ скитающимися изъ монастыря въ монастырь нищими и странниками, съ фабричнымъ и рабочимъ людомъ въ разныхъ углахъ Россіи. Эти столкновенія дали-бы имъ еще сотни и сотни новыхъ и яркихъ мотивовъ, но для этого нужно ходить и ходить по Россіи, что было почти невозможно именно для нихъ, нуждавшихся въ кускѣ хлѣба и немнѣвшихъ счастья жить среди такого общества, которое готово всегда помочь развитію таланта. Это общество готово бросить на подарки для какой-нибудь Жюдикъ десятокъ тысячъ, но оно никогда не дастъ средствъ писателю для развитія его таланта. Вы скажете, какая-нибудь Жюдикъ возьметъ брошенную къ ея ногамъ подачку, но честный писатель не приметъ милостыни. Полноте, не милостыня тутъ нужна, а умѣнье поддерживать даровитыхъ людей: вы можете всегда дать имъ выгодную работу, которую вы даете по

протекціи первому попавшемуся! шалопаю; вы всегда можете поддержать начинающаго даровитаго юношу, давъ ему возможность на известное время обезпечить себя, чтобы потомъ отдаться исключительно избраннымъ имъ занятіямъ. Если-бы Кольцову даны были во-время средства вырваться изъ семьи, онъ не умеръ-бы отъ преждевременной чахотки.

И какъ болѣзненно сознавали наши поэты-самоучки бѣдность содержанія своей поэзіи, недостатокъ мотивовъ! Кольцовъ все стремился написать, кажется, либретто для оперы. Никитинъ началъ писать обличительныя и гражданскія стихотворенія, г. Суриковъ берется за пѣсни о Садко, и, конечно, всѣ трое не могли-бы быть искренними при созданіи либретто, при изложеніи гражданской скорби, при воспроизведеніи давно забытой легенды. Но что-же дѣлать, если они понимали, какъ узка отведенная имъ судьбою область для поэтическихъ произведеній, и если они не знали, какъ выйти изъ этой области? Вотъ выходъ-то изъ этой области и составляетъ главный вопросъ о будущности г. Сурикова. Его поэтическое дарованіе несомнѣнно, онъ овладѣлъ въ известной степени формою стиховъ, — ему остается только расширить кругъ своихъ наблюденій, вырваться изъ того узенькаго мірка, въ которомъ онъ долженъ вращаться теперь, и тогда его произведенія займутъ довольно видное мѣсто въ литературѣ. Но удастся-ли ему хотя на время, хотя періодически вырываться вонъ изъ-за своего прилавка? Да поможетъ ему въ томъ судьба, если не помогутъ люди...



Вопросъ о незаконнорожденныхъ. Сочиненіе А. И. Спб. 1875 г.

Положеніе незаконнорожденныхъ дѣтей въ современномъ обществѣ является однимъ изъ тысячи большихъ мѣстъ общественной жизни. Незаконнорожденные, ни въ чемъ неповинныя дѣти, по большей части, несутъ тяжелое наказаніе за проступки своихъ отцовъ и матерей. Вслѣдствіе этого каждое произведеніе, стремящееся указать на темныя стороны этого вопроса, заслуживаетъ уваженія уже по самой сущности своего содержанія. У насъ-же подобныя произведенія тѣмъ важнѣе, что наши постановленія относительно незаконнорожденныхъ дѣтей существуютъ только *de jure*, и то не для всѣхъ классовъ общества, *de facto*-же они нерѣдко обходятся. «Какъ извѣстно, го-

ворить авторъ разбираемой нами брошюры, — по нашему законодательству усыновленіе незаконнорожденныхъ дѣтей для классовъ народа непривилегированныхъ очень легко и просто, для классовъ-же привилегированныхъ — вовсе невозможно. Высочайшимъ указомъ, объявленнымъ статсъ-секретарю у принятія прошеній 29 іюля 1828 года, всѣ приносимыя его императорскому величеству прошенія объ узаконеніи незаконнорожденныхъ дѣтей или воспитанниковъ, а также о сопричтеніи къ законнымъ дѣтямъ рожденныхъ до брака съ настоящею женою, повелѣно — не внося въ комисію прошеній, оставлять безъ движенія». Этотъ указъ, вызванный разными государственными соображеніями, касался собственно привилегированныхъ сословій, остальные-же сословія могли по-прежнему усыновлять разныхъ подкидышей, приемышей и воспитанниковъ, а значитъ *de facto* и своихъ собственныхъ незаконнорожденныхъ дѣтей. Такимъ образомъ, возникла двойственность отношеній къ тѣмъ или другимъ незаконнорожденнымъ дѣтямъ. Но этого мало: законъ о невозможности усыновлять незаконнорожденныхъ дѣтей въ привилегированномъ сословіи обходится постоянно, такъ-какъ многія незаконнорожденные дѣти усыновляются, по просьбѣ родителей, съ высочайшаго соизволенія. Это ясно указываетъ на то, что наше общество придетъ когда-нибудь къ другому юридическому отношенію къ незаконнорожденнымъ дѣтямъ. Это тѣмъ вѣроятнѣе, что въ большей части другихъ странъ, опередившихъ насъ въ дѣлѣ цивилизаціи, участь этихъ дѣтей уже значительно улучшена.

Авторъ брошюры указываетъ, какъ послѣдовательно развивался вопросъ о незаконнорожденныхъ въ древнемъ Римѣ, въ Греціи, во Франціи, въ Германіи, въ Швеціи, у мусульманъ и, наконецъ, у насъ. Въ самыхъ счастливыхъ условіяхъ стояли незаконнорожденные дѣти у евреевъ и спартанцевъ. «Всѣ дѣти еврея, прижитыя имъ какъ отъ жены, такъ и отъ наложницы, считались равноправными членами семьи и наследовали своимъ родителямъ. Даже побочныя дѣти евреевъ, происшедшія отъ кратковременной связи, законными женами евреевъ считались какъ-бы своими кровными дѣтьми и нередко воспитывались вмѣстѣ съ этими послѣдними. По объясненіямъ талмуда, всѣ незаконнорожденные, даже дѣти отъ публичной женщины, если только они признаны отцомъ, имѣютъ право ему наследовать». Этотъ широкій взглядъ на незаконнорожденныхъ находится у евреевъ въ связи съ ихъ взглядомъ на бракъ и съ стремленіемъ къ размноженію. Евремъ въ древнія времена прежде всего и болѣе

всего заботились о томъ, чтобы ихъ племя размножилось, «какъ песокъ морской». Они не забывали, что въ библіи упоминаются слова, обращенныя къ Адаму и Евѣ: «плодитесь и множитесь»—это изрѣченіе было для нихъ, такъ-сказать, одиннадцатою заповѣдью. Благословеніе Божіе измѣрялось ими количествомъ дѣтей. Вслѣдствіе этого они дали очень много свободы относительно заключенія брачныхъ союзовъ: въ видахъ размноженія своего племени, они имѣли по нѣскольку женъ, а съ появленіемъ рабства брали и наложницъ, и всѣ дѣти, прижитыя въ этихъ союзахъ, считались законными, такъ-какъ главная цѣль евреевъ при заключеніи брачныхъ и тому подобныхъ связей состояла въ приживаніи возможно большаго числа дѣтей, а не въ томъ, чтобы тѣмъ или другимъ способомъ соединенія съ женщиной дать тѣ или другія права дѣтямъ. Такъ брачныя обряды, совершаемыя при соединеніи съ главной женою, дѣлались гораздо менѣе сложными при взятіи въ домъ наложницы или второстепенной жены и, конечно, не существовали вовсе при кратковременной связи съ какой-нибудь женщиной легкаго поведенія, но тѣмъ не менѣе дѣти отъ всѣхъ этихъ союзовъ могли пользоваться одинаковыми правами. По той-же причинѣ у мусульманъ понятіе о законнорожденности гораздо шире, чѣмъ у другихъ народовъ, и положеніе незаконнорожденныхъ гораздо лучше. Совсѣмъ другія причины вызвали въ Спартѣ полную равноправность всѣхъ дѣтей вообще. «Въ Спартѣ, говоритъ авторъ разбираемой брошюры,—были установлены самыя своеобразныя отношенія членовъ семьи между собой. Женщина, напримѣръ, не принадлежала одному своему мужу, но всякому, кому она только нравилась. Ревность считалась недостойною спартаца. Поэтому мужъ воспитывалъ всѣхъ дѣтей, рожденныхъ ему женою, на равныхъ правахъ, какъ своихъ собственныхъ. Это было тѣмъ легче сдѣлать, что сама республика заботилась о воспитаніи дѣтей на общественный счетъ. Не было въ Спартѣ понятія о нарушеніи супружеской вѣрности, а потому не было и дѣленія дѣтей на законныхъ и незаконныхъ. Всѣ дѣти одинаково принадлежали не родителямъ, а государству». Дѣйствительно, разъ признавъ тотъ принципъ, что граждане принадлежать не своей семьѣ, а обществу, государству, спартацы не могли допустить дѣленія дѣтей на законныхъ и незаконнорожденныхъ. Такимъ образомъ, такія явленія, какъ стремленіе евреевъ плодиться и множиться для укрѣпленія своего племени и какъ взглядъ спартацевъ на каждого гражданина прежде всего какъ на члена государства, а не члена отдѣльной семьи, были главными причинами того, что понятіе о законнорожденныхъ у этихъ

народовъ было очень эластично, очень широко. Эти причины были несложны. Гораздо болѣе сложными являются мотивы, по которымъ дѣти признавались незаконнорожденными. Такъ въ Афинахъ незаконнорожденнымъ считался ребенокъ, родившійся отъ родителей, одинъ изъ которыхъ былъ не афинскимъ гражданиномъ, т. е. соблюдение брачныхъ обрядовъ отходило на второй планъ, а на первомъ было гражданское право мужа и жены. Въ Римѣ раздѣленіе общества на плебеевъ и патриціевъ было главною причиною множества незаконнорожденныхъ дѣтей, которыя лишались различныхъ правъ, выпадавшихъ на долю законнорожденныхъ дѣтей. При введеніи христіанства званіе и имущественныя права родителей не играютъ почти никакой роли въ дѣлѣ признанія дѣтей законнорожденными или незаконнорожденными, но на первый планъ выступаетъ обрядъ церковный, безъ котораго не можетъ родиться законнорожденный. Но сословныя различія все-таки одержали верхъ и сдѣлали то, что во многихъ случаяхъ и при церковномъ обрядѣ вѣнчанія дѣти являлись хотя и законными, но не полноправными, какъ, напримѣръ, дѣти отъ мorganатическихъ браковъ, т. е. отъ союза лица высшаго сословія съ лицомъ низшаго сословія. Самый обрядъ вѣнчанія можетъ уничтожиться самъ собою, если, напримѣръ, обвѣнчуются люди, состоящіе въ близкомъ родствѣ, или если христіанинъ обвѣнчается съ нехристіанкою и наоборотъ, и въ такихъ случаяхъ дѣти могутъ явиться незаконнорожденными. Сотни такихъ мотивовъ расплодили такое количество незаконнорожденныхъ, что законодателямъ пришлось дѣлать разныя уступки и исключенія. Такъ въ Швеціи дитя, прижитое съ женихомъ или отъ такой женщины, на которой виновный въ ея беременности обвѣщалъ жениться, признается законнымъ; дѣти одного отца, помолвленнаго съ двумя женщинами, незнавшими о существовавшей уже помолвкѣ, тоже признаются законными; ребенокъ изнасилованной женщины тоже законный и т. д. Въ Австріи, гдѣ существуетъ безбрачное католическое духовенство и потому очень часто рождаются незаконныя дѣти отъ лицъ духовнаго званія, признають законными дѣтей, прижитыхъ отъ брака съ духовнымъ лицомъ, съ членомъ ордена, связанными обѣтомъ безбрачія, если родители ходатайствуютъ о снятіи съ такого брака налагаемаго закономъ запрещенія или если женщина не знала о существованіи препятствія къ такому браку. Въ Пруссіи ребенокъ, рожденный отъ невѣсты, признается законнымъ, если даже она и не выйдетъ замужъ, но если женихъ признаетъ его своимъ. Всѣ эти постановленія показываютъ, какъ случайны, какъ произ-

вольны, какъ нелогичны тѣ или другія основанія, которыми руководствуются при дѣленіи дѣтей на законнорожденныхъ и незаконнорожденныхъ: тотъ, кто въ Швеціи или Пруссіи былъ-бы законнорожденнымъ, въ Австріи, въ Англіи, во Франціи и у насъ былъ-бы незаконнорожденнымъ; тотъ, кто могъ-бы быть признанъ законнорожденнымъ въ Австріи, могъ-бы быть незаконнорожденнымъ въ Пруссіи, и т. д. А между тѣмъ участь незаконнорожденныхъ, зависящая отъ чисто-случайныхъ и шаткихъ соображеній и взглядовъ, является во многихъ случаяхъ очень печальною.

Но всего печальнѣе участь этихъ несчастныхъ у насъ, такъ-какъ этотъ вопросъ у насъ крайне неразработанъ, и мотивы, на основаніи которыхъ отягчается участь незаконнорожденныхъ, являются крайне-сложными и не истекаютъ изъ нашихъ коренныхъ нравовъ и обычаевъ, а были навѣяны различными иноземными вліяніями и истекали нерѣдко изъ временныхъ потребностей общества. То время, когда сынъ рабыни, князь Владиміръ, могъ наследовать отцу наравнѣ съ прочими дѣтьми, прошло давно. Впервые начали у насъ различать законныхъ и незаконныхъ дѣтей послѣ введенія христіанства. Христіанство, стремясь положить конецъ разнымъ языческимъ игрищамъ и соединеніямъ женщинъ и мужчинъ на этихъ игрищахъ, должно было высоко поднять обрядъ брака и признать законными только дѣтей, прижитыхъ въ этомъ бракѣ. Потомъ начались различныя другія вліянія, вслѣдствіе которыхъ число незаконнорожденныхъ все росло и росло. Теперь у насъ существуетъ много причинъ, по которымъ ребенокъ признается незаконнымъ. Ребенокъ изнасилованной дѣвушки, ребенокъ брошенной невѣсты, ребенокъ поженившихся близкихъ родственниковъ, ребенокъ поженившихся христіанина и нехристіанки или, наоборотъ, дѣти, прижитыя вообще внѣ брака, все это незаконнорожденные. Въ этомъ отношеніи у насъ нѣтъ никакихъ смягченій, какія существуютъ въ Швеціи, Пруссіи, Австріи. Но этого мало. Самая участь незаконнорожденныхъ у насъ тяжелѣе, чѣмъ гдѣ-нибудь: незаконнорожденные у насъ принадлежатъ къ податному сословію; обязательной опеки отъ правительства надъ незаконнорожденными, какая существуетъ почти во всѣхъ законодательствахъ Европы, у насъ нѣтъ вовсе; отъ отца незаконнорожденного ребенка не требуется средствъ на содержаніе и воспитаніе ребенка; незаконныя дѣти остаются во власти одной матери, но они не пользуются никакими правами на ея имущество, не получаютъ отъ нея наследства; въ сущности, воспитанниковъ изъ незаконнорожденныхъ

запрещается опредѣлять въ гражданскую службу съ присвоеніемъ права на полученіе классныхъ чиновъ, хотя-бы они получали воспитаніе даже въ гимназіяхъ, а съ 20 декабря 1837 года запрещено даже самое помѣщеніе незаконнорожденныхъ, находящихся въ вѣдѣніи Приказовъ, въ учебныя заведенія, дающія служебныя права, и т. д. Во Франціи незаконнорожденные имѣютъ всегда опекуновъ; признанныя незаконнорожденныя дѣти получаютъ тамъ извѣстную долю наслѣдства. Въ Пруссіи незаконнорожденный до 4 лѣтъ воспитывается матерью, на деньги, доставляемыя отцомъ; потомъ отецъ можетъ взять его къ себѣ съ разрѣшенія опекуна; за отсутствіемъ отца обязанность воспитать ребенка падаетъ на дѣда съ отцовской стороны; незаконнорожденный получаетъ часть наслѣдства отца. Въ Австріи надъ незаконнорожденнымъ бываетъ обязательная опека до 24 лѣтъ; «гражданская честь лица, по словамъ австрійскаго законодательства, не должна терпѣть никакого оскорбленія вслѣдствіе его внѣ-брачнаго происхожденія», и потому незаконнорожденный не удаляется ни отъ какихъ почетныхъ мѣстъ, гражданскихъ должностей и т. д.; содержаніе незаконнорожденного возлагается прежде всего на отца, потомъ на мать. Въ Швеціи воспитаніе незаконнорожденного лежитъ на обязанности отца, а потомъ матери; отецъ и мать должны оставить на случай своей смерти средства на воспитаніе такихъ дѣтей; если отецъ и мать незаконнорожденного умираютъ безъ наслѣдниковъ, то онъ получаетъ ихъ имущество. Въ Швейцаріи допускается судебный искъ противъ укрывающагося отца незаконнорожденного; его воспитаніе лежитъ на обязанности отца и матери. Въ большинствѣ штатовъ Америки незаконнорожденный наслѣдуетъ имѣніе матери. Ничего этого покуда нѣтъ у насъ, и это тѣмъ печальнѣе, что у насъ существуетъ больше шансовъ родиться незаконнорожденнымъ или сдѣлаться такимъ потомъ, когда будетъ доказана незаконность самаго брака родителей. Существуетъ у насъ этотъ порядокъ дѣлъ вслѣдствіе сбивчивости вопроса о незаконнорожденныхъ и невыработанности основныхъ принциповъ, на основаніи которыхъ слѣдуетъ смотрѣть на незаконнорожденныхъ такъ или иначе. Это тѣмъ прискорбнѣе, что, съ одной стороны, незаконныя дѣти, не имѣя никакихъ правъ требовать средствъ на воспитаніе отъ отцовъ и матерей, не имѣя опекуновъ, не имѣя доли въ наслѣдствѣ послѣ отцовъ и матерей, лишаясь многихъ гражданскихъ правъ, чаще всего дѣлаются жертвами невѣжества и нищеты; съ другой-же стороны, отцы и матери, понимая, что рожденіе незаконнаго ребенка не на-

вызываетъ имъ никакихъ тяжелыхъ обязанностей, легче смотреть на мимолетныя связи и обременяютъ государство множествомъ незаконнорожденныхъ, бросаемихъ въ воспитательные дома.

При такомъ положеніи дѣлъ на русской прессѣ лежитъ обязанность разработать этотъ вопросъ и указать темныя его стороны. Вслѣдствіе этого нельзя не отнестись сочувственно даже къ такимъ скромнымъ попыткамъ затронуть этотъ вопросъ, какъ брошюра, о которой мы говоримъ. Это сочиненіе является чистой компиляціей и основано, главнымъ образомъ, на трудѣ г-жи А. К. Владиміровой: «*Незаконнорожденныя дѣти, ихъ права и безправіе въ разныя времена и у разныхъ народовъ*», но, несмотря на свой компилятивный характеръ, брошюра г. А. И. прочтется не безъ пользы и, можетъ быть, заставитъ задуматься тѣхъ, которые полагаютъ, что положеніе незаконнорожденныхъ дѣтей у насъ нисколько не хуже, чѣмъ «на гниломъ Западѣ». Нѣтъ, у «гнилого Запада» намъ все-таки приходится учиться многому и многому.

По краю пропасти. Романъ въ четырехъ частяхъ, Ближнева.
Спб., 1875 г.

Въ романѣ г. Ближнева изображена борьба естественнаго человѣка съ рокомъ. Естественный человѣкъ является въ мірѣ съ своими непосредственными чувствами, стремленіями, потребностями, надеждами, желаніями, но противъ нихъ возстаетъ судьба въ видѣ общественаго мнѣнія, и естественный человѣкъ погибаетъ. Естественный человѣкъ романа—Зина.

Зина—сама жизнь; она еще пятнадцатилѣтній ребенокъ, но въ глазахъ ея уже ронтся цѣлый міръ кокетства, игривости и очаровательности. У Зины есть сестра Саша, а у Саши женихъ—Андрей Петровичъ Невѣровъ. Но вотъ какое-то безсознательное чувство къ лучшему, къ чему-то праздничному, свѣтлому, какъ-бы внезапно проснулось въ Зинѣ и ея «маленькое сердечко» забилось для нея чѣмъ-то невѣдомымъ, пріятнымъ. Этимъ невѣдомымъ манящимъ былъ Невѣровъ. Но и въ Невѣровѣ происходило тоже нѣчто особенное. Зина затронула въ немъ чувство интереса «и, быть можетъ, даже нѣчто болѣе». «Нѣчто болѣе» скоро выросло въ любовь и затѣмъ наступило общее бѣдствіе героевъ и героинь романа.

Зачѣмъ-же Невѣровъ женился на Сашѣ, когда онъ любитъ Зину?

Авторъ говоритъ, что въ этомъ виновата мать Невѣрова. Она страстно любила своего сына, но не была способна дать ему основательное воспитаніе, а еще меньше образовать его характеръ. И вотъ изъ воспитательной мастерской своей матери Невѣровъ вышелъ страстнымъ и впечатлительнымъ юношей, искалъ идеаловъ, разочаровывался въ нихъ, наконецъ сдѣлался суровъ и недобѣрчивъ къ жизни. Тогда Невѣровъ пересталъ вѣрить во все хорошее на землѣ и затосковалъ пустотой жизни. Неудовлетворенное чувство такъ сильно его мучило, что онъ, разуверившись и въ собственныхъ мысляхъ, рѣшилъ выйти въ отставку и жениться.

Въ Сашѣ ему нравилось то, что она бѣгала съ ключами по амбарамъ и кладовымъ, записывала приходъ и расходъ, варила варенье и выдавала провизію повару. Посватавшись къ Сашѣ, Невѣровъ въ то-же время влюбился и въ Зину, а такъ-какъ отъ этого противорѣчія въ его душѣ произошла путаница, то для успокоенія себя онъ придумалъ весьма своеобразную формулу дуалистическаго идеализма. «Никогда, никогда я не женился-бы на той, которую люблю, исповѣдывался Невѣровъ передъ Зиной.—Бракъ, что такое бракъ? Это просто комерческая сдѣлка, необходимая въ нашемъ быту при настоящихъ условіяхъ нашей жизни. Безъ жены нельзя намъ имѣть ни порядка, ни комфорта, ни семейнаго круга, ни общества. Я не люблю Сашу, и потому, что ее не люблю, я нахожу ее достойной той незавидной роли, которая выпадаетъ на долю нашихъ законныхъ женъ и хозяекъ, обрѣченныхъ только вращаться въ дѣтской и въ кухнѣ. Но женщину, которую любишь, подвергнуть этой пошлости—никогда!»

Женившись по этой теоріи, Невѣровъ страстно накинулся на Зину, потащилъ ее «по краю пропасти» и кончилъ тѣмъ, что столкнулъ ее на самое дно, туда, откуда «нѣтъ возврата»; въ этомъ и заключается весь драматизмъ положенія Зины и Невѣрова. Составные элементы этого драматизма—мать Зины, полагающая, что вся задача жизни въ томъ, чтобы дѣвушка вышла замужъ; двѣ дочери этой умной маменьки—Саша и Надя, вполне проникнувшіяся принципами своей маменьки; Невѣровъ, желающій идти сразу двумя дорогами, и, наконецъ, общество, карающее дурное поведеніе.

Хотя всѣ симпатіи автора и на сторонѣ Зины, которую онъ обращаетъ въ жертву искупленія, но въ сущности Невѣровъ представляетъ гораздо большій интересъ для драмы, чѣмъ Зина, если-бы авторъ умѣлъ отнестись къ нему какъ къ психологическому продукту. Зина, собственно, естественный человѣкъ, которому хочется толь-

ко пристроить свои личныя силы къ любви, и дальше любви она ничего не видитъ. Когда она полюбила Невѣрова и когда оказалось невозможнымъ скрыть послѣдствія, она принимаетъ мышьякъ. Авторъ по этому случаю морализируетъ такимъ образомъ: «Зачѣмъ-же такъ обильно и роскошно упали все дары участія на ея неподвижно лежащую голову? Зачѣмъ лишенная при жизни того, безъ чего она не могла дышать, что было причиною ея преждевременной смерти—любви и сочувствія своихъ ближнихъ,—зачѣмъ-же теперь все это такъ роскошно и радостно лило свои лучи на ея смертный одръ?.. О, какъ все хороши ко мнѣ, взывала Зина;—я хочу, хочу жить! Сдѣлайте, чтобы я жила!» Мы не отрицаемъ, что положеніе Зины трудное и возбуждающее сочувствіе, но особеннаго драматизма мы въ немъ не видимъ. Шла она «по краю пропасти» съ такимъ руководителемъ, какъ двоящійся Невѣровъ, и, конечно, должна была свалиться въ пропасть кувыркою. Но зачѣмъ-же принимать мышьякъ? Вѣдь Зина была согласна жить съ Невѣровымъ и хотѣла уѣхать съ нимъ въ Москву. Почему-же она не уѣхала, зачѣмъ она осталась у матери, точно нарочно поджидая ту минуту, когда ей невозможно будетъ уже скрыть свое положеніе? Зина была смѣла, отважна, рѣшительна и мысль ея вовсе не двоилась; она нашла то, чего искала, почему-же ее оставило мужество въ послѣднюю минуту? Но Невѣровъ—иной человѣкъ. Это человѣкъ положительно испорченный двойственнымъ воспитаніемъ, это неустановившійся идеалистъ, человѣкъ, который считаетъ все счастье жизни въ любви, и разрывающійся между суровымъ фактомъ жизни и мечтой. Съ неудержимой отвагой Невѣровъ проповѣдуетъ самый безбожный эгоизмъ и лишентъ всякаго понятія высшаго нравственнаго порядка. Невѣровъ—не герой; но и при всей своей мизерности, онъ, какъ русскій типъ, представляетъ гораздо больше психологическаго интереса, чѣмъ сырая, непосредственная, кисейная барышня—Зина. А между тѣмъ авторъ, отдавшій свои симпатіи Зинѣ, вѣроятно потому, что она женщина, обогелъ Невѣрова, хотя онъ, какъ продуктъ двойственности, какъ почка, выросшая на новой русской почвѣ, могъ-бы служить прекраснымъ матеріаломъ для болѣе глубокаго и всесторонняго анализа непоследовательности двойнаго мышленія.

И никакого анализа не даетъ авторъ, и не только онъ не даетъ его, но еще и вводитъ въ недоумѣніе относительно того, что онъ хотѣлъ сказать своимъ романомъ. Авторъ, нѣсколько въ иной формѣ, повторилъ исторію «Обрыва», давъ вмѣсто косматаго и энергич-

наго Волохова болѣе пристойнаго, но за то и болѣе незаконченнаго и непоследовательнаго Невѣрова. Поэтому - то мы и не совѣмъ понимаемъ сентиментальное заключеніе романа. Да развѣ въ этомъ вопросѣ? Развѣ изъ путаницы понятій могло получиться что-нибудь другое, кромѣ путаницы? Какой-же общій выводъ и что хотѣлъ сказать авторъ? Что нужно выходить замужъ или что невозможно единичное счастье, или что счастію единиць мѣшаетъ общество, или, наконецъ, что только въ любви и счастіи? Мы думаемъ, что авторъ просто запутался въ мысляхъ и не совѣмъ ясно опредѣлялъ свою задачу, иначе она была-бы ясна и въ изложеніи. Конечно, могли-бы выручить талантъ и теплота. Но вмѣсто таланта и теплоты чувствуется во всемъ изложеніи разсудочное движеніе мысли, точно авторъ писалъ свой романъ больше головой, чѣмъ сердцемъ. Потому, что у него не достало сердца, у него не явился и анализъ. Всѣ его герои являются движущимися маріонетками, нарисованными очень не искусно, а за ними вы видите сидящаго на корточкахъ автора, читающаго по тетрадкѣ, чтб каждая фигура должна говорить по своей роли.

Конечно, по поводу романа г. Ближнева можно-бы наговорить очень многое объ обществѣ, въ которомъ повторяются сотни лѣтъ одни и тѣ-же явленія, и ни маменьки, ни дочки, ни женихи, ни приживалки, ни кумушки, никто, никто и никто не становятся ни на волосъ умнѣе. Общество, описанное въ романѣ «По краю пропасти», то-же, что было за десятки лѣтъ назадъ; оно точно не сдѣлало ни шагу впередъ; маменьки—все тѣ-же ограниченныя маменьки, неумѣющія дать воспитанія своимъ сыновьямъ и поучающія своихъ дочерей ловить жениховъ. Дочки—все тѣ-же добродушныя дочки, исполняющія завѣтъ своихъ маменекъ и ловящія жениховъ, а мужчины—все тѣ-же мужья и любовники. Передъ нами проходитъ что-то геологическое, давно-давно извѣстное и миліоны разъ повторяющееся. Но вотъ среди напластованія пещерныхъ мыслей и понятій бронзоваго вѣка авторъ сажаетъ розу и увѣряетъ, что это новая сила, новая жизнь, новый идеаль. Философія новаго идеала, принципы жизни очень просты и немногосложны. Зина говоритъ, что если замужемъ будетъ житье не лучше, чѣмъ дома, то и выходить не стоитъ. Дальше этого философія Зины не идетъ; а Невѣровъ еще больше сбиваетъ ее съ толку. Невѣровъ съ предупредительностію предлагаетъ Зинѣ свою любовь и устраниваетъ всю ея жизнь изъ однихъ ласкъ, подблудувъ и объятій. Затѣмъ получается чепуха, романъ кончается и на геоло-

гической почвѣ, заключающей въ себѣ старый вздоръ, народился новый геологическій слой, заключающій въ себѣ новый вздоръ. Можно крѣпко сомнѣваться, чтобы безсодержательность идеи романа могла выкупаться даровитостію автора. «Обрывъ» очень даровитый романъ, и даровитость все-таки не выкупила безсодержательности авторской мысли. Но, можетъ быть, вся она въ заглавіи, можетъ быть, г. Ближневъ хотѣлъ сказать, что заниматься только любовью—значитъ идти по краю пропасти?

Впрочемъ, несмотря на отсутствіе тенденціи и даровитости, романъ г. Ближнева представляетъ интересъ въ томъ отношеніи, что даетъ картину современнаго провинціального общества, на-столько безнадёжнаго и твердаго въ понятіяхъ дореформаціоннаго періода, что приходится недоумѣвать, какимъ образомъ являются у насъ иллюзіи критическаго оптимизма, выдающаго въ подобныхъ элементахъ зачатки прогрессивности. Геологическій слой, составляющій основу романа, не имѣетъ и не обѣщаетъ никакого будущаго, а цвѣты, выросшіе на немъ, какъ Зина и Невѣровъ, заставляютъ жалѣть лишь о томъ, что авторъ не посоветовалъ Невѣрову поступить такъ-же, какъ героиня. Романъ г. Ближнева производитъ тяжелое впечатлѣніе, когда смотришь на него какъ на картину современнаго общества, потому что не видать въ немъ ничего, кромѣ безнадежной духоты, не видать ни малѣйшей искры какой-нибудь свѣтлой, правильной идеи и вѣрнаго отношенія къ вопросу даже о личномъ счастьи. Если г. Ближневъ хотѣлъ сказать именно это—онъ это и сказалъ; а если не это, то что именно онъ хотѣлъ сказать? Мы не понимаемъ.

Внѣ общественныхъ интересовъ. Романъ П. Лѣтнева, Спб., 1874 г.

Что не было договорено въ романѣ г. Ближнева, какъ-будто-бы хотеть досказать г. Лѣтневъ. У перваго мы видѣли предостереженіе, какъ опасно ходить «по краю пропасти» молодымъ дѣвушкамъ, а въ «Внѣ общественныхъ интересовъ» указывается, что одиночное счастье и любовь, если-бы они уносили человѣка даже и выше седьмого неба, никогда не въ состояніи удовлетворить его; для полной жизни нужно нѣчто большее.

И въ этомъ романѣ мы имѣемъ дѣло съ цѣлымъ рядомъ безнадежности и съ геологическимъ слоемъ, хотя и менѣе допотопнымъ,

тѣмъ мать Зины и ея кумушки и приживалки, но, можетъ быть, еще болѣе пустынь, несмотря на свою вѣшнюю порядочность. Г. Лѣтневъ даетъ цѣлую массу блестящихъ, пустыхъ и безнадежныхъ типовъ, составляющихъ баластъ и сообщающихъ очень печальную устойчивость обществу, если отъ нихъ зависить руководящее мнѣніе. Но какъ руководящее мнѣніе зависать именно отъ нихъ, то каждому свѣжему, порывающемуся человѣку остается только дохнуть въ этой духотѣ и безнадежно опустить руки. Мы не станемъ вдаваться въ душевныя подробности всѣхъ этихъ Еленъ, Надинъ, Варенекъ, Вѣрочекъ, Эрастовъ и другихъ составныхъ частей новаго геологическаго слоя, составляющихъ, по проекту автора, жизненную духоту, въ которой должны задыхаться свѣжія силы, и прямо начнемъ съ того новаго человѣка, изъ котораго г. Лѣтневъ желаетъ сдѣлать руководящій свѣточъ и свѣжую порывающуюся силу, прокладывающую новый путь. Свѣточъ называется Софьей.

Софья росла робкой, нѣжной, впечатлительной дѣвушкой, и сознание всеобщаго неодобренія и пренебреженія къ ея наружности связывало ея движенія и придавало лицу жалкое и непривлекательное выраженіе. Софью взяла къ себѣ въ домъ Марфа Петровна Сазонова, единственная родственница ея матери, и довольно добросовѣстно заботилась о ея воспитаніи. Съ Софьей часто занимался сынъ Марфы Петровны—Эрастъ и заботился о выборѣ для нея учителей и книгъ. Не видя людей, Софья привязалась къ Эрасту страстно, съ дѣтскою привязанностію. Онъ ей казался умнѣе, добрѣе, красивѣе всѣхъ, и когда въ одинъ прекрасный день ей объявили, что ея идеалъ намѣренъ жениться на ней, это показалось ей волшебнымъ сномъ. Она сходила съ ума, не вѣрила, боялась, считала себя недостойной и въ концѣ концовъ невѣроятно счастливой. А между тѣмъ Сазоновъ находился въ очень близкихъ отношеніяхъ къ нѣкоей Еленѣ Павловнѣ, вовсе не думалъ ихъ прекращать и женитьбой надѣялся поправить свое состояніе. Впрочемъ, невѣденіе Софьи длилось недолго. Скоро въ ея душу закралось безпокойство, недоумѣнія, сомнѣнія. Софья увидѣла, наконецъ, что она исключена изъ пира жизни, что мужъ ея не любитъ и что ея любовь и радость смѣшны въ его глазахъ. Потомъ она поняла также, что вся обстановка ея существованія зависить отъ прихоти Елены Павловны, и, смотря по тому, чего потребуетъ эта женщина, мужъ ея будетъ съ ней грубъ, деспотиченъ, жестокъ, или, пожалуй, и ласковъ. Въ восемь мѣсяцевъ Софья пережила всѣ фазы отчаянія, возмущенія, тоски, грусти, апати-

ческаго равнодушія, и передумала такъ много, что иногда ей казалось, что ея мозгъ не выдержитъ этого напора мыслей. И мозгъ, точно, не выдержалъ. У Софьи открылась нервическая горячка, а послѣ нея наступило выздоровленіе физическое и нравственное. Изъ худенькой дурняшки Софья превратилась въ красавицу, лицо ея приняло спокойное выраженіе, синіе глаза стали смотрѣть какъ-то загадочно, сосредоточено, точно у Софьи явился свой собственный міръ и она прислушивалась къ какой-то новой, невѣдомой жизни. Вмѣстѣ съ этимъ въ Софьѣ явилась небывалая прежде энергія и она почувствовала себя цѣлою головою выше своего мужа. О нравственномъ перерожденіи Софьи авторъ говоритъ такъ: «Когда Софья поняла, что Сазоновъ женился на ней не любя, когда она выздоровѣла отъ опасной болѣзни, всѣ силы своей души она употребила на то, чтобы забыть прошлое, чтобы создать себѣ новую жизнь и новые интересы. Инстинктивно вся природа ея просила свѣта, простора и радости. Въ ней бродила молодая жажда дѣятельности, знаній, поклоненій какому-нибудь идеалу. Съ юношескимъ жаромъ она стремилась быть полезной, посвятить себя какому-нибудь дѣлу, которое бы наполнило всю жизнь ея, жадно читала книги, изучала по учебникамъ иностранные языки, въ смутной надеждѣ, что они на что-нибудь пригодятся. Все это смутно и неясно носилось въ ея молодой головѣ и ждало только внѣшняго толчка, чтобы принять опредѣленную форму». Итакъ, мы имѣемъ дѣло какъ-бы съ послѣдующей формой Зины, точно ея неудовлетворенная душа переселилась въ тѣло Софьи, чтобы продолжать свое развитіе. Зина тоже не знала, чего она хочетъ. Ей тоже нуженъ былъ свѣтъ и счастье и она думала найти ихъ въ любви; но не нашла, потому что поперегъ встало карающее общественное мнѣніе. Какъ ни любила Зина, но послѣдствія, которыя ее ждали, несли въ себѣ, должно быть, больше несчастія, чѣмъ заключалось въ любви счастья, и любовь не удовлетворила ее. Переселившись въ Софью, душа Зины начала снова съ любви, но нѣсколько въ иной формѣ и съ другими осложнениями. Любовь была дозволенная, покровительствуемая общественнымъ мнѣніемъ, любовь законная, но любовь, дожившая до конца. Новое осложненіе, которое явилось, заключалось въ правѣ мужа.

Г. Лѣтневъ ставитъ весьма серьезный вопросъ, и жаль, что разрѣшеніе его не встрѣтило у него той талантливости и психологическихъ подробностей, въ которыхъ собственно и заключается интересъ вопроса. Рѣчь о правѣ мужа. Сазоновъ, увидѣвъ возрожденіе

своей жены, влюбился въ нее, и вотъ тотъ роковой моментъ, драматизмъ котораго требовалъ-бы большей тонкости психологическаго анализа, чѣмъ какую мы находимъ у г. Лѣтнева. Разъ Софья возвращалась съ Сазоновымъ отъ Елены Павловны. Дорога въ одномъ мѣстѣ шла косогоромъ и дрожки наклонились, такъ что Сазоновъ быстро обхватилъ талю Софьи, боясь, чтобы она не упала. Опасность миновалась, но рука Сазонова не опустилась, и Софья все чувствовала себя обхваченною его крѣпкимъ объятіемъ. Ей стало неловко и она хотѣла освободиться, но тогда мужъ еще крѣпче, еще настойчивѣе прижалъ ее къ себѣ... Софья вспыхнула и съ жестомъ дѣвственной гордости и негодованія посмотрѣла въ лицо Сазонова, какъ-будто приказывая ему ее выпустить. Онъ встрѣтилъ и выдержалъ ея взглядъ и въ выраженіи его лица она вдругъ прочла нѣчто такое, что заставило ее содрогнуться и лишило всякаго мужества. Она поняла, что онъ въ своемъ правѣ и что она не можетъ, не смѣетъ оттолкнуть его, какъ оттолкнула-бы всякаго другого. Она поняла, что ея преслѣдуетъ сила грозная, неумолимая, облеченная во всеоружіе законной власти,—супружеская любовь; не простая мужская страсть, которую всякая женщина властна принять или отвергнуть, но священное право супруга, отъ котораго некуда идти, нечѣмъ защищаться. Что дѣлать? Софья видѣла, что ждать дальше нельзя, и задумала кончить рѣшительнымъ объясненіемъ съ мужемъ; но это не такъ легко. Конечно, есть характеры, которые очень просто и легко наносятъ удары, не придавая особенной цѣны нравственнымъ страданіямъ. Но Софья была изъ тѣхъ тонко чувствующихъ натуръ, у которыхъ не такъ легко поднимается рука. А между тѣмъ какой-нибудь конецъ былъ необходимъ. Послѣ трудной внутренней борьбы Софья, наконецъ, сдѣлавъ усиліе, рѣшилась говорить съ мужемъ прямо. Она просила его выслушать себя во имя любви, въ которой онъ увѣрялъ, и Сазоновъ, почувствовавъ по тону ея голоса что-то такое, отчего у него по спинѣ пробѣжали мурашки, отвѣтилъ: «Помни, что твоя будущность неразрывно связана съ моею». Софья на это отвѣтила, что хочетъ жить одна. Сазоновъ бросился къ ней, обхватилъ ее и прижалъ къ груди съ такой силой, что могъ-бы, казалось, сломить и уничтожить ее. Это объятіе сказало ей краснорѣчивѣе всякихъ словъ, что мужъ ея скорѣе расстанется съ жизнью, чѣмъ съ нею. Ясно, что между мужемъ и женою завязывалась борьба. Софья объявила, что уйдетъ, а мужъ отвѣтилъ: «Не уйдешь. Уйти некуда. Я вездѣ найду. Терять мнѣ нечего».

По обыкновенному способу разсужденія, конечно, можно отнестись порицательно къ Сазонову и спросить, чего хотѣлъ онъ достигнуть силою? Но здѣсь вопросъ не въ этомъ; вопросъ въ томъ, что у мужа есть право, что онъ можетъ имъ пользоваться; какой-же выходъ для противной стороны, у которой есть одно только право—повиноваться? Г. Лѣтневъ ставитъ этотъ вопросъ не совсѣмъ такъ. Къ юридической сущности онъ присоединяетъ еще сущность психологическую, превращая Сазонова въ влюбленнаго мужа. Зачѣмъ это? Авторъ прибавилъ только себѣ трудности, съ которыми не справился. Обоюдное мученичество изображено у автора не на-столько подробно и глубоко, чтобы невыносимость положенія мужа и жены была-бы читателю понятна и ясна. Эффектъ пропалъ и вмѣсто задушевнаго вышло что-то головное. Но, съ другой стороны, можетъ быть, вслѣдствіе нехудожественности изложенія, авторъ всталъ ближе къ правдѣ жизни. У него на сценѣ все очень обыкновенные люди, тѣ сѣренькія личности, которыхъ вы встрѣчаете на каждомъ шагу. Передъ вами будничная жизнь очень ограниченнаго общества, которое не поражаетъ васъ ни выдающимися мыслями, ни выдающимися чувствами. Эта-то обыденность и придаетъ нѣкоторый жизненный характеръ всему дѣйствию романа, потому что вы видите ту повседневность и тѣхъ среднихъ людей, которыми вы окружены повсюду. Можно-бы, пожалуй, сказать, что у автора недостало задушевности и теплоты, недостало того, что называется талантомъ, чтобы заставить читателя полнѣе почувствовать горести и радости героевъ романа. Но тогда они были-бы не тѣми людьми, которые васъ окружаютъ въ дѣйствительности. Не превратился-ли бы тогда романъ въ художественный идеализмъ, дающій не то, что есть? Вотъ почему мы не станемъ дѣлать автору упрека въ нехудожественности, а возьмемъ его героевъ какъ массу собирательной посредственности, живущей обычаемъ, привычкой, не задаваясь никакими особенными вопросами и не мучая себя никакими нравственными требованіями и стремленіями.

Даже и прогрессивные герои романа тоже какія-то безличности, какіе-то порывы безъ силы и законченности. Такъ Гаевскій, ставшій поперегъ дороги Софьи, является проповѣдникомъ какой-то Нирваны. Ему кажется, что ранняя смерть есть единственный исходъ, потому что въ концѣ концовъ все надежды гибнуть, цѣли оказываются не состоятельными, усилія безплодными, и потому образованный чловѣкъ, какъ только сознаетъ бесполезность своей дѣятельности, долженъ умереть тотчасъ, чтобы избѣжать агоніи и медленной нрав-

ственной смерти. Этотъ человекъ, проповѣдывавшій подобныя вещи, въ сущности хотѣлъ того-же, чего искала Зина: ему нужна была любовь. Онъ гнался только за личнымъ счастьемъ и только въ немъ одномъ видѣлъ выходъ своимъ силамъ. Послѣ разныхъ запутанностей и усложненій авторъ заставляетъ Гаевского сдѣлать Софью страстное объясненіе. И вотъ отвѣтъ, который она прислала ему на другой день: „Другъ мой, я васъ оставляю. Зачѣмъ? спросите вы... Я скажу вамъ всю правду; но мнѣ хотѣлось-бы сказать такъ нѣжно и мягко, чтобъ вы не почувствовали ни боли, ни горечи. Я уйду за тѣмъ, что той любви, которая была стимуломъ всѣхъ моихъ поступковъ, больше нѣтъ во мнѣ; мое сердце умерло, отболѣло для личнаго счастья. Я отдала этому счастью слишкомъ много; я поставила его цѣлью жизни—и изнемогла въ напрасномъ усиліи приблизиться чрезъ него къ идеалу. Если-бъ я могла любить васъ такъ, какъ въ началѣ, какъ любятъ правду, свѣтъ, солнце,—я бы осталась и согласилась растоптать ногами другую жизнь. Но миражъ разсѣялся; я увидала, что на темномъ и узкомъ пути эгоизма, по которому мы съ вами шли, мы скоро утратили-бы и любовь къ добру, и нравственныя силы, и всѣ хорошія стремленія. Личное счастье заслоняетъ отъ насъ горизонтъ; есть другая арена, болѣе широкая, другая дѣятельность, болѣе благотворная... Какая? Я сама не знаю; но я вѣрю, чувствую, что она есть, и не успокоюсь до тѣхъ поръ, пока не найду ее... Прощайте-же, Борисъ, помните обо мнѣ, пока будетъ помниться; помните, что я любила васъ, какъ любятъ мечту о счастьѣ. Послѣ тѣхъ блаженныхъ, сладкихъ минутъ, которыми я вамъ обязана, всякая человѣческая любовь покажется мнѣ блѣдною и вялою; никто не замѣнитъ мнѣ васъ никогда“.

Послѣ этого, какъ говоритъ авторъ, Софья какъ-будто-бы почувствовала въ себѣ какую-то невѣдомую силу и бодрость. Она вышла изъ дома цѣлкою, съ сакъ-воижемъ въ рукѣ. На дворѣ оттепель—весенняя, мартовская оттепель. Близкое приближеніе весны чувствовалось въ воздухѣ; вѣтви деревъ какъ-будто-бы надувались еще невидимыми почками. И Софья съ неизъяснимою отрадой почувствовала, что и у нея на мѣстѣ старыхъ облетѣвшихъ цвѣтовъ зацвѣтаютъ въ душѣ новыя почки, новая жизнь, новыя надежды. Затѣмъ авторъ ставитъ нѣсколько точекъ и кончаетъ романъ.

Но отвѣтъ-ли это, полно?

Говорятъ, что французъ отъ нѣмца отличается тѣмъ, что нѣмецъ глубокъ, а французъ ясенъ. Въ этомъ случаѣ г. Лѣтневъ болѣе по-

ходить на нѣмца, чѣмъ на француза. Въ романѣ г. Ближнева мы видѣли, что жить для одной одиночной любви—значить идти по краю пропасти и гибнуть. Одиночная любовь, какъ это извѣстно изъ психологiи, не можетъ занимать всѣхъ требованiй души, потому что кромѣ семейнаго дѣла душѣ нужно еще и другое какое-то дѣло. Но какое? Г. Лѣтневъ въ своемъ романѣ „Видъ общественныхъ интересовъ“ пытается дать отвѣтъ на этотъ вопросъ. Софья одна изъ тѣхъ натуръ, которыя не могутъ, повидимому, удовлетвориться малымъ, и, попытавшись нѣсколько разъ жить однимъ чувствомъ любви, она пришла къ заключенiю, что это не больше, какъ узкiй путь эгоизма, на которомъ утратишь только всѣ свои нравственныя силы и хорошия стремленiя. И вотъ Софья беретъ свой сакъ-воажъ и уходитъ. И ей кажется, что въ ея душѣ зацвѣли новыя почки. Но куда-же вы идете, Софья Васильевна, какого вы ищете дѣла и какой идеализмъ васъ увлекаетъ на совершенно невѣдомый для васъ путь? Почему вы не можете соединить общее дѣло съ личнымъ, и почему рука объ руку съ Гаевскимъ вы встали на узкiй путь эгоизма? А теперь развѣ не эгоизмъ увлекаетъ васъ куда-то и развѣ это не одна изъ худшихъ формъ эгоизма, когда человѣкъ, пожираемый какою-то жаждою дѣятельности, уходитъ въ лѣсъ и степь, гдѣ онъ остается совершенно одинъ?

Г. Лѣтневъ, поставивъ въ концѣ нѣсколько точекъ и не выискивая никакой мысли, можетъ быть, думалъ возбудить этииъ болѣе высокое идеальное чувство въ читателѣ и толкнуть его на путь широкихъ желанiй и надеждъ, хотѣлъ заставить его почувствовать, что въ общественныхъ интересахъ нѣтъ полной жизни. Но въ такомъ случаѣ покажите, въ чемъ заключаются эти интересы. Что нашла Софья и что она начала дѣлать?

Въ томъ-то и дѣло, что г. Лѣтневъ, какъ и то общество, которое онъ рисуетъ въ своемъ романѣ, не въ состоянiи формулировать ясно стремленiй, которыя онъ какъ будто-бы хочетъ подсмотреть въ душѣ Зины, переродившейся въ Софью. Одиночная любовь оказывается неудовлетворяющей и новое стремленiе толкаетъ женщину на общественный интересъ. Но что такое общественный интересъ? Что значить служить обществу? Быть акушеркой—общественный интересъ? Быть докторомъ—общественный интересъ? Значить-ли служить обществу, служа въ телеграфѣ, въ банкѣ, занимаясь преподаванiемъ, или-же общественное служенiе начинать съ службы земству, по выборамъ дворянства или въ государственной службѣ?

Мы знаемъ, что ставить такъ вопросъ слишкомъ положительно, но развѣ можно его ставить иначе? Въ томъ видѣ, какъ трактуютъ вопросъ личнаго и общаго начала гг. Ближневъ и Лѣтневъ, мы можемъ придти только къ одному заключенію: что неясная, смутная мысль никогда не выражается ясно. Конечно, Зина не нашла счастья въ любви, не нашелъ въ ней счастья и Невѣровъ; но они не нашли только потому, что представляютъ собою какіе-то незаконченные, не-сформировавшіеся нравственные организмы. Совершенно такую-же незаконченностію отличаются и продолжающіе ихъ Софья и Гаевскій. Въ нихъ тоже нѣтъ никакого устоя, нѣтъ никакого вполне сложившагося мировоззрѣнія. Вы чувствуете какую-то переиначивость, какое-то искаженіе, какое-то перебрасываніе изъ стороны въ сторону—и только. Разумѣется, это неизбежный ростъ всякаго психологическаго, формирующагося организма. И каждый человѣкъ, прежде, чѣмъ онъ сложится, растетъ путемъ броженія, перестроекъ, выкидыванія. Если г. Лѣтневъ хотѣлъ дать картину этого перваго момента души, то онъ его далъ, хотя въ то-же время изобразилъ типъ очень дѣтскій, очень юный, а не типъ душевно взрослого человѣка. Если-бы мы вздумали обобщать мысли автора, то должны были-бы придти къ выводу, что русская жизнь и не даетъ другаго матеріала для русскаго романиста и что въ общемъ тонѣ ея стремленій выражается что-то очень юное, порывъ на какую-то дорогу, въ какое-то невѣдомое путешествіе съ маленькимъ сакъ-вожатемъ въ рукѣ; но куда идутъ путники—они и сами не знаютъ. Подобно Софьѣ, они вѣрятъ и чувствуютъ, что на свѣтѣ есть дѣятельность, широкая и благотворная. Идеализируя Софью и обобщая ее во всю Россію, мы-бы могли, конечно, наговорить многое о вѣчныхъ, никогда не умирающихъ стремленіяхъ человѣческой души къ чему-то прекрасному, высокому и общечеловѣческому. Но забираться въ такую туманную даль по поводу романовъ гг. Ближнева и Лѣтнева едва-ли возможно; поэтому будетъ вѣрнѣе смотрѣть на эти романы, какъ на простое констатированіе обыденнаго факта жизни обыденными писателями. Вотъ почему мы придаемъ романамъ гг. Ближнева и Лѣтнева известное значеніе и видимъ въ нихъ вопросъ довольно серьезный и требующій разрѣшенія. Софья не удовлетворяется личнымъ счастьемъ въ образѣ любимаго мужчины, ей не хочется семьи и она отправляется на путь общественнаго интереса холостой женщиной. Это очень хорошо и похвально! Но развѣ общее счастье возможно безъ личнаго и развѣ, по обыкновенному ходу жизни, не тогда являются у насъ

силы къ общему, когда выработались силы личныя? Въ томъ-то и бѣда, что и въ жизни, и въ романахъ мы постоянно наталкиваемся на людей незаконченныхъ, людей, отличающихся болѣе неопредѣленными стремленіями, чѣмъ точными желаніями, людей, которые только потому и сламываются или кончаютъ отступничествомъ, что принимаются за дѣло неготовыми. Развѣ бессильное лицо и незаконченный нравственный организмъ способенъ для какого-нибудь общественнаго служенія въ благородномъ и идеальномъ смыслѣ этого слова? Общая жизнь связана такъ-же тѣсно съ личнымъ ростомъ, какъ связаны корни дерева съ его вѣтвями. Мы думаемъ, что г. Лѣтневъ поступилъ весьма предусмотрительно, закончивъ свой романъ нѣсколькими точками. Если-бы ему пришлось довести жизнь Софьи до конца, то онъ-бы далъ намъ такой-же образецъ надломленности и упадка силъ, какой далъ г. Ближневъ въ Зинѣ. Наконецъ, мы радуемся, что у г. Лѣтнева нѣтъ выдающагося таланта. Известно, что неточныя мысли и чувства никогда не ведутъ къ точнымъ представленіямъ и понятіямъ; что-же вышло-бы, если-бы за неточность взялся талантъ? Ширь неопредѣленнаго чувства и толкающей впередъ прогрессивной мысли является дѣйствительно двигающей силой въ рукахъ гениальныхъ писателей. Обыденные-же писатели должны и писать обыденно и не задаваться идеализмомъ, который имъ рѣдко по силамъ.

Чужое преступленіе. Романъ въ трехъ частяхъ, Лѣтнева. Спб. 1875 г.

Въ романахъ г. Лѣтнева изображается всегда неясный, смутный порывъ къ чему-то и потребность жизни. На этотъ разъ кромѣ нѣсколькихъ женщинъ, которымъ болѣе или менѣе удалось найти свое мѣсто въ природѣ, является студентъ, а потомъ медикъ, Бѣляевъ, который этого мѣста не нашелъ и потому застрѣлился. Вся жизнь Бѣляева прошла въ какой-то путаницѣ любви, въ неудачномъ пристроеніи своего чувства, и когда вмѣсто женщины, которую онъ любилъ, но которая, какъ оказалось, любить другого, Бѣляевъ въ отчаяніи кинулся въ объятія женщины, которую не любить, у него опустились руки, а въ чувствахъ и мысляхъ явился туманъ. «Что такое жизнь? спрашивалъ себя Бѣляевъ, чувствуя неисконную путаницу, изъ которой вырваться у него не доставало силы. — Чего всѣ просятъ

„Дѣло“, № 8.

отъ жизни, чего всё ждуть? Все стремится куда-то, къ какой-то неизвѣстной цѣли. Первый законъ природы—самосохраненіе и размноженіе. Но для чего сохраняться? Зачѣмъ размножаться? И Бѣляевъ чувствовалъ, что и онъ куда-то стремится, чего-то жадно и томительно жагаетъ. Но напрасно онъ напрягалъ всё силы своего ума, чтобъ разгадать, какое это желаніе. Оно не облекалось ни въ какую форму, и онъ, утомленный этимъ исканіемъ, какъ борьбой съ привидѣніемъ, чувствовалъ только невыносимую тяжесть и пустоту въ головѣ. Его давила какая-то свинцовая неподвижность; это былъ духъ унынія, иначе сказать—атрофія душевныхъ силъ. Перебирая свою прошлую жизнь, Бѣляевъ не находилъ въ ней ни опредѣленной цѣли, ни живого интереса, ни борьбы, ни побѣды, ни добра, ни зла. Призраки прошлаго будто шептали ему: что ты сдѣлалъ изъ жизни?.. не лишній-ли ты? Бѣляевъ чувствовалъ, что подъ нимъ нѣтъ почвы, за которую могла-бы уцѣпиться жизнь, чтобы пустить крѣпкіе корни. «Мы выросли на отрицаніи, а однимъ отрицаніемъ жить нельзя, рассуждалъ Бѣляевъ.—Положимъ, что въ отрицаніи есть громадная сила, когда человекъ знаетъ вдоль и поперекъ то, что онъ отрицаетъ, когда онъ самъ жилъ среди тѣхъ началъ, которыя отвергаетъ. Тогда онъ ставитъ себѣ задачей достигнуть противоположныхъ началъ. Но когда отрицаніе не созидаетъ никакихъ новыхъ идеаловъ, когда дѣлается отрицаніе ради одного отрицанія и все покоится только на старыхъ традиціяхъ, не созидая ничего новаго,—жизнь теряетъ всякій смыслъ. Любовь—паліативное средство и наполнить пустоты не можетъ»... Бѣляевъ придвинулъ къ себѣ маленькіе часы и сталъ считать—«двадцать, сорокъ, пятьдесятъ, семьдесятъ, сто!..» Съ послѣднимъ словомъ раздался выстрѣлъ—и Бѣляевъ упалъ мертвый.

Но если Бѣляевъ не могъ найти себѣ никакого дѣла, то героиня романа, Анюта, нашла въ литераторѣ Хабаровѣ все, чего она жаждала, чего просила, о чемъ мечтала; вся сила накопившагося въ ней чувства, вся потребность любви обратилась на него и нашла полное удовлетвореніе.

Романъ г. Лѣтнева слѣдовало-бы назвать не «Чужое преступленіе», а «Жажда жизни». Всѣ дѣйствующія личности болѣютъ какою-то неудовлетворенною потребностію, всё чего-то ищутъ, мечутся, всёхъ охватываетъ какое-то тревожное и томительное чувство—желаніе чего-то такого, чего нѣтъ вокругъ, какой-то фантастическій міръ иной и болѣе дѣятельной жизни, гдѣ всё любятъ другъ дру-

га, помогаютъ другъ другу, гдѣ всѣ бодры и занимаются веселымъ дѣломъ и жизнь ихъ кипитъ, горитъ и сверкаетъ. Но эта жажда жизни и потребность какой-то дѣятельности не удовлетворяется; безцѣльное скитаніе и толканіе и какое-то чувство бродяжества овладѣваетъ всѣми; мечутся они съ мѣста на мѣсто, ищутъ чего-то, не находятъ, и кончаютъ малокровіемъ, нервнымъ разстройствомъ и упадкомъ силъ или самоубійствомъ. Въ противоположность этому малокровію г. Лѣтневъ дѣлаетъ намекъ на старуху-няню, которой на видъ было всего лѣтъ семьдесятъ, а въ самомъ дѣлѣ больше восьмидесяти. «Она была, говоритъ г. Лѣтневъ,—однимъ изъ рѣдкихъ уцѣлѣвшихъ экземпляровъ прежней породы людей, богатой кровью и мускулами, крѣпкой нервами, а слѣдовательно физически бодрой и сильной». Правда, подобнаго рѣзкаго сопоставленія современнаго нервнаго малокровія съ физической силой людей другого періода г. Лѣтневъ не дѣлаетъ, и вообще онъ избѣгаетъ ясной и полной мысли, рельефно и выпукло очерчивающейся самымъ ходомъ и содержаніемъ романа. Причину этого мы видимъ въ томъ, что талантъ г. Лѣтнева принадлежитъ къ талантамъ внѣшнимъ, развивающимся преимущественно въ техническомъ отношеніи. Это особенно замѣтно на «Чужомъ преступленіи», гдѣ эффектное содержаніе и запутывающаяся завязка совершенно заслоняютъ мысль автора и внутреннія подробности дѣйствующихъ лицъ. Г. Лѣтневъ сдѣлалъ замѣтный успѣхъ въ писательствѣ; онъ овладѣваетъ техникой и манерой, идетъ въ ширь, но, къ сожалѣнію, на счетъ глубины.

Въ «Чужомъ преступленіи» прежде всего бросается въ глаза искусственность замысла, тщательно обдуманная подробность, канва романа. Расчетъ на эффектъ, на загадочность, на таинственность увлекаетъ автора до того, что онъ думаетъ овладѣть вниманіемъ читателя одной внѣшней стороной. Но, къ сожалѣнію, это ему совершенно не удается, и эффекты не возбуждаютъ ни ужаса, ни неожиданности, ни даже такого любопытства, чтобы хотѣлось ихъ дослѣдить до конца. Причина въ томъ, что г. Лѣтневъ болѣе измышляетъ и творитъ головой, чѣмъ чувствомъ. Всѣ его эффекты, неожиданности и загадочности только обдуманы, но не прочувствованы. Онъ самъ не чувствовалъ того ужаса, который изображаетъ; онъ чисто-головнымъ путемъ создавалъ эффекты и неожиданности, и расчетъ, именно расчетъ, головной расчетъ чувствуется поэтому въ каждой тщательно отдѣланной сценѣ, въ каждой головной, обдуманной картинѣ. Эта-то обдуманность и чисто-головное творчество, погоня за фразой

и недостатокъ анализа своихъ собственныхъ чувствъ и впечатлѣній причиною того, что отъ «Чужого преступленія» вѣетъ холодомъ, что романъ не трогаетъ и не потрясаетъ, что онъ холодитъ, а не грѣетъ, и что ни горестямъ, ни радостямъ героевъ вовсе не сочувствуется.

Романъ начинается тѣмъ, что въ гостинницѣ Троицко-сергіевской лавры остановились двѣ особы женскаго пола: Анята, героиня романа, и тетка ея. Ищущая жизни и стремящаяся куда-то Анята почувствовала внезапно ночью чье-то около себя присутствіе; она встала и пошла впередъ съ протянутыми руками и бьющимся сердцемъ, и вдругъ одна изъ ея протянутыхъ рукъ очутилась въ чужой рукѣ. Анята крикнула: «воры, воры!»; поднялась суматоха; но вотъ призракъ говоритъ ей: «Зачѣмъ вы предаете меня?» И чтобы не предать призрака, Анята спрятала его, и когда обыски кончились, призракъ, выйдя изъ тайника, гдѣ былъ спрятанъ, шепнулъ ей голосомъ, полнымъ отчаянія и мольбы: «Спасите... не откажите... вся моя жизнь ваша... только возьмите... спрячьте!» И призракъ подалъ Анятѣ какой-то свертокъ, обернутый газетной бумагой и крѣпко перетянутый двойнымъ ремнемъ. Въ сверткѣ оказался мертвый ребенокъ... На этомъ ребенкѣ вся завязка романа. Когда Анята пошла топить ребенка, ее накрылъ Хабаровъ; она приняла на себя «чужое преступленіе» и Хабаровъ остался въ полномъ убѣжденіи, что Анята топила свое собственное дитя. Мы не совсѣмъ понимаемъ, для чего понадобилась такая эффектная завязка и на-сколько она необходима для развитія характеровъ, для разъясненія пожирающей героевъ потребности смутной жизни; на-сколько безъ нея могли-бы измѣниться отношенія между дѣйствующими лицами и нарушилась-бы общая идея романа? Бѣляевъ, изобразившій роль привидѣнія, остался-бы тѣмъ-же Бѣляевымъ и точно также онъ дожигъ-бы до сознанія душевной пустоты, точно также онъ-бы и застрѣлился. И для развитія характера Аняты едва-ли былъ нуженъ этотъ авторскій фокусъ. Чтобы не удлиннять рецензій, мы не станемъ перечислять всѣхъ эффектовъ и неожиданностей, къ которымъ прибѣгаетъ авторъ, чтобы болѣе заинтересовать читателя. Ихъ цѣлая масса и на нихъ, какъ кажется, г. Лѣтневъ больше всего рассчитывалъ. Едва-ли, однако, этотъ расчетъ вѣренъ. Русскій читатель не любитъ эффектовъ и его нельзя плѣнить одними внѣшними описаніями, какъ-бы они ни были искусны. Русскій читатель по-преимуществу — задушевный читатель; его нужно отогрѣть, ему нужно дать теплоту и искрен-

ность, прошибить его и заставить задуматься. Головное и холодное, если въ немъ нѣтъ послѣдовательнаго развитія мысли, и именно такого, чтобы возбудило освѣжающую мозговую дѣятельность, наводитъ на него только скуку. Поэтому романистъ, воображающій взять эффектами и внѣшнимъ описаніемъ, никогда не сдѣлается у насъ любимымъ писателемъ и, кромѣ того, убьетъ свой талантъ. Головнымъ, разсудочнымъ развитіемъ талантъ не создается, если рядомъ съ этимъ писатель не развиваетъ въ себѣ способности анализировать свои чувства и не приобретаетъ навыка писать душой, а не головой. Приобрѣсти этотъ навыкъ, конечно, нелегко, но если въ авторѣ нѣтъ способности чувствовать свою собственную душу, если онъ не въ состояніи выслѣживать до конца во всѣхъ мелкихъ подробностяхъ свои душевные процессы и записывать ихъ такъ, чтобы они въ читателѣ производили такое-же впечатлѣніе, то такой писатель съ каждымъ своимъ послѣдующимъ романомъ будетъ идти не вверхъ, а внизъ. Разсудочность подавитъ чувство, а подавленное чувство убьетъ талантъ. Кромѣ того, въ «Чужомъ преступленіи» мы почувствовали какую-то самоувѣренность, какой-то оттѣнокъ непогрѣшимости и авторитетности, чего не было въ прежнихъ произведеніяхъ г. Лѣтнева. Подобная самоувѣренность тоже плохой признакъ, и авторъ, въ которомъ она явится, долженъ считаться писателемъ установившимся и который едва-ли пойдетъ дальше. Между тѣмъ въ г. Лѣтневѣ есть все-таки задатки таланта, и если-бъ онъ могъ развить въ себѣ теплоту и задушевность, поменьше работать головой, а больше чувствомъ; если-бы онъ глубже и подробнѣе изучилъ свои собственные психологическіе процессы и усвоилъ-бы себѣ задушевную манеру ихъ констатированія и изложенія,—то мы нисколько не сомнѣваемся, что у г. Лѣтнева могла-бы быть будущность. Теперь-же онъ въ «Чужомъ преступленіи» сталъ на очень скользкій и опасный путь, и если онъ пойдетъ имъ дальше, то ему скоро нечего будетъ говорить, а читателямъ у него нечего читать. Романистъ прежде всего долженъ уметь поймать свою собственную душу.

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА.

(Histoire de la littérature contemporaine en Italie sous le régime unitaire, 1859—1874, par Amedée Roux, 1874.)

Италія дважды покоряла міръ—въ первый разъ силою своего меча, во второй—силою католицизма. Созданныя ею римское право и искусство, доведенное до высшихъ совершенствъ формы, также приобрѣли всемірно-историческое значеніе. Но послѣ паденія Рима, послѣ того, какъ средневѣковое папство отжило свой вѣкъ, а искусство достигло высшей формы развитія, участіе Италіи въ общечеловѣческомъ прогресѣ потеряло прежнее первостепенное значеніе. Эпоха возрожденія древнихъ литературъ имѣла, конечно, важное вліяніе на сѣверную Европу, но это вліяніе было совершенно въ древнемъ духѣ; оно направляло умы на идеалы отжившей древности и его характеръ рѣшительно противорѣчилъ духу новѣйшаго прогреса. Несчастное политическое и общественное состояніе Италіи, продолжавшееся цѣлую тысячу лѣтъ, мѣшало ея наукѣ и литературѣ развиваться съ тою-же быстротою и въ томъ-же направленіи, какими отличалось развитіе ихъ въ Англіи, Франціи и Германіи. Но не одно упомянутое условіе, не одно иго папства и политическая раздробленность страны задерживали умственное развитіе итальянцевъ. Классическая древность до сихъ поръ крѣпко держится въ Италіи; ея традиціи, ея мифы, ея искусство, столь родственны итальянцамъ, кладутъ свою печать на всѣ подростаящія поколѣнія, и духъ новѣйшей Европы, проникая на Апенинскій полуостровъ, сильно измѣняется подъ вліяніемъ римскаго классицизма. Какъ

ни националенъ послѣдній въ Италиі, но онъ все-таки продуктъ древности и рабское поклоненіе ему служить одною изъ преградъ развитію итальянской мысли. Вдобавокъ къ этому, вѣка политической неурядицы, монашескаго ига, всевозможныхъ смуть и злоупотребленій, порочность высшихъ классовъ и крайнее невѣжество низшихъ довели Италию до такого состоянія, изъ котораго ей долго еще предстоитъ выбиваться прежде, чѣмъ сдѣлается возможнымъ болѣе здоровое общественное и умственное развитіе. Какъ пагубно дѣйствовалъ на литературу прежній режимъ, можно видѣть на извѣстномъ писателѣ Монти (1754—1828). Монти сначала титуловалъ себя *аббатомъ Монти*, потомъ, въ республиканской Ломбардіи, *гражданиномъ Монти*, во время-же наполеоновскаго владычества и позднѣе—*кавалеромъ Монти*. Какъ аббатъ, онъ написалъ „Басвиліану“, въ которой проклиналъ революцію и радовался убійству французскаго посланника Басвила римскою чернью; какъ гражданинъ, онъ воспѣвалъ свободу, равенство и братство, а въ качествѣ кавалера пресмыкался сначала передъ Наполеономъ I, а потомъ передъ императоромъ Францемъ! Какъ ни пагубно дѣйствовалъ старый режимъ на литературную нравственность, какъ ни давилъ онъ мысль, но мысль о свободѣ и единствѣ Италиі не умирала и, вдохновляя литературу, придавала ей глубокаго жизненнаго интереса. Имена Леопарди, Альфіери, Джусти, Гверацци вполнѣ заслуженно пользуются европейскою извѣстностью. Но вотъ тысячелѣтнія стремленія Италиі достигнуты, она сдѣлалась свободною отъ чужеземнаго владычества и единою. Упомянутый мотивъ естественно ослабѣлъ и литература потеряла прежнее значеніе; она развивается, но только количественно, а не качественно. Наиболѣе успѣховъ замѣтно въ области періодической печати. Въ 1874 г. въ Италиі выходило 744 періодическихъ изданій, изъ которыхъ только 47 были основаны раньше 1859 г., остальные-же послѣ этого времени, и главнымъ образомъ въ 1870—71 годахъ. Кромѣ множества религіозныхъ и клерикальных изданій, выходитъ еще нѣсколько „кабалистическихъ“, магнетизерскихъ и т. д.; много изданій земледѣльческихъ, промышленныхъ, финансовыхъ, филологическихъ, медицинскихъ, театральныхъ, политическо-литературныхъ и политическихъ разныхъ оттѣнковъ. Но несмотря на быстрое размноженіе журналовъ, ни одинъ изъ нихъ не отли-

чается никакими особенными достоинствами и вообще итальянская пресса стоит гораздо ниже английской, французской и американской.

Въ литературѣ-же собственно замѣтно еще меньше оживленія, чѣмъ въ періодической печати. Классицизмъ царитъ въ ней по-прежнему. Одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ поэтовъ Италіи, Кардуччи (род. въ 1837 г.), — фанатическій поклонникъ древности, ея формъ, чувствъ и вѣрованій. Въ сборникѣ своихъ стихотвореній, „Loevia gravia“, онъ съ ожесточеніемъ нападаетъ на

Al secoletto vil che cristianeggia

и поетъ пѣсни во вкусѣ Тибулла и Горація. Его замѣчательныя сатиры, въ которыхъ онъ à la Ювеналь бичуетъ пороки итальянцевъ, тоже обыкновенно оканчиваются похвалою „великимъ предкамъ“. Аббатъ Парди занимается преимущественно перепѣвами на мотивы Теокрита, Горація и Виргилія, а также воспѣваетъ „Св. Розалію“ и т. п. Его стихотворенія пользуются популярностью. Вайола славится, между прочимъ, своими превосходными стихотворными переводами на латинскій языкъ! Неруччи составилъ себѣ популярность главнымъ образомъ переводами Анакреона и подражаніями ему. Лучшее произведеніе Джіакометти — драма „Софокль“, лучшія пьесы Болоньезе — „Клеопатра“ и „Прометей“; лучшая трагедія Барратани — „Саффо“ и т. д. Чтобы нѣсколько познакомиться съ этимъ классическимъ направленіемъ, мы остановимся на драмѣ „Прометей“ и на комедіи Козы „Неронъ“. „Прометей“ — лучшая пьеса Болоньезе. Сущность ея выражена въ предисловіи къ ней стихами, взятыми изъ Монти: „Слышу въ сердцѣ своемъ тайный голосъ, повелѣвающій мнѣ воспѣть славнаго сына Іафета, великаго Прометея, рассказать, какіе труды и какія страданія перенесъ онъ изъ-за любви къ людямъ и какъ гнусно отплатили ему за его неизмѣримое благодѣяніе!“ Въ моментъ появленія титана на сценѣ люди находятся еще въ состояніи первобытнаго варварства, представителемъ котораго выведено одно скифское племя, управляемое отвратительнымъ жрецомъ солнца, Любеномъ. Алкей хочетъ насиловать сироту Дину, но, увидѣвъ Прометея, останавливается, смущенный божественными чертами фізіономіи незнакомца, который хотя и совершенно безоруженъ, но пугаетъ его

больше цѣлаго войска. Во второмъ дѣйствіи люди уже нѣсколько измѣнились въ нравственномъ отношеніи. Дина, сдѣлавшись приемною дочерью Прометея, уже не та дикарка, которая возбуждала прежде дикіе инстинкты Алкея; она играетъ на лирѣ, и вылетающіе изъ-подъ ея пальцевъ волшебные звуки заставляютъ слушателей предполагать, что это муза, посланная съ небесъ на землю. Но сестра Алкея, Аргира, еще не подчинилась просвѣтительному вліянію полубога; она влюблена въ него, но, ревнуя къ Динѣ, замышляетъ месть и испускаетъ крикъ радости при извѣстіи о возвращеніи Алкея, который долго отсутствовалъ въ походахъ на сосѣднія племена. Въ третьемъ дѣйствіи первосвященникъ Любень возбуждаетъ противъ титана народъ, говоря, что благодаря ему ихъ постигло непоправимое бѣдствіе — гаснетъ священный огонь; Прометею угрожаютъ смертью, но онъ добываетъ огонь, и возбужденная противъ него толпа умолкаетъ. Алкей дѣлается его другомъ, Любень-же снова возмущаетъ противъ него народъ, получивъ будто-бы непосредственныя повелѣнія отъ самого Юпитера. Его интрига на этотъ разъ имѣла полный успѣхъ, и въ концѣ четвертаго акта Прометей падаетъ подъ ударами разъяренныхъ враговъ; Дина при видѣ своего умирающаго учителя сходитъ съ ума, Аргира закалывается съ отчаянія; но несмотря на все это, цивилизація торжествуетъ въ лицѣ Алкея, который является, хотя уже и поздно, на защиту Прометея со множествомъ воиновъ, и умирающій титанъ кончаетъ слѣдующими возвышенными словами:

....Questo

Ognor sorà dei generosi il fato

Vivi,—il martiro e sull'avel—gli osanna!

Комедія Бозы „Неронъ“ вертится на извѣстномъ восклицаніи этого тирана передъ смертью: „какого артиста теряетъ во мнѣ міръ!“ Дѣйствіе происходитъ въ послѣдніе годы царствованія. Агрипина, Бурръ, Сенека уже исчезли со сцены, они убиты, и съ перваго-же акта зритель чувствуетъ, что приближается конецъ тирана. Въ промежутокъ между двумя оргіями римляне разговариваютъ потихонку о бунтѣ Виндекса, о возстаніи легионовъ Гальбы. Интрига пьесы заключается въ соперничествѣ старой любовницы тирана, отпущеницы Акте, съ афинскою танцовкою, страшною, живою Эглогэ, которая смѣло

вступаетъ въ борьбу съ своей опытной противницей, надѣясь на непрочное расположеніе своего коронованнаго любовника. Лучшая сцена пьесы та, гдѣ Эглогэ умираетъ, отравленная, среди роскошной оргіи, передъ глазами императора, котораго Коза заставляетъ произнести слѣдующіе прекрасные стихи —

Il piu gradito letto
 E quello del banchetto,
 Beviamo, amici, e sia la gioia viva
 E sia vivo l'amore;
 Beviamo; presto si muore
 Nè crescono li viti del Falerno
 Lungo la tetra riva
 Dei laghi dell'Averno;
 Laggiu più il nostro labbro non si posa
 Sulla bocca amorosa
 D'una cara fanciulla;
 Beviamo!.. ci aspetta dopo morte il nulla!
 Venere santa, a noi co'tuoi sereni
 Occhi d'Olimpo vieni
 Perla voluttuosa e meraviglia
 De la notal conchiglia.
 Ove non entra lume
 Di tua betta, si discolora il mondo,
 E selvaggio il costume
 E il tedio più profondo
 Si spiega sopra un popolo che dorme;
 Ma dove appaion l'orme
 Del tuo piede divino
 Hanno vita le grazie e l'armonia
 Di tutte l'arti, orgoglio
 Del popolo latino.
 Sorridi, o bionda iddia,
 Il genio mio prepara
 Alla dolcezza dell tuo culto un'ara
 Sul fiero campidoglio.
 Sorridi, o bionda iddia, di noi più degno
 E il tuo femminile regno.
 Tu sei nostra speranza,
 Giove è omai troppo vecchio... e muti stanza! ¹⁾.

¹⁾ Самое страстное ложе то, которое приготовляютъ для пира. Будемъ пить, друзья; да здравствуетъ веселье, да здравствуетъ любовь! Будемъ пить; смерть

Коза сильно преувеличилъ поэтическій талантъ Нерона, но во всѣхъ другихъ отношеніяхъ тиранъ является у него лицомъ, вполне вѣрнымъ исторически. Онъ пьянствуетъ по тавернамъ, участвуетъ въ дракахъ, угрожаетъ смертью даже во время любовныхъ наслажденій и кончаетъ трусливымъ самоубійствомъ, между тѣмъ какъ Акте подаетъ ему призывъ храбрости.—Указанныя нами двѣ пьесы принадлежатъ къ лучшимъ въ этомъ родѣ, такъ-какъ, несмотря на свои древніе сюжеты, въ нихъ играютъ роль общечеловѣческіе интересы, какъ и въ другихъ подобныхъ произведеніяхъ, сюжеты которыхъ взяты изъ жизни древняго Востока, напр., въ драмахъ Губернатиса изъ быта древняго Индустана, „Нала“, „Царь Дасарата“ и т. д. Но въ большинствѣ случаевъ итальянскіе классики не ограничиваются сюжетами древности, а пропагандируютъ въ своихъ произведеніяхъ идеи древняго міросозерцанія, перепѣваютъ мотивы Тибулла, Катулла, Горация и пишутъ идилліи во вкусѣ Теокрита въ то время, какъ страна кишитъ разбойниками, сельское населеніе истощается налогами, биржевая спекуляція пускаетъ по-міру сотни тысячъ людей и т. д. Устарѣлыя формы классицизма крѣпко держатся въ итальянской литературѣ, и итальянцы до сихъ поръ „со всеусердіемъ все оды пишутъ“. Одами Виктору - Эмануилу, Гарибальди, Кавуру и т. д. наполнена итальянская литература. Въ этихъ одахъ, конечно, больше естественности и чувства, чѣмъ въ какихъ-нибудь одахъ Ломоносова или Державина, но устарѣлая форма тѣмъ не менѣе сильно вредитъ и содержанію. Вотъ, напр., одна изъ лучшихъ одъ, ода Занеллы на открытіе суэцкаго канала. Поэтъ начинаетъ

быстро приближается къ намъ; а сладкій виноградъ, производимый Фалерномъ, не растетъ вѣдъ на мрачныхъ берегахъ аверискаго озера, и наши губы на этихъ берегахъ не будутъ уже прижиматься къ другимъ губамъ. Будемъ пить, потому что послѣ смерти одно ничтожество! Святая Венера, сойди къ намъ съ высотъ Олимпа, озари насъ своимъ сіяніемъ, сладострастная жемчужина, вышедшая изъ пѣны морской! Воздухъ темнѣетъ, когда онъ не освѣщается хотя однимъ лучемъ твоей красоты; безъ тебя челоуѣкъ дѣлается варваромъ и народы засыпаютъ въ глубокой тоскѣ. Но всюду, гдѣ только ступитъ божественная нога твоя, рождаются грація и сладостная гармонія всѣхъ искусствъ. Удостой меня улыбки, свѣтлокудрая богиня, гордость латинскаго народа! На побѣдныхъ высотахъ Капитолія цезарь воздвигаетъ алтарь твоему чарующему культу. Улыбнись, русокудрая богиня, и да водворится надъ нами твоя женственная власть. Юпитеръ слишкомъ старъ... Онъ долженъ уступить тебѣ свое мѣсто!

Ab ovo, съ того времени, какъ раздѣлились племена арійской расы и одни изъ нихъ пошли въ пустыни Европы, покорили ихъ и цѣною неимоверныхъ трудовъ создали себѣ богатство и благоденствіе, между тѣмъ какъ другія остановились почти у подножія своихъ отечественныхъ горъ, въ роскошной странѣ, въ которой человекъ, подавляемый климатомъ, погруженъ въ постыдную праздность. Изобразивъ рѣзкія противоположности Востока и Запада, Занелла переходитъ къ будущимъ послѣдствіямъ прорытія канала, — къ воскресенію Венеціи, которая снова обручится съ Адриатикой, къ возрожденію Востока и къ сближенію его съ Западомъ. „Прійди, священный народъ, принеси суровому Западу неистощимые дары золотого Ганга и вдохнови нашихъ поэтовъ пѣснями твоего Валмики! Вооруженные квадратомъ и компасомъ, мы отправимся на твои счастливые берега; въ возмездіе за пограніе истины, разобьемъ цѣпи твоихъ послѣднихъ рабовъ и, собравшись подъ тѣнью твоихъ пальмъ и благовоющихъ кардамоновъ, огласимъ твои вѣковые лѣса именами Гумбольдта и Вольты“. Эта ода можетъ характеризовать собою цѣлый обширный отдѣлъ дидактическихъ произведеній, которыхъ такъ много въ итальянской литературѣ. Тотъ-же Занелла написалъ поэмы „Наука и природа“ и „Промышленность“, по поводу парижской выставки 1867 г. Последняя поэма — ничто иное, какъ исторія труда, исторія промышленной цивилизаціи. Къ лучшимъ произведеніямъ Мичеля относятъ философскую поэму о любви, написанную подъ вліяніемъ Платона и евангелія, „Страсть и вѣра“; многообщавшій, но рано погибшій поэтъ Скафа началъ одами „Джіоберти“ и „Богъ“, и т. д.

Классическій дидактизмъ имѣетъ, однакожь, сильнаго соперника въ новѣйшемъ романтизмѣ, послѣдователей котораго не мало въ Италіи. Во главѣ ихъ стоитъ старшій поэтъ Прати, издавшій въ 1866 г. нѣсколько томовъ стихотвореній, на которыхъ замѣтно сильное вліяніе Шекспира, Байрона, Гете и В. Гюго. Лучшее изъ нихъ — поэма „Армандо“, герой которой, разочарованный жизнью, блуждаетъ изъ одного мѣста въ другое, проходитъ по самымъ живописнымъ мѣстностямъ Италіи и останавливается, наконецъ, въ Римѣ. Блестящія описанія природы, лирическія мѣста объ Италіи, о жизни, живыя сцены, портреты, напр., испанской цыганки, стараго наполеоновскаго гренадера и

т. д. наполняютъ всю первую часть поэмы и придаютъ ей высокой интересъ. Вторая часть начинается гимнами любви, которую внушила Армандо красавица Арбелла. Въ ея обширныхъ садахъ, виѣсть съ своею возлюбленною, Армандо прислушивается къ тысячамъ голосовъ природы, онъ говоритъ съ пчелою, съ бабочкой, съ розой, онъ спокоенъ и счастливъ. Но вотъ онъ засыпаетъ, и его сонными мечтами начинается фантастическая часть поэмы. Въ сабинской долинѣ сидитъ на травѣ духъ зла, Мастрарабито; онъ играетъ на гитарѣ и поетъ, выражая свое демонское profession de foi. Послѣ этого онъ одѣвается изящнымъ кавалеромъ и въ сопровожденіи своего слуги Варбариччио отправляется въ церковь, въ которой молится Арбелла. Элегантный и красивый Мастрарабито искушаетъ ее подъ тремя образами—испанца, молдованскаго князя и великаго артиста Карденіуса; но Арбелла три раза избавляется отъ разставленныхъ ей сѣтей. Преданный своимъ слугою, презираемый подчиненными, которые низложили его, Мастрарабито подвергается окончательному повору, когда всѣ его бывшіе слуги проходятъ мимо него и осыпаютъ оскорбленіями павшаго тирана. Эта часть поэмы писана прозой, но въ ней есть прекрасныя лирическія пѣсни, въ которыхъ Армандо изливаетъ свою душу, измученную скептицизмомъ. Фантазіи его доходятъ до степени горячечнаго бреда, который продолжается нѣсколько мѣсяцевъ. Когда онъ пришелъ въ себя, то отправился виѣсть съ Арбеллой путешествовать по сѣверной Италіи, Далмаціи, Черногоріи. Нигдѣ не находилъ онъ душевнаго покоя и, наконецъ, подобно Шелли, погибъ во время кораблекрушенія. Таково общее содержаніе поэмы, отличающейся прекрасными частностями и неудовлетворительной, даже странной въ цѣломъ.

Кромѣ сюжетовъ въ родѣ „Армандо“, итальянскіе романтики часто пишутъ на мотивы байроновскихъ „Гяура“, „Корсара“ и т. д. Такова, напр., поэма Канини „Монахъ Георгій и Лейла“. Увидѣвъ случайно всѣ красоты прелестной турчанки, монахъ загорѣлся страстью къ ней и встрѣтилъ съ ея стороны полное сочувствіе. Радостямъ ихъ любви посвящены лучшія мѣста поэмы. Но эти радости были непродолжительны. Лейла пала жертвою ревности страшнаго Ахмеда, а монахъ, доведенный до отчаянія, кончилъ самоубійствомъ.

Итальянскій романтизмъ находитъ себѣ обильную пишу въ

старинныхъ легендахъ и прошлой исторіи страны, въ которой дѣйствовало столько замѣчательныхъ людей и совершалось столько разнообразныхъ событій. Галилеи и Борджіа, Данте и Беатриче Ченчи, папскій Римъ и царица моря Венеція — все служить предметомъ произведеній этого отдѣла итальянской литературы. Укажемъ, напр., на произведенія Спукеса „Гуальтиеро, сицилійская повѣсть XIII в.“ и „Адель Бургонская“, большая поэма, въ которой изображена во всей своей наготѣ ужасная итальянская дѣйствительность XVI в., съ ея тиранами, злодѣйствами, потоками крови и т. д. Молодой поэтъ Раписарди въ своей „Палиндженевіа“ изображаетъ даже всю исторію Итали до занятія Рима войсками Виктора-Эмануила и рисуетъ будущее величіе Рима. Бараттани выводитъ всевозможные ужасы старой итальянской жизни въ драмахъ „Легаты Климента VII“ и „Уго“. Въ первой изъ нихъ выведены на сцену страданія жителей Анконы, занятой войсками папы и подвергшейся невообразимому тиранству его прелатовъ. Сюжетъ второй драмы тоже изъ анконской исторіи 1060 г. Городъ находится во власти тирана Уго, который даже на семейства высшей аристократіи распространяетъ свои гнусныя притязанія, основанныя на феодальномъ правѣ первой ночи. Онъ имѣетъ виды на Біанку Скоттиволи, которая до послѣдняго времени не понимаетъ преступныхъ замысловъ графа. Уго въ восторгѣ, когда въ его дворецъ приводятъ Біанку. Но то была не Біанка, а ея переодѣтый братъ, который прежде, чѣмъ былъ узанъ его полъ, закололъ графа. Прошедшее Итали особенно усердно разрабатывается романистами. Тигри, посвятившій войнамъ 1859 и 1866 гг. двѣ интересныхъ повѣсти, въ 1870 г. издалъ романъ „Сельваджіа“, названный такъ по имени извѣстной средневѣковой повѣстессы, въ которомъ историческая правда равняется превосходному художественному выполненію. Портреты Сельваджіи и ея возлюбленнаго, поэта-юриста Цино, блестящіе народные праздники, на которые средневѣковые муниципалитеты Тосканы тратили столько денегъ, жизнь высшего общества, домашній бытъ въ уединенныхъ замкахъ, междоусобныя войны, осада Пистойи, природа Аппенинъ, — вотъ разнообразное содержаніе этого историческаго романа. — Повѣсть Каччіаниги: „Сладостное фаръ-ніенте“ (1869 г.) изображаетъ Венецію наканунѣ ея паденія. Въ „Разсказахъ“ Сельва-

тико мы видимъ художественное изложеніе исторіи итальянской живописи и музыки, въ нихъ дѣйствуютъ Данте, Беллини, Дюреръ и т. д. Иполитъ Ньюво, умершій въ 1861 г., 29 лѣтъ отъ роду, оставилъ огромный романъ, „Memorio d'un ottuagenario“, переводъ котораго печатается теперь въ нашемъ журналѣ. подъ заглавіемъ „Исповѣдь старика“. Романъ знаменитаго трибуна Гверацци, „Осада Рима“, посвященъ недавнимъ событіямъ, какъ и многія произведенія другихъ авторовъ.

Прошлыя времена увлекаютъ не однихъ поэтовъ и белетристовъ. Послѣ объединенія страны появилось не мало ученыхъ, посвятившихъ себя разработкѣ итальянской исторіи. Во главѣ ихъ стоитъ Рикотти, сдѣлавшійся извѣстнымъ еще въ сороковыхъ годахъ своей *Storia delle compagnie di Ventura*, въ которой онъ рассказываетъ о подвигахъ тѣхъ кондотьеры, которые впродолженія вѣбовъ опустошали Италію, служили тому, кто больше платилъ имъ, основывали государства и т. д. Въ 1868 г. Рикотти издалъ первый томъ своей исторіи пьемонтскаго государства, которую онъ писалъ, большею частью по архивнымъ документамъ, впродолженіи пятнадцати лѣтъ. Что Рикотти сдѣлалъ для Пьемонта, то Лумія сдѣлалъ для Сициліи въ своихъ „Этюдахъ сицилійской исторіи“, Джіудичи для исторіи городскихъ общинъ (*Storia dei comuni italiani*), а Челезіа для исторіи Генуи. Изъ ислѣдованій Челезіа особенными достоинствами отличаются „Исторія генуэзскаго университета“, „Заговоръ графа Фіески“ и археологическое сочиненіе „Древнѣйшая Италія“. Не менѣе замѣчательны „Исторія миланской республики 1447—50 гг.“ Пелузо и „Исторія Кастельтермини“ Гаэтано Джіованни. Вообще итальянскіе историки до сихъ поръ разработываютъ отдѣльные эпизоды, эпохи, прошедшее отдѣльныхъ провинцій, но общей исторіи страны до сихъ поръ нѣтъ.

Какъ поэты, такъ и ученые, обращаясь къ итальянской исторіи, ищутъ въ ней патріотическихъ мотивовъ, гражданскихъ идеаловъ, восторгаются величіемъ прошлаго и на основаніи его заключаютъ о величіи будущаго. Прошлое Италіи придало литературѣ сильный политическій колоритъ. Политическіе мотивы увлекаютъ собою большинство писателей, какъ объ этомъ можно судить уже по множеству одъ, о которыхъ мы говорили выше. Вотъ, напр., упомянутый уже нами Кардуччи. У него мы нахо-

димъ много сатирическихъ пьесъ, въ которыхъ онъ караетъ пороки своихъ современниковъ и взываетъ къ ихъ патриотизму. Лирикъ Меркантини въ своихъ трогательныхъ стихотворенiяхъ касается почти всѣхъ важныхъ событiй, совершившихся въ Италiи съ 1859 по 1870 гг. Особенною популярностью пользуется его „Венецiанская мать“, написанная вскорѣ послѣ виллафранкскаго договора, когда, по выраженiю Меркантини, „царица морей сдѣлалась снова невольницей и, какъ-бы въ насмѣшку надъ ней, раздавались кругомъ пѣсни освобожденiя“. Въ пѣсняхъ Гюли отражаются вполнѣ политическiя стремленiя той недавней эпохи, когда весь полуостровъ былъ уже освобожденъ, за исключенiемъ Рима, и когда итальянцы жили только надеждой, что всѣ они „сдѣлаются римлянами во что-бы то ни стало“. Въ „Пѣсни объ Италiи“, Мархи, Римъ уже занятъ и поэтъ обращается къ нему съ слѣдующимъ воззванiемъ: „вотъ твои сыны! они отрекаются отъ своей прежней вражды и клянутся имѣть только одно знамя. Какъ они стараются увѣнчать цвѣтами твое почтенное царственное чело, о, Римъ, наша первая слава, наша первая гордость! Ты сбрасываешь, наконецъ, съ себя свое мрачное покрывало! Берегитесь, чужестранные народы! Та, гробницу которой вы попирали ногами, осмѣивая ея прошедшее, владычица мiра возсталла, она жива! Но успокойтесь: на основанiи ея величественнаго трона начертаны утѣшительныя слова: „я миръ, я любовь!“ Это патриотическое увлеченiе обще почти всѣмъ современнымъ итальянцамъ, которые въ этомъ отношенiи похожи на французовъ и на нашихъ славянофиловъ. Всемирное владычество Рима соблазняетъ ихъ и будущее человечества кажется имъ зависящимъ отъ возрожденiя Италiи. „Римляне, говорилъ мѣсяца два тому назадъ Гарибальди,—вы первый народъ въ мiрѣ!“ „Мы первый народъ, намъ принадлежитъ будущее“, говорятъ на разные лады и въ разныхъ формахъ итальянскiе писатели. Эти патриотическiе возгласы рѣжутъ ухо иностранца, тѣмъ болѣе, что, совершивъ свое политическое объединенiе, Италiя выполнила только начало предстоящей ей задачи, и возрожденiе народа, его нравственное перевоспитанiе, его просвѣщенiе, умственное и матерiальное развитiе принадлежатъ будущему. Изученiе народной жизни уже началось въ итальянской литературѣ. Такъ, напр., Тигри издалъ въ 1868 г. „Народныя тосканскiя пѣсни“. Не-

руччи пишетъ народныя стихотворенія и т. д., но это направленіе вообще еще очень слабо.

Итальянской политической поэзіи вполне соотвѣтствуетъ итальянская публицистика. Тосканскій памфлетистъ Біанчіарди, умершій въ 1868 г., извѣстенъ своими бойкими памфлетами противъ австрійскаго владычества. „Экономическіе и нравственные очерки“ Каччіаниги касаются пороковъ итальянскаго общества, проповѣдуютъ въ формѣ эпиграмъ и афоризмовъ обывенную мораль и популяризируютъ идеи буржуазной экономіи. „Лѣность Италіи“ Лоцци касается основнаго недостатка въ итальянскомъ характерѣ и караетъ эту „мать всѣхъ пороковъ“. Публицистическая дѣятельность Бонкомпаньи вполне выражается въ его фразѣ: „я не хочу для моего отечества ни владычества патеровъ, ни угнетенія совѣсти врагами патеровъ“. Отвергая клерикальныя притязанія духовенства, Бонкомпанья говоритъ, что политика основывается на нравственности, а послѣдняя на религіи; въ Италіи не можетъ быть другой религіи, кромѣ католицизма, и т. д. Совершенною противоположностью Бонкомпаньи является матеріалистъ Гаетано Негри и многіе другіе представители политическаго радикализма, немѣющаго, однакожь, въ Италіи такой силы, какъ, напр., во Франціи и даже Испаніи. Вообще итальянская публицистика, устремлявшаяся въ продолженіи столѣтій всѣ свои усилія къ одной цѣли — къ политическому объединенію Италіи, достигнувъ этой цѣли, естественно очутилась въ состояніи кризиса и застоя.

То-же нужно сказать и обо всѣхъ другихъ родахъ литературы. Историческій романъ, какъ мы видѣли, процвѣталъ въ Италіи до послѣдняго времени, благодаря тому-же политическому значенію; но общественный или правоописательный романъ до сихъ поръ находится въ незавидномъ положеніи, и Амеде Ру, за малымъ числомъ новыхъ романовъ, перечисляетъ и анализируетъ старыя, написанныя еще при прежнемъ порядкѣ. Изъ новыхъ-же можно указать на повѣсть Берзеццо: „Gli Angeli della terra“. Рина Мандоцци, противъ ея желанія, выдана замужъ за негодяя, который, надѣлавъ долговъ, бросаетъ свою жену и сына, бѣжитъ въ Америку и распускаетъ слухъ о своей смерти. Сдѣлавшись свободною, Рина не замедлила выйти за достойнаго человѣка; но первый мужъ, бѣжавшій изъ Мексики послѣ совершеннаго имъ убійства, является снова и требуетъ свою законную жену. Но его

замыслы не удаются, онъ погибаетъ, порокъ наказанъ и добродѣтель торжествуетъ, какъ это дѣлается и во множествѣ другихъ итальянскихъ романовъ, напр., въ „Il conte rescogato“ Инолита Ньюво или „Tre le spine“ Донати. Донати началъ свою литературную дѣятельность въ 1858 г. веселенькою повѣстью „Клубокъ лентокъ“, въ которой клубокъ, уроненный дѣвушкой съ высоты пятого этажа, упалъ на проходившаго мимо молодого человѣка и послужилъ завязкой интриги, кончившейся свадьбой. Упомянутый романъ, изданный въ 1869 г., развиваетъ мысль, что невольна надшая женщина можетъ искупить свой грѣхъ и сдѣлаться женою честнаго человѣка. Лена была соблазнена и вскорѣ брошена своимъ любовникомъ; преслѣдуемая съ остервененіемъ отцомъ послѣдняго, банкиромъ, она, по его настоянію, обвиняется въ мнимомъ дѣтоубійствѣ, заключается въ тюрьму вмѣстѣ съ публичными женщинами; она оправдывается, находитъ убѣжище у сестры своего покровителя, графа Панкраціо; ея соблазнитель, раненый на дуэли, передъ смертью женится на ней „in extremis“, затѣмъ она выходитъ замужъ за богатаго молодого человѣка. Гораздо болѣе естественности въ произведеніяхъ Торквато Джіордана. Его „Il primo amante di Berta“ — яркая картина грубой развращенности низвѣстныхъ классовъ итальянскаго общества.

Комедія стоитъ въ современной Италіи выше романа. Прежде всего слѣдуетъ указать на три комедіи Герарди-дель-Теста. „La carità pelosa“ (своекорыстная благотворительность) выводитъ на сцену тѣ дурныя соціальныя элементы, которые мѣшаютъ даже политическому возрожденію страны. Соракалѣттиа вдова, маркиза Тереза Флорентини, кается въ грѣхахъ своей молодости, попадаетъ во власть тайнаго комитета фанатиковъ и подчиняется вліянію интригана, который выдаетъ себя за какого-то командора Бразини. Наслѣдница Терезы — ея племянница, молодая вдова Эрсилія. Чтобы вѣрнѣе завладѣть деньгами, Бразини хочетъ жениться на теткѣ, а Эрсилію выдать за своего племянника. Для содѣйствія своимъ планамъ онъ помѣщаетъ къ маркизѣ секретаремъ молодого человѣка Тито, который оказывается очень порядочнымъ и не поддается гнуснымъ замысламъ командора. Наряду съ великосвѣтскими мазуриками, дядей и племянникомъ, выведены три борца за освобожденіе Италіи: маіоръ Леонарди, прежній любовникъ маркизы, который, вернувшись къ ней черезъ нѣ-

сколько лѣтъ, пробуждаетъ въ ней старыя чувства; возлюбленный Эрсилія, капитанъ Эдуарди, и юноша Джульетто. Въ началѣ пьесы командоръ успѣшно идетъ къ своей затаенной цѣли. Лытя честолюбію маркизы, онъ дѣлаетъ ее предсѣдательницею аристократическаго благотворительнаго общества, посредствомъ кражи завѣщанія онъ разоряетъ Эдуарди и надѣется отдать Эрсилію своему племяннику, запугавъ ее черезъ маркизу лишеніемъ ее наслѣдства въ случаѣ послушанія. Чтобы уредить значеніе Эдуарди въ глазахъ его возлюбленной, командоръ дѣлаетъ на него ложный доносъ своему соучастнику, интенданту. Вся эта часть пьесы проникнута живымъ интересомъ и написана очень талантливо, но конецъ дышетъ обмѣнною моралью о торжествѣ добродѣтели. Джульетто оказывается сыномъ маркизы и маіора; командоръ и его племянникъ выводятся на свѣжую воду и спасаются бѣгствомъ; маркиза выходитъ за Леонарди, Эрсилія за Эдуарди, и всѣ они, вмѣстѣ съ Джульетто, составляютъ одно счастливое семейство.—Герой второй комедіи, „Vero blasone“, Даніель, сынъ бѣдной женщины, брошенной любовникомъ, который, живя въ ней, изменилъ и отечеству, поступивъ къ австрійцамъ въ шпионы, и изъ всѣхъ силъ препятствуетъ объединенію Италіи. Послѣ смерти матери Даніель удалился въ Тоскану, гдѣ поступилъ управляющимъ фабрикой, принадлежащей графу Торнабуони. Здѣсь онъ спасаетъ жизнь племянницѣ графа, которая чуть было не погибла отъ пожара; они влюбляются другъ въ друга, но разность общественныхъ положеній препятствуетъ браку. Къ тому-же отецъ Даніеля, подъ вымышленнымъ именемъ графа Пріоло, является въ Тоскану въ качествѣ агента-подстрекателя. Онъ въ связи съ нѣкоторыми легитимистами, но это ему не мѣшаетъ разыгрывать роль демагога и бунтовать рабочихъ своего сына. Въ то-же время графъ Торнабуони, давно уже озабоченный приисканіемъ жениха своей дочери, останавливается на благородномъ кавалерѣ Моранди. Но Моранди, узнавъ сердечную тайну Эльвиры, самоотверженно помогаетъ влюбленнымъ, выживаетъ изъ страны „графа Пріоло“, и Даніель, принявъ фамилію своего благодѣтеля Моранди, соединяется съ Эльвирою.—Третья комедія того-же автора, „Elastическая совѣсть“, выводитъ общественнаго дѣятеля, который, по трусости, служитъ то трибуну Гверацци, то великому герцогу Леопольду, то Виктору-Эмануилу. Вмѣстѣ съ этою

переметною сумой хорошо изображены продажные чиновникъ Кумино и журналистъ Маріо. Комедіи Феррари, Суньера, Берзоццини-Торелли, Ріенциса, Муратори не лучше, а во многихъ случаяхъ даже хуже пьесъ Герарди. Передавать ихъ содержанія мы не будемъ, такъ-какъ это было-бы скучно для читателя.

Проходя мимо историковъ итальянской литературы и эстетическихъ критиковъ, укажемъ, какъ на отрадный фактъ, на популяризацию естествознанія нѣсколькими талантливыми учеными и писателями. Но эта школа имѣетъ многочисленныхъ и сильныхъ противниковъ, въ родѣ платониковъ Маміани, Форнари, гегельянцевъ Спаветты и Веры и т. д. Вообще метафизика и идеализмъ, преимущественно въ его платоническихъ формахъ, крѣпко держатся въ Италіи, благодаря воспитательному вліянію античнаго міра.

Что-же касается самой книги Амедѣ Ру, то она принадлежитъ къ серіи издаваемыхъ фирмою Шарпантье историческихъ обзоровъ современной литературы въ разныхъ странахъ. Исторія англійской литературы Одисса Барро составлена довольно хорошо и читается съ интересомъ; исторія русской литературы еще не вышла; исторія-же итальянской литературы Ру написана вяло, рутинно да вдобавокъ еще отъ нея разитъ католическимъ духомъ.

С. Ставринъ.

ПАРИЖСКІЯ ПИСЬМА.

10 іюля 1875 г.

Прошло уже четыре мѣсяца, какъ вышелъ изъ печати пятый томъ извѣстнаго сочиненія Ланфре о Наполеонѣ I, а критика продолжаетъ заниматься имъ; безпрестанно приходится встрѣчать то въ томъ, то въ другомъ періодическомъ изданіи подробные разборы этой книги. Первые четыре тома вышли еще при Наполеонѣ III, и изданіе на время приостановилось въ виду „сравнительной незначительности интереса, который могъ быть возбужденъ выясненіемъ прошлыхъ событій въ то время, когда общественное вниманіе было всецѣло поглощено страшными катастрофами, происходившими у всѣхъ на глазахъ“. Первые четыре тома въ свое время произвели во Франціи сильное впечатлѣніе. Съ особеннымъ сочувствіемъ къ нимъ отнеслись всѣ оппозиціонныя партіи, всѣ ненавистники бонапартовскаго цезаризма, какъ республиканцы, такъ и приверженцы падшихъ династій. Ланфре съ замѣчательною послѣдовательностью сгруппировалъ всѣ обвиненія, которыя когда-либо были высказаны противъ бонапартовской имперіи. Онъ съ одинаковымъ вниманіемъ рассматривалъ всѣ доводы, которыми опровергалась соотвѣтственность наполеоновской системы, кѣмъ-бы они ни были высказаны. Доводы эти во многихъ случаяхъ одинаково примѣнялись не только къ дядѣ, но и къ племяннику. Такимъ образомъ сочиненіе Ланфре было какъ-бы критикою дѣйствій существовавшаго правительства и сосредоточивало на себѣ интересъ массы, между прочимъ, и какъ памфлетъ. Но теперь обстоятельства совершенно измѣнились и причину успѣха пятаго тома, выдержавшаго уже три изданія, слѣдуетъ искать не только въ неприязни автора къ наполеоновской легендѣ, но также и въ серьезномъ характерѣ самаго сочиненія.

Если судить о Наполеонѣ только по сочиненію Ланфре, приходится удивляться, какимъ образомъ могъ онъ возбудить свою

особою тотъ страстный энтузіазмъ, который поставилъ его на вершину людскихъ успѣховъ и подчинилъ его волѣ большую часть Европы. Какимъ образомъ могла уважающая себя нація съ такимъ безусловнымъ самопожертвованіемъ предаться во власть такой непривлекательной личности, какою представляетъ ее Ланфре? Куда дѣвался здравый смыслъ французскаго народа, что онъ не могъ отличить черты себялюбиваго хищника подъ складками генеральскаго плаща, а впоследствии и императорской мантии? Вотъ вопросы, преслѣдующіе читателя, которыхъ книга Ланфре, однакожь, не выясняетъ. Очевидно, Наполеонъ обладалъ какими-нибудь качествами, о которыхъ Ланфре умалчиваетъ, между тѣмъ ими только и можно объяснить то страстное увлеченіе, съ которымъ современники относились къ знаменитому полководцу. Эти качества столько разъ, впрочемъ, описывались французскими историками и поэтами, что дали поводъ съ созданію представленія о геніальности Наполеона. Ланфре задался изслѣдованіемъ личности императора внѣ всѣхъ этихъ представлений, внѣ всякихъ прикрасъ, съ цѣлью возстановить челоуѣка въ дѣйствительномъ его значеніи. Исполняя добросовѣстно эту задачу, Ланфре, однакожь, иногда впадаетъ въ односторонность и дѣлаетъ невѣрную оцѣнку событій.

Ланфре задался желаніемъ представить итальянца макиавелескаго закала, въ которомъ уживались вмѣстѣ два качества, съ перваго взгляда почти несомвѣстимыя: безпредѣльная страстность, выражающаяся даже жестокостью, и удивительная скрытность. Въ минуты увлеченія корсиканская кровь бросалась въ голову Наполеону и побуждала его принимать самыя рѣзкія мѣры и самыя крайнія рѣшенія; какъ ураганъ проносился онъ передъ испуганными приближенными, которые не могли дать себѣ отчета въ причинахъ и значеніи этого разнузданнаго гнѣва. Точно при всемъ своемъ умѣ и проникательности, изощренные въ интригахъ, они не могли проникнуть во всѣ темные изгибы и неожиданные тайники наполеоновскаго правительственнаго лукавства,—такого лукавства, которое само по себѣ совершенно чуждо французскому національному характеру.

Двойственность Наполеона, его равнодушіе ко всему, что люди привыкли почитать „святымъ“, его цинизмъ, съ которымъ онъ выступалъ во всеоружіи своихъ пороковъ послѣ каждаго новаго успѣха,—вотъ тѣ стороны его характера, которыя съ безпощадной логикой выясняетъ Ланфре. Представляя себѣ Наполеона, какимъ онъ изображенъ у Ланфре, невольно сравниваешь его съ итальянскими деспотами XV вѣка, которые слишкомъ легко отступались отъ своего слова и клятвъ, съ хладнокровіемъ умерщвляли мужей

своихъ любовницъ или отравляли ихъ въ причастіи и еще хвастались при всякомъ случаѣ своими низкими злодѣяніями. Таковы были итальянскіе дѣятели, портреты которыхъ начерталъ Мавкиавелли. Характеръ Наполеона въ главныхъ чертахъ сходствуетъ съ характеромъ этихъ дѣятелей,—разумѣется, въ той мѣрѣ и съ тѣми измѣненіями, которыя обусловливались требованіями современной Наполеону цивилизаціи и морали.

Большинство историковъ Наполеона пытаются доказать, что между Наполеономъ императоромъ и Бонапартомъ консуломъ существуетъ замѣтная разница: всѣ они приписываютъ болѣзненный бредъ его о всемірной монархіи поступательному движенію его успѣховъ и постепенному ошьяненію. Ланфре не соглашается съ такимъ взглядомъ. По его мнѣнію, весьма естественно, что имѣя двадцать лѣтъ отъ роду, малоизвѣстный офицеръ не могъ еще строить плановъ всемірнаго господства. Но одаренный ненасытною, безпредѣльной самонадѣянностью и страстнымъ убѣжденіемъ въ исключительности своего призванія, онъ уже въ ранній періодъ своей жизни обнаружилъ честолюбивые замыслы и деспотическія наклонности. Наполеонъ былъ истымъ итальянцемъ того періода, когда самымъ выдающимся типомъ былъ типъ кондотьери. Здравымъ смысломъ и практическимъ умѣніемъ хладнокровно обсудить вопросъ Наполеонъ никогда не отличался. Главною дѣйствующею силою являлось въ немъ воображеніе. О политическомъ геніи Наполеона было много говорено и писано. Но политическій геній въ человѣкѣ прежде всего узнается по умѣнію его узнавать дѣйствительныя потребности своего вѣка и находить средства къ ихъ удовлетворенію. Этихъ-то качествъ Ланфре не находитъ въ дѣятельности Наполеона; по его словамъ, Цезарь былъ политикъ, а Наполеонъ только отважный искатель приключеній, обладавшій богатымъ воображеніемъ, но лишенный нравственныхъ началъ и даже здраваго смысла.

Наполеонъ никогда не признавалъ никакой другой дѣйствующей силы, никакой опредѣленной цѣли, кромѣ тщеславной фантазіи собственнаго прославленія. Всю жизнь онъ стремился поймать тѣнь этой мечты. Даже создавая и пересоздавая, онъ никогда не задавался желаніемъ создать что-либо окончательно. Онъ всегда оставлялъ за собою право все измѣнять и передѣлывать въ удовлетвореніе своей ненасытной алчности. Никогда не искалъ онъ прочности созданія—вся цѣль его ограничивалась суетнымъ блескомъ и эффектомъ, производимымъ на современниковъ. Никакое величіе не могло удовлетворить его; онъ искалъ несоразмѣрности, хотѣлъ создать что-то гигантское, и видъ всего этого чувствовалъ стремленіе къ неизвѣстному, къ чудесному, къ сверхъестественному.

Вотъ почему Наполеонъ былъ всегда гораздо болѣе озабоченъ тѣмъ впечатлѣніемъ, которое могли произвести его дѣйствія, чѣмъ достиженіемъ опредѣленной цѣли. Рѣдко можно было найти художника или, лучше сказать, декоратора, одареннаго такою способностью къ сценической обстановкѣ. По мнѣнію Ланфре, Наполеонъ былъ не великимъ полководцемъ, а скорѣе „виртуозомъ“ военнаго дѣла, такъ-какъ онъ не разъ жертвовалъ вѣрнымъ, но не блестящимъ успѣхомъ въ надеждѣ сочинить какую-нибудь безпримѣрную выходку, которая заставила-бы говорить о себѣ.

Какъ государственннй дѣятель, онъ не выходилъ изъ ряда посредственностей; онъ только обладалъ умѣніемъ придать своей политикѣ, всегда по существу своему жалкой, а иногда и безчестной, обаяніе блистательнаго зрѣлища, подобно тому, какъ авторы балаганнхъ представленій и волшебныхъ пьесъ умѣютъ разнообразными пышными декораціями прикрыть убожество сюжета самой пьесы. Окончаніе затѣяннаго дѣла, а равно присканіе средствъ къ упроченію успѣха для Наполеона было дѣломъ постороннимъ и малоинтереснымъ сравнительно съ тѣми грандіозными приключеніями, которыя могли ему представиться при выполненіи задачи. Въ эту-то страсть къ приключеніямъ онъ погружался съ увлеченіемъ, такъ что вся жизнь его представляется продолжительнымъ бредомъ, безпредѣльной галлюцинаціей.

Наравнѣ съ безпредѣльнымъ воображеніемъ Наполеонъ былъ одаренъ холоднымъ и положительнымъ разсудкомъ. Какъ буйный темпераментъ его шель рука объ руку съ несравненною хитростью, такъ, съ другой стороны, въ дѣлѣ соображенія измышленная имъ фантазія принимала въ выполненіи своемъ формы, рассчитанныя съ математическою точностью. Неопредѣленнымъ и чудовищнымъ затѣямъ своего воображенія Наполеонъ умѣлъ придавать невѣроятную округленность очертаній; онъ прельщалъ увлекающихся людей широтою и необъятностью своихъ замысловъ, ослѣплявшихъ современниковъ своею дерзостью, и въ то-же время поражалъ самыхъ разсудительныхъ чрезвычайною акуратностью своихъ расчетовъ и предположеній. Экзальтація, доходящая до изступленія и представляющаяся явленіемъ преходящимъ у лицъ, обладающихъ даже значительною восторженностью, являлась у Наполеона осмысленнымъ бредомъ разсчетливаго и холоднаго ума. Къ тому-же у него существовала лихорадочная потребность къ дѣятельности, которая обусловливалась, между прочимъ, громадною способностью къ труду и такою сообразительностью, которою до него одаренъ былъ развѣ только одинъ Цезарь. Съ тѣмъ вмѣстѣ Наполеонъ обладалъ исключительнымъ талантомъ руководить людьми, играть чужими слабостями и внушать другимъ такіа страсти, которыя

самоу ему были совершенно чужды. Пользуясь людьми и вмѣстѣ съ тѣмъ презирая ихъ; не стѣсняясь разбивать жизнь тѣмъ, кто не подчинялся его затѣямъ; готовый ради избавленія себя отъ врага на ложь и даже преступленіе; закидывая съ презрѣніемъ своихъ вѣрныхъ слухъ деньгами и титулами, не находя въ своемъ сердцѣ ни одного благодушнаго слова въ пользу тѣхъ самопожертвованій, которыми такъ умѣлъ пользоваться, — Наполеонъ является личностью очаровательною, но недостойною любви. Себялюбецъ въ театральной позѣ — вотъ терминъ, который сосредоточиваетъ въ себѣ полное о немъ понятіе; гениальный комедіантъ — вотъ выводъ, который дѣлаетъ Ланфре изъ дѣятельности Наполеона.

Первые четыре тома замѣчательнаго труда Ланфре заключали въ себѣ обстоятельные уроки, которыми съ выгодною могло-бы воспользоваться правительство Наполеона III. Но, видно, уроки исторіи слѣдуютъ тому-же пути, какъ и другіе уроки опыта, т. е. они всегда являются нектати и слишкомъ поздно, когда увлекающемуся человѣчеству невозможно уже избѣгнуть жребія, обусловливаемого всѣмъ предыдущимъ ходомъ событій. Уроками, извлекаемыми изъ только-что вышедшаго пятаго тома сочиненія Ланфре, приходится пользоваться не столько французамъ, сколько ихъ сосѣдямъ-побѣдителямъ, находящимся подъ впечатлѣніемъ послѣдовательно одержанныхъ побѣдъ въ борьбѣ съ сосѣдними государствами. Ланфре очень убѣдительно показываетъ, какъ тщетна и суетна самоувѣренность, возбуждаемая въ народѣ военнымъ счастіемъ.

Этотъ томъ заключаетъ въ себѣ описаніе событій со времени битвы подъ Ваграмомъ до похода въ Россію въ 1812 г. Побѣдивъ Австрію, Наполеонъ предписываетъ ей условія мира, женится на эрцгерцогинѣ, распространяетъ свой тяжелый деспотизмъ почти на всю Европу, присоединяетъ Голандію къ французскимъ владѣніямъ и заставляетъ Пія VII короновать себя императоромъ. Казалось, нѣтъ предѣла его успѣхамъ и его значенію. Но въ это самое время въ углу Европы, въ незначительной Португаліи, начинается шевелиться протестъ, руководимый Веллингтономъ, тогда какъ въ другомъ, въ Россіи, уже готовятся къ неизбежному столкновенію съ нимъ. Великій баловень судьбы начинаетъ пользоваться плодами своей предыдущей дѣятельности, достигаетъ апогея могущества и славы и, кажется, никто уже не можетъ препятствовать его волѣ. По несчастію для него, отрицательныя качества его характера окончательно берутъ верхъ надъ всякими разумными соображеніями; властолюбію Наполеона нѣтъ уже границъ и онъ видимо начинаетъ идти быстрыми шагами къ своей гибели. Въ своихъ пораженіяхъ онъ переходитъ отъ одной несообразности къ дру-

гой. Гордость Наполеона губить все его творчество. Окружающія лица поражены и даже испуганы. Всѣ эти театральныя замашки, всѣ эти гигантскіе и часто сумасбродные планы, провозглашаемые публично съ неосторожною самонадѣянностью, беспокоятъ тѣхъ изъ приверженцевъ новой системы, которые не лишились еще остатковъ здраваго смысла. Морской министръ Декре, обладающій холоднымъ разсудкомъ и неумолимою логикою, поздравляя Мармона съ маршальскимъ жезломъ, говоритъ ему: „Итакъ, вы очень довольны, что попали въ маршалы; вы готовы теперь все видѣть въ розовомъ свѣтѣ! А я вамъ говорю, что императоръ съ ума сходитъ въ буквальномъ значеніи этого слова. Вы увидите, что онъ повалится съ страшнымъ трескомъ съ вершины своего величія и насъ всѣхъ потянетъ за собою! Все это кончится безпримѣрною катастрофою“. Послѣдствія доказали, что Декре былъ правъ.

На этихъ событіяхъ, предшествовавшихъ походу въ Россію, и предусмотрѣнной Декре катастрофѣ Ланфре останавливается съ особымъ вниманіемъ. Читателю такъ и кажется, что передъ нимъ проносится четвертый актъ хорошо скомпонованной трагедіи; характеры дѣйствующихъ лицъ окончательно очерчены, ходъ драматической интриги связанъ сложною и приковывающею вниманіе завязкою, послѣдовательность событій доведена до той минуты, когда дѣйствіе останавливается, завязанное въ узелъ, и приводитъ всѣ соображенія читателя къ томительному ожиданію,—все, однимъ словомъ, готово для развязки необходимой, неотвратимой, исходящей изъ логики событій. Опасность чувствуется вездѣ, какъ внутри государства, такъ и извнѣ. Въ самой Франціи все очевидное и очевидное выражается общественный протестъ; чтобы совладать съ нимъ, у Наполеона не хватаетъ силъ. Человѣкъ безспорно съ замѣчательными способностями и сильной волей, Наполеонъ, однакожь, не выдерживаетъ сравненія съ такими сильными личностями, какъ Александръ Македонскій, Цезарь или Петръ I, потому что отличительною чертою всѣхъ этихъ дѣятелей была всеобщность и воспріимчивость, тогда какъ умъ Наполеона былъ годенъ только для одной специальности, внѣ которой онъ съ трудомъ усваивалъ себѣ предметы. Впрочемъ, въ дѣйствіяхъ своихъ въ предѣлахъ этой специальности Наполеонъ выказалъ изумительную сосредоточенность и силу. Какъ полководецъ, Наполеонъ едва-ли имѣетъ соперниковъ. Его также считаютъ замѣчательнымъ организаторомъ; правда, онъ обладалъ организаторскими способностями; хотя онъ дѣйствовалъ иногда безъ системы, но всегда, по какому-то инстинкту, умѣлъ такъ группировать свою дѣятельность, что придавалъ добытымъ результатамъ прочность, умѣлъ водворять порядокъ. Но порядокъ въ правительственной

системѣ и въ обществѣ онъ понималъ не иначе, какъ въ видѣ той безусловной правильности и пассивной дисциплины, которую отличаются полковыя движенія на маневрахъ. Поэтому онъ не терпѣлъ проявленія самостоятельности; все, что выходило изъ ряда, все, что не могло подчиниться усвоенной имъ мысли уравниенія,— все это его оскорбляло и возбуждало противъ себя. Во всякомъ подобномъ дѣйствіи онъ видѣлъ возстаніе, оппозицію противъ собственной власти. Предметы отвлеченныя, движенія духа, протесты ума человѣческаго были для него непонятны: онъ не признавалъ возможности бытія въ такихъ проявленіяхъ жизни, которыхъ нельзя отстранить ударомъ сабли или тюремнымъ заключеніемъ. Умъ, совѣсть—это понятія отвлеченныя; съ литературнымъ протестомъ справиться нетрудно; когда г-жа Сталь вздумала подать признаки жизни, когда ея сочиненіе явилось протестомъ, Наполеонъ прибѣгъ къ обычнымъ крутымъ мѣрамъ. Изгнанная жандармами, г-жа Сталь понесла по всей Европѣ свой краснорѣчивый плащъ, не мало повредившій Наполеону въ глазахъ безусловно довѣрившихъ звѣздъ его современниковъ. На основаніи того-же принципа поступилъ Наполеонъ и съ папою, засадивъ его въ Венсенъ.

Внѣшнія опасности въ это время были не менѣе серьезны. При той практичности ума, какою обладалъ Наполеонъ, онъ легко могъ-бы ихъ замѣтить, изучить и приготовиться къ отпору, если-бы не былъ такъ сильно увлеченъ своимъ казарменнымъ порядкомъ и своими побѣдами; подъ ихъ покровомъ онъ считалъ себя всесильнымъ, недосыгаемымъ. Между тѣмъ Франція не имѣла въ Европѣ ни одного союзника, на котораго могла-бы рассчитывать въ случаѣ, если-бы счастье повернулось; испанская война продолжалась скорѣе съ невыгодой, чѣмъ въ пользу французовъ; французскіе отряды, разбросанные по всей Испаніи, не могли быть сосредоточены для общаго дѣйствія, потому что командующіе ими генералы не хотѣли повиноваться никому, кромѣ Наполеона, а его-то въ Испаніи и не было. „Отчего-же его тамъ не было? спрашиваетъ Ланфре.— Отчего ограничивался онъ посылкою своимъ генераламъ однихъ невыполнимыхъ плановъ, которыхъ, и то надо сказать, никто выполнять и не думалъ? Какъ могъ онъ довольствоваться ролью чистаго дилетанта военнаго дѣла, занимаясь ученою критикою всѣхъ послѣдовательныхъ дѣйствій своего войска и произнося то одобреніе, то хулу, точно дѣло шло о дѣятеляхъ древняго міра? Очевидно, что если Наполеонъ и понималъ когда-нибудь цѣль своего испанскаго предпріятія, то въ описываемую минуту пересталъ ее понимать или потерялъ ее окончательно изъ виду. Другія мысли блуждали въ его широкомъ воображеніи—и новое предпріятіе занимало всѣ его мыслительныя способности, передъ которымъ испанская

война была только частнымъ случаемъ, подробностью, исчезавшею въ интересъ общаго дѣла“.

Такова была система, которой держался Наполеонъ. Онъ предпочиталъ поверхностно относиться къ подробностямъ исполненія своихъ плановъ, лишь-бы имѣть возможность въ данный моментъ сосредоточить всю свою силу на одномъ пунктѣ и нанести разомъ такой ударъ, который разрѣшалъ-бы не только главный вопросъ, но и самыя отдаленныя его развѣтвленія. Онъ твердо держался убѣжденія, что недостаточно обезоружить врага, выхвативъ у него мечъ изъ рукъ или сбросивъ съ походной колесницы, а лучше покончить съ нимъ разомъ, однимъ ударомъ въ самое сердце. Наполеону приходилось рассчитывать не только на свои силы, но и на счастье, ставить судьбу не только свою, но и созданнаго имъ государства и всей націи на одну карту. Онъ вѣрилъ въ свою звѣзду. До похода въ Россію его смѣлая система дѣйствій постоянно сопровождалась успѣхомъ; онъ достигалъ цѣли, овладѣвалъ ею дружнымъ напоромъ всѣхъ сосредоточенныхъ силъ и все уносилъ за собою.

Но наступило время, когда могучій побѣдитель, упоенный успѣхами, ослѣпленный своимъ счастьемъ и гордый удачами, сдѣлался до крайности самонадѣяннѣмъ, неблагоприятнѣмъ, и потому потерялъ способность къ точности расчетовъ, которою онъ отличался прежде. Онъ надѣялся, напримѣръ, что испанская война кончится съ побѣдою при Ваграмѣ, и ошибся. Онъ рассчитывалъ, что папа и церковь поворотятся его волѣ, а они продолжали сопротивляться. Что-же тутъ было дѣлать? Заняться разрѣшеніемъ каждаго изъ этихъ вопросовъ въ отдѣльности, изучить подробности, усложнявшія и затруднявшія достиженіе желаемого исхода? Нѣтъ, такую работу Наполеонъ считалъ слишкомъ мелкой для своего гения. Ему казалось короче и проще идти въ Россію и, завладѣвъ Петербургомъ и Москвою, оттуда покончить со всѣми недоразумѣніями, которыя были возбуждены его политикою. Послѣ такого удара ни Испанія, ни папа не посмѣютъ болѣе сопротивляться владыкѣ міра.

Такова была система дѣйствій Наполеона. Для разрѣшенія одной трудной задачи онъ создавалъ другую, еще болѣе затруднительную. Недоразумѣнія накапливались, а онъ привыкъ разрѣшать ихъ не иначе, какъ разсѣкая гордіевъ узелъ. Рано или поздно онъ долженъ былъ встрѣтить узелъ, который разсѣчь невозможно, и естественнымъ послѣдствіемъ этого—полное пораженіе. Что и случилось.

Главной выдающеюся чертой характера Наполеона была потребность во лжи, которая постоянно проявлялась во всей его дѣя-

тельности. Наполеонъ никогда не стѣснялся въ выборѣ средствъ, но излюбленное имъ средство къ достиженію цѣли была ложь, смѣлая, нахальная, проникнутая гордостью, хвастливая итальянская ложь. Если онъ не глалъ просто изъ любви къ искусству, какъ глутъ многіе глуты по страсти, то и не пренебрегалъ ложью ни въ одномъ изъ случаевъ, гдѣ она могла служить его интересамъ. Поразить современниковъ и обмануть—вотъ вся его система. На этотъ счетъ показанія всѣхъ историковъ, писавшихъ о Наполеонѣ, сходятся, и Ланфре приходилось только подбирать доводы, доказательства и анекдоты, давно уже извѣстные. Между прочими онъ сообщаетъ одинъ очень интересный анекдотъ, ярко характеризующій страсть Наполеона ко лжи, которая проявлялась при всякомъ случаѣ. Наполеону былъ представленъ проектъ о преобразованіи государственныхъ тюремъ. Онъ былъ представленъ безъ объяснительной записки, во всей наготѣ тѣхъ жестокихъ предположеній, которыя были начертаны, и Наполеонъ испугался того впечатлѣнія, которое могъ произвести на публику новый законъ; въ полномъ присутствіи государственнаго совѣта онъ замѣтилъ: „тутъ не достаетъ двухъ страницъ соображеній, которыя заключали-бы въ себѣ нѣсколько *либеральныхъ мыслей!*“

Мало-по-малу ложь, по словамъ Ланфре, сдѣлалась для Наполеона необходимостью, привычкою; онъ чувствовалъ потребность лгать даже тогда, когда твердо былъ убѣжденъ, что никто ему не повѣритъ. Ложь, впрочемъ, всегда была характеристическимъ порокомъ его, сбившимъ его съ толку при оцѣнѣ дѣйствительныхъ силъ его и страны. Въ личнаго интереса онъ ничего не признавалъ и отвергалъ всѣ благородныя побужденія, влияющія на челоуѣка. Противъ этихъ побужденій, для него непонятныхъ, онъ всегда боролся и рѣшился идти въ русскій походъ, отвергая возможность народной войны въ Россіи, хотя Испанія могла-бы служить для него убѣдительнымъ доводомъ.

Деспотизмъ и самонадѣянность отняли у Наполеона здравый смыслъ и довели его до того, что онъ пересталъ признавать за истину даже то, что было очевиднымъ, какъ только истина не льстила его гордости и самообольщенію. Привыкнувъ скрывать истину и перетолковывать факты на свой ладъ, онъ не признавалъ этой истины, если она расходилась съ видами его воображенія. Въ тотъ самый моментъ, когда онъ готовился къ походу, одинъ изъ генераловъ обратилъ вниманіе его на волненіе въ умахъ, проявлявшееся повсемѣстно отъ венгерскихъ равнинъ до береговъ Рейна, но это указаніе вызвало со стороны императора только слѣдующее характеристическое замѣчаніе, помѣщенное въ письмѣ къ министру внутреннихъ дѣлъ. „Не понимаю, съ чего Раппъ виѣшивается въ

вопросы, до него не касающіеся... Мое время слишкомъ дорого, чтобы тратить его на выслушиваніе подобныхъ пустяковъ. *Все это раздражаетъ только мое воображеніе безсмысленными картинками и соображеніями*“. Но это-же самое волненіе въ умахъ побудило его годомъ позже бросить армію послѣ знаменитаго отступленія. Какъ-же не обратилъ онъ на него вниманія ранѣе, отправляясь въ походъ и ведя за собою сотни тысячъ людей въ безсмысленное предпріятіе, которое могло только кончиться погибелью двинутыхъ массъ? Въ 1811 году подобныхъ предостереженій было не мало, но онъ не хотѣлъ даже выслушать ни одного изъ нихъ и раздражался, если его предостерегали.

„Такимъ-то образомъ, заключаетъ Ланфре,—этотъ великій наблюдатель, проникавшій до того всѣ тайны хода событій и умѣвшій съ исключительною вѣрностью расчитать постепенное движеніе свое по пути успѣховъ, дошелъ до того, что сталъ, подобно ребенку, выходить изъ терпѣнія при соображеніи неблагоприятныхъ къ его замысламъ, но спокойно и державно слѣдующихъ другъ за другомъ событій. Обстоятельства, имѣвшія неосторожность ему не понравиться, онъ сталъ считать невозможными и неимѣвшими мѣста, или, лучше сказать, отстранялъ ихъ изъ своихъ соображеній, точно король отстраняетъ изъ своего дворца тѣхъ царедворцевъ, которые по независимости мнѣній становятся для него неприятными. Онъ не хотѣлъ болѣе унижаться до споровъ съ силою обстоятельствъ. Всякое препятствіе переставало въ его глазахъ имѣть какое-либо значеніе, какъ скоро онъ отвергъ его существованіе. Вотъ къ какому результату привело его десятилѣтнее пользованіе неограниченною властью! Въ концѣ этого-же 1811 года, окончившагося съ столь дурными предзнаменованіями, нашелся, однако, и таковой день, когда искра мудрости вдругъ пронеслась передъ закружившимся императоромъ. Въ этотъ день онъ потребовалъ отъ своего бібліотекаря все, „что можно было найти на французскомъ языкѣ о походѣ Карла XII въ Россію“. Было-ли это предчувствіе или онъ хотѣлъ въ дѣятельности шведскаго героя найти слабую сторону, которая самъ надѣялся обойти и этимъ присвоить еще лишній доводъ одобрить свои собственныя дѣйствія? Впечатлѣніе, произведенное на него чтеніемъ сочиненій о Карлѣ XII, осталось неизвѣстнымъ; одно очевидно, что Наполеонъ не сумѣлъ извлечь изъ этого чтенія никакого урока. Для человѣка, желающаго погибнуть, все можетъ служить западнею и средствомъ къ этой гибели, даже то, что могло-бы его спасти“.

Этими строками оканчивается пятый томъ сочиненія Ланфре. Слѣдующій томъ, въ который войдетъ описаніе похода въ Россію,

представляет особый интерес для насъ, русскихъ. По выходѣ этого тома я не замедлю познакомить съ нимъ читателей „Дѣла“.

15 іюля.

Изъ книгъ, вышедшихъ въ послѣднее время, пользуется особеннымъ вниманіемъ парижской публики сочиненія Жаколіо, известнаго любознательнаго путешественника и интереснаго рассказчика, бывшаго нѣсколько лѣтъ въ Индіи. Въ своемъ послѣднемъ сочиненіи Жаколіо явился ученымъ и философомъ. Онъ занялся вопросами сравнительной исторіи религій, начало которыхъ, по его мнѣнію, слѣдуетъ искать въ Индостанѣ. Онъ говоритъ, что Персія, Халдея, Египеть, Іудея и Греція вынесли основанія своихъ религиозныхъ преданій изъ Индіи, и подъ впечатлѣніемъ разнообразныхъ вліяній, которымъ онѣ подвергались во время переселенія народовъ, только видоизмѣнили ихъ.

Сравнительная мифологія вышла изъ дѣтскаго возраста съ того времени, какъ ученый европейскій міръ ознакомился съ памятниками санскритскаго языка и словесности. Изученіе этихъ памятниковъ показало, что большая часть живыхъ европейскихъ языковъ имѣетъ одно происхожденіе. Но Жаколіо первый обстоятельно доказалъ единство происхожденія многочисленныхъ и разнообразныхъ религиозныхъ воззрѣній и преданій. Выводы, сдѣланные Жаколіо послѣ тщательнаго изученія подлинныхъ источниковъ, поразили ученыхъ своею новизною. Я, однакожь, не буду останавливаться на нихъ, такъ-какъ это завело-бы меня далеко за предѣлы, которыми долженъ ограничивать себя корреспондентъ, на обязанности котораго лежитъ обзорѣніе выдающихся фактовъ общественной жизни. Я остановлюсь только на главѣ сочиненія Жаколіо, посвященной индійскому спиритизму. Стѣшу оговориться, во избѣжаніе недоразумѣнія, что Жаколіо не мистикъ; онъ не принадлежитъ къ числу послѣдователей спиритическаго ученія; онъ относится съ полнымъ недоумѣріемъ къ восточному шарлатанству; онъ отзывается о жрецахъ тономъ безусловнаго скептицизма; онъ не признаетъ тѣхъ необъяснимыхъ фактовъ, которые происходили передъ его глазами, явленіями сверхъестественными; онъ говоритъ только, что объяснить ихъ пока невозможно, такъ-какъ для этого не собрано провѣренныхъ фактовъ. Онъ описываетъ то, что происходило передъ его глазами, и находитъ, что явленія эти на-столько интересны, что достойны спеціальнаго изученія.

Индусы вѣрятъ въ возможность сношенія съ невидимыми душами, также какъ европейскіе и американскіе спириты. Медіумами у нихъ являются обыкновенно факиры. Жаколіо вошелъ въ тѣсныя

сношенія съ факирами и они показали ему цѣлый рядъ спиритическихъ явленій. Жаколио твердо увѣренъ, что въ моменты опытовъ онъ не былъ подверженъ галлюцинаціямъ и дѣйствительно видѣлъ то, что описываетъ. Конечно, можно-бы на это сказать г. Жаколио, что люди, подвергавшіеся галлюцинаціямъ, очень часто не сознаютъ этого и бываютъ вполне увѣрены, что видѣнное ими въ галлюцинаціяхъ они наблюдали въ дѣйствительности. А теперь обратимся къ описаніямъ Жаколио.

Индусы, какъ европейскіе и американскіе спириты, приписываютъ спиритическія явленія дѣйствію душъ людей умершихъ. Индусскій спиритизмъ отличается отъ европейскаго тѣмъ, что тамъ медіумомъ можетъ быть не всякій. Медіумическая способность даруется только посвященнымъ. Посвященіе это начинается чуть не съ колыбели, потому что каста браминовъ ревностно охраняетъ свои наследственные преимущества и свою обособленность. Существуетъ множество степеней посвященія. Дойти до высшихъ можно только въ старости.

Всѣ подробности обыденной жизни брамина предусмотрѣны и напередъ регулированы. Рядъ обрядовъ, замѣчательныхъ по своей сложности, вставляетъ въ опредѣленную рамку жизнь брамина съ самаго юношества до глубокой старости. Если онъ пожелаетъ остановиться на низшихъ степеняхъ, то стѣсненіе его ограничивается нѣкоторою излишнею обрядностью въ семейной и домашней жизни. Но если онъ пожелаетъ пройти всю іерархическую карьеру своей касты, проникнуть во всѣ таинства браминской науки, войти въ духовную связь съ невидимыми духами, то жизнь его становится почти мученическою; онъ проводитъ ее въ безконечныхъ постахъ и бдѣніяхъ, въ непрерывныхъ лишеніяхъ и самомъ жестокоемъ умерщвленіи плоти; онъ по собственной волѣ совершенно выдѣляется изъ людскаго общества и посвящаетъ всю жизнь восторженному созерцанію божественнаго величія и суровому наслажденію измысленными имъ для себя мученіями.

Оставляя въ сторонѣ массу шарлатановъ, которыхъ здѣсь не мало, нужно отдать справедливость, что индійскіе факиры довели до высшей степени совершенства умѣніе умирать постепенно, преодолевая не только страсти, но и потребности. Возможность войти въ сношенія съ душами умершихъ, найти средство вызывать ихъ, побудить ихъ таинственными, по преданію передающимися заклинаніями, засвидѣтельствовать свое присутствіе при нашей жизни посредствомъ явленій самыхъ необыкновенныхъ, — вотъ одна изъ цѣлей, къ которой стремится каждый факиръ [путемъ непрерывныхъ добровольныхъ мученій и самоистязаній. Но эта цѣль достигается немногими, потому что очень немногіе способны вынести тѣ му-

ченія, которыя даютъ право на посвященіе въ высшую степень факирства.

Жаколіо встрѣтилъ въ Бенаресѣ, святомъ городѣ индусовъ, расположенномъ на берегу Ганга, одного изъ замѣчательнѣйшихъ факировъ. Этотъ факиръ прибылъ въ Бенаресъ съ юга, влача за собою смертные останки одного состоятельнаго малабарца, пожелавшаго, чтобы его похоронили въ водахъ святой рѣки. Исполненіе всѣхъ условленныхъ обрядовъ задержало факира на нѣкоторое время въ Бенаресѣ. Жаколіо сошелся съ нимъ довольно легко и съумѣлъ внушить ему довѣріе, потому что говорилъ нарѣчіемъ той страны, изъ которой прибылъ факиръ, тогда-какъ прочее населеніе Бенареса объясняется совсѣмъ на другомъ языкѣ. Жаколіо успѣлъ добиться, чтобы факиръ разрѣшилъ ему присутствовать при вызовѣ имъ духовъ.

Жаколіо описываетъ этого факира замѣчательнымъ стоикомъ, неустойчивымъ въ избранной дѣятельности, исхудалымъ до крайности вслѣдствіе безконечныхъ постовъ и бессонныхъ ночей, поражающимъ собесѣдника своимъ неподвижнымъ, но глубокимъ взглядомъ, чуждымъ всякой страсти и увлекающимся только при мысли о любви своей къ родинѣ, отъ которой тѣмъ не менѣе онъ отказывается, чтобы умереть въ другомъ мѣстѣ, исполняя предписанные обряды.

Спустя четыре года послѣ перваго знакомства своего съ этимъ факиромъ Жаколіо посѣтилъ въ арунгабадской провинціи подземный храмъ, служившій мѣстомъ богомолья для многочисленныхъ странниковъ. Въ этомъ храмѣ самые пламенные факиры приносили послѣднія жертвы одушевлявшей ихъ идеѣ, ожидая смерти въ ужасныхъ, измышляемыхъ ими-же для себя мученіяхъ, сидя день и ночь передъ пылающими огнями, поддерживаемыми приношеніями вѣрныхъ, питаясь въ день нѣсколькими рисовыми зернами и вдыхая воздухъ при посредствѣ особой повязки, съ цѣлью допустить свое тѣло къ соприкосновенію съ воздухомъ, лишь окончательно освобожденнымъ отъ всякой нечистоты. Одинъ изъ этихъ кающихся грѣшниковъ отличался отъ прочихъ особенно мучительной обстановкой; Жаколіо узналъ въ немъ своего бенаресскаго знакомаго. На всѣ свои вопросы Жаколіо могъ добиться отъ него только одного краткаго отвѣта на древне-санскритскомъ языкѣ, что онъ отказался теперь окончательно отъ всякой земной страсти и похоти.

Вотъ тѣ люди, которые ознакомили Жаколіо съ явленіями индускаго спиритизма. Обстановка была нѣсколько иная, чѣмъ представляется она въ фокусничествѣ европейскихъ медиумовъ и тривіальномъ процесѣ Бюге! И самыя явленія были значительно гран-

діозніе фокусовъ Юма, Бредифа и другихъ медіумовъ европейскаго и американскаго спиритизма.

Знакомый Жаколіо факиръ однимъ приближеніемъ рукъ приводилъ въ движеніе огромный мѣдный сосудъ, наполненный водою, который и пустой могли сдвинуть съ мѣста только два человека: едва факиръ приблизилъ свои руки по направленію къ этому сосуду, какъ онъ сталъ двигаться и приближаться постепенно къ нему. Изнутри сосуда слышались звуки, похожіе на игру органички; самый сосудъ качался въ разныя стороны, подымался на воздухъ безъ всякой поддержки и опускался на землю безъ шума. Затѣмъ факиръ производитъ опыты по указанію Жаколіо, который потребовалъ пригвоздить къ полу небольшой столикъ; этотъ столъ дѣйствительно такъ сильно прикрѣпился къ полу, что сдвинуть его съ мѣста можно было только изломавъ его на части. Далѣе небольшой кусокъ дерева, брошенный на песокъ, рисовалъ тѣ фигуры, которыя Жаколіо чертилъ на листѣ бумаги, притомъ такъ, что факиръ не видалъ измышляемыхъ имъ рисунковъ. Этотъ же кусокъ дерева писалъ на песокѣ тѣ слова, которыя задумывалъ Жаколіо; онъ же написалъ строфу изъ священныхъ книгъ по указанію одного только ея нумера, написалъ нѣсколько начальныхъ словъ выбранной Жаколіо страницы изъ закрытой книги, и, наконецъ, далъ отвѣтъ на мысленный вопросъ Жаколіо. Въ какіе-нибудь два часа изъ зерна дыннаго дерева, дающаго обыкновенно ростокъ не ранѣе двухъ недѣль послѣ помѣщенія его въ землю, выросъ послѣ наложенія рукъ факира стволъ вышиною въ 20 сантиметровъ, покрытый листьями.

На вопросъ Жаколіо, гдѣ искать причину этихъ явленій, факиръ отвѣтилъ, что они производятся душами умершихъ, которыя подобнымъ способомъ отвѣтствуютъ на его призывъ. На послѣднемъ сеансѣ Жаколіо спросилъ факира, отчего души умершихъ проявляютъ именно такимъ, нѣсколько страннымъ способомъ свое существованіе? Онъ отвѣтилъ еще болѣе странными явленіями, которыя я предпочитаю передать подлинными словами автора:

„Во всякомъ индійскомъ жилищѣ можно найти небольшія мѣдныя жаровни, служащія для варки пици. Факиръ поставилъ одну такую жаровню посреди комнаты, затѣмъ прилегъ на землю и запѣлъ длинную пѣсню на неизвѣстномъ языкѣ. Послѣдовавшее затѣмъ явленіе было до такой степени необыкновенно, что я не могъ не вздрогнуть: по комнатѣ пронеслось какое-то блестящее облако и со всѣхъ сторонъ я увидѣлъ себя окруженнымъ рядомъ очертаній, весьма похожихъ на человѣческія руки; эти руки исходили изъ облака и втягивались имъ обратно. Я хотѣлъ спросить у факира, можно мнѣ тронуть эти руки, но не успѣлъ промолвить

о своемъ желаніи, какъ одна изъ рукъ, маленькая и мягкая, очевидно женская, отдѣлилась отъ облака и пожала мою протянутую руку... Втеченіи двухъ часовъ продолжалось это явленіе, которое могло довести человѣка до помѣшательства; то чувствовалъ я какъ одна изъ летающихъ рукъ дотрогивалась до моего лица, то видѣлъ, какъ другая рассыпала по комнатѣ массу цвѣтовъ, то, наконецъ, ясно различалъ, какъ третья писала по воздуху огненными буквами какія-то слова, исчезающія немедленно послѣ начертанія послѣдней буквы... Вслѣдъ затѣмъ руки исчезли и облако приняло очертанія стараго брамина, на колѣняхъ приносящаго жертву богамъ все на той-же жаровнѣ“...

На этой выпискѣ я останавлиюсь, потому что количество выписокъ нисколько не свидѣтельствуетъ о вѣрности описываемаго факта. Вопросъ въ томъ, какое заключеніе можемъ мы вывести изъ всѣхъ описаній Жаколіо, и можемъ-ли мы вообще придти къ какому-либо заключенію? Развѣ только къ одному, что фокусы европейскихъ спиритовъ заимствованы отъ индусовъ, такъ-какъ явленія и тамъ, и здѣсь однозначущи.

Книга Жаколіо произвела сильное впечатлѣніе, но также и вызвала много опроверженій. Одни изъ критиковъ рѣшили, что всѣ эти явленія Жаколіо видѣлъ подъ вліяніемъ галлюцинацій; другіе объявили ученаго спиритомъ. Но скоро мнѣніе о спиритическихъ тенденціяхъ Жаколіо было оставлено. Участіе, принятое имъ въ изобличеніи американскаго шарлатана-спирита, пользовавшагося своимъ поклонникамъ въ видѣ маленькаго черненькаго индѣйца, отстранило всякое обвиненіе Жаколіо въ спиритизмѣ.

Въ заключеніе скажу, что книга Жаколіо чрезвычайно интересна по обилію фактовъ и по своему прекрасному, вполне литературному изложенію.

25 іюля.

Трагедія Борнѣ „Дочь Ролана“ выдержала шестнадцать изданий втеченіи пяти мѣсяцевъ. Фактъ такого необычайнаго успѣха трагедіи въ стихахъ, пользующейся необыкновеннымъ успѣхомъ и на сценѣ, имѣетъ право на серьезное вниманіе изслѣдователя.

Посмотрѣвъ эту пьесу на сценѣ, я легко объяснилъ себѣ значительный успѣхъ ея и рядъ послѣдовательныхъ ея изданій, раскупаемыхъ на расхватъ: патриотическая струнка населенія затронута! Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ пьесы театръ дрожитъ отъ рукоплесканій, потому что діалоги заключаютъ въ себѣ намеки на современные событія.

Сюжетъ трагедіи заимствованъ изъ древней французской легенды. На сценѣ Карлъ Великій, императоръ германскій и король

франковъ; онъ представленъ въ томъ образѣ, какъ его рисуютъ народныя сказанія. Этотъ государь играетъ въ исторіи Франціи-же роль эпического героя, каковая обыкновенно присвоивается поэзію каждаго народа лицу, выразившему своей дѣятельностію древнее величіе націи; въ Англіи подобная роль принадлежитъ Альфреду Великому, въ Германіи—Фридриху Барбароссѣ, у насъ—Владиміру. Эти герои, по сказаніямъ народныхъ легендъ, великіе военные люди и великіе администраторы, собиравшіе вокругъ себя цѣлыя другія герои, богатырей, витязей и сподвижниковъ. Въ эпическомъ обличій является Карлъ и въ разбираемой трагедіи; портретъ его, здѣсь нарисованный, во многомъ не сходится съ дѣйствительнымъ Карломъ, какимъ представляютъ его безпристрастныя историческія изслѣдованія.

Такимъ-же легендарнымъ героемъ представляется и Роланъ, племянникъ Карла Великаго, воспѣтый Аріостомъ. Въ исторической лѣтописи, служащей главнѣйшимъ основаніемъ для возстановленія фактической стороны французской исторіи, о немъ говорится только, что онъ погибъ во время отступленія императора отъ границъ Испаніи. Но народная поэзія придаетъ ему героическія черты: въ древней гасконской пѣснѣ Роланъ является богатыремъ, проникнутымъ страстною любовью къ своему отечеству и государю, ненавидящимъ язычниковъ и магометанъ и поклявшимся истребить ихъ до послѣдняго человѣка. Аrenoю его геройскихъ подвиговъ служитъ часть Испаніи, принадлежавшая маврамъ. Вся легенда наполнена разсказами объ эпической борьбѣ двухъ сосѣднихъ расъ, о побѣдахъ христіанъ, о мавританскихъ царькахъ, захваченныхъ витязями и приведенныхъ ими въ рабство. Она кончается возвращеніемъ Ролана въ отечество и предательскою измѣною одного изъ подчиненныхъ ему вождей, Ганелона, который, завидуя успѣхамъ своего предводителя, рѣшается предать его въ руки непріятели. Напрасно герой трубитъ въ свой косяной рогъ: эти звуки слишкомъ поздно достигаютъ до Карла Великаго, который подоспѣваетъ съ помощью уже послѣ гибели своего войска. Аріосто, воспользовавшійся героическимъ сюжетомъ французской легенды, внесъ много романическаго элемента въ свое произведеніе; у него Роланъ теряетъ уже исключительно-героическій силуэтъ, присвоиваемый ему народною пѣснью; въ поэмѣ Аріосто французскій богатырь увлекается любовью до самозабвенія и нѣсколько напоминаетъ собою итальянскаго вондотъери. Въ поэмѣ значительную роль играетъ женщина, красавица Ауда, умирающая у ногъ Карла Великаго при полученіи извѣстія о гибели ея героя.

Видя въ Карлѣ Великому олицетвореніе генія, положившаго

основаніе исторической роли французскаго народа, легенда въ Роланѣ сосредоточила тѣ качества смѣлости, храбрости и самопожертвованія, которыя она считала достояніемъ народнаго характера. Историческое преданіе слишкомъ ограничивало роль Ролана; народная поэзія соединила въ немъ представленіе о всевозможныхъ рыцарскихъ достоинствахъ. Однимъ словомъ, въ преданіи императоръ является представителемъ интеллектуальнаго движенія своего времени; Роланъ-же представляетъ собою дѣятельную силу, въ которой проявилось это движеніе.

Пьеса Борнье идетъ, дальше легенды и даже Аріосто. Весь сюжетъ ея обязанъ своимъ существованіемъ воображенію автора, который, такъ-сказать, только приурочилъ свое созданіе къ лицу измѣнника Ганелона, привязаннаго, по приказанію императора, къ хвосту дикаго коня, увлекшаго его грѣшное тѣло за собою въ невѣдомые лѣса и горы. Утомленный конь, наконецъ, остановился. Тѣло измученнаго измѣнника найдено добродушными монахами, которые приютили его у себя, заживили его раны и предоставили ему возможность добраться до береговъ Рейна, гдѣ, двадцать лѣтъ спустя, Ганелонъ является уже феодальнымъ владѣтелемъ замка, подъ именемъ графа Амори.

Двадцать лѣтъ угрызеній совѣсти и покаянія не успокоили грѣшника, преслѣдуемаго кровавыми видѣніями и воспоминаніями.

Первое дѣйствіе трагедіи происходитъ въ замкѣ Амори-Ганелона. Въ первой сценѣ мы узнаемъ, что въ замкѣ ожидаютъ возвращенія хозяина, находящагося въ отсутствіи уже цѣлый мѣсяць. Является и онъ, мрачный и блѣдный. Въ разговорѣ съ своимъ исповѣдникомъ, монахомъ, спасшимъ его отъ смерти, графъ открываетъ причины преслѣдующей его грусти. Отлучка его изъ замка объясняется путешествіемъ въ долину Ронсевала, куда онъ ходилъ замаливать свое предательство; три дня онъ ходилъ по мѣсту, возбуждающему въ немъ страшныя воспоминанія, взывая къ тѣнямъ двѣнадцати витязей, измѣннически преданныхъ имъ въ руки сарациновъ, слезно оплакивая свой поступокъ и выжидая со страхомъ появленія тѣни Ролана. Напрасно несчастный ожидалъ слова прощенія на самомъ мѣстѣ своего преступленія, — незримый голосъ, голосъ совѣсти, отвѣтилъ на его мольбы: „Никогда, никогда!“

Сцена эта не лишена драматизма, но она вводная, имѣющая только косвенную связь съ главнымъ сюжетомъ трагедіи. То-же можно сказать вообще о двухъ первыхъ дѣйствіяхъ трагедіи, въ которыхъ интересъ сосредоточенъ исключительно на Ганелонѣ. Узнаютъ-ли, наконецъ, окружающіе, кто скрывается подъ именемъ графа Амори? Что станетъ съ сыномъ его, когда онъ узнаетъ,

кто его отецъ? Каково будетъ впечатлѣніе, которое онъ произведетъ на стараго герцога баварскаго, посланнаго императоромъ къ Амори, чтобы пригласить его къ своему феодальному владыкѣ? А что, какъ самъ Карлъ различитъ въ чертахъ графа Амори памятное ему выраженіе лица измѣнника? Вотъ вопросы, которые съ перваго шагу интересуютъ зрителя. Что значить для несчастнаго Ганелона вынести самое безчеловѣчное наказаніе, которое могъ-бы для него придумать императоръ, въ сравненіи съ возможностью потерять привязанность и уваженіе сына? Презрѣніе этого юноши, а можетъ быть, проклятiе его — вотъ что болѣе всего пугаетъ Ганелона. Когда въ третьемъ дѣйствіи весь интересъ пьесы сосредоточивается на молодомъ Жеральдѣ, сынѣ Ганелона, зритель невольно задаетъ себѣ вопросъ, зачѣмъ авторъ такъ долго привывалъ его вниманіе къ легендарному измѣннику, неиграющему въ сюжетѣ пьесы дѣятельной роли? Къ чему изъ четырехъ дѣйствій трагедіи два посвящаются очертанію личностей и происшествій, о которыхъ можно-бы было упомянуть весьма коротко, вскользь?

На-столько-же лишнею представляется въ пьесѣ личность саксонца Рагенгардта, плѣнннаго оруженосцами Ганелона. Неизвѣстно для чего онъ обращается въ христіанство и появляется вездѣ за Ганелономъ, страдая его публичнымъ разглашеніемъ его тайны.

Третье дѣйствіе происходитъ въ Ахенѣ, резиденціи Карла Великаго. Какой-то сарацинъ, успѣвшій завладѣть ролановымъ мечомъ на полѣ битвы въ Ронсевалѣ, приглашаетъ всѣхъ рыцарей и бароновъ, находившихся при дворѣ Карла Великаго, отнять у него на поединкѣ этотъ мечъ. Уже тридцать рыцарей принимали вызовъ, выходили на единоборство и всѣ погибли подъ ударами побѣдоноснаго меча. Старикъ императоръ плачетъ чуть не кровавыми слезами; онъ рѣшается, несмотря на старые годы, самъ выступить на борьбу; ему легче умереть, чѣмъ пережить подобное униженіе! Но въ самую минуту, когда сарацинъ выкрикиваетъ въ тридцать первый разъ свой вызовъ, раздается звонъ серебрянаго колокола, извѣщающаго императорскій дворъ о прибытіи новаго героя. Прибылъ Жеральдъ, предлагающій сразиться съ мавромъ вмѣсто императора. Тутъ авторъ, вѣроятно, сознательно, не хотѣлъ пользоваться эффектнось сцены, которою другіе писатели часто злоупотребляли; дуэль у него происходитъ за сценою; передъ публикою остаются только императоръ съ племянницею, въ драматическомъ діалогѣ излагающіе ходъ битвы. Разумѣется, Жеральдъ выходитъ побѣдителемъ и овладѣваетъ мечомъ, принадлежавшимъ отцу своей возлюбленной. Въ награду за этотъ подвигъ онъ становится женихомъ Верты (дочери Ролана).

Между тѣмъ графъ Амори прибылъ ко двору и при первой встрѣчѣ съ императоромъ узналъ имя. Едва Карль успѣлъ облобызать Жеральда, отмстившаго мавру и отнявшаго у него ролановъ мечъ, едва посваталъ онъ за него дочь ронсевальскаго героя, а свою племянницу, какъ этотъ храбрый рыцарь подходитъ къ измѣннику Ганелону и говоритъ ему: — „А я васъ искалъ, батюшка“.

По знаку отца Жеральдъ удаляется и Ганелонъ въ жалобной исповѣди объясняетъ императору ненависть свою къ Ролану завистью къ милостямъ, которыми осыпалъ его императоръ; затѣмъ напоминаетъ о постигшемъ его наказаніи и рассказываетъ о своемъ чудесномъ спасеніи отъ смерти, наконецъ о своей страдальческой жизни, какъ прямомъ послѣдствіи каинова знака, наложеннаго на него воспоминаемъ объ измѣнѣ; о жизни, посвященной исключительно воспитанію сына, напоминающаго и по внѣшнему виду, и по характеру самого Ролана.

Какъ и слѣдовало ожидать, Карль прощаетъ измѣнника, требуя отъ него, чтобы онъ отправился въ борьбѣ съ невѣрными искупить свой проступокъ.

Когда, казалось, все устроилось къ общему благополучію, саксонскій военначальникъ, знавшій, что Амори никто иной, какъ измѣнникъ Ганелонъ, открываетъ эту тайну всему двору.

Жеральдъ пораженъ этимъ извѣстіемъ; онъ отказывается отъ руки Берты и объявляетъ о своемъ намѣреніи слѣдовать за отцомъ въ Палестину. Напрасно всѣ рыцари, одинъ за другимъ, спѣшатъ заявить ему о своемъ уваженіи; напрасно невѣста уговариваетъ отказаться отъ его намѣренія, уничтожающаго и ея, и его счастье; напрасно самъ старикъ Карль выражаетъ желаніе видѣть его постоянно при себѣ, — Жеральдъ остается непоколебимъ. Берта идетъ въ монастырь, а онъ съ отцомъ спѣшитъ въ борьбѣ съ невѣрными найти смерть, чтобы соединиться съ своею возлюбленною въ будущей жизни. Императоръ заключаетъ пѣсу слѣдующимъ воззваніемъ: „преклонитесь передъ отъѣзжающимъ, бароны и князья, говоритъ императоръ;—совершая этотъ подвигъ самоотверженія, онъ болѣе великъ, чѣмъ мы съ вами!..“

Такая развязка не удовлетворяетъ одной части публики, привыкшей находить въ каждой пьесѣ таковой конецъ, который не оставлялъ-бы тяжелаго впечатлѣнія. Рассказываютъ, что какое-то почтенное буржуазное семейство не захотѣло уѣзжать изъ театра по окончаніи четвертаго акта; оно было убѣждено, что откроется занавѣсъ для пятаго дѣйствія, въ которомъ все окончится, въ общему удовольствію, законнымъ бракомъ героя и героини. Трудно угодить всѣмъ вусамъ!

Трагедія Борнье, какъ литературное произведеніе, встрѣчена и критикою, и публикою весьма сочувственно. Всѣ партіи сходятся въ похвалахъ автору: мнѣ случалось читать похвалы и въ крайнемъ республиканскомъ органѣ, и въ клерикальной газетѣ католическо-легитимистскаго характера, и, наконецъ, въ изданіи, принадлежащемъ одному изъ виднѣйшихъ представителей здѣшней высокой протестантской церкви. Всѣ партіи въ одинъ тонъ поютъ хвалебную пѣснь автору, вскользь намекая, для очищенія совѣсти, на нѣкоторыя историческія несообразности, допущенныя въ пьесѣ.

Причину успѣха этой пьесы нужно искать въ затронутой авторомъ патріотической струнѣ. Разгромъ второй имперіи и вражда партій утомили населеніе. Оно желаетъ отдохнуть, желаетъ въ своей грустной дѣйствительности найти что-нибудь отрадное, что-нибудь такое, что могло-бы польстить народному самолюбію. Весь секретъ успѣха трагедіи заключается въ томъ, что патріотическое чувство французовъ находитъ въ ней нѣкоторое удовлетвореніе. Публика весьма естественно замѣчаетъ тѣ мѣста, которыя допускаютъ сближеніе съ настоящимъ положеніемъ вещей,—сближеніе, можетъ быть, и не входившее вовсе въ намѣренія автора, но вылившееся у него поневолѣ подъ вліяніемъ впечатлѣнія, вынесеннаго имъ изъ происходившихъ на глазахъ его событій.

Такъ въ первомъ актѣ, по прибытіи герцога Баварскаго въ замокъ Амори, рыцари пьютъ за здоровье императора и благоденствіе Франціи, приглашая осушить бокалъ и присутствующаго при этомъ саксонца Рагенгардта. Но онъ отказывается принять участіе въ тостѣ.

— Вы сдѣлали-бы то-же, если-бы были на моемъ мѣстѣ, возражаетъ Рагенгардтъ;—христіаниномъ я сталъ только со вчерашняго дня; однакожь даже изъ поученій вашего духовенства я успѣлъ узнать, на сколько вы почитаете своихъ предковъ; поэтому вы, побѣдившіе и уничтожившіе все, что близко моему сердцу, вы должны меня понять. Я пью за память Витикинда, за благоденствіе Саксоніи, за здоровье побѣжденных!..

При этихъ словахъ театръ дрожить отъ рукоплесканій.

Въ другомъ мѣстѣ тотъ-же Рагенгардтъ произноситъ слѣдующія слова:

— О, побѣдители, страшитесь мщенія со стороны дѣтей побѣжденных!

И опять театръ дрожить.

Слѣдующее мѣсто, извлеченное изъ монолога Карла Великаго, когда онъ объявляетъ своему двору, что самъ пойдетъ бороться съ наглымъ мавромъ, нахально осмѣивающимъ послѣдовательныя

неудачи выходившихъ съ нимъ на борьбу рыцарей,—попадаетъ уже не въ бровь, а прямо въ глазъ каждому французу, пережившему послѣднюю войну:

— Угрызенія совѣсти моей, говоритъ Карль,—не дадутъ мнѣ пережить подобнаго срама. Когда государю измѣняется слава, ему остается одинъ конецъ—смерть!

Публика выходитъ изъ себя, а бонапартисты срежешутъ зубами.

— Слава французскимъ богатырямъ, заключаетъ императоръ, когда Жеральдъ возвращается побѣдителемъ.—Трубите въ рога и трубы! О, Франція, милая Франція, благословенное отечество, ничто не можетъ истощить твоей силы и твоего генія! Страна преданности, чести, вѣры, ты никогда не можешь привести дѣтей своихъ къ отчаянію: несмотря на дни траура и несчастія, ты всегда найдешь между ними героя, какъ скоро онъ тебѣ понадобится!

Однимъ словомъ, все это напоминаетъ извѣстныя строфы Жуковскаго:

„Какое сердце не дрожитъ,
Тебя благословляя“.

Все это влечетъ за собою проявленіе патриотическаго чувства выражающагося въ театрѣ громкими, нескончаемыми аплодисментами.

Несмотря на трудность постановки трагедіи, требующей такихъ актеровъ, которыхъ найти можно развѣ только на сценѣ Французскаго театра, ее уже успѣли дать на многихъ провинціальныхъ сценахъ, и вездѣ съ одинаковымъ успѣхомъ. Все населеніе стремится въ театръ, ложи наполнены дѣтьми, потому что каждый отецъ семейства спѣшитъ воспользоваться случаемъ дать разыгратъ патриотическому чувству въ сердцахъ юнаго поколѣнія. И это не прежній шовинизмъ, которымъ такъ умѣло пользоваться правительство второй имперіи; извѣстнаго величанія словами „grande nation“ что-то не слышать болѣе, а чувствуется, что народъ собирается съ силами, что силы эти не въ версальскомъ собораніи, незнающемъ само, чего оно хочетъ, и что недалеко моментъ, когда все это населеніе возстанетъ, какъ одинъ человѣкъ для отмщенія нанесенной сосѣдомъ обиды.

Анонимъ.

ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Проектъ земствъ объ обязательности обученія.—Мнѣнія губернаторовъ.—Мнѣнія „за“ и „противъ“ обязательности.—Нужна-ли такъ школы деревнѣ?—Образованіе фабричныхъ дѣтей.—Съ чего начать?—Проектъ объ обязательныхъ школахъ для Петербурга.

Въ настоящее время намѣчается вопросъ, ближайшее будущее котораго хотя и нельзя предусмотрѣть, но есть вѣроятіе предполагать, что изъ области теоретическихъ разсужденій онъ получитъ тенденцію практической осуществимости. Вопросъ этотъ—объ обязательномъ обученіи.

Вопросъ о введеніи обязательнаго начальнаго обученія возбужденъ земскими собраніями: олонецкимъ, владимірскимъ, витегорскимъ, каргопольскимъ, сапожковскимъ, спасскимъ, павлоградскимъ, юрьевецкимъ, конотопскимъ, нижегородскимъ и пензенскимъ. Кроме того сдѣлано заявленіе о необходимости введенія обязательнаго обученія смоленскимъ губернаторомъ въ отчетѣ за 1870 годъ.

Въ ходатайствахъ земствъ выставляются болѣе или менѣе одинаковыя причины необходимости введенія обязательнаго обученія. Земства думаютъ, что потребность образованія сельскаго населенія никогда еще не чувствовалась въ такой степени, какъ нынче. Крестьянское населеніе, получившее право самоуправленія, не можетъ пользоваться имъ надлежащимъ образомъ по неразвитости и неграмотности. Потому, что народъ неграмотенъ, на каждомъ шагѣ приходится имѣть дѣло съ невѣжественными представителями его интересовъ и съ безграмотными волостными судьями и сборщиками податей. По мнѣнію земствъ, грамотность избавитъ на-

родъ въ большей или меньшей степени отъ обмановъ торговли, въ тяжёбныхъ дѣлахъ и въ заключаемыхъ имъ условіяхъ, чему онъ теперь непрерывно подвергается по безграмотности; наконецъ, грамотность даётъ народу и чисто-хозяйственному, матеріальной высоту, потому что грамотнымъ сокращается срокъ дѣйствительной военной службы и они скорѣе будутъ возвращаться въ свою крестьянскую среду.

Но, къ сожалѣнію, говорить земскіе проекты, наше крестьянское населеніе еще мало сознаётъ пользу ученія, даже первоначальнаго, и потому вездѣ оказывается не только недостатокъ въ училищахъ, но—что еще неутѣшительнѣе — число ихъ не только не увеличивается, но уменьшается. Кромѣ того, и тамъ, гдѣ уже существуютъ училища, большая половина населенія вовсе въ нихъ не учится и расходы земствъ и сельскихъ обществъ на школы оказываются непроизводительной затратой. Наконецъ, тѣ дѣти, которыя учатся, узнаютъ тоже очень мало или почти ничего, и причину этого земства видятъ въ томъ, что дѣти посѣщаютъ училища неакуратно. Родители безпрестанно отвлекаютъ своихъ дѣтей то для сельскихъ и домашнихъ работъ, то ради праздничныхъ дней, число которыхъ доходитъ до двухъ сотъ втеченіи года, а нерѣдко безъ всякой причины. Наконецъ, дѣти очень часто прогуливаютъ школьные часы, потому что никто не слѣдитъ за учениками, посѣщаютъ-ли они школу или нѣтъ. Для устранения этихъ причинъ, тормозящихъ, по мнѣнію земствъ, распространеніе образованія въ сельскомъ населеніи, необходимо ввести обязательное начальное обученіе.

На первое время обязательность предполагается ограничить только тѣми селеніями, въ которыхъ есть школы или которыя отстоятъ не далѣе двухъ-трехъ верстъ. Нѣкоторыя земства выставляютъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы училища были хорошо устроены, чтобы въ нихъ обучали чтенію, письму, закону Божію и молитвамъ, первымъ четыремъ арифметическимъ дѣйствіямъ, счисленію на счетахъ и по-возможности церковному пѣнію.

Срокъ для посѣщенія школъ предполагается разными земствами различный. Самый большой срокъ — 6-ти-лѣтній, для дѣтей отъ 6 до 12-лѣтняго возраста. Затѣмъ 4-лѣтній — отъ 8 до 12

или отъ 7 до 11-лѣтняго возраста; наконецъ, 3 и 2-лѣтній для возраста между 10 и 16 годами.

Въ настоящее время продолжительность годичнаго курса въ сельскихъ школахъ не имѣетъ ничего опредѣленнаго. Есть школы, въ которыхъ курсъ начинается въ октябрѣ, ноябрѣ и даже декабрѣ и оканчивается, болшею частью, въ апрѣлѣ и рѣдко въ маѣ. Земства думаютъ установить девяти-мѣсячный курсъ и праздники ограничить одними воскресными и табельными днями.

Обученіе, потому только, что оно обязательное, предполагается даровымъ.

Но какъ сдѣлать, чтобы дѣти посѣщали школы и чтобы родители не потворствовали лѣни? По мнѣнію пензенскаго собранія, отвѣтственность должна лежать на родителяхъ, опекунахъ и вообще на старшихъ въ семьѣ; наблюденіе-же надъ родителями и опекунами должно быть возложено на сельское и волостное начальство. Сапожковское уѣздное собраніе предполагаетъ устроить для каждой школы наблюдательный комитетъ подъ предсѣдательствомъ мѣстнаго священника. Члены комитета избираются обществомъ. Нѣкоторыя земства вдаются въ такія подробности, что даже проектируютъ цѣлую систему наказанія. Такъ, сапожковское земство ограничиваетъ наказаніе преимущественно выговорами или отъ наблюдательнаго комитета, или отъ имени общества; если-же выговоры не помогаютъ, то нерадивыхъ предполагается лишать права на хозяйство въ семьѣ и назначать имъ опекуновъ. Павлоградское и конотопское земства придерживаются болше системы денежныхъ штрафовъ при круговой поруцѣ общества. Павлоградское предполагаетъ взыскивать за каждое непосѣщеніе по 25 копеекъ, а въ случаѣ несостоятельности виновнаго штрафъ брать съ общества. Конотопское собраніе предполагаетъ штрафъ не выше цѣнности двухъ мужскихъ рабочихъ дней за каждый день непосѣщенія школы. При этомъ конотопское собраніе, основываясь на томъ, что бѣдняги дѣти часто не посѣщаютъ школы только потому, что у нихъ нѣтъ одежды, предполагаетъ снабжать такихъ дѣтей обувью и одеждой, что особенно необходимо въ холодное время, на счетъ земства.

Всѣ земства предполагаютъ содержаніе школъ отнести на земскія суммы, а нѣкоторыя даже указываютъ на спеціальные источ-

нныи. Такъ сапожковское земское собраніе предполагаетъ обложить всѣ земли уѣзда ежегоднымъ пятикопеечнымъ сборомъ съ десятины, а для образованія неприкосновеннаго училищнаго капитала откладывать ежегодно по 2 тысячи рублей, проценты съ которыхъ не должны быть расходуемы втеченіи 11 лѣтъ.

Впрочемъ, мнѣнія земствъ объ обязательномъ обученіи не настолько единодушны, чтобы не встрѣтили возраженія въ средѣ самихъ земствъ. Такъ г. Шиловскій, гласный сапожковскаго земскаго уѣзнаго собранія, возражаетъ противъ обязательнаго обученія тѣмъ, что экономическій бытъ нашего народа далеко еще не развитъ и не подготовленъ къ тому, чтобы возможно было его обременять новою тяготою, отрывая обязательно хотя малолѣтняго работника. Г. Кошелевъ, гласный того-же сапожковскаго собранія, приводитъ противъ обязательнаго обученія цѣлый рядъ доказательствъ, если не особенно вѣскихъ, то все-таки достаточно сильныхъ и исходящихъ даже изъ философскихъ началъ. Становясь на философскую точку зрѣнія, г. Кошелевъ думаетъ, что обязательность можетъ быть умѣстна въ отношеніи платежа податей, въ запрещеніи дѣйствій вредныхъ для другихъ лицъ и т. п., но совершенно непригодна при раздачѣ благодѣяній. Грамотность есть благо, выгода, рассуждаетъ г. Кошелевъ. Какже можно навязывать людямъ подѣ страхомъ наказанія выгоду и благо? Тутъ надо дѣйствовать убѣжденіемъ, примѣромъ, пособіемъ, и только этимъ путемъ благо сохранить свой характеръ и будетъ истинно благотворно. Нужно уважать слишкомъ мало людей, а о себѣ имѣть слишкомъ высокое мнѣніе, чтобы считать себя въ правѣ благодѣтельствовать людямъ вопреки ихъ желаніямъ. „Позволительно думать, говоритъ г. Кошелевъ, — что и земство, и правительство, которыя принимаютъ на себя обязанности просвѣтителей народа путемъ принужденій, дѣйствуютъ *не по праву, внѣ круга настоящихъ ихъ обязанностей, и приносятъ не пользу, а причиняютъ вредъ народу*“.

Обязательность обученія, по словамъ г. Кошелева, установлена почти только въ одной Германіи, гдѣ уже и безъ того весь народъ грамотный. Какже устанавливать ее въ сапожковскомъ уѣздѣ, гдѣ изъ ста человѣкъ нѣтъ и десяти грамотныхъ? Для того, чтобы имѣть возможность установить обязательность грамотности, надо

прежде устроить школы во всѣхъ селеніяхъ, а ихъ въ сапожковскомъ уѣздѣ болѣе 500. Устанавливать-же обязательство только для тѣхъ селеній, гдѣ школы существуютъ или будутъ учреждены, опасно. Мы этого не поможемъ, а повредимъ устройству школы. И въ подтвержденіе этой мысли г. Кошелевъ ссылается на обязательную посадку картофеля, введенную нѣкогда министерствомъ государственныхъ имуществъ также въ видѣ оказанія благотворительнаго пособія неразвитому народу, которая вызвала бунты и сопровождалась возмущенными возмущеніями. Какъ-бы обязательность посѣщенія школы не вызвала поджоговъ? спрашиваетъ г. Кошелевъ.

Третье возраженіе г. Кошелева заключается въ томъ, что обязательность требуетъ карательныхъ мѣръ, иначе она останется только на бумагѣ. Какія-же карательныя мѣры могутъ быть теперь установлены? Штрафы съ родителей, непосылающихъ дѣтей въ школы? Мѣра эта дѣйствительна, но едва-ли она примѣнима, потому что штрафы пришлось-бы взыскивать съ самыхъ бѣдныхъ крестьянъ. Лишеніе дѣтей въ будущемъ нѣкоторыхъ гражданскихъ правъ? Но если отцы считаютъ большинство этихъ правъ обязанностями и повинностями, то едва-ли они будутъ ими дорожить для своихъ дѣтей. Если-же лишеніе этихъ правъ обратить противъ отцовъ, то во многихъ селеніяхъ едва-ли останутся люди полноправные, т. е. могущіе быть старостами, старшинами, присяжными засѣдателями и проч.

А крестьянская бѣдность? Нельзя обманывать себя насчетъ настоящаго хозяйственнаго положенія крестьянъ. Чтобы дѣти могли ходить въ школу, даже въ томъ селеніи, гдѣ они живутъ, нужно, чтобы они были одѣты и обуты тепло, потому что наши школы въ полномъ ходу зимою. Возможно-ли при такихъ условіяхъ, чтобы дѣти всѣхъ крестьянъ ходили въ школу?

Наконецъ, г. Кошелевъ думаетъ, что ходатайство объ обязательномъ народномъ обученіи не можетъ ограничиваться однимъ желаніемъ введенія его, но должны быть еще указаны и мѣры для его исполненія. Наконецъ, предметъ ходатайства есть общій, а не мѣстный. Законъ объ обязательномъ народномъ обученіи не можетъ быть изданъ для одного уѣзда и дѣло это по своей первостепенной важности должно быть обсуждено возможно болѣе широкимъ

числомъ людей и сколь возможно въ болѣе пространномъ кругѣ дѣйствія.

Мнѣніе г. Кошелева встрѣтило полное сочувствіе рязанскаго губернатора. Черниговскій губернаторъ тоже выразилъ опасеніе, что введеніе обязательнаго обученія въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ можетъ вызвать общее недовольство и противодѣйствіе крестьянскаго населенія. Нижегородскій губернаторъ думаетъ, что ходатайство нижегородскаго уѣзднаго собранія выходитъ изъ предѣловъ его компетентности, потому что заботы о распространеніи грамотности въ селеніяхъ лежатъ по закону на крестьянахъ, а земству поручено лишь хозяйственное участіе въ народномъ образованіи. Пензенскій губернаторъ думаетъ, что не слѣдуетъ издавать закона для одной только мѣстности, и, признавая пользу обязательнаго обученія, находитъ достаточнымъ предоставить сходамъ тѣхъ селеній, гдѣ устроены школы, установить правила, обеспечивающія исправное посѣщеніе школъ. Екатеринославскій губернаторъ считаетъ введеніе обязательнаго обученія возможнымъ, но польза его будетъ только тамъ, гдѣ есть достаточное число школъ и гдѣ находятся способные и приготовленные учителя. Губернаторы олонецкій, владимірскій и востромской выразили введенію обязательнаго обученія свое полное сочувствіе.

Изъ фактовъ, которые мы привели, совершенно очевидно, что вопросъ объ обязательномъ народномъ обученіи далеко еще не оконченный и не разработанный вопросъ, и что даже собственно въ теоретическомъ отношеніи, въ разъясненіи самыхъ основъ вопроса, заключается еще много неустановившагося, неопредѣленнаго, не говоря уже про тѣ факты, изслѣдованіе которыхъ должно предшествовать общему теоретическому рѣшенію. Обратимся къ возраженіямъ г. Кошелева. Онъ признаетъ обязательность обученія невѣрной въ самомъ принципѣ. По его мнѣнію, обязательность возможна только для запрещенныхъ, вредныхъ дѣйствій, т. е. вообще въ тѣхъ случаяхъ, которыми пользуется юридическій принципъ, создающій запрещающій и карающій законъ. Юридическій

принципъ гласить, что всякое дѣйствіе, которое не запрещено, дозволено. Люди не могутъ дѣлать только того, чѣмъ они могутъ приносить вредъ другъ другу; затѣмъ во всемъ остальномъ они совершенно свободны поступать какъ хотятъ, пока не переступятъ черты, за которою наступаетъ вредъ ближнему. Но вопросъ о пользѣ и вредѣ—вопросъ очень растяжимый, и опредѣлить всѣ случаи, когда начинается вредъ и кончается польза, настолько трудно, что формулировать это никакъ нельзя общими предупреждающимъ закономъ. Только вслѣдствіе невозможности подобнаго опредѣленія гражданскіе суды завалены дѣлами и на каждомъ шагу имъ приходится разрѣшать недоразумѣнія, возникающія изъ столкновенія частныхъ интересовъ. Теперь мы-бы спросили г. Кошелева: будетъ-ли правильно принимать юридическій принципъ къ вопросу о воспитаніи? Онъ говоритъ—да, мы говоримъ—нѣтъ. Если исходить изъ юридическаго принципа, то обязательное обученіе не только возможно, но, напротивъ, должно быть введено. Если законъ долженъ запрещать все то, что вредитъ, то невѣжество не слѣдуетъ-ли считать самымъ вреднымъ состояніемъ изъ всѣхъ, какія только можно себѣ представить? Развѣ люди наносятъ другъ другу на каждомъ шагу вредъ не потому, что они невѣжественны, развѣ неумѣнье отличить пользу отъ вреда происходитъ не отъ невѣжества; развѣ невѣжество не есть главная язва, вредящая и отдѣльному лицу, вредящая и общему интересу? Что можетъ быть ужаснѣе и опаснѣе невѣжества? Наконецъ, развѣ воспитаніе своихъ дѣтей мы дѣлаемъ съ ихъ согласія и развѣ наши школы и гимназіи наполнены дѣтьми, посѣщающими ихъ, не потому, что ихъ заставляютъ учиться? Тутъ рѣчь вовсе не о благодѣяніи или о неблагодѣяніи; вопросъ гораздо проще: мы заставляемъ дѣтей учиться потому, что воспитаніе даетъ имъ средства для жизни, создаетъ имъ пути дѣятельности, даетъ въ руки интеллектуальное орудіе экономическаго производства. Если-бы воспитаніе нашихъ дѣтей было основано на принципѣ свободы, то, конечно, всѣ мальчики и дѣвочки давно разбѣжались-бы изъ школъ и гимназій и учить было-бы некого. Слѣдовательно, едва-ли вопросъ разрѣшается подобною постановкою. Если мы будемъ смотрѣть на народъ, какъ на взрослыхъ дѣтей, то почему-же, спрашивается, нельзя требовать отъ этихъ

взрослыхъ дѣтей, чтобы они заставляли своихъ маленькихъ дѣтей ходить въ школу? Конечно, противъ этого можно сдѣлать то возраженіе, что если и образованные заставляютъ дѣтей своихъ ходить въ школу, то образованныхъ никто къ этому не принуждаетъ. Каждому изъ насъ законъ предоставляетъ полную свободу учить или не учить своихъ дѣтей и совершенно отъ насъ зависитъ, чтобы они были грамотными или неграмотными. Образование, которое мы даемъ своимъ дѣтямъ, не больше, какъ извѣстный капиталъ, который впоследствии долженъ приносить имъ извѣстный процентъ. Чѣмъ капиталъ меньше, тѣмъ и процентъ меньше. Самый меньшій процентъ приносить, конечно, невѣжество, и вотъ почему всякій старается доставить своимъ дѣтямъ наибольшій умственный капиталъ, который-бы приносилъ имъ наибольшій процентъ. Но вѣдь еще мало одного пониманія того, что невѣжество вредно и убыточно. Для чего знаніе, если съ нимъ нечего дѣлать, не къ чему его примѣнить, нѣтъ возможности приложить его къ какому-нибудь дѣлу? Мы даемъ воспитаніе дѣтямъ не только потому, что оно полезно, но потому, что нашихъ дѣтямъ открыты всѣ пути жизни, на которыхъ они могутъ приложить свои знанія. Мы можемъ быть всѣмъ на свѣтѣ—учеными и учителями, и аптекарями, и докторами, и механиками, и инженерами, и агрономами, и земледѣльцами, и машинистами, и архитекторами, и заводчиками—всѣмъ, всѣмъ, чѣмъ хотите. Всѣ пути самой разнообразной дѣятельности открыты для нашихъ дѣтей. А какіе пути открыты крестьянину, который какъ родился за сохой, такъ и умретъ за сохой? Конечно, и сыну земледѣльца законъ не закрываетъ дорогъ и изъ крестьянъ являются и учителя, и профессора, и ученые, и крестьянскія дѣти дослуживаются до высшихъ степеней и занимаютъ высшія и почетныя должности. Но развѣ это общее правило? Развѣ вообще земледѣльцу, какъ земледѣльцу, какъ вѣчному жителю деревни, предстоятъ тѣ дороги, которыя предстоятъ людямъ свободнымъ, непривязаннымъ къ землѣ и сохѣ? Не по принужденію мы учимъ своихъ дѣтей, а по свободному праву выбора, и если право есть одинаковое достояніе всѣхъ, то съ юридической точки зрѣнія нельзя одинъ и тотъ-же народъ и гражданъ одного и того-же государства подчинять разнымъ юридическимъ началамъ. На это, разумѣется, можно возра-

зять, что если существуетъ принципъ привилегированности, то изъ него совершенно логически вытекаетъ особенное право для непривилегированныхъ. Было время, когда на основаніи этого у насъ существовало крѣпостное право, существовало для непривилегированныхъ тѣлесное наказаніе, рекрутчина; но все это уже исчезло. Равноправность завоевываетъ все больше и больше себѣ мѣста. Если, такимъ образомъ, равноправность стремится къ тому, чтобы уничтожить послѣдніе слѣды различія сословій, то, конечно, нельзя, уничтожая ихъ на однихъ путяхъ, вводить въ другіе. Поэтому, исходя изъ юридическаго принципа, обязательное ученіе нельзя считать послѣдовательнымъ.

Мы коснулись еще вопроса пользы, вопроса вреда, который приноситъ невѣжество. Но можно-ли и этотъ вопросъ специализировать и сказать, что невѣжество наноситъ вредъ одному сельскому населенію? Что такое невѣжество, что такое просвѣщеніе? Разбирая скорбную лѣтопись современной внутренней жизни, развѣ мы не наталкиваемся на каждомъ шагѣ на крайнія проявленія самаго грубаго невѣжества? Возьмите любую газету, любую внутреннюю корреспонденцію, любой судебный процессъ—и на каждомъ шагѣ вы встрѣтите факты невѣрнаго пониманія личной и общей пользы, недоразумѣнія, являющіяся исключительно вслѣдствіе невѣжества. Если-бы невѣжество образованныхъ и необразованныхъ подвергнуть сравнительному изслѣдованію, то, конечно-бы, оказалось, что въ народной средѣ случаи невѣжества, по отношенію къ жизни народа, если не меньше, то во всякомъ случаѣ и не больше, чѣмъ въ средѣ образованной жизни. Если мы будемъ утверждать, что народъ въ большинствѣ случаевъ терпитъ отъ своего невѣжества, то развѣ не въ той-же степени будетъ справедливо утверждать, что мы, образованные, терпимъ тоже только отъ своего невѣжества? Но какія средства принудительства употребляетъ законъ, чтобы искоренить невѣжество образованныхъ, и въ его-ли власти такое искорененіе? Конечно, нѣтъ. Законъ можетъ карать дѣйствіе вредное, дѣйствіе, возникающее отъ разныхъ недоразумѣній, но опредѣлять, что такое невѣжество, онъ не можетъ, и пониманіе взаимныхъ отношеній предоставляетъ полюбовному разрѣшенію. Слѣдовательно, я тутъ, если мы не имѣемъ права сказать, что народъ въ сферѣ условій и требованій своей жизни бо-

лѣ невѣжественъ, чѣмъ образованнѣе, взяты опять въ сферѣ ихъ дѣятельности, то едва-ли будетъ справедливо разрѣшать вопросъ о невѣжествѣ только не въ пользу народа, подвергать послѣдній началу принужденія и освобождать отъ принужденія всѣ остальные сословія, нисколько не меньше страдающія отъ невѣжества.

Г. Кошелевъ думаетъ, что нужно слишкомъ мало уважать людей, а о себѣ имѣть слишкомъ высокое мнѣніе, чтобы считать себя въ правѣ благодѣтельствовать людямъ вопреки ихъ желаніямъ. Здѣсь почтенный сапожковскій гласный, очевидно, оставляетъ юридическую почву и становится на почву филантропическую и сантиментальныхъ чувствъ. Обученіе и образованіе вовсе не благодѣяніе, оно вовсе не подарокъ; оно естественное послѣдствіе чувства самосохраненія и одно изъ орудій для борьбы за существованіе. Мы учимъ своихъ дѣтей вовсе не по филантропическому принципу, не потому, что желали-бы принести имъ невѣсомую, чисто-моральную пользу. То, что, повидному, является моральною пользою, въ сущности одно изъ нравственныхъ средствъ той-же матеріальной борьбы за существованіе, опредѣляющее точнѣе каждому его мѣсто и положеніе въ жизни. Слѣдовательно, ясно, что разиѣръ знаній зависитъ отъ условій борьбы, предстоящей каждому, и отъ того положенія, которое онъ занимаетъ въ средѣ общей жизни. Виѣдреніе въ личныя права вредно не потому, что имъ обнаруживается малое уваженіе къ кому-то и слишкомъ высокое мнѣніе о себѣ; оно вредно потому, что можетъ напрасно поглотить силы и усердіе тѣхъ, кто захочетъ виѣдряться въ чужое право самому рѣшать, что ему полезно или что ему не нужно. Печальный фактъ подобнаго виѣдренія представляетъ царствованіе Іосифа II. Никто больше его не хотѣлъ облагодѣтельствовать народъ, никто энергичнѣе его не боролся съ врагомъ и невѣжествомъ и, конечно, никто болѣе его не былъ огорченъ тѣмъ, что примѣненіе добрыхъ намѣреній не привело ни къ какимъ полезнымъ результатамъ. Здѣсь вопросъ не въ томъ, что Іосифъ II слишкомъ мало уважалъ народъ, а о себѣ былъ слишкомъ высокаго мнѣнія; напротивъ, Іосифъ II очень любилъ и уважалъ народъ, а о себѣ былъ мнѣнія скромнаго; вопросъ въ томъ, что моральный принципъ совершенно непримѣнимъ къ раз-

рѣшенію подобныхъ вопросовъ. Народъ, этотъ коллективный практикъ и коллективный человѣкъ опыта, понимаетъ только одинъ принципъ пользы и не увлекается ни теоретическими мечтаніями, ни идеализмомъ; онъ беретъ лишь то, что ему существенно-полезно. Поведеніе Іосифа II по отношенію къ народу было вредно не потому, что оно было безнравственное, какъ думаетъ г. Кошелевъ; оно было вредно потому, что вело къ напрасной тратѣ силъ и не создало никакихъ полезныхъ результатовъ. Но, съ другой стороны, оно было полезно тѣмъ, что показало, на-сколько прииѣненіе моральнаго принципа ведетъ только къ напрасной тратѣ силъ и не принимается массами, если такъ-называемое благодѣяніе не приноситъ имъ непосредственной, существенной пользы. Конечно, теоретики, идеалисты и люди развитые гораздо тоньше понимаютъ идею блага и счастья и ради ближайшей маленькой выгоды не станутъ жертвовать отдаленной, болѣе большой выгодой. Но вѣдь народная масса есть стихійная, коллективная сила, и съ человѣкомъ факта не только нужно уметь говорить, но и говорить съ нимъ исходя изъ его собственнаго факта. Просвѣщеніе вообще есть прекрасная вещь и идеаль челоуѣчества только въ томъ и заключается, чтобы всѣ люди были просвѣщены. Но кому же неизвѣстны неудачныя попытки европейскаго просвѣтительнаго деспотизма XVIII столѣтія? Причина этихъ неудач заключалась исключительно въ томъ, что европейскимъ народамъ сулили журавля въ небѣ, а не хотѣли дать синицу въ руки, которая вертѣлась подъ ногами. Народъ былъ задавленъ податями, повинностями, страдалъ отъ неправды въ судѣ, отъ произвола административныхъ властей, жилъ въ грязи, питался глиной вмѣсто хлѣба, а Іосифъ или Фридрихъ II хотѣли, чтобы этотъ-же самый голодный народъ надѣлъ на себя лосинные панталоны, прицѣпилъ къ боку шпагу, на голову одѣлъ трехугольную шляпу, отправился въ университетъ слушать лекціи объ отвлеченныхъ предметахъ и затѣмъ пошелъ войною противъ клерикаловъ и католическихъ патеровъ. Кто виноватъ, что народъ не принялъ благодѣяній, которое приподносили Іосифъ II, Терезія, Фридрихъ II и другіе благодѣтели, пользовавшіеся своею властью ради личныхъ выгодъ, а народамъ сулившіе лишь журавля въ небѣ? Мы помнимъ одинъ остроумный отвѣтъ одного казанскаго татарина лѣсническому, ста-

равшемуся внушить крестьянамъ вѣрный взглядъ на пользу лѣсовъ. Лѣсничій собралъ сходку и весьма краснорѣчиво доказывалъ значеніе лѣсовъ въ общей экономіи природы, вліяніе ихъ на климатъ, пользу ихъ для жизни; наконецъ, желая подѣйствовать на чувство слушателей, онъ сказалъ, что священная обязанность каждаго человѣка думать не только о себѣ, но и о своихъ дѣтяхъ. Тогда изъ толпы вышелъ татаринъ и сказалъ: „а у меня, бачва, дѣтей нѣтъ“. И вся краснорѣчивая рѣчь оратора разлетѣлась въ прахъ, не произведя никакого эффекта.

Здѣсь мы подходимъ къ вопросу очень тонкому—къ вопросу о безошибочномъ сужденіи непросвѣщенныхъ массъ въ сферѣ понятій, повидимому, для нихъ совершенно недоступныхъ. Могутъ-ли непросвѣщенные люди быть судьями просвѣщенія и рѣчей просвѣщенныхъ людей? Какимъ основаніемъ, напригѣръ, пользуется едва поступившій студентъ, когда онъ, не имѣя еще никакого понятія о наукѣ, которую слышитъ въ первый разъ, оцѣняетъ своего профессора? Какимъ образомъ мальчишки-гимназисты такъ отлично умѣютъ подмѣтить всѣ слабыя стороны своихъ учителей и наставниковъ? Какимъ образомъ, наконецъ, неясныя стремленія и смутные порывы къ чему-то даютъ направленіе идеямъ и даже опредѣляютъ ходъ наукъ и знаній? По общепринятымъ понятіямъ, науки и знанія управляютъ жизнью, между тѣмъ въ дѣйствительности жизнь управляетъ науками и знаніями. Не науки и знанія заставили Колумба плыть во что-бы то ни стало на западъ и открыть Америку; науки и знанія послужили ему лишь средствомъ для открытія. Не науки и знанія двигали европейскія массы въ крестовые походы, не науки и знанія создавали всѣ общественныя европейскія движенія и не науки и знанія привели къ величайшимъ открытіямъ, измѣнившимъ фязіономію современнаго цивилизованнаго міра. Людямъ положительнаго мышленія, такъ-называемымъ людямъ науки и кабинетнымъ сиднямъ совершенно непонятенъ процессъ того скрытаго мышленія, который до сихъ поръ управляетъ стихійно жизнію народовъ. Между тѣмъ только эта стихійно-движущаяся жизнь даетъ направленіе мыслямъ кабинетныхъ людей и открытіямъ людей науки, которые только потому и напрягаютъ свою мысль въ извѣстномъ направленіи, что оно открыто и указано имъ всѣмъ окру-

жающихъ ихъ стихійнымъ ростомъ и движеніемъ общей коллективной жизни. Коллективная стихійная жизнь никогда не ошибается въ томъ, что ей нужно, и не ошибается она потому, что подчиняется одному факту жизни и идетъ туда, куда идется. Бисмаркъ говорилъ, что въ прусско-австрійскую войну невозможно было не идти, потому что *естъ шми*, и въ франко-прусскую войну тоже нельзя было не идти, потому что *естъ шми*. И въ общемъ переселеніи народовъ нельзя было тоже не идти, потому что тоже *естъ шми*. Это-то *естъ шми* и является главнымъ рѣшителемъ историческихъ судебъ, которыя уже потому не могутъ быть ошибками, что *естъ идутъ*, и противъ этого *естъ* ничего не подѣлаешь. Мысль эту проводить и графъ Толстой въ „Войнѣ и мирѣ“. Это *естъ шми* помѣшало благодѣтельнымъ реформамъ Іосифа, это *естъ шми* помѣшало и Петру Великому обрѣчь всѣ русскія бороды; это *естъ шми* стоитъ поперекъ и многихъ благодѣтельныхъ идей филантроповъ и людей просвѣщенія и иѣшаетъ ихъ единоличнымъ доброжелательнымъ побужденіямъ превращаться въ золотой дождь благодѣнія, долженствующій сдѣлать всѣхъ счастливыми и довольными. Но кто въ этихъ случаяхъ судить правильнѣе—филантропъ или невѣжественная масса? Точно-ли благодѣнія то, что филантропы считаютъ благодѣніями? Точно-ли тѣмъ, о комъ они заботятся, нужно то, что имъ предлагаютъ, и, думая, что даютъ хлѣбъ, не даютъ-ли иногда филантропы камень? Непросвѣщенная стихійная масса, конечно, глупа, но все-таки она не на-столько глупа, чтобы не отличить хлѣба отъ земли и не взять добровольно то, въ чемъ нуждается. Но если вы даете второе вмѣсто перваго, предлагаете въ подарокъ цилиндръ, когда у человѣка нѣтъ панталонъ,—неужели человѣкъ, отказывающійся отъ вашего подарка, поступаетъ по глупости и только вы, просвѣщенный просвѣтитель, не ошибаетесь?

На одномъ засѣданіи комисіи по техническому образованію г. Демчинскій сообщилъ весьма любопытный фактъ о посѣщеніи имъ нарвской школы. Въ ней учатся рабочіе близъ лежащихъ фабрикъ. Начинаютъ они работу съ пяти-шести часовъ утра и кончаютъ ее въ восьмомъ часу вечера. Въ восемь начинается урокъ въ школѣ и продолжается до десяти. И эти люди, заня-

тые съ пяти часовъ утра до ночи, т. е. втеченіи семнадцати часовъ, придя домой, просматриваютъ еще свои уроки. „Это самое изнуреніе, говорить г. Демчинскій,—еще съ приплатою изъ собственнаго кармана, есть самый краснорѣчивый фактъ, говорящій въ пользу жажды къ образованію нашего русскаго простолюдина“. Но чему-же учится этотъ народъ? Онъ учится тому, что ему нужно и непосредственную, ближайшую пользу чего онъ видитъ. Никакими отвлеченностями, никакой наукой ради науки вы не завлечете его въ школу, если онъ этой науки не можетъ приложить къ дѣлу. Не идеальная жажда къ образованію заставляетъ варвскихъ фабричныхъ рабочихъ учить свои уроки послѣ семнадцати-часового труда, а та польза, которую они видятъ въ этихъ урокахъ. Не будь практической, непосредственной пользы отъ знанія, никто-бы не бросилъ на него ни одной лишней секунды. Фабричные лучше, чѣмъ кто-либо, и лучше, чѣмъ ихъ учителя, знаютъ, что имъ нужно, и учителямъ лишь дѣлаетъ честь, что они поняли эту потребность и не предлагаютъ виѣсто хлѣба камень. Раздавай они камни — ни одна голодная рука не протянулась-бы къ нимъ. Мы не можемъ не позволить себѣ сдѣлать маленькую выписку, чтобы показать читателю, что значить свободно учащійся человекъ, дѣлающій изъ знаній дѣло практической пользы.

„Мое первое посѣщеніе было въ варвскую школу, говорить г. Демчинскій.—Когда я вошелъ, всѣ поклонились мнѣ самымъ пріятнымъ образомъ; я началъ разговоръ издалека, гдѣ они работаютъ, въ чемъ ихъ дѣло и т. п.; незамѣтно перешелъ я къ физикѣ, и одинъ изъ нихъ мнѣ объяснилъ, что въ прошломъ году они проходили гальванизмъ, электричество, магнетизмъ и теплоту. Я попросилъ объяснить мнѣ явленіе грома, молніи и дождя. Какой-то молодой парень разсказалъ мнѣ о громѣ самымъ толковымъ образомъ и отвѣтъ былъ не лишенъ нѣкотораго краснорѣчія. Не могу скрыть удивленія своего. Я засмѣялся невольно. Воля ваша, но непривычному глазу какъ-то необыкновенно странно видѣть передъ собою какого-нибудь слесаря, въ масляной блузѣ, съ замаслянными руками, разсуждающимъ о громѣ и молніи! Такъ и кажется, что этотъ человекъ сейчасъ сойдетъ съ пути и скажетъ, что Илья пророкъ ѣздитъ по небу! А

одинъ изъ рабочихъ, послѣ отвѣта товарища о громѣ, прибавилъ: „да мы и сами надъ собою смѣемся теперь; думали прежде, что Илья ѣздитъ по небу, или если кого-нибудь убьетъ громъ, то это кара Божья, а теперь понимаемъ, что убиваетъ оттого, что попалъ въ скверное мѣсто, скопилось электричество“. Съ электричества я перешелъ на теплоту, засимъ на дѣйствіе пара, и какой-то бородатый юноша предложилъ мнѣ для большей ясности позволить ему нарисовать движеніе золотника. По чертежу его я увидалъ, что они не совѣмъ понимаютъ устройство цилиндра, такъ-какъ впускныя окна онъ начертилъ почти посрединѣ. Я долгомъ счелъ рассказать имъ поподробнѣе о золотникѣ, кулиси (дѣло шло о паровозѣ) и эксцентрикѣ. Изъ бесѣды я пришелъ къ заключенію, что они прекрасно понимаютъ чертежъ. На-столько-же удовлетворительны познанія по геометріи, притомъ не заученныя знанія, а ясное пониманіе пройденнаго. Вотъ только на что они жалуются, это на преподаваніе арифметики. Говорятъ: „правила мы знаемъ, а задачъ мало рѣшаемъ; иной разъ возьмешь какую-нибудь задачу—и ни впередъ, ни назадъ“. И еще не довольны манкированіемъ гг. преподавателей; говорятъ: зачастую придешь въ школу, посидишь, да съ тѣмъ-же и уйдешь. Нельзя сказать, чтобы эти претензіи были неуважительныя; человѣкъ, который сидитъ, работаетъ изъ-подъ палки, тотъ будетъ радъ, если его на часъ освободятъ отъ этой работы; но когда мастеровой добровольно отнимаетъ у себя часы отдыха, при такомъ ужасномъ трудѣ, манкировать уроками не слѣдовало-бы, чтобы не сказать болѣе“.

Фактъ, заявленный г. Демчинскимъ, гораздо важнѣе, чѣмъ можно было казаться. Фактомъ этимъ ставится вопросъ—дѣйствительно ли народъ не хочетъ учиться и его пужно принуждать къ наукѣ силой? Защитники принудительнаго воспитанія ссылаются на Петра Великаго, безъ принудительныхъ мѣръ котораго наше дворянство будто-бы и до сихъ поръ было-бы невѣжественно. Другой доводъ ихъ въ томъ, что не только въ Германіи, но даже въ Англіи и въ Америкѣ посѣщеніе народныхъ школъ обязательно. Вопросъ о вліяніи принудительной системы Петра разрѣшается вовсе не такъ легко, какъ думаютъ защитники принужденія. Совершенно справедливо, что принудительная система сильно повлі-

ла на то, что дворяне стали заставлять дѣтей своихъ учиться. Изъ исторіи русскаго просвѣщенія мы знаемъ, что еще при Елизаветѣ и Екатерины II русское образованіе, несмотря на всю принудительность его, шло необыкновенно туго и двигалось впередъ не столько карательной принудительностью, сколько принудительностью поощрительной. Воспитаніе хотѣли сдѣлать выгоднымъ; наприимѣръ, при учрежденіи московскаго университета, кромя тѣхъ льготъ, которыя предоставлялись кончившимъ курсъ, студентамъ была дана очень красивая, заманчивая форма. И нельзя сказать, чтобы этотъ расчетъ не удавался. Извѣстно, какъ красивая военная форма, особенно кавалерійская, еще недавно возбуждала въ дѣтяхъ охоту учиться ради нея и ради выгодъ военной службы. Слѣдовательно, вопросъ о вліяніи петровской принудительности вовсе еще не разрѣшаетъ вопроса о выгодѣ чистой обязательности. Очевидно, что въ числѣ причинъ, побуждавшихъ дворянъ отдавать дѣтей своихъ въ школы, были послѣдующія выгоды и привилегіи, которыя ихъ ожидали.

Но кромя того, едва-ли правильно сравнивать то время съ нынѣшнимъ. Условія тогдашней цивилизаціи ограничивались очень узкимъ кругомъ замкнутой дворянской жизни, въ которой какъ-бы и сосредоточивалась вся русская цивилизація. Кругъ дворянской цивилизаціи былъ очень тѣсень; условія общей промышленной русской жизни были тоже очень слабы и вся внѣшняя и внутренняя жизнь дворянскаго слоя ограничивалась лишь интересами офицерской карьеры. Сравнивать этотъ узенькій кружочекъ съ тѣмъ кругомъ жизни, который представляетъ современная Россія, конечно, нельзя. Экономическое промышленное развитіе выставило современной цивилизаціи такія требованія, что Митрофанушки и Простаковы невозможны даже и въ крестьянскомъ быту. Требованія новой жизни понимаются все больше и больше самимъ народомъ и стремленіе къ образованію утверждается не тѣмъ отдѣльнымъ фактомъ, который мы привели, но цѣлой массой фактовъ изъ жизни фабричныхъ рабочихъ и сельскаго населенія. Въ отчетѣ комисіи по техническому образованію мы находимъ указанія на цѣлую массу школъ, уже устроенныхъ и устраиваемыхъ, въ которыхъ воспитываются дѣти ремесленниковъ и рабочихъ или для телеграфныхъ цѣлей, или для желѣзно-дорожныхъ, или для

ремесленныхъ. Программы этихъ школъ довольно пространны и образованіе не ограничивается одною грамотою или закономъ Божіимъ, но въ нихъ входятъ начала химіи и физики, математика до геометріи включительно, строительная и практическая механика, архитектура, курсъ желѣзныхъ дорогъ, рисованіе и черченіе. Школы эти посѣщаются охотно, потому что познанія, которыя онѣ даютъ, дѣйствительно создаютъ ученикамъ будущее практическое и обезпечивающее, выгодное положеніе.

Но если фабричный идетъ въ школу добровольно и его никто не принуждаетъ учиться, почему - же такъ - же добровольно не идетъ въ школу земледѣлецъ? Причина этого, конечно, не въ томъ, чтобы земледѣлецъ не понималъ пользы образованія, а, конечно, только въ томъ, что образованіе, которое ему даютъ, не совсѣмъ соответствуетъ ожиданіямъ земледѣльца. Изъ заявленій, сдѣланныхъ въ нѣкоторыхъ земствахъ, мы знаемъ, что школы посѣщаются охотно не только молодежью, но даже и стариками крестьянами. Желаніе учиться въ народѣ есть и это доказали бывшія воскресныя школы. Недовѣріе къ школамъ не въ томъ, что онѣ школы, а въ томъ, что онѣ не удовлетворяютъ требованіямъ и ожиданіямъ народа. Но кто-же можетъ утверждать, чтобы школы дѣйствительно удовлетворяли требованіямъ? У насъ даже не выработалась не только система народнаго образованія, но мы сами еще не знаемъ, чему учить народъ, и не опредѣлили даже положенія этихъ школъ. Въ послѣднее время большинство русскихъ земствъ даже стало отказываться отъ своихъ школъ и семинарій и передавать ихъ въ веденіе министерства народнаго просвѣщенія. Если, такимъ образомъ, у самой школы нѣтъ никакого положенія и программы ея не выработаны, то какъ-же требовать, чтобы народъ добровольно винулся въ школы безъ программъ и твердаго положенія?

Періодъ, который мы теперь переживаемъ, есть пока періодъ грамоты. Всѣ наши педагоги, великіе и малые, начиная съ г. Бунакова и кончая графомъ Толстымъ, пока спорятъ и разсужда-

ють лишь о болѣе удобной методѣ обученія грамотѣ. Каждый изъ педагоговъ старается объ изобрѣтеніи новой методы обученія и дальше этого учебники народной школы не идутъ. Защитники обязательнаго обученія говорятъ, что грамота есть орудіе образованія и просвѣщенія. И они совершенно правы, если этимъ орудіемъ есть что дѣлать дальше. Предположите, что крестьянскій мальчикъ поступаетъ въ школу и по методѣ Евтушевскаго, Бунакова, Водовозова, Паульсона, Столпянскаго его вучиваютъ, наконецъ, съ необыкновенными усиліями грамотѣ. Что-же онъ потомъ станетъ съ нею дѣлать? Грамотнымъ парнемъ онъ водворяется въ своей семьѣ, окончивъ курсъ, и все его гордое сознаніе ограничивается тѣмъ, что онъ грамотный. Но развѣ грамота, которую онъ училъ, примѣнима въ его жизни хотя чѣмъ-нибудь? Сообщила-ли она ему какія-нибудь познанія, научила его чему-нибудь полезному и практическому? Защитники чистой грамотности, какъ орудія просвѣщенія, надъ этимъ никогда и не задумывались. Ушинскій, при всей честности своихъ стремленій, видѣлъ въ изученіи языка центральное знаніе и своими тремя книжками для народной школы не ушелъ далѣе грамоты и грамматики. Совершенно справедливо, что родной языкъ есть центральное знаніе, но только для кого? Неужели для двѣнадцатилѣтняго деревенскаго парня, и неужели механическое заучиваніе правилъ русскаго языка по методѣ Ушинскаго и его послѣдователей есть родной языкъ? Переберите всѣ книжки, изданныя для народной школы, и вы увидите, что это книжки исключительно для изученія голаго механизма чтенія. Ребенокъ въ видѣ упражненія читаетъ сказку о колобѣ, рассказъ о хитрой лисицѣ, обманувшей волка, о глупомъ медвѣдѣ, убившемъ себя бревномъ, о собацѣ, что она четвероногое животное; потомъ дается ему масса нравственныхъ анекдотовъ и рассказовъ, — и все это называется народнымъ образованіемъ! Крестьянскій мальчикъ, убившій три года въ школѣ на чтеніи этихъ несвязанныхъ ничѣмъ рассказовъ, можетъ выходить и хорошимъ грамотѣемъ, но въ его грамотной головѣ нѣтъ ничего, кромя сумбура. Зачѣмъ-же ему понадобилась грамота? Неужели для того, чтобы прочитать всѣ назидательные рассказы г. Паульсона, которые могутъ быть интересны какъ анекдоты, но существенной пользы не принесутъ ни самому ученику, ни его почтеннымъ

родителямъ, если-бы онъ вздумалъ разсказать имъ все, что онъ знаетъ? Что помѣшало школѣ, вмѣсто назидательныхъ, безполезныхъ разсказовъ г. Паульсона или отрывочныхъ, несвязанныхъ никакимъ внутреннимъ единствомъ разсказовъ и басенъ Ушинскаго, дать ребенку что-нибудь болѣе существенное, знакомящее его съ его практическимъ бытомъ и съ практическимъ дѣломъ, которое ожидаетъ его въ будущемъ? Наши педагоги спорятъ ровно двадцать лѣтъ о томъ, какая метода обученія грамотѣ лучше, и не кончили спора до сихъ поръ. Что-же касается до наглядныхъ бесѣдъ и до сообщенія народу связанныхъ, доступныхъ и практичныхъ знаній, то вопросъ этотъ кажется до того смѣльнымъ и недоступнымъ, что даже самъ Ушинскій не смѣлъ его коснуться. А между тѣмъ если-бы народная школа не ограничивалась сообщеніемъ дѣтямъ одного орудія знанія, а давала-бы и самое знаніе, вопросъ о принудительномъ ученіи едва-ли-бы представлялся такимъ важнымъ, какимъ онъ представляется. Никто изъ педагоговъ не подумалъ о томъ, оттого-ли школы не посѣщаются дѣтьми, что народъ не понимаетъ пользы просвѣщенія, или оттого, что въ школѣ нѣтъ никакого просвѣщенія. Идутъ-же фабричныя рабочіе въ школы и посылаютъ въ нихъ своихъ дѣтей, и не нужно ихъ къ этому принуждать, а въ деревенскія школы народъ не идетъ и дѣтей въ нихъ не посылаетъ. Отчего? Вѣдь и фабричныя—народъ. Отчего-же одинъ народъ идетъ въ школу, а другой нѣтъ?

Мы не станемъ отрицать, что не вездѣ сельское населеніе въ одинаковой степени жаждетъ просвѣщенія и что есть даже мѣстности, гдѣ крестьяне неохотно посылаютъ дѣтей въ школы, считая школьное обученіе убитымъ даромъ времени. Это нерасположеніе къ школѣ особенно замѣтно во внутреннихъ, исключительно земледѣльческихъ губерніяхъ. Но и тутъ не столько виноватъ народъ, сколько школа и недостатокъ хорошихъ учителей. Конечно, грамотѣ можетъ учить каждый—и отставной солдатъ, и пономарь, и даже грамотная начетчица. Но какою-же толкѣ отъ подобныхъ школъ и что выиграетъ русское просвѣщеніе, если каждый деревенскій мальчикъ будетъ умѣть читать, а въ головѣ его останутся тѣ-же понятія, и тѣ-же представленія, и то-же невѣжество, и тотъ-же сумбуръ? Въ томъ, что народная школа не можетъ вырваться изъ теперешняго жалкаго положенія и ограничиваетъ свою дѣя-

тельность исключительно грамотой, конечно, виновать не недостатокъ учителей, а тѣ условія, въ которыхъ находятся учителя. Изъ земскихъ отчетовъ извѣстно, что учителя для народа поставлены въ такое положеніе и окружены такимъ запутаннымъ вмѣшательствомъ цѣлой массы начальниковъ, мѣсто учителя до того скользко и такъ легко потерять его, что, конечно, ни одинъ способный и искренно отдающійся дѣлу образованія народа чело-вѣкъ не пойдетъ въ учителя. Такимъ образомъ, вопросъ сводится въ сущности не къ народу, а къ самой школѣ. Мы спросимъ нашихъ педагоговъ: оттого-ли народъ не учится, что по невѣжеству не понимаетъ благихъ плодовъ просвѣщенія, или благіе плоды просвѣщенія не растутъ въ вертоградѣ русской народной школы? Вотъ если-бы русскіе педагоги, занятые исключительно обученіемъ грамотѣ, устроили-бы такія школы, въ которыхъ народъ дѣйствительно обрѣталъ познанія, если не глубоко научныя и систематическія, то все-таки, относительно, на-столько непосредственно-полезныя, какъ тѣ практическія свѣденія, которыя получаютъ наши фабричныя рабочіе къ нарвской школѣ, и если-бы подобныя школы, несмотря на то, оставались пустыми, то, конечно, педагоги имѣли-бы право обвинить народъ въ невѣжествѣ и сказать, что виновать онъ, а не они.

Ссылки на авторитетъ Европы, особенно на Англію и Америку, вовсе не на-столько убѣдительны, чтобы могли оправдывать принципъ принужденія. Въ Англіи съ незапамятныхъ временъ дѣло народнаго образованія стояло вѣдѣ вмѣшательства правительства. Англичане всегда смотрѣли враждебно на всякое покушеніе правительства вмѣшиваться въ ихъ дѣла, и народное образованіе, преимущественно въ прошедшемъ столѣтіи, находилось въ рукахъ духовенства. Нельзя сказать, чтобы дѣятельность англійскихъ обществъ была успѣшна. Школъ открывалось много, но въ нихъ учили только грамотѣ и счету. Скоро, однако, англичане зачѣтили, что мало еще давать одно *орудіе* образованія, но нужно сообщать народу понятія и знанія. И вотъ учреждается общество для распространенія въ народѣ социальныхъ и практическихъ научныхъ знаній и предпринимается изданіе народной энциклопедіи. Результаты народнаго образованія въ Англіи были не особенно успѣшны, вовсе не потому, чтобы народъ избѣгалъ просвѣщенія.

Причина заключалась въ томъ, что школа сдѣлалась орудіемъ для борьбы политическихъ партій и попала въ руки религіозныхъ сектъ; вотъ вслѣдствіе чего въ Англіи явилась мысль о виѣшательствѣ въ народное образованіе правительства. И виѣшательство правительства принесло, дѣйствительно, пользу. Но польза виѣшательства правительства заключалась опять - такъ не въ томъ, что народъ насильно погналъ въ школы, а въ томъ, что оно своими виѣшательствомъ освободило дѣтей, которыхъ фабрики и машины превратили въ рабочую силу. Нужда заставляла родителей эксплуатировать своихъ дѣтей; ребенокъ даже шести и негѣ лѣтъ служилъ поддержкою семьи, и родители, которыхъ онъ былъ нуженъ, какъ экономическій производитель, конечно, охотнѣе посылали его на фабрику, чѣмъ въ школу. Но какія-же это были школы? Большая часть школъ скорѣе походила на хлѣва, чѣмъ на дома; порядочныхъ учителей въ школахъ не было, контроля надъ школами не существовало, а методы обученія не были ни выяснены, ни разработаны. Воспитаніе было преимущественно религіозное, потому что оно находилось въ рукахъ сектъ. Чтобы привести всю эту путаницу въ порядокъ и устранить виѣшательство религіозныхъ сектъ, общественное мнѣніе стало требовать виѣшательства правительства. Но тутъ опять новое затрудненіе. Въ настоящее время вопросъ о народномъ образованіи въ Англіи составляетъ пока предметъ невыясненнаго спора, и если принципъ обязательнаго обученія становится въ Англіи все болѣе и болѣе популярнымъ, то скорѣе потому, что въ правительственномъ виѣшательствѣ какъ либеральная партія, такъ и сами рабочіе видятъ извѣстную гарантію противъ односторонней школы, находящейся въ рукахъ партій, и школъ фабрикантовъ, пользующихся работою дѣтей. Англичане не такой народъ, чтобы могли выносить принужденія, и всѣмъ понятно, что если въ Англіи и явится обязательное обученіе, то оно продержится не долѣе одного поколѣнія. Общій-же выигрышъ будетъ заключаться въ томъ, что воспитаніе, вмѣсто нынѣшняго односторонне-религіознаго и въ духѣ партій, сдѣлается общенароднымъ. Такимъ образомъ, въ Англіи правительственное виѣшательство въ дѣло народнаго образованія и обязательность обученія не больше, какъ временной выходъ изъ той воспитательной неурядицы, которую создали раз-

ныя образовывающія общества, секты, корпораціи и фабриканты. Америка и Швейцарія рѣшили этотъ вопросъ иначе и дѣло народнаго образованія поставили подъ контроль и наблюденіе цѣлаго народа посредствомъ его выборныхъ.

Мы очень хорошо понимаемъ, что американское и швейцарское разрѣшеніе вопроса у насъ немислимо, но въ то-же время думаемъ, что пригѣръ Англіи имѣетъ для насъ поучительность, но совсѣмъ не въ томъ, въ чемъ ее видятъ безусловные поклонники нѣмецкихъ порядковъ. Англія прежде всего обратила вниманіе на качество своихъ школъ и совершенно основательно рѣшила, что нельзя требовать обязательнаго посѣщенія школъ, если школы эти похожи на хлѣва, если въ нихъ нѣтъ порядочныхъ учителей, не существуетъ методовъ обученія и все образованіе ограничивается исключительно грамотой, счисленіемъ и одностороннимъ религіознымъ воспитаніемъ въ духѣ какой-нибудь одной секты. Что-же касается до обязательности, то она не представляется англичанамъ такой неизбѣжно необходимой мѣрой, и если мы захотимъ найти отвѣтъ на это въ самой исторіи Англіи, то увидимъ, что отсутствіе обязательнаго обученія нисколько не помѣшало Англіи ни выработать свободныя учрежденія, ни достигнуть колоссальнаго промышленнаго развитія, ни сдѣлаться владычицей двухъ третей земнаго шара. Германія, практикующая у себя обязательность чуть-ли не со временъ Лютера, далеко не достигла ни того національнаго богатства, ни того умственнаго развитія, ни того міроваго положенія, которое занимаетъ Великобританія. Слѣдовательно, вопросъ объ обязательномъ обученіи, и въ особенности если оно будетъ ограничиваться одною грамотою и арифметикою, далеко не порѣшаетъ вопроса ни объ умственномъ образованіи, ни вопроса объ общественномъ политическомъ развитіи.

Несмотря на то, что въ пользу обязательнаго обученія не существуетъ никакихъ несомнѣнныхъ доказательствъ, а говорить по-преимуществу практика Германіи, невнигравшая, однако, отъ обязательности ровно ничего ни въ умственномъ, ни въ политическомъ развитіи, — послѣднія побѣды Германіи нельзя-же приписывать вліянію обязательной нѣмецкой школы, — тѣмъ не менѣе за обязательное обученіе у насъ стоитъ все вліяющее общественное мнѣніе. Въ одной изъ бесѣдъ по техническому образованію про-

Фесоръ Лисонъ вовсе даже не считалъ необходимымъ доказывать необходимость обязательнаго обученія, а признавъ его безспорнымъ и указавъ на законы, существующіе въ Германіи, Австріи, Швейцаріи, прямо проектировалъ законъ о работѣ малолѣтнихъ и о числѣ часовъ, которое ребенокъ каждаго возраста долженъ посвятить школѣ. Перевѣсъ общественнаго мнѣнія въ пользу обязательности, конечно, дѣлаетъ борьбу съ общественнымъ мнѣніемъ невозможной, но тѣмъ не менѣе мы все-таки думаемъ, что и польза народа, и успѣхъ того дѣла, осуществить которое хочетъ руководящее общественное мнѣніе, требуютъ относиться къ этому дѣлу серьезно, безъ одностороннихъ увлеченій, не рискуя мѣрами, которыя не могутъ быть успѣшными.

Прежде всего слѣдуетъ рѣшить, какія мы имѣемъ матеріальныя средства для того, чтобы сдѣлать обязательное обученіе общимъ для всей Россіи? Князь Васильчиковъ, даже не ставя вопроса объ обязательности и не требуя, чтобы каждый ребенокъ посѣщалъ школу, а ограничивая пропорцію учащихся 7—8 учениками на 100 жителей обоаго пола и считая одну школу на тысячу жителей, выводитъ общее число учениковъ отъ 4,200,000 до 4,800,000, а число начальныхъ школъ въ 60,000. Ограничивая школьныя расходы самой ничтожной цифрой — жалованье учителю въ 120 рублей, а прочіе расходы въ 80 рублей, — князь Васильчиковъ выводитъ, что на 60,000 школъ потребуется въ годъ 12,000,000 руб. Но найдемъ-ли мы ихъ? спрашиваетъ князь Васильчиковъ. Въ этомъ и весь вопросъ. Въ отвѣтъ на него князь Васильчиковъ приводитъ слова Гнейста: „нужныя суммы найдутся, если только ихъ захотятъ создать и искать въ сокращеніи излишнихъ расходовъ“. Но этотъ отвѣтъ вопроса не разрѣшаетъ; судя по тѣмъ трудностямъ, съ какими пополняется нашъ государственный бюджетъ, судя по тѣмъ трудностямъ, съ какими мы собираемъ налоги и пополняемъ недоимки, не предвидится рѣшительно никакой возможности имѣть даже тѣ 12 миліоновъ, которые высчитываетъ князь Васильчиковъ, не

смотря на то, что за тѣ расходы, которые онъ предполагаетъ на школы, порядочныхъ школъ имѣть невозможно. А гдѣ взять сразу 60,000 учителей, и именно такихъ учителей, которые-бы могли установить авторитетъ школы и заставить народъ видѣть въ ней дѣйствительно необходимое учрежденіе? Ясно, что уже по этимъ двумъ причинамъ повсемѣстное учрежденіе обязательныхъ школъ невозможно и дѣло это должно затянуться въ долгій ящикъ.

Въ порядкѣ послѣдовательнаго умственнаго развитія городъ идетъ всегда впереди деревни и фабричная промышленность впереди земледѣльческой. Причины этого заключаются въ томъ, что знанія, руководящія городской промышленной жизнью и промышленностью, болѣе разработаны и законченны, чѣмъ знанія, руководящія сельско-хозяйственной промышленностью. Конечно, защитники обязательнаго обученія не желаютъ идти такъ далеко и все требованіе образованія ограничивается одной грамотой. Но если школа должна давать отвѣтъ на вопросы жизни и давать не одно орудіе знанія, но и знаніе, то ясно, что школа одной грамотой не разрѣшаетъ вопроса о народномъ образованіи. Нельзя также отрицать и того, что раскидываясь сразу на все и гоняясь за двумя зайцами, рискуешь не поймать ни одного. Поэтому защитники обязательнаго обученія поступили-бы, конечно, осторожнѣе, если-бы, оставивъ пока деревню, занялись городомъ; тогда вопросъ свелся-бы къ вопросу дѣйствительно важному, уже поднятому, но, къ сожалѣнію, еще неразрѣшенному, — къ вопросу о воспитаніи дѣтей фабричныхъ. Объ этомъ вопросѣ мы знаемъ вотъ что.

Въ 1859 году послѣдовало высочайшее повелѣніе объ учрежденіи при с.-петербургскомъ губернаторѣ временной комисіи для подробнаго осмотра всѣхъ фабрикъ и заводовъ въ С.-Петербургѣ. Комисіи было поручено составить правило для огражденія народа отъ увѣчій и для облегченія работы малолѣтнихъ. Комисія осматрѣла всѣ фабрики и заводы, на которыхъ работаютъ малолѣтніе, но, къ сожалѣнію, собранныя ею свѣденія, а также и отчетъ о произведенномъ еще въ 1857 году осмотрѣ ремесленныхъ заведеній, найденныхъ въ весьма неудовлетворительномъ состояніи, остались канцелярскою тайною. Такимъ образомъ у

нась до сихъ поръ нѣтъ никакихъ точныхъ данныхъ о положеніи ремесленниковъ, какъ на фабрикахъ, такъ и въ ремесленныхъ заведеніяхъ. Проектъ, составленный комисіей, былъ сообщенъ на разсмотрѣніе министерствъ внутреннихъ дѣлъ и финансовъ; затѣмъ, напечатанный, разосланъ на разсмотрѣніе подлежащимъ учрежденіямъ и лицамъ. Въ то-же время, т. е. въ 1859 году, была учреждена при министерствѣ финансовъ особая комисія для составленія уставовъ фабричнаго и ремесленного. Комисія эта пересмотрѣла упомянутый проектъ, собрала дополнительныя свѣденія и выработала полный проектъ промышленнаго устава. Проектъ былъ подвергнутъ разсмотрѣнію мануфактурнаго совѣта и затѣмъ выработанъ окончательный проектъ устава, препровожденный министерствомъ финансовъ на заключеніе министерства внутреннихъ дѣлъ. Нужно полагать, что проектъ этотъ не встрѣтилъ одобренія министерства и не получилъ дальнѣйшаго движенія, потому что прошло уже восемь лѣтъ со времени его представленія и до сихъ поръ не слышно, чтобы его подвергали какому-либо разсмотрѣнію. Сущность предложеній относительно работы малолѣтнихъ на фабрикахъ, заводахъ и въ ремесленныхъ заведеніяхъ, изложенныхъ въ ст. 41 помянутаго проекта, заключается въ слѣдующемъ. Не дозволяется допускать къ работѣ малолѣтнихъ обоаго пола, недостигшихъ 12-лѣтняго возраста. Малолѣтніе, отъ 12 до 16 лѣтъ, не должны находиться на дневной работѣ болѣе 12 часовъ въ сутки, полагая въ томъ числѣ 2 часа для завтрака, обѣда и отдыха. Работа, производимая съ 8 часовъ вечера до 5 часовъ утра, считается ночью, и на такой работѣ малолѣтніе, отъ 12 до 16-лѣтняго возраста, не должны быть оставляемы болѣе 6 часовъ, раздѣленныхъ однимъ часомъ на пищу и отдыхъ. Кромѣ того въ этотъ проектъ устава включена особая статья, по которой вмѣняется хозяевамъ въ обязанность наблюдать за умственнымъ образованіемъ малолѣтнихъ, находящихся въ ихъ заведеніяхъ. Для этого при обширныхъ заведеніяхъ, занимающихъ значительное число дѣтей, должны быть учреждаемы, иждивеніемъ хозяевъ, школы грамотности; хозяева же заведеній, при коихъ устройство такихъ школъ, при незначительномъ числѣ рабочихъ, не представляется удобнымъ, должны заботиться о доставленіи малолѣтнимъ возможности посѣщать

приходскія и другія мѣстных школы. Относительно-же приема малолѣтнихъ и несовершеннолѣтнихъ для обученія ихъ промыслу и ремеслу постановлено, что дѣти моложе 12 лѣтъ отъ роду не должны быть отдаваемы въ обученіе на фабрики, заводы, ремесленныя и другія заведенія.

Изъ этого видно, что вопросъ объ обезпеченіи умственнаго и нравственнаго обученія дѣтей уже обратилъ на себя вниманіе правительства, но, къ сожалѣнію, находится еще въ зачаточномъ видѣ. Между тѣмъ умственное, нравственное и физическое положеніе дѣтей на фабрикахъ, сколько извѣстно объ этомъ изъ частныхъ отрывочныхъ свѣденій, очень печально и, конечно, гораздо печальнѣе, чѣмъ положеніе дѣтей земледѣльцевъ. Но, къ сожалѣнію, судить вполне объ умственномъ и физическомъ положеніи дѣтей на фабрикахъ почти невозможно, потому что нѣтъ объ этомъ достаточныхъ свѣденій. Въ доставляемыхъ въ департаментъ торговли и мануфактуръ вѣдомостяхъ о фабрикахъ и заводахъ показывали только число рабочихъ моложе и старше 15 лѣтъ и нѣтъ болѣе подробнаго раздѣленія дѣтей по возрасту. Въ печатаемыхъ-же департаментомъ свѣденіяхъ о числѣ фабрикъ и заводовъ показывается лишь общее число рабочихъ, безъ отдѣленія дѣтей моложе 15 лѣтъ. Точныя и подробныя свѣденія о работающихъ дѣтяхъ имѣются только о фабрикахъ и заводахъ Москвы и московской губерніи въ „Статистическомъ атласѣ мануфактурной промышленности Москвы и московской губерніи“, г. Матисена. Свѣденія, означенныя въ атласѣ, относятся къ 1871 году. Въ нихъ хотя и показано число малолѣтнихъ, но не обозначено, до какихъ лѣтъ рабочій считается малолѣтнимъ, а потому надо полагать, что принять 15-лѣтній возрастъ, показываемый въ официальныхъ вѣдомостяхъ. Въ Москвѣ и московской губерніи на всѣхъ 2,516 фабрикахъ и заводахъ въ 1870 году считалось 188,853 рабочихъ, въ томъ числѣ мужчинъ 124,603, женщинъ 35,106 и малолѣтнихъ обоаго пола 29,144. Наибольшее число малолѣтнихъ встрѣчается на фабрикахъ бумагопрядильныхъ—4,409, бумаготкацкихъ—4,129, ситценабивныхъ—2,262, суконныхъ—5,207 и шерстяныхъ—4,698. Любопытно, что на фосфорно-спичечныхъ фабрикахъ на 241 взрослоаго рабочаго приходится 92 дѣтей. Значительное

число малолѣтнихъ мальчиковъ, съ 10 и 11-лѣтнаго возраста, встрѣчается въ ремесленныхъ заведеніяхъ: хлѣбномъ, булочномъ, мужского и женскаго платья, сапожномъ и башмачномъ, столарномъ и металлическихъ издѣлій. Наибольшее-же число дѣвочекъ встрѣчается въ производствѣ женскаго платья, бѣлошвейномъ, золотопшвейномъ, данскихъ модъ, искусственныхъ цвѣтовъ, въ сапожномъ и башмачномъ. Изъ свѣденій центрального статистическаго комитета видно, что на петербургскихъ фабрикахъ рабочихъ дѣтей, отъ 10 до 11-лѣтнаго возраста,—1,198, отъ 12 до 13 лѣтъ—4,636, а отъ 14 до 15—7,752. Всего дѣтей на петербургскихъ фабрикахъ работаетъ 13,586, а въ Москвѣ 29,144. Изъ этихъ цифръ уже можно получить достаточное понятіе, сколько дѣтей работаетъ на фабрикахъ всей Россіи и насколько ихъ физическое и нравственное развитіе имѣетъ право обратить на себя большее вниманіе, чѣмъ воспитаніе дѣтей сельскаго населенія. Какъ къ этому вопросу относилась комисія, учрежденная при министерствѣ финансовъ, читатель увидитъ изъ слѣдующей выписки, которую мы дѣлаемъ изъ трудовъ комисіи; вмѣстѣ съ тѣмъ читатель увидитъ и тѣ трудности, которыя встрѣтитъ вопросъ объ образованіи фабричныхъ дѣтей. Мы нарочно дѣлаемъ эту выписку, хотя она и очень длинна, чтобы читатель увидѣлъ взглядъ на этотъ вопросъ лицъ официальныхъ и пользующихся довѣріемъ правительства.

„Мѣры ограниченія работы дѣтей нѣкоторые признаютъ стѣснительными. При этомъ указываютъ на могущіе послѣдовать убытки для фабрикантовъ отъ сокращенія часовъ рабочаго времени и даже отъ остановки тѣхъ производствъ, въ которыхъ работа взрослыхъ тѣсно связана съ работою дѣтей. Есть въ виду даже такое мнѣніе, которое имѣетъ цѣлію доказать несомнѣнную пользу фабричной работы для дѣтей, не только въ отношеніи способствъ къ приобрѣтенію, но и въ отношеніи къ вліянію на здоровье. Не останавливаясь на подобныхъ крайнихъ мнѣніяхъ, которыя противорѣчатъ опыту всѣхъ странъ и народовъ, нельзя не убѣдиться, что большинство свѣдущихъ людей соглашается въ необходимости ограничить дѣтскую работу, какъ въ отношеніи рабочихъ часовъ, такъ и въ отношеніи возраста малолѣтнихъ. Затѣмъ взгляды разнятся только относительно практическаго при-

мѣненія такой мѣры. Не должно упускать изъ виду, что многіе изъ петербургскихъ фабрикантовъ (между прочимъ, владѣльцы бумагопрядильни, на которыхъ дѣтская работа встрѣчаетъ самое широкое приложеніе) выразили полную готовность сократить какъ ночную работу вообще, такъ и работу дѣтей въ особенности, съ тѣмъ, впрочемъ, чтобы ограниченія этого рода были обязательны для всѣхъ фабрикантовъ. Такое желаніе понятно, потому что иней фабрикантъ, рѣшившійся на подобное нововведеніе, едва-ли вынесъ-бы соперничество съ другимъ, неперестающимъ пользоваться дешевымъ трудомъ малолѣтнихъ.

„Въ замѣчаніяхъ, представленныхъ на проектъ правилъ для фабрикъ и заводовъ въ С.-Петербургѣ и его уѣздѣ предлагается частію сблизить или отдалить наименьшій возрастъ малолѣтнихъ, принимаемыхъ на фабрики, частію сдѣлать изъятія въ пользу тѣхъ или другихъ работъ, и даже вовсе запретить ночную работу не только дѣтямъ, но и женщинамъ.

„Каждое изъ выраженныхъ мнѣній имѣетъ на своей сторонѣ извѣстную долю справедливости. Само-собою разумѣется, что, въ общихъ видахъ, желательнѣе оградить молодое поколѣніе отъ необходимости подвергать себя изнурительной фабричной работѣ. Что такая усидчивая и однообразная работа, даже при соблюденіи гигиеническихъ условій, очень вредно дѣйствуетъ на юный, еще не вполне развитшійся организмъ, — это не подлежитъ сомнѣнію, а потому, чѣмъ болѣе будетъ отдаленъ срокъ, ранѣе котораго нельзя принимать дѣтей на фабрику, тѣмъ лучше. Интересъ этотъ такъ важенъ, что если-бы даже отъ того нѣсколько пострадали частныя выгоды фабрикантовъ или потребителей, то и тогда сознаніе общественной пользы побуждало-бы рѣшиться на подобную мѣру. Но дѣло въ томъ, что опасенія, выраженные нѣкоторыми изъ фабрикантовъ, кажутся, несправедливы и во всякомъ случаѣ крайне преувеличены. Извѣстно, что дѣтская фабричная работа, въ особенности ночная, неспора и неудовлетворительна. Отказаться вовсе отъ ночной работы и совсѣмъ обходиться безъ малолѣтнихъ въ нѣкоторыхъ производствахъ очень затруднительно; но не подлежитъ сомнѣнію, что уступки въ подобномъ дѣлѣ со стороны хозяевъ не сопровождались-бы чувствительнымъ для нихъ ущербомъ, особенно если ограниченія будутъ

постановлены для всѣхъ вообще промышленныхъ заведеній. Если задѣльная плата, съ ограниченіемъ дѣтской работы, въ массѣ увеличится и отразится вздорожаніемъ издѣлій, то это не составитъ потери въ общей экономіи народнаго богатства. Положимъ, что потребители въ первое время будутъ платить за издѣлія нѣсколько дороже, но за то цѣны будутъ слагаться изъ болѣе нормальныхъ условій производства, за то общество не будетъ нести потери въ энергіи, силахъ и способностяхъ цѣлаго поколѣнія малютокъ, обрекаемыхъ нынѣ на черную фабричную работу. Дешевизна составляетъ отрадное явленіе, когда она есть слѣдствіе усовершенствованій въ производствѣ и удобствъ въ средствахъ къ сбыту, а не тогда, когда она вытекаетъ изъ обязательныхъ отношеній (какъ при крѣпостномъ правѣ), изъ умѣнья пользоваться чужимъ неразуміемъ и неопытностью или изъ избытка свободнаго времени и недостатка въ занятіяхъ. Нѣкоторые наши промышленные центры представляютъ примѣры необычайной дешевизны въ производствѣ. Но такая дешевизна производства при общемъ возвышеніи цѣнъ на земледѣльческій трудъ составляетъ, конечно, ненормальное явленіе. Здѣсь видѣнъ богатый запасъ народныхъ силъ и способностей, но въ то-же время замѣтно еще неумѣнье, какъ и куда приложить эти дары природы съ большею для себя пользою. Таково-же почти свойство дѣтскаго труда: онъ дешевъ потому, что ни самъ малютка, ни отдающіе его въ работу не знаютъ ему цѣны; родители здѣсь ищутъ въ виду поскорѣе выручить нѣсколько денегъ, хотя-бы съ ущербомъ для силъ здороваго ребенка, а фабриканты пользуются корыстолюбіемъ и недальновидностью родителей. Притомъ, какъ обычай отдавать дѣтей въ работу распространенъ повсемѣстно, то обширное предложеніе дѣтскихъ рабочихъ рукъ ведетъ къ крайнему пониженію платы дѣтямъ, которыя, такимъ образомъ, работаютъ почти даромъ. Немудрено, что при такихъ условіяхъ предложенія труда и подъ защитою покровительственнаго тарифа, непобуждающаго фабрикантовъ къ техническимъ усовершенствованіямъ, многіе изъ хозяевъ-капиталистовъ богатѣютъ быстро, не распространяя довольства въ массѣ тружениковъ, содѣйствовавшихъ ихъ обогащенію.

„Эта неравномѣрность отношеній указываетъ прямо на необхо-

димось преобразованія, въ которомъ дѣтскій трудъ долженъ занимать одно изъ первыхъ мѣстъ. Рѣшиться на реформу необходимо, тѣмъ болѣе, что у насъ она не можетъ сопровождаться разстройствомъ въ области промышленнаго производства. Если въ другихъ европейскихъ государствахъ, напр., въ Бельгій, правительства руководились въ этомъ дѣлѣ крайней осторожностью, боясь нарушить усвоенные промышленностью обычаи, то у насъ нѣтъ мѣста подобнымъ опасеніямъ. Наша промышленность не достигла еще широкаго развитія; работы на фабрикахъ занимаютъ у насъ лишь меньшинство рабочаго люда. Притомъ занятія этого рода не всегда постоянны; очень часто они происходятъ лишь въ промежуткахъ между сроками полевыхъ работъ. Слѣдовательно, ограниченіе дѣтской фабричной работы не внесетъ разстройства въ хозяйственный бытъ нашего фабричнаго населенія. При меньшемъ числѣ малолѣтковъ возвысится задѣльная плата взрослымъ рабочимъ, а если дѣти послѣднихъ до нѣкотораго возраста будутъ лишены заработковъ на фабрикахъ, то за то, пользуясь свободой, они быстрѣе разовьются физически, и, слѣдовательно, съ большимъ усиліемъ приложатъ свои труды въ фабричному производству впослѣдствіи. При такомъ порядкѣ вещей престарѣлые родители найдутъ въ своихъ дѣтяхъ болѣе надежную поддержку, да и государство, не давая рабочему преждевременно расточать здоровье и силы, останется въ прямомъ выигрышѣ. Нѣкоторые хозяева, конечно, лишатся части своихъ барышей; легко можетъ быть, что возвышеніе задѣльной платы отразится не столько на вздорожаніи издѣлій, сколько на уменьшеніи чистой прибыли капиталистовъ; но если-бы такое явленіе осуществилось, то оно доказало-бы только, что предпринятая мѣра, возстановивъ до нѣкоторой степени равновѣсіе въ интересахъ хозяевъ, рабочихъ и потребляющей публики, вполне достигла желаемой цѣли“.

Въ проектѣ-же устава о фабричной, заводской и ремесленной промышленности, составленномъ въ министерствѣ финансовъ въ 1865 году, въ статьѣ 44 говорится: „Хозяевамъ влѣгается въ обязанность наблюдать за умственнымъ образованіемъ малолѣтнихъ, находящихся въ ихъ заведеніяхъ. Для сего при обширныхъ заведеніяхъ, занимающихъ значительное число рабочихъ, содержатся иждивеніемъ хозяевъ школы грамотности. Хозяева-же

заведеній, при коихъ устройство таковыхъ школъ, по незначительному числу рабочихъ, не представляется удобнымъ, должны заботиться о доставленіи малолѣтнимъ возможности посѣщать приходскія и другія нѣстныя школы. Хозяева не должны препятствовать состоящимъ при нихъ мастеровымъ и рабочимъ исполнять постановленія и обряды ихъ вѣры“. А въ статьѣ 92 сказано: „Хозяинъ долженъ наблюдать, чтобы находящіеся у него ученики исполняли постановленія и обряды своей вѣры, и дозволить имъ посѣщать нѣстную школу, гдѣ таковая имъ открыта“.

Вотъ тотъ готовый матеріалъ, который, намъ-бы казалось, нужно прежде всего воспользоваться, когда возбуждается вопросъ о народномъ образованіи. Министерство финансовъ уже положило ему починъ и, такъ-сказать, намѣтило вопросъ. А между тѣмъ, несмотря на безусловную, первостатейную важность образованія дѣтей рабочихъ, ни земство, ни другія лица, желающія введенія обязательнаго обученія, не говорятъ ни слова объ образованіи фабричныхъ дѣтей, несмотря на то, что по приблизительному разсчету число ихъ въ Россіи представляетъ едва-ли меньше 500,000 человекъ. Вопросъ объ образованіи фабричныхъ дѣтей важенъ не только въ смыслѣ поднятія ихъ умственнаго и нравственнаго уровня, но еще и въ томъ, что школьные часы и точное опредѣленіе уроковъ фабричной работы спасетъ дѣтямъ и ихъ физическое здоровье. Мы думаемъ, что наши земства потому только не обратили должнаго вниманія на нравственное, умственное и физическое положеніе фабричныхъ малолѣтнихъ, что починъ принадлежалъ тѣмъ земствамъ, у которыхъ нѣтъ фабрикъ и заводовъ.

У насъ въ рукахъ есть еще проектъ—о введеніи обязательнаго обученія въ С.-Петербургѣ. Въ настоящее время всѣхъ учащихся обоого пола во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ Петербурга, въ возрастѣ отъ 8 до 14 лѣтъ, 22,915; всѣхъ-же дѣтей этого-же возраста по переписи 10 декабря 1869 года—56,234. Такимъ образомъ, гораздо больше половины петербургскихъ дѣтей никакихъ школъ не посѣщаютъ. Это печальное положеніе образованія дѣтей Петербурга вызвало проектъ, о которомъ мы говоримъ, и составитель его полагалъ-бы организовать обязатель-

ное начальное ученіе въ Петербургѣ на слѣдующихъ основаніяхъ.

Составитель проекта полагаетъ, что намъ въ своихъ требованіяхъ нужно опуститься ниже Германіи и ограничиться курсомъ начальныхъ народныхъ училищъ. Обязательная школа должна учить закону Божію, чтенію по книгамъ гражданской и церковной печати, письму, счисленію и первымъ четыремъ дѣйствіямъ арифметики. Дальнѣйшее-же обученіе въ городскихъ и другихъ училищахъ предоставить на волю каждаго. Срокъ обученія предполагается отъ 8 до 12 лѣтъ. Любопытно, что составитель проекта ограничиваетъ этотъ срокъ собственно потому, чтобы оставить для дѣтей ремесленного и рабочаго класса „время для ремесленныхъ и другихъ занятій, имѣя въ виду обезпеченіе ихъ будущности“ Мнѣніе это совсѣмъ не сходится съ мнѣніемъ мануфактурнаго совѣта и министерства финансовъ, смотрящихъ на дѣтей на фабрикахъ нѣсколько иначе.

Число школъ, необходимое, по предположенію составителя проекта, для всеобщаго обязательнаго обученія Петербурга,—157, а общій расходъ на нихъ исчисленъ въ 350,551 рубль. Въ настоящее время петербургская городская дума расходуетъ на народное образованіе всего 14,571 рубль,—слѣдовательно, ей придется прибавлять ежегодно по 335,980 рублей. „Какъ ни велика эта сумма, говоритъ составитель проекта,—но все-таки, въ сравненіи съ тѣми плодотворными результатами, которыми должно сопровождаться въ близкомъ будущемъ распространеніе образованія въ массѣ столичнаго населенія, нынѣ въ большинствѣ безграмотнаго, она не можетъ быть признана непожѣрною“. Но вѣдь весь вопросъ въ томъ и заключается, точно-ли результаты чистой грамотности и тѣхъ ограниченныхъ свѣденій, которыя составитель проекта предлагаетъ ввести въ обязательный курсъ, будутъ такъ плодотворны? Впрочемъ, авторъ не скрываетъ, что расходъ будетъ тяжелъ для города, и потому указываетъ на вспомогательные источники. Первымъ источникомъ онъ считаетъ плату за ученіе. Но если ученіе должно быть обязательнымъ, прежде всего оно должно быть даровымъ, а если къ принудительности обученія присоединить еще и принудительность платежа, то такое двойное принужденіе нельзя оправдать ни юридическимъ, ни филантропиче-

скимъ и никакимъ другимъ принципомъ, изъ котораго исходятъ защитники обязательнаго обученія. Вторымъ источникомъ пособія составитель проекта полагаетъ обязательное привлеченіе фабрикантовъ и заводчиковъ содержать на свой счетъ школы при своихъ фабрикахъ и заводахъ. Указывая на эти источники, авторъ проекта хорошо понимаетъ, что и при нихъ новое обремененіе бюджета Петербурга будетъ тяжело для думы, и единственное оправданіе этого новаго налога видитъ въ томъ, что „ни одно важное дѣло не можетъ совершиться безъ значительныхъ матеріальныхъ, умственныхъ и нравственныхъ пожертвованій; а всякое пожертвованіе на дѣло народнаго образованія вознаграждается сторицею“. Такимъ образомъ авторъ исходитъ изъ той мысли, что обязательное обученіе не только вопросъ поконченный въ принципѣ, но и что „только этимъ путемъ можно сразу разрубить гордіевъ узелъ невѣжества, связывающій промышленныя и производительныя силы столицы, и поставить Петербургъ въ такія условія образованія, при которыхъ за нимъ будетъ обезпечено первостепенное значеніе въ ряду важнѣйшихъ европейскихъ столицъ“. Конечно, безотносительно мысль эта совершенно вѣрна. Если петербургскимъ жителямъ дать первостепенное образованіе, то, конечно, Петербургъ займетъ первостепенное мѣсто между европейскими столицами. Но неужели школа, проектированная составителемъ проекта, дастъ дѣтямъ такое образованіе? Мы думаемъ, что едва-ли и что одними школами грамотности Петербургъ еще не поставитъ на высоту уровня умственной жизни не только Парижа и Лондона, но даже Берлина, Вѣны и Дрездена. Чтобы больше убѣдить петербургскую городскую думу въ необходимости введенія обязательнаго обученія грамотѣ, составитель проекта говоритъ, „что на Петербургъ смотритъ вся Россія, а потому неудача Петербурга въ дѣлѣ введенія обязательнаго обученія можетъ охладить и стремленіе къ введенію обязательнаго обученія, обнаруживающееся въ различныхъ мѣстностяхъ, и тѣмъ самымъ остановить или замедлить значительно дальнѣйшее развитіе вообще начальнаго народнаго образованія въ имперіи“. Въ этихъ словахъ мы видимъ только одно: если для таковаго интеллектуально развитаго центра, какъ Петербургъ, нужно прибѣгать къ искусственнымъ и натянутымъ средствамъ убѣжде-

нія и не является никакой увѣренности, что Петербургъ въ состояніи понять идею, намѣренія, стремленія и цѣли составителя проекта, то какую-же трудность представить вся остальная Россія, всѣ уѣздные города и деревни, эта сравнительно темная масса передъ интеллектуальнымъ, блестящимъ Петербургомъ? Конечно, всего можно достигнуть обязательными средствами; не станемъ отрицать мы и того, что и проекты обязательнаго обученія, наконецъ, увидятъ свое осуществленіе, но если намъ нужно образованіе на дѣлѣ, а не на словахъ, если мы хотимъ, чтобы народное образованіе было именно такимъ, которое-бы понялъ народъ и которое-бы онъ хотѣлъ усвоить, то мы сильно сомнѣваемся, что осуществленіе проектовъ, о которыхъ намъ приходилось говорить, явилось-бы дѣйствительно тѣмъ спасительнымъ средствомъ, какимы его рекомендуютъ, чтобы средство это разрубило гордіевъ узелъ всеобщаго русскаго невѣжества и чтобы поставило и Петербургъ, и Россію на ту интеллектуальную высоту, которую, какъ журавля въ небѣ, сулятъ намъ составители проекта. Конечно, все будетъ и все придетъ въ свое время. Встанетъ когда-нибудь и Россія на высоту европейской мысли, но поставитъ-ли ее на эту высоту обязательная школа грамотности или какая-нибудь другая школа—этого нельзя рѣшить такъ скоро, какъ мы рѣшаемъ; нужно еще подумать и подумать.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ХРОНИКА.

ЛУИ-ЖОЗЕФЪ БЮФФЕ.

Истинный представитель либеральной буржуазии. — Воспитание Бюффе. — Характер Бюффе. — Его политическая программа. — Бюффе депутат. — Осторожность, выказанная имъ на первомъ шагу парламентской дѣятельности. — Клубъ улицы Пуатье. — Бюффе переходитъ на сторону реакціонеровъ. — Назначеніе Бюффе министромъ земледѣлія и торговли. — Его отставка. — Законъ 30 мая. — Бюффе снова министр. — Государственный переворотъ. — Бюффе снова дѣлается либераломъ. — Коалиція оппозиціонныхъ бонапартизму партій. — Либеральный союзъ. — Нансійская программа. — Правительство второй имперіи вынуждено дѣлать уступки. — Народныя сходки. — Изобрѣтенное возмущеніе. — Либеральное министерство Оливье. — Предусмотрительность Бюффе. — Реакціонная дѣятельность Бюффе въ версальскомъ національномъ собраніи. — Правительство борьбы. — Бюффе президентъ національнаго собранія. — Утвержденіе республиканской формы правленія во Франціи. — Бюффе глава республиканскаго министерства. — „Невѣроятные рассказы“. — Наружность Бюффе. — Подчиненіе его герцогу Бралья.

„Граждане!

„При извѣстии о славныхъ событіяхъ, низвергнувшихъ безнравственную систему, подъ давленіемъ которой изнывала Франція...“

На этомъ вступленіи мы останавливаемъ декламатора и спрашиваемъ его: „Кто вы такой?“ — „Кто я? Меня зовутъ Бюффе; я адвокатъ въ небольшомъ городкѣ Эпиналѣ. Я обращаюсь теперь съ своей рѣчью къ избирателямъ; я заявилъ свою кандидатуру въ законодательное собраніе“.

Дѣло происходило въ мартѣ 1848 года, вскорѣ послѣ февральской революціи.

„Граждане! снова начинается своя рѣчь Бюффе,—при извѣстїи о славныхъ событіяхъ, низвергнувшихъ систему, подъ давленіемъ которой изнывала Франція, *граждане* Эпиналя (слово „граждане“ произносится съ особенной выразительностію, подчеркивается), съ давнихъ поръ работающіе для торжества *демократіи* (сильно подчеркнуто), составили изъ себя комитетъ для способствованія всѣмъ зависящимъ отъ нихъ средствами начавшемуся движенію... Но кризисъ миновалъ! комитетъ отдастъ въ руки всего *народа* (подчеркнуто еще сильнѣе) временную власть, которую онъ пользовался въ силу обстоятельствъ. Онъ спрашиваетъ у *народа*, пользуется-ли онъ по-прежнему его довѣріемъ и долженъ-ли работать въ прежнемъ направленіи или разойтись? *Народъ* отвѣтилъ, что онъ желаетъ, чтобы комитетъ оставался“...

Сколько торжественныхъ фразъ, сколько благороднаго жару въ этомъ приступѣ къ рѣчи, напоминающемъ краснорѣчіе Цицината. Bravo, Бюффе! Bravo, эпинальскій адвокатъ! Вы достойны стоять на ряду съ героями Плутарха, съ героями античнаго греческаго и римскаго міра—Аристидомъ, Эпаминондомъ, Мудіемъ Сцеволой, Филопоменомъ... Чего! дзингъ, бумъ, бумъ, гремите трубъ и литавры, акомпанируя слѣдующему пригѣву:

Nous entrerons dans la Carrière
 Quand nos aînés n'y serons plus.
 Bien moins jaloux de leur survivre
 Que de suivre la trace de leurs vertus!

„Намъ предстоитъ теперь великій долгъ, продолжаетъ Бюффе: — сохранить плоды одержанной нами побѣды. Мы должны тщательно наблюдать, чтобы не сдѣлаться жертвой вчерашнихъ роялистовъ, торжественно проповѣдующихъ теперь наши доктрины, которыя еще такъ недавно они преслѣдовали съ страшнымъ ожесточеніемъ“...

Далѣе Бюффе распространяется на эту-же тему, стараясь убѣдить своихъ слушателей въ своемъ неподдѣльномъ республиканизмѣ и предупредить объ опасности, грозящей со стороны замаскированныхъ роялистовъ; онъ заканчиваетъ свою рѣчь слѣдующими словами:

„Выборы въ національное собраніе назначены на 9 число будущаго апрѣля. Намъ не должно терять времени, мы должны

тѣсно соединиться, и тогда мы легко разрушимъ замыслы враговъ республики“...

Такова была рѣчь молодого Бюффе къ гражданамъ Эпиналя, — рѣчь, служащая сколкою съ рѣчей Барбеса, Распайя, Каба и Ламене, съ которыми эти дѣятели обращались къ гражданамъ Парижа.

Слушая рѣчь Бюффе, можно было думать, что въ національномъ собраніи онъ явится горячимъ сторонникомъ республиканской партіи, подъ знаменемъ которой онъ выступилъ на выборахъ. Избиратели Эпиналя съ гордостью указывали на своего согражданина, говоря, что онъ составитъ славу своей партіи, будетъ соперникомъ Вашингтону и пр., и пр. Но увы! ихъ ожиданія не исполнились. Бюффе уже въ то время былъ однимъ изъ представителей типа либеральной буржуазіи, политическія убѣжденія которой весьма вѣрно характеризуются названіемъ консервативно-либеральныхъ или либерально-консервативныхъ. Однакожь, прежде остановимся на нѣкоторыхъ необходимыхъ подробностяхъ біографіи Бюффе.

I.

Луи-Жозефъ Бюффе, сынъ отставнаго офицера, родился въ 1818 году въ Мирекурѣ, небольшомъ городѣ въ департаментѣ Вогезовъ. Городокъ этотъ получилъ печальную извѣстность благодаря тому, что одинъ изъ писателей избралъ себѣ псевдонимомъ его имя. Извѣстный Жако, пишущій подъ именемъ Эжена де-Мирекура, за деньги составлялъ біографіи извѣстныхъ дѣятелей, наполненныя возмутительными клеветами. Въ дѣлѣ шантажа Жако долгое время былъ опаснымъ соперникомъ не менѣе знаменитому Велью; наконецъ, первенство въ ремеслѣ клеветника осталось за издателемъ „Univers“, набожнымъ сочинителемъ извѣстныхъ „Parfums de Rome“. Велью задушилъ Жако своимъ безпримѣрнымъ безстыдствомъ.

Луи Бюффе съ успѣхомъ окончилъ курсъ въ школѣ своего роднаго города. Родители отправили его въ Парижъ, въ коллегію Карла Великаго. Юный Бюффе очень скоро окончилъ курсъ пра-

ва; онъ поторопился, зная, что родители его не могутъ тратить на него много денегъ и ему слѣдуетъ самому позаботиться о заработкѣ. Къ его благополучію, онъ былъ допущенъ въ салонъ Моле, въ эту говорильню, въ подготовительный классъ парламентаризма, гдѣ практиковались и набивали руку будущіе и настоящіе префекты, подпрефекты, прокуроры, президенты судовъ, депутаты, министры, сенаторы и пр.

Двадцати двухъ лѣтъ отъ роду Луи Бюффе былъ принятъ въ число адвокатовъ эпинальскаго судебного округа, въ департаментъ Вогезовъ. Бюффе ни красивъ, ни уродливъ; ни великъ, ни малъ. Происходя изъ весьма небогатаго буржуазнаго семейства, бѣднякъ между богатыми, богачъ между бѣдными, Луи Бюффе явился очень удачнымъ представителемъ типа средняго человѣка. Онъ не обладаетъ перворазрядными способностями, но его также нельзя назвать бездарностью; онъ дѣятеленъ, трудолюбивъ, отличается ловкостью, логикой, беззащитностью, дозволявшею ему служить всякому дѣлу, всякому принципу. Онъ не лишенъ солидныхъ качествъ, но на всемъ, что онъ дѣлалъ и дѣлаетъ, лежитъ печать вульгарности. Никакой геній не освѣтилъ лучами отдаленной звѣзды его коллибели; никакая фея не дотрогивалась до его лба своей волшебной палочкой, не ласкала его своими очаровательными пальцами, изъ которыхъ исходилъ дивный магнетическій токъ, не улыбалась ему, не давала цвѣтовъ, носимыхъ ею на груди. Не получилъ отъ нея Луи Бюффе ни одного дара, возбуждающаго любовь окружающихъ: ни граціи, ни красоты, ни поэзіи, ни краснорѣчія, ни остроумія, ни веселости, ни знатности, — вообще ничего, что могло-бы отличить его отъ толпы.

Самъ Луи Бюффе едва-ли сѣтуетъ на отсутствіе въ немъ выдающихся талантовъ. Они часто бываютъ скорѣе вредны, чѣмъ полезны для составленія жизненной карьеры. Для этого требуется только извѣстная ловкость, умѣренность и акуратность; вульгарная посредственность всегда скорѣе можетъ рассчитывать на успѣхъ чѣмъ выдающаяся талантливость.

Юный адвокатъ Бюффе не блисталъ краснорѣчіемъ, но за то обладалъ дѣловой логикой. Въ его рѣчахъ не замѣчалось ни страсти, ни живого и увлекательнаго остроумія, но всеміи было очевидно, что этотъ адвокатъ отлично изучилъ сводъ законовъ

и очень силенъ въ крѣпководствѣ, — однимъ словомъ, что его не легко было сбить съ толку и понять въ какомъ-нибудь формальному упущеніи. Онъ былъ неповиненъ въ поэтическихъ наклонностяхъ, онъ никогда не пожелалъ побѣжденныхъ, къ которымъ онъ всегда питаетъ презрѣніе; въ немъ не было ничего, что производитъ великаго оратора, великаго гражданина, великаго человѣка. Но онъ одѣвался безукоризненно вѣрно адвокатской традиціи; галстухъ его всегда отличался дѣйственной бѣлизной и былъ безукоризненно повязанъ. Онъ твердо вѣрилъ въ свои силы, въ свою способность завладѣть сочинимъ кускомъ на пиру жизни. Такая увѣренность составляетъ дѣйствительную силу, оказываетъ поразительное вліяніе на толпу глупцовъ и увлекаетъ за собою трусливыхъ и нерѣшительныхъ.

Новый защитникъ „вдовъ и сиротъ“ вынесъ изъ салона Моле политическую програму. Оппозиція заявляла требованіе о дарованіи избирательныхъ правъ „людямъ способнымъ“. Говоря простымъ языкомъ, оппозиція добивалась, главнымъ образомъ, допущенія адвокатовъ къ избирательнымъ урнамъ, включенія ихъ въ привилегированную „*rais legal*“. Бюффе, какъ адвокатъ, конечно, присталъ къ оппозиціи. Дум-Филиппъ не захотѣлъ исполнить невиннаго желанія оппозиціи, и Бюффе явился противникомъ всѣхъ одномыслищихъ съ королемъ министровъ: Гизо, Дюмона, Дюшателя и др. Онъ горячо напалъ на правительство, онъ не стѣснялся въ выраженіяхъ, и прослылъ республиканцемъ. На самомъ видномъ мѣстѣ въ своемъ кабинетѣ онъ поставилъ лубочную статуетку: „Спартакъ, разбивающій свои цѣпи“, завѣсивъ ее кисеей отъ мухъ, что подало поводъ простакамъ предполагать, что статуетка эта высокой цѣны. Либералы восхваляли мужественнаго адвоката, а клерикалы, по поводу „Спартака“, произвели его въ санеюлоты, предупреждая „вѣрныхъ“ беречься „этого разрушителя вѣчныхъ основъ“. Хитрые іезуиты на этотъ разъ слишкомъ перехитрили: они не замѣтили, что за вѣшной либеральной обстановкой у Бюффе скрывается безпредѣльное честолюбіе, желаніе составить себѣ блестящую карьеру, и что собственно для него вопросъ второстепенный.

Между тѣмъ июльская монархія окончила свое существованіе.

Луи Вюффе был избранъ президентомъ республиканскаго клуба въ Эпиналь. Ему тогда было 30 лѣтъ отъ роду.

Ледрю-Ролленъ, котораго торжествующая инсурекція избрала министромъ внутреннихъ дѣлъ, обратилъ вниманіе на эпинальскаго Гракса, отличившагося ревностнымъ служеніемъ дѣлу свободы, какъ о томъ гласили рапорты, присланные въ министерство. Ледрю-Ролленъ назначилъ Вюффе помощникомъ комисара въ департаментъ Вогезовъ, сдѣлалъ его проконсуломъ округа съ весьма значительной властію, въ маломъ видѣ диктаторомъ.

Молодой человѣкъ сумѣлъ воспользоваться своимъ положеніемъ. Онъ дѣятельно работалъ, стараясь какъ можно чаще напоминать о себѣ. Рекламой для него служила масса изданныхъ книгъ прокламацій, объявленій, циркуляровъ и пр., выпущенныхъ въ свѣтъ, главнымъ образомъ, для того, чтобы напомнить эпинальскимъ гражданамъ о существованіи Вюффе, помощника комисара, вѣчно помышляющаго объ ихъ благополучіи и спокойствіи. Вюффе добился, что его стали считать человѣкомъ необходимымъ, посредникомъ между враждующими партіями. Устроивъ свое положеніе въ публикѣ, Вюффе подъ какимъ-то ничтожнымъ предлогомъ поспорилъ съ своимъ начальникомъ комисаромъ, вышелъ въ отставку и заявилъ о своей кандидатурѣ въ національное собраніе. Въ своемъ манифестѣ онъ торжественно объявлялъ о своей независимости отъ правительства и своей преданности республиканской правительственной формѣ. Его манифестъ понравился и республиканцамъ, и реакціонерамъ, начинавшимъ уже пріобрѣтать силу. И тѣ, и другіе дали Вюффе свои голоса и онъ былъ избранъ депутатомъ. „Со всей энергіей я буду трудиться для утвержденія республики, писалъ онъ въ своемъ манифестѣ,—для утвержденія которой мы всѣ должны жертвовать и самими собой, и нашимъ имуществомъ“.

II.

Увлеченіе и дѣятельность, возбужденныя февральскими собираніями, въ провинціи успѣли уже остыть, но парижское населеніе все еще находилось подъ вліяніемъ энтузіазма, когда прибылъ

туда Бюффе. Вновь избранные депутаты, вѣроятно, желая показать, что и они увлечены не менѣе другихъ, безпрестанно кричали виваты въ честь республики. Они такъ ревностно исполнили добровольно принятую на себя обязанность, что люди серьезные, дѣйствительно преданные новому порядку вещей, стали ихъ останавливать, замѣчая, что ихъ крикливая восторженность похожа на подогрѣтый энтузіазмъ клакеровъ, желающихъ вывести пьесу или актрису-дебютантку. Къ несчастію для Франціи, большинство депутатовъ принадлежало къ кричающимъ, умѣющимъ только произносить красивыя фразы, неспособнымъ къ активности и въдобавокъ трусливымъ; когда дошло до настоящаго дѣла, до защиты ими проповѣдываемыхъ принциповъ, они бросились въ объятія второй имперіи.

Эпинальскій Гракхъ усѣлся въ лѣвомъ центрѣ—этомъ прибрежьи очень осторожныхъ людей. Здѣсь онъ сидѣлъ смиренно, почти не подавая голоса; затерянный въ большинство, онъ наблюдалъ, откуда дуетъ вѣтеръ.

Вѣтеръ дулъ холодный, со стороны реакціи. Онъ оледенилъ молодого депутата и избавилъ его отъ навѣяннаго энтузіазма. Бюффе зналъ теперь, чего ему слѣдуетъ держаться. Пока дѣло шло объ уничтоженіи вліянія и оппозиціи планамъ Луи Блана, Бланки, Барбеса, Кабе или Собріе, экс-комисаръ Эпиналя шелъ, хотя весьма осторожно, вслѣдъ за своимъ патрономъ Ледрю-Ролленомъ. Однакожь, реакція не удовольствовалась поражениемъ социалистовъ въ палатѣ. Іезуиты, съ Фаллу во главѣ, направили свои удары противъ буржуазной, но достаточно радикальной и практической республики Ледрю-Роллена, съ тѣмъ, чтобы замѣнить ее идеальной и совершенно непрактичной республикой автора „Жирондистовъ“. Достигнувъ этого, они пошли далѣе и учредили чисто-формальную республику, поставивъ во главѣ ея Кавеньяка. Какъ человѣкъ честолюбивый, желавшій во что-бы то ни стало добыть карьеру, Бюффе считалъ слово „благодарность“ чисто-абстрактнымъ понятіемъ. Ни мало не задумываясь, онъ сталъ подавать свой голосъ противъ своего покровителя Ледрю-Роллена и поспѣшилъ заявить о своей глубокой преданности Кавеньяку. Послѣ кровавыхъ іюньскихъ дней маленькій эпинальскій Гракхъ, пере-

шедшій на сторону Суллы, заявилъ съ трибуны въ палатѣ, что генералъ Кавеньякъ заслуживаетъ „благодарность отечества“.

Кавеньякъ, по своимъ способностямъ, былъ далеко ниже положенія, въ которое поставила его случайность. Одержавъ побѣду надъ іюньскими инсургентами, онъ возмечталъ, что судьба Франціи находится въ его рукахъ. Иначе думали тѣ, для которыхъ онъ послужилъ орудіемъ. Онъ исполнилъ все, что имъ было нужно, и они болѣе въ немъ не нуждались. Кавеньяку очень ясно намекали, что ему пора въ отставку, но онъ не понималъ никакихъ намековъ.

Въ это время Тьеръ энергически работалъ для реставраціи монархіи; онъ рассчитывалъ добиться этого, устроивъ сліяніе между обѣими линіями Бурбоновъ. Конечно, не одна привязанность къ монархіи побуждала его дѣйствовать въ ея пользу; онъ надѣялся получить безконтрольную власть во время несовершеннолѣтія графа Парижскаго. Съ обычной энергіей Тьеръ переманилъ на свою сторону большинство собранія, такъ что могъ быть вполне увѣренъ, что національное собраніе одобритъ замышляемый имъ государственный переворотъ, въ томъ случаѣ, конечно, если этотъ переворотъ удастся. Планы Тьера развивались въ основанномъ имъ клубѣ въ улицѣ Пуатье, членами котораго вскорѣ сдѣлались многіе изъ вліятельныхъ членовъ національнаго собранія и представители крупной буржуазіи, а также нѣсколько человекъ изъ стариннаго дворянства.

Недавній пылкій республиканецъ Бюффе не замедлилъ присоединиться къ клубу въ улицѣ Пуатье. Вскорѣ онъ сдѣлался адъютантомъ Тьера и исполнялъ самыя интимныя порученія своего новаго покровителя. Тьеръ отлично понималъ, что его ретивый помощникъ „пороху не выдумаетъ“, но можетъ быть ему полезенъ, какъ старательный и ловкій исполнитель его приказаній. Желая пріобрѣсти довѣріе и другихъ, еще болѣе рѣшительныхъ реакціонеровъ, Бюффе явился ревностнымъ защитникомъ всѣхъ реакціонерныхъ мѣръ. Онъ подалъ свой голосъ за слѣдующіе законы: закрытіе всѣхъ клубовъ, кромѣ монархическихъ и клерикальных; закрытіе національныхъ мастерскихъ; удержаніе смертной казни; возстановленіе реакціоннаго закона противъ прессы; ссылку безъ суда іюньскихъ инсургентовъ; противъ дароваго,

обязательнаго и свѣтскаго народнаго образованія; за удержаніе косвенныхъ налоговъ и противъ налоговъ на капиталъ и доходъ, — однимъ словомъ, противъ всякой реформы. Онъ-бы, вѣроятно, подалъ свой голосъ за возстановленіе рабства въ колоніяхъ, если-бы реакціонеры сочли эту мѣру необходимою для нихъ плановъ.

Это, однакожъ, нисколько не мѣшало Бюффе хвастаться, что онъ „большой либераль“, слѣдующій принципамъ 1789 года. Онъ вполне слился съ той близорукой и ослѣпленной буржуазіей, которая, совершивъ въ свою пользу революцію 1848 года, испугалась какихъ-то призраковъ и кончила тѣмъ, что бросилась въ объятія Наполеона III. А между тѣмъ совершенно отъ нихъ зависѣло дать Франціи спокойное существованіе и благоденствіе, основанное не на биржевыхъ спекуляціяхъ сомнительнаго свойства, а на трудѣ и развитіи естественныхъ богатствъ страны. Имъ недоставало честности, за то они въ излишствѣ обладали лукавствомъ и хитростью; они оказались недостойными тѣхъ выгодъ своего положенія, во имя которыхъ совершили революцію.

При этомъ невольно припоминается намъ одна старинная легенда. Громадное сокровище скрыто въ нѣдрахъ земли; каждый годъ оно подвигалось вверхъ, ближе къ поверхности; наконецъ, въ одну ивановскую ночь оно вышло на самую поверхность. Чего только въ немъ не было: алмазы, жемчугъ, топазы, аметисты и другіе драгоценные камни; золото и серебро въ громадныхъ слиткахъ. Какъ только сокровище появилось на поверхности, раздался голосъ: „Гдѣ человѣкъ? пусть подойдетъ сюда истинный человѣкъ и возьметъ принадлежащее ему“. Окликъ повторился три раза, но истинный человѣкъ не показывался. Между тѣмъ прошло 12 часовъ; снова раздался голосъ: „Нѣтъ человѣка, видно еще не время!“ — и затѣмъ сокровище скрылось.

Въ 1848 году во Франціи также призвался человѣкъ, но его не оказалось. Торжествующая буржуазія устала, ничего не сдѣлавъ. Плотнo пообѣдавъ, ей захотѣлось уснуть. „Успѣемъ еще заняться политическими и экономическими реформами, твердила она, — теперь-же не мѣшайте намъ предаваться кейфу“. А тѣмъ временемъ іезуитъ Фаллу собиралъ въ домѣ Свѣчиной своихъ друзей и они оттуда вели свои подкопы, желая уничтожить все, что создала новѣйшая цивилизація, и водворить кракъ среднихъ вѣ-

ковъ. Бонапартисты вели подкопы съ другой стороны — и вдругъ, какъ снѣгъ на голову, упалъ декабрьскій переворотъ... Но мы забѣжали впередъ. Возвратимся къ Бюффе, дѣятельность котораго мы намѣрены прослѣдить шагъ за шагомъ. .

Луи-Наполеонъ Бонапартъ, избранный невѣждами, шовинистами и искоренителями *науперизма*, занялъ должность президента французской республики. Онъ поклялся служить вѣрно республикѣ и избралъ министерство изъ большинства національнаго собранія. Обдумывая, кому-бы вручить портфель министра земледѣлія и торговли, онъ обратился за совѣтомъ къ Тьеру. Маленькій буржуа указалъ президенту на Бюффе. Тьеръ былъ увѣренъ, что Бюффе, войдя въ совѣтъ министровъ, будетъ по-прежнему вѣрно служить своему патрону и употребить всѣ усилія для того, чтобы президентъ поскорѣ сломалъ себѣ шею.

Назначеніе Бюффе было встрѣчено всѣми партіями съ удивленіемъ и недоумѣніемъ: „Кто такой Бюффе?“ спрашивали со всѣхъ сторонъ. „А кто его знаетъ. Говорать, что президенту рекомендовалъ его Тьеръ“. „Ну, если его посадилъ Тьеръ, значить безъ какой-нибудь интриги дѣло не обойдется“.

Бюффе былъ совсѣмъ незнакомъ съ нуждами земледѣлія и торговли, но объ этомъ онъ слишкомъ мало заботился; онъ достигъ министерскаго поста, мечты его осуществились, до всего остального ему не было никакого дѣла. Однакожь, какъ человекъ, одаренный солидными качествами характера, онъ сумѣлъ сдержаться; величіе не ослѣпило его. У него хитрость всегда господствовала надъ честолюбіемъ; онъ понималъ, что положеніе его нѣтно; въ смутныя времена получить высокій постъ гораздо легче, чѣмъ удержать его. Замѣтивъ, что ближайшіе друзья президента не довѣряютъ ему, Бюффе далъ себѣ слово уйти раньше, чѣмъ его выгонять. Случай скоро представился. Реакціонеры палаты добивались отправки французскихъ войскъ въ Италію для разгроменія римской республики и водворенія папы въ вѣчномъ городѣ. Бюффе сперва ничего не имѣлъ противъ этой экспедиціи, но когда узналъ, что его бывший патронъ Ледрю-Ролленъ и всѣ

республиканцы намѣрены противиться экспедиціи даже съ оружіемъ въ рукахъ, Бюффе призадумался. Онъ былъ убѣжденъ, что въ случаѣ побѣды республиканцевъ ему не сдобровать; въ то-же время его подозрительно оглядывали бонапартисты. Когда въ совѣтъ президента было рѣшено дать приказаніе генералу Удино выступить въ походъ, Бюффе подалъ въ отставку, мотивируя ее тѣмъ, что римская экспедиція не согласуется съ его убѣжденіями.

Выходя въ отставку, Бюффе и теперь нисколько не противорѣчилъ своей системѣ—быть всегда на сторонѣ торжествующей партіи. Положеніе было сомнительное; римская экспедиція могла повлечь за собой отставку президента и министерства; понятно, что въ случаѣ этой отставки Бюффе пріобрѣталъ большую популярность и могъ рассчитывать на самое видное мѣсто въ будущемъ министерствѣ. Кризиса, правда, не произошло, но онъ могъ произойти.

Въ мірѣ политическомъ званіе „бывшаго министра“ равносильно титулу „миліонера“ въ мірѣ финансовомъ. Бюффе было всего 31 годъ отъ роду, когда онъ попалъ въ число „бывшихъ министровъ“, т. е. людей, съ которыми считаютъ обязанностью „совѣтоваться“ въ важныхъ случаяхъ. Войдя послѣ своей отставки въ составъ того-же большинства палаты, изъ котораго онъ вышелъ, Бюффе сдѣлался вліятельнымъ лицомъ въ его средѣ; прежде онъ шелъ за другими, теперь могло показаться, что другіе идутъ за нимъ. Мы говоримъ: „могло показаться“, потому что Бюффе никогда не былъ человѣкомъ инициативы, не обладалъ способностями, необходимыми для предводителя партіи. Онъ могъ, пожалуй, руководить дѣйствіями небольшого кружка, но не партіи, а тѣмъ болѣе ему невозможно было и мечтать о руководительствѣ дѣлами цѣлой страны. Онъ могъ занимать въ оркестрѣ видное мѣсто при непремѣнномъ условіи внимательно слѣдить за палочкой капельмейстера, но рѣшительно не могъ самъ исполнять обязанности капельмейстера. Да и не онъ одинъ: всѣ министры и зофіціальныя руководители государственнымъ дѣлами въ періодъ времени отъ 1849—51 годъ были не болѣе, какъ маріонетки,

приводимыя въ движеніе предводителями въ клубъ улицы Пуатье, а этотъ клубъ, въ свою очередь, состоялъ изъ автоматовъ, заводившихъ достопочтеннѣйшимъ отцомъ Ротаномъ, генераломъ іезуитскаго ордена.

Но какъ-бы тамъ ни было, Бюффе приобрѣлъ имя; онъ попалъ въ разрядъ видныхъ политическихъ дѣятелей. Принцъ-президентъ снова обратилъ на него вниманіе, предложивъ ему быть въ числѣ семнадцати крестныхъ отцовъ знаменитаго закона 31 мая 1850 года.

Национальное собраніе, вышедшее изъ февральской революціи, въ то время, когда оно еще находилось подъ вліяніемъ энтузіазма, приняло два закона, его пережившіе: уничтоженіе невольничества (объявленное первымъ республикою и восстановленное Наполеономъ I) и распространеніе избирательныхъ правъ на всѣхъ гражданъ республики. Первые результаты закона всеобщаго избирательства были, по правдѣ сказать, весьма печальныя; при дѣйствіи прежняго избирательнаго закона Луи-Наполеонъ Бонапартъ никогда не былъ-бы избранъ президентомъ. Вообще первые выборы, произведенные на основаніи новаго закона, были самыя неудачныя. Реакція могла только радоваться полученнымъ результатамъ, но она очень хорошо понимала, что въ будущемъ новый законъ можетъ дать иные результаты, для нея, реакціи, весьма невыгодныя. Понимая, что отиѣнить новый законъ невозможно, реакція рѣшилась обрѣзать и измѣнить его такъ, чтобы и въ будущемъ онъ служилъ исключительно на пользу реакціонныхъ партій. Монталамберъ, взявшій на себя починъ въ этомъ дѣлѣ, съ іезуитскимъ лицемѣріемъ объявилъ, что предлагаемыя измѣненія необходимы въ видахъ „избавленія интеллигентныхъ классовъ отъ тираніи невѣжественной массы“.

Безъ сомнѣнія, если-бы дѣло шло объ отнятіи избирательнаго права у людей неграмотныхъ, которые не въ состояніи уяснить себѣ, почему они подаютъ голосъ за того, а не за этого кандидата, — такое дополненіе къ популярному закону не встрѣтило-бы, вѣроятно, особеннаго противодѣйствія. Но эти невѣжественные поселяне, подающіе голоса по приказанію своихъ патеровъ, составляли владъ для реакціи, которая, напротивъ, желала оставить за ними избирательное право. Она требовала исключенія го-

родскихъ рабочихъ и вообще такихъ избирателей, которые могли подавать свои голоса въ пользу республиканцевъ. Измѣненія къ закону были составлены именно въ этомъ смыслѣ. На этотъ разъ іезуиты перехитрили. Еще прежде, чѣмъ былъ вотированъ новый законъ, онъ возбудилъ негодованіе въ цѣлой Франціи. Вездѣ громко осуждали его и избиратели объявляли, что на выборахъ 1 мая 1852 года (которые должны были послѣдовать на основаніи новаго закона) они забалотируютъ всѣхъ тѣхъ депутатовъ, которые подадутъ свой голосъ въ пользу новаго избирательнаго закона. Іезуиты, однакожь, не устрашилися и рѣшили довести дѣло до конца.

Президентъ республики, вначалѣ поддерживавшій новый законъ, убѣдившись, что измѣненіе избирательнаго закона въ реакціонномъ духѣ возбуждаетъ негодованіе во всей странѣ, мгновенно измѣнилъ свою тактику. Онъ сталъ кричать о насиліи законодательной власти, которой въ силу закона обязана подчиняться исполнительная, объ измѣнѣ депутатовъ, осмѣливающихся посягать на основное право французскаго гражданина, и пр. Онъ дѣлалъ очень провѣрочныя намеки, что намѣренъ защищать права народа противъ его депутатовъ до послѣдней крайности, что онъ готовъ „прибѣгнуть даже къ насилію для защиты права“.

Съ своей стороны, клубъ улицы Пуатье, рассчитывавшій, что состоится, наконецъ, сліянiе орлеанистовъ съ легитимистами, поручилъ извѣстному генералу Шангарнье произвести тоже насильственный переворотъ, когда представится къ тому удобный случай. На сторонѣ орлеанистовъ и легитимистовъ было большинство національнаго собранія, въ свою очередь, имѣвшее за себя всю крупную буржуазію. На сторонѣ бонапартистовъ были миліоны сельскихъ жителей и армія. Для людей не близорукыхъ не могло быть сомнѣнія, что побѣда останется на сторонѣ бонапартистовъ, если противъ нихъ не соединятся дружно всѣ прочія партіи.

Задумавъ измѣнить избирательный законъ, президентъ республики снова предложилъ Бюффе министерскій портфель. Бона-

партъ хорошо зналъ, на-сколько онъ можетъ полагаться на искренность и вѣрность Бюффе, уже разъ отвернувшася отъ него, но считалъ его вполне пригоднымъ для дѣла, которое ему поручалъ. Тьеръ далъ свое согласіе, снова разсчитывая, что Бюффе, находясь въ непріятельскомъ лагерѣ, будетъ предупреждать своихъ друзей о тайныхъ замыслахъ президента. Наполеонъ, въ свою очередь, надѣялся, что тотъ-же Бюффе будетъ оказывать ему ту-же услугу относительно партіи Тьера; Бюффе былъ полезенъ ему и въ другомъ отношеніи: большинство палаты, видя своего единомышленника въ числѣ министровъ, могло оставаться въ полной увѣренности, что президентъ республики не составляетъ противъ національнаго собранія никакого заговора. Изъ этого видно, что и Тьеръ, и Луи-Наполеонъ не давали высокой цѣны нравственнымъ качествамъ Бюффе.

Кого-же на самомъ дѣлѣ обманывалъ Бюффе? Принца-президента, Руэра, Морни? Едва-ли. Онъ не былъ достаточно хитеръ, чтобы провести этихъ архи-хитрецовъ. Тьера и своихъ товарищей большинства національнаго собранія? Подчасъ онъ дѣйствительно лукавилъ съ ними, однакожь не переходилъ рѣшительно на сторону ихъ противниковъ. Можетъ быть, онъ самъ вдался въ обманъ? Ну, вѣтъ, онъ былъ слишкомъ честолюбивъ и лукавъ, чтобы могъ попасть въ разставленную ему западню.

Пять мѣсяцевъ, съ 10 апрѣля по 14 октября 1871 года, Бюффе оставался министромъ принца-президента. За шесть недѣль до рѣшительнаго дня, избраннаго заговорщиками Елисейскаго дворца для нанесенія удара своимъ противникамъ, Бюффе подалъ въ отставку. Къ этому его понудило предположеніе, что бонапартисты затѣяли слишкомъ рискованное дѣло, которое должно окончиться ихъ пораженіемъ и гибелью. Нѣкоторые болтуны и болтуны, преимущественно женщины легкаго поведенія, посвященныя въ тайну, выдали ее за стаканомъ шампанскаго. Открытіе этой тайны произвело сильнѣйшее впечатлѣніе въ рядахъ противниковъ бонапартизма. Свирѣпый Шангарнье неистово потрясалъ своей саблей, грозя уничтожить всѣхъ измѣнниковъ. Тьеръ хитро улыбался; онъ твердилъ, что ему давно все извѣстно и онъ не сомнѣвается въ неудачѣ заговора; онъ уже наметилъ членовъ будущаго верховнаго суда, который станетъ судить заговор-

щиковъ. „Посмотримъ, кто засмѣется послѣднимъ“, говорилъ онъ. Бюффе, вѣроятно, слишкомъ довѣрялъ мудрости Тьера, если рѣшился разстаться съ министерскимъ портфелемъ. Этому ему никогда не могъ простить Руэръ.

Принцъ-президентъ составилъ новое министерство изъ людей готовыхъ на все, изъ авантюристовъ, ничего не видящихъ дальше собственной выгоды: Сент-Арно, Мона, Морни, Казабанки и др. Послѣ назначенія такого министерства даже и сомнѣвающіеся въ существованіи заговора должны были повѣрить. Палата встревожилась; монархическая партія, предводимая Тьеромъ, рѣшилась соединиться съ республиканцами и внесла предложеніе о предоставленіи палатѣ чрезвычайныхъ полномочій для уничтоженія заговора. Но недовѣріе партій другъ къ другу было такъ сильно, что республиканцы вотировали противъ предложенія.

Съ этого времени дѣло Бонапарта можно было считать выиграннымъ. Онъ заявилъ себя защитникомъ народныхъ правъ, прибѣгающимъ къ крайнимъ мѣрамъ для обузданія измѣнниковъ, пытающихся отнять у французскихъ гражданъ прирожденное право подачи голоса на выборахъ, и произвелъ переворотъ 2 декабря 1851 года.

Исторія государственнаго переворота 2 декабря слишкомъ хорошо извѣстна нашимъ читателямъ. Побѣдитель, Наполеонъ III, обратилъ свою месть противъ республиканцевъ, такъ-какъ они одни оказали ему серьезное сопротивленіе; ихъ казнили и ссылали въ колоніи безъ суда. Что касается главныхъ предводителей орлеано-легитимистской партіи, ихъ также схватили и засадили въ тюрьмы, но это было сдѣлано въ видахъ предосторожности, чтобы они, въ свою очередь, не произвели государственнаго переворота. Послѣ окончательнаго пораженія парижанъ Наполеонъ III выпустилъ заключенныхъ изъ тюрьмы и предложилъ имъ на время отправиться въ путешествіе за границы Франціи.

Что касается Бюффе, онъ присоединился къ депутатамъ, заявившимъ свой протестъ въ мѣриі десятиаго округа, однакожъ не пошелъ вслѣдъ за Викторомъ Гюго, Боденомъ и другими на баррикады, а въ качествѣ добраго буржуа, заперся въ своей квартирѣ. Бонапартисты, помня, что онъ былъ ихъ товарищемъ по министерству, въ тюрьму его не бросили, а привезя въ бота-

нической садъ, объявили ему, что для него теперь всего благо-разумнѣе удалиться изъ Франціи. Бюффе тотчасъ-же воспользо-вался дружескимъ совѣтомъ. Онъ узналъ, что Тьеръ фланируетъ въ Итали, и присоединился къ нему. Конечно, Бюффе не замед-лилъ громко и торжественно высказать свое негодованіе противъ совершившагося во Франціи насилія, противъ попранія закона и оскорбленія всей страны въ лицѣ ея представителей. При этомъ онъ выставялъ себя мученикомъ за убѣжденія, за свободу. Одно его егорчало, что онъ не могъ, подобно Тьеру, говорить о стра-даніяхъ, испытанныхъ имъ въ ужасной тюрьмѣ, на гнилой со-ломѣ. Тьера, какъ опаснаго человѣка, жандармы проводили за границу. Ему-же, Бюффе, бонапартисты на прощаньи жали руки и подчивали превосходными гаванскими сигарами. „Ну, не на-смѣшка-ли это!“ твердилъ онъ про себя, въ особенности когда вспоминалъ, что разнѣнъ любезностей происходилъ какъ-разъ у домика обезьянъ.

Вѣстѣ съ Тьеромъ Бюффе бывалъ въ Римѣ и во Флорен-ціи, осматривалъ музеи и всякія другія достопримѣчательности. Тьеръ продолжалъ говорить съ нимъ покровительственнымъ то-номъ, но Бюффе, выслушивая съ уваженіемъ объясненія своего бывшаго покровителя, выражалъ иногда собственное мнѣніе. Это происходило потому, что Бюффе путешествовалъ уже на свой счетъ и не нуждался въ матеріальной помощи, какъ другіе из-гнанники. Побывъ два раза министромъ, онъ не былъ уже тѣмъ бѣднякомъ, какимъ онъ вступилъ на политическое поприще. Онъ обладалъ теперь порядочнымъ состояніемъ; онъ могъ теперь поль-зоваться довольствомъ и уваженіемъ людей достаточныхъ. *Otium cum dignitate*. Горацій не требовалъ большаго.

III.

Когда прекратилась политическая лихорадка и, по крайней мѣрѣ по наружности, водворилось спокойствіе, Бюффе возвратился къ своимъ певатамъ. Онъ по-прежнему негодовалъ противъ Руэра и Морни, поступившихъ съ нимъ такъ неделикатно, и сталъ вы-ставлять себя жертвой государственнаго переворота. Эпинальскіе простаки снова готовы были считать его героемъ Плутарха; слу-

нвя его сѣтованія на новыя порядки, они порѣшили, что бывшій ихъ представитель по доблестямъ своимъ равенъ Аристиду справедливому, такъ-какъ, подобно греческому герою, пострадалъ за то, что требовалъ справедливости. Онъ живетъ теперь въ изгнаніи, а его враги наслаждаются жизненными благами на награбленные ими богатства. „Посмотрите на Бюффе, говорили они, — вотъ истинно доблестный гражданинъ; онъ былъ два раза министромъ, а теперь живетъ въ изгнаніи, потому что отказался участвовать въ возмутительномъ насиліи. О, онъ принадлежитъ въ числу способнѣйшихъ людей во Франціи! Онъ слишкомъ честенъ и непоколебимъ въ убѣжденіяхъ. Бонапартисты стараются теперь залучить его къ себѣ, но онъ остается твердъ; онъ готовъ пойти на эшафотъ, подобно Верньо и Ролану, за принципы 1789 года“.

Ведя жизнь частнаго человѣка, Бюффе, дѣйствительно, снова обратился къ либерализму. Въ своихъ письмахъ, рѣчахъ и бесѣдахъ онъ являлся теперь защитникомъ всѣхъ „необходимыхъ свободъ“, по выраженію Тьера. Бюффе снова преобразился въ пылкаго республиканца 1847 года, съ тою разницею, что теперь рѣчи его стали солиднѣе, дѣловитѣе, на нихъ лежала печать государственнаго человѣка. Теперь онъ ратовалъ за свободу сходокъ, ассоціацій и прессы, хотя самъ въ національномъ собраніи говорилъ противъ нея, требовалъ или отміны, или ограниченія этихъ „необходимыхъ свободъ“. Теперь онъ защищалъ не только свободу какого-нибудь булочнаго или стеариноваго промысла, но свободу дѣйствительную—свободу гражданина и мыслителя. Такимъ образомъ, онъ сдѣлался героемъ парламентаризма, докторомъ доктринаризма, однимъ изъ тѣхъ республиканцевъ, которые своимъ идеаломъ считаютъ конституціонную монархію Великобританіи; однимъ изъ тѣхъ монархистовъ, которые принимаютъ за образецъ республику Соединенныхъ Штатовъ Америки.

Зная, какъ легко мѣняетъ Бюффе свои убѣжденія, нѣкоторые твердо убѣжденные люди задавали себѣ вопросъ: „представляясь ревностнымъ либераломъ, не играетъ-ли Бюффе комедію?“ Въ самомъ дѣлѣ, трудно вѣрилось, чтобы Бюффе, одинъ изъ авторовъ закона 31 мая, такъ внезапно преобразился въ защитника свободы и народныхъ правъ. Однакожь, сомнѣвающихся было

очень мало; большинство вѣрило искренности Бюффе. Не надо забывать, что онъ жилъ во Франціи, а у французовъ, какъ извѣстно, память коротка. Ихъ болѣе всего занимаютъ текуція событія, новости дня; вспоминать о прошломъ они не большіе охотники. Къ тому-же, либералы, довольные, что число ихъ увеличивалось постоянно, не желали припоминать грѣшковъ, водившихся за новообращенными. Либералы извиняли Бюффе его прежнее отступничество, или, какъ они деликатно выражались, его ошибки. И когда самъ Бюффе, на вопросъ одного республиканца, почему въ 1859 году онъ говоритъ противоположное тому, что высказывалъ въ 1849 году, отвѣчалъ, что теперь обстоятельства иные, что тогда надобно было бороться съ разнузданностью страстей и пр. и пр.—этотъ отвѣтъ былъ признанъ самими обстоятельными объясненіемъ недоразумѣнія и Бюффе былъ совершенно оправданъ.

Бюффе былъ правъ, сказавъ, что въ 1859 году обстоятельства измѣнились. Въ періодъ времени съ 1849—51 годъ каждая партія дѣйствовала только за себя и враждовала со всѣми остальными. Теперь-же всѣ партіи соединились противъ господствующей—бонапартистской и враждовали съ нею одною. „Соединимся противъ общаго врага, забудемъ наши споры. Прежде одержимъ побѣду, а послѣ мы можемъ разойтись и каждый займется своимъ собственнымъ дѣломъ. Насъ одинаково преслѣдуютъ; было-бы глупо, если-бы мы стали по-прежнему грызть другъ друга“.

Коалиція враждебныхъ бонапартизму партій имѣла своимъ органомъ газету „*Courrier du Dimanche*“. Въ этой газетѣ уживались рядомъ самыя разнообразныя мнѣнія. Подъ прикрытіемъ нѣсколькихъ неразумныхъ бонапартистовъ, незнавшихъ, чего они хотятъ, которыхъ восторжествовавшая коалиція непремѣнно выгнала-бы изъ своей среды, писали представители всѣхъ остальныхъ партій. Здѣсь парижская богема жала руки крупнымъ фабрикантамъ; будущіе комунары мѣнялись сигарами и каламбурами съ бывшими перами, съ герцогами и графами; какой-нибудь вскло-

коченный малый, махнувший рукой на всякія удобства жизни, а тѣмъ болѣе на свѣтскій этикетъ, разбивавался любезностями съ педантичнымъ академикомъ. Въ этой коалиціи, впрочемъ, преобладали двѣ группы: республиканцевъ и орлеанистовъ. Каждая изъ нихъ была увѣрена, что эксплуатируетъ свою соперницу; каждая надѣялась получить на свой пай всю выгоду отъ временного союза. И та, и другая группа старались привлечь, исключительно на свою сторону, массу колеблющихся, неизвѣстныхъ положительныхъ убѣжденій, которые пристали къ коалиціи въ качествѣ людей, находящихся въ оппозиціи существующему порядку, но не принадлежавшихъ ни къ какой партіи. Многіе пристали къ оппозиціи потому только, что вмѣстѣ съ этимъ они пріобрѣтали нѣкоторый авторитетъ въ своемъ кружкѣ, становились интересными личностями. Оппозиція съ каждымъ днемъ разрасталась, въ ея составѣ было много тайныхъ участниковъ, которые не могли или не желали открыто высказывать свои убѣжденія. Создалось нѣчто въ родѣ анти-бонапартистскаго франкъ-масонства. Члены узнавали другъ друга по извѣстному вращанію глазъ, пожиманію плечъ, по взгляду, бросаемому на городскихъ сержантовъ, по манерѣ чтенія официальной газеты „Moniteur“ и т. п.

Бюффе игралъ довольно видную роль въ этой парадоксальной группѣ, главными ораторами которой были: Шоди, Оссонвиль, Ланглюа, Дюшенъ, Казимиръ Перье, Альтонъ Шэ, Абу, Сарса, Ассоланъ, Вейсъ, Шассенъ, Лабулэ, Ганеско, Олифре-Паке, Превот-Парадолъ, любимецъ Тьера, „главный секретарь старыхъ партій“, какъ остроумно называлъ его Сен-Бевъ, и другіе. Все это копошилось и хлопотало изо всѣхъ силъ, чтобы подточить вторую имперію; это былъ авангардный батальонъ арміи муравьевъ. Она не представляли собой никакой опредѣленной группы; точно безполые муравьи, они не были ни мужчинами, ни женщинами; они не исповѣдывали никакихъ опредѣленныхъ убѣжденій: ни республиканцы, ни орлеанисты, ни ханжи, ни свободные мыслители, ни революціонеры, ни консерваторы, ни примиряющіеся, ни непримиримые, ни искренніе, ни лукавые, ни честные, ни безчестные, они были только либералами. Какими-же либералами? Либералы бываютъ разныхъ сортовъ. Да просто либералы. Въ общемъ хорѣ каждый тянулъ на свой ладъ: тотъ визжалъ, другой свистѣлъ, третій

ораль во всю глотку,—однимъ словомъ, выходила страшная безтолковщина, какофонія, въ которой ничего нельзя было разобрать. Ничего не понимали и тѣ, противъ которыхъ былъ направленъ весь этотъ либерализмъ.

Пять или шесть лѣтъ къ ряду пѣлъ этотъ нестройный хоръ, не помышляя объ организаціи собственной партіи. Наконецъ, главные ораторы оппозиціи рѣшили, что надобно же выбрать какое-нибудь имя и тѣмъ дать очевидное доказательство, что партія существуетъ, какъ компактное цѣлое. Составился „*Либеральный союзъ*“. Имя было найдено, но положеніе дѣла нисколько не измѣнилось; осталась та-же разногласица, то-же отсутствіе определенныхъ принциповъ. Успѣхъ знаменитыхъ *пяти*, Симона, Генона, Даримона, Фавра и Пикара, вскружилъ всѣмъ голову. Прежде никто изъ принадлежавшихъ къ оппозиціи не желалъ принести присягу второй имперіи и потому не могъ попасть въ палату. Суровый авторъ „*Права*“, Жюль Симонъ, показалъ примѣръ, давъ ложную присягу имперіи. Этого только и ждали честолюбцы, которыхъ томила жажда попасть въ законодательное собраніе, въ сенатъ, въ государственный совѣтъ, на службу въ посольствахъ и проч. Они смѣло записывались теперь въ „*Либеральный союзъ*“, надѣясь, что принадлежность къ оппозиціи откроетъ имъ путь къ устройству карьеры.

„*Либеральный союзъ*“ точно былъ созданъ для такихъ людей, какъ Бюффе. Въ 1857 году онъ вздумалъ выступить снова на политическую арену. Онъ явился кандидатомъ на общихъ выборахъ въ законодательное собраніе въ качествѣ друга второй имперіи, но друга безпристрастнаго и независимаго. Однакожь, онъ потерпѣлъ поражение; выборъ палъ на офиціального кандидата, котораго поддерживали префектъ и вся администрація. Бюффе былъ изумленъ, зная, что префектъ своимъ мѣстомъ былъ обязанъ ему, былъ его собственной креатурой. Да и какъ было не изумиться, когда префектъ обозвалъ своего покровителя „разрушителемъ порядка, неисправимымъ революціонеромъ и республикан-

центъ“, онъ напоминалъ избирателямъ, что Бюффе былъ „секретаремъ Ледрю-Роллена“ и пр., и пр.

На выборахъ 1863 года Бюффе слова выступилъ кандидатомъ. Въ это время звезда второй имперіи начала тускнеть, а звезда „Либеральнаго союза“ блестяла яркимъ свѣтомъ. Бюффе объявилъ себя либераломъ, неслучительно либераломъ, кандидатомъ всѣхъ соединенныхъ оппозицій. Несмотря на желаніе мѣстной администраціи, префекта и самого министра внутреннихъ дѣлъ поощрять избранію Бюффе, онъ былъ избранъ огромнымъ большинствомъ голосовъ.

Вообще на этихъ выборахъ „Либеральный союзъ“ успѣлъ провести въ палату сравнительно значительное число своихъ кандидатовъ. Ободренный успѣхомъ, онъ рѣшился выставить свою собственную программу преобразованія государственнаго строя Франціи, извѣстную подъ именемъ *нансійской программы*. По этой программѣ личное тюрлерійское правительство должно было уступить мѣсто децентрализаціи административной и политической. Какъ военный маневръ въ борьбѣ съ бонапартистской имперіей, программа была недурна; что-же касается ея внутреннихъ достоинствъ, то мнѣнія на этотъ счетъ сильно расходились; одни находили, что авторы программы въ своей погонѣ за децентрализаціей зашли слишкомъ далеко; другіе-же, напротивъ, утверждали, что ей сдѣлано слишкомъ мало уступокъ,—однимъ словомъ, эта программа никого вполне не удовлетворила. Она была составлена подъ вліяніемъ самыхъ разнообразныхъ тенденцій: прудоновскія идеи встрѣчались здѣсь съ клерикальными; буржуазныя съ аристократическими. Программа вселяла недовѣріе во всѣхъ партіяхъ, такъ-какъ каждая изъ нихъ опасалась, что ея соперница оставила для себя много лазеекъ. Это можно было заключить изъ того, что каждая партія старалась увѣрить, что программа составлена исключительно въ пользу ея союзника. „Вамъ открывается полная возможность пересоздать Францію по образцу швейцарской и сѣверо-американской демократій“, твердили монархисты республиканцамъ. Республиканцы, въ свою очередь, убѣждали монархистовъ, что „проведа программу, они, монархисты, легко могутъ ввести во Францію англійскія учрежденія, дать силу и авторитетъ провинціальной аристократіи“. Одни клерикалы были вполне до-

вольны; потирая руки, они мечтали о томъ, какъ, пользуясь большимъ вліяніемъ въ сельскихъ общинахъ, заберутъ въ свои руки всю власть, когда осуществится столь желанная для нихъ административная децентрализація.

Впрочемъ, сами авторы нансійской программы смотрѣли на нее только какъ на маневръ въ борьбѣ съ бонапартизмомъ, не болѣе, и едва-ли желали ея осуществленія. По крайней мѣрѣ, впоследствии, когда Парижъ, во время своей борьбы съ версальскимъ національнымъ собраніемъ, вздумалъ осуществить децентрализацію, они, авторы нансійской программы, первыми потребовали признать Парижъ возмущившимся и для усмиренія его отправить войска. Брولى, Бюффе и имъ подобныя защитники децентрализаціи произносили теперь пышныя рѣчи въ пользу централизаціи, въ которой они видѣли не гибель, какъ прежде, а спасеніе для Франціи; теперь они требовали употребленія пушекъ и штыковъ противъ людей, вздумавшихъ осуществить на практикѣ ихъ-же излюбленную программу. Не показывается-ли ясно этотъ случай, что Брولى, Бюффе и имъ подобныя государственные люди не имѣютъ опредѣленныхъ политическихъ убѣжденій, что они измышляютъ разныя программы только для поддержанія затѣянной ими интриги и готовы всегда разбить эти-же самыя программы, когда онѣ становятся ненужными для ихъ цѣлей? Эти господа всегда теряются, когда ихъ обѣщанія и предложенія придаютъ серьезное значеніе, но они имѣютъ способность скоро оправдаться, и тогда безцеремонно провозглашаютъ пагубными тѣ самыя мѣры, которыя сами недавно считали панацеей отъ всѣхъ социальныхъ бѣдствій и неустройствъ.

Правительство второй имперіи видѣло необходимость сдѣлать что-нибудь для успокоенія децентрализаторовъ, но такъ, чтобы реформы обратить въ свою личную пользу. Оно успѣшило объявить о своемъ желаніи ввести административную децентрализацію, но реформа въ этомъ направленіи ограничилась усиленіемъ власти префектовъ. Либералы были въ недоумѣніи: причемъ-же тутъ

мѣстная автономія и свобода? Официальная пресса не замедлила просвѣтить ихъ на этотъ счетъ. Громкими и пышными фразами о свободѣ и самоуправленіи она старалась убѣдить либераловъ, что „правительство вполнѣ удовлетворило ихъ требованію: центральное правительство, передавъ часть своей власти мѣстнымъ административнымъ органамъ, сдѣлало все, что было возможно, для полной административной децентрализаціи. Либераламъ остается теперь только выразить достойнымъ образомъ свою признательность попечительному правительству“.

Однакожь, Руэръ, авторъ новаго закона и его объясненія, ошибся въ своихъ расчетахъ. Либералы не удовлетворились; напротивъ, неудовольствіе ихъ возрасло еще болѣе. Чтобы нѣсколько погладить ихъ, правительство дало законодательному корпусу право обсуждать бюджетъ по статьямъ: до сихъ поръ палата обсуждала его только въ цѣломъ составѣ. Видя, что и этого мало, бонапартисты согласились предоставить депутатамъ право дѣлать запросы министерству. Но и эти уступки не удовлетворили либераловъ; аппетитъ ихъ увеличивался по мѣрѣ того, какъ они поѣдали дарованныя имъ уступки. Чтобы развлечь чудовище, готовое поглотить саму вторую имперію, бонапартисты не прочь были натравить его двумя годами ранѣе на Пруссію; но, къ ихъ горю, митральезы еще не были сооружены, а маршалъ Лебефъ не успѣлъ еще восполнить коллекціи мѣдныхъ пуговицъ. Между тѣмъ надоѣдалъ Рошфоръ; его „Фонарь“ сталъ пугаломъ для всей администраціи; новыя выборы ввели въ законодательный корпусъ отрядъ *непримиримыхъ* депутатовъ... Надо было что-нибудь дѣлать для устраненія опасныхъ элементовъ. Руэръ и его товарищи придумали мудрѣйшій планъ: они разрѣшили гласное и свободное обсужденіе социальныхъ вопросовъ, разсчитывая, что крайности, которыя навѣрное дозволить себѣ ораторы-республиканцы, испугаютъ буржуазію и она поневолѣ снова кинется въ объятія второй имперіи; она убѣдится, что и она, и бонапартисты имѣютъ общаго врага въ населеніи Парижа и большихъ городовъ.

„Въ народныхъ собраніяхъ, читаемъ мы въ современной газетѣ „La Démocratie“, — произносились рѣчи, въ которыхъ рѣзко выражалась ненависть одного класса общества къ другому.“

Полицейскіе комисары, присутствующіе на сходкахъ, не моргнувъ глазомъ, съ добродушною улыбкою, выслушивали эти рѣчи. Они болѣе всего заботились о томъ, чтобы стенографы точно записали все, что говорилось на сходкѣ, и отправляли свои отчеты въ редакцію газеты „Paus“. Тамъ главныя рѣчи ораторовъ отпечатывались немедленно и черезъ министерство внутреннихъ дѣлъ разсылались во всѣ офиціозныя провинціалныя газеты для перепечатанія. Потомъ въ специальномъ отдѣленіи министерства составлялась выборка изъ этихъ рѣчей, и дѣлалась она такъ ловко, что получался сводъ самыхъ ужасныхъ требованій демагоговъ. Эти выборки въ сотняхъ тысячъ экземпляровъ разсылались въ префектамъ и раздавались избирателямъ... Заимѣтивъ, что порядокъ водворился въ народныхъ собраніяхъ и что рѣчи ораторовъ стали умѣреннѣе, правительство порѣшило, что оно въ нихъ болѣе не имѣетъ нужды. Сходки были закрыты, а ораторы призваны въ судъ исправительной полиціи. Теперь только простаки поняли, что они послужили орудіемъ въ рукахъ хитрецовъ; что ими хотѣли запугать буржуазію и поселянъ; что, однимъ словомъ, они работали только на пользу правительства второй имперіи...“

Тѣмъ не менѣе этотъ бонапартистскій маневръ сопровождался весьма жалкимъ успѣхомъ. Офиціальные кандидаты, правда, получили миллиономъ голосовъ болѣе, чѣмъ кандидаты независимые, но этимъ большинствомъ они были обязаны сельскимъ жителямъ, неумѣющимъ ни читать, ни писать; всѣ-же города, всѣ большіе центры населенія, дали огромное большинство кандидатамъ оппозиціи. Бонапартисты должны были сознаться, что если дѣла пойдутъ такъ дальше, т. е. будетъ возрастать успѣхъ оппозиціи, то вторая имперія можетъ быть низвергнута тѣмъ-же всеобщимъ голосованіемъ, которымъ она до сихъ поръ держалась, что легко могло случиться даже при слѣдующихъ общихъ выборахъ въ законодательный корпусъ. Чтобъ избѣжать печальной катастрофы, бонапартисты прибѣгли къ безнравственнымъ мѣрамъ; рассчитывая на успѣхъ, они надѣялись тѣмъ отдалить или даже совсѣмъ отстранить грозу. Полиція должна была изобрѣсти ложный заговоръ, ложное возмущеніе, что дало-бы поводъ къ принятію репрессивныхъ мѣръ. Министръ внутреннихъ дѣлъ Пинаръ во главѣ

тридцати-тысячной арміи отправился на площадь Блиши усмирять возстаніе. Однакожъ, несмотря на ловкость агентовъ-подстрекателей, простаковъ, долженствовавшихъ фигурировать въ роли бунтовщиковъ, явилось такъ мало и они оказались такими кроткими и безобидными, что употребленіе противъ нихъ штыковъ было совершенно бесполезно. Тридцати-тысячная армія, прогулявшись по парижскимъ улицамъ, возвратилась въ свои казармы, а Пинарь получилъ отставку. Говорятъ, что, получивъ ее, онъ произнесъ меланхолическимъ тономъ: „Да, послѣ сраженій при Кверетаро и Садовой, которыя слѣдуетъ считать пораженіемъ Франціи, наша армія потеряла прежнее обаяніе. Она теперь непригодна даже для подавленія внутреннихъ беспорядковъ“.

Это фантастическое возмущеніе произвело хохотъ во всей Франціи. Вторая имперія видимо дряхлѣла. Ея агенты удвоили свою дѣятельность, но ихъ старанія пропадали даромъ; все, что имъ предпринимали они, сопровождалось плачевной неудачей. Чувствуя, что почва уходитъ изъ-подъ ногъ, Наполеонъ III рѣшился броситься въ объятія либераловъ, съ тѣмъ, конечно, чтобы избавиться отъ нихъ, когда успѣшная внѣшняя война возвратитъ прежній блескъ его правленію. Бонапарты, и дядюшка, и племянникъ, никогда не церемонились съ людьми: пока чловѣкъ имъ былъ нуженъ, они ласкали его, но какъ изъ него выжимали все, что можно было выжать, они избавлялись отъ него, не пренебрегая, въ иныхъ случаяхъ, даже насильственными мѣрами, тюрьмой и ссылкой. И тому, и другому пришлось по необходимости прибѣгнуть къ либераламъ, но отомстить имъ за невольное униженіе передъ ними дядюшкѣ помѣшало Ватерлоо и св. Елена, а племяннику Седанъ и Вильгельмъ.

Такимъ образомъ, къ удивленію всей Франціи, произошла внезапная перемѣна декорацій и на сцену выступили новыя актеры. Бонапартистская политика всегда отличалась привязанностью къ театральнымъ эффектамъ. 2 января 1870 года Франція съ изумленіемъ узнала, что отнынѣ она свободна, что ей дается право

управляться самой, что съ нея снята опека и она признана совершеннолѣтней. Наполеонъ III уволилъ деспотическое министерство и замѣнилъ его либеральнымъ. „Теперь, когда во главѣ министерства поставлены такіе люди, какъ Эмиль Оливье и Луи Бюффе, гдѣла officialная и officioзная пресса,—и республиканцы, и орлеанисты могутъ считать себя вполне удовлетворенными“.

Да, Наполеонъ III, какъ утопающій хватается за соломенку, рѣшился вѣрить судьбу своей имперіи тому самому Оливье, который клялся своимъ избирателямъ, что „будетъ вѣчнымъ врагомъ дѣятелей 2 декабря“; вѣрилъ ее Луи Бюффе, который своимъ крикливымъ голосомъ безпрестанно напоиналъ палатѣ о необходимости существенныхъ реформъ: свободы прессы, утверженія парламентаризма, избирательной, суда присяжныхъ для сужденія политическихъ преступленій, избранія жѣра гражданами общины и пр.

Теперь, когда опубликованы секретныя тильерійскія бумаги, мы знаемъ, что вице-императоръ Руэръ сильно противился назначенію Бюффе, помня его министерскую дѣятельность въ 1849 и 1851 годахъ. „Бюффе, писалъ онъ,—доктринеръ и крайне-нерѣшительный человѣкъ. Онъ никогда не отдается вполне ни тому дѣлу, ни той системѣ, которымъ онъ служить... Нѣтъ, онъ не способенъ провести имперію чрезъ каудинское ущелье“. Руэръ правильно характеризовалъ своего бывшего товарища. Онъ былъ правъ, противясь его назначенію. Но и Наполеонъ III, также хорошо знакомый съ Бюффе, зналъ, что онъ дѣлаетъ, настаивая на его назначеніи. Бюффе долженъ былъ играть роль благороднаго отца въ комедіи и сдерживать слишкомъ легкомысленнаго Оливье. Присутствіе Бюффе въ министерствѣ ручалось за то, что какъ само министерство, такъ и нація повѣрятъ комедіи либерализма, которую вздумала разыгрывать бонапартистская вторая имперія. Къ тому-же, зная эластичность нравственныхъ правилъ Бюффе, Наполеонъ надѣялся убѣдить его, когда придетъ къ тому время, въ необходимости новаго государственнаго переворота. Императоръ разсчитывалъ, что либерализмъ непременно дойдетъ до крайностей, что должно будетъ испугать такого солиднаго и спокойнаго человѣка, какъ Бюффе. Трудно сказать, былъ-ли правъ

Наполеонъ въ своихъ заключеніяхъ. Едва-ли-бы осторожный Бюффе рѣшился содѣйствовать такому рискованному предпріятію, какъ государственный переворотъ, потому что Бюффе въ это время уже сомнѣвался въ томъ, чтобы Наполеонъ могъ удержаться на прежней высотѣ, что и доказалъ онъ въ скоромъ времени своей отставкой.

Рузрь предупреждалъ императора, что Бюффе непремѣнно поставитъ условія своего вступленія въ министерство, выполнить которыя будетъ не легко. Дѣйствительно, Бюффе соглашался войти въ министерство только въ сопровожденіи своихъ друзей, большею частію орлеанистовъ: Дарю, Сегри, Талуэ, Луве и Вальдрома—звѣздъ третьей величины, среди которыхъ онъ блестялъ-бы яркимъ свѣтомъ. Однакожь, нельзя сказать, чтобы въ 1870 году ния Бюффе пользовалось громкой извѣстностью не только въ Европѣ, но даже и во Франціи. Очень многіе спрашивали: кто такой Бюффе?—и получали различные отвѣты, смотря по тому, кто отвѣчалъ. Одни говорили: „Бюффе послѣ Оливье самый замѣчательный человекъ въ новомъ министерствѣ. Оливье представляетъ собою талантъ и краснорѣчіе; Бюффе—сдержанность, серьезность и парламентарную традицію“. Другіе—конечно, непримиримые,—утверждали, что „Оливье олицетворяетъ собою крикливое тщеславіе, что онъ похожъ на обезьяну съ барабаномъ; Бюффе-же принадлежитъ къ породѣ хорьковыхъ“. Но какъ-бы тамъ ни было, Бюффе слѣдовало признать самымъ вліятельнымъ министромъ въ новомъ либеральномъ министерствѣ. Болѣе или менѣе значительные административные посты онъ замѣстилъ своими друзьями или пріятелями и поклонниками Тьера. Оставивъ Оливье наслаждаться ораторствомъ, Бюффе забралъ въ свои руки существенное; сдѣлавшись министромъ финансовъ, онъ пріобрѣлъ вліаніе на биржѣ и сталъ играть на денежномъ рынкѣ роль почти диктатора.

Можно было полагать, что усѣвшись такъ комфортабельно въ министерское кресло, Бюффе постарается какъ можно долѣе не сходить съ него. Но и въ 1870 году Бюффе оставался тѣмъ-же, какимъ онъ былъ въ 1850. Онъ продолжалъ держаться того мнѣнія, что министръ долженъ немедленно оставить свой постъ, если ему приходится себя скомпрометировать до такой степени, что предстоитъ опасность потерять прежнія связи и прежнюю репута-

цію. Руэръ вѣрно предвидѣлъ, что Бюффе неспособенъ оказать бонапартизму серьезныхъ услугъ. Бюффе прекрасно понималъ, что кабинетъ 2-го января можетъ быть только переходнымъ кабинетомъ; что соединеніе личнаго правительства съ либерализмомъ не можетъ дать прочной смѣси. Онъ зналъ, что по своей натурѣ бонапартистское правительство ненавидитъ либерализмъ; а проведя четверть вѣка съ либералами, онъ не могъ сомнѣваться въ чувствахъ, какія, въ свою очередь, либералы питаютъ къ бонапартистскому правительству. Могли-ли простить либералы принцу-президенту, что онъ провелъ ихъ какъ школьничковъ въ 1851 году? Могъ-ли Наполеонъ III отдать свою судьбу въ руки людей, которымъ онъ не довѣрялъ и которые взаимно не довѣряли ему?

На основаніи такихъ соображеній Бюффе рѣшилъ оставаться въ министерствѣ только до тѣхъ поръ, пока оно имѣетъ неопредѣленный характеръ, пока публика не успѣла еще окончательно разочароваться въ либерализмъ второй имперіи. Но когда онъ увидѣлъ, что убійство принцемъ Шьеромъ Бонапартомъ Виктора Нуара произвело страшное раздраженіе въ массѣ парижскаго населенія; когда онъ убѣдился, что вторая имперія рѣшительно не можетъ выносить либерализма; когда онъ понялъ, что подготовляемый плебисцитъ изобрѣтенъ съ цѣлію освободиться отъ ига либераловъ, въ родѣ Вейса, Гизо, Брольи, Оссонвиля, Прево-Парадоля и Лабуле, старавшихся ограничить власть императора, — Бюффе разсудилъ, что для него настало время удалиться, если онъ не хочетъ, чтобы его вышвырнули, какъ негодное къ употребленію орудіе. Подъ предлогомъ какихъ-то неисправностей въ финансовой администраціи, за которыя онъ не желалъ принимать на себя ответственности, онъ подалъ въ отставку. На этотъ разъ онъ пробылъ министромъ всего сто дней. Послѣ отставки популярность его значительно возрасла; его прославили искреннимъ человѣкомъ, экономнымъ министромъ и настоящимъ либераломъ. Никогда Бюффе не пользовался такой завидной репутаціей, какъ въ это время. Въ его искренность повѣрили даже нѣкоторые изъ тѣхъ, которые хорошо знали ея цѣну; ослѣпленіе французовъ бываетъ иногда по-истинѣ изумительное.

Наши читатели, вѣроятно, помнятъ знаменитую сфабрикованную депешу, послужившую поводомъ къ объявленію войны Пруссіи. Министры, говоря съ негодованіемъ объ оскорбленіяхъ, разсыпанныхъ въ этой депешѣ, завѣрили палату честнымъ словомъ, что депеша дѣйствительно получена. Когда-же Фавръ, Гамбета и Тьеръ пожелали ознакомиться съ этимъ оскорбительнымъ документомъ, министерство отказалось исполнить ихъ желаніе подъ тѣмъ предлогомъ, что война уже объявлена. Тогда всталъ Бюффе и сказалъ: „Но если все уже кончено, вамъ нечего опасаться сообщить намъ о всѣхъ переговорахъ, которые велись по этому поводу“.

Горчица послѣ обѣда! Съ какимъ-бы уваженіемъ отнеслась къ Бюффе Франція, если-бы вмѣсто этихъ бесполезныхъ словъ онъ заявилъ, что страна не утвердитъ объявленія войны до тѣхъ поръ, пока не будетъ показана знаменитая депеша. Разумѣется, его бесполезныя слова пропали даромъ, потому что министерство не удостоило ихъ отвѣтомъ и пренія были закрыты.

Послѣ этой манифестаціи Бюффе совершенно умолкъ; въ первый разъ онъ открылъ ротъ 4 сентября, въ тотъ моментъ, когда народъ ворвался въ засѣданіе законодательнаго корпуса. Онъ протестовалъ противъ „насилія, совершеннаго надъ палатой“. Онъ былъ взбѣшенъ, что его въ первый разъ заставили удалиться, а не самъ онъ вышелъ въ отставку. Онъ уже хотѣлъ объявить измѣнническимъ правительству Трошю-Фавра-Симона, водворившееся въ городской ратушѣ, но Тьеръ удержалъ его. „Подождите, придетъ и ваше время“, замѣтилъ онъ своему расходящемуся ученику.

IV.

Шесть мѣсяцевъ спустя Бюффе былъ избранъ департаментомъ Вогезовъ въ національное собраніе, засѣдавшее въ Бордо.

Катастрофа, унесшая въ своемъ вихрѣ Бонапарта и причинившая Франціи массу бѣдствій, возвысила положеніе Бюффе. Онъ смѣло, смотря прямо въ глаза всѣмъ, могъ говорить: „я не виновенъ въ этихъ несчастіяхъ!“ Каждый невольно сравнивалъ его съ Оливье, прозваннымъ „Соеиг leger“, и восхищался поведеніемъ

Бюффе, отказавшагося отъ выгоднаго положенія, когда ему пришлось вступить въ сдѣлку съ совѣстью. Бордосское собраніе съ распростертыми объятіями приняло Бюффе. Тьеръ, его старій другъ и покровитель, предложилъ ему портфель министра финансовъ. Но Бюффе былъ слишкомъ остороженъ, чтобы могъ согласиться принять этотъ рискованный постъ. Пруссаки еще занимали треть Франціи. Нужно было отыскать источники для уплаты нѣтъ пяти миллиардовъ. Въ тому-же можно было опасаться гражданской войны, если монархическое собраніе вздумаетъ объявить восстановление орлеанской или бурбонской монархіи. Осторожный Бюффе рѣшился выжидать событій. Онъ вотировалъ съ большинствомъ, тайно руководя имъ; повидимому, его симпатіи всецѣло были отданы орлеанистамъ, но онъ былъ вмѣстѣ съ тѣмъ очень любезенъ съ легитимистами. Не отворачивался онъ и отъ республиканцевъ, потому что не могъ навѣрное сказать, какая форма правленія будетъ утверждена во Франціи: монархическая или республиканская.

Впрочемъ, Бюффе не сомнѣвался относительно республиканскихъ тенденцій французскаго народа только въ то время, когда онъ представлялся своимъ избирателямъ. Въ кандидатской своей рѣчи онъ проводилъ ту идею, что „республика залечить раны, нанесенныя Франціи благодаря безумству одного человѣка“. Рѣчь говорилъ онъ съ запинкой, однакожь, избиратели снова повѣрили ему и подали голоса за него. Въ палатѣ Бюффе осмотрѣлся и присталъ къ монархическому большинству. Однакожь, онъ дѣйствовалъ, по обыкновенію, очень осторожно и рѣшительно заявилъ свои монархическія тенденціи только послѣ побѣды надъ Парижемъ. Когда рѣшалась судьба побѣжденныхъ, Бюффе былъ съ тѣми, которые требовали пригнѣнія самыхъ жестокихъ мѣръ.

Пока Тьеръ лавировалъ и держался скорѣе монархистовъ, чѣмъ республиканцевъ, Бюффе дѣйствовалъ съ ними за-одно. Но какая разница была теперь въ отношеніяхъ ихъ другъ къ другу! Изъ простаго исполнителя, адъютанта, Бюффе возвысился теперь до степени начальника дивизіи и получилъ мѣсто въ самомъ совѣтѣ.

Въ этотъ моментъ Франція жаждала только спокойствія; ей нужно было возродиться, ей необходимо было залечить свои раны. Она ждала отъ своего правительства самыхъ необходимыхъ ре-

формъ: отдѣленія церкви отъ государства, дарового и обязательнаго обученія, всеобщей воинской повинности, преобразованія французскаго банка и податной системы и, наконецъ, учрежденія народнаго кредита. Но Тьеръ ощущалъ особенный страхъ во всякимъ перемѣнамъ, онъ готовъ былъ обвинять самого Наполеона III за приверженность къ нововведеніямъ. Онъ остался вѣренъ принципамъ, которыми онъ руководствовался въ свое первое министерство при Луи-Филиппѣ. Бюффе помогалъ ему въ тѣхъ случаяхъ, когда вопросъ шелъ о принятіи какой-нибудь реакціонной мѣры, и расходился съ нимъ при всякомъ намекѣ на реформу. Бюффе подалъ свой голосъ за всѣ непопулярные законы, измышленные версальскимъ собраніемъ. Онъ вотировалъ законъ о распущеніи національной гвардіи, что было равносильно признанію неспособности управляющихъ классовъ, провозглашенію несовершенности буржуазіи. Бюффе подалъ свой голосъ противъ свободы торговли и за утвержденіе учредительныхъ правъ за національнымъ собраніемъ, избраннымъ специально для заключенія мира съ непріятелемъ, занимавшимъ треть Франціи. Бюффе вотировалъ противъ уравниенія военнаго налога между крестьяниномъ, пролетаріемъ и буржуа; противъ возвращенія національнаго собранія въ Парижъ и пр., и пр. Не стоитъ перечислять всѣ реакціонные законы, за которые Бюффе подавалъ свой голосъ; ихъ слишкомъ много, несравненно болѣе прогрессивныхъ, вотированныхъ Бюффе, по большей части, не ради убѣжденія, а по расчету.

Должно быть, его дѣятельность къ палатѣ не понравилась избирателямъ департамента Вогезовъ, потому что они отказались выбрать его въ генеральный совѣтъ ихъ департамента.

Между тѣмъ самъ Тьеръ, убѣдившись, что реставрація Генриха V или Луи-Филиппа II орлеанскаго рѣшительно немыслима, пришелъ къ заключенію, что для Франціи теперь возможна только республиканская форма правленія. Хотя республика Тьера, въ которой онъ былъ президентомъ, была собственно республикой безъ республиканцевъ съ монархическими учрежденіями, но мо-

нархическія партіи были недовольны такимъ оборотомъ и обвинили Тьера въ измѣнѣ. Бюффе явился въ числѣ заговорщиковъ противъ своего бывшаго покровителя. „Тьеръ отказался произвести государственный переворотъ въ пользу сліянія, мы свергнемъ его самого“, рѣшили заговорщики. Явился вопросъ, кѣмъ замѣнить его?

— Герцогомъ Врольи, предложилъ одинъ изъ заговорщиковъ.

— О, нѣтъ; ему не довѣряютъ ни графъ Шамборъ, ни друзья принца, протестовали легитимисты.

— Возьмемъ герцога Одифре-Пакье.

— Его ненавидятъ бонапартисты.

— Ну, такъ маркиза Франлье.

— Какъ можно! Орлеанскіе принцы находятся къ нему въ натянутыхъ отношеніяхъ. Къ тому-же можно опасаться, что его назначеніе вызоветъ возстаніе въ деревняхъ, новую жакерію.

— Тогда не взять-ли Бюффе?

— Бюффе? Но развѣ онъ принадлежитъ къ числу людей, избранныхъ самимъ Провидѣніемъ, отмѣченныхъ для великихъ подвиговъ? Не твердить-ли намъ постоянно Рузръ, что Бюффе доктринеръ, человѣкъ нерѣшительный, способный ходить только по расчищеннымъ дорожкамъ; въ немъ нѣтъ необходимой смѣлости, нѣтъ той дерзости, для которой не существуетъ препятствій. Нѣтъ, Бюффе не пригоденъ для осуществленія высшихъ цѣлей.

— У насъ есть еще маршалъ Мак-Магонъ, предложилъ „Figuero“.

— О, милѣйшій Вильмессанъ, вамъ пришла въ голову гениальнѣйшая идея. Никто лучше этого честнаго и храбраго солдата неспособенъ успокоить умы. При его содѣйствіи намъ легко будетъ достигнуть осуществленія нашихъ плановъ.

Заговорщики порѣшили остановиться на Мак-Магонѣ. Бюффе, недавно еще отстаивавшій конституцію Риве и увѣрявшій Тьера въ своей неизмѣнной преданности къ нему, перешелъ на сторону заговорщиковъ. Мало того, онъ рѣзче другихъ нападалъ на человѣка, которому далъ слово не отдѣляться отъ него ни въ какомъ случаѣ. Кампанія заговорщиковъ продолжалась шесть мѣсяцевъ; Тьеръ, припертый со всѣхъ сторонъ, сдѣлалъ неправиль-

ный ходъ; воспользовавшись его ошлопностью, заговорщики выиграли у него партію.

Побѣдители подѣлили между собою власть: Мак-Магонъ былъ назначенъ президентомъ республики; Врольи первымъ министромъ, Бале министромъ внутреннихъ дѣлъ; на долю Вюффе досталось президентство въ національномъ собраніи. Составилось „правительство борьбы“; исторія его управленія Франціею составляетъ эпопею... но здѣсь не мѣсто заниматься ею.

Отправленіе своей обязанности Вюффе началъ заявленіемъ, что онъ будетъ строго держаться „истиннаго безпристрастія“, которое вообще составляетъ главный принципъ „правительства нравственнаго порядка“. Однакожъ, истинное безпристрастіе президентъ національнаго собранія понималъ слишкомъ по-своему: для правой стороны онъ былъ медомъ и сахаромъ, для лѣвой—уксусомъ и сѣрной кислотой; по его ивѣнью, на одной сторонѣ сидѣли все честные люди, на другой—безчестные, на одной кроткія овцы, на другой—свирѣпыя козлища. Онъ наследовалъ Гриви, неимѣвшему таланта внезапно прекращать пренія требованіемъ голосованія; спокойно сидя въ своемъ президентскомъ креслѣ, добродушный Гриви давалъ оратору высказываться до конца, не прерывалъ его напоминаніемъ не уклоняться отъ вопроса. Гриви не былъ предводителемъ клики, который знаками и жестами показывалъ, когда нужно аплодировать, а когда слѣдуетъ производить перерывъ или шумъ. Вюффе принялъ за образецъ не Гриви, дѣйствительно вполнѣ безпристрастнаго предсѣдателя палаты, а предсѣдателя законодательнаго корпуса, Шнейдера, Морни и въ особенности знаменитаго Жерома Давида. Въ самомъ дѣлѣ такого искусника въ дѣлѣ президентства, какъ Жеромъ Давидъ, надо поискать; онъ умѣлъ служить своей партіи, и въ этомъ отношеніи едва-ли имѣетъ соперника. Какъ-то разъ Пельтанъ, въ одной изъ лучшихъ своихъ рѣчей, опираясь на массу неопровержимыхъ фактовъ, такъ ярко выставилъ злоупотребленія бо-напартистскаго правительства, что поколебалъ даже самихъ офи-

ціальныхъ депутатовъ. Давидъ вѣжливо, самымъ мягкимъ тономъ пригласилъ оратора оставить щекотливый сюжетъ. Расходившійся ораторъ не обратилъ вниманія на предостереженіе президента. Давидъ предложилъ ему сойти съ кафедры. Пельтанъ все-таки продолжалъ свою рѣчь. Тогда президентъ подозвалъ къ себѣ пристава и что-то сказалъ ему на ухо. Черезъ нѣсколько секундъ газъ былъ потушенъ. Давидъ надѣлъ шляпу и вышелъ изъ залы засѣданія; за нимъ пошелось все собраніе, кромя оппозиціи, оставшейся въ темнотѣ дослушивать рѣчь своего оратора.

Конечно, Бюффе было далеко до Жерома Давида, дерзость котораго не знала границъ; онъ также не осмѣливался никогда рискнуть на цинизмъ Морни; но онъ мало терялъ при сравненіи съ Рузромъ и Шнейдеромъ, искусниками по части своевременнаго прерыванія и заключенія преній. И своими небольшими талантами Бюффе умѣлъ приносить пользу своимъ друзьямъ. Когда онъ замѣчалъ, что рѣчь оппозиціоннаго депутата опасна для его друзей, онъ подавалъ знакъ и раздавался крикъ: „заключить пренія!“ Бюффе немедленно предлагалъ голосовать вопросъ и, разумѣется, получалось большинство, утверждающее закрытіе преній. Бюффе обвиняли въ томъ, что онъ постоянно вызывалъ лѣвую сторону на какую-нибудь крайность. И это была правда. Правительство борьбы желало, чтобы сама палата подала поводъ къ вмѣшательству военной силы. Наполеонъ I и Наполеонъ III подали заразительный примѣръ такого вмѣшательства, сопровождавшагося для нихъ полнымъ успѣхомъ. Самые крайніе изъ партій „моральнаго порядка“, устами своего органа, газеты „Figaro“, твердили: „Чего думаетъ маршалъ Мак-Магонъ? Все готово. Ему надо только осмѣлиться—и судьба страны будетъ находиться въ его рукахъ. Удалось-же Павіи совершить государственный переворотъ въ Мадридѣ! Слѣдуетъ рискнуть и намъ!“

Но побуждаемый съ одной стороны бонапартистами, съ другой—легитимистами, маршалъ Мак-Магонъ вовсе не желалъ рисковать. Онъ, вѣроятно, держался того правила, что отъ вѣрнаго невыгодно идти къ невѣрному: онъ получалъ очень хорошее содержаніе, чего-же ему было искать при помощи государственнаго переворота?

Благодаря нежеланію Мак-Магона рискнуть на переворотъ, черезъ сорокъ мѣсяцевъ послѣ низверженія Тьера и водворенія „правительства борьбы“ Франція по-прежнему оставалась республикой. Мало того, республиканская форма правленія была теперь утверждена самимъ національнымъ собраніемъ. Въ удивленію людей, непосвященныхъ въ тайну, Бюффе подалъ свой голосъ за утвержденіе республики. Онъ говорилъ, что сдѣлалъ это не по собственному убѣжденію, а по желанію принцевъ Орлеанскихъ. Такіе политики, какъ Брольи и Бюффе, часто поражаютъ неожиданностью. Въ ихъ дѣйствіяхъ личный расчетъ всегда преобладаетъ надъ всякими другими соображеніями. Партія, въ которой они принадлежатъ въ извѣстный моментъ, никогда не можетъ вѣрно рассчитывать на ихъ содѣйствіе.

Партія „правительства борьбы“ рѣшительно была убѣждена, что національное собраніе никогда не согласится на утвержденіе республиканской формы правленія. Брольи и его товарищи, по-видимому, совершили все, чтобы сдѣлать такой исходъ невозможнымъ. Не только на высшія, но даже и на многія второстепенныя административныя должности они усадили бонапартистовъ, легитимистовъ и орлеанистовъ; очень немногія мѣста остались за республиканцами. Не будетъ парадоксомъ сказать, что въ управленіе Брольи французская администрація стала болѣе бонапартистской, чѣмъ даже во время второй имперіи; получили мѣста многіе изъ такихъ дѣятелей, которыхъ отвергала вторая имперія изъ боязни непопулярности. Такимъ образомъ въ администраціи три четверти чиновниковъ были явными или тайными бонапартистами; большинство въ остальной четверти принадлежало клерикаламъ; четыре пятыхъ офицеровъ арміи были тоже бонапартисты и клерикалы, одна пятая—республиканцы. Парижская полиція, три четверти которой состояло изъ бонапартистовъ, тайно помогала распространенію слуховъ о предстоящемъ провозглашеніи императоромъ Наполеона IV. Эти толки продолжались такъ настойчиво, что произвели панику въ Парижѣ. Предводители бонапартистской партіи подняли голову. Руэръ получалъ донесенія отъ префектовъ, въ которыхъ его величали г. министромъ и „ване высокопревосходительство“. Казалось, все было готово къ

произведенію государственнаго переворота; обитатели Чизльгерета уложили свои пожитки для путешествія во Францію...

И все это произошло по винѣ Тьера и Дюфора, перѣшившихся очистить администрацію отъ бонапартистовъ; по винѣ Брольи, Веле и Бюффе, переполнившихъ ее бонапартистами, т.-е. давшихъ имъ средство на казенный счетъ вести свою интригу, успѣхъ которой несомнѣнно повлекъ-бы за собой арестъ и изгнаніе и Тьера, и Дюфора, и Брольи, и Бюффе; не поздоровилось-бы, вѣроятно, и самому маршалу Мак-Магону...

Замѣчательно, что объ этой бонапартистской интригѣ, извѣстной хорошо даже парижскимъ уличнымъ мальчишкамъ, не знало только „правительство борьбы“. Если ему докладывали о ней, оно не хотѣло вѣрить и продолжало дѣйствовать въ прежнемъ направленіи, съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе запутывая дѣла.

Впрочемъ, не надо забывать, что со времени назначенія либеральнаго министерства Оливье-Бюффе орлеанисты примирились съ Наполеономъ III; имъ очень не трудно было примириться съ Наполеономъ IV и взять на свою долю все, что онъ могъ дать имъ въ благодарность за то, что они не противодействовали интригамъ его партіи. Слѣдовательно, орлеанисты не имѣли особенно сильныхъ побужденій противиться утвержденію третьей имперіи. Но принцы орлеанскіе не могли смотрѣть хладнокровно на успѣхъ бонапартизма. Въ случаѣ утвержденія третьей имперіи имъ предстояла значительная денежная потеря и скучная ссылка въ Твикэнгемъ. Впродолженіи четырехъ лѣтъ со времени возвращенія своего во Францію принцы дѣятельно работали для реставраціи Орлеановъ, скупая тратя только деньги, но безуспѣшно. Не помогъ имъ даже процессъ Базена, на который они сильно рассчитывали. 24 февраля 1875 года дѣло орлеанской реставраціи находилось въ болѣе безотрадномъ положеніи, чѣмъ 24 февраля 1871 года. Между тѣмъ успѣхъ бонапартистской интриги съ каждымъ днемъ становился все болѣе и болѣе очевиднымъ и можно уже было опасаться крайняго шага отъ этихъ людей, доказавшихъ не разъ, что они для достиженія своей цѣли готовы взяться на всякое средство, какъ-бы безнравственно оно ни было. Принцамъ ничего болѣе не оставалось теперъ, какъ сойтись съ

гласности. Начался протестный процесс, который привел к утверждению республиканизма, но впоследствии императорский указ. Государь даже был близок к тому, чтобы издать указ о роспуске палаты представителей. Указ был отозван, но гласности не удалось вернуть свою форму: республиканизм уже стал быть признан 23 февраля 1875 года республиканской формой правления. Причиной это совершилось большинством одного голоса, и гласность стала выдана вместо нее, как Биффе.

Многие вправду Биффе свои указания. Как-же это, работа 4) вконец для утверждения монархии, как из одной республиканской монархии отвернулся от нее? Он понимал себя так, что не может же он быть более монархическим, чем принцип (орлеанский, естественные предводители той партии, из которой он принадлежал. Но, конечно, не эти соображения руководили Биффе, который всегда действовал только над кинематом своих личных чувств. Он видел ясно, что, несмотря на самую энергическую деятельность „правительства борьбы“, Франция при каждом удобном случае выражала свое желание, чтобы была утверждена республиканская форма правления. Ему оставалось только извлечь всю пользу из своего нового положения. Двадцать пять лет он мечтал быть главой кабинета, руководителем французской внешней и внутренней политики, и случай осуществиться эту мечту представлялся. А там—кто знает—можно попасть и в президенты республики. „Недурно распорядиться судьбой 36-миллионного населения“, думал Биффе, и решился подать свой голос. Таким образом Биффе разрушил интригу бонапартистов, которой самъ покровительствовал; Биффе помог осуществлению программы Тьера, против которой он боролся и которая послужила причиной низвержения Тьера; Биффе уничтожил надежды монархистов, хотя самъ поддерживал их и употреблял все усилия для их осуществления. Какъ посылался надъ нимъ старинный хитрецъ Тьеръ, ибъющій право сказать, что онъ теперь вполне отомщенъ!

Надобно отдать справедливость Бюффе, что онъ на каждомъ шагу старается показать, съ какой досадою онъ понимаетъ теперь тему, что считалъ. Съ той поры, какъ онъ назначенъ президентомъ кабинета республики, „премьеромъ“, какъ говорятъ англичане, онъ дѣлаетъ все возможное, чтобы помирить мирному и спокойному утвержденію республиканской формы правленія. Можно было предполагать, что, достигнувъ високаго поста, о которомъ онъ мечталъ, Бюффе сдѣлается добрымъ и общительнымъ. Но такъ могъ думать только тотъ, кто мало знаетъ Бюффе. Сдѣлавшись первымъ министромъ, Бюффе сталъ еще требовательнѣе; онъ вѣчно не въ духѣ, вѣчно сердитъ. Его бѣсить, что ему придется осуществить тѣрговскую программу. Хотя въ администраціи не осталось почти ни одного республиканца, но республиканскій духъ силкомъ еще въ палатѣ; еще рѣшительнѣе проявляется онъ въ прессѣ. Если-бъ еще дѣйствовала правительственная система, которой ознаменовала себя вторая имперія, Бюффе сдѣлалъ-бы быстро кончить съ элементами, недавними ему некое. Но приходится дѣлать все гласно, обращаться къ помощи прокуроровъ, адвокатовъ... А тутъ еще запросы въ палатѣ... тяжело, ужасно тяжело; какъ не сказать выѣсть съ пѣней Пандора:

C'est un métier difficile
Garantir la propriété,
Défendre les champs et la ville
Du vol et de l'iniquité“.

Да, не легко приходится Бюффе. И сколько еще хлопотъ предстоитъ впереди! Но онъ вывернется, выйдетъ сухъ изъ воды.

Исторія президентства Мак-Магона и управленія Бюффе впоследствии, вѣроятно, явится подъ заглавіемъ: „Невѣроятные рассказы“. Здѣсь, не касаясь подробностей управленія Бюффе, мы сообщимъ лишь нѣкоторые выдающіеся факты его дѣятельности. Замѣтимъ только, что эти либералы, творцы гансіейской программы, обеспечили клерикаламъ таковой успѣхъ, какого тѣ не имѣли даже во время ихъ господства при реставраціи. Эти доктринеры,

ходится дѣлать выборъ между республиканцами, давшими мнѣ свое голосъ и вручившими министерскій портфель, и бонапартистами, подкапывающимися подъ мое правительство, не колеблясь ни минуты, я объявляю, что сердце мое лежитъ къ бонапартистамъ... Между республиканцами есть нѣкто Гамбета, который для меня рѣшительно невynosимъ. Въмѣсто того, чтобы вотировать противъ Руэра, вотируйте противъ Гамбеты. Если вы не сдѣласте этого, я тотчасъ-же выйду въ отставку. А если я выйду въ отставку, маршалъ-президентъ положитъ конецъ парламентарной системѣ, составляющей залогъ нашего благополучія“.

Кажется невѣроятно, а между тѣмъ нельзя дать другого смысла рѣчи перваго министра французской республики. Палата такъ и поняла эту рѣчь, потому что успѣшила исполнить желаніе Бюффе.

Затѣмъ послѣдовалъ законъ о свободѣ высшаго образованія, развязывающій руки іезуитамъ. Всѣ французы, свободные отъ клерикальнаго вліянія, смотрятъ на принятіе этого закона собраніемъ, какъ на пораженіе, болѣе пагубное, чѣмъ пораженіе при Седанѣ. Принятіе этого закона было пораженіемъ управляющихъ классовъ; буржуазія собственными руками нанесла себѣ ударъ. Если этому закону дадутъ существовать двадцать лѣтъ, то можно навѣрное предсказать, что буржуазія въ смыслѣ политическомъ исчезнетъ во Франціи. Что не удалось клерикаламъ во время реставраціи, того добились они при республикѣ, при управленіи министерства Бюффе.

Что касается снятія осаднаго положенія, чего давно требуетъ Франція, Бюффе, на вопросъ, когда-же онъ закончитъ съ этимъ ненормальнымъ положеніемъ, — отвѣчалъ: „Положеніе дѣйствительно ненормальное, но министерство не можетъ разстаться съ нимъ до тѣхъ поръ, пока не будетъ принятъ новый законъ о прессѣ. Выходки журналистики мѣшаютъ намъ спокойно управлять страной“. Бюффе не договаривалъ, что осадное положеніе ему необходимо противъ республиканцевъ.

Повидимому, все мѣшаетъ спокойному управленію министерства Бюффе: журналистика, школа, если она не находится подъ вѣдѣніемъ іезуитовъ, даже самая наука. Химикъ Накэ, депутатъ національнаго собранія, желалъ прочесть въ Парижѣ нѣсколько публичныхъ лекцій о спектральномъ анализѣ. Администрація

наживаться. Тевтоны, давно не доверявшие сосѣду, были готовы отразить нападеніе. Они не только отразили хищныхъ авантюристовъ, но еще погнали ихъ передъ собой, зычно изволили и преслѣдовали ихъ до ихъ собственнаго дома. Здѣсь они нашли несчастную дѣвчонку; тщетно кричала она: „они ваши враги, а не я“, — тевтоны въ гнѣвъ мобили и се, поволокли за волосы и своими огромными щипорами разорвали животъ. Несчастная, почти умирающая, была брошена на землю. Преслѣдовали преждевременные роды. Въ удивленіе всѣхъ, ребенокъ родился живенькій.

„Мать, несмотря на множество ранъ, съ полученными, начала мало-по-малу оправдываться. Лежа въ своей постели, съ грудью поворачиваясь отъ лежачившей еще боля, она длинными днями любовалась своею дочерью, которой она дала имя „Республика“. Очарованное, розовенькое дитя улыбалось своей матери; въ его черныхъ глазахъ горѣлъ огонь; ребенокъ былъ всевъ и въ добровъ. Долго любовалась дочерью, еще совершенно неоправившаяся мать устала и скоро задремала. Во снѣ она видѣла себя уже совершенно выздоровѣвшей, наслаждающейся спокойной жизнью...

„И вотъ она проснулась. Отдернувъ завѣсны колыбели своей дочери, она отшатнулась назадъ. Она протираетъ свои глаза, чтобы увѣриться, что не спитъ. Ея дитя исчезло; а на мѣстѣ его лежатъ какой-то пузаны, съ вывороченными руками, съ кривыми ногами, съ старческимъ личикомъ... Что это такое?

„Во время ея сна въ комнату вошла колдунья, схватила дочь Генія възовъ и замѣнила ее уродцемъ. Вѣдная мать, убѣдяся, что она не спитъ и что, дѣйствительно, ея дитя замѣнено другимъ, зарыдала. „Гдѣ мое дитя?“ спрашивала она.

„— Я здѣсь, въ колыбели, кричалъ пронзительнымъ голосомъ уродецъ.— Посмотри на меня, мама, это я, твой маленький Бюббффе, твой розовенькій бебе, меня зовутъ Республикой, ты же дала мнѣ это имя.

„— Ваше дитя здѣсь, твердили одна за другой служанки, кумушки и знакомыя, прибѣжавшія къ постели роженцы, услышавъ ея риданія.

„— Сударыня, это ваше дитя! увѣрили ее профессоръ Лабулэ, докторъ Шереръ (изъ „Temps“), пасторъ Пресансе, инженеръ Сэзанъ, адвокатъ Риваръ и Лефебръ-Понталисъ.

„— Могу васъ увѣрить, сударыня, что этотъ младенецъ дѣй-

ствительно ваша дочь! говорить Гамбета, другъ дема.—Вы должны беречь и лелѣять ваше дитя.

„Но мать не хотѣла вѣрить ни одному изъ нихъ и продолжала кричать: „Гдѣ мое дитя? Куда дѣвали мою дочь?“

„Тогда пришелъ Валлонъ, взявъ руку больной, пощупалъ пульсъ и авторитетнымъ тономъ произнесъ:

„— Вы находитесь подъ дѣйствиємъ кошмара! Ваше разстроенное воображеніе, сударыня, мѣшаетъ вамъ видѣть предметы въ настоящемъ свѣтѣ. Этотъ ребенокъ—наша Республика. Кому же знать это лучше, какъ не мнѣ, его отцу? Впадая въ галлюцинаціи, вы увѣряете, что отцомъ вашего ребенка былъ какой-то Геній вѣковъ, какой-то сказочный принцъ. Вы больны, сударыня, и видите нелѣпные сны. Но мы васъ вылечимъ, сударыня; пустимъ вамъ кровь, сударыня; дадимъ вамъ слабительнаго, при нуждѣ поставимъ клестиръ, и повѣрьте, сударыня, вы встанете на ноги и будете...

„Но бѣдная мать не хотѣла слушать его долѣе; она прервала его слѣдующими словами:

„— Неужели я сошла съума! Всѣ они говорятъ одно и то же. И этотъ Валлонъ, этотъ педантъ, академикъ, называетъ себя моимъ мужемъ. И этотъ Луи Бюффе, доктринеръ, переметная сума, увѣряетъ меня тоже, что это моя дочь, Республика. Право, я могу дѣйствительно помѣшаться!“

V.

Мы очень мало говорили о наружности Бюффе. Начертимъ теперь портретъ его; постараемся, чтобы въ нашемъ описаніи онъ былъ вѣренъ, какъ лучшая фотографія. Бюффе не похожъ на Аполлона, его фигура не изъ красивыхъ, но ее нельзя назвать безобразной, она только непріятна. Если, не зная его, вы встрѣтите его на улицѣ, вы непременно скажете: „онъ довольно приличенъ; вѣроятно, это столоначальникъ, можетъ быть, даже начальникъ отдѣленія въ какой-нибудь канцеляріи, пожалуй, это страпчій или секретарь въ канцеляріи генераль-прокурора“. Бюффе всегда одѣтъ въ черный фракъ, онъ вѣчно носитъ бѣлый галстукъ; платье на немъ сидитъ хорошо и тщательно вычищено,

сапоги блестятъ. Онъ небольшого, даже малаго роста, но вѣчно вытягивается и потому кажется выше, чѣмъ на самомъ дѣлѣ. Онъ коротконогъ, но съ длинной таліей; въ сидячемъ положеніи и на трибунѣ онъ можетъ показаться человѣкомъ средняго роста. На худомъ тѣлѣ у него поставлена нѣсколько нанскою большая, костлявая голова; скулы у него выдающіяся, носъ длинный, ноздри ущемленныя; длинный и острый подбородокъ; кожа сухая, вялая, сморщенная; губы тонкія; произноситъ онъ явственно, но голосъ у него грубый и рѣзкій; въ патетическіе моменты онъ издаетъ звуки, похожіе на шумъ трещотки или скрипъ тѣлѣги. Облическіе, неподвижные глаза Бюффе совершенно лишены бровей. Бюффе постоянно носить пенснэ.

Бюффе никогда не смотритъ прямо въ глаза своему собесѣднику; онъ оглядываетъ его съ боку; онъ такъ внимательно осматриваетъ васъ и слѣдитъ за каждымъ вашимъ движеніемъ, что вамъ становится, наконецъ, непріятно и неловко. Когда онъ заговоритъ, его рѣзкій, грубый голосъ, улыбка его тонкихъ губъ возбуждаютъ непріятное впечатлѣніе. Отъ всей фигуры его вѣетъ гордостью, тщеславіемъ, насмѣшкой и презрѣніемъ къ людямъ. Онъ какъ-бы говоритъ вамъ: „Всѣ окружающіе меня—глупцы, какъ легко мнѣ употребляютъ въ свою пользу ихъ тупость! Я слишкомъ хитеръ для нихъ!“

Бюффе, однакожъ, не совсѣмъ правъ, думая, что его не понимаютъ окружающіе. Правда, онъ занимаетъ положеніе несравненно высшее того, которое онъ заслуживаетъ своими талантами и знаніями. Но онъ вовсе не такъ опасенъ, какъ самъ предполагаетъ. Опасными могутъ быть только люди, возбуждающіе сильный энтузіазмъ въ массѣ. Но ни въ фигурѣ, ни въ манерахъ, ни въ рѣчахъ, ни въ дѣятельности Бюффе нѣтъ ничего такого, что-бы возбуждало симпатію. Съ своимъ острымъ и длиннымъ подбородкомъ, съ презрительнымъ взглядомъ, который онъ бросаетъ вокругъ себя, Бюффе очень походитъ на воспитательницу-англичанку методистской секты, на старую дѣву, нимѣвшую никогда ни граціи, ни красоты, но гордую своей недоступностью и знаніемъ приличій, нѣсколько злою и несносною для окружающихъ, медъ для себя самой, укусъ для всѣхъ другихъ. Бюффе былъ-бы совершенно на своемъ мѣстѣ въ купеческой или банкирской конторѣ. Но судьба вознесла его и онъ те-

перъ первый министр французской республики. Его вездѣ вырываетъ случай. Случайно онъ попалъ въ коллегію Барда Велланго; случайно онъ познакомился Тьеру, который полагалъ сдѣлать изъ него преданнаго ему второстепеннаго агента. Онъ могъ обмануть Тьера, но ему не обмануть народа; если она не такъ непопулярна, какъ Брозья, то это потому, что онъ менѣе на виду.

„Г. Бюффе имѣетъ много недостатковъ; говоритъ газета „Temps“, — онъ сухъ, подчасъ очень грубъ; онъ боится имѣть слишкомъ много друзей; онъ дѣлаетъ все возможное, чтобы вырвать съ корнемъ возрождающуюся къ нему симпатію...“

„Сколько стѣнительно имѣть Бюффе за себя, столько же опасно имѣть его противъ себя; говоритъ „Journal des Débats“: — Гдѣ не существуетъ никакихъ затрудненій, онъ старается ихъ создать; въ этомъ отношеніи онъ чрезвычайно изобрѣтателен... У него убѣжденія вѣчно колеблющіеся; неизвѣнна въ немъ только лживость. Тщеславіе составляетъ отличительную черту его характера. Онъ тщеславится тѣмъ, что у него очень дурной характеръ.

„— Я знаю, что у меня дурной характеръ, говоритъ онъ, — но это составляетъ одно изъ лучшихъ моихъ качествъ“.

Но если дурной характеръ известнаго лица не составляетъ еще худшаго изъ его качествъ, то каковы-же должны быть другіе недостатки, еще болѣе невыносимые?

Подобно покойному Гизо, Бюффе хвалится тѣмъ, что онъ презираетъ общественное мнѣніе. Какой-то острякъ, услышавъ отъ него эту похвалу, весьма резонно замѣтилъ ему:

— Вы вправѣ это дѣлать, потому что оно платитъ вамъ той же монетой.

Презирая общественное мнѣніе, Бюффе не сердится и не огорчается, когда услышитъ, что его ненавидятъ. Какъ-то разъ онъ промокшился, что его нисколько не тронуло-бы, если-бъ онъ прочелъ въ одной изъ газетъ оппозиціи, что его считаютъ великимъ преступникомъ. Но этого ему не придется прочесть; его не признаютъ такимъ страшлищемъ, какимъ онъ самъ себя выставляетъ.

Слишком занятый своей собственной особой, Бюффе очень мало озабочивается судьбой французской нации. Его политика имѣетъ большое сходство съ ловкостью лавочника, который заботится только о томъ, какъ-бы получить побольше барыша. Бюффе ловецъ, умѣетъ пользоваться обстоятельствами, знаетъ, чѣмъ можно завлечь въ данное время своихъ слушателей. При всемъ этомъ онъ мастеръ назваться человѣкомъ вполне respectable-нымъ. Какъ онъ гордо держитъ голову, когда говорить о своей вѣрности либерализму, о своей непоколебимой преданности парламентскимъ принципамъ и обычаямъ! При небольшомъ умѣ, онъ очень хитеръ и имѣетъ твердый характеръ; онъ упрямъ. Онъ вполне вульгаренъ, однакожь, его успѣхи нельзя приписывать исключительно случаю; своимъ возвышеніемъ онъ много обязанъ самому себѣ. Доктринеръ и эгоистъ, онъ удивительно умѣетъ сохранять благопристойную вѣнность.

Другой, будучи на мѣстѣ Бюффе, съ такимъ политическимъ промедлениемъ, навѣрное прослылъ-бы за пустого человѣка, пожалуй даже за гаера, между тѣмъ онъ считается въ числѣ серьезныхъ политиковъ. Онъ умѣетъ казаться важнымъ, онъ нѣсколько скученъ; онъ неспособенъ въ погонѣ за популярностью прибѣгать къ школьничеству, какъ это дѣлалъ Тьеръ; онъ также неспособенъ, подобно Тьеру, сыграть дурную шутку ради собственнаго развлечения: если онъ измѣняетъ, то дѣлаетъ это не для забавы, а для полученія солидной выгоды. Онъ способенъ всегда найтись въ трудныхъ обстоятельствахъ. Онъ говоритъ медленно, торжественно, отчетливо подчеркиваетъ фразы, съ особеннымъ пафосомъ произноситъ извѣстные слова. Онъ мастеръ говорить обиняками, а такое достоинство чрезвычайно цѣнится во времена парадоксальныхъ сдвиговъ: вчера между орлеанистами и легитимистами; сегодня между республиканцами и орлеанистами; между бонапартистами и легитимистами. Въ такія тревожныя эпохи, какъ наша, люди, подобные Бюффе, всегда могутъ рассчитывать на успѣхъ. Посмотрите, съ какимъ пафосомъ онъ говоритъ о законности, какъ онъ умѣетъ придать наружный лоскъ самымъ анормальнымъ учрежденіямъ и объяснить всякія обстоятельства въ пользу дѣла, которое ему выгодно защищать. За Бюффе есть одно важное достоинство: онъ не причастенъ къ государственному перевороту, но едва-ли найдется человѣкъ, болѣе его спо-

собный регуляризировать положеніе тотчас послѣ совершенія переворота. Никакая выгода не соблазнить его броситься въ предпріятіе, сопряженное съ рискомъ жизни; онъ избралъ болѣе спокойное орудіе для обезпеченія себѣ успѣха: сводъ законовъ — вотъ поле его дѣятельности. Для того, кто умѣетъ пользоваться имъ, сводъ законовъ даетъ больше, чѣмъ помѣстье, чѣмъ эксплуатация золотыхъ рудниковъ. Бюффе съумѣлъ выжать изъ свода много, очень много: два президентства въ національномъ собраніи и четыре министерства.

Добившись министерскаго портфеля (перваго, втораго, третьяго и четвертаго), что дѣлалъ Бюффе? Прежде всего онъ устраивалъ свое личное положеніе. А далѣе? Что дѣлалъ онъ для страны, думалъ-ли онъ о нелицепріятномъ судѣ исторіи? Но здѣсь мы касаемся слабой стороны Бюффе. Для устройства собственнаго благосостоянія у него хватало и искусства, и способностей, но не хватало ихъ на то, чтобы сдѣлаться государственнымъ человекомъ.

Изучая политику Бюффе, теперь министра внутреннихъ дѣлъ, вице-президента совѣта, дѣйствительнаго президента республики, потому что Мак-Магонъ только номинальный президентъ, нельзя не придти къ заключенію, что у него нѣтъ ни одного качества, отличающаго настоящаго государственнаго человека. Вѣчно занятый своими личными интересами, онъ не имѣетъ досуга заняться общественными. Главную задачу своей государственной дѣятельности онъ видитъ въ строгой формалистикѣ; онъ скорѣе чиновникъ, искусившійся въ ловкомъ составленіи отношеній, предписаній и пр., чѣмъ министръ. Эту часть онъ знаетъ въ совершенствѣ. Онъ изучалъ права, но усвоилъ себѣ только крючкотворство, подобно тому римскому Бюффе, о которомъ говоритъ Цицеронъ. Вопросы, волнующіе въ наше время интеллигенцію, ему неизвѣстны и, что еще хуже, онъ относится къ нимъ совершенно безучастно. Его нисколько не интересуютъ великія задачи, составляющія славу и мученіе XIX вѣка; онъ не даетъ себѣ труда изучить ихъ. Да и къ чему? Онъ составилъ себѣ сводъ политическихъ и соціальныхъ воззрѣній, составилъ ихъ по узкому

буржуазному масштабу; все, что выходит за рамку этих воззрений, он провозглашает утопией, с которой слѣдует бороться. При своемъ дебютѣ въ качествѣ законодателя, онъ занимался политической мудростью въ клубѣ улицы Пуатье, потомъ въ „картофельномъ клубѣ“, теперь въ домѣ герцога Бралья. Религіозныя и философскія доктрины онъ почерпаетъ изъ газеты „France“ и изъ журнала „Revue contemporaine“. На всѣ событія во Франціи и Европѣ со времени первой революціи онъ смотритъ глазами той котерии, къ которой онъ принадлежитъ въ данный моментъ (ни къ какой партіи онъ никогда не принадлежалъ). Котерии непрерывно мѣняютъ свои убѣжденія: что вчера онъ считали подвигомъ, сегодня признаютъ измѣной. Вотъ почему Бюффе безпрестанно колеблется: онъ другъ и врагъ республики; другъ и врагъ второй имперіи; другъ и врагъ конституціонной монархіи; другъ и врагъ Тьера; онъ участвовалъ во всевозможныхъ комбинаціяхъ и не стоялъ ни за одну изъ нихъ. Онъ лишенъ политической индивидуальности, потому что у него нѣтъ моральной индивидуальности, нѣтъ убѣжденій. Желая достигнуть карьеры, онъ постарался обратить на себя вниманіе революціонеровъ, когда-же достигъ ея, онъ тотчасъ-же перешелъ къ консерваторамъ. Онъ черпаетъ свою систему въ „Constitutionnel“ъ, ищетъ доказательствъ въ „Pays“; его секретарь Дюфейль за тысячу франковъ въ мѣсяцъ подаетъ ему политическіе совѣты. Настоящій его господинъ — герцогъ Бралья; ему онъ повинуется безпрекословно, не разсуждая. Къ нему бросился Бюффе послѣ своего неделикатнаго поведенія въ отношеніи Тьера. Бюффе слѣпо подчиняется Бралья. Это слѣпое подчиненіе подало поводъ одной сатирической газетѣ къ сочиненію слѣдующаго разговора между ними:

„— Луи, говоритъ Бралья, обращаясь къ Бюффе, — ты увѣренъ, что будетъ лучше ввести избраніе по округамъ...

„— Будетъ поступлено по вашему желанію, какъ вы прикажете.

„— Луи, отдай университетъ іезуитамъ.

„— Исполню немедленно.

„— Луи, подай свой голосъ за республику; бонапартисты вынуждаютъ насъ признать ее и такъ будетъ выгоднѣе для принцевъ Орлеанскихъ. Возьми управленіе ею въ свои руки и поста-

райся сдѣлать ее сильной и невозможной. Не гляди по головкѣ республиканцевъ; что же касается Вуэра и его банды, обращайся съ ними по-американски.

— Не вриши мнѣ, какъ вы называете.

— Помни, Ду, что называя тебя коммандантомъ вѣрности, мы увѣрены, что ты отдашь намъ ее ключи, когда придетъ возможность намъ занять ее.

— Постараюсь оправдать ваше довѣріе.

Люди, неимѣющіе собственныхъ убѣжденій и слѣпо слѣдующіе за другими, всегда стараются показать свое значеніе, рисуясь человекомъ грубымъ и непреклоннымъ. Такой человекъ обыкновенно капризничаетъ, рассчитывая, что его капризы будутъ приняты за признакъ сильной воли; онъ является угрюмымъ, чтобы его приняли за человека серьезнаго; неговорчивымъ, чтобы прослыть за Катона парламентаризма. Таковъ именно Бюффе. Мѣтя въ министры, онъ держитъ себя строго и торжественно; получивъ портфель, онъ становится высокомернымъ, неприступнымъ, невыносимымъ для окружающихъ. И все это для того, чтобы не могли подумать, что онъ собственной воли не имѣетъ, а дѣйствуетъ по чьему-то внушенію. Онъ считаетъ, что для него выгоднѣе прослыть плохо воспитаннымъ, чѣмъ неискуснымъ человекомъ; лучше быть въ глазахъ другихъ невыносимымъ, чѣмъ неспособнымъ. У него существуетъ запасъ пригодныхъ къ случаю фразъ и латинскихъ изрѣченій, внученныхъ еще въ лицѣ Карла Великаго. Когда онъ истощитъ этотъ запасъ, ему останется только удалиться изъ министерства и сѣсть подъ сѣнь большинства. Говорятъ, и теперь запасъ его уже на исходѣ. Бюффе напоминаетъ тѣхъ актеровъ, единственный талантъ которыхъ заключается въ умѣньи съ важностію входить на сцену и сходить съ нея съ величіемъ; въ промежуткѣ же между входомъ и выходомъ они бормочутъ фразы при пособіи суфлера.

Въ отношеніи Бюффе пригодно также и другое сравненіе. Это обыкновенный офицеръ, который, благодаря или своей счастливой наружности, или интригѣ, назначенъ главнокомандующимъ. Получивъ жезлъ главнокомандующаго, онъ, подобно генералу Вуму

(въ „Герцогиня Герольштейнская“), становится суровымъ поборникомъ дисциплины; онъ не выноситъ ни критики, ни замѣчанія, ни оправданія; его выводить изъ себя, если пуговица на солдатскомъ мундирѣ пришта неправильно. За день или за два до сраженія онъ внезапно подаетъ въ отставку. „Вы дурные солдаты, говорить онъ, — я не желаю компрометировать себя, команду такой дрянью. Выеручивайтесь изъ своего положенія, какъ знаете сами, а же не нахвренъ выдериваться“.

Невольно приходится сказать, что прошли славные дни французской буржуазии, имѣвшей въ своей средѣ многихъ великихъ людей, если она приобтаетъ къ такимъ людямъ, какъ Бюффе, человекъ съ ограниченнимъ умомъ и съ способностями весьма обыкновеннагостряпчача. Надо полагать, что внуки Мирабо, и Лафайета далеко отстали отъ своихъ дѣдовъ!

Михаэль Триго.

КАЗАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКИХЪ КОЛОНИЙ И РЕМЕСЛЕННЫХЪ ПРЮТОВЪ И ЕГО ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ.

23 января 1873 года утвержденъ былъ г. министромъ внутреннихъ дѣлъ уставъ „Казанскаго Общества земледѣльческихъ колоній и ремесленныхъ прютовъ“, а съ 19-го февраля того-же года началась и дѣятельность Общества. Для занятія текущими дѣлами избранъ былъ особый Совѣтъ, на которомъ и лежала забота по организациі дѣла. Дѣятельность Совѣта въ истекшій періодъ времени распадалась на два отдѣла: 1) приобрѣтеніе средствъ, съ помощью которыхъ возможно было-бы устроить первое воспитательное заведеніе; 2) предварительныя работы по организациі заведенія, которое по своимъ внѣшнимъ и внутреннимъ свойствамъ удовлетворяло-бы возможно болѣе идеѣ перевоспитанія.

Результаты дѣятельности Совѣта въ этомъ направленіи были слѣдующіе: 1) число членовъ Общества съ 21-го возрасло втеченіи двухъ лѣтъ до 300 человекъ; 2) денежные средства Общества возрасли до 20,399 руб. 73¹/₂ коп., сверхъ которыхъ Общество владѣетъ еще двумя билетами внутр. съ выигрышами займовъ и домомъ, подареннымъ г-жею Немировой; 3) остановившись на мысли предварительнаго открытія „воспитательно-исправительнаго ремесленнаго прюта“ для несовершеннолѣтнихъ преступниковъ и дѣтей, которымъ грозитъ опасность впасть въ преступленія и пороки подъ вліяніемъ нищеты, безпріютности и невѣжества, Совѣтъ выработалъ уставъ заведенія, который и былъ утвержденъ г. управляющимъ министерствомъ внутреннихъ дѣлъ 10 сентября 1874 года; 4) желая произвести устройство прюта возможно рациональнѣе, Совѣтъ а) неоднократно совѣтовался съ г. Гердомъ, директоромъ петербургской колоніи, и при посредствѣ своихъ членовъ приобрѣлъ чертежи построекъ Меттрэ и саратовской колоніи; б) просилъ члена Общества, архитектора г. Крщоновича, составить

подробный планъ и смѣту, по составленіи которыхъ сдаль всѣ работы съ торговъ г. Данилову за 7,600 руб. Наконецъ, сознавая важность воспитательнаго вліянія и желая поставить дѣло перевоспитанія на твердую почву, рѣшился пригласить для исполненія обязанностей смотрителя И. А. Злобина, воспитателя петербургской колоніи, рекомендованнаго Обществу г. Гердомъ. Общее собраніе ассигновало на жалованье смотрителю 1,200 руб. въ годъ, а его помощникамъ по 600. Къ 20 сентября настоящаго года поправка стараго зданія, надъ которымъ наводится 2-й этажъ, постройка новаго двухъ-этажнаго дома въ 6 сажень ширины и 8½ длины, постройка бани и другихъ службъ будетъ окончена. Къ этому-же времени долженъ прибыть въ Казань и И. А. Злобинъ.

Такимъ образомъ, къ 1-му числамъ октября настоящаго года все будетъ готово къ открытію заведенія и вопросъ о средствахъ, необходимыхъ на текущіе расходы по его содержанію, приобретаетъ теперь особенную важность. Поэтому, переходя отъ теоретическихъ работъ къ практическимъ начинаніямъ, Совѣтъ снова позволяетъ себѣ обратиться ко всѣмъ учрежденіямъ и лицамъ, сочувствующимъ идеѣ перевоспитанія,—снова взываетъ о посильной помощи, которая теперь нужна Обществу еще болѣе, чѣмъ прежде.

Общество не имѣетъ фонда, обезпечивающаго предстоящіе ему расходы, и потому дѣятельность его не стоитъ еще на вполнѣ твердой почвѣ и находится въ зависимости отъ случая. Обществу необходимо капиталъ, процентовъ съ котораго было-бы достаточно на содержаніе его перваго заведенія; тогда только Общество получитъ возможность распространить свою дѣятельность далѣе, т. е. и на другіе губерніи казанскаго судебного округа.

Единственное средство къ этому—общественная благотворительность, къ которой и призываются правительствомъ земства, городскія общества, духовныя установленія и частныя лица. „При довольно значительномъ числѣ несовершеннолѣтнихъ преступниковъ, говорится въ высочайше утвержденныхъ правилахъ объ исправительныхъ пріютахъ,—оказывающихся виновными въ маловажныхъ кражахъ и нищенствѣ, за которыя по уставу о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, они могутъ быть отдаваемы въ исправительные пріюты,—необходимо, чтобы число этихъ послѣднихъ соотвѣтствовало ощущаемой уже у насъ потребности въ такихъ заведеніяхъ. Но устройство большого числа исправительныхъ пріютовъ самимъ правительствомъ было-бы невозможно, вслѣдствіе трудности пріисканія въ настоящее время необходимыхъ для того значительныхъ финансовыхъ средствъ. Съ другой-же стороны, едва-ли оно и желательно, такъ-какъ учрежденія правительственныя, требующія строгаго и сложнаго контроля, стоятъ вообще несравненно дороже, нежели заведенія частныя. Допустивъ сіе, нельзя сомнѣваться въ томъ, что и у насъ,

какъ во всей остальной Европѣ, многія частныя лица и общества пожелають учредить исправительные пріюты. Такимъ образомъ, можно надѣяться, что частною дѣятельностью и общественною благотворительностью настоящій предметъ не оставится безъ вниманія“.

Русскому обществу предстоитъ теперь показать, что человѣчная идея перевоспитанія успѣла проникнуть въ его сознаніе, и доказать это содѣйствіемъ учрежденію, взявшему на себя заботу объ исправленіи малолѣтнихъ преступниковъ, которымъ общество обывано протянуть руку помощи и во имя справедливости, и во имя собственнаго интереса.

Въ заключеніе Совѣтъ Общества еще разъ позволяеть себѣ высказать надежду, что его голосъ найдетъ себѣ сочувственный откликъ какъ со стороны цѣлыхъ учрежденій, такъ и со стороны частныхъ лицъ, которымъ не чужда идея спасенія малолѣтнихъ дѣтей, погибающихъ подъ вліяніемъ нищеты, безпріютности и невѣжества.

Казанское Общество земледѣльческихъ колоній, согласно съ уставомъ, составляется изъ лицъ обоюго пола, всѣхъ состояній и званій, и число членовъ его неограничено. Члены Общества раздѣляются на почетныхъ, дѣйствительныхъ и соревнвателей; въ почетные члены избираются лица, содѣйствовавшія значительными пожертвованіями или своими личными трудами успѣвнѣйшему достиженію цѣлей Общества и заслужившія право на особенную признательность Общества; дѣйствительными членами признаются всѣ, поступающіе въ составъ Общества съ ежегоднымъ взносомъ 10 р. или 100 р. — одновременно *); членами-соревнателями признаются, согласно съ желаніемъ, всѣ, взносащіе менѣе 10 руб.

Общество принимаетъ пожертвованія какъ деньгами, такъ и разнаго рода вещами: земледѣльческими орудіями (въ пріютѣ Общества воспитанники будутъ заниматься, между прочимъ, огородничествомъ и садоводствомъ), ремесленными принадлежностями, скотомъ, огородными и другими сѣянками, платьемъ, обувью и т. п.

Всѣ заявленія и пожертвованія адресуются такъ: „Въ г. Казань, въ Совѣтъ казанскаго Общества земледѣльческихъ колоній и ремесленныхъ пріютовъ“.

*) Дѣйствительные члены избираются безъ баллотировки, такъ что для вступленія въ составъ Общества необходимо только простое заявленіе Совѣту съ соединеніемъ членскаго взноса.

СОДЕРЖАНІЕ СЕДЬМОЙ ВНИЖКИ.

- Перекатовъ. (Очеркъ изъ жизни русскихъ празднующающихся за границей.) (Окончаніе.) . . . *Л. Урбача.*
- Исповѣдь старика. Романъ. (Гл. VIII—IX.) *Иполита Ньесо.*
- Старый садовникъ. Стихотвореніе. (Съ нѣмецкаго.) *Н. М.*
- На пути въ Персію. I. На-лету и астраханскіе калмыки. *П. Огородникова.*
- Осенью. Стихотвореніе. *И. Сурикова.*
- Красавецъ. Романъ. (Гл. V—VIII.) . *Жюля Кларети.*
- Отець. Стихотвореніе. (Изъ Ф. Коппе.) *М. Н.*
- Н. А. Полевой и „Московский Телеграфъ“. (Окончаніе.) *С. Ставрима.*
- Моя пѣсня. Стихотвореніе. *И. Сурикова.*
- Съ сѣвера на югъ. Романъ. (Книга вторая, часть 2-я. Гл. XIX—XXX.) *Н. Н. Каразима.*
- Погребеніе нищей старухи. Стихотвореніе. (Изъ Н. Ленау.) . . . *Петра Бькова.*
- Эпоха преобразованій въ народномъ образованіи. *А. Михайлова.*
- Въ лѣсу. Стихотвореніе. *И. Сурикова.*

СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

- Нехудожественный романъ. *Н. Радюкина.*
- Белетристы-эмпирики и белетристы-метафизики. (Статья вторая.) . *Н. Никитина.*
- Внутреннее обозрѣніе. *Д. Мордовцева.*
- Парижскія письма. *Анонима.*
- Научная хроника.
- Спиритизмъ передъ судомъ. (Письмо изъ Парижа.) *А.*
- Политическая и общественная хроника. Салонъ и общество во Франціи. *М. Трио.*

СОДЕРЖАНІЕ ВОСЬМОЙ КНИЖКИ.

- Разбитое сердце. Сцены. *М. Н.*
Исповѣдь старика. Романъ. (Гл. X—
XI.). *Иполита Ньсво.*
На приморскомъ берегу. Стихотворе-
ніе. *М. Н.*
Нищія. Очерки изъ жизни „отщепен-
цевъ“ общества. *М.*
Послѣднее желаніе. Стихотвореніе. . . *Петра Быкова.*
Жизнь и дѣятельность Ж.-Ж. Руссо.
(Статья первая.) *С. Ставрима.*
Покой и трудъ. Стихотвореніе. . . . *И. Сурикова.*
Приволье. Лѣто въ становищѣ. (Гл.
I—V.) *В. И. Немировича-Данченко.*
Пѣсни. Стихотвореніе. (Изъ Барри
Борнуэля.) *М. Н.*
Брасавецъ. Романъ. (Гл. IX—XI.) . *Жюля Кларети.*
Зимняя ночь. Стихотвореніе. (Съ вен-
герскаго.) *М. Н.*
Съ сѣвера на югъ. Романъ. Книга
III. (Гл. I—XII.) *Н. Н. Каразина.*

СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

- Илюзіи критическаго оптимизма. . *Н. Язкова.*
Новыя книги.
Иностранная литература. *С. Ставрима.*
Парижскія письма. *Анонима.*
Внутреннее обозрѣніе.
Политическая и общественная хро-
ника. Луи-Жозефъ Бюффе *М. Трио.*
Казанское общество земледѣльческ.
колоній и ремесленныхъ пріютовъ
и его дѣятельность.

ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНѢ

АЛЕКСАНДРА ИГНАТЬЕВИЧА

БОРТНЕВСКАГО.

На углу Троицкаго и Графскаго переулковъ, въ С.-Петербурѣ.

ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ НОВАЯ КНИГА:

ПО КРАЮ ПРОПАСТИ

(СЕМЕЙСТВО СНѢЖИНЫХЪ).

Романъ въ четырехъ частяхъ, II. *Близнеца*, цѣна 1 р. 75 к.

ТАМЪ-ЖЕ ПРОДАЮТСЯ:

СОЧИНЕНІЯ

А. МИХАЙЛОВА.

Стихотворенія, романы, повѣсти и рассказы. 5 большихъ томовъ, цѣна 10 руб.

~~~~~  
ПЕЧАТАЕТСЯ И ВЪ НАЧАЛѢ СЕНТЯБРЯ СЕГО ГОДА  
ПОСТУПИТЬ ВЪ ПРОДАЖУ

**6-й ТОМЪ**

СОЧИНЕНІЙ А. МИХАЙЛОВА.

---

1 августа вышла и раздается гг. подписчикамъ августовская (8) книжка ежемѣсячнаго, историческаго, иллюстрированнаго сборника

## „ДРЕВНЯЯ и НОВАЯ РОССІЯ.“

СОДЕРЖАНІЕ ЕЯ СЛѢДУЮЩЕЕ:

*Текстъ* I. Понятовскій и Репнинъ. Историческій очеркъ (окончаніе) *Θ. Н. Уманца*.—II. В. Н. Татищевъ, администраторъ и историкъ первой половины XVIII столѣтія. Глава X. Проф. *К. Н. Бестужева-Рюмина*.—III. Между Вѣликимъ моремъ и Сѣвернымъ Ледовитымъ океаномъ. *В. И. Немировича-Данченко*.—IV. Отношенія Фридриха II, до вступленія его на престоль, въ русскому двору, съ 1737 по 1740 годъ. *Е. А. Бьлова*.—V. Русскіе самоучки. II. Волосковъ. *В. П. Попова*.—VI. Критика и библиографія. „Московія Джона Мильтона“, съ статьею и примѣчаніями Юрія Вас. Толстаго. Изданіе Императорскаго Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ при Московскомъ университетѣ. Москва, 1875 г. (Чтенія, 1874 г., кн. 3-я). Проф. *Е. Е. Замысловскаго*.—VII. Письмо въ редакцію. *Е. А. Бьлова*.—VIII. Указатель книгъ по русской исторіи, географіи и этнографіи, вышедшихъ съ 3 марта по 28 іюня 1875 г.

**РИСУНКИ:** I. Князь Н. В. Репнинъ.—II. Печенгскіе лопари.—III. Село Кандалакша.—IV. Волосковъ.

Подписка на сборникъ: „ДРЕВНЯЯ и НОВАЯ РОССІЯ“

принимается въ *С.-Петербурѣ*: въ главной конторѣ редакціи, на Невскомъ проспектѣ, рядомъ съ Пасажемъ, домъ № 46, при типографіи и хромофотографіи издателя В. И. Граціанскаго, и въ книжныхъ магазинахъ: А. Θ. Вазунова, на Невскомъ проспектѣ, домъ № 30, и И. Г. Мартынова, на Вознесенскомъ проспектѣ, домъ № 15; въ *Москвѣ*: въ книжномъ магазинѣ И. Г. Соловьева, на Страстномъ бульварѣ, домъ Алексѣевыхъ, и въ кн. маг. Мамонтова (бывшій Глазунова), на Кузнецкомъ мосту, д. Фирсанова; въ *Варшавѣ*: въ книжномъ магазинѣ В. М. Истомина; въ *Одессѣ*: въ книжномъ магазинѣ Вѣлаго; въ *Кіевѣ*: въ книжномъ магазинѣ Гинтера и Малецакаго; въ *Тифлисѣ*: въ книжномъ магазинѣ Г. В. Бердяева.

Подписная цѣна за 12 книжекъ въ годъ 12 р., съ доставкой на домъ 12 р. 50 к.; въ разсыльную 13 р. 50 к.



This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

**ВО ВСѢХЪ ИЗВѢСТНЫХЪ  
ЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ ИЗДА**

**РОМАНЪ**

**ВНѢ ОБЩЕСТВѢ**

изданный безъ предварительнаго

пер

**ДЕВЯНОСТО**

**РОМА**

Въ двухъ томахъ. Переводъ  
„Дѣло“. Цѣна 2 р. безъ перес.

*Подписчикамъ на журналъ  
винную цѣну, т. е. 1 р.*

**РОМАНЪ ЛУИЗЫ АЛЬКОТЪ:**

**АМЕРИКАНКА.**

Цѣна безъ перес. 1 р. 20 к., съ перес. 1 р. 50 к.

*На всѣ изданія Редакціи журнала „Дѣло“ уступается  
подписчикамъ на этотъ журналъ 20%.*

При этой книгѣ помѣщены слѣдующія объявленія: 1) объ изданіи журнала „Дѣло“ въ 1875 году; 2) объ изданіяхъ редакціи журнала „Дѣло“; 3) о выходѣ въ свѣтъ 8 книжки сборника „Древняя и Новая Россія“; 4) отъ книжного магазина Бортневскаго.



ПОДПИСКА НА ЕЖЕМЪСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЬ

„Д Ъ Л О“

ВЪ 1875 ГОДУ

принимается въ С.-Петербургѣ, въ Главной конторѣ редакціи (по  
Надеждинской улицѣ, д. № 39) и у книгопродавцевъ:

ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГѢ:

Въ книжномъ магазинѣ А. Ф. Базунова,  
на Невскомъ проспектѣ, въ домѣ г-жи  
Ольхиной, и въ Книжномъ Магазинѣ  
для Иногороднихъ, на Невскомъ, въ д.  
Лѣвникова.

ВЪ МОСКВѢ:

Въ книжномъ магазинѣ И. Г. Соловьева,  
на Страстномъ бульварѣ, въ д. Алек-  
сѣева; а также въ книжномъ магазинѣ  
А. Л. Васильева, на Страстномъ буль-  
варѣ, въ д. Шамардина.

### ПОДПИСНАЯ ЦѢНА

годовому изданію журнала „ДЪЛО“:

Безъ пересылки и доставки . . . . . 14 р. 50 к.  
Съ пересылкою иногороднимъ . . . . . 16 „  
Съ доставкою въ С.-Петербургѣ. . . . . 15 „ 50 к.

**Подписная цѣна для заграничныхъ абонентовъ:**

Пруссія и Германія — 19 р.; Бельгія, Нидерланды и Придунайскія княжества —  
20 р.; Франція и Данія — 21 р.; Англія, Швеція, Испанія, Португалія, Турція  
и Греція — 22 р.; Швейцарія — 23 р.; Италія — 24 р.

Для служащихъ дѣлается разсрочка, но не иначе, какъ за поручи-  
тельствомъ гг. назначеевъ.

Редакторъ-издатель Н. ШУЛЬГИНЪ.

20  
10  
10  
10

10  
10

10

10  
10

10

10

10





Widener Library



3 2044 079 302 170